ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD
SLOVANSKÝ ÚSTAV

SLAVIA

časopis pro slovanskou filologii



Ročník XXIII PRAHA 1954 Sešit 2-3

OBSAH

KONFERENCE NA PAMĚŤ JOSEFA DOBROVSKÉHO:

ČLÁNKY:

KRITIKY A REFERÁTY:

ZPRÁVY:

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SLAVISTIKY ZA ROK 1952 . . . . 349—505

KONFERENCE NA PAMĚŤ JOSEFA DOBROVSKÉHO

K 200. výročí narození Josefa Dobrovského uspořádala Československá akademie věd konferenci, která se konala v Praze ve dnech 1.—3. XI. 1953. Slavia přináší větší část referátů na konferenci pronesených a připojuje soubornou zprávu. Neotiskujeme znovu ty referáty, které již vyšly jinde, na což upozorňujeme ve zprávě. *Redakce*

Значение Иосифа Добровского для славян

Богуслав Гавранек

На металлической пирамиде — надгробном камне Иосифа Добровского на кладбище в Брно находится следующая надпись: *Slavica qua patet terra non ignorat, amici lugent* (где бы ни раскинулась славянская земля, всюду его знают, всюду друзья скорбят). Это было действительно так. В январе 1829 г., когда Добровский скончался на 75 году своей жизни, его знал весь славянский мир. Его не только знали, но и глубоко уважали, как это хорошо высказал Румянцев в письме к Добровскому от 1823 г.: «Вы без сомнения имеете везде почитателей, где только умеют ценить глубокое просвещение и отличное дарование».[1]) Привожу еще небольшой отрывок из первого письма Александра Востокова от того самого года, написанного сорокадвухлетним лучшим представителем возникающей в то время научной славистики Добровскому, достигшему тогда уже преклонного возраста семидесяти годов: «Давно уже вас люблю и уважаю, как учителя и вождя своего, на стезе грамматических исследований, коими я занимаюсь. Ваши открытия пролили свет на древнее строение богатого и правильного языка Словенского, подвергшегося в продолжении веков равной участи с другими древними языками, т. е. обеднению в формах и лишению в прежней правильности».[2])

---

[1]) См. И. Срезневский, *Переписка А. Х. Востокова* (Сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности, т. 5-й, вып. II, 1873), 425; чешский — не точный — перевод V. Brandl, *Život Josefa Dobrovského*, 1883, 197.

[2]) Из письма, в котором Востоков посылает по желанию Румянцева Иосифу Добровскому списки с некоторых мест Остромирова Евангелия, снимки с него, описание рукописи и замечания о его языке и правописании — см. И. Срезневский, *Переписка А. Х. Востокова*, 100—116 и 425 его «Примечаний и дополнений», где Срезневский поправил ошибочную догадку своего издания, что указанное письмо

Молодой Востоков обращается к Иосифу Добровскому в своем письме с большим уважением, хотя к тому времени он сам уже является автором крупной новаторской работы по славистике. И не выражает это глубокое уважение Востоков только в письме к Добровскому, но выражает его и в письме к Румянцеву 1822 г. (см. здесь стр. 96). Не меньше знали и уважали Добровского в России того времени и другие друзья, бывшие с ним в непосредственных или посредственных сношениях: Румяннев, Кеппен, Погодин, до некоторой степени и Шишков и другие.[3])

В Польше у Добровского также были друзья: у него была богатая переписка с автором знаменитого словаря польского языка С. Б. Линде, с Ю. Бандтке и др.[4]) Из представителей зарождающегося в то время словенского народа он находился в сношениях (прямых или косвенных) с Полиным, Водником, Шнейдером, Примицом, Метелком и другими,[5]) в частности с В. Копитаром. Добровский имел сношения с представителями сербского и хорватского народов: со Стуличем из Дубровника, с епископом Загреба Врховацем, с Аппендини из Дубровника,[6]) с научным представителем Лужицы, хотя и немцем, Антоном, с Лубенским — пастором города Бауцен и др.[7]). Неисчислимы ряды его друзей в славянском мире того времени.

Востокова к Добровскому от конца мая 1824 г.; в действительности оно написано ранее чем 28 апреля 1823 г. — Эта ошибочная дата, 1824 г., вошла в научную традицию и повторяет ее Ягич в *Истории славянской филологии* (1910) 222, Фр. Купка, *Dobrovský a Rusko* (1926) 13, Й. Курц в журнале Slavia 21 (1953) 230 и т. д. и я сам повторил ее (см. сборник „Josef Dobrovský 1753—1953", 112 прим., Věstník Československé akademie věd 62 [1953] 245).

[3]) См. о сношениях с Румянцевым V. Brandl, *Život Josefa Dobrovského*, 1883, 197 и д., письма Румянцева в Переписке Востокова, 425—427, письма Добровского Кеппену и Кеппена Добровскому у Ягича, *Источники для истории славянской филологии* I (Сборник отд. русского языка 39, 1885, 662—683) и *Источники* II (там же 62, 1897, 132—166) и переписку Востокова, Румянцева и Погодина см. И. Срезневский, *Переписка Востокова* (по указателю лиц) и *Записки... Шишкова* I (1870) 220 и 366 и письма Шишкова Добровскому и Добровского Шишкову там же II (1870) 370—380.

[4]) См. переписку Добровского и Линде у Ягича, *Источники* I, 634—662 и В. Францев, *Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст.*, Praha 1905, II—XII и переписку Добровского и Бандтке см. *Korespondence Josefa Dobrovského s J. S. Bandtkem z let 1810—1827*, Praha 1906.

[5]) См. Fr. Kidrič, *Dobrovský in slovenski prepovod njegove dobe*, Ljubljana 1930, статью А. Брезника в сборнике „Josef Dobrovský 1753—1823", Praha 1929, 1 сл. и письма Добровского Метелке: Ягич, *Источники* ... II, 167—171.

[6]) См. статьи Дуката, Наги, Поповича и Стояновича в указанном выше (прим. 5) сборнике, 44 сл., 162 сл., 236 сл. и 277 сл.

[7]) См. статью Иос. Паты в указанном (прим. 5) сборнике, 259, переписку Добровского и Антона, которую издал И. Л. Гаупт (Haupt) в журнале Neues Lausitzisches Magazin 1841, 45 сл. и 1844, 193 сл. и письма Добровского к автору нижнелужицкого перевода, писания ветхого завета И. Ф. Фрицо у Ягича, *Источники* II, 624 сл. — Ошибочно примечание Якубца (Dějiny literatury české, 2-ое издание II, 1934, 127) о письмах Антона Добровскому в труде Менчика, *Письма к Рыбаю и Черрони* (Сборник отд. русского языка 96, 119), в этом труде на самом деле только письма Антона к Рыбаю.

Но они совсем не ограничивались славянским миром; его друзьями в Германии был Яков Гримм, историк Перц и сам Гете и мн. др., он находился в сношениях с венгерскими учеными, именно с историком Энгелом, с Сечени (Széchényi) и др.[7a])

Было бы однако весьма мало утверждать, что у Добровского во всем славянском мире были друзья — у него были в полном смысле этого слова поклонники. В первую очередь следует отметить, что Добровский своими трудами оказал глубокое влияние на их работы и на деятельность последующих молодых исследователей славянской филологии. По праву заслужил он звание «патриарх славянской филологии». Это почетное звание дается ему до сего дня не только нами, но и всем славянским миром. Советская наука, давшая справедливо высокую оценку огромному значению работы Востокова для русской славистики, ставит его однако только рядом с Добровским как полноценного, хотя и более молодого сверстника Добровского: это видно, например, из работы Обнорского, рассматривающей развитие руссистики, в Ученых записках Московского университета имени Ломоносова за 1946 г.[8])

Почему вся славистика признает великую новаторскую и основополагающую роль трудов Добровского? Причиной этого не является то, что до Добровского ничего в славистике не было. Было бы грубым искажением действительности представлять дело в таком свете, что якобы Добровский первый открыл нам и всему миру, Европе и славянским странам славу славян, раскрыл их прошлое, первый начал изучение славянской филологии. Наоборот, при его жизни по Европе пробежала волна большого непосредственного интереса к славянам, представляемым главным образом петровской и екатерининской Россией. Экономический и политический подъем Российской империи того времени после побед Петра Великого и побед над Османской империей в 1774 г., после покорения Крымского ханства в 1783 г. — пробудил большой интерес к России во всей Западной Европе. Но и в научном отношении не приходится говорить о tabula rasa. Стоит привести только следующие даты: 1725 г. основание Академии Наук в Петербурге, 1755 г. создание Московского университета, 1755 г. начали печатать знаменитую Грамматику Ломоносова, что было окончено в 1757 г., в 80-ых годах при Екатерине выходит в свет большой сравни-

---

[7a]) См. П. Буйнак в журнале Bratislava 3 (1929) 606 сл. и И. Мацурек в сборнике *Josef Dobrovský 1753—1953* (Praha 1953) 488 сл.

[8]) «Востоков был современником знаменитого чешского слависта Иосифа Добровского, за которым усвоилось высокое именование патриарха славянской филологии. Если соответственно учесть масштабы деятельности Востокова, ... фигура Востокова соотносительно не оказалась бы меньшей, чем фигура славного его современника великого чешского слависта». С. П. Обнорский, *Итоги научного изучения русского языка.* Ученые записки Московского государственного университета им. Ломоносова, вып. 106, 1946, стр. 6.

тельный словарь всех языков мира того времени (*Сравнительные словари всѣх языковъ и нарѣчий,* 1787—1789), в 1789—1794 гг. шеститомный русский академический словарь (*Словарь Российской Академии*), после чего очень скоро, начиная 1806 г., выпускается второе издание (1806—1822). Почти одновременно издается в Польше знаменитый польский словарь Линде (*Słownik języka polskiego,* 1807—1814), а в конце 18-го века возникло семь томов выдающейся истории польского народа Адама Нарушевича (Naruszewicz, *Historya narodu polskiego,* 1780—1786). Велик ряд воистину ценных трудов того периода, которые можно было бы перечислить. Большинство приводимых работ, конечно, относится к тому же времени, как и работы Добровского.

Изучение славян имеет широкое распространение и до Добровского в славянских землях и в Средней Европе, тем не менее его характер по существу своему отличается от характера трудов Добровского. О смысле и значении этой в ширину развернутой работы в области славяноведения до Добровского подает весьма важные сведения для нас и для всего славянского мира журнал Slavia прошлого года издания. Здесь опубликована статья, напечатанная уже во время Второй мировой войны в журнале Историк-марксист за 1941 год, где автор — министр и президент Чехословацкой академии наук профессор Зденек Неедлы — дает обзор славяноведения до конца XVIII века,[9]) далее статья профессора Франка Волльмана на тему *Предшественники Добровского,*[10]) в основном правильно размежевывающая с одной стороны реакционное, с другой стороны прогрессивное направление исследованний по славянам того времени. Обе указанные новые статьи очень ясно показывают положение в славистике бывшее до Добровского.

В продолжение XVII века проявляется большой подъем стремлений к познаванию и разработке вопросов касающихся языка и истории славян. Какова была однако направленность этих работ? Стоит лишь отметить и указать тот факт, что именно в XVII веке славистика была сосредоточена в одном значительном центре, а именно Congregatio de propaganda fide в Риме, что это были исследовательские работы по славяноведению в рамках католических орденов, имевшие специальную установку и собственный классовый характер. Это касается и работ начала XVII века — истории славян Орбини, бывшего настоятелем бенедиктинского монастыря в Дубровнике, а также грамматики иезуита Бартоломея Кашича *Institutiones linguae illyricae,* являющейся своего рода первой объединяющей грамматикой сербско-хорватского языка и многих других работ. К этой же группе можно отнести и труды Смотрицкого, которого также не миновала указанная деятельность иезуитов и который впоследствии стал униатом. К этой же группе

---

[9]) Zdeněk Nejedlý, *К истории славяноведения до XVIII века,* Slavia 22 (1953) 1—28 = Историк-марксист (1951) книга 2 (90), 81—94.

[10]) Fr. Wollman, *Předchůdci Dobrovského,* Slavia 22 (1953) 413—426.

можно позже отнести и деятельность польского князя Яблоновского, создавшего в 1768 г. в Лейпциге особое общество для изучения славян, с целым рядом польских и чешских сотрудников; его идеалом была так наз. Сарматия, т. е. славянская католическая империя, конечно польская.

К указанной группе из чешских исследователей XVII века относился Томаш Пешина из Чехорода, а в начале XVIII в. Иржи Стржедовский (Jiří Středovský), подчеркивающие кирилломефодийский период.

К этому кругу относится и пропаганда старого вымысла о происхождении глаголицы от мнимого славянского святого Иеронима (с чем мы встретимся уже у Орбини) или отнесение указанной письменной системы к еще более древним временам (например у Грубишича 1766 г.). Здесь всюду видно одну и ту же линию исследований по славяноведению, бывших на служении интересам сугубо контрреформационным, и направленных против нового развития славянских народов, служивших таким образом реакции, феодалам, представляемым в мировом масштабе Ватиканом.

Наряду с этой линией возникает в науке того времени (русской и среднеевропейской) новый интерес к славяноведению, который справедливо можно считать новым, прогрессивным интересом; достаточно привести имя Ломоносова, стремления Петра Великого и его преемников на престоле направленные на то, чтобы познавание прошлого России взять из рук церкви и монастырей. Новое течение проявилось в том, что мы встречаемся с указами собирания древнейших деловых бумаг и летописей (один указ Петра Великого, два Екатерины). Мы встречаемся с зачатками новых русских исторических исследований проводимых немцами работавшими в России при новой петербургской Академии (Ф. И. Миллером и А. Шлёцером до отхода в Гёттинген в 1769 г.) или русскими представителями (Татищевым, Щербатовым, трудами Мусина-Пушкина), издающими древнейшие памятники русского прошлого.[11]) Эта новая линия «просветителей» стремится к преодолению прежней базы славяноведения в России, которая отожествляла «славянский язык» с церковнославянским, с православной церковью, конечно преодоление то встретило возражение.[12])

---

[11]) См. в статье Зд. Нееддлого (примеч. 9), Slavia 22, стр. 20n., Ягич, *История слав. филологии* 160 et passim., и др.

[12]) Только один пример: Еще относительно 1825 г. Ягич в Истории славянской филологии (стр. 225) упоминает, что живой обмен мыслей в Библиографических листах, которые издавал Петр Ив. Кеппен, «касавшийся также памятников церковного содержания ... не был ... по вкусу злогласному ретрограду Магницкому» и «он написал донос на Кеппена и его издание». По этому поводу выражает Румянцев в письме от 3-го июля 1825 г. предположение, что бы могло быть «у нас сочинение И. Добровского о Кирилле и Мефодие под запрещением единственно потому, что сей ученый и почтенный муж повествует обстоятельства жизни их не так, как описаны они в нашей Минеи четьи» (Срезневский, Переписка А. Х. Востокова, стр. 231).

Однако все проводившие эту новую работу, равно как и непосредственные предшественники Добровского в Чехии, стоявшие уже в рядах прогрессивных просветителей, как например Д о б н е р, М о н с е и другие по существу своему все-таки еще слишком связаны со славистикой, видевшей безусловно цель своей пропаганды в подчеркивании величия славян, но имевшей определенное целеустремление: с одной стороны она хочет способствовать желанному величию католической польской империи, с другой стороны закреплению католичества на Балканах, и наконец проникновению униатской религии в Российскую империю. Вся указанная работа по славяноведению была, конечно, не чем иным как собиранием материалов, допускавшим однако поспешные опрометчивые суждения и заключения.

Добровский, следовательно, не попадает в безвоздушное пространство, что касается исследований по славистике; однако его деятельность означает собой великий вклад в славяноведение. До Добровского можно по праву говорить лишь об исследованиях в области славяноведения, ни в коем случае не *о славистике как науке*. Только Добровский начинает в настоящем смысле слова научное ознакомление со славянами. При весьма вдумчивом подходе к проблемам он проводит четкую границу между действительностью, правдой и между примесями временных идеалов и стремлений или поздних фальсификаций. Он исходит из проверенного языкового материала, собранного в широких масштабах и критически проанализированного, из языковой эмпирии. На его основании он строит свои труды, ясно распределяя свои материалы, имея в виду настоящую систему языка и проникновенно открывая сложную языковую структуру. Это проявляется именно в основных его работах, в грамматиках чешского языка (Ausführliches Lehrgebäude der tschechischen Sprache 1809, 2-ое изд. 1818) и старославянского (Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, 1822).

Добровский довольно ясно для своего времени видит сродство языков и умеет также видеть главное звено, в котором оно проявляется: в грамматическом строе языка.[13])

При своем подходе к работе он применяет совсем новые методы, опираясь на новые взгляды, стоявшие далеко от славяноведения «монастырского», коротко говоря, наоборот он исходит из познания ставшего вполне мирским, из эмпирики. Добровский до некоторой степени

---

[13]) В своей работе *Über den Ursprung und Bildung der slavischen Sprache* от 1791 г. он пишет: „Durch diese Biegungs- und Ableitungslaute unterscheidet sich die slavische Sprache von andern europäischen viel merklicher, als durch die blassen Stammsylben. Das Charakteristische derselbe besteht also mehr in der Form als in der Materie der Wörter" (стр. 29) и в истории чешского языка от 1792: „Da die Verwandschaft der Sprachen nicht so sehr nach der Ähnlichkeit einzelner Wörter, als vielmehr der Identität der Grammatik bestimmt werden soll, . . ." (*Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur*, стр. 5 сл.).

выбивается на дорогу материалистического познания, опирающегося на чувства. Обратим лишь внимание хотя бы на то, каким путем он подходит к раскрытию чешского ударения. Он делает своим исходным пунктом не теоретические рассуждения, а настоящее слушание чтения стихов и речи, внимательно прислушиваясь к разнице между привычным ему чешским ударением и ударением северовосточных моравских диалектов, с которыми он ознакомился при своем пребывании в Оломоуце (1787—1791).[14]) Таким путем, так удачно показанным в новой статье Крбеца в журнале Slovo a slovesnost.[15]) Добровский приходит к своему познанию чешского ударения. Привожу этот мелкий факт для иллюстрации и полного понимания того, чем отличается база и приемы Добровского в научной работе от представителей предшествующего периода. Кроме того, своими научными изысканиями Добровский служит не интересам пропаганды господствующего класса, пропаганды церкви, а сознательно хочет служить интересам своего пробуждающегося народа, своей нации.

Таким образом проявляется глубокая существенная разница и в отношении Добровского к исследованиям по славяноведению сделанным до него. Это научное отношение можно понять в связи со всем его мировоззрением, с борьбой, которую его сверстники наконец называли гиперкритической[16]) и которую мы назвали бы борьбой с пережитками церкви. В самом начале своей деятельности он борется против легенды о Яне Непомуцком, высказывается против целибата священников и соглашается с реформами в рамках церкви: он резко выступает против нетерпимости в вопросе религии и против доктринерства церкви.

Все это отражается в его работе и во всех его взглядах на славян. Можно привести его известную первую работу (хотя она и не была первой напечатанной, которой было письмо о пражских еврейских фрагментах[16a]) — это Fragmentum pragense evangelii sancti Marci vulgo autographi (1778), где Добровский разрушает легенды о священном происхождении рукописи. Хотя он и не первым разрушает названную легенду, но его научное обоснование неправильности религиозной ле-

---

[14]) „Wäre ich nie nach Mähren gekommen, so wäre ich nicht so oft veranlaßt worden, über den Ton nachzudenken“ читается в его письме от 1795 г. (Korespondence Dobrovského III, стр. 101). Он пишет в письме Антону от 1789 г.: „In Mähren legt man schon in den Gegenden gegen Schlesien und Polen den Ton auf die vorletzte Sylbe“ (Neues Lausitzisches Magazin 19, 1841, стр. 66). — Позже, 1796 г., он посетит эту область (г. Пасков и область реки Остравице), см. Brandl, *Život Jos. Dobrovského*, стр. 200, примеч. 3.

[15]) M. Krbec, *Dobrovský o českém přízvuku.* Slovo a slovesnost 13 (1953) стр. 179—189.

[16]) См. Fr. Palacký, *Joseph Dobrovský's Leben und gelehrtes Wirken* (1833) стр. 52.

[16a]) *Pragische Fragmente hebräischer Handschriften* в Orientalische und exegetische Bibliothek (12, 1777, 101 сл.), которую издавал Й. Д. Михаелис; см. письма И. Добровского к нему с 1776 г. в журнале Slavia 22 (1953) 427—442.

генды и смелость его подхода к критике характерны для Добровского.[17])

Так же критически он рассматривает и все вопросы славяноведения. Можно обратить внимание на тот факт, что при всем своем истинном русофильстве он всегда критически относился к условиям жизни в России. Время его первого приезда в Россию 1792 г. — это время после издания *Путешествия из Петербурга в Москву* Радищева. Добровский безусловно хорошо знает об аресте Радищева, так как он пишет своим друзьям об аресте сатирика и журналиста Новикова и в своих письмах критикует самодержавие и указывает на причины порождающие враждебное отношение к правлению царицы Екатерины.[18])

Так же критически он умел относиться и к тем, кто выражал ему свое преклонение. Несмотря на то, что он в 1813 г. лично познакомился со знаменитым Шишковым, когда они встречались в Праге,[19]) Добровский правильно понял диллетантство и реакционность этого, правда, влиятельного, но не всегда научного деятеля тогдашней петербургской Российской академии и довольно иронически пишет к Копитару о его посещении 1813 г. и взглядах, равно как о его позднейшей работе о началах человеческой речи. Вместе с тем Добровский совсем по-другому относился именно к молодому Востокову, которого он признает с самого начала его деятельности; он с уважением пишет о нем своим друзьям, делая это гораздо раньше, чем Востоков приобрел известность в самой России. Хотя Добровский и до самой своей смерти не признал открытия Востокова касающиеся носовых звуков и еров, он всегда отзывался о нем, как о выдающемся представителе славистики, несмотря на то, что Востоков был на тридцать лет моложе и его не окружала официальная слава.[20])

Итак, Добровский в своих отношениях к славянам проявлял всегда аналитический и критический подход, он расценивал факты — научно, а потому и политически. Можно было бы привести много и много примеров. Можно было бы привести цитаты из его высказываний в связи с посещением Стулича в Вене 1810 г., где он ясно показал, что этот францисканец подходит к своим вопросам и с рвением (дело касалось вопросов орфографии), однако совсем с ненаучных позиций.[21]) В таких случаях Добровский при всей своей настоящей, глубокой любви ко

---

[17]) См. новое издание Fragmentum в Spisy a projevy Josefa Dobrovského, том V, 1953, стр. 8 сл.

[18]) См. материал в моей статье *Josef Dobrovský a pokrokovost jeho slovanství* в сборнике „Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd“ (Praha 1953) стр. 413.

[19]) Шишков побыл в Праге шесть недель осенью 1813 г. и он пишет и в своих Записках и в письмах жене, что он «виделся» с Добровским, «с которым провождали мы время в разговорах о славянском языке и его наречиях» (*Записки . . . Шишкова*, I, стр. 220 и II, стр. 366).

[20]) См. цитаты из письма в моей показанной выше (примеч. 18) статье в сборнике „Zdeňku Nejedlému“, стр. 413.

[21]) См. в сборнике „Josef Dobrovský 1753—1829“ (Praha 1829) стр. 45 и Ягич, *Источники* . . . I, стр. 108.

всему славянскому, всегда относился критически к лицам, а в первую очередь критически к фактам.

Важно обратить внимание на то, как именно аксиомы подчеркиваемые славяноведением, стоящим на служении феодальной церкви, стали в научной деятельности Добровского теми пунктами, которые он так упорно оспаривал, часто даже там, где с точки зрения позднейшего развития науки он и не был прав. Однако с точки зрения своего времени он был прав, так как для него было важно преодолеть старое славяноведение, вскрыть его антинаучную базу, определяемую целями католической пропаганды. С такой платформы мы можем понять, почему Добровский вел такую упорную борьбу против признания древневекового происхождения глаголицы: дело в том, что предположение древнего происхождения глаголицы — относится ли она к древнейшим векам (как это представлял себе францисканец Грубишич в своем трактате половины XVIII века) или относится она ко времени указанному легендой Иеронима, — было средством церковной пропаганды. Поэтому Добровский вскрывал слабые, неправдоподобные и антинаучные истоки этих утверждений, показывая наконец критически, что по его источникам глаголица никак не старше XIII века.[22]) В наше время мы знаем совершенно определенно, что Добровский не был прав, что дальнейшее развитие показало ошибочность его гипотезы, однако в условиях того времени было важно разрушать столбы лживой пропаганды церкви. С таких позиций мы тоже сможем понять его энергичную борьбу против преувеличения значения деятельности Кирила и Мефодия и церковнославянского периода в нашей стране. Почему это важно? Потому, что преувеличивая значение Кирилла и Мефодия, пользуясь их славой, конечно славой с точки зрения римской церкви, вело свою борьбу иезуитское славяноведение. И Добровский, который сознательно работал против этой некритической деятельности, конечно показывал ее необоснованность — и действительно учитывая возможности его времени, мы видим полную необоснованность такого взгляда — и настаивал на том, что в нашей стране является собственно говоря представителем церковнославянских обрядов только Сазавский монастырь. Нам всем в наше время ясно, что ни в этом вопросе Добровский не был окончательно прав, но с точки зрения своего времени он защищал правду, и это была настоящаа правда, так как он при помощи ее разбивал фальшивых божков, фальшивые представления своего времени.

---

[22]) Выводы Добровского в то время принимаются многими учеными; Востоков правда не соглашался уже в 1830 г. с мнением Добровского, что глаголические письмена изобретены не ранше XIII века (Переписка Востокова, стр. 287), но Шафарик только, когда он ознакомился с открытиями глаголических рукописей сделанными Григоровичем на Афоне 1844—1845 г., высказал мнение в письме Погодину от 1846 г., что вопрос о происхождении глаголического письма получит новое решение (см. Korespondence P. P. Šafaříka I, 2, Praha 1927, стр. 667, письмо Погодину от 1846 г.).

Но мы бы безусловно не рассматривали Добровского правильно, если бы видели в нем только критика слабых и ненаучных исследований по славяноведению его времени. Добровский не был одним критиком, он был также созидателем нового познания. Ввиду того, что вся наша конференция будет прежде всего заниматься рассмотрением того, каким вкладом Добровский обогатил нашу науку, я намерен показать здесь существенное ядро его деятельности лишь в самом сжатом виде. Добровский ознакомляется с глубоким, и для своего времени необыкновенно широким материалом о всех славянских языках кроме болгарского, с которым он тогда даже и не мог ознакомиться,[23]) старается всесторонне проверить материал и только на основании богатого, критически проанализированного, эмпирически проверенного материала он строит свою дальнейшую работу. Это касается не только его работы в области богемистики, где он создал в полном смысле этого слова монументальную историю чешского языка и словесности (*Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur,* 1792) и подробную грамматику чешского языка (*Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache,* 1809), но и работ по всем славянским языкам. На основании глубокого и широкого ознакомления с материалом Добровский строит свою классификацию славянских языков,[24]) строит глубокое и убедительное основание их родства с другими индоевропейскими языками.

Добровский очень обстоятельно и рано, т. е. в 80-ых годах XVIII века указывает на то, что из индоевропейских языков находятся в самом тесном родстве со славянскими языками балтийские языки (в статье от 1788 г.). Уже тогда — с 1791 г. — он умеет подчеркнуть их родство с другими индоевропейскими языками, именно сродство языков латинского, греческого, немецкого и древнеиндийского с языками славянскими, опирая его на сходства грамматического строя.[25]) Внутри группы славянских языков он очень хорошо видит, что церковнославянский является не матерью славянских языков, а их сестрой, и что его никак нельзя смешивать с праславянским. Он ясно показывает, что в древнерусских памятниках есть русские элементы, что русский язык в памятниках отражается как самостоятельный, отличающийся от церковнославянского. Добровский показывает это предположение на тексте Русской Правды, тут же отмечая сразу, что будет рад получить в свои руки Слово о полку Игореве, так как оно бозусловно подтвердит его гипотезу, что и случилось. Он показывает это и на языке древнейших летописей.[26])

---

[23]) См. детально в моей статье *Význam Josefa Dobrovského pro slovanskou jazykovědu* (сборник „Josef Dobrovský 1753—1853“, Praha 1953) стр. 99—102.

[24]) См. статью К. Горалка в том же сборнике, стр. 117 сл.

[25]) См. выше (примеч. 23) показанную мою статью, стр. 102—105.

[26]) В критике работы Л. Шлёцера в его журнале Slavin (1806) 364 и 369; см. выше — примеч. 23 — показанную мою статью, стр. 103—104.

И он умеет сравнивать славянские языки не только с точки зрения современного материала, а видит в основных чертах их историческое развитие. Свой богатый материал он умеет соединить в изучении своего грамматического строя в монументальных грамматиках чешского (Lehrgebäude) и церковнославянского языков (Institutiones).

Однако этот богатый материал он умеет обрабатывать и с точки зрения словарного состава. Путем изучения словарного состава, родства корней слов, он, собственно говоря, и начал свою языковедческую работу.[27]) В его время такой метод исследования слов был исходным пунктом всякого сравнительного изучения языков. Добровский, перенимая такую отправную точку сравнительного изучения на основании словарного состава, однако с самого начала своей деятельности с ней полемизирует и указывает, что базой для сравнения языков должен быть их грамматический строй.[28]) Несмотря на это, он глубоко задумывается над вопросом образования словарного состава, и над вопросом его взаимоотношений в славянских языках и над вопросом их общей основы. Он хотел создать этимологический словарь славянских языков. Эту работу он не окончил, но именно Востоков в своей рецензии о русской грамматике церковнославянского языка Пенинского очень ясно ссылается на — Institutiones, указывая, что эта грамматика содержит для своего времени ценный этимологический словарь.[29])

Так в самом упрощенном виде я подытоживаю заслуги Иосифа Добровского в области лингвистики. Результаты его работы собраны не только в известных монументальных произведениях, но также рассеяны в целом ряде мелких статей и рецензий. Это касается в частности его работы по *руссистике,* хотя он и в этой области глубоко повлиял на исследования по русскому языку и его древнейшим памятникам. Кроме того, что он принимал участие в чешских переводах Слова о полку Игоре (в неизданном переводе И. Юнгманна от 1811 г. и в переводе В. Ганки), он в значительной степени воздействовал на немецкий перевод своего ученика Иосифа Мюллера, изданный в 1811 г., в частности же главным образом ему принадлежат филологические и исторические

---

[27]) *Über den Ursprung und die Bildung der Slavischen und insbesondere der böhmischen Sprache,* 1791.

[28]) См. выше, примеч. 13.

[29]) Востоков в этой рецензии пишет: «Статья о корнях, конечно, принадлежит более словарю нежели грамматике. Это замечание справедливо, но при этом надо было бы указать на особенную важность этого отдела у Добровского. Ведь он давал в нем для своего времени ценный этимологический словарь. То внимание, какое в нем отводилось текстом священного писания, извлеченным из рукописей и старопечатных изданий, придавало словарным извлечениям особенное значение, так как в библейских книгах заключался древнейший запас церковнославянских переводов. А сопоставления с живыми славянскими языками увеличивали ценность этого труда». (См. П. А. Лавров в указанном сборнике „Josef Dobrovský 1743—1829, стр. 224.)

комментарии этого перевода.[30]) Он помогал своему ученику переводить древнейшую русскую летопись, так наз. летопись Нестора и присоединяя к ней критическую статью тонко анализирующую текст, где он одним из первых предлагает точную классификацию летописных рукописей и их редакций на основании весьма строгого филологического метода (названная статья осталась к сожалению очень мало известной).[31]) К русской грамматике Пухмайера от 1820 г., возникшей под его непосредственным руководством, он написал обстоятельную критическую оценку развития работ по русской грамматике. Наконец, в конце своей жизни он издал глубокомысленную рецензию указанного выше шеститомного Словаря Академии Российской во втором его издании, исполняя таким образом сознательно обязанности члена Российской Академии, издавшей словарь.[32])

Многое из его исследованний разобрано в мелких статьях и рецензиях, многое подытожено в статьях его журналов по славистике (Slavin 1806, Slovanka 1814 a 1815), многое находится также и в его богатой переписке с друзьями на ученые темы.

Это касается и его основополагающей работы конца XVIII века в области *венгерского* языка и сравнения *угрофинских* и даже урало-алтайских языков вообще. Исследование в этой области Добровский сам не закончил, но дал другим импульс к работе.

Во-первых, с 1785 г. Добровский начал заниматься словами славянского происхождения в венгерском языке и побудил Рыбая к работе *Syllabus vocum slavicae originis quarum usus in hungarica lingua est,* рукопись которой находится в Национальном музее в Будапеште; за всей этой работой Добровский следил и исправлял её.

Во-вторых, во время подготовки к путешествию в Россию и во время самого путешествия в Финляндии и Петербурге Добровский начал заниматься языками лапландским, финским, вотяцким и др. и прослеживал их родство с венгерским. По возвращении несколько лет продолжал сравнивать эти языки и, что особенно важно, он первый начал искать и здесь критерии сравнения в грамматическом строе. Уже в 1795 г. он определил следующие грамматические критерии урало-

---

[30]) *Heldensang vom Zuge gegen die Polowzen* ... In deutsche Sprache treu übertragen, mit einer Vorrede und kurzen philologischen und historischen Noten begleitet von Joseph Müller, Prag 1811. — Этот перевод и его комментарии защищал в письме Шишкову от 1820 г. (см. *Записки ... Шишкова* II, стр. 374—375).

[31]) *Wie soll Nestors Chronik aus so mancherlei Recensionen des Textes, die in Handschriften zu finden sind, rein hergestellt werden?* (*Altrussische Geschichte nach Nestor* ... von Jos. Müller, Berlin 1812, стр. 1—46).

[32]) О всех этих работах Добровского по руссистике см. детально в указанной моей статье в сборнике „Josef Dobrovský" (1953), стр. 109—111. — Введение в грамматику Пухмаера (*Literatur der russischen Sprachlehre*) и оценка академического словаря также изданы в сборнике *Rossica* (Spisy a projevy Josefa Dobrovského том XIII, 1953) стр. 97—119, 121—128.

алтайских языков: genus nullum, поссессивные суффиксы, постпозиция вместо препозиции и искал еще другие критерии, отличающие отдельные языки этой группы. Основные выводы он поместил в своих *Literarische Nachrichten von einer ... Reise nach Schweden und Russland* (1795), а всё остальное и проект работы *Systema linguarum secundum genera et species* остались в переписке с Рыбаем. Работу в этой области Добровский оставил, и я предполагаю, что не только потому, что у него разрасталась работа по чешскому и славянским языкам, но и потому, что ввиду неполноты материала ему было странно работать. Но и в этой области он побудил к работе других, а именно повлиял на работу Самуила Дярмати (G y a r m a t h i) *Affinitas Linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata* (Gottingae 1799). С этой работой он ознакомился в Праге в 1798 г. ещё до сдачи в печать и внес некоторые исправления.

Таким образом Добровский содействовал и началу угрофинского языкознания.[32a])

Подобно тому, как наряду с этими мелкими работами он к концу жизни в 1822 г. собирает свои исследования по церковнославянскому языку в произведении *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris,* так же он собирает и результаты своих исследований о вопросе Кирилла и Мефодия в двух трудах *Cyrill und Method der Slaven Apostel* от 1823 г. и в критическом издании *Mährische Legende von Cyrill und Metod* от 1826 г., т. е. за три года до смерти.

Следовательно, если рассматривать деятельность Добровского с точки зрения комплексности, нам становится, коненчо, ясным, в чем она коренным образом отличалась от исследований по славяноведению сделанным до него. И нет ничего удивительного в том, что его труды действительно глубоко *повлияли* на остальную славистику. Следует отметить тот факт, что в общих чертах грамматики словенского, хорватского, иллирийского (как тогда говорили), польского, церковнославянского и украинского языков, созданные после его знаменитых произведений *Lehrgebäude der böhmischen Sprache* и *Institutiones* в большинстве случаев находятся под его влиянием, принимая его четкую и основательную классификацию морфологических фактов, так как источником ее было настоящее знание структуры языка, опирающееся на два исходных пункта: историческое и сравнительное исследование языка. Поэтому

[32a]) См. весь материал в статье П. Б у й н а к а *Dobrovského miesto v ugrofinskej lingvistike* в журнале Bratislava 3 (1928) 601—664, но выводы Буйнака не всегда правильные, например неправильно его мнение: „Bola to tedy dlhá chvíľa (в Финляндии), ktorá priviedla ho k uvažovaniu o Finoch a ich jazyke“ (стр. 616) — так как ещё до своего путешествия в Россию он пишет 10-го мая 1792 г. Рыбаю: „ich werde darauf in Finnland, finisch ist halb ungrisch, aufmerksam sein“ (Korespondence Dobrovského IV, 218).

было сравнительно легко применять основные критерии Добровского и при рассмотрении других славянских языков.[33])

Итак, мы видим, что в двадцати годах XIX в. написанные словенцами Данко и Метелка грамматики находятся под прямым влиянием Добровского. Подобно этому, и первая грамматика в области иллирийского языка, написанная в тридцатых годах Брличем, ссылается на Добровского, хотя и не вполне справедливо. В то время создано немало грамматических работ славянских филологов, ссылающихся в предисловиях на Добровского, однако в действительности недостаточно из него исходивших, а с другой стороны немало и действительно до подробностей ему следовавших, безразлично ссылались ли они на него или нет. В тридцатых годах это, например, грамматика хорватского языка (собственно говоря кайкавского языка) *Grammatik der Kroatischen Mundart* Кристиановича, точно перенявшего классификацию морфологии, в частности классификацию глаголов у Добровского. Далее сюда относятся три грамматики Бабукича, написанные в 1830—1850 гг., исходящие до мельчайших подробностей из Добровского, а позже и школьные грамматики Вебера по хорватскому языку, написанные в начале второй половины XIX века в значительной мере опиравшиеся на Добровского. Далее, Вук Караджич под влиянием работ Добровского хочет разработать морфологию сербского языка, что он успел сделать только по отношению к прилагательным и существительным; в своей краткой грамматике от 1814 г. он в общем Добровским не руководствовался, хотя и формально на него ссылается. Из польских грамматик это *Polnische Grammatik* Бандтке, для своего времени лучшая грамматика польского языка, зависящая весьма глубоким образом от Добровского, в частности, в третьем своем издании от 1824 г., посвященном Добровскому.[34]) Далее, это грамматики лужицкого языка, работа Г. Зейлера от 1830 г., прославившегося впоследствии в качестве поэта, возникшая при сотрудничестве с Любенским, пастором из Бауцена, бывшего в сношениях с Добровским. Сюда же относится и позже написанная грамматика лужицкого языка Иордана 40-ых гг., находящаяся под полным влиянием Добровского. Это также украинская грамматика Лозиньского, изданная в сороковых годах, следующая Добровскому и другие грамматики украинского языка (см. здесь стр. 239 сл.). Это конечно и грамматика

---

[33]) О влиянии трудов Добровского на грамматики славянских языков и о всех этих грамматиках см. детально в моих статьях *Josef Dobrovský, zakladatel vědecké slavistiky* (в сборнике „Co daly naše země Evropě i lidstvu, II, 1940, стр. 10 сл.) и *Význam Josefa Dobrovského pro slovanskou jazykovědu* в указанном новом сборнике „Josef Dobrovský", 1953, стр. 108—109.

[34]) „Ihre treffliche Institutiones Linguae Slavicae dialecti veteris, welche ich sorgfältig benutzt habe, der Anteil an dem kleinen Wörterbuche, welches ich dieser meinen polnischen Grammatik beigefügt, sind die Beweggründe, warum ich diese dritte Ausgabe meiner polnischen Grammatik Ihnen ehrfurchtsvoll widme", пишет Бандтке в посвящении в своей грамматике.

Пухмайера, *Lehrgebäude der russischen Sprache* изданная в двадцатых годах у нас и бывшая хорошей апликацией *Lehrgebäude der böhmischen Sprache* Добровского на русский язык.

Это тем более понятно, что и церковнославянские грамматики того времени исходят из Добровского. Грамматика Пенинского от 1825 г. является, собственно говоря, сокращенной русской обработкой Institutiones и прямо названа кратким курсом из Добровского Institutiones. В рецензии об этой грамматике, на которую я уже раньше обратил внимание (прим. 29) Востоков рассматривает как недостаток именно то, где она уклонилась, или что она опустила из Добровского. На территории тогдашней Австро-Венгрии это грамматика церковнославянского языка от 1830 г. (Лучкая) и 1850 г. (Иоанновича), которые в большинстве случаев опираются на труды Добровского.

Можно кратко сказать, что все грамматические работы небольших славянских народов находятся под глубоким влиянием блестящего подхода Добровского к грамматическому строю языка, поданного им в его блестящих произведениях. Приблизительно до работ Миклошича, т. е. до шестидесятых годов XIX века, Добровский был образцом для грамматической обработки славянских языков. Однако и грамматики Миклошича при основательном их рассмотрении показывают нам, что Миклошич своей ясной классификацией, ясной подачей достоверного материала является не кем иным как хорошим учеником традиций Добровского.

Такие же долголетние традиции имеет и его дихотомическая классификация славянских языков на две группы: западную и юговосточную. Отклики ее находятся в самых разных формах до самого конца XIX века в области славистики. Одинаково долговечна и правильная традиция его помещения кирилломефодийевского языка на территорию Македонии, хотя его ученик Копитар и пытался поставить под вопрос эту теорию, заменяя ее теорией о паннонском происхождении указанного языка. А именно русская славистика переняла взгляд Добровского, почти последовательно применяя его в своих работах (Каченовский, Ламанский, Лавров и др.).

О таком глубоком воздействии Добровского на русскую славистику можно привести и следующие поучительные факты: его знаменитое произведение Cyrill und Method от 1822 г. было уже в 1825 г. издано в русском переводе М. П. Погодина, рассмотренном и поправленном Востоковым.[35] Также его Institutiones сравнительно скоро вышли в свет в русском переводе М. Погодина и С. Шевырева, рассмотренном также Востоковым.[36] Знаменитый некролог Добровского, написанный Па-

---

[35] См. Срезневский, *Переписка Востокова*, стр. 163, 176, 211 и 444.

[36] *Грамматика языка славянского по древнему нарѣчию, ...* Сочинение Аббата Иосифа Добровского, часть I. Перевел съ латинскаго М. Погодин 1833, часть II. и III. Перевель съ латинскаго С. Шевыревъ, 1834.

лацким и изданный в Праге в 1833 г. выходит в 1838 г. в русском переводе А. Царского.[37]) Из этих фактов видно, что известность и деятельность Добровского в русском мире были глубоки и действительно важны.

Именно в России, правда, его труды не издавались без критики. Ведь здесь уже издавал свои новаторские работы Востоков и новые памятники издавал Калайдович. Но следует отметить, что это была критика, вытекающая из продолжения работы Добровского и относившаяся всегда к его трудам с глубоким уважением. Например Востоков уже 1822 г. пишет критически о Institutiones Добровского в письме к Румянцеву (1 мая), но с глубоким уважением: «Я желал бы исключительно заняться оною (грамматикой »славенского« языка), ныне особливо, когда первый в иностранных землях знаток Славенского языка, Добровский, сообщил свету плоды многолетних своих разысканий: Грамматику . . . Я видел экземпляр сей книги . . . и нашел в ней множество превосходных вещей: полноту и основательность, какой только можно ожидать от столь ревностного и опытного разыскателя каков Добровский. Однакож так как он не имел у себя многих материалов, какими мы можем пользоваться в России (например древнейших словесных памятников XI века, каковы Остромирово Евангелие и пр.), то и не мог всего определить удовлетворительным образом. Будущему сочинителю Славенской Грамматики, живущему в России, остается с помощью сих драгоценных памятников пополнить, объяснить и поправить многие недостаточные, сомнительные или ошибочные места в Грамматике Добровского, коей впрочем отдаю я преимущество перед всеми доселе изданными».[38])

Именно русская славистика постоянно и беспрерывно находилась в сношениях с пражским центром славистики, который при жизни Добровского и после его смерти стал образно выражаясь Меккой славистики; представители нового славяноведения, возникшего в 1826 г. в русских университетах учатся из трудов Добровского, приезжают на более краткий или долгий срок учиться в Прагу. Это О. М. Бодянский, кандидат Московского университета, И. И. Срезневский, кандидат харьковского университета, Петр Иванович Прейс, чешского происхож-

---

[37]) *Биография Иосифа Добровского*, сочиненная Ф. Палацким. С немецкого языка А. Царский, Москва 1838, 70 стр.

[38]) С р е з н е в с к и й, *Переписка А. Х. Востокова*, стр. 28—29. — См. и письмо Востокова к Калайдовичу (там же стр. 46) и др., например, письмо Лобойки из Вильно 1824 г. (там же, стр. 147 сл., который подчеркивает значение грамматики Добровского): «Г. Калайдович пишет в предисловии, что он уже получил Добровского Славенскую Грамматику, которая однакож, по его мнению, могла бы быть для него наставительным руководством только в частях, а не в целом. Напротив я, который довольно хорошо вытвердил эту книгу, уверен, что без нее невозможно успешно совершить никакого филологического труда и Г. Калайдович, прочитав ее со вниманием найдет много разрешений на теже недоумения, кои он показывает в Екзархе».

дения, кандидат петербургского университета.[39]) Уже до этого и польская славистика, бывшая сравнительно слабой, стремилась выслать кандидатов своей науки в Прагу. Еще при жизни Добровского сюда был выслан униатский священник Бобровский — в 1819 г. и прилежный Кухарский в 1825 г. Нельзя конечно упрекать Добровского в том, что эти кандидаты в дальнейшем своем развитии совершенно не оправдали ожиданий и отошли от науки.[40])

Итак, из приведенного видно, как в русской славистике того времени Добровского признавали и уважали. Этот перечень можно пополнить упоминанием и о признании официальном. Добровский был членом Российской Академии в Петербурге от 1820 г.,[41]) Общества любителей российской словесности в Петербурге, от 1812 г. почетным членом харьковского университета.

О том, как Добровского и дальше в России уважали и изучали, свидетельствует и следующий факт: в русской славистике есть три довольно обстоятельные работы, анализирующие деятельность Добровского. Это работа Снегирева написанная в 80-ых гг. прошлого века, работа Петровского от 1911 г. и работа Лаврова от 1929 г.[42]) Эти работы о Добровском во многих отношениях более обстоятельны чем целый ряд работ, написанных о Добровском у нас.

Следует отметить, что одним из центров, где с глубоким подходом продолжали работу Добровского, был именно русский центр. Дальнейшим центром, кроме пражского, конечно, был центр в Вене, который был в то время научным центром австрийских славян. Это было заслугой Копитара, бывшего с самого своего прихода в Вену в 1808 г. в постоянных сношениях с «мастером», как он всегда при встречах и переписке называл Добровского. Надо сказать, что Копитар имеет действительно большие заслуги в деле развития венской славистики, нашедшей потом славное продолжение в лице Миклошича, Ягича, Константина Иречка и др.

Копитар, был, конечно, по своему характеру, идеологии и политическим убеждениям прямой противоположностью Иосифа Добровского. В то время как Иосиф Добровский ясно стоял на стороне прогресса, мы видим, что Копитар стоял на позициях австрийского католичества,

---

[39]) См. в указанных выше — примеч. 33 — моих статьях стр. 14 и стр. 113.

[40]) См. В. Францев, *Польское славяноведение* ... (Прага 1906), стр. 260, 398 и др.

[41]) См. *Записки ... Шишкова* II, стр. 376.

[42]) И. Снегирев, *Иосиф Добровский. Его жизнь, учено-литературные труды и заслуги для славяноведения*, 2-ое издание, Казань 1887. — М. Н. Петровский, *Копитар и Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*, Журнал Мин. Нар. Просвещения 1901. — П. А. Лавров, *Ученая деятельность Иосифа Добровского*, Известия по русскому языку 1920, II том, стр. 528—620.

что он исказил и во многих случаях, даже извратил идеологическую установку Добровского, что он довольно легкомысленно отбрасывал инициативные идеи Добровского. Он например заменял его правильную теорию о месте происхождения кирилломефодийевского языка ложной теорией паннонской, в которой проявляется определенный буржуазный шовинизм словенца. Ни одной своей работы он не окончил. Однако, несмотря на все названные отрицательные стороны Копитара, у него нельзя отнять той заслуги, что он действительно убедил Добровского издать свои Institutiones и старательно помагал при их издании, и кроме того, работу Добровского в чисто филологическом отношении сумел сохранить и дальше передать другим работникам венского центра.

Из этого виден ясно один факт: Добровский действительно, как я уже отметил, начинает истинно научное изучение славистики, а именно в самом начале того периода, когда возникают научное общее языкознание и индоевропейское сравнительное языкознание. Главные представители общего языкознания и индоевропейского языкознания моложе Добровского: говорим ли мы о Сильвестре де Сосси (род. 1758), Бернарди (род. 1769) или о Гумбольдте (род. 1767), все они моложе Добровского; их труды выходят в свет часто еще при его жизни, однако уже в то время, когда Добровский свои работы уже окончил. Труды представителей индоевропейского сравнительного языковедения Раска (род. 1781), Гримма (род. 1785), Боппа (род. 1791 г.) печатаются также или после смерти Добровского или в самом конце его жизни. Однако, несмотря на это, можно в полном смысле этого слова утверждать, что Добровский принимал участие в началах сравнительного индоевропейского языковедения, в первую очередь в началах сравнительного славянского языкознания, что он действительно шел здесь впереди нового развития этой науки. Кроме того, по его почину начато было исследование родственности всех угро-финских языков сравнительным методом.

Где можно найти ключ к успешной деятельности Добровского? Ключ находится в двух особенностях: во-первых — в его глубоком и страстном отношении к работе. Очень часто в научной литературе говорят о холоде Добровского. Да, Добровский хотел иметь факты, точный материал, он хотел иметь и должен был иметь ясные обоснованные разумом доказательства и в то же время однако, он питал глубокое чувство к предмету своей работы, чувство, которое он выражал хоть и сдержано, но ясно, и тем убедительнее для каждого, кому понятен глубоко рационалистический подход эмпирика.

Вам, конечно, известно начало журнала Slavin, где Добровский проводит цитату из евангелия от Луки:

„Slawa w-wyšnich Bogu,
i na zemli mir,
w-člověcěch blagowolenije“,

добавляя от себя: „Geh hin zu deinen slavischen Brüdern, aus Böhmen gesendet, lieber Slawin; bringe ihnen diese fröhliche Botschaft. Ich will eben nicht sagen, daß du dir andere gemeine Grußformeln, die freilich sehr verschieden sein mögen, in Ländern, dahin du kommen wirst, nicht geläufig machen sollst. Mit dieser aus der Bibel entlehnten kannst du indessen auslangen, wenn ich besorgen muß, daß man sie nicht überall verstehen wird. Wie wäre es auch im J. 1807 manchem kleinen unter Deutschen wohnenden Völklein zuzumuten, daß es einen Spruch aus dem um das Jahr 865 übersetzten Evangelien noch ganz und leicht verstehen sollte. Daß du slavisch redende Leute irgendwo finden solltest, die gar kein Wort davon verstehen mögen, ist kaum zu glauben“.

Из приведенных слов ясно видно назначение журнала. Назначение его не узко специальное: Добровский хочет, чтобы журнал послужил также и целям ознакомления со славянами. Я имел в текущем, юбилейном году в сборнике посвященном Зденеку Неедлы, уже возможность показать, как действительно указанные журналы, в частности Slavin, были предназначены для определенной пропаганды и даже для защиты дела славян от всякой клеветы, как они были предназначены для пропаганды величия русского народа, предназначены для защиты от всяких нападок распространяемых о славянах.[43])

Если говорить о его личной заинтересованности, стоит только привести известные слова, которые он подготовлял для выступления в «Обществе наук» по поводу приезда императора Леопольда в 1791 году: „. . . jetzt herrschen sie, in und durch den russisch-slavischen Stamm, vom schwarzen Meere bis an das Eißmeer, schließen Vorträge an den Gränzen des chinessischen Reiches, schicken in ihrer Sprache Ukasen auf mehr als zwei hundert Meilen weit und breit, machen Entdeckungen im Weltmeere zwischen Asien und Amerika“.[44]) Здесь взгляды Добровского полностью совпадают с пламенной любовью чешского народа к русским, проявившейся при переходе суворовской армии через нашу страну.

Выражение его чувств уже ясно свидетельствует о том, что деятельность Добровского была сознательно направлена на познание славян и в особенности русских. Такое увлечение в подходе к своему предмету очень важно у Добровского.

Другой характерный признак его работы, дающий нам ключ к пониманию ее действительности это то, что он в настоящем смысле слова умел жить жизнью своего народа.

---

[43]) См. мою статью выше показанную (примеч. 18), стр. 403 сл.
[44]) См. издание его выступления в журнале Listy filologické 45 (1918) 99.

Он действительно умел жить для текущей жизни, для волнующих событий в жизни своего народа. Конечно, это следует понимать таким образом, что он хорошо чувствовал и познавал то новое, что рождается, что рождалось в период великого перехода от феодального общества к буржуазному, что он сумел понять это новое и дать ему крылья науки тем, что придавал этому новому ясную, безоговорочную научную истинность. Именно в этом Добровский является образцом для нас и всей нашей науки, переживающей в наше время период коренной ломки общественного строя, и имеющей полную возможность и обязанность бороться за эту новую жизнь, за эту новую действительность своего народа, своей нации. Следует желать от своего сердца, чтобы Иосиф Добровский был и для нас ярким и действенным образцом.

Богуслав Гавранек

Význam Dobrovského pro vytváření národního jazyka

František Trávníček

Naše t. zv. filologie, jazykozpyt, literární historie a k nim jako pomocná věda přiřaďovaná historie, vyjadřovala na sklonku století 19. a v předmnichovské republice celkové hodnocení činnosti Josefa Dobrovského více méně stereotypními výrazy „zakladatel nebo patriarcha slavistiky, slovanské filologie". Toto hodnocení bylo nepochybně pokrokem proti hodnocení staršímu, které vzniklo již za života Dobrovského, zejména v posledním období jeho životní činnosti, a udržovalo se jistou dobu i po smrti Dobrovského.

Bylo pokrokem proto, že se s odstupem doby ukázal význam Dobrovského pro náš kulturní vývoj mnohem pronikavější, než se zdál jeho současníkům a generaci následující.

Dnes je možno a třeba říci, že ono hodnocení Dobrovského jako zakladatele slavistiky sice podržuje svou platnost, ale nevystihuje plně závažnost a hloubku činnosti Dobrovského pro kulturní rozvoj našeho národa. Dnes je nepochybné, že Dobrovský stál u kolébky našeho národa, že měl svrchovaně tvůrčí podíl na tom historickém procesu, který lze nazvat v stalinském pojetí zrodem našeho národa z jeho staršího vývojového období — z národnosti.

Tento významný dosah činnosti Dobrovského pro náš národ je nám dnes jasný ve světle slavných statí o jazyce geniálního učitele všech národů, budovatele světodějného Sovětského svazu a našeho velkého přítele — J. V. Stalina.

Z jeho jazykových statí vyplývá nad veškerou pochybnost, že Dobrovský pochopil životní význam celonárodního, spisovného jazyka jako základního předpokladu pro rozvoj našeho národa. A poněvadž pobělohorské období bylo krajně nepříznivé živému tradování staršího spisovného jazyka, veleslavínského, uvědomil si Dobrovský nutkavou potřebu knižní kodifikace spisovného jazyka.

A této národní potřebě vyhověl Dobrovský svým dílem *Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache* z r. 1809 a jeho 2. vydáním z r. 1819, *Lehrgebäude der böhmischen Sprache.*

Toto dílo Dobrovského bylo pro rodící se národ bohatým pramenem teoretického i praktického poznání spisovného jazyka a zároveň pevným základem pro jeho další rozvoj jak do šířky, tak do hloubky, a to jako odraz stále a rychle rostoucích výrazových potřeb našeho národa v oblasti hospodářské i kulturní. Tímto svým dílem Dobrovský vydatně napomohl všestran-

nému rozvoji našeho národa, vzájemné výměně myšlenek, která je podle Stalina „neustálou a životní nutností“.

Svrchovaný význam díla Dobrovského pro vývoj našeho spisovného jazyka vyplývá z toho, že Dobrovský dal své mluvnici správnou poznávací náplň. Jeho mluvnice obsahuje mimo stručný úvod o hláskách výklady o tvoření slov a tvarů a výklady o *Wortfügung*, t. j. o spojování slov, neboli syntax. Mimoděk se nám vybavuje v mysli Stalinovo dělení mluvnice na morfologii a syntax a její definice jako „souhrn pravidel o změnách slov a jejich spojování ve větě“.

Tu vidíme, jak hluboko vnikl Dobrovský do podstaty jazyka, z které vyvodil i náplň mluvnice. Ukazuje se to tím více, jestliže si uvědomíme, že je tvoření slov jako samostatná část mluvnice novum Dobrovského. Tuto část mluvnice Dobrovský přesně oddělil od tvoření tvarů a důkladně ji rozpracoval. Nazývá ji *Bildung der Wörter,* kdežto tvarosloví nazývá *Biegung der biegsamen Redetheile,* ohýbání ohebných částí řeči. Proto také rozlišuje Dobrovský *Bildungslaute* a *Biegungslaute,* slovotvorné a tvarotvorné hlásky, t. j. přípony slovotvorné a tvarotvorné.

Dobrovský rozpoznal dva základní typy tvoření slov, a to tvoření slov jednoduchých odvozovacími příponami a tvoření slov složených. Složenin pak rozlišuje několik druhů, na př. složeniny s předponami a s předložkami, se jmény a pod.

Pozoruhodné jsou výklady o tvoření sloves (267 n.), začínající známým rozdělením sloves na 6 tříd, které Dobrovský nazývá *Formen.* Protože to, čemu říkáme formy neboli tvary my, probírá Dobrovský v konjugaci (551 n.), je jasné, že formou rozumí Dobrovský něco jiného. Proto nadpisuje kapitolu o tvoření sloves *Bildung und Formen des Verbi* (267). Formou tu rozumí Dobrovský různou slovotvornou strukturu slovesa, projevující se ve čtyřech základních tvarech, a to v 1. os. sing. přít. č., ozn. zp., v příčestí na *-l,* v příčestí pasivním a v infinitivě. První forma, t. j. 1. naše třída, má podle Dobrovského podobu *nesu, nesl, nesen, nésti,* schematicky *-u, -l, -en, -ti.* Druhá forma zní *minu, minul, minut, minauti,* schematicky *-nu, -nul, -nut, -nauti;* atd.

Dobrovský tu tedy nepřihlíží jen k jednomu tvaru, k infinitivu, jak se to ujalo později, nýbrž k celé tvarové soustavě, snaží se jako všudy jinde plně postihnout její zákonitost.

Názvem *Form* rozumí Dobrovský slovotvornou strukturu slov také jindy. Na př. v kapitole *Formen der Vorwörter* (399), t. j. *Präpositionen,* jak říká jindy.

Při tvoření jednoduchých slov vychází Dobrovský z odvozovacích přípon, ale přitom ne ojediněle přihlíží k významovým kategoriím. Tak připomíná slovesná podst. jm., *Verbalia,* jak je nazývá, *pití, početí*...(109). Dále hromadná jména, *Collectiva,* jako *uhlí, dříví*... Podrobněji si všímá zdrobnělin (141, 151), iterativ a frekventativ.

Tento zřetel k významové stránce proniká i jinde. Na př. když praví o složených adjektivech s *ob-*, *po-* a *na-*, že „zmenšují běžný význam“: *podlouhlý* proti *dlouhý; obstarožný* proti *starý* (227). Nebo když zjišťuje, že adjektiva složená s předponami dostávají „určitější význam“ (tamtéž): *posvátný* proti *svatý; obšírný* proti *široký*. Nebo když pojednává o tvoření komparativu a superlativu (437 n.).

V části o konjugaci (551 n.) je příznačné to, že Dobrovský neuvádí tvary samy o sobě, nýbrž podle jejich základních úkonů. Srov. jeho nadpisy: *Bezeichnung der Personen im Präsens* (551), *Personen des Imperativs* (555), *Bezeichnung des Geschlechts* (559) atd. A teprve v tomto úkonovém rámci probírá souborně příponu v 1. os. sg. *-u, -i*, v 2. *-eš* atd. a pak uvádí celé časovací vzory.

Tu vidíme, že Dobrovský nechápe ohebné tvary formalisticky, nýbrž jako výrazové prostředky mluvnických významů.

V syntaxi Dobrovský o větě jako výrazovém prostředku myšlenky sice zvlášť nevykládá, ale pojem věty je mu běžný. Svědčí tomu zejména rozlišování věty a jejích částí a kapitola nadepsaná *Wortfolge*, obsahující výklady o různém místě slov ve větě, o slovosledu. Nejen to. Všechny ostatní výklady v syntaxi pojednávají o různých stránkách slov se zřením k jejich úkonům ve větě.

Dobrovský probírá syntaktickou látku ve dvou základních kategoriích: *I. Regeln der Angemessenheit*, pravidla o shodě, a *II. Regeln der Abhängigkeit*, pravidla o závislosti, o rekci. K nim připojuje III. kapitolu o elipse a připomenutou IV. kapitolu o slovosledu.

Dva výklady, včleněné do předcházejících částí mluvnice, a to *Verba reflexiva oder reciproca* (341 n.) a *Bindewörter (Conjunctiones)* (441 n.), náležejí svou povahou do skladby. První výklad je ve tvoření slov, druhý ve flexi. Dobrovský je do ní nepojal proto, že nezapadají do žádné z jeho čtyř základních syntaktických kategorií, ale dobře zapadají do nauky o tvoření a flexi slov v pojetí Dobrovského.

Syntaktické výklady Dobrovského podávají jako celek bohaté poznatky o platnosti různých mluvnických tvarů a o jejich spojování ve větě. Těmito poznatky Dobrovský daleko předstihl všechny dosavadní práce o české skladbě, a to nejen co do množství, nýbrž i co do hloubky. Jeho poučky, pravidla, plně odpovídají tomu, co praví Stalin o gramatice, totiž, že „se obírá s tím společným, co je základem změn slov a spojování slov ve větách“. Jeho poučky jsou vskutku výsledkem „abstrahující činnosti lidského myšlení“, jak praví Stalin dále.

Dovolte, abych uvedl to, co praví Dobrovský o funkcích genitivu (683): „Der Genitiv bezeichnet das Verhältniß der wirkenden Ursache, des Besitzes, der Herkunft, des Ganzen, des Maßes, der Größe und alles dessen, wodurch das Substantiv näher bestimmt wird.“ Je to mistrně hutné vystižení základních úkonů genitivu.

Pozoruhodné je to, že se Dobrovský obírá ve své skladbě jen s mluvnickými úkony slov, t. j. s úkony vystupujícími ve větě jako ve výrazové formě myšlenky, nikoli s významy lexikálními, o kterých víme ze Stalina, že jsou spojeny se slovy jako se stavebním materiálem jazyka. Po této stránce postupoval Dobrovský správněji než některé novější práce mluvnické, které neústrojně včleňují do mluvnice výklady lexikologické.

Při hodnocení mluvnice Dobrovského je třeba mít na paměti připomenutou významnou okolnost, že Dobrovský správně chápe mluvnici jako abstrakci, zobecnění konkretního slovního a větného materiálu, jako „výsledek dlouhé, abstrahující práce lidského myšlení, ukazatelku ohromných úspěchů myšlení“, jak praví Stalin.

Dobrovský postihuje ve své mluvnici zákonitosti české jazykové soustavy, neupadá do pouhého prakticismu svých předchůdců, vytvořil dílo na svou dobu pozoruhodné, vpravdě vědecké, vývojově *první vědeckou mluvnici mateřštiny.*

Vědecký ráz mluvnice Dobrovského má mimořádnou důležitost se zřením k připomenuté okolnosti, že byla silně porušena živá tradice staršího jazyka spisovného. Tento starší jazyk ve vyvíjel podle svých vnitřních zákonů, jeho vývoj byl objektivní proces nezávislý na vůli těch, kdo tohoto jazyka užívali. Tito uživatelé do vývoje staršího jazyka zasahovali, ale v souladu s jeho zákonitostmi, které byly odrazem společenských činitelů majících vliv na jazyk. Co se týče mluvnické stavby, připomeňme si Stalinova slova, že „byla vypracována v průběhu epoch“ a „vešla do těla i do krve jazyka“. Zákonitost mluvnické stavby staršího spisovného jazyka „prorazila si cestu a mohla volně působit,“ — abych užil Stalinových slov *(Ekonomické problémy socialismu v SSSR,* Praha 1953, 9) — proto, že se tohoto jazyka plně užívalo jako nástroje dorozumívání celé české pospolitosti. V pobělohorském období však se pole působnosti spisovného jazyka značně zúžilo, jeho strukturní rozvoj byl skoro úplně zastaven, ba neústrojně narušován,[1]) a jeho podrobnější znalost značně upadla.

Za těchto okolností by se byl starší spisovný jazyk v době kolem r. 1800 vyvíjel zajisté živelně, nezcela ústrojně, byl by se silně individuálně rozrůzňoval. To by bylo znamenalo brzdu jeho žádoucího vývoje právě v době, kdy výrazové potřeby jeho uživatelů neustále a rychle rostly.

Dobrovský svou kodifikací zákonů staršího spisovného jazyka usnadnil poznání tohoto jazyka, vydatně přispěl k jeho rozšíření mezi inteligencí a postupně i mezi širokými lidovými vrstvami. Tak mimořádně napomohl Dobrovský rozvoji našeho národa, který nezbytně potřeboval celonárodního jazyka pro svůj všestranný společenský rozvoj. Tak Dobrovský umožnil též další ústrojný rozvoj spisovné mluvy v souvislosti s rostoucími výrazovými potřebami mladého českého národa. Zákonitost mluvnické soustavy Dobrov-

---

[1]) Srov. o tom výstižně u J. *Běliče* v Naší řeči 36 (1953) 193 n.

ského byla živnou půdou ústrojného vývoje našeho spisovného jazyka, účinně mu napomáhala. V tom je *dějinný význam* mluvnice Dobrovského, v tomto smyslu lze nazvat Dobrovského tvůrcem nové spisovné češtiny.

Jeho mluvnice zasáhla účinně, plodně do vývoje novočeského jazyka, a to v míře větší, než si dosud uvědomujeme. Svědčí o tom výmluvně mimo jiné přechodníky. Dobrovský vytvořil pro ně pravidla, která nejsou plným odrazem usu v starším jazyce, a přece se přechodníky ujaly jako sice knižní, ale tvárný výrazový prostředek.

Pravidla Dobrovského jsou umělá, jak se říkává, ale to nevystihuje podstatu věci. Ta záleží v tom, že Dobrovský správně postihl tu stránku přechodníků, která je tvůrčí, schopná vývoje, a pominul stránku odumírající. Přechodníky mají od původu větnou platnost, jsou to od původu jmenné věty, které časem hojně větnou platnost ztrácely, nabývaly povahy příslovečné a stávaly se částí té věty, s kterou prvotně tvořily souvětí. Dobrovský vytvořil pro přechodníky taková pravidla, která je činí schopnými větnou platnost si zachovat, a tím je zbavil toho, co tuto jejich platnost umrtvovalo.

Naše jazykověda má před sebou důležitý úkol, podrobně vysledovat vliv mluvnice Dobrovského na vývoj nové spisovné mluvy. Předpokladem toho je důkladné poznání zákonitostí českého jazyka v této mluvnici obsažených.

Zákonitou povahu mluvnické soustavy Dobrovského musíme mít na mysli při posuzování její materiálové a výkladové náplně v těch případech, kdy se nám zdá, že je tato soustava poněkud archaistická, že některé její příklady nejsou dost vhodné, že něco pomíjí, chybně vykládá atpod.

První dílo mluvnické tak bohatě dokumentované, jako je mluvnice Dobrovského, má jisté nedostatky jako přirozený následek toho, že je lidské poznání ve svém vývoji historicky podmíněno, jak praví Lenin ve spise *Materialismus a empiriokriticismus*. Dobrovský by nebyl mohl vytvořit zákonitou mluvnickou soustavu českého jazyka, kdyby nebyl vycházel z jazyka staršího. V tom se právě projevuje, jak hluboko vnikl Dobrovský do jazykového dění, když si byl vědom toho, že jazykovou strukturu lze plně a správně poznat jen studiem jejího vývoje.

Jestliže Dobrovský uvádí ve své mluvnici nějaký útvar nikoli současný, nýbrž vývojově starší, jde jen o jinou realisaci téže příslušné zákonitosti a není to na újmu zakonitosti samé, v rozporu s ní. Proto byly takové nesrovnalosti v dalším vývoji českého jazyka spisovného takřka vstřebány a nezasáhly do něho rušivě.

A pokud jde v mluvnici Dobrovského o některé závadné jednotlivosti, musíme si uvědomit, že jednotlivosti sice nejsou bez významu, ale nemají význam podstatný. Ten mají zákonitosti, a jsou-li správně zjištěny, nemohou je narušit některé závadné jednotlivosti.

Hledání jednotlivých nedostatků v díle Dobrovského beze zření k zákonitostem v ní zjištěným bylo by nejen nespravedlivé vůči jejímu tvůrci, nýbrž i pochybené proto, že by odvádělo pozornost jazykovědy od vnitřních

zákonů vývoje jazyka, které mluvnice Dobrovského objevila a jejichž studium je podle Stalina hlavním úkolem jazykovědy.

Poučeni Stalinovými staťmi o jazyce a Ekonomickými problémy socialismu v SSSR zjišťujeme, že Dobrovský správně pochopil jazykové dění jako objektivní proces, nezávislý na vůli lidí, jehož zákony má mluvnice zkoumat a nalézat. Vzhledem k tomu je mluvnice Dobrovského dílo vpravdě objevitelské. Tím si vysvětlíme jeho svrchovaný, životní význam pro rozvoj spisovného jazyka a pro rozvoj všeho našeho společenského dění.

Z toho vyplývá mimořádná důležitost díla Dobrovského pro náš jazykozpyt, a to nejen pro připomenutou okolnost, že je to první vědecká mluvnice naší mateřštiny, nýbrž i proto, že toto dílo pronikavě a blahodárně zasáhlo do dalšího rozvoje našeho jazykozpytu. Podrobnější zkoumání tohoto zásahu jsme Dobrovskému dosud dlužni právě tak jako studium vlivu jeho mluvnické kodifikace na rozvoj nového spisovného jazyka.

Na důkaz toho, jak důležitý je pro vývoj naší jazykovědy podrobný rozbor jazykozpytného díla Dobrovského, a to celého, nejen jeho spisovné mluvnice, připomenu jeden výrok Dobrovského v předmluvě k Puchmajerově ruské mluvnici (Lehrgebäude der russischen Sprache z r. 1820), na straně X. Týká se ruských slov přejatých z tatarského jazyka. Zní takto: „Nehledíc k tomu, že Rusové porobení Tatary přejali od svých vládců (Gebieter) značné množství slov a ještě dnes je zachovávají, so blieb doch die grammatische Einrichtung der russischen Sprache ächt slavisch (zůstala gramatická stavba ruského jazyka ryze slovanská).“ Mimoděk se nám vybavuje to, co napsal Stalin ve svých slavných statích o jazyce, když mluví o míšení ruštiny s jazyky jinými: „Slovní zásoba ruského jazyka se při tom arciť doplňovala ze slovní zásoby jiných jazyků, avšak to ruský jazyk nejen neoslabilo, nýbrž naopak obohatilo a posílilo. *Co se týče národní svébytnosti ruského jazyka, nijak neutrpěla,* neboť ruský jazyk tím, že *si zachoval svou gramatickou stavbu* a svůj základní slovní fond, vyvíjel se dále a zdokonaloval podle vnitřních zákonů svého vývoje.“

Tu jasně viděl, jak se Dobrovský dobíral materialistického pojetí jazyka, o kterém svědčí též jeho česká mluvnice a pochopení její důležitosti v celém jazykovém dění, pro vývoj našeho národního jazyka. Je to tím pozoruhodnější, že jde o dobu, kdy bylo vědecké poznání jazyka v samých začátcích, v plenkách. A že se jazykověda ve svém pozdějším vývoji namnoze od materialistického pojetí vzdalovala a upadala čím dál víc do idealismu.

Při plnění těchto dvou základních úkolů buďme si vědomi toho, že je to dnes naše vlastenecká povinnost, neboť naše vlast, vedená dělnickou třídou a jdoucí neúchylně a rychle k socialismu, váží si kulturního dědictví jako tvůrčího činitele v rozvoji národa, uznává potřebu všestranného a pravdivého poznání činnosti všech velkých synů našeho národa.

A Dobrovský je nepochybně velký syn našeho národa.

František Trávníček

Dobrovského zásluha o utváranie národného jazyka

Štefan Peciar

Vo svojom príspevku chcem povedať niekoľko poznámok o vzťahu Dobrovského k Slovensku, k spisovnej slovenčine a o význame Dobrovského pre slovenskú jazykovedu.

Dobrovského úprimné slovanské cítenie, jeho široké bádateľské záujmy, jeho vedecká metóda, založená na štúdiu prameňov a na empirickom poznávaní faktov viedli geniálneho zakladateľa slavistiky k tomu, že sa živo zaujímal o všetky slovanské kmene a národnosti a osobitnú pozornosť venoval najmenším, najviac utláčaným slovanským národnostiam, ktorých kultúrny život bol najmenej známy a najmenej preskúmaný.

Mimoriadny záujem o Slovensko, o Slovákov a ich reč vyplýval u Dobrovského aj z jeho vrelého českého vlastenectva, ktoré sa uňho medziiným prejavovalo v tom, že sa usiloval poznať a vedecky zhodnotiť všetky pramene a zložky českého národného života. Dobrovský sledoval vývoj českej literatúry v Čechách, na Morave i na Slovensku. Vedel, že v 1. polovici 18. stor. mala česká literatúra na Slovensku lepšie možnosti rozvoja ako v Čechách a na Morave. Záujem o slovenčinu u Dobrovského vyvieral aj z jeho názoru na živú reč ľudu. Dobrovský po svojich učiteľoch, najmä po nemeckom jazykovedcovi F u l d o v i, zastával názor, že vidiecky ľud — na rozdiel od mestského obyvateľstva — zachováva svoju reč nepokazenú, s mnohými starými prvkami, a preto sú nárečia výborným prameňom nielen pre obohacovanie spisovného jazyka, ale aj pre vedecké štúdium jazyka a jeho dejín.

Dobrovský využíval svoje styky s učenými Slovákmi na to, aby sa čo najpodrobnejšie oboznámil s jazykovými, literárnymi a etnografickými pomermi na Slovensku. Je známe, aká plodná bola v tomto ohľade korešpondencia Dobrovského s R i b a y o m. Dobrovský totiž ako veľká osobnosť nielen prijímal poučenia, ale zároveň udeľoval rady a pokyny, opravoval chyby, dával bádateľské alebo zberateľské úlohy svojim spolupracovníkom. Ribay, ktorý bol oddaným ctiteľom a spolupracovníkom Dobrovského, stal sa takto na čas zásluhou Dobrovského vedúcou postavou duchovného života na Slovensku.

Pod priamym vedením Dobrovského pracoval v Prahe Štefan L e š k a na doplňovaní slovenských slov v chystanom nemecko-českom slovníku. Veľký vplyv mal Dobrovský aj na Bohuslava T a b l i c a a Juraja P a l-

k o v i č a. Obaja horlivo posielali Dobrovskému zprávy o pomeroch na Slovensku, zasielali mu knihy slovenských autorov a šírili úctu k dielu Dobrovského u svojich krajanov. V Učenej spoločnosti bánskej, založenej Tablicom, nazývali Dobrovského „najučenejším a o slovenskú literatúru v celej Slavii najzaslúžilejším Slovanom". Autoritu Dobrovského uznávali vzdelaní Slováci všeobecne. Je až dojímavé čítať doklady o tom, akej úcte a vážnosti sa Dobrovský tešil u svojich súčasníkov Slovákov. Dobrovský si teda získal veľkú zásluhu o rozvoj slovenského národného života tým, že obracal pozornosť Slovákov na ich materinský jazyk, na ich dejiny, národopis, archeológiu atď.

Nie menší význam pre dejiny slovenčiny má skutočnosť, že Dobrovský svoje vedomosti o slovenčine, ktoré získal korešpondenciou alebo priamym stykom so Slovákmi, zužitkoval pri svojej vedeckej práci, či vo svojich časopisoch, alebo a najmä vo svojich základných veľdielach *Lehrgebäude* a *Institutiones,* v každom iným spôsobom. V *Lehrgebäude der böhmischen Sprache* uvádza Dobrovský množstvo slovenských tvarov, výrazov a zvratov na porovnanie s češtinou alebo na ľahšie pochopenie stavu v češtine. Porovnávacia metóda, ktorej je Dobrovský v oblasti slavistiky zakladateľom, umožnila Dobrovskému využiť vedomostí z mnohých slovanských jazykov i zo slovenčiny aj v *Institutiones.*

Pre slovenčinu sú však Institutiones významné najmä tým, že Dobrovský tu — podobne ako v druhom vydaní *Lehrgebäude* (1819) — podáva klasifikáciu slovanských jazykov, v ktorej slovenčine vymedzuje osobitné miesto. Keďže o tejto otázke podrobnejšie pojednáva V. B l a n á r, obmedzím sa vo svojom príspevku len na poznámky o postoji Dobrovského k osobitnému spisovnému jazyku Slovákov, k bernolákovskej slovenčine. Dobrovský spočiatku posudzoval B e r n o l á k o v krok nepriaznivo. Ešte v *Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache* (1809) píše, že Bernolákova slovenčina, ak si odmyslíme niektoré zvláštnosti, je stará čeština (altböhmisch), a ďalej uvádza, že Bernolákova „novota našla niekoľko prívržencov medzi katolíckymi duchovnými, ktorým sa zdá pohodlnejšie písať svojím žargónom ako naučiť sa čiste česky". „Doch arbeitet Hr. Georg Palkowič, Professor der böhmisch-slawischen Literatur zu Preßburg samt andern gelehrten Slowaken diesem unzeitigen Beginnen entgegen, weil sie wohl einsehen, welche Verwirrung und Nachteile daraus entstehen würden, wenn die Slowaken anderer Gegenden ihre gemeine, oft sehr grobe Sprechart zur Büchersprache erheben wollten" (str. XII). Nemožno však pokladať za náhodu, že v druhom vydaní Lehrgebäude Dobrovský toto odsúdenie Bernolákovej slovenčiny vynechal. Tu iba konštatuje, v čom Bernolák nadväzuje na D o l e ž a l a a v čom sa od neho odchýlil. Pôvodné nepriaznivé stanovisko Dobrovského k Bernolákovi možno vysvetliť najmä nechuťou Dobrovského k radikálnym pravopisným zmenám a jeho odsudzujúcim postojom k puristickému jazykovému novotáreniu, ktoré vtedy v Čechách šírili niektorí gramatikári a ktorému čiastočne podľahol aj Bernolák. Niet pochyb-

nosti, že Dobrovský zmenil svoje pôvodné stanovisko o bernoláčtine a že existenciu bernoláčtiny napokon prijal ako historický fakt. Ba práve existencia osobitného spisovného jazyka, pre ktorý Bernolák napísal všetky základné diela, bola Dobrovského dôvodom pre to, aby slovenčinu uznal za osobitný jazyk, i keď veľmi blízky češtine.

Toto konečné stanovisko Dobrovského bolo na Slovensku iste dobre známe a slovenskí národní buditelia sa naň odvolávajú. Tak napr. Ľudovít Štúr vo svojej *Nauke reči slovenskej* (str. 8) píše: „Medzi učenými mužmi našimi je teraz naspospol uznanuo, že slovenčina tatránska je zvláštno nárečia slovanskuo. Dobrovský, najslávnejší doteraz skusuvateľ reči našej slovanskej, ju za to uznáva a medzi inšie nárečia slovanskie ako zvláštno nárečia kladie.“

I keby bolo diskutabilné, či Dobrovský naozaj pokladal slovenčinu za osobitný jazyk, nemožno poprieť skutočnosť, že kodifikátor novodobej spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr dovoláva sa pri svojom kroku autority Dobrovského. Význam Dobrovského pre vznik slovenského národného spisovného jazyka nebudeme teda vidieť v tom, že Dobrovský svojou klasifikáciou slovanských jazykov dal mimovoľne podnet k vzniku štúrovskej spisovnej slovenčiny, ale v tom, že tento krok, ktorý bol z hľadiska spoločenského vývinu nutný, bolo možno podoprieť aj vedeckou autoritou Dobrovského. Genialita Dobrovského je práve v tom, že vo svojich názoroch nezaostal, ale vnímavo sledoval vývin a pokrok vedy a vedel s ním držať krok až do posledných rokov svojho života.

Ale význam Dobrovského pre vývin slovenského národného jazyka sa nekončí vznikom novodobej spisovnej slovenčiny. Dobrovského diela položili taký pevný základ pre ďalšie štúdium slovanských jazykov, že na ne mohli a ešte stále môžu nadväzovať celé vedecké generácie. To platí osobitne o slovenčine, a to najmä z dvoch príčin. Prvá príčina je tá, že Dobrovský vo svojom diele venoval slovenčine mimoriadnu pozornosť. Štúdium diela Dobrovského poskytuje bádateľovi o slovenčine ešte dnes veľa cenných teoretických a metodologických podnetov. Druhá príčina, prečo Dobrovského diela majú pre štúdium slovenčiny ešte dnes veľký význam, je v tom, že celé dielo Dobrovského je výslednicou a zároveň ukazateľom najlepších tradícií českej i slovenskej vedy. Dobrovský poznal a vedecky zužitkoval všetko vedenie predchádzajúcich generácií o českom i slovenskom jazyku. Nadväzoval nielen na práce príslušníkov českej národnosti, ale hlboko si vážil i práce Slovákov Vavrinca Benediktiho z Nedožier a Pavla Doležala, od ktorých prevzal niektoré správne postrehy. Takto Dobrovský založil tradíciu československej jazykovedy, tú pokrokovú tradíciu, ktorú očistenú od buržoáznonacionalistickej nedôvery a obojstrannej nevraživosti môžeme dnes v ľudovodemokratickom zriadení plne rozvíjať na prospech oboch našich národov a oboch našich jazykov. Najväčší synovia našich národov i v minulosti vždy tvorivo rozvíjali túto tradíciu a jej úpadok nastával len v obdobiach národného poníženia, ako bolo napr. obdobie nacistickej okupácie.

Spomeniem tu niektoré fakty zo slovenskej strany. Ľudovít Štúr, ktorého česká buržoázna veda vyhlasovala za odštiepenca a jeho krok za odtrhnutie alebo za rozkol, nikdy na rozkol s Čechmi nemyslel a vždy mal pred očami nutnosť úzkej spolupráce obidvoch blízkych národov. Hovorí o tom na niekoľkých miestach vo svojich dielach. Štúr sa nielen odvolával na Dobrovského, ale naňho priamo nadväzoval a od neho preberal. Celé partie svojej Nauky spracoval podľa Dobrovského Lehrgebäude. Keď videl, že jeho krok bol trochu radikálny, že je nebezpečenstvo porušenia tradície spisovného jazyka, v niektorých veciach ustúpil (napr. v otázke písania *ypsilonu,* predpôn *s-*, *z-* a i.). Zásady takzvanej opravenej slovenčiny, o ktorých sa r. 1851 dohodli Š t ú r, H u r b a n, H o d ž a a H a t t a l a, v nejednom bode opierajú sa o pravopisný systém Dobrovského, ktorý sa v skratke nazýva analogickým pravopisom. Je to celkom priehľadné najmä tam, kde by pre slovenčinu bolo bývalo možné aj iné riešenie (napr. rozlišovanie singuláru a plurálu príd. mien v mužskom rode). Priamo na Dobrovského nadväzovali aj Kollár a Šafárik.

A tak si pri štúdiu diel Dobrovského uvedomujeme, že bez poznania Dobrovského nemôžeme poznať ani Bernoláka a Štúra, ani ďalší vývoj spisovnej slovenčiny, bez poznania Dobrovského nemôžeme náležite pochopiť a vysvetliť pokrokové tradície našej jazykovedy. A keď uvážime, ako buržoázna veda, z ktorej sme aj my vyšli, vedome zanedbala výskum domácich pokrokových tradícií, ako tieto tradície podceňovala alebo ich falšovala — a o Slovensku to platí dvojnásobne — bude nám jasné, aký obrovský význam má dielo Dobrovského pre ďalší rozvoj nielen českej, ale i slovenskej jazykovedy, ktorá môže rásť len na základe kritického zhodnotenia a prehodnotenia domácich tradícií. K tomu dáva dielo Dobrovského nové a nové podnety.

Štefan Peciar

Josefa Dobrovského
Základy vědeckého studia církevněslovanského jazyka

Josef Kurz

Josef Dobrovský zanechal výrazné stopy své vědecké činnosti ve všech oborech slovanovědění, které první pojal jako samostatný a jednotný vědní celek; největší však jeho práce se týkají *jednak jazyka českého, jednak podrobného zkoumání církevní slovanštiny* v těsném sepětí se všemi k ní příslušnými otázkami; na církevněslovanské otázky se zvláště v posledních dvou desítiletích svého života v největší míře soustředil, takže lze s Jagićem pověděti, že právě v nich vyčerpal svého ducha.

Ale jak právě řečeno, neomezoval se jen na studium církevněslovanského *jazyka;* současně a rovnoběžně s ním zajímal se také o všechny historické, kulturní, literární, paleografické a jiné problémy, které tvoří nerozlučnou součást tohoto studia a jeho neoddělitelné pozadí. Vskutku není žádné sem příslušející otázky, kterou by byl nechal stranou a v které by nebyl zanechal stop své práce. Toto široké stanovisko, nejen tedy obecně slavistické, ale zejména též týkající se církevní slovanštiny, je třeba dobře zdůraznit, protože jazyku a zákonům jeho vývoje lze nejlépe porozumět v celém jeho prostředí a ve spojení se zkoumáním veškerých podmínek jeho života a výskytu.

Přistupme k naznačení *hlavních etap a oborů tohoto rozsáhlého díla.*

I. *Dílo Dobrovského celé se přirozeně opírá o práci předchozí.* Víme také, že Dobrovský byl vždy práci dříve vykonané v nejvyšší míře práv; v každém oboru, o nějž se zajímal, hleděl se především seznámiti s tím, co bylo vykonáno před ním; až úzkostlivě vždy čerpal ze všech zdrojů poučení; starší práce citoval, doplňoval, opravoval, rozbíral, ev. s nimi polemisoval, byl k nim kritický, ale vždy spravedlivý. Abych uvedl aspoň jeden doklad z jeho příprav na *Institutiones,* cituji z jeho korespondence s Kopitarem třebas tuto větu z dopisu ze dne 20. XI. 1811: „Ich habe eben Smotriski's Gramm. mit", píše ze Zásmuk, „und lese sie zum 2ten Male, um keine gute Bemerkung unbenützt zu lassen."[1])

[1]) V. Jagić, *Письма Добровского и Копитара,* Санктпетербург 1885, 230. Víme, že Dobrovský z této mluvnice nejvíce čerpal — ne vždy ovšem zcela k prospěchu věci. Nejvíce je na gramatice Smotrického závislé v Institucích tvarosloví; vcelku je ovšem dílo Dobrovského proti Smotrickému nesmírným pokrokem, jak bude ještě podrobněji ukázáno.

Tedy i církevněslovanské práce Josefa Dobrovského mají své pilíře, a to nejen pilíře z minulosti předcházející před ním bezprostředně, nýbrž i pilíře v dávné minulosti. Vždyť jazyk církevněslovanský byl předmětem filologického zkoumání a pozorování po celé tisíciletí svého trvání.[2]) Dobrovský zaznamenává v úvodu k Institucím velmi pečlivě starší *mluvnickou literaturu,* zvláště od prvních tištěných mluvnic, z nichž nejvýznamnější byla právě vzpomenutá ruskocírkevněslovanská mluvnice ukrajinského slovanověda Meletije Smotrického, po prvé vydaná roku 1618 a později mnohokráte vydávaná a přepracovávaná.[3]) Dobrovský používal také zkrácené mluvnice, zpracované podle vzoru Smotrického pro jižní Slovany od Avrama Mrazoviće,[4]) a znal i ruské zpracování gramatiky Smotrického od Theodora Maksimova.[5]) Cituje i Sparwenfeldův latinský překlad mluvnice Smotrického, který spatřil a studoval v Upsale, a zaznamenává ještě řadu dalších starších mluvnických příruček.[6]) Ale to vše, i když je zajisté důležité a významné to znát a připomenout, přece jen je, abych obměnou užil slov Zd. Nejedlého z jeho právě vydané studie o starší slavistice,[7]) více prehistorií vlastní vědecké práce v oboru církevněslovanské mluvnice než její pravou historií.

Rozumí se, že Dobrovský znal také řadu starších i současných církevněslovanských a podobných *slovníků;* jako první uvádí Zizanijův slovníček již z roku 1596, znal také slovník Pamvy Beryndy z roku 1627 a 1653, dále materiál Sparwenfeldův atd., z novějších pak používal kromě krátkého církevněslovanského slovníku od igumena Eugenije zvláště církevního slovníku Aleksejevova, a ovšem i současných slovníků živého ruského jazyka.[8])

V poznání církevněslovanských *rukopisů* a *církevní historie také slovanské* byl jeho důležitým předchůdcem Josef Šimon Assemani;[9]) v zájmu pak o rozličné *otázky cyrilometodějské* měl nadto kromě starších

---

[2]) Srov. práci M. Weingarta, *Dobrovského Institutiones, část I., Církevněslovanské mluvnice před Dobrovským.* Bratislava 1923.

[3]) Srov. v citované práci Weingartově na str. 24—54. Viz též V. Jagić, *История славянской филологии,* 28—31. Nyní srov. též studii Zd. Nejedlého, *К истории славяноведения до XVIII века,* Slavia 22 (1953) 14—15. — Srov. Dobrovský, Institutiones LVIII; na str. LXIII praví: „Meletii vestigia premens in iis, quae ille recte statuit, in eo multa alia probare non potui, quae auctoritate veterum destituuntur".

[4]) Srov. Institutiones LXII. Psal o ní též v Slavíně. Blíže o ní Weingart op. cit. 56—57.

[5]) Srov. Institutiones LXI; Weingart op. cit. 56.

[6]) Mezi nimi je pozoruhodná ještě knížka Vinogradovova. — Institutiones LX; Weingart op. cit. 57. Jeden Sparwenfeldův kodex cituje Dobrovský v Institucích na str. XII. — Přehled starších církevněslovanských a j. mluvnic podal již před Dobrovským Fr. Alter, *Literatur der Slavischen Grammatiken,* v Miscellanea philologico-critica, Vídeň 1799, VIII.

[7]) Srov. Zd. Nejedlý, Slavia 22 (1953) 2.

[8]) Srov. Institutiones LVII—LVIII, LXII. Recensi slovníku Eugeniova podal Dobrovský v Slavíně; slovník Aleksejevův (a také Polykarpovův) cituje Dobrovský na př. v Institucích na str. 433.

[9]) O něm Jagić v *История слав. фил.* 74; Zd. Nejedlý, Slavia 22 (1953) 18.

pracovníků a kromě znamenitého znalce slovanských dějin Augusta Schlözera[10]) zvláště předchůdce domácí v Gelasiu Dobnerovi a především v svém starším druhu a příteli Václavu Fortunátu Durychovi, který si získal zásluhu o směr prací Dobrovského.[11])

Není pochyby o tom, že obecné podmínky kulturní a politické, plynoucí z přerodu hospodářských procesů a vztahů, samy již připravily zrod slavistiky (krásně to ukazuje Frank Wollman v své studii o předchůdcích Dobrovského v Slavii 22, 1953, 413—426); nicméně, oceňujeme-li závažnost starší práce, vykonané před Dobrovským v oboru církevněslovanského jazyka, písemnictví a otázek cyrilometodějských, souhrnně, nemůžeme nevidět celkovou její nepatrnost a zvláště malou poměrně její váhu vědeckou. Dobrovskému nezbývalo než stavět v mnohých odvětvích a problémech od počátku.

II. Slavistickými a zvláště též církevněslovanskými pracemi naplnil Dobrovský *celý svůj život.*

1. Zájem o církevní slovanštinu se u něho objevuje již v *první* periodě jeho činnosti, kterou lze uzavříti asi rokem 1792. Vyšel, jak známo, z prací exegetických a již v práci *Fragmentum Pragense Euangelii S. Marci vulgo autographi* z roku 1778[12]) dotkl se některých míst církevněslovanského překladu bible, jehož čtení, jak praví, „nemo hactenus collegit“ (18), „nikdo dosud nesebral“.[13]) Přijal, jak se zdá, v této práci podnět Michaelisův, použít slovanské verse ke kritickému studiu biblických textů.[14]) Předtím již asi roku 1776 seznámil se s V. F. Durychem, který jej, jak již pověděno, získal pro zkoumání otázek slavistických a vedl s ním v tomto období (od roku 1778) a po něm až do roku 1800 neobyčejně cennou vědeckou korespondenci, plnou zajímavých poznámek o otázkách cyrilometodějských, v jejichž řešení se ovšem někdy rozcházeli, o církevněslovanském písemnictví a o církevněslovanském jazyce.[15]) Uvedu z ní alespoň jednu významnou jednotlivost z roku 1794, připomenutou již Jagićem:[16]) v dopise z 10. VIII. 1794 podal tu Dobrovský Durychovi podivuhodně přesný výpočet a rozlišení

---

[10]) O Schlözerovi V. Jagić op. cit. 82—84.

[11]) Srov. naposledy kromě citované studie Zd. Nejedlého též jeho *Dějiny národa českého* I, 1953, 68 násl. — O Durychovi vyšel r. 1952 v Turnově populární sborníček *Václav Fortunát Durych* (o něm viz mou zprávu v Slavii 22, 1953, 519).

[12]) Vydáno Čs. akademií věd r. 1953.

[13]) Srov. v uvedené edici na str. 60: „Versionem Slauonicam, qua Russorum Ecclesia utitur cuiusque lectiones nemo hactenus collegit, pariter ut testes graeci textus citamus; usi sumus editione Vilnensi an. 1575; cuius descriptionem variantesque lectiones, e quatuor Euangeliis collectas, breui, si otium nobis fuerit, in lucem dabimus.“

[14]) Srov. H. Kunstmann, *Tři dopisy Josefa Dobrovského Joh. Dav. Michaelisovi,* Slavia 22 (1953) 427—442. Místo, o něž jde, obsaženo je v dopise z 8. X. 1776 (Slavia 434).

[15]) K vydání ji upravil Adolf Patera v Praze 1895.

[16]) Srov. V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache,* 1913, 142. Jagić podal v tomto svém díle na str. 137—142 krátký rozbor hlavních problémů, obsažených v korespondenci Dobrovského s Durychem.

kořenů, předpon a přípon, v nichž se píše na jedné straně nosové ǫ a na druhé straně *u;* ukazuje se z toho, jak byl již tehdy blízký pozdějšímu Vostokovovu objevu nosovek; kupodivu však nepoužil těchto svých přesných starších znalostí v Institucích.[17]) Durych sám pokládal Dobrovského za svou autoritu a sebe za připravovatele půdy pro její zpracování Dobrovským (v dopise z 21. IV. 1792 píše na př.: „Ego agrum faciam, tu coles. Quam ob rem omnem conatum adhibeo, ne tuis opinionibus, dum valeo, contrarius sim; patriam ornem sine dispendio veritatis et fidei historicae";[18]) listy Dobrovského jsou mu cennější zlata. Durych tak sám nejlépe vystihl význam činnosti Dobrovského v poměru k práci své. — S intensivní prací *o církevněslovanské kritice biblické,* které se Dobrovský tehdy věnoval a v níž mu vzletu dodávala i myšlenka slovanská, která mu byla pobídkou k práci (Ribayovi píše dne 22. V. 1787: „Často mě mrzelo, že jsem čítal ve sbírkách variant uváděny příklady armenské, perské a jiné, které jsou mnohem špatnější nežli slovanské, ale že se ze slovanských objevuje sotva 4—5 míst. Není to přece pro nás Slovany malá čest, že můžeme přispět ke kritice Nového Zákona něčím důležitým"), [19]) [20]) souvisel i jeho již tehdejší zájem o řešení otázek týkajících se *poměru staročeského a církevněslovanského překladu bible.*[21])

Zájem o církevní slovanštinu a zvláště též o působení slovanských apoštolů ještě více vznítilo jeho působení na Moravě; jeho korespondence a menší i větší práce vědecké z té doby podávají nám o tom doklady.[22]) První periodu vědeckých prací Josefa Dobrovského uzavírá v roce 1792 jeho *Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur,* v níž také pojednal o rozličných událostech v dějinách naší kultury, majících souvislost s činností cyrilometodějskou.[23])

---

[17]) Srov. v Paterově vydání na str. 318—319.

[18]) Srov. v Paterově vydání na str. 230.

[19]) „Geärgert hat es mich oft, die armen., persische und andere Versionen, die gewiß viel schlechter sind, als die slawische, in den Sammlungen der Varianten angeführt zu lesen, wo aus der slawischen kaum 4 oder 5 Stellen vorkommen. Es ist doch keine geringe Ehre für uns Slawen, daß wir etwas wichtiges zur Kritik des N. T. leisten können" (V. Jagić, *Новые письма Добровского, Копитара и других югозападных славян,* Sanktpeterburg 1897, 502).

[20]) Z církevněslovanských pramenů pořídil varianty Michaelisovi (otištěny r. 1790) a později pro Griesbachovo vydání Nového Zákona.

[21]) *Ueber das Alter der böhmischen Bibelübersetzung,* Abh. einer Privatges. 1782, V, 300—322. — Srov. F. M. Bartoš, *Dobrovský a staročeská bible,* sborník „Josef Dobrovský 1753—1929", Praha 1929, 169—182; Vlad. Kyas, *Dobrovského třídění českých biblických rukopisů ve světle pramenů,* sb. „Josef Dobrovský 1753—1953", Praha 1953, 227 násl.

[22]) Za pobytu v Hradišti psal na př. Durychovi o otázkách českocírkevněslovanských a o slovanské bohoslužbě na Moravě, horlivě studoval české překlady biblí, pokračoval ve studiu biblických překladů církevněslovanských, pomýšlel na vydání slovanské polyglotty biblické. Srov. V. Brandl, *Život Josefa Dobrovského,* Brno 1883, 58, 63—73; F. M. Bartoš, sb. „Josef Dobrovský 1753—1829", 172—174.

[23]) První zpracování s názvem *Geschichte der böhmischen Sprache* je již z roku 1791. Tu pojednává v § 3 a 4 také o činnosti cyrilometodějské, o slovanských písmech, o osudech slovanské liturgie atd. Sázavu vykládal bez souvislosti s činností slovanských apoštolů a tvrdil rovněž, že v 10. století nebylo v Čechách slovanské bohoslužby; atd.

2. Mezníkem v činnosti a v celé práci Dobrovského byla *jeho památná cesta do Švédska a Ruska v letech 1792 a 1793.* Svou cestu, na kterou dlouho předtím myslil a která nebyla věcí náhody, podnikl, jak napsal 14. III. 1792 Durychovi, „ad illustrandam historiam et litteraturam universae gentis slavicae“,[24]) k poznání historie a literatury veškerého kmene slovanského. Na cestě se setkal s Griesbachem a s Schlözerem a po intensivní práci v knihovnách švédských přijel 17. VIII. 1792 do Petrohradu.[25]) Nejvíce materiálu mu však pro jeho studia poskytly moskevské archivy a knihovny, takže si odvezl literární kořist nepochybně značné ceny.[26]) Za svého pobytu v Rusku poznal řadu kulturních pracovníků, mimo jiné na př. též protojereje Petra Aleksejeva, autora církevního slovníku a znalce církevní slovanštiny.[27]) Ruská cesta Dobrovského měla pro tehdejší učený svět, pro českou vědu a pro českou slavistiku a především pro práce o církevní slovanštině nepochybně nesmírný význam; objevila nový svět dotud nedotčených a neprozkoumaných rukopisných pokladů a myslím, že lze právem říci s V. A. Francevem,[28]) že by bez moskevských studií nebylo Dobrovského Institucí, aspoň — dodávám — v té podobě, v jaké byly vydány. Význam této cesty je patrný v celém dalším díle Dobrovského a je třeba jej zdůrazňovat, protože byl pronesen také názor odchylný, ten totiž, že prý ruská cesta Dobrovského neměla pro jeho církevněslovanská studia význam tak veliký a že nebyla mezníkem v jeho práci o církevní slovanštině.[29]) S tím na základě poznání dalších zájmů Dobrovského nelze souhlasit, i když se ovšem *uskutečnění* hlavních prací o církevní slovanštině projevilo teprve za delší dobu. Od ruské cesty poutají slovanské studie Dobrovského mocněji a soustavněji, jeho rozhled se posílil, a od zájmu o různočtení, jimiž se

---

Důkladněji pojednává o týchž otázkách o rok později (tu na př. poučně o emauzském klášteře). Srov. vydání Benjamina Jedličky: *Josef Dobrovský, Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818,* Praha 1936, 7—14, 17—18, 75—86, 88—91.

[24]) Viz Paterovo vydání 212.

[25]) Srov. Brandlův *Život Josefa Dobrovského* 79—80.

[26]) Mimo jiné tam studoval také dílo prvního panslavisty Križaniće (nazývá jej Jiřím Bielikem); pořídil si jako jeden z prvých opis části jeho mluvnice. Vzpomíná na to v dopise Kopitarovi z 22. II. 1812 s podrobnějšími poznámkami o díle Križanićově. Srov. Jagićovo vydání korespondence Dobrovského s Kopitarem 247—248.

[27]) Srov. poznámku 8. — Zmínky o něm jsou v korespondenci s Durychem a j. časté (srov. na př. v Paterově vydání podle rejstříku).

[28]) V. A. Francev, *Cesta J. Dobrovského a hr. J. Sternberka do Ruska v letech 1792—1793,* Praha 1923, 14.

[29]) Srov. M. Weingart, *Dobrovského Institutiones II,* 1925, 73. Weingart op. cit. 67, dělí pak celou činnost Dobrovského pouze na dvě periody, nikoli na tři, jak činí jiní (na př. Jagić), pokládaje za rozhraní rok 1809, rok to seznámení s Kopitarem. Weingart se dovolává podobného mínění N. M. Petrovského (*Копитарь и „Institutiones linguae slavicae dialecti veteris“ Добровского,* 1911, 44—47). Předtím A. A. Kočubinskij ne právem pokládal Dobrovského zájezd na Rus za „věc náhody“ (srov. Francev op. cit. 15). Nově také K. Horálek v předmluvě k vydání *Rossia* Dobrovského (Praha 1953) na str. 5—6 velmi zdůrazňuje význam Dobrovského cesty na Rus, a to nejen v dějinách kulturního snažení českého národa, nýbrž — právem — i po stránce politické. Srov. též Boh. Havránek, sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu, II, Praha 1940, 12.

i v Rusku pro své práce kritické i pro práce Durychovy bohatě zásobil,[30]) přechází k výkladům lexikografickým a mluvnickým, látku svou soustavně rozmnožuje a třídí; a na cestu vzpomíná po celý další život, přispívaje vydatně k poznání ruského jazyka[31]) a zachovávaje city úcty k velikosti ruského národa a zájem o jeho práci.[32]) Po návratu z cesty pracuje o otázkách slovotvorných,[33]) připravuje své stěžejní práce o českém jazyce, pracuje na vyjasnění některých kulturně politických otázek z dějin českých, týkajících se přijetí křesťanství, dále jej poutá problém staročeské bible,[34]) a roku 1806 vydává *Slavín,* zahájený církevněslovanským poselstvím ke všem slovanským národům a plný zájmů o otázky z tohoto oboru.[35]) Jako přílohu k Slavínu vydává roku 1807 svěže psanou a dodnes zajímavou i četby hodnou rozpravu *Glagolitica,* v níž pojednává o hlaholském písmě i o hlaholské literatuře, o původu římskoslovanské liturgie atd.

3. Znamená-li první období činnosti Dobrovského *přípravu* pro jeho studie církevněslovanské, je-li období druhé obdobím již *širokého rozvinutí jeho práce na poli slavistiky a také na tomto poli,* pak je třetí, poslední úsek jeho života *vyvrcholením* jeho činnosti právě v tomto oboru. Začátek tohoto posledního, stěžejního období v životě patriarchy slavistiky datuje se obyčejně od roku 1808, roku to seznámení se Dobrovského s Bartolomějem Kopitarem; lze jej však spíše než v této vnější okolnosti — i když méně určitě — spatřovat organicky v přistupování Dobrovského k uskutečnění synthesy velkolepé práce o církevní slovanštině, spadajícím přibližně do stejné doby, Institucí; myslil na ně dříve, než jej k této práci Kopitar vy-

[30]) Již 18. III. 1793 žádal ho Griesbach, aby nezapomněl na staroslověnské příspěvky pro jeho druhé vydání řeckého textu Nového Zákona, a Dobrovský skutečně během léta jeho přání vyhověl, začež se mu Griesbach listem z 20. XII. 1793 vřele poděkoval. Slovanské varianty Dobrovského vyšly v Griesbachově *Novum Testamentum graece,* Halae Saxonum et Londini, I — 1796, II — 1806, v kritickém aparátu; kromě toho byly tam otištěny Dobrovského popisy rukopisů, z kterých různočtení čerpal. Tyto varianty pak otiskovali nástupci Griesbachovi.

[31]) Srov. nyní K. Horálkovo a M. Heřmanovo vydání Dobrovského příspěvků k poznání ruského jazyka (viz pozn. 29).

[32]) Srov. na př. dopis Dobrovského, poslaný Ruské akademii 11. II. 1820. Praví v něm, že je spolu s jinými českými vědeckými pracovníky hrd na to, že jejich práce, aspoň starší, získaly vážnost ruských učenců, a s radostí a obdivem se vyslovuje o úspěších a podnicích Ruské akademie. Srov. P. A. Lavrov, *Труды Добровского по вопросам древнеславянской письменности и их влияние на труды русских ученых в тойже области,* ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1829“, 231—234. Roku 1820 se stal čestným členem Ruské akademie.

[33]) Srov. A. Dostál, *Práce Dobrovského o tvoření slov,* ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1953“, Praha 1953, 130 násl.

[34]) *Ueber den ersten Text der böhmischen Bibelübersetzung,* Neuere Abhandlungen der kön. Böhm. Ges. der Wissenschaften 3, 1798, 240—266.

[35]) Píše tam na př. o Alterových příspěvcích, týkajících se mimo jiné i církevněslovanského jazyka, podává tabulky církevněslovanského skloňování a časování podle Smotrického a podle vlastního uspořádání, pojednává o starých slovanských rukopisech, recensuje Eugenijův slovník a Mrazovićovu mluvnici (srov. výše pozn. 4, 8), podává úvahy o slovanském překladu Starého Zákona, otiskuje článek *Über die altslawonische Sprache nach Schlözer, mit Anmerkungen von J. D.,* podává poznámky o hlaholici, o řeckém ritu v staroslověnském jazyce v Čechách. Rozbor prací v Slavíně vydaných podává P. A. Lavrov v studii citované dále v pozn. 42, str. 577 násl.

zval,[36]) a 1. I. 1810 Kopitarovi píše, že se sice jeho slovanská gramatika ještě „nezačala", t. j. že z ní nemá ještě docela nic napsáno na čisto, že ji má však v excerptech a nárysech skorem hotovu;[37]) a náběhy k ní jsou patrné již v Slavíně[38]) a v starší korespondenci.

V tomto období vycházejí tedy po studiích, týkajících se Slova o polku Igorově, které vysoko cenil,[39]) po studiu Nestora, jehož textu byl vynikajícím znalcem,[40]) po jeho studiích gramatických, v nichž věnoval dosti místa problémům a dokladům také přímo církevněslovanským, po Slovance a po Dějinách českého jazyka a starší literatury[41]) a po novém vydání jeho české mluvnice a j.[42]) jako plod celoživotní práce jeho slavné *Institutiones*, uspíšené neustálým naléháním Kopitarovým, Kopitarovým neutuchajícím nadšením a horoucím zájmem, a ve Vídni také přímou pomocí.[43]) Ve Vídni spolupracoval Dobrovský s Kopitarem i na církevněslovanském slovníku. A rok po Institucích vydává Dobrovský synthesu svých názorů na otázky cyrilometodějské v pojednání *Cyrill und Method*,[44]) při němž je památný již jeho podtitul „der Slawen Apostel", slovanští apoštolé, kterým dal Dobrovský krásně najevo všeslovanský význam jejich díla.[45]) Roku 1826 přistupuje ještě práce *Mährische Legende von Cyrill und Method*. A z korespondence z těchto posledních let vysvítá stálý zájem Dobrovského o otázky církevněslovanské, náběhy k druhému vydání Institucí nebo aspoň k výtahu z nich, jeho zájem o nové práce a nálezy z tohoto oboru; zejména jsou důležité jeho

---

[36]) Srov. v Jagićově vydání korespondence Dobrovského s Kopitarem (z roku 1885) str. 47 (Dobrovského dopis Kopitarovi z 13. III. 1809): „An eine slaw. Grammatik denke ich (und dachte schon eher daran) nun im Ernste." První zmínka Kopitarova v korespondenci je z 6. II. 1809 (Jagić 34). Nelze říci, že myšlenka napsati slov. mluvnici byla dříve Dobrovskému „vzdálená" (Weingart, *Dobr. Inst.* 80). *Srov. zde dále ještě pozn. 83.*

[37]) Srov. v Jagićově vydání na str. 73: „Meine slaw. Grammatik ist gar nicht angefangen, d. i. noch gar nichts davon ins Reine geschrieben; aber in Excerpten und Entwürfen zu Papier ist sie beynahe fertig. Auch ich schrieb alles lateinisch, wie Sie es wünschen. Nur möchte ich sie zu Wien oder Ofen drucken lassen."

[38]) Srov. zde poznámku 35.

[39]) Roku 1811 pomáhal Josefu Müllerovi v jeho překladě Slova o polku Igorově. V přípisu Ruské akademii z 11. II. 1820 podává kritiku překladu Slova od Požarského. Doklady z této památky uvádí i v Institucích.

[40]) Pomáhal opět Jos. Müllerovi při překladu Nestorovy kroniky, vydaném roku 1812 (*Altrussische Geschichte nach Nestor*, Berlin) a připojil vlastní textově kritickou úvahu. Blíže o ní jakož i o zájmu Dobrovského o Slovo o polku Igorově jedná B. Havránek ve sb. Josef Dobrovský 1753—1953, 110—111. Doklady z kroniky Nestorovy hojně cituje Dobrovský v Institucích.

[41]) V *Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur* z roku 1818 pojednává opět důkladněji než ve vydáních předchozích o společném slovanském základu všech slovanských jazyků, o slovanských písmech, o osudech slovanské liturgie v Čechách atd.

[42]) Výpočet a ocenění prací Josefa Dobrovského podává práce P. A. Lavrova, *Ученая деятельность Иосифа Добровского*, Izvestija po russkomu jazyku i slovesnosti 1929, II, Leningrad 1929, 528—620.

[43]) Srov. M. Weingart, *Dobrovského Institutiones* 80 násl. a dále pozn. 83.

[44]) Nově toto pojednání vydal Josef Vajs 1948 (srov. můj ref., Philologica 6, 1950—1951, 5—6).

[45]) Tohoto názvu užili po něm i další badatelé o těchto otázkách, u nás zejména Fr. Pastrnek ve svém díle *Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda*, Praha 1902.

poznámky a vysvětlivky k *Frisinským zlomkům*, jimiž se první začal zabývat a které vlastně pro vědu objevil.[46]) Uprostřed práce o církevní slovanštině — ještě dne 29. XII. 1828 si dal v Brně ze starého rukopisu opsati slovanskou formuli zpovědní, kterou později pro Kopitara ještě jednou vlastnoručně opsal, zřejmě maje na paměti zkoumání Frisinských zlomků[47]) — zemřel.[48])

III. Přistupme nyní *k stručné charakteristice hlavních prací Dobrovského a jeho názorů o jednotlivých církevněslovanských a cyrilometodějských thematech.*

Z historických a kulturních problémů, s kterými své studium církevněslovanského jazyka těsně spojoval, Dobrovského nade vše lákaly a po celý život zajímaly *rozličné problémy cyrilometodějské.* Kritickým způsobem se, jak praví, snažil vrhnouti světlo v temnou a zmatenou historii obou bratří a zavésti v ní pořádek výslechem starých svědků.[49]) Musíme k tomu poznamenat, že mu byly latinské prameny o životě slovanských apoštolů známy téměř v úplnosti, že však neměl ještě před sebou dva nejdůležitější prameny cyrilometodějské, totiž slovanské Životy.

---

[46]) O Frisinských zlomcích, které hned určil jako památku slovinského původu, píše po prvé v dopise Kopitarovi z 22. VII. 1811 (J a g i ć, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 210—213). Korespondence Dobrovského s Kopitarem je plná zmínek o tomto novém nálezu (srov. index věcí v J a g i ć o v ě edici, 744; je jej však třeba doplnit několika dalšími místy). V roce 1811 byl Dobrovský přímo v Mnichově, kde rukopis nalezl, studoval, přepsal a datoval do 11. století. V dopise z 25. IX. 1811 (J a g i ć op. cit. 281—285) podává jeho text (částečně). „Ergo vobis Carantanis ex animo gratulor“, píše Kopitarovi l. c. Kopitar přijal Dobrovského sdělení s nadšením (srov. op. cit. 286), Dobrovského nazývá právem jejich objevitelem a nejlepším vykladačem. Další text podává Dobrovský v dopise z 19. X. 1812 (op. cit. 292 násl.). Korespondence Dobrovského s Kopitarem přináší také mnoho cenných výkladů k této památce. Srov. též Dobrovského článek v Slovance 1814, 249—251 s názvem *Nachricht von drey slawischen Aufsätzen, welche in einer sehr alten lateinischen Handschrift der öffentlichen Bibliothek zu München gefunden worden sind.* Definitivní výklad zlomků reservoval Dobrovský Slovincům samým. Viz též Fr. K i d r i č, *Dobrovský in slovenski preporod njegove dobe*, Ljubljana 1930, 166.

[47]) „Gestern war ich so glücklich auf eine Beichtformel (bey einem latein. N. Test. hinten angehängt) aufmersksam gemacht worden zu seyn. Ich ließ sie abschreiben und will Ihnen eine getreue Copie davon schicken. Sie ist in Mähren concipirt oder abgeschrieben. Bey weitem nicht so alt, als Ihre krainische, aber doch alt genug, um verglichen zu werden. Ich kenne in nord. Dialekten keine ältere Formel, die man doch nicht entbehren konnte“ (J a g i ć op. cit. 625).

[48]) Srov. též publ. *Dobrovský a Brno*, Brno 1929, zde stať M. N o h y *Pobyt a smrt Dobrovského v Brně* (7—12). Viz též nekrolog Dobrovského od B. K o p i t a r a v Oesterreichischer Beobachter 7. III. a 10. III. 1829 (vyd. R. N a h t i g a l, *Jerneja Kopitarja Spisov* II. del, 2. knjiga, Ljubljana 1945, 194).

[49]) Srov. D o b r o v s k é h o *Cyrill und Method, der Slawen Apostel*, 1823, 3: „Um in die dunkle und verworrene Geschichte der zwey Brüder, Cyrill und Method, Licht und Ordnung zu bringen, ist vor allem nothwendig, ein genaues Zeugenverhör vorzunehmen, die Aussagen der ältern Zeugen nach ihrer Glaubwürdigkeit zu prüfen, die neuern Berichte mit den ältern zu vergleichen, und jene, wenn sie diesen widersprechen, ohne Schonung zu verwerfen, oder wenigstens nicht zu beachten. Nur auf diese Art kann, um mich Schlözers Worte zu bedienen, das Gold historischer Wahrheit von den Schlacken der frommen Fabel geschieden werden.“

1. Z problémů, kterými se zabýval, je tu především *otázka o stáří slovanského písma.* Proti Dobnerovi a v pozdější době i proti Durychovi[50]) stál zde Dobrovský na stanovisku, že cyrilice je písmo *starší* než hlaholice, která mu byla vynálezem charvátských mnichů až z 13. století. Své stanovisko vyložil zvláště[51]) v rozpravě *Glagolitica* a stručně také v předmluvě k Institucím, kdež i v nadpise postavil cyrilské písemnictví na první místo. Ve spojitosti s tím tvrdil pak ovšem také, že před 13. stoletím nebylo žádných hlaholských knih. Proto nemohl náležitě oceniti zejména ani starého kodexu Assemanova, který mu ovšem nebylo dopřáno spatřiti, který však byl již v jeho době znám. Hlaholice vznikla podle Dobrovského z písma cyrilského, vedle něhož připouštěl pro některé její litery také ještě původ z latinky; pro cyrilici vycházel z písma řeckého, pro litery pak, které vyjadřují hlásky vlastní jen Slovanům, hledal původ především v abecedách armenské a koptské. O originálu hlaholských knih biblických správně soudil, že je řecký, tuto okolnost však přičítal závislosti hlaholských textů na cyrilských předlohách, z nichž prý byly hlaholské knihy přepsány. O známých hlaholských rukopisech měl vůbec důkladné vědomosti.

Je známo, že se toto stanovisko Dobrovského ukázalo nesprávným; není také pochybnosti o tom, že zatemnilo názor Dobrovského na některé historické, literární a také jazykové otázky církevněslovanské. Při tehdejším nedostatku pramenů — Dobrovský znal jen texty psané hlaholicí tak zvanou hranatou, charvátskou — bylo ovšem toto stanovisko pochopitelné; nadto pak byla jeho kritika a skepse, obracející se proti vymyšlené legendě o Jeronymově autorství hlaholice a proti snaze odděliti tak charvátský lid od Slovanů východních,[52]) v jeho době nutná, oprávněná a pro další vývoj bádání o těchto otázkách plodná.[53])

Dobrovský si byl ovšem vědom, že vyslovuje pouze hypothesu. Když Šafařík, který byl původně rovněž pro pozdní vznik hlaholice, mínil, že

[50]) Otázkou slovanských písem se zabýval v době tehdejší (1775) též M. A. Voigt v práci *Untersuchung über die Einführung, den Gebrauch und die Abänderung der Buchstaben und des Schreibens in Böhmen.* Srov. Josef Vajs, *Rukověť hlaholské paleografie,* Praha 1932, 24—26; dříve Fr. Pastrnek, *O počátcích slovanské filologie v Čechách, zvláště o Fortunátu Durychovi a jeho poměru k Dobrovskému,* ČČM 70 (1896) 67—80; Jan Jakubec, *Vznik a rozvoj studií slavistických. Slavistika základem slovanské myšlenky.* Literatura česká 19. století, druhé vydání, díl I., Praha 1911, 117—156; V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der ksl. Sprache,* 1913, 133 násl.

[51]) Dobrovský se zabýval otázkou stáří hlaholice od roku 1782 (v práci *Über das Alter der böhmischen Bibelübersetzung,* srov. pozn. 21). V korespondenci s Durychem se této věci Dobrovský dotýká po prvé v dopise z 27. II. 1786 (Paterovo vydání 19): „Miror sane hominem eruditum, qui tam levibus argumentis propugnandam sumsit desperatam causam" (o názorech Dobnerových). Otázkám slovanského písma mnoho pozornosti věnoval v svém spise *Cyrill und Method* z roku 1823.

[52]) „Es sollte aber heißen, die lateinischen Glagoliten, um das Volk von den Griechischen Slawen getrennt zu erhalten, haben die Glagolitische Schrift erfunden, und machten, da jene sich mit dem h. Cyrill als Urheber rühmten, um dem Nationalstolze der Dalmatier zu schmeicheln, den h. Hieronymus, der in jenen Gegenden geboren war, zum Erfinder" (*Glagolitica* 28—29).

[53]) Srov. též Oldřich Králík, *Josef Dobrovský a Gelasius Dobner,* sb. „Josef Dobrovský 1753—1953", 397—402.

názor ten je nezvratný, tu mu Dobrovský odpověděl,[54] že je to názor sice pravděpodobný, že však o nezvratných důvodech zde mluviti nelze, protože se prý temný původ tohoto podniku nedá bezpečně osvětlit.[55]

2. V souvislosti s tím nemohl ovšem Dobrovský pomýšleti ani na hlaholici na Moravě nebo v Čechách. *Liturgii českocírkevněslovanskou* v Čechách v nejstarším období nepřipouštěl a nedospěl ani k správnému názoru na otázku, jak si máme představit její pokračování v klášteře sázavském;[56] projevuje v této otázce nejistotu, což je pochopitelné zejména proto, že nemohl poznati ještě důležitých pramenů k tomuto období, zejména slovanskou legendu o svatém Václavu, objev to Vostokovův.[57]

A s tím souvisí také otázka o vlivu staroslověnského překladu bible na překlad staročeský; řešil ji — proti Dobnerovi a Durychovi, kteří spojitost mezi nimi připouštěli, — záporně.[58] Nedovolil si přestoupiti fakta, která mu byla známa; a naše věda i později, když již rozšířením poznatků a rozmnožením dokladů mohla omyly v stanovisku Dobrovského rozpoznati, dlouho lpěla na jeho názorech.[59]

Dnes se díváme na *nejstarší období našich kulturních dějin a také na další vlivy staroslověnštiny na náš jazyk i překlady jinak,* i když zajisté nemůžeme říci, že bychom toto období již nějak zvláště dobře znali. Není však daleko čas, kdy se i v české vědě důležitost této nejstarší části dějin naší kultury přehlížela nebo přímo zapírala, ne již z nedostatku fakt a pramenů, nýbrž vlivem nesprávného a tendenčního *celkového* názoru na počátky naší kultury.[60] Naše nynější poznání ukazuje, že prostřednictvím světa byzantského a s pomocí jazyka staroslověnského se k nám na počátku našeho státního a kulturního života dostaly základní prvky kulturní orientace slovanské,

---

[54]) Ve vídeňských Jahrbücher der Litteratur 37 (1827) 1—28.

[55]) Srov. také B. Havránek, Věstník čs. akademie věd 62 (1953) č. 9—10.

[56]) Dříve se domníval, že Prokop, který byl v slovanském písmě dokonale poučen, seznal slovanské knihy v Charvátsku, Dalmacii, Slavonii nebo v Uhrách, anebo že se jim přiučil od mnichů z těch zemí do Čech přišlých; v studii prokopské není však ani tohoto poučení. Srov. jeho *Geschichte der böhmischen Sprache* (1791) 320; *Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur* (1792) 39; *Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur* (1818) 47; Josefa Dobrovského *Kritická rozprava o legendě prokopské,* Praha 1929, 40 násl.; Fr. Pastrnek, ib. V—VI.

[57]) Srov. Fr. Pastrnek, *Slovanská legenda o sv. Václavu* (1903), 2—3.

[58]) Srov. výše pozn. 21 a 34. Srov. též Oldřich Králík ve sb. Josef Dobrovský 1753—1953, 407—409.

[59]) Na př. V. Flajšhans. Srov. k věci B. Havránek, Československá vlastivěda, ř. II, 1936, 15 n.; průkopníkem nového správného poznání byl zejména V. Vondrák.

[60]) Ostatně stačí nahlédnouti ještě do nového vydání I. svazku *Dějin české literatury* Jaroslava Vlčka (Praha 1951, Československý spisovatel), v němž se bez jakékoliv vydavatelské poznámky opakují tvrzení, jako že „staroslověnský jazyk u nás nevyrostl z půdy domácí, byl k nám uměle přesazen z dalekých krajů, z vůle dvorů a knížat, a když vůle ta... byla zlomena, podnik jejich odumřel“ (23), a pod. Z úvodu této knihy od Václava Stejskala se ani slovem nedovídáme o velikém postupu vědeckého zkoumání těchto otázek od dob Vlčkových. Veřejnosti byl tak předložen dávno zastaralý názor na tuto periodu naší kultury, se všemi znaky podceňování naší slovanské minulosti. Jsem přesvědčen, že by byl Jaroslav Vlček dal této části svého výkladu zcela jiný ráz a obsah, kdyby byl dílo své k vydání připravoval sám.

které u nás trvaly a byly pěstovány dále a vtiskly pečeť prvnímu období našich dějin a naší vzdělanosti.[61])

Přes svůj skeptický a od nynějšího chápání odchylný názor získal si Dobrovský veliké zásluhy o pěstování těchto otázek. Jeho skepse, *nesledující žádných omezených zájmů*, byla plodná; povzbuzovala a podněcovala k práci, povzbuzovala zájem o tyto otázky a dala program budoucím pracovníkům. Proto budou začátky zkoumání těchto problémů vždy posvěceny jménem Josefa Dobrovského.

3. Zato v jiných otázkách se Dobrovský přiblížil k stanovisku později obecně přijatému. Tak je tomu zejména *v otázce o vlasti staroslověnštiny*.

V první době (1791, 1792) myslil Dobrovský, že staroslověnština, kterou proti staršímu bludnému mínění Schlözerovu[62]) nepokládal za matku, nýbrž jen za sestru ostatních slovanských jazyků,[63]) byla v podstatě dialektem srbským;[64]) ještě roku 1806 se držel domněnky, že staroslověnština byla nejstarším stadiem srbského jazyka.[65]) Musíme ovšem hned připomenout, že Dobrovský, pokládaje staroslověnštinu za nářečí starosrbské, neodděloval zároveň srbštinu od bulharštiny, domnívaje se, že jsou to dva dialekty jednoho jazyka. V tehdejší době vůbec byly vědomosti o bulharštině velice skrovné, ba možno říci, že se o ní neznalo téměř nic.[66]) Nedivme se proto, že Dobrovský bulharštinu od srbštiny přesněji odlišil teprve ke konci svého života. V Institucích se o vlasti jazyka staroslověnského úmyslně nevyslovil,[67]) ale pokládal ji (s názvem *lingua slavica vetus*) za *zvláštní jazyk* své skupiny A v dichotomickém rozdělení slovanských jazyků, za ruštinou a před illyrštinou neboli srbštinou, charvátštinou a slovinštinou.[68]) Blíže

---

[61]) Srov. blíže v mém článku ve sb. Slovanství v českém národním životě, Brno 1947, 9—19, zvl. 12 násl.

[62]) Srov. *Über die altslawonische Sprache nach Schlözer, mit Anmerkungen v. J. D.* Slawin, 1806, 362 násl. (v 2. vydání, Hankově, z r. 1834, na str. 242 násl.): „Bekanntlich gibt es unter den 60 slawonischen Völkerschaften ... eine Menge von Mundarten ... Von allen diesen ist die vorzugsweise so genannte slawonische Sprache die Mutter, zu der die vielen Töchter noch jetzt ein näheres Verhältniss haben als unter sich selbst."

[63]) Dobrovský ibid.: „Das Slawonische als Gattung begreift freilich alle Arten unter sich, aber das Altslawonische, sofern es bestimmter gedacht wird, die Sprache der Cyrillischen Evangelien, ist nicht mehr Gattung (genus), unter welcher Serbisch als Art (species) stehen könnte, sondern ist selbst nur eine Art, so wie die übrigen Mundarten. So betrachtet kann das Altslawonische nicht Mutter von allen übrigen Mundarten sein."

[64]) Srov. jeho *Geschichte der böhmischen Sprache*, 1791, 316, a *Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur*, 1792, 29.

[65]) L. c. v pozn. 62 praví, že se ze staroslověnštiny vyvinula nová srbština („Nur das jetzige Serbische hat sich aus ihr gebildet und verbildet".)

[66]) Srov. stať Stefana Mladenova ve sborníku „Josef Dobrovský 1753—1829", 138 násl. Viz též u B. Havránka ve sborníku „Josef Dobrovský 1753—1953", 101.

[67]) Píše Kopitarovi dne 28. II. 1822: „Ich vermied es absichtlich, mich näher über die Heimath zu erklären, weil ich es erst auseinandersetzen wollte in Cyrills Leben. Judicia sunt libera, sagt irgendwo Cicero." Srov. Jagić, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 463.

[68]) Tak již též v *Geschichte der böhm. Sprache und ältern Literatur*, 1818, 32, a také v *Lehrgebäude der böhmischen Sprache*, 1819, IV—V (ve vydání *Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z roku 1809 a 1819* ve Spisech a projevech Josefa Dobrovského, Praha 1940, 7; v prvním vydání české mluvnice staroslověnštinu jako zvláštní jazyk ještě neuvádí).

promluvil o této věci až ve spise *Cyrill und Method* roku 1823; v jeho závěru (131—133) určuje původ staroslověnštiny kompromisně: šlo prý o starý ještě nesmíšený srbskobulharskomakedonský dialekt; tím vlastně určil původ staroslověnštiny v jihoslovanských končinách tam, kde se v nejbližším zeměpisném sousedství stýkají srbocharvátština, bulharština a makedonština. Takovéto středové postavení vlasti staroslověnštiny se ještě dlouho po Dobrovském přijímalo.[69] Ale Dobrovský se v posledních letech svého života ještě více přiblížil pravému poznání. Jakubu Grimmovi r. 1824 výslovně tvrdil, že vlast tohoto jazyka je třeba hledat v okolí Soluně v okruhu bulharštiny, a v roce 1826 položil bulharštinu před srbocharvátštinu a dal ji dokonce na první místo, když hovořil o nesmíšeném bulharskosrbskomakedonském nářečí jakožto podkladu staroslověnského jazyka.[70] Je třeba výslovně uvést, že Dobrovský neschvaloval tak zvanou *pannonskou* teorii Kopitarovu a že rovněž nesouhlasil s předpokladem Kalajdovičovým o *moravském* nářečí jakožto podkladu první úpravy církevněslovanského jazyka.[71] Podobně zamítal názor, jako by staroslověnština byla bývala od počátku řečí *umělou*. Proti Kopitarovi pravil, že Cyril a Metoděj nebyli z Lublaně, nýbrž ze Soluně; veškeré úsilí Kopitarovo, aby Mistra získal pro své mínění, bylo bez úspěchu.[72] Když Kopitar kladl důraz na staroslověnská slova germánského původu, jako jsou *crьky, popъ, postъ, krьstiti, oltařь, mъnichъ* a j., tu správně mínil, že je nutno dbát *ne tak na jednotlivá slova, nýbrž spíše na gramatické formy*. Jindy mluví o „látce" proti „formě": „möchte er (t. j. Jarnik) nicht nur auf den Stoff, sondern auch auf die Form sein Augenmerk gerichtet haben" (v dopise Kopitarovi z 26. I. 1823.)[73] Toto stanovisko Dobrovského je velmi významné a jako znak jeho pokrokovosti zdůraznil je již Oldřich Hujer, Listy filol. 55 (1928) 364; dovedeme je značně ocenit i dnes, když víme, jak se shoduje s výkladem o význačném místu, které přísluší gramatické stavbě jazyka. Slovní zásoba je nejvíce vystavena cizím vlivům a netvoří specifičnost jazyka, zatím co se „základy gramatické stavby zachovávají po velmi dlouhou dobu, neboť

---

[69]) Srov. B. Ljapunov, *Добровский и восточно-славянские языки* ve sborníku „Josef Dobrovský 1753—1829", Praha 1929, 114—137. Na str. 119 cituje Ljapunov projev V. Jagiće v AslPh 20 (1898) 37, dále upozorňuje, že názor o středovém položení staroslověnštiny měl v 1. vydání své csl. mluvnice také V. Vondrák.

[70]) Srov. V. Brandl, *Život Josefa Dobrovského* 194. Srov. dále místo v dopise Jos. Dobrovského Köppenovi z 14. I. 1826: „Man hat in Macedonien einen Dialect entdeckt, der dem altslawon. am nächsten kommen soll. Dahin verwies schon der Dalmatiner Lucius, und ich habe recht absichtlich den alten Bulgarisch-serbisch-macedonischen Dialekt für die Kirchensprache erklärt. In Mähren ist sie nicht zu suchen, auch nicht in Krain, weil Cyrill schon fertige Bücher mitbrachte, und er seine Sprache nicht zu Laibach, sondern zu Thessalonich erlernt hat." Jagić, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 177, a *История славянской филологии*, 1910, 127 násl.

[71]) Srov. zde poznámku 70. Srov. dále Dobrovského spis *Cyrill und Method* 133.

[72]) Srov. B. Kopitar, *Hesychii glossographi discipulus*, Vindobonae 1840, 48—49; V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der ksl. Sprache*, 1913, §§ 23—25, 145 násl.

[73]) Srov. Jagić, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 487.

mohou, jak dokazují dějiny, s úspěchem sloužit společnosti po řadu epoch" (Stalin).[74])

Otázka o vlasti staroslověnštiny zaměstnávala Dobrovského až do konce jeho života. Nakonec mluvil více a úže o Bulharsku, což je tím podivuhodnější, že neměl po ruce nejstarších památek. Jeho názor ovšem, že se činnost Bratří vztahovala vůbec nejdříve na Bulharsko a pak teprve na Moravu, je dnes překonán.[75])

4. Také *v otázce rozsahu biblických překladů cyrilometodějských* zaujal Dobrovský stanovisko dlouho právem platné. Zprávy o překladatelské činnosti Cyrila a Metoděje byl Dobrovský ochoten přijmouti jen potud, pokud byly potvrzeny existujícími texty. O překladu *celé* bible do církevní slovanštiny v nejstarší době nebylo u něho řeči. Kriticky se drží názoru o malém rozsahu překladu ze Starého Zákona (mimo žaltář prý bylo sotva více přeloženo než nehojná čtení z některých knih), z objemu překladu Nového Zákona pak vylučoval Apokalypsu, protože prý se jí v řeckých církvích neužívá. Pokud jde o liturgii, zavedli Bratří podle něho jen obřad východní; slovanská mše obřadu západního je podle Dobrovského původu mnohem pozdějšího, teprve dalmatského. O překladu církevního zákoníku se u Dobrovského nic nedovídáme. Dobrovský tu vyjádřil stanovisko, které mu dovoloval stav vědění o materiálu, který měl po ruce. Ještě dlouho po něm Jagić v prvním vydání své *Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache* (1900) zaujímal stanovisko k legendární zprávě o úplném překladě[76]) značně reservované a musíme si přiznat, že bez jistých pochybností při posuzování této otázky, která byla v nové době značně posunuta dopředu,[77]) nejsme ani dnes. A další práce o ní půjdou ve směru, který byl ukázán Dobrovským.

5. Velmi mnoho pracoval Dobrovský *o otázkách textové kritiky církevněslovanské;* co na tomto pracovním poli vykonal, zůstane navždy hodno vděčné paměti. Známým znalcům textu biblického Janu Davidu Michaelisovi a Janu Jakubu Griesbachovi rád sloužil snůškami variant z církevněslovanských překladů textů biblických[78]) a ty pak byly otiskovány dalšími vydavateli. Uvedli jsme již, jak se právě při této práci uplatnilo

---

[74]) Srov. *Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných,* Praha 1951, 198, v studii Jos. Stalina *O marxismu v jazykovědě.* — Viz též B. Havránek ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1953", 104—105.

[75]) *Cyrill und Method,* 1823, 80 násl. O tom blíže pojednává Vajs v edici tohoto spisu Dobrovského (1948) 175—177. Bulharských dějin církevních a staré bulharské literatury se týká také Dobrovského recense Kalajdovičova spisu o Janu exarchovi bulharském ve víd. Jahrbücher der Litteratur 32, 1825, 65—67. O této recensi psal G. A. Iľjinskij v Revue des études slaves 4, 1924, 205.

[76]) Srov. Život Metodějův, kap. 15 (M. Weingart—Jos. Kurz, *Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského,* 1949, 183).

[77]) Viz výklad Jos. Vajse v edici Dobrovského spisu Cyrill und Method (1948), 143—160.

[78]) Srov. zde výše sub II, 1 a pozn. 14, 20. Blíže o těchto jeho pracích pojednal Michajlov, *Опыт изучения текста книги Бытия пророка Моисея в древне-славянском переводе* I, Варшава 1912, CLVI—CXCV.

Dobrovského probuzené cítění slovanské. Toto úsilí Dobrovského třeba položit na srdce našim biblistům, neboť jde dnes o pole zcela zanedbané. Často si ani neuvědomujeme, jak významný pramen pro poznání původní podoby biblického textu naskýtá se nám právě v biblických překladech církevněslovanských.[79])

Studia textově kritická vedla Dobrovského i k řešení *otázek o řecké předloze staroslověnských překladů.* Je ku podivu, jak nové zkoumání těchto otázek[80]) potvrzuje jeho výsledky. Nemohu se pouštět do podrobností, uvedu však, že jak ruský badatel o těchto otázkách A. V. Michajlov (srov. pozn. 78), tak i náš zkoumatel těchto problémů Josef Vajs přišli v postupu své práce k závěru, že názory Dobrovského o těchto věcech dosud neztratily svého významu. Při svém podrobnějším studiu zvláště evangelií, apoštola a žaltáře ukázal Dobrovský také na to, že původní slovanský překlad těchto textů neprojevuje vliv Vulgáty, což se opět současným bádáním potvrzuje.[81]) Různočtení souhlasná s Vulgátou vykládá Dobrovský zcela novodobě tak, že se tato shoda zakládá na užití západních variant v řeckém textu.

Dobrovský konečně také první postavil otázky *o redakcích církevněslovanského překladu textů biblických* a připravoval i *dějiny církevněslovanské bible;*[82]) je to dodnes úkol aktuální a nesplněný.

IV. Když jsme takto probrali hlavní problémy církevněslovanských kulturních otázek, které Dobrovský zpracovával současně s problémy jazyka, můžeme přistoupiti *k rozboru jeho díla největšího, jeho Institucí.*

1. Dílo vyšlo roku 1822, uspíšeno neustálým naléháním Kopitarovým,[83]) a nese příznačný název: *Institutiones linguae slavicae dialecti*

---

79) Srov. Michajlov op. cit. 18, Vajs, *Jaký význam má staroslověnský překlad evangelií pro biblickou kritiku a exegesi,* Časopis katol. duchovenstva 63 (88), 1922, 243—247.

80) Srov. práce Jos. Vajse *Dobrovský a biblická kritika* ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1829", 1929, 358—370, *Textová povaha (charakter) staroslovanského evangelního překladu cyrilometodějského,* Księga referatów II-go Międz. Zjazdu Slawistów, Warszawa 1934, Sekcja I, 149—153, a Boh. Ryby *Josef Dobrovský jako textový kritik* ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1953", 1953, 197 násl.

81) Srov. Vajs, Slavia 5 (1926—1927) 158—162, Byzantinoslavica 1 (1929) 4—6; Kurz, Byzantinoslavica 6 (1936) 238.

82) Tak již na začátku roku 1809 píše Kopitarovi: „Zur vollständ. Gesch. der slav. Bibelübers. fehlt nichts als Zeit. Die Sache selbst ist fast fertig. Man wird im Alter etwas schwerfälliger." Dne 6. XII. 1824 píše Köppenovi: „Meine Geschichte der slawon. Übersetz. werde ich wohl noch endigen, ehe ich die Augen schliesse." Srov. Jagić, *Письма Добровского и Копитара,* 1885, 22, 674, 682.

83) O Kopitarově účasti v přípravě na vznik Institucí psali N. Petrovskij, *Копитарь и „Institutiones linguae slavicae dialecti veteris" Добровского,* Žurnal Ministerstva nar. prosv. 1911; Jagić, *Письма Добровского и Копитара* XI násl.; Weingart, *Dobrovského Institutiones* II, 1925, 80—91. O účasti Kopitarově píše sám Dobrovský na konci úvodu k Institucím na str. LXIII—LXIV. Kopitar dodal k Institucím také tři dodatky: Epimetra Kopitarii tria (705—720). Srov. nyní též R. Nahtigal, *Jerneja Kopitara Spisov II. del, 1. knjiga,* Ljubljana 1944, 195—198. Zde jsou na str. 177—187 otištěna plně také uvedená epimetra. Na spěch s přípravou Institucí Dobrovský si také občas postěžoval a na konci úvodu napsal, že si přál „opus

veteris, quae apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci, tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet, česky *Instituce,* to jest *Základy jazyka slovanského starého nářečí, které je obsaženo v posvátných knihách jak u Rusů, Srbů a jiných Slovanů obřadu řeckého, tak i u dalmatských hlaholitů Slovanů obřadu latinského.*[84]) Již odtud je vidět, že je to mluvnice *všech* Slovanů, jichž se jazyk církevněslovanský týká, že *objímá církevněslovanský jazyk ve všech jeho obměnách, ve všech jeho místních i časových redakcích.* Je to patrné dále z předmluvy, v níž autor podává přehled starých slovanských rukopisů a tisků v světovém měřítku; a je to patrné rovněž z celého zpracování látky.

Je třeba říci, že v tomto širokém pojetí nebylo dílo Dobrovského dosud ani předstiženo, ani nahrazeno. V staroslověnských mluvnicích dosud vydaných se většinou popisuje a vykládá nejstarší typ staroslověnštiny, známý z t. zv. kanonických památek, většinou bez jakéhokoliv zřetele ke všem fázím historických osudů a změn církevněslovanského jazyka, ba dokonce většinou také bez kritiky materiálu i z nejstarších památek co do vrstev v něm obsažených. Dodnes nemáme ani gramatiku, neřku-li dějiny církevněslovanského jazyka, které by obsahovaly celý rozsah tohoto jazyka v jeho materii, struktuře a historických osudech. Mělo by být úkolem naší a veškeré slavistiky *aspoň připravovat takovou synthesu v řadě dílčích studií.*

2. Význačnou vlastností Institucí je jejich *založení na pramenech, na dokladech, a to většinou samostatně a nově objevených a vyložených* (autor za nimi putoval po knihovnách a archivech téměř celé Evropy), *a na osobním poznání a prozkoumání mnohých textů.* Projevuje se v tom střízlivý duch, který vždy stojí na reálné půdě faktů a bez nich nedovede a nechce pracovat. Ať nahlédneme do kterékoli části Institucí, všude nás autor materiálem přímo zahrnuje. Teprve z podaných příkladů odvozuje pravidla, často, jako dobrý učitel, indukčně. Hromadí své příklady a doklady (to je třeba u něho odlišovat) tak dlouho, až mu vyplyne pravidlo rázu obecného.

---

magis elimatum prodere in publicum“, že však ustoupil neustálému naléhání přátel a vydal dílo „ante tempus“. V dopise Kopitarovi z 28. VI. 1823 píše: „Hätte man mir noch einige Zeit gelassen, so wäre die Arbeit später, aber gewiß besser ausgefallen. Allein man lockte mich nach Wien, ließ mich Unterstützungen erwarten, und man bezahlte nicht einmal meine Reisekosten. Noch einmal möchte ich mich nicht zum Besten haben lassen“. Kopitar si byl vědom svých zásluh o Instituce (srov. doklady v poznámce Nahtigalově op. cit. 197). O Kopitarových zásluhách o Instituce věděli i Jos. Jungmann, A. M. Bobrowski, A. Legis-Glückselig a j. Kopitar měl vliv i na spis o Cyrilu a Metodu a na přípravu, i když neuskutečněnou, práce o slovanských biblích. Přes veškeré uznání Kopitarovy horlivosti nechtěl bych *mechanicky* začínati třetí periodu v životě a činnosti Dobrovského datem seznámení se s Kopitarem, domnívaje se, že by se byla synthesa slavistického bádání Dobrovského uskutečnila na základě jeho starších příprav i bez této vnější pobídky, i když třebas v jiné formě. *Tato poslední perioda činnosti Dobrovského vyplývá mi organicky z celého jeho předchozího díla a Kopitar byl jejím činným a účinným pomocníkem, povzbuzovatelem a spolupracovníkem.*

[84]) Název *Institutiones* podává Dobrovský po prvé v dopise Kopitarovi dne 20. XI. 1811.

Gramatická pravidla učí abstrahovati z dokladů a z četby textů, což je, jak víme, jedině správné. Dobrovský sám upozorňuje čtenáře,[85]) že bez svědectví kodexů nestanovil žádné pravidlo, „sine auctoritate codicum nihil statuisse“; musíme arci podotknouti, že této zásadě naprosto a zcela důsledně věren přece jen nebyl.

Ale kolik se právě v traktování církevněslovanské mluvnice musíme z tohoto velikého vzoru učit! Vždyť materiál leckterých (ba většiny) nových staroslověnských mluvnic nebývá nejen rozhojňován, ale často ani prověřován! Po té stránce není leckterá nová mluvnice staroslověnského jazyka žádným pokrokem. Materiál bývá přenášen ze starších vzorů, někdy i s chybami. *Mělo by být naším úkolem nově zachytit a důkladně ověřit dokladový materiál, tvořící základ popisu a výkladu gramatické stavby církevněslovanského jazyka, a zakládat své práce vždy na originálních a dobře prověřených faktech.*

3. *Materiál je v Institucích kriticky, exegeticky zpracován.* Záliba Dobrovského v textové kritice se krásně uplatnila právě v jeho největším díle. Autor neustále srovnává rozličné památky a recense církevněslovanského jazyka navzájem a také s řeckým originálem a jde v interpretaci jednotlivých míst do překvapujících podrobností (zvláště v partiích tištěných menším písmem): podle možnosti se snaží rozlišovat a oddělovat tvary a vazby, jak říká, čistě staroslovanské od jejich ruského nebo jihoslovanského zabarvení; svou kritikou se snaží učinit konec dosavadnímu míšení; přitom mu vyplývá velmi často poučení o překladu lepším nebo starším nebo zase horším nebo pozdějším, ale není u něho snad vždy rovnítko mezi starším a lepším![86]) Nejstaršího usu, který někdy zvláště zdůrazňuje, se ovšem nemohl často dobrat, právě pro neznalost nejstarších památek. Proti starším mluvnicím, které neodlišovaly vliv národních jazyků od staroslověnského základu, a podávaly kodifikaci jihoslovanské nebo ruské podoby církevní slovanštiny, je u Dobrovského po této stránce viditelný pokrok, a byli si toho vědomi již jeho současníci, zvláště Kopitar, který chválil toto rozlišování, i když je právem pokládal jen za *počátek* tohoto postupu a měl v tom směru další poznámky;[87]) Kopitar vůbec vybízel Dobrovského k rekonstrukci Cyrilova překladu, aby tak, jak praví, postavil korunu svým studiím.[88]) Dobrovský tu byl v těžším postavení než jeho znamenitý mladší ruský vrstevník V o s t o k o v. V Institucích mohl podat jen zprávu o Ostromirově evangeliáři a o Mstislavově evangeliu, o nichž nepochybuje, že se *právě v nich* naléză starý Cyrilův překlad, a nabízí své síly k vydání těchto památek. Teprve po vydání Institucí získal podrobnější informace

[85]) Institutiones 547.

[86]) Vůbec mu pak snad nešlo o to, zdali Cyril překládal *správně*, nýbrž jen o to, aby zjistil prostředky, kterých při překladě používal; k dílu cyrilometodějskému nepřistupoval s žádným zaujetím. Srov. na př. toto místo z jeho korespondence s Kopitarem: „Mir ist es gar nicht darum zu thun, ob Cyrill *richtig*, sondern nur mit welchen Worten (in Rücksicht der Sprache) man übersetzt hat“ (7. VIII. 1810).

[87]) Jahrbücher der Literatur 17 (1822) 66 násl., (N a h t i g a l op. cit. 208, 217 násl.).

[88]) Srov. i N a h t i g a l op. cit. 205, 208.

o vlastnostech Ostromirova evengeliáře.[89]) A jako by tušil a předvídal *nejvzácnější* naleziště staroslověnských památek, čekajících na své odkrytí, volá: Kéž by bylo dovoleno bez nebezpečí navštívit horu Athos![90]) Jen třeba litovat, že osobně nepoznal známý již v tehdejší době kodex Assemanův, který asi přezíral pro své názory o pozdním původu hlaholice.[91])

4. Ale nejen srovnávání rozličných památek navzájem, nejen srovnávání recensí staroslověnského překladu, ale *také stálé srovnávání s jazyky slovanskými ostatními činí Instituce památnými.* Je to ve *všech* částech této mluvnice. Tak v hláskosloví srovnává církevněslovanskou výslovnost s výslovností jiných slovanských jazyků a mimo jiné na př. pozoruhodně konstatuje rozdíl v místě přízvuku mezi jazykem ruským a srbským. Do oddělení o tvoření slov pojal nejen *paralely* z ostatních jazyků slovanských, ale i heslová slova z těchto jazyků, v církevní slovanštině nedoložená; a velmi významná je tato srovnávací stránka zvláště ve skladbě, jak jinak ani nemůže být.

Tímto srovnávacím zaměřením svých výkladů, které Dobrovský podnikal záměrně nejen za tím účelem, aby vyložil v plné šíři, rozsahu a významu dané zjevy, ale také aby pomohl při studiu ostatních jazyků slovanských, je nejkrásněji již v první veliké vědecké mluvnici církevněslovanského jazyka doložen význam staroslověnského jazyka pro historickosrovnávací studium slovanských jazyků, stejně pak obráceně pomoc ostatních jazyků slovanských staroslověnštině samotné, jejíž studium se bez srovnávacího hlediska nemůže obejíti.[92])

Dobrovský tak podal v svých Institucích více, než hlásá jejich titul; je to první velkorysý náběh nejen pro široké poznání církevněslovanského jazyka ve všech jeho podobách, ale také *první náběh k srovnávací mluvnici slovanských jazyků.*

5. Je třeba dále vytknouti, že Dobrovský v svých Institucích stejně jako v své české mluvnici podal *všestranný výklad mluvnické stavby církevní slovanštiny po všech stránkách.* Po úvodních výkladech, v nichž se podává poučení o místě staroslověnštiny mezi slovanskými jazyky a pojednává o slovanských písmech, překladech, památkách a tištěných knihách, jakož i o pracích předchůdců, následuje hláskosloví, které ovšem autor pokládá za pouhý úvod k mluvnici, dále nauka o tvoření slov, nejrozsáhlejší to a velmi cenná část Institucí, která je přesně odlišena od tvarosloví, ohýbání slov (nauka o tvoření slov: De vocum formatione; tvarosloví: De vocum flexione), a konečně je tu skladba (De vocum constructione). A řekl bych, že je tu ještě více: v nauce o tvoření slov, kde se obšírně vykládá o kořenech slov, o odvozovacích příponách a o tvoření jednotlivých druhů slovních, je podán také rozbor slovního bohatství církevněslovanského jazyka, a to

[89]) Od A. Ch. Vostokova. Srov. I. Sreznevskij, *Переписка А. Х. Востокова,* 1873, 100—116.

[90]) Institutiones XXIII: Utinam montem Atho sine periculo adire liceret!

[91]) Srov. můj článek *O potřebě nového vydání rukopisu Assemanova,* Listy filol. 53 (1926), 106 násl.

[92]) Srov. v Slavii 22 (1953) 230—246 můj výklad o těchto otázkách.

i s občasným zřetelem k vrstvám v něm se vyskytujícím, čímž se tato část stala předchůdkyní pozdějšího Jagićova rozboru v edici kodexu Mariánského (1883), v *Entstehungsgeschichte* (1900, 1913) a j. A nutno dodati, že při výkladu každého dokladu podává autor pravidelně i jeho latinský překlad a projevuje vůbec veliký smysl pro přesné vystižení významu každého slova.[93])

Tak obsahují Instituce úplný a všestranný výklad o církevněslovanském jazyce jako o soustavě a nebyly po této stránce v budoucnosti dosud předstiženy. Většina církevněslovanských mluvnic vydaných po Dobrovském nemá totiž některých oddílů výkladu, obyčejně schází kmenosloví a skladba; z novějších mluvnic na př. mluvnice Dielsova, francouzská Kuľbakinova, van Wijkova, Lehrova, Słońského a jiné omezují se jen na hláskosloví a tvarosloví; a pokud máme někde i výklady z kmenosloví nebo skladby, bývají to jen *zárodky* úplného zpracování, pouhá rudimenta. Možno poukázat dokonce na to, že syntax Institucí je vlastně dosud aspoň co do počtu stran nejobšírnější staroslověnskou skladbou. Tato část, dodávám, ostatně nejméně zastarala, protože se syntaktický ráz jazyka dosti dobře zachoval i v pozdějších památkách, které mohl mít Dobrovský po ruce.

Vyplývá odtud pro nás úkol: *pracovat právě o těchto zanedbaných částech mluvnice církevněslovanského jazyka, totiž o tvoření jeho slov a o jeho skladbě.*

6. A tu jsme u věci, která nám Instituce přibližuje dnešku: *jejich výklady leckdes nezastaraly docela nebo alespoň, a to často, zůstávají východiskem dalšího poznání.* Mnohdy jde o jednotlivé velmi dobré postřehy, které mohou být stále užitečné. Jsou takové znamenité jednotlivosti v celé mluvnici.[94]) Zůstanu-li příkladem u syntaxe, tu mohu konstatovat, že on *první* pojednal o skladbě supina,[95]) o dativu absolutním, o dativu cum infinitivo, o rozličných konstrukcích participiálních atd., mohu poukázat na jeho zajímavé výklady na př. o syntaxi číslovek, o vazbách pádových (na př. o syntaxi genitivu a lokálu, při němž zná doklady prostého lokálu u řady sloves, jako *kosnǫti sę, prikosnǫti sę, prikasati sę, prilěpiti, priměšati sę, prileźati, prilьnǫti, prilagati sę, približiti sę, priobьštati sę, naležati, nadějati sę* a pod., u adjektiv a v příslovečných určeních času a místa s doklady ze subskripce Ostromirova evangeliáře), o užívání přivlastňovacího zájmena *svojь* (poučuje, že se místo *svojь* klade někdy také *mojь, tvojь,* ale nevykládá snad doklady takové jen vlivem originálu, ba tento výklad ani nepodává, nýbrž jemně vyciťuje, že se jich užívá hlavně v protikladu) atd. Podobně podal základ výkladu o t. zv. genitivu-akusativu. Nebo čteme na př. v tvaro-

---

[93]) Ve Vídni pracoval Dobrovský s Kopitarem také o přípravě církevněslovanského slovníku, po vydání Institucí zval pak Kopitar Dobrovského za tím účelem k nové návštěvě Vídně. Potom myslil na sestavení církevněslovanského slovníku Kopitar sám. Srov. Institutiones LXIV, Nahtigal, *Jerneja Kopitara Spisov I. del,* 198 v poznámce, 199.

[94]) Tak na př. pozoruhodně třídí v hláskosloví hlásky na podkladě fysiologickém. Srov. A. Frinta, *Dobrovský-fonetik,* sb. „Jos. Dobrovský 1753—1829“, 89 násl., 93—94.

[95]) Srov. o tomto tvaru názory Vostokovovy a Kopitarovy; Nahtigal op. cit. I, 230, 231.

sloví na str. 545 zajímavé zjištění, že se opisná forma praeterita místo tvaru jednoduchého ujala nejčastěji v druhé osobě singuláru, a to za účelem odlišení druhé osoby od osoby třetí, s níž zněla v jednoduchém præteritu, v aoristu, stejně; v rozpravě věnované tomuto thematu právě 100 let po Institucích, v rozpravě to přicházející k výkladu stejnému, marně bychom hledali aspoň připomínku tohoto postřehu Dobrovského.[96]) Původ výkladu té nebo oné věci uvádíme často z odborného spisu vzniklého dlouho po Institucích, ačkoliv prioritu postřehu má tu již Dobrovský.

Uvedl jsem hned na počátku svého výkladu, jak se Dobrovský vždy snažil navazovati na předchozí práci. Stejně i my bychom měli dosud podle potřeby nahlížeti do jeho církevněslovanské mluvnice. Měli bychom dbát významu Dobrovského *nejen v historické perspektivě dějin církevněslovanského zkoumání, nýbrž podle potřeby i při speciálním zkoumání církevněslovanských otázek.*

7. Dobrovského Institutiones a celé jeho dílo církevněslovanské mají také své *místo v didaktice, ve vyučování staroslověnštiny.* Víme dobře z života Dobrovského, že byl výborným učitelem a že vyučoval rád. Základy staroslověnštiny podával jak seminaristům hradištským, tak i svým soukromým žákům v Praze; podobně učil staroslověnštině v Praze i lužickosrbské alumny. Učitelem byl i podáváním látky i svým naprosto jasným, přesným a výstižným stylem, rozdělením látky atd. Své theoretické výklady v Institucích na konci hláskosloví, tvarosloví i knihy celé spojil s podrobným výkladem praktických ukázek, čímž jeho mluvnice dosud nepozbyla svého kouzla.[97]) Tak činil i jinde, na př. v *Glagolitikách*;[98]) ve spise *Cyrill und Method*[99]) atd. *Vycházel vždy od textů a od jejich podrobného rozboru.* Známa je rada, kterou 13. III. 1809 odpovídá na Kopitarovu otázku, jak a jakou nejúčelnější cestou se může stát důkladným slavistou. „Jen staroslověnštinu byste musil studovat za tím účelem. Stačí si jen jednou pročísti žaltář a evangelia, ale s neustálou analysou až na kmenové slabiky ... Našel-li byste staré srbské žaltáře (tištěné v Benátkách), tím lépe. Jinak se člověk učí ruské staroslovanštině, a nikoliv slověnské srbštině. Jen touto cestou možno se státi důkladným slavistou.“[100]) A Ribayovi 28. IX. 1786 radí podobně: „Učte se ... jen staroslověnštině, bude se Vám

[96]) St. Słoński, *Tak zwane perfektum w językach słowiańskich* (Prace Filologiczne 10, 1926, 1—33; ale rukopis vznikl již v r. 1922 — datován je v červnu 1922 — a zvl. otisk je z r. 1923 —, srov. O. Hujer, Listy filol. 52, 1925, 376—377).

[97]) V Institucích je těmto ukázkám a rozborům věnováno 49 stran.

[98]) V Hankově vydání Glagolitik z roku 1845, 77, 79—80, a tabulky.

[99]) *Cyrill und Method* § 24, str. 126—131.

[100]) Dopis Dobrovského z 13. III. 1809 (vydání Jagićovo z r. 1885, 46): „Nur das altslaw. müßten Sie studiren in dieser Hinsicht. Es braucht weiter nichts als einmal den *Psalter* und die Evangelien durchzulesen; aber mit beständiger Analyse bis auf die Stammsylben, ... Sollten Sie alte serwische Psalter (zu Venedig gedruckt) vorfinden, desto besser. Sonst lernt man russisch-slawisch und nicht slaveno-serbisch. Nur auf diesem Wege kann man ein gründlicher Slawist werden.“ Na tento citát — stejně též i na další — upozorňuje M. Weingart, *Dobrovského Institutiones* 7, 69 a v *Rukověti jazyka staroslověnského* 1937—1938, 98 (bez překladu), B. Havránek, sb. „Josef Dobrovský 1753—1953“, 99.

to zcela dobře líbit Dobré služby by Vám poskytla Grammatika Slawenskaja Smotriského (Benátky 1753). Ale nepotřebujete k tomu ani gramatiky; vezměte si na př. žalmy tištěné u Kurzbecka ve Vídni nebo bibli — a srovnávejte je kus za kusem s originálem, a budete si gramatická pravidla sám abstrahovati.“[101]) V prvním dopise Kopitarovi z r. 1809 vyslovuje přání, aby někdo srovnával slovinštinu (kraňštinu) se staroslověnštinou, a dodává: „Mám-li žáky, kteří filologicky pěstují jazykové studium, začínám vždy se staroslověnštinou, a to s užitkem.“[102]) Dobrovský tak ukázal první na veliký didaktický význam studia staroslověnštiny pro historickosrovnávací studium všech slovanských jazyků a ukázal také, jak je možno a nutno se staroslověnštině učit. V tom je jeho odkaz dalším generacím slavistů. Tento odkaz byl pak tradován dále zvláště též Miklošičem, Jagićem a jinými slavisty, u nás na př. profesorem Pastrnkem.[103]) Myslím, že bychom měli této didaktické stránce studia staroslověnštiny věnovat vážnou pozornost a *starat se o pozvednutí úrovně vyučování staroslověnštině.*

8. Nesmíme ani zapomenouti na tu okolnost, že Instituce byly napsány latinsky a že umožnily i neslovanským národům poznání církevněslovanského jazyka a jeho prostřednictvím i ostatních jazyků slovanských. Tento jejich význam byl dobře zdůrazňován již současníky, zvláště B. Kopitarem v korespondenci i v recensích.[104]) Umožnily také použití těchto poznatků zejména v jazykovědě srovnávací a uvedení tak slovanských jazyků v obor zkoumání jazykozpytu světového. — Miloš Weingart k tomu správně ukazuje, i když zachází částečně trochu daleko, jak Dobrovský užíval také metod srovnávacího jazykozpytu; „plně oprávněný... je požadavek, aby byl Dobrovský v dějinách jazykovědy uváděn mezi těmi, již stojí

---

[101]) Jagić, *Новые письма Добровского, Копитара*... 488—489: „Lernen Sie, weil Sie Gelegenheit haben, nur altslavisch, das wird Ihnen recht gut gefallen. Smotrisky Grammatika Slawenskaja, Venedig 1753, würde Ihnen gute Dienste leisten. Allein Sie brauchen nicht einmal eine Grammatik dazu; nehmen Sie z. B. die Psalmen bey Kurzbeck in Wien gedruckt oder eine Bibel — und vergleichen es stückweise mit seinem Original, und Sie werden sich die grammatischen Regeln selbst abstrahiren“.

[102]) „Möchte doch jemand das Krainische mit dem altslaw. vergleichen. Ich fange, wenn ich Schüler habe, die als Philologen das Sprachstudium treiben, immer mit dem altslaw. an und mit Nutzen.“ (Jagić, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 22.)

[103]) Srov. můj článek *O korespondenci Vatroslava Jagiće profesoru Františku Pastrnkovi* ve Věstníku České akademie věd a umění 60 (1951) 117—118. Budiž dovoleno při této příležitosti vzpomenouti na tohoto vynikajícího vysokoškolského učitele staroslověnštiny, od jehož narození uplynulo v minulém roce 100 let. Bližší ocenění jeho vědecké a učitelské práce v oboru staroslověnštiny podal jsem v Časopisu pro moderní filologii 28 (1942) 1—28, zvl. na str. 1, 4—11, 6.

[104]) Kopitar napsal v recensi vydané v Jahrbücher der Literatur 17, 1822, 66 násl. (vydání Nahtigalovo 1. svazku II. dílu Kopitarových spisů na str. 211): „Alle Liebhaber des Slawischen, sey's aus Beruf (Geistliche), oder bloßer Wissbegierde, werden ohnehin eilen, sich das Werk selbst anzuschaffen. Aber auch andere Sprachforscher, die z. B. wie Fr. v. Schlegel etc. das Indische etc. mit europäischen Sprachen vergleichen wollen; *Etymologen*, denen es um feste Grenzen ihrer Wissenschaft zu tun ist etc. werden die meisterhafte Zusammenstellung und Erläuterung der slawischen Sprachwurzeln S. 81—289 nicht ohne reichlichen Gewinn und hohe Befriedigung aus der Hand legen.“ V svém nekrologu o Dobrovském v Oesterreichischer Beobachter 7. III. 1829, č. 66, a 10. III. 1829, č. 69 (v druhém dílu II. svazku Nahtigalovy edice Kopitarových spisů str. 193—194) píše Kopitar o vlivu Institucí na Jak. Grimma a na jiné německé učence.

na prahu nové éry jazykozpytného bádání, což se bohužel dosud neděje" (O. H u j e r, Listy filol. 55, 1928, 363).[105])

9. Dnešní jazykozpyt dovede ovšem Institucím také mnoho vytýkat. *Ale především se musíme rozhodně postavit proti tomu, aby byly Institutiones nehistoricky oceňovány tak, že by bylo jejich autorovi vytýkáno, že neví, co o té nebo oné otázce víme po 130 letech dnes my.* Tak je tomu na př., když se poznamenává, že při adverbiích *dolu, nizu* Dobrovský na lokály *ŭ-* kmenové bezkoncovkové s plným dlouhým stupněm *-ōu̯-* nemyslil,[106]) nebo že si ještě nebyl vědom rozdílu mezi kvalitativním a kvantitativním střídáním samohlásek,[107]) nebo že nevěděl o etymologickém původu epenthetického *n*,[108]) nebo že nevěděl o melodické stránce přízvuku a tím i o intonaci,[109]) nebo že neznal fysiologického vysvětlení změny *dt* v *st*.[110]) „Kdy pak teprve byly tyto věci poznány," poznamenává v recensi práce takto postupující profesor O. H u j e r. „Nezáleží přece na tom, nedovedl-li Dobrovský jisté věci vyložit tak, jak je nyní vykládáme my, jde přece o to, co Dobrovský viděl a vykládal už tenkrát správně, o mnoho předbíhaje leckdy svou dobu."[111])

Spíše můžeme, máme-li na mysli *tehdejší* stav vědění a materiálu, právem opakovati[112]) *výtku jisté nedůslednosti a libovolnosti* v postupu Dobrovského, který přes svou zásadu, nechat mluvit pouze dokumenty, dosazuje leckdy útvary památkami málo doložené nebo vůbec nedoložené. Ač na př. ví, že památky užívají jerových hlásek dvou, píše jen jer jediný, měkčící; ač zná na př. tvary složených adjektiv na *-ujemu, -uumu, -umu,* dosazuje do paradigmatu tvar na *-omu*; nebo přijímá od Smotrického mimojazykové, pravopisné znaky k rozlišování tvarů, ačkoliv dobře ví, že pravidel takových památky staré neznají [píše na př. *jego* v akusativě s obyčejným *-o,* kdežto v genitivu s omega (*-ω*); podobně píše adverbia na *-o* s omega *-ω*, na př. *dobrω*, kdežto obyčejné *-o* na konci slova píše tehdy, jde-li o jmenný tvar adjektivní].

Nedůslednost je zajisté i v tom, že se nedovedl zbavit veskrze živlů dialektických, které i u něho s útvarem původním splývají někdy neodlučitelně, a že zejména ve výkladu skloňování ponechal pestrost tvarů, přecházející někdy až ve zmatek, v němž je těžko se vyznati, i když tu zajisté mnoho zavinily samotné dokumenty, kterých mohl používati.

---

[105]) Zakladatel srovnávacího jazykozpytu indoevropského Fr. B o p p používal od druhého dílu své srovnávací mluvnice (od r. 1835) při srovnávání také jazyka církevněslovanského, a to na základě Dobrovského Institucí. — O významu prací Dobrovského pro studium srovnávacího jazykozpytu srov. W e i n g a r t, *Dobrovského Institutiones* 84, poznámky O. H u j e r a Listy filol. 55 (1928) 361—365, a B. H a v r á n e k, sb. „Josef Dobrovský 1753—1953", 98.

[106]) W e i n g a r t, *Dobrovského Institutiones* 147.

[107]) Ibid. 124.

[108]) Ibid. 125.

[109]) Ibid. 128.

[110]) Ibid. 125.

[111]) Listy filol. 55 (1928) 362. — Viz též podobné poznámky O. K r á l í k a o V a j s o v ě edici spisu *Cyrill und Method* ve sb. „Jos. Dobrovský", 1953, 363.

[112]) Srov. J a g i ć, *История*, 125—126.

A můžeme s Jagićem opakovati výtku, že při značném smyslu pro srovnávání a analysu jazyka projevují Instituce mnohem méně smyslu pro historický vývoj podoby církevněslovanského jazyka,[113]) i když — dodávám — nebylo by správné tento smysl Institucím upírati vůbec. Po té stránce doplnil Dobrovského A. Ch. Vostokov.

O chybách celého díla Dobrovského výstižně napsal Vatroslav Jagić v jednom svém listu profesoru Fr. Pastrnkovi (z 11. VI. 1902): „Genia Dobrovského obdivuji stále více, on byl dokonce i v svých chybách obdivuhodně veliký, větší než jeho vrstevníci nebo následovníci. Ani Kopitar ani Miklosich mne nenaplnili takovou úctou k celé osobnosti jako Dobrovský."[114])

10. Majíce uzavříti svůj rozbor Institucí, musíme je označit jako velké synthetické dílo základní, jako *dílo tvořící novou epochu v zkoumání církevní slovanštiny a slovanské jazykovědy.* Svým širokým pojetím jazyka církevněslovanského, svým založením na pramenném základě, svým kritickým poměrem k materiálu, svým stanoviskem slavisticky srovnávacím, svým všestranným zpracováním látky, bystrozrakem svých výkladů, svým zřetelem didaktickým atd. jsou a zůstanou vzorem, který snad nemá *jen* historický význam (to lze říci sice o jeho výkladech, i když ne o všech, nikoliv však o zásadách a způsobu, jak jsou Instituce zpracovány),[115]) nýbrž i *význam pro přítomnost,* protože nabádají a podněcují k další práci a *podávají zářivý vzor, vybízející k přehlídce práce vykonané, k vytyčení nových úkolů a k rozmachu tvůrčí činnosti.*

11. Jen zcela stručně se zmíním o tom, jak byly Institutiones přijaty současníky a jaký měly význam pro budoucí práci o církevní slovanštině.

Vzbudily zprávy a recense, zvláště Kopitarovy, Bandtkieho, Grimmovu a j. Kopitar napsal první oznámení o vydání knihy,[116]) a dále referáty o díle jednak pro Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 13, 1822 (11. II. a 13. II.), jednak pro Oesterreichischer Beobachter 21. II. 1822, č. 52, str. 219—220, jednak dlouhou recensi pro Jahrbücher der Literatur 17, 1822, leden—březen str. 66—107. Kromě uznání velikého významu díla Dobrovského — projevil je také lapidárně v nekrologu Dobrovského, uveřejněném v časopise Oesterreichischer Beobachter 7. a 10. III. 1829, slovy, že v oboru církevněslovanského jazyka byl Dobrovský mistrem samojediný a že Institucemi vytvořil epochu[117]) — použil však referátů také k odůvodňování a šíření své pannonské theorie

---

[113]) Srov. Jagić, *История славянской филологии,* 125.

[114]) Srov. Věstník České akademie věd a umění 60 (1951) 119.

[115]) *G. A. Il'jinskij,* Revue des études slaves 4 (1924) 200, poněkud příliš zdůrazňuje pouze historický význam Institucí. Tak nacházím i jinde *příliš* podtrženou stránku brzkého zastarání některých výkladů Dobrovského bez potřebného zdůraznění významu díla jeho jako celku.

[116]) Veškeré projevy Kopitarovy o Institucích jsou nyní přístupny v edici jeho spisů (II, 1) od R. Nahtigala, 187—237. Referoval o nich M. Weingart v práci *Dobrovského Institutiones,* 185—191.

[117]) „. . . hier war er bei weitem *allein* der Meister und macht Epoche" (Nahtigalovo vydání spisů Kopitarových II, 2, 1945, 193).

o původu staroslověnštiny, k malému uspokojení Dobrovského, který byl se svými kritiky vůbec málo spokojen, i když byl sám sobě nejpřísnějším soudcem, namítaje, že je možno napsat dobrou mluvnici církevněslovanského jazyka i bez řešení otázky o vlasti tohoto jazyka, čemuž se v Institucích úmyslně vyhnul.[118]) Nescházelo však také nadšených projevů o Institucích, zejména v korespondenci, a Lukijan Mušicki napsal na ně dokonce církevněslovanskou ódu; hrabě Rumjancev pomýšlel již v roce 1822 na překlad Institucí do ruštiny, k čemuž však došlo až r. 1833—1834; dříve, a to již roku 1825, byl z nich pořízen a mnohokrát znovu vydán výtah I. S. Peninským (a r. 1825 byl do ruštiny přeložen také Dobrovského spis o Cyrilu a Metoději).[119]) Nejpozoruhodnější námitky vznesl ovšem proti názorům Dobrovského — i když si díla Dobrovského velmi vážil — svými objevy veliký Vostokov, který měl šťastnější situaci v tom, že mu byly po ruce starobylejší prameny než Dobrovskému, především Ostromirův evangeliář.[120]) V oboru církevní slovanštiny zůstaly Institutiones jedinou vědeckou mluvnicí až do prací Miklošičových z r. 1850, pro něž byly východištěm;[121]) hned po něm vydal staroslověnskou mluvnici s hlediska srovnávacího jazykozpytu August Schleicher v knize *Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache,* Bonn 1852, který přes upozornění, že se Institutce nehodí pro studium začátečníků, vzdal jim chválu slovy, že založily celou vědeckou slavistiku a že jsou knihou pro všechny časy pamětihodnou;[122]) a je možno říci, že nauka Dobrovského přecházela na další práci a že si bez jeho Základů nemůžeme představit další vývoj bádání v oboru církevní slovanštiny.

Viděli jsme však, že se mluvnice Dobrovského platně zařadila také do dějin zkoumání srovnávacího jazykozpytu indoevropského. A mluvnický systém Dobrovského — i když jen těžko lze v tom směru odlišit jeho české mluvnice od jeho Institucí — byl na desítiletí vzorem i mluvnicím ostatních jazyků slovanských, jak si přál sám autor Institucí v dopise Kopitarovi z 3. V. 1812. O přímém vlivu Institucí lze mluvit asi do počátku let padesátých, kdy byly ještě Institutiones znovu beze změny vydány (1852). A i to, co z hlavního díla Dobrovského přijato nebylo, působilo kladně a povzbu-

---

[118]) Referát Bandkieho vyšel v Allgemeine Litteratur-Zeitung, Halle und Leipzig 1823, III., sloupec 733—736, anonymně. — Jakub Grimm v Gött. Gelehrte Anzeigen 1823, 35, 1/3, psal o Institucích pod vlivem názorů Kopitarových. Srov. blíže poznámku R. Nahtigala v edici Kopitarových spisů II, 1, str. 197. — Podobně psal F. Blumberger o spise *Cyrill und Method* (srov. Nahtigal op. cit. 317).

[119]) Blíže o ruských překladech pojednává B. Havránek ve sb. „Co daly naše země Evropě a lidstvu“ 2, 1940, 12—13, a ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1953“, 111-112, 109. Srov. též dopis Dobrovského Köppenovi o ruské recensi jeho spisu *Cyrill und Method* (Jagić, *Письма Добровского и Копитара*, 1885, 676).

[120]) O poměru Vostokova k pracím Dobrovského — také Dobrovský si Vostokova velice vážil — srov. výklady P. A. Lavrova ve sb. „Josef Dobrovský 1753—1829“, 198—200, 222—223.

[121]) *Lautlehre* a *Formenlehre der altslovenischen Sprache,* Wien 1850.

[122]) Op. cit. VIII: „Dieses werk, für seine zeit ausgezeichnet und durch seine eigentümliche methode, so wie als die gesammte wissenschaftliche slavistik begründend, ein für alle zeiten denkwürdiges buch.“

zovalo k další práci ve prospěch jednotlivých jazyků slovanských.[123])

V. V *závěru* musíme k vytčenému velikému vědeckému významu prací Dobrovského o církevněslovanském jazyce a o otázkách s jeho zkoumáním spojených připojiti ještě zdůraznění jejich *významu buditelského.* Byly to práce církevněslovanské, obracející se k nejstaršímu kulturnímu období všeho Slovanstva, které povzbuzovaly naše národní sebevědomí poznáním, jak veliké a mohutné jsou základy naší vzdělanosti, jak se jimi opíráme o široký slovanský základ a jak jimi souvisíme s celým slovanským světem. Poznání staroslověnštiny povzbuzovalo u nás studium ostatních jazyků slovanských, zvláště jazyka ruského, a i tímto způsobem přispělo k utvrzení myšlenky o slovanské pospolitosti. Poznávání staroslověnského jazyka a spolu s ním celého díla cyrilometodějského, spojujícího slovanské národy, mělo velice příznivý vliv na naše národní a slovanské uvědomění. Podobně tomu bylo i u jiných národů slovanských.

Vědecká autorita Dobrovského, ukazující na význam církevněslovanského jazyka, zvýšila obecnou vážnost tohoto jazyka. Odtud se od jeho dob po celé 19. a 20. století vine stálý zájem o staroslověnská studia v celém slovanském světě a zvláště též v našem národě, až k jejich, smím-li tak říci, současnému rozmachu.

Církevněslovanské dílo Josefa Dobrovského má ráz v své době vědecky i ideologicky nepochybně a zřetelně progresivní, neustále usilující o nové poznání a po novém poznání a pravdě pátrající. Budiž mi dovoleno, zakončiti svůj nástin slovy samého Mistra, dobře ilustrujícími tuto neúmornou, bezmeznou touhu stále nové věci poznávat, studovat, stále se nově učit. Jsou to slova hned z jeho prvního dopisu Kopitarovi z počátku roku 1809, slova o Schlözerovi: „Der alte Greis schämt sich nicht zu lernen, und der Meister des Slawin ist auch so geartet." „Stařec Schlözer (poslal mu své poznámky o Nestorovi a Schlözer mu za ně velmi děkoval) nestydí se učit a Slavínův mistr (praví o sobě samém) je založen právě tak." A to je, jak myslím, i smysl Dobrovského odkazu nám všem, jeho žákům, pokračovatelům a následovníkům. Vybízí nás k práci a k neúmornému zájmu o předmět našeho drahého studia.[124])

Josef Kurz

---

[123]) Srov. práce obsažené ve sborníku „Josef Dobrovský 1753—1829", a to práci Breznikovu, Brykovu, Dukatovu, T. Lehra-Spławińského, Ljapunovovu, Mladenovovu, Stojanovićovu, Lavrovovu, Pátovu, Popovićovu, Szyjkowského, Tichého; dále zejména články Havránkovy ve sbornících „Co daly naše země Evropě a lidstvu" II (1940) a „Josef Dobrovský 1753 až 1953", Praha 1953. U *Charvátů* lze uvésti jména gramatiků Ign. Alojse Brliće, Vjekoslava Babukiće, Andr. Torkvata Brliće, Vinka Paclta, P. Budmaniho, Ad. Vebera, V. Jagiće; u *Slovinců* byli to Bart. Kopitar, Fr. Metelko, Fr. Miklosich a j.; ze *Srbů* byl to na př. E. Ioannović, sám Vuk a i Dj. Daničić; značný ohlas měly Instituce u *Lužických Srbů;* z *Poláků* to byli Sam. Bog. Linde a zvláště J. Sam. Bandtkie. Silný byl vliv Institucí v kruzích *ukrajinských* (M. Lučkaj, A. Dobrjans'kyj, Jos. Lozyns'kyj, Ivan Vahylevyč, Jak. Holovaćkyj). Značný ohlas mělo dílo Dobrovského mezi Rusy (srov. Havránek v jub. sborníku, 1953, 112—113).

[124]) Znění přednášky, kterou pokládám za první nástin a která je prvním obšírnějším souhrnným zpracováním těchto otázek z díla Josefa Dobrovského, je rozšířeno o poznámkový aparát.

Jozef Dobrovský a stará slovienčina na Slovensku

Ján Stanislav

J. Dobrovský sa zaoberal nejednou otázkou dejín starého Slovenska. Zaujímalo ho predovšetkým, či predkovia Slovákov boli v rámci Veľkomoravskej ríše. Študoval tento problém a na otázku dostal v prameňoch kladnú odpoveď. Najmä v korešpondencii s Jurom Ribaym sú o tom zmienky. Postavil si aj otázku, akí Slovania bývali v Panónii.

J. Dobrovskému neprišlo ani na um popierať, že by predkovia Slovákov, ktorí žili pod Svätoplukom, ako on píše, neboli bývali zúčastnení diela Konštantína a Metoda a ich prívržencov a učeníkov.[1]

Len v novej dobe sa prišlo s mienkami, že staré Nitriansko, resp. iné kraje Slovenska pod Malými Karpatmi na východ, nepatrili do územia, v ktorom účinkovali Konštantín a Metod, a teda podľa nich nebola tu ani stará slovienčina. Pre slovenského slavistu je teda úlohou prvoradého významu zodpovedať túto otázku. Vieme, že v staroslovienskych a cirkevnoslovanských textoch sa nachodili slovníkové prvky, ktoré sa vysvetľovali zo slovenčiny: *klepьсь, prachněnъ* (St. Zákon, Sav. kn. a i.)[2] Niet príčiny pochybovať o správnosti týchto výkladov.

Poukazovalo sa na to, že v Nitre bol Viching a preto tam nemohol byť Metod.[3] Preto v Nitriansku by stará slovienčina nebola bývala. J. Dobrovský vedel všetko o Vichingovi,[4] ale nevyslovil nijakú pochybnosť o tom, že by v Nitriansku slovanská bohoslužba nebola mohla byť.

Profesori V. Chaloupecký a Št. Kniezsa sa vyslovili v tom zmysle, že Cyril a Metod na starom Slovensku neboli. Prof. Chaloupecký hľadal a nenašiel prvky staroslovienskeho jazyka na Slovensku. Našli sme ich v starých uhorských listinách, týkajúcich sa Slovenska.[5]

---

1) Porov. *Koresp.* IV, 67, 78. Porov. aj list Durichovi z 1. mája 1788 v Koresp. I, 77.

2) V. Jagić, *Entstehungsgeschichte der altkirchenslavischen Sprache,* Berlin 1913, 2. vyd., 268—9.

3) M. Weingart, *Pribina, Koceľ a Nitra v zrkadle prameňov doby cyrilometodejskej,* sborník Ríša Veľkomoravská, Praha 1933, 347 a n.

4) J. Dobrovský, *Cyrill und Method der Slawen Apostel,* vo vydaní J. Vajsa, *Cyril a Metod apoštolové slovanští,* Spisy a projevy Josefa Dobrovského XII, Praha 1948, 76 a nasl. podľa indexu.

5) V. Chaloupecký, *Naše národní tradice a Slovensko: Tradice cyrilometodějská a svatováclavská,* Bratislava II, 1928, 263—268, najmä 264—265. — István Kniezsa, *A szláv apostolok és a tótok* (Slovanskí apoštoli a Slováci), Magyar történettudományi Intézet 1942, évi Évkönyve, Budapest 1942, 18 str. Porov. k tomu J. Sta-

Je známou vecou, že slová *mučeník* a *učeník* patria v slovenčine a češtine k slovám, ktoré tu ostali ako upomienka na starosloviensku epochu našej kultúry. Odôvodnil to dostatočne Ed. Čech vo Vajsovom sborníku.[6]) K nim sa na Slovensku už očividne samostatne pritvorili slová *modleník* a *boženík*. Slovo *mučeník* sa zapisuje ako meno obce pri Nitre *Mussenic* r. 1113. V tejto obci je kostol sv. Klimenta. V susedstve je osada *Garázda*, čo je maďarský tvar slovanského mena *Gorazdъ* i so zachovaným koncovým jerom v maďarčine (porov. maď. *tompa* zo slovan. *tǫpъ*, *goromba* z *grǫbъ* a pod.). Na pravom brehu Váhu je v tejto oblasti dolina *Garázda* pri V. Lovčiciach a je osada *Garažd* pri Galante. Meno *Garažd* je maďarský tvar slovanského mena *Goražď*, utvoreného posesívnym sufixom *jь* od osobného mena *Gorazdъ*, t. j. zo slovan. *Gorazd-jь*.[7]) Takéto tvorenie posesív je už v starej slovienčine neproduktívne. Je to miestne meno vlastnícke typicky feudálne. Keď veríme v zákonitosť historického vývinu a v súvislosť jazykových javov so spoločenskými javmi, ľahko si vysvetlíme nahromadenie týchto prvkov jazykových, kultúrnych a spoločenských na malom území, ktoré som si dovolil označiť za staré územie Gorazdovho rodu. Ide tu podľa uvedených svedectiev o miesto, na ktorom staroslovienska kultúra zapustila svoje korene.

Môžeme uviesť, že na Slovensku v ľude dodnes žije slovo *sotona*. Vavro Šrobár ma upozornil, že v jeho rodnej obci Liskovej v Liptove sa povie: *sotona ťa brala!* (asi ako: čert ťa bral) a že matky takto kričia neposlušným deťom. Toto slovo podľa svojej formy prišlo k nám z juhovýchodu. V stsl. je známe. Z latinskej kultúrnej sféry je tvar *satanáš*. Na Slovensku je aj priezvisko *Sotoniak*.

Na Slovensku je alebo bolo ešte niekoľko osobných mien, ktoré sme prevzali z byzantsko-slovanskej kultúrnej sféry. V slavistike by sme potrebovali dôkladne preštudovať staré osobné mená cudzieho pôvodu práve so zreteľom na to, z akej kultúrnej sféry prišli k Slovanom.

Pri podrobnom skúmaní mien bude treba rozlišovať prvky, ktoré možno viesť až k starej slovienčine, od prvkov, ktoré v starej slovienčine nie sú, ale ktoré sú v súlade so systémom tvarov mien, obvyklých v starej slovienčine, a ktoré sa vyvinuli u južných a východných Slovanov, prípadne niektoré len u južných Slovanov, na staroslovienskom alebo cirkevnoslovanskom podklade. Pritom bude treba podrobnejšie skúmať otázku, aký bol rozdiel medzi tvarmi osobných mien v gréckych biblických textoch a medzi živými, ľudovými tvarmi novej gréčtiny. Niektoré javy sú dostatočne známe.

---

nislav, *K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku*, Kultúra 15 (1943) č. 10 až 11; ten istý, *Znova o účinkovaní Cyrila a Metoda na Slovensku*, Jazykovedný sborník 1—2 (1946—7) 178—193, ako odpoveď na článok Istvána Kniezsu, *Cirill és Metód működésének kérdése a Nyitra-vidékén* (Otázka účinkovania C. a M. v okolí Nitry), čas. Századok 78 (1944) č. 4—6, 263—270.

[6]) Ed. Čech, *Učeník — mučeník — zvoleník* (Studie ke vzniku staročeské církevní terminologie), sborník venovaný J. Vajsovi „Slovanské studie", Praha 1948, 174—181. Porov. moju knižku *Zo života slov a našich predkov*, Bratislava 1950, 67—72.

[7]) Porov. moju štúdiu *Zo slovenského sociálneho miestopisu*, Jazykovedný sborník 5 (1951) 80—86.

V staroslovienskych textoch neboli vždy živé, novogrécke formy mien, lež bývali formy písaného jazyka, niekedy popri tvaroch ľudovej reči. Na to poukazoval M. Małecki v sborníku *Inter arma* (53—55). Vo všeobecnosti sa v tejto otázke niečo už urobilo, ale je to ešte vždy málo.

Pri väčšine osobných mien slavista podľa hláskoslovného vývinu ľahko rozozná, ktorá forma mena pochodí z byzantsko-slovanskej kultúrnej sféry a ktorá z latinskej.

Tak sú tu formy mien na *i* v byzantsko-slovanskej sfére oproti *e* v latinskej: *Kliment, Dimiter, Ilia,* za Dunajom aj obec *Kiliti* k osobnému menu *Klit,* všetko z prvej sféry oproti *Klement, Demeter, Eliáš* z druhej sféry.

Ďalej sú mená s *v* z byzantsko-slovanskej sféry oproti *b* z latinskej: *Jakov, Vasil, Vara (Varnava), Havrila* oproti *Jakub, Bazil, Barabáš, Gabriel* (priezvisko *Havrel*).

Potom sú mená zakončené na *-a* za gréc. *-as* z byzantsko-slovanskej sféry oproti zakončeniu na *-áš* z latinskej sféry severotalianskym prostredníctvom (severotalian. *ś, ź* > slovan. *š, ž*): *Luka, Jóna, Toma, Ilia, Vara,* na starom Slovensku aj *Duka,* oproti formám na *-áš: Lukáš, Jonáš, Tomáš, Eliáš, Barabáš,* zo všeobecných mien sem patrí *sotona* oproti *satanáš.*

Z byzantsko-slovanskej sféry mali sme na starom Slovensku meno *Joan(ka),* stsl. *Ioanъ,* z ktorého sa ďalej vyvíja *Jovan,* známy z Nikoľ. Ev. a z neho *Ivan.* Z latinskej sféry je *Ján* z *Johannes.*

Byzantsko-slovanskej sfére patrí aj tvar *Grьkъ,* ktorý je známy na Slovensku v mene juhoslovenskej obce *Hrk-ovce,* v starých listinách maď. *Gyrki* 1156 (Sloven. juh.... II, 222), a spišskej obce *Harakovce: Herkouich,* 1324 a pod. (Fekete Nagy ,*A Szepesség* ... 140).

Sú tu ešte mená *Ižop, Iža, Ižov* oproti *Ezop, Ežo, Ezau,* o ktorých by bolo treba hovoriť osobitne. Obidve formy sú známe v srbch., nie však v stsl.[8])

Na starom a čiastočne dnešnom Slovensku je teda viac mien z byzantsko-slovanskej kultúrnej sféry. Doklady sú z najstarších storočí. Bývajú v Bratislave, v oblasti Nitry, na Žitnom ostrove, v Novohrade, vo Zvolenskej, v Liptove atď. Niektoré sa zapisujú na slovenskom východe; tu na východe musíme byť v úsudkoch o nich veľmi opatrní, lebo blízko je už východoslovanská oblasť, z ktorej sem mohli prísť.

Najviac dokladov je na čiare Bratislava — Novohrad — Zvolen. To je práve najkultúrnejšia časť starého Slovenska. Prekvapuje, že na Žitnom ostrove a jeho blízkom okolí je viac dokladov na staroslovienske mená, lenže toto územie leží práve blízko veľkomoravských politických a kultúrnych centier. Podľa našej mienky, ktorá sa opiera o údaje miestnych mien ako odrazu

---

[8]) Časť materiálu som shrnul vo svojej štúdii *K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku,* Kultúra 15 (1943) č. 10—11. Novší materiál je v novom prepracovaní tejto štúdie, prichystanom do tlače. Porov. aj moju štúdiu *Les noms de personnes vieux-slaves en Slovaquie.* Troisième congrès international de toponymie & d'anthroponymie, Louvain 1951, 724—728.

vývinu spoločnosti, na dolnom toku Váhu bola stará rodová oblasť Metodovho prívrženca Gorazda. Nie je potom náhoda, že práve tu sú tieto mená, ku ktorým sa v tomto kraji pojí aj kult toho Klimenta, ktorého ostatky Konštantín a Metod preniesli cez Veľkú Moravu do Ríma. Toto všetko nemožno istotne pokladať iba za náhodné nahromadenie údajov. Pokladáme ich za zákonité svedectvá pokrokových kultúrnych dejov na začiatku feudalizmu v tejto veľkomoravskej oblasti.

Keď J. Dobrovský nevyslovil pochybnosti o tom, že predkovia Slovákov boli účastní staroslovienskej kultúry, videl veľmi dobre.

Ján Stanislav

Vztah Dobrovského k Vostokovovi a Kopitarovi a jeho podněty pro další studium staroslověnštiny

Antonín Dostál

Josef Dobrovský byl velký znalec staroslověnštiny a všech otázek, které s ní souvisí, i velkou autoritou, obecně uznávanou u nás i v cizině. Jeho práce o staroslověnštině představují vlastně ústřední thema jeho jazykovědného díla vedle prací o češtině. Jeho hlavní dílo o staroslověnštině, *Institutiones linguae slavicae,* bylo netrpělivě očekáváno, Dobrovský byl k jeho vydání pobízen svými přáteli, hlavně B. Kopitarem, a — jak vidíme z jeho korespondence — byl především zde pokládán za mistra. Přes tuto svrchovanost, kterou Dobrovský v své době v slavistice měl, uznával rád práci jiných, cenil ji však kriticky, stejně jako měl kritický názor i na své dílo vlastní. Naskýtá se nám s tohoto hlediska otázka, co bylo příčinou toho, že Dobrovský do konce svého života neuznal významný objev A. Chr. Vostokova o existenci nosovek v staroslověnštině, uveřejněný Vostokovem v jeho spisku Рассуждение о славянском языке, vydaném v Moskvě r. 1820. Když totiž dnes, po více než 130 letech, čteme Vostokovovo dílko Рассуждение, je zcela jasné, že tu Vostokov podává svůj objev s dobrou a zcela přesvědčivou argumentací, takže je dost nesnadné pochopit, proč nepřesvědčilo naráz odborníky, předně Josefa Dobrovského a Bartoloměje Kopitara.

Když vyšly Dobrovského Institutiones r. 1822 ve Vídni, byla to velká událost v kulturním vývoji Slovanů a v celém vědeckém světě. Toto dílo bylo komentováno jak v tisku denním, tak odborném a záhy bylo překládáno také do ruštiny. Několikrát o významu Institucí psal a recensoval je B. Kopitar. Nejpodrobněji v Jahrbücher der Literatur 17 (1822) Nr. 4, 66—107.[1]) B. Kopitar v kritice tohoto díla pokládal za největší zásluhu Jos. Dobrovského v Institucích to, že očistil výklady o původu slovanského jazyka, t. j. staroslověnštiny, od pozdějších nánosů, zejména plynoucích z učených církevních kruhů ruských. Nehledíme-li k tomu, že zde proniká osobní (rakousko-katolické) stanovisko Kopitarovo, zahrocené proti ruskému pravoslaví, má zde B. Kopitar mimoděk mnoho pravdy. Starší mluvnice staroslověnštiny hleděly na tento jazyk jako na jazyk *posvátný,* kterému je třeba se učit hlavně proto, aby bylo možno číst staré náboženské slovanské knihy

---

[1]) Tato recense je otištěna v sebraných spisech B. Kopitara, jejichž vydání uspořádal R. Nahtigal *Jerneja Kopitara spisov II. del,* 1. kn., Lublaň 1944, 194—237. Srov. tamže jeho jiné recense na str. 187 n. a 189 n.

a díla církevněslovanské, a to především ruské literatury. Ani církevněslovanská mluvnice L. Zizania z r. 1596, ani dlouho užívaná mluvnice církevní slovanštiny od M. Smotrického z r. 1619 nehleděla na staroslověnský jazyk jinak než jako na jazyk náboženských slovanských knih. Josef Dobrovský *první pojal celou tuto práci jinak:* Institutiones jsou sice mluvnicí staroslověnštiny, ale tento jazyk je tu podáván *v širokém slavistickém a jazykovědném rámci* (srov. na př. otázky o původu tohoto jazyka, o jeho místě mezi jinými slovanskými jazyky, o písmě, o počátcích slovanských textů atd.). Staroslověnština tu není podávána jen pod zorným úhlem toho, aby bylo usnadněno čtení starobylých náboženských knih, předně církevněslovansko-ruské redakce, i když Dobrovský zde i četné otázky textové a literární řeší. Dobrovský první hleděl na tento jazyk a na význam jeho studia jinak než gramatikové před ním: hleděl na tento jazyk *slavisticky*, a proto začal svým dílem novou éru v poznání tohoto jazyka i celého vývoje slovanských jazyků vůbec.

Dobrovský však ani v Institucích nedospěl k tak definitivní formulaci svých názorů o staroslověnštině, jak lze vidět v jiných úsecích jeho rozsáhlého díla, na př. v pracích o češtině, o tvoření slov v slovanských jazycích atd., ale jak nám dosvědčuje i jeho váhání s vydáním tohoto díla i z jeho vlastní nespokojenosti s tímto dílem, zvláště po kritice Kopitarově. Jeho současníci, Vostokov a Kopitar, patřící generačně již vlastně k následovníkům Dobrovského,[2]) mohli k názorům Dobrovského o staroslověnském jazyce a staroslověnských otázkách, připojit řadu poznámek: Vostokov měl poznámky k Dobrovského názorům o staroslověnštině ještě před vydáním Institucí z r. 1822, a to v uvedeném spisku Рассуждение о славянском языке z r. 1820, Kopitar v recensích Institutiones z r. 1822.

Před vydáním Institucí J. Dobrovský Vostokovův spis Рассуждение neznal. Je zajímavé, *co* Vostokov dodával pro lepší poznání staroslověnštiny na základě Ostromirova evangelia a *co* vytýkal B. Kopitar Dobrovskému v kritice Institucí. Vostokov přinesl především řadu poznámek, které se týkají *hláskosloví* staroslověnského jazyka. Největší význam z nich má jeho objev nosovek v staroslověnštině. V poznámkách tvaroslovných byl Vostokov méně šťastný: proti mínění Dobrovského, že slovesný tvar na — *tъ* je supinum, kdežto tvar na — *ti* je infinitiv, podává Vostokov výklad o dvojím infinitivu v staroslověnštině, což zase správně vytýká Kopitar Vostokovu v recensi Dobrovského Institutiones. Méně přesné jsou Vostokovovy výklady o deklinaci adjektiv a o staroslověnských participiích. B. Kopitar zase použil své nejpodrobnější recense Dobrovského Institutiones k tomu, aby široce vyložil dějiny a význam Slovanů a v kritice Institucí podal především řadu poznámek *hláskoslovných* (zejména o jerech), dále k tvoření slov, ale vůbec *neměl poznámek k tvarosloví a syntaxi* v Dobrovského díle. Své recense použil dále k tomu, aby polemisoval s Vostokovovými názory, o nichž se dověděl

[2]) Vostokov i Kopitar byli skoro v stejném věkovém rozdílu proti Dobrovskému: Vostokov se narodil r. 1781, Kopitar r. 1780.

za tisku Institucí již na jaře r. 1822, když totiž ruští učenci Köpen a Berezin přinesli do Vídně první exempláře Vostokovova spisku. Kopitar ke všemu nepochopil dost správně výklady Vostokovovy a celý objev nosovek v staroslověnštině si vyložil dost zaujatě: domníval se, že Vostokov tvrdí, jako by nosovky do staroslověnštiny pronikly *z polštiny* nebo jako by je byl do staroslověnštiny zavedl písař Ostromirova evangelia, původem Polák. Kopitar uvádí, jako by Vostokov dokazoval proniknutí nosovek do staroslověnštiny, kdežto Vostokov velmi vhodně poukazoval na to, že tam, kde má polština nosovky *ę*, *ą*, má Ostromirovo evangelium znaky pro nosovky (jusy), kdežto tam, kde je v staroslověnštině *a*, *ja*, *u*, *ju*, polština nikdy nosovky nemá atd.

Dobrovský si Vostokova velmi cenil, jak ukazuje zase jeho korespondence, a s ním i jiných, ale přesvědčit se o existenci nosovek nedal proto, že sám neměl pro Vostokovovo tvrzení *spolehlivých důkazů.* O Ostromirově evangeliu, podobně jako o ev. Mstislavově věděl (srov. Institutiones str. XXIII), ale neměl o této památce vůbec podrobnějších zpráv. Vostokov se opíral o text zatím nevydaný (vydal jej teprve r. 1843), v svém spisku z roku 1820 sliboval vydání staroslověnské mluvnice atd. Dobrovský sám ani jeho současníci neměli přímé možnosti přesvědčit se o průkaznosti materiálu z Ostromirova evangelia. Jak známo, Dobrovský si přál jet na Athos a hledat tam památky, které by byly starobylejší než Ostromirovo evangelium, t. j. Dobrovský tu stál zcela na stanovisku vědeckého pracovníka, který se dá přesvědčit teprve skutečnými důkazy, i když knížka Vostokovova je psána velmi přesvědčivě.[3])

Kopitarovo odmítnutí Vostokovova objevu je již jiného rázu. Je způsobeno jistě Kopitarovou zaujatostí a jeho osobním stanoviskem (srov. výše). Ostatně Vostokovův názor o staroslověnských nosovkách pronikal i v samém Rusku velmi pomalu. Ještě r. 1833/34, když vyšel úplný Pogodinův překlad Institucí do ruštiny, je v něm partie o hláskách, kde bychom čekali výklad o nosovkách, ponechána beze změny. Vostokov byl doma znám zatím více jako skladatel veršů a teoretik ruského verše než slavista a jazykozpytec. Své velké jazykozpytné práce, kromě spisu Рассуждение, vydal později.

Mnohem méně byly kritisovány ty části Dobrovského Institucí, které se týkají tvarosloví a syntaxe. I v tvarosloví nepodává přísně nejstarší stav staroslověnský, ale některá paradigmata stanovuje celkem dosti správně, jestliže na př. do konjugačních koncovek nebo do koncovek deklinace dosadíme nosovky místo jeho *-u* nebo *-a*. Tím netvrdím, že vystihl tvarosloví nejstarší staroslověnštiny nebo že ukázal vždy správně principy staroslověn-

---

[3]) M. Weingart, *Dobrovského Institutiones,* č. II. Rozbor Institucí (Sborník filosofické fakulty univ. Komenského v Bratislavě r. III, č. 38/12), Bratislava 1925, 195, vysvětluje nedůvěřivost Dobrovského k Vostokovovu objevu tak, že „*snad jeho pokročilý věk již poněkud zvolňoval jeho jinak pronikavou kritičnost*“. Toto je však výklad nepravděpodobný, i když je třeba mít na paměti Dobrovského churavost, protože Dobrovský i po vydání Institucí vydal ještě velmi závažný a kriticky pronikavý spis *Cyrill und Method, der Slaven Apostel* r. 1823.

ského tvarosloví. Podobná situace byla v syntaxi. Recensenti a kritikové Dobrovského názorů na staroslověnský jazyk měli mnohem snazší situaci v oddíle hláskoslovném než tvaroslovném, syntaktickém a pod.

Druhá otázka, kterou si musíme nad Dobrovského Institucemi položit, je, *jakou staroslověnštinu* Dobrovský v svých Institucích *„kodifikuje"?*

Staroslověnština Dobrovského Institucí není jazykem nejstarších — v naší terminologii — kanonických památek. Je to staroslověnština mladší, i když nikoli jen staroslověnština jedné, ruské redakce. V hláskosloví má tato staroslověnština různé rysy: tím, že za nosovky *ę, ǫ* je u Dobrovského *a, u,* má tu tento jazyk rysy ruské i západní, tím, že vylučuje ze staroslověnštiny plnohlasí a že správně si uvědomuje příslušnost staroslověnštiny k jižním jazykům (podle Dobrovského ovšem k jihovýchodní skupině), je tu stírán vysloveně církevněslovansko-ruský ráz (tak je třeba rozumět Kopitarovu tvrzení, že Dobrovský očistil staroslověnštinu od pozdějších nánosů) atd. V tvarosloví ovšem má jeho staroslověnština řadu místních rysů (srov. na př. na str. 474 n. skloňování substantiv neuter — *slovo,* gen. *slova* atd., na str. 478 subst. *cerkovь* m. *crъky* a j.) nebo znaků mladších. Velmi kvalitní je jeho obsáhlá kapitola o tvoření slov, kde podává vlastně jakýsi *etymologický slovník slovanský* i jistého druhu slovník *staroslověnský,* přesnou evidenci kořenů atd. Jak je přirozené, jsou Dobrovského Instituce dílo nestejně dokonalé ve všech partiích, odtud také Dobrovského nespokojenost s ním i snaha v dalším vydání, na něž pomýšlel, dílo přepracovat a zdokonalit. Důležité je, že Dobrovský tu podává staroslověnský jazyk v jeho historické souvislosti, nikoli jen jazyk nejstarších památek, t. j. jazyk do jisté míry odtržený od pozdějších vývojových úseků.

Po období Dobrovského ještě období Miklošičovo ve vídeňské slavistice, a ovšem také slavistika ruská, nejsou výlučně zaměřeny jen na období nejstarší (srov. Miklošičovy edice, v ruské slavistice práce Vostokovovy, Sreznevského a j.). Teprve období Jagićovo se silněji zaměřilo na staroslověnštinu doby nejstarší. Jagićova slavná edice kodexu Zografského z r. 1879, jeho vydání kodexu Marianského z r. 1883 a pod. umožnily nejen hlubší studium staroslověnských textů, nýbrž i jazykové srovnávání památek hláskově starších i mladších, na nichž mohl pak německý slavista Aug. Leskien založit své proslulé práce o staroslověnském jazyce,[4]) dále snahy o dokázání makedonské teorie, která vystřídala teorii pannonskou, dále vůbec snaha o poznání nejstarších jazykových dějin slovanských, to vše vedlo sice k mnohem přesnějšímu poznání textů i staroslověnského jazyka, ale na druhé straně zase k podcenění souvislosti staroslověnštiny s mladšími obdobími vývoje staroslověnštiny samé i různých slovanských jazyků. Tak se došlo k tomu, že se dost neorganicky odtrhuje staroslověnština od tak zvané církevní slovanštiny, pokud se jí myslí staroslověnština mladší, místně zabarvená. A tak jako Dobrovský neměl sám

---

[4]) Ukázal na to již B. Havránek, Ottův sl. nauč. n. doby V, 2, str. 1368.

možnosti poznat právě nejstarší staroslověnské texty a rukopisy a tím s hláskoslovné stránky starší období staroslověnského jazyka, tak naopak zase pozdější slavistika, mající možnosti mnohem větší, aby poznala staroslověnštinu právě nejstarší, značně se zaměřila právě na toto starobylé období staroslověnského jazyka a dokonce je i jazykově *vydělila* z velkého, tisíciletého vývoje tohoto jazyka v jeho různých místních, vývojově velmi bohatých dobových podmínkách.

Dobrovského vylíčení staroslověnštiny jakožto ústředního problému slovanské jazykovědy v historických souvislostech dalo další vědecké práci solidní základy k tomu, aby poznání tohoto jazyka bylo využito v srovnávacím studiu všech slovanských jazyků. Jeho velká úcta k přesné znalosti faktů, o něž se opíral a na nichž nepřestával, svědčí *o vědeckém člověku zcela moderním* a o člověku neobyčejné *pracovní kázně.* Dobrovský viděl staroslověnštinu v jejím dlouhodobém vývoji, v historickém pohledu a v širokém dobovém rozsahu, nesoustředil se jen na malou epochu tohoto jazyka, neornagicky odtrženou od epoch ostatních, naproti tomu však viděl, že jde o otázku ústřední, neboť tento jazyk nechápal jen přes jednu místní redakci. Dobrovského koncepce, udržovaná částečně ještě v období Miklošičově, ale později opuštěná, zbavovaná právě těch širokých historických a konkretních souvislostí, *je koncepcí, na kterou bude třeba nově a velmi intensivně navazovat.* Bude tedy nadále třeba při plném zachování vědeckého zájmu o období nejstarší v duchu jagićovském intensivně se obírat také studiem staroslověnštiny období *středních i mladších,* a to jak v edicích, tak v různých jazykovědných otázkách ve smyslu studií Dobrovského. Přitom nebude možno přeceňovat ani jedno, ani druhé. A toto poučení a takové podněty plynou pro další práci, čteme-li pozorně plodné dílo Josefa Dobrovského.

Antonín Dostál

Základy historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského

Jaromír Bělič

Hlavní význam Dobrovského jako jazykovědce zajisté záleží v tom, že ve své podrobné mluvnici češtiny opravdu geniálním způsobem vystihl potřebu nastupující nové doby, a vycházeje z důkladné znalosti jazykového stavu, kodifikoval takovou podobu jazyka, která se potom ihned mohla stát a skutečně i stala pružným a rozvoje schopným bojovým nástrojem vznikajícího českého národního hnutí, pojítkem moderního českého národa, útvarem vskutku celonárodním. Druhým svým nejvýznamnějším dílem položil pak Dobrovský vědecké základy ke studiu jazyka staroslověnského a prospěl tím veškeré slavistice.

Obě tuto mluvnice, *Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache* stejně jako *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*, podávají ovšem v podstatě statický obraz mluvnické stavby jazyka. Přitom se v nich projevuje zřetelný sklon k normativnosti, t. j. k výběru a hodnocení jazykových prostředků kriteriem správnosti, vyplývajícím z celého mluvnického systému. Ale je třeba konstatovat, že popisovaný stav jazyka vidí Dobrovský jako výsledek předcházejícího vývoje, proto se podle potřeby i v mezích poznatků svých vlastních a soudobé vědy vůbec neomezuje na pouhý popis, nýbrž usiluje též o vysvětlení daného stavu na základě historickém a srovnávacím. K historickému a srovnávacímu aspektu jej zčásti vede již samo hluboké porozumění struktuře jazyka, vedle toho však — a vlastně především — důkladné seznámení s českými literárními památkami v celém rozpětí historického vývoje, jakož i široké znalosti jazyků slovanských i neslovanských. A zřejmě mu i běží o to, aby u čtenářů svých děl tento aspekt navodil. Tak Lehrgebäude pojednává hned v úvodě o starých Slovanech, v jejichž řeči se po vzájemném oddálení geografickém časem postupně vytvářely rozdíly, až se dospělo k dnešním slovanským jazykům a národům. Dále je tu zmínka o dějinách českého jazyka a probírají se rozdíly od jiných jazyků západoslovanských. V mluvnici samé pak je možno pozorovat historickou poučenost Dobrovského na mnoha místech, na př. v oddíle hláskoslovném na přehledu korespondence krátkých a dlouhých vokálů *(o-ů, u-ou)*, u níž je podobně jako u jiných jevů i zmínka o stavu v nářečích, dále na př. v konstatování změny *aj* v *ej*, klesnutí iotace po *l*, stírání rozdílu mezi *i* a *y* a pod. Také v rozsáhlé kapitole o tvoření slov Dobrovský mnohde vychází ze staršího stavu a přihlíží

i k jiným slovanským jazykům; stejně připojuje historické poznámky tu a tam i v tvarosloví a ve skladbě, na př. u koncovek pádových a osobních, u duálových tvarů a jejich rozsahu, u vazeb se supinem a j. Podobně Institutiones vycházejí z rozvržení slovanských jazyků a zařazení staroslověnštiny a v celé knize se často srovnává nejen stav v různých církevněslovanských redakcích, nýbrž — zvláště pokud jde o hláskosloví a tvoření slov — i v jiných slovanských jazycích. Mnohým svým postřehem tu pak Dobrovský přechází od prostého konstatování k výkladu jevu, t. j. od mluvnice staroslověnské směřuje k srovnávací mluvnici slovanské.

Je ovšem třeba opakovat, že obě hlavní díla Dobrovského jsou v zásadě svou povahou přece jen mluvnice statické, zaměřené k popisu daného jazykového stavu. Pro systematicky prokreslený dynamický obraz historického vývoje češtiny nebylo v té době vlastně žádných předběžných prací, ba ani nebylo před Dobrovským nashromážděno dostatek faktového materiálu ze staročeských písemných památek, třebaže zájem o českou minulost tu samozřejmě byl už dříve. A tím méně bylo předpokladů k rekonstrukci předhistorického vývoje češtiny a slovanských jazyků vůbec, nemluvíme-li ani o vývojových etapách ještě starších. Byla o tom řeč jich v předcházejících referátech a nechci opakovat všechna jména, ale musíme si aspoň uvědomit, že uznávaný zakladatel srovnávacího jazykozpytu Franz B o p p (nar. 1791) byl téměř o čtyřicet let mladší než Dobrovský a jeho vědecky objevitelská činnost se počínala rozvíjet až v kmetských letech našeho patriarchy, teprve v údobí mezi prvním vydáním Lehrgebäude (1809) a Institutiones (1822); hlavní práce Boppovy pak vyšly až po smrti Dobrovského. Vlastně veškerá badatelská činnost Dobrovského, jejíž korunou jsou obě jeho nejvýznamnější díla, spadá do přípravného údobí před jasným odhalením příbuznosti indoevropských jazyků a před vypracováním historickosrovnávací metody.

I když zajisté nechceme a nemůžeme Dobrovského oddělovat od starších i současných domácích i jinoslovanských pokusů o popis a zkoumání jazyka, ani jej nemůžeme a nechceme vytrhovat ze souvislostí soudobé jazykovědy mezinárodní, přece jen můžeme plným právem říci, že všechen materiál z historického vývoje češtiny i poznatky ze starších vývojových údobí slovanských i předslovanských si musil shromáždit a vydobýt téměř veskrze vlastní prací, vlastním bádáním.

Je známo, že svou vědeckou dráhu začínal Dobrovský v duchu své doby na poli biblické exegetiky. Akademik H a v r á n e k již v zahajovacím projevu naší konference zajímavým způsobem ukázal, jak i tato činnost Dobrovského v dobové souvislosti byla pokroková. Od zkoumání hebrejských fragmentů přechází pak Dobrovský záhy ke studiu starých i mladších biblických překladů českých a církevněslovanských a k jejich srovnávání s překlady jinojazyčnými, a od zkoumání biblického textu se dostává ke studiu samého jazyka a veškeré slovesné produkce. Vrcholná jazykovědná díla Dobrovského, k nimž je třeba připočíst i jeho dvojdílný *Deutsch-böhmisches Wörterbuch* (1802, 1821), zužitkovávají vlivem své povahy vlastně jen

malou část z té obrovské hory fakt a postřehů z historie a srovnávání jazyků, kterou se mu neúmornou pílí a vytrvalostí i jasným kritickým rozumem a bystrou analysou podařilo nakupit. Mnohem více různých těchto poznatků nalézáme v drobnějších statích Dobrovského, otiskovaných během let v jeho časopisech i jinde, dále v korespondenci, hlavně s Durichem, Kopitarem, Ribayem a Zlobickým, a konečně i v rukopisné pozůstalosti, na excerpčních lístcích a v kusých náčrtcích, plně dosud ani neprozkoumaných. Vedle pouhých záznamů jazykového materiálu a registrace poznatků jiných badatelů jsou tu k nim vlastní glosy Dobrovského, drobné objevy i promyšlené studie o rozličných jazykovědných otázkách, vrcholící v smělých koncepcích a plánech české historické mluvnice a slovanského etymologického slovníku a dostávající se až k samým hranicím historicko-srovnávací metody.

Co se týče historického vývoje češtiny, vede jej studium literárních památek již od roku 1778 k pozorování různých jevů hláskoslovných, tvaroslovných, syntaktických i lexikálních. Sleduje na př. fonetické podmínky a časový průběh staročeských přehlásek, difthongisaci dlouhých vokálů, úžení *é* v *í*, důkladně zkoumá pohybné *e*, ví o t. zv. přísuvných vokálech, je na stopě ztráty iotace, pozoruje vznik průvodních samohlásek u slabičného *l*, *r;* ví o změně *g* v *h*, často si všímá někdejší dvojice *ł* — *l*, postřehuje změnu předložky *v* v *u* před retnicemi, změnu skupin *šč* v *šť* a *čř* v *stř*, vznik prothetických hlásek, asimilaci znělosti, tendenci k odstraňování pobočných slabik a jiné změny. Bedlivá analysa staročeské grafiky jej vede i na stopu takových jemností, jako je existence znělého a neznělého *ř*. V tvarosloví pozoruje vývoj deklinace, na př. hojnější výskyt koncovky *-a* v staročeském gen. sg. podstatných jmen muž. rodu, totožný tvar akus. a nom. sg. m. i u životných, koncovky duálových tvarů, nom. pl. typu *potoci, hřieši*, staročeské skloňování typu *sluha, panoše;* podobně pozoruje i vývoj flexe zájmenné, staré tvary adjektivních komparativů, rozvržení tvarů přechodníkových podle rodu a čísla, zbytky jejich deklinace i matení různých jejich tvarů. U tvarů slovesných si všímá dvojice koncovek *-my* || *-me* v 1. osobě plurálu, rozšiřování koncovky *-m* v 1. sg., odsouvání *-i* v imperativech typu *suď, čiň* atd. Zná celou flexi imperfekta a uvědomuje si aoristy, pozoruje zánik pomocného slovesa v 3. osobě složeného praeterita a zjišťuje nahrazování starých podob přechodníku minulého typu *jem, počen, jed* podobami *jav, počav, jev* a pod. Srovnávání biblického textu latinského se staročeským jej vede roku 1791 k objevu staročeského supina a zároveň i k zjištění syntaktických podmínek jeho užívání. V oboru syntaxe pozoruje Dobrovský zvláště odchylky v staročeském užívání pádů, větší rozsah genitivu záporového, rozdíly v užívání předložek, zjišťuje syntaktický význam jmenných tvarů adjektiv a j. V oboru lexika určuje význam velké řady staročeských slov a dobrou znalostí staršího jazyka podpírá též své studie o tvoření slov; svým důmyslným etymologisováním pak proniká daleko do doby předhistorické.

Zhodnotíme-li všechny poznatky Dobrovského z vývoje češtiny, musíme litovat, že se nedostal k napsání soustavné historické mluvnice, na kterou zřejmě dlouhá léta pomýšlel. Již roku 1791 napsal Ribayovi, že po důkladném prostudování starých památek „bude možno napsat dějiny (vnitřní, nikoli vnější...) naší řeči" (*Korespondence* IV, 193). A v jeho rukopisné pozůstalosti nalézáme dokonce osnovu k zpracování české historické mluvnice, s řadou detailních poznámek, doplňovaných různým inkoustem a v různých dobách, takže je zřejmé, že se k svému plánu vracel. Ovšem neuskutečnil jej, proto mnohé jeho poznatky zapadly v soukromé korespondenci a v excerptech a některé věci byly teprve dlouho po jeho smrti pracně objevovány znovu.

Široká znalost slovanských jazyků, jak jsme se už zmínili, zejména církevní slovanštiny, vedla Dobrovského samozřejmě i k srovnávání jednotlivých jazyků navzájem a různých jevů v nich; tak rovněž dospíval v mnoha případech k odhalování vývoje předhistorického. Je obecně známo, že již v mladých letech správně rozpoznal, že staroslověnštinu nelze považovat za společné východisko slovanských jazyků, nýbrž toliko za jeden z nich. Společné východisko ovšem předpokládal, a i když ve svém několikrát opakovaném dělení všech slovanských jazyků ve dvě skupiny otázku vývoje a vzájemných vztahů zjednodušoval a skresloval, přece v podrobnostech správně viděl jevy, které slovanský celek spojují i které jej rozdělují. Na různých místech během svého života konstatuje na př. t. zv. stupňování hlásek v slovanštině, dostává se na stopu jerového zákona, zdůrazňuje, že jeho dělení sloves vyhovuje pro všechny slovanské jazyky, poznává starou odlišnost koncovek sloves thematických a athematických a pod. Sleduje dále rozličné střídnice v slovanských jazycích za hlásku *ě*, zjišťuje první a druhou palatalisaci, rozdílný vývoj skupin *kv, gv* a *tj, dj, kt*, rozdíly v střídnicích za skupiny *tort, tolt* a *ort, olt*, v rozsahu epenthetického *l*, odhaluje předhistorické stahování v češtině, zánik koncovky *-t* v 3. osobě sg. i pl. atd. Zpravidla ovšem tyto jevy jen konstatuje, popisuje, a nevykládá je, ani většinou samozřejmě neužívá dnešní terminologie (pro epenthetické *l* však zavedl i název, stejně jako pro supinum).

Nejhlouběji pronikl Dobrovský v oboru tvoření slov a lexikální etymologie. I když jeho třídění slovních kořenů podle počtu souhlásek je možno považovat za pouze mechanické a řada konkretních etymologií nemůže obstát, přece jen v tomto oboru Dobrovský daleko předstihl své cizí vzory, zejména Friedricha K. Fuldu, jehož v mladších letech sám prohlašoval za „svého mistra ve filosofickém studiu řeči" (*Korespondence* I, 111), jak se tehdy říkalo. Na rozdíl od značně fantastického a metafysického Fuldy drží se Dobrovský zjištěných faktů a již roku 1791 zdůrazňuje v závažném pojednání *Über den Ursprung und die Bildung der slawischen und insbesondere der böhmischen Sprache,* otištěném jako úvod k Tomsovu česko-německo-latinskému slovníku, že „šťastně může etymologisovat pouze ten, kdo zná stavbu jazyka a dovede odlišit prvky náhodné a pozdější od podstatných a původních" (l. c. 11). Právě vlivem této zásady jsou rozsáhlé partie o tvo-

ření slov v Lehrgebäude i v Institutiones podnes vědecky nejcennější; zvlášť v druhém díle představují základ slovanského etymologického slovníku, o jehož sestavení rovněž velmi dlouho přemýšlel. Má zde velkou řadu etymologií naprosto správných a neomezuje se toliko na výčet kořenů a jejich církevněslovanských odvozenin, nýbrž velmi často uvádí znění vykládaných slov i z jiných slovanských jazyků. V programovém náčrtu *Entwurf zu einem allgemeinen Etymologicon der slawischen Sprachen* (1813) přímo mluví o důležitosti srovnávací metody: „Neomezíme-li se toliko na jeden jazyk (Mundart), nýbrž vezmeme-li na pomoc i jiné, můžeme... dosáhnout maximální jistoty“ (45). A hned dále dokonce praví: „Ani srovnávání s cizími jazyky, s řečtinou, latinou, němčinou, nebude možno odmítat.“ Předtím už ovšem varuje v téže rozpravě před pochybenými závěry, jakým se ani pozdější naše romantická věda nedovedla vyhnout, aby se nehledali hned „všude Slované, kde se dá nalézt několik slov, která se náhodou podobají slovům slovanským“ (24). Již roku 1791 v citované stati *Über den Ursprung* Dobrovský sice správně předpokládal, že „zcela náhodou stávalo se asi jen zřídka, že by se téhož zvukového útvaru (Laut) použilo k označení stejné představy v různých jazycích“ (l. c. 16); ale již tehdy si uvědomil, že „podobnost slovních kořenů v několika jinak zcela odlišných jazycích lze mnohem pravděpodobněji vysvětlit“ dávným společným původem. Doslovně pak říká: „S řečtinou, latinou, němčinou mají Slované velmi mnoho slovních kořenů společných; je to důkaz, že tyto čtyři evropské národy kdysi byly těsněji příbuzné“ (tamtéž). Doklady, které dále uvádí, jsou většinou velmi přesvědčivé a Dobrovský jimi vlastně překračuje — čtvrt století před Boppem — meze slovanské jazykovědy směrem k srovnávací jazykovědě indoevropské. Už tehdy je si vědom i morfologické příbuznosti uvedených jazyků.

Srovnávání s jinými jazyky indoevropskými provádí pak Dobrovský velmi často. Vedle latiny, řečtiny a němčiny uvádí zejména též litevštinu, jejíž těsnější příbuznost s jazyky slovanskými, podobně jako později i příbuznost lotyštiny a staré pruštiny, je mu rovněž známa již roku 1791. Naproti tomu si uvědomuje zásadní odlišnost na př. maďarštiny a finštiny od jazyků indoevropských a naopak jejich příbuznost vzájemnou. Při srovnávání indoevropských jazyků postihuje Dobrovský odlišný hláskový vývoj v různých jazycích a na př. r. 1814 v pojednání *Wie und mit welcher Vorsicht soll man die Wurzelwörter und Stammsylben aus den vorhandenen Wörterbüchern aufsuchen und sammeln* (Slovanka I, 27 n.) dostává se srovnáním slov *blecha, pluk, pletu* s německým *Floh, Volk, flechten* na stopu germánského posouvání hlásek ještě před formulací tohoto zákona Jakubem Grimmem. Asi od roku 1799, tedy zase ještě před Boppem a jinými zakladateli historickosrovnávacího jazykozpytu, objevují se u Dobrovského též paralely slovansko-indické. Ve Slavíně r. 1806 srovnává dokonce tvary slovanského duálu s duálem staroindickým a staroindicko-slovanské rovnice nalézáme i ve zmíněném už Entwurfu. Můžeme tedy Dobrovského právem považovat za jednoho z předchůdců Boppových na poli indoevropské srov-

návací jazykovědy. Různých jeho postřehů v tomto oboru by bylo možno uvésti ještě více.

Musíme ovšem po právu říci, že běží skutečně pouze o jednotlivé postřehy, nikoli o celý systém srovnávací mluvnice indoevropských jazyků, jaký vypracoval Bopp a jiní převážně až v druhé čtvrtině minulého století; podobně srovnávací jazykovědu slovanskou uvedl v systém až Miklosich kolem roku 1850. Mohli bychom také uvést řadu nedokonalostí i přímých nesprávností z díla Dobrovského, podmíněných ovšem více nebo méně dobovou situací: víme, že nebyl až do konce života dostačujícím způsobem informován o bulharštině. Pokud jde o nejstarší slovanské písmo, je známo, že cyrilici pokládal za starší než hlaholici. Na naší konferenci již byla řeč také o tom, že a proč neměl tušení o existenci nosovek v staroslověnštině; ba důmyslný jejich objev Alexandrem Vostokovem z roku 1820 dokonce prohlašoval za „podivínský nápad“ (Grille), třebaže jinak si Vostokova cenil jako „výborného filologa“ (*Briefwechsel* 670). Podobně mu vadila pro církevní slovanštinu stejně jako pro češtinu i jiné slovanské jazyky nejasná představa o jerech, takže považoval jerové střídnice za pouhé „eufonické vokály“; eufonií se vůbec snažil vysvětlovat řadu jevů, vycházeje z dobového názoru, že se řeč vývojem zjemňuje. Přehlížíme-li všechno to, co Dobrovský nevěděl a co dnes, po stopadesátiletém vývoji slovanského jazykozpytu patří k elementárním znalostem, uvědomíme si teprve, s jakou námahou se budovaly počátky naší vědy i jakou práci Dobrovský sám vykonal. Přes všechny dílčí nedostatky má badatelská činnost Dobrovského i na poli theoretické jazykovědy naprosto nesporný kladný význam: nejenže na základě vynikající celkové znalosti materiálu uzákonil hláskovou a tvarovou podobu nové spisovné češtiny a nejenže po prvé vědecky zpracoval staroslověnskou mluvnici, nýbrž položil též skutečné základy k historickému a srovnávacímu chápání jazyka, k srovnávací slovanské jazykovědě.

Je třeba vyzvednout ještě také to, že se Dobrovský při svém etymologisování zabýval i otázkou jazyka vůbec. I když jistě je těžko držitelný jeho názor, že „první elementy lidské řeči nejsou nic jiného než napodobování zvuků přírodních“ *(Über den Ursprung,* str. 12), přece jen můžeme konstatovat, že se nikterak nesnažil redukovat počet základních prvků na nějaké nepatrné množství, jak to v jeho době spekulativně činili jiní badatelé a ještě i v naší době marristé, nýbrž vždycky počítal se značným kvantem samostatných kořenů (sám jich napočetl pro slovanštinu 1605). A jak jsme si už citovali, dobře viděl a nikterak nezastíral, že v nepříbuzných jazycích jsou kořeny slov téhož významu zpravidla zcela různé; tím vlastně sám svůj předpoklad o původu prvotních slov potíral. Zvláště je přitom třeba zdůraznit fakt, že jeho představa o původu jazyka byla reální, nemystická: vznik jazyka spojoval přímo s člověkem, s lidskou společností, a člověk mu byl tvůrcem, vynálezcem jazyka (Spracherfinder). A další vývoj jazyků také viděl v těsném spojení s vývojem společnosti, jak nejlépe ukázal už roku 1791 a 1792 v *Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur,* díle na svou

dobu opravdu mistrovském. Ukazuje tu, jak se v průběhu dějinného vývoje s rozvojem české společnosti rozvíjela i čeština, jak byla obohacována slovy přejímanými i nově vytvářenými, jak rozkvetla v době husitské a jak se potom rozkošatila po rozšíření knihtisku v šestnáctém století, jak upadala zároveň s celkovým úpadkem české národnosti po bitvě na Bílé hoře i jak se v jeho době počínají rýsovat nové vývojové perspektivy. Přitom Dobrovský dobře poznal, že celý vývoj češtiny byl plynulý, organický, a postihl i nebezpečí v pokusech špatných jazykových theoretiků doby těsně předcházející a ještě i současné o zásahy neústrojné, plynoucí z přehnaného purismu nebo dokonce z nedostačujících znalostí jazyka. A tu dal své vědecké poznání vývojových zákonitostí jazyka do služeb praxe a ostře kritisoval všechny, „kteří jsou tak domýšliví a nadutí, že věří, že jazyk, kterým ještě mluví miliony lidí, to má strpět a přijmout jako zákony jejich nápady a rozmary" (Literarisches Magazin 1, 1786, 99). Pro mladé spisovatele, „kteří se nechávají svádět svým hravým důvtipem k nepotřebným novotám v naší řeči", napsal pak rozpravu *Die Bildsamkeit der slawischen Sprache* (1799, l. c. 67), v níž na základě bohatého materiálu ukazuje, jakým způsobem se tvoří v češtině substantiva a adjektiva; je známo, že jeho slovotvorné studie byly dobrým theoretickým základem zvláště později pro činnost skupiny Jungmannovy. Kromě toho již roku 1795 Dobrovský historicky zdůvodňuje na př. tvar 3. os. pl. *leží* (z *ležá, ležie)* a zamítá tvar *ležejí (Korespondence* III, 99); v podstatě historické zdůvodnění, vyplývající ovšem ze systému současného jazyka, má i jeho nový pravopis analogický. A vlastně celá jeho mluvnice češtiny, mistrně zachycující kultivovanou tradiční podobu jazyka, která pak byla praxí ověřena jako vyhovující základna nového vývoje, a konec konců i jeho slovník, shromažďující lexikální zásobu starší i soudobou, jsou rovněž takovou službou historicky poučeného badatele potřebám současného i budoucího života. Je nám tedy Dobrovský zcela v moderním duchu vzorem vědeckého pracovníka, spojujícího teorii s potřebami praxe.

Řekl jsem, že Dobrovského jako jazykovědce nemůžeme vytrhovat ze souvislostí jazykovědy domácí i světové. Z cizích badatelů vedle Friedricha Fuldy, o kterém jsem se již zmínil a jehož dílo podněcovalo Dobrovského ke studiím slovotvorným a etymologickým, bylo na naší konferenci už několikrát uvedeno jméno Johanna Christopha A d e l u n g a, kterého se Dobrovský rovněž často přímo dovolává a jehož německý slovník i mluvnice měly jistý vliv i na plán slovníku a mluvnic jeho; s Adelungem spojuje Dobrovského také úcta k faktovému materiálu i jeho historismus. Ale naprosto tu neběží o nějakou slepou závislost zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky na těchto cizích vzorech: díla Dobrovského jsou svým pojetím i způsobem zpracování práce zcela samostatné, těžící pouze z kladných výsledků soudobé vědy mezinárodní.

V nemenší, ba větší míře se Dobrovský začleňuje do tradic mluvnictví a lexikografie domácí a slovanské. Také o tom na naší konferenci zčásti byla už řeč. V předmluvě k svému slovníku Dobrovský navazuje, třeba kriticky,

na starší české slovníky od Veleslavínova až po T o m s ů v a T h á m ů v (uvádí ovšem i některé slovníky cizích autorů) a podobně i v Lehrgebäude přehlíží české mluvnice od nejstarších pokusů až po Pelcla a Nejedlého. Také v úvodní partii Institutiones uvádí dřívější církevněslovanské mluvnice, které mu byly dostupné nebo o kterých měl zprávy. Nejzajímavější je navázání na domácí tradice v pokusech Dobrovského o srovnávání slovanských jazyků s jinými jazyky indoevropskými: ve stati Über den Ursprung..., když mluví o pradávné příbuznosti slovanštiny s řečtinou, latinou a němčinou, upozorňuje na proslulého českého humanistu Zikmunda z Jelení — G e l e n i a a vyslovuje přání, aby byl s dodatky a opravami vydán jeho čtyřjazyčný *Lexicon symphonum* (1. vyd. Basilej 1573), ve kterém „tento učený Čech... navzájem srovnal čtyři hlavní evropské řeči, řeckou, latinskou, německou a slovanskou, a pilně shromáždil ta slova, v nichž se shodují buď všechny čtyři, buď tři, nebo jenom dvě" (l. c. 16). Slovník Zikmunda z Jelení opravdu představuje jeden z prvních kroků na cestě k srovnávací jazykovědě, a i když má rovněž své starší předchůdce, je nový, originální a průkopnický zvláště tím, že po prvé uvádí do srovnávání s různými jazyky také češtinu jako jeden z jazyků slovanských.

Dobrovský svým odkazem na Gelenia se výrazně přihlašuje k pokrokové minulosti české vědy, jejímž je v své době dovršitelem. A zároveň je i ukazatelem dalších cest do budoucnosti, majákem, jehož světlo září až do dneška. I my dnes, navazujíce na další už vývoj české a slovanské jazykovědy po Dobrovském a usilujíce — bok po boku s jazykovědci sovětskými a s pokrokovými jazykovědci celého světa — povznést jazykovědu na nový, vyšší stupeň, vytvořit v duchu Stalinově jazykovědu marxistickou, s úctou se můžeme sklánět před odkazem Dobrovského i pokud jde o historické a srovnávací chápání jazyka, a to zejména pro jeho bedlivé studium materiálu, který si po mnohé stránce od základu musil sám shromažďovat. Co nás na tomto poli s Dobrovským nejvíc spojuje, je právě okolnost, že si nic planě nevymýšlel, nýbrž zpravidla vyvozoval své postřehy a poučky ze skutečnosti, z jazykových faktů, aniž zabíhal do umělých a skutečností neověřených a nepotvrzovaných dohadů; na to upozornil ve svém referátu již prof. Kurz a pak to ještě podtrhl akademik Havránek. A v podstatě tak to po nás žádá i naše marxistická dialektická metoda. Také v tom žije odkaz Dobrovského jako veliký vzor pro nás i pro budoucnost.

Jaromír Bělič

Slovenčina v Dobrovského klasifikácii slovanských jazykov

Vincent Blanár

K otázke klasifikácie slovanských jazykov sa Jozef Dobrovský vracal viackrát. Vyrovnával sa s ňou na stránkach svojich časopisov (*Slavín* 1806, 242 n.; *Slovanka* 1, 1814, 159—166, 166—195), vo svojich základných, epochálnych dielach (*Ausführliches Lehrgebäude der Böhmischen Sprache,* 1809; 2. vyd. *Geschichte der Böhmischen Sprache und ältern Litteratur,* 1818; 2. vyd. *Lehrgebäude der Böhmischen Sprache,* 1819; *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris,* 1822), sčasti tiež v súkromnej korešpondencii (s F. Durichom, B. Kopitarom).

Prenikavá a niektorými myšlienkami i dnes aktuálna teória jazyka so zárodkami výskumu porovnávacieho a historického, ktorá sa zračí už z Dobrovského najstarších príspevkov v časopisoch *Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779, Böhmische und Mährische Litteratur auf das Jahr 1780* a *Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren, 1786—87,* ďalej sústavné kritické štúdium slovanských jazykov (okrem bulharčiny), ako aj niekoľké pokusy súčasných bádateľov o klasifikáciu slovanských jazykov (J. Chr. Adelung, A. L. Schlözer, J. Chr. Rüdiger a i.) predstavovali pre Dobrovského stále živé podnety k riešeniu tohto závažného slavistického problému.

Spočiatku uznával štyri „hlavné nárečia" (Hauptdialekte) slovanského jazyka, ktoré aj pri slovníkových a výslovnostných rozdieloch majú spoločné obdoby v gramatickej stavbe, a to: češtinu, poľštinu, ruštinu, ilýrčinu. Češtinu, moravčinu a slovenčinu pokladá za jednu reč, jedno hlavné nárečie slovančiny.[1])

V *Dejinách českej reči a literatúry z r. 1792*[2]) sa uvádzajú vedľa „cirkevnej alebo biblickej staroslovančiny" 1. ruština, 2. poľština, 3. ilýrčina,

[1]) *Über den slawischen Dialekt. Aus einer Reihe von Briefen eines Slowaken an mich.* (Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren 1786, 161—169). Sú to výňatky z 3 Ribayových listov Dobrovskému s Dobrovského poznámkami. Porov. A. Patera, *Josefa Dobrovského korespondence,* IV. *Vzájemné listy Josefa Dobrovského a Jiřího Ribaye z let 1783—1810.* Praha 1913. — I sám Dobrovský v Slovanke 2 (1815) 185 pripomína, že ide o článok z Ribayových listov.

[2]) *Dějiny české řeči a literatury.* Preložil, na vydanie pripravil a úvodnú štúdiu napísal Benjamin Jedlička. (Podľa vydania *Geschichte der Böhmischen Sprache und Literatur* z r. 1792.) Praha 1951, 14.

4. chorvátčina (posledné tri s niekoľkými predrečiami) a 5. „čeština s moravčinou, sliezštinou okolo Opavy a slovenčinou v Horných Uhrách". Za samostatný slovanský jazyk pokladá Dobrovský len taký, ktorý sa rozlišuje veľmi zreteľne v mluvnici. Vidíme, že Dobrovský skoro dospel k teórii o príbuznosti slovanských jazykov a uvedomil si, že ona spočíva v gramatickej stavbe.

S prvým náčrtom klasifikácie slovanských jazykov na dve skupiny sa stretávame v Dobrovského liste Durichovi z 10. VIII. 1794. Túto prvú Dobrovského dichotómiu odtlačil F. Durich v *Bibliotheca Slavica* (1795) v časti *De divisionibus populi Slavonici* (264—274)[3]) s vlastnými pripomienkami a doplnkami. V triede *A* sa rozoznávajú nárečia: ruské, srbské, chorvátske, v triede *B*: české, poľské, (lužicko)srbské. S touto klasifikáciou oboznámil Dobrovský svojich čitateľov v Slavíne v stati *Über die Altslawonische Sprache nach Schlözer, mit Anmerkungen von J. D.*,[4]) ktorá je povestná tým, že autor nehodnotí starú slovienčinu ako genus, ale ako species, nie ako matku, ale ako sestru ostatných slovanských jazykov. Dobrovský tento náčrt dichotómie postupne upravoval až do r. 1822. Neskoršie pridal v triede *A* starú slovienčinu a oddelil slovinčinu ako samostatné nárečie, v triede *B* oddelil hornú a dolnú lužičtinu a od 2. vydania *Geschichte* (1818) uvádza na prvom mieste pred češtinou slovenčinu. V definitívnej podobe dichotómie, ktorá je v *Institutiones*, str. III—IV, je 10 charakteristických klasifikačných znakov, z nich 6 je hláskoslovných. A 10 samostatných nárečí delí Dobrovský do 2 tried.

Posledná klasifikácia vyzerá takto:

Sub A.

1. Russica.
2. Slavica vetus.
3. Illyrica seu Serbica.
4. Croatica.
5. Slovenica s. Vindica in Carniolia, Stiria, et Carinthia.

Sub B.

1. Slovacica.
2. Bohemica.
3. Sorabica seu Vendica in Lusatia superiori.
4. Sorabica in Lusatia inferiori.
5. Polonica.

Koncepcia, z ktorej Dobrovský pri tomto triedení vychádza, nie je bez niektorých protirečení. Dobrovský hľadí na jazyk ako na útvar, ktorý má svoju zákonitú stavbu a špecifiku. Zákonitosti jazyka možno zisťovať abstrahovaním pravidiel z dobrých spisovateľov a z jazykového úzu.[5]) Naj-

---

[3]) I. Снегирев, *Иосиф Добровский. Его жизнь, ученолитературные труды и заслуги для славяноведения.* Kazaň 1884, 273—274.

[4]) Slavín 1806. Citujem z 2. vyd., Praha 1834, 242—263.

[5]) Napr. mluvnicu Pavla Doležala *Grammatica Slauico-Bohemica*, Bratislava 1746, vyzdvihuje nad iné súčasné diela preto, že Doležal študoval reč samu a že abstrahoval pravidlá z dobrých spisovateľov (Litt. Mag. 3, 1787, 136 n.; podľa J. Hanuša, *Dobrovského časopisy*. Bratislava 3, 1929, 450).

vyšším zákonodarcom v gramatike a slovníku je jazykový úzus.[6]) Jazykovedci tých slovanských národov, ktoré nedostali miesto medzi samostatnými slovanskými nárečiami, napr. Ukrajinci,[7]) nadväzovali na túto časť jazykového odkazu Dobrovského.[8]) Hájili práva živej ľudovej reči a príbuznosť slovanských jazykov zakladali nielen na slovníku, ale aj na gramatike živého jazyka. Dobrovský chápe a podporuje nárečový výskum, ale len natoľko, aby sa tým nepodnecoval vznik ďalších slovanských spisovných jazykov. K ďalšiemu rozvetvovaniu slovanských jazykov sa Dobrovský staval celkove negatívne; poukazoval na príklad Nemcov. Zastával jednotu jazyka a literatúry.[9]) Uvedomoval si stmeľujúcu úlohu spisovného jazyka v národnom kolektíve. O samostatnom slovanskom nárečí je Dobrovský ochotný hovoriť tam, kde jestvuje — hovoriac dnešnou terminológiou — vyššia, vypracovaná forma celospoločenského jazyka, spisovný jazyk. A pretože spisovný jazyk dostáva svoju kodifikáciu v gramatike, existencia gramatiky a istej literatúry, písanej podľa tejto normy, sú Dobrovskému hlavnými kritériami pre posúdenie slovanského nárečia ako samostatného. Neochota podrobnejšie rozčleniť niektoré z ďalších základných nárečí (ruštinu, srbčinu, poľštinu) má svoje hlbšie odôvodnenie. Tu bol Dobrovský osvietencom-racionalistom.[10]) Je len prirodzené, že Dobrovský nevypracoval po-

[6]) *Böhmische Litteratur*, 295; Litterarisches Magazin 1, 1786, 97.

[7]) Porov. I. Брик, *Йосиф Добровський і українськи граматики.* Sb. Josef Dobrovský 1753—1829. Praha 1929, 23—24.

[8]) Podnety k empirickému chápaniu jazyka a k historizmu dostal Dobrovský od Adelunga. Porov. k tomu M. Weingart, *Dobrovského Institutiones II*, 697—701.

[9]) В. Ягич, *История славянской филологии.* Petrohrad 1910, 110.

[10]) V článku *Schlözers Klassifikation der Slawischen Hauptdialekte, mit Anmerkungen und Zusätzen* (Slovanka 1814, 166—195) podává Dobrovský priepomienky k pozoruhodnej Schlözerovej klasifikácii. Schlözer výslovne hovorí, že mu klasifikácia hlavných slovanských nárečí splýva s klasifikáciou hlavných slovanských národov. Na str. 180 Dobrovský dodáva, že by chcel odlíšiť „Wendisch Nieder-Lausitzisch"; aj v tomto nárečí je od r. 1799 preklad Starého zákona (na začiatku knihy sú poznámky o dolnolužickom písaní a čítaní; autor J. Fr. Fritze opravuje svojich predchôdcov). Pri chorvátčine na str. 188 Dobrovský poznamenáva, že katolícki Chorváti čítajú dalmátsko-ilýrske knihy, ale majú aj vo vlastnom nárečí tlačené evanjeliá a iné knihy pre ľud. Dobrovský spomína tiež učebnicu chorvátčiny. Tento dôvod by som pridal k tomu, čo o veci píše M. Weingart, l. c. 595.

Prehĺbenejšiu dichotómiu podal, vychádzajúc z Dobrovského triedenia, P. J. Šafárik, *Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten* (Vieden 1826, 31—32). Uvedomuje si, že niektoré slovanské jazyky inklinujú istými znakmi do druhej skupiny, že jestvujú prechodné prípady. Ale zaradenie neurčuje jeden znak, ale súbor znakov. Šafárikova klasifikácia vyzerá takto:

Ordnungen	Mundarten	Unterarten
A	1. Altslawisch	
	2. Russisch	a) Großrussisch
		b) Kl. russisch, Russniakisch
		c) Weißrussisch
	3. Serbisch	a) Bulgarisch
		b) Serbisch, Dalmatisch, Bosnisch usw.
	4. Kroatisch	
	5. Slowenisch od. Windisch	a) O. Krainisch
		b) U. Krainisch

rovnávanie slovanských jazykov v sústavu. V jeho dobe ešte neboli splnené predpoklady pre túto prácu. Sám musel materiál nielen hodnotiť, ale aj zbierať.

Keď sa Dobrovský po mnohé roky svojej práce vyrovnával s otázkou klasifikácie slovanských jazykov, určoval aj pomer slovenčiny k iným slovanským jazykom a najmä k češtine.

Je známe, že o slovenčine dostával pravidelné informácie predovšetkým od Juraja Ribaya, a tým by mohli byť Dobrovského predstavy o slovenčine pomerne úplnejšie. Na druhej strane ide o prípad zložitý vzhľadom na úzky príbuzenský vzťah medzi češtinou a slovenčinou.

V dejinách československej filológie sa pri oceňovaní Dobrovského diela vyzdvihuje, že jasne riešil pomer češtiny a slovenčiny, zdôrazniac československú jazykovú (a tak aj národnú) jednotu. E. Smetánka v diele *Literatura česká devatenáctého století, I* (Praha 1902, 149), píše: „Silou své autority Dobrovský nemálo přispěl k tomu, že se úplné odtržení slovenského nářečí od spisovné řeči české aspoň o půl století pozdrželo." Podobné hodnotenia nachádzame v Jakubcových *Dějinách literatury české* (2. vyd., 85 n.). Pri charakteristike Dobrovského náhľadu na rozdelenie slovanských jazykov sa konštatuje, že Dobrovský ku koncu života uznal za samostatný jazyk slovinčinu a bulharčinu; ale nič sa nehovorí o neskoršom vymedzení samostatného miesta slovenčine v Dobrovského základných dielach z r. 1818, 1819, 1822. Takýto, zdá sa mi, zjednodušujúci postoj uľahčil J. Hanušovi otvárať prednáškou *Dobrovský a Slovensko*[11]) činnosť Komenského univerzity v Bratislave dňa 24. októbra 1921 s cieľom, že rozprava o pomere Dobrovského k Slovensku „snad přispěje, ne-li k řešení, aspoň k osvětlení a hlubšímu poznání československého problému", lebo skoro a definitívne sa musí rozriešiť československý problém, ak nemá byť ohrozená prítomnosť a budúcnosť „obou bratrských větví našeho národa"... (l. c. 3). A dalo by sa pokračovať. S Dobrovského dichotómiou sa rázne vyrovnal M. Weingart, *Dobrovského Institutiones, II.*[12]) Odmietol — okrem iných nedostatkov — roztrhnutie jazykovej jednotky československej. Zaujímavé porovnať, že keď V. Jagić v *Istorii slavjanskoj filologii*, 106 pouka-

---

B.	1. Böhmisch	a) Böhmisch
		b) Mährisch
	2. Slowakisch	
	3. Sorbisch in der O. Lausitz	
	4. Sorbisch in der N. Lausitz	
	5. Polnisch	a) Großpolnisch
		b) Kleinpolnisch
		c) Schlesisch

Nezaraďuje polabčinu ako jazyk už vymretý. Kašubčinu pokladá za variant poľštiny. (2. vyd., 31—34.)

[11]) J. Hanuš, *Dobrovský a Slovensko*. Sborník Filozofickej fakulty 2 (1923—24), č. 23. Bratislava 1924. 24 + [I] ss.

[12]) M. Weingart, *Dobrovského Institutiones*, II. Sborník Filozofickej fakulty 3 (1925) 592—596.

zuje na slabé stránky Dobrovského dichotómie v 2. vydaní Geschichte, tento „nedostatok“ nepobadal.

Pokúsim sa zhrnúť Dobrovského názory na slovenčinu a na jej miesto medzi slovanskými jazykmi v priebehu jeho celého vedeckého bádania.

V Dobrovského starších časopisoch a v korešpondencii (najmä s Ribayom) možno sledovať jeho prvú fázu názorov na slovenčinu. Dobrovský pokladá češtinu, moravčinu a slovenčinu za jedno hlavné nárečie slovančiny. Zemepisná poloha vysvetľuje väčšiu blízkosť Čecha a Moravana s Poliakom, Slováka s Chorvátom.[13]) Slovenčina má sprostredkujúcu úlohu medzi češtinou, chorvátčinou a poľštinou. Nárečová roztrieštenosť Slovenska „bude večnou prekážkou, aby sa slovenčina povýšila na spisovný jazyk“ (Litterarisches Magazin 2, 1786, 167). Slováci sa majú aj v budúcnosti pridržiavať spisovnej češtiny. Preto neschvaľoval krok Bernolákov, hodnotiac ho ako nejaké krajové novátorstvo, a veril, že pokus čoskoro zapadne do zabudnutia. Ešte v 1. vydaní *Podrobnej mluvnice jazyka českého* charakterizuje Bernolákovu slovenčinu (až na niektoré osobitnosti) ako starú češtinu. A v II. triede je zaradený do 1. skupiny „Čech so Slovákom“.[14])

Ale Dobrovský pozoroval, že sa u slovenských katolíkov rozrastá literatúra písaná bernoláčtinou. A. Bernolák vydal v r. 1790 *Grammaticu* a pripravuje slovník. Keď Dobrovský v tom čase prehlbuje svoju klasifikáciu slovanských jazykov, začína viacej prizerať na individualitu slovenčiny. V liste Kopitarovi zo 7. VIII. 1810 pripomína, že z pôvodných základných dialektov sa vyvinuli také, ktoré by už bolo možno nazvať jazykmi. Je desať gramatík týchto rozličných dialektov.[15]) Veľmi zaujímavé a doteraz nikde necitované myšlienky vyslovuje Dobrovský v Slovanke (1814) v článku *Schlözers Klassifikation der Slawischen Hauptdialekte, mit Anmerkungen und Zusätzen*“. Na str. 177 píše odpovedajúc na Popovičov

---

[13]) J. Jakubec, poverený Českou akadémiou vydať korešpondenciu Dobrovského s Ribayom, ktorú bol už pred 30 rokmi do tlače pripravil bibliotekár Ad. Patera, vo svojom *Úvode* k tejto korešpondencii nesprávne podáva miesto, týkajúce sa pomeru slovenčiny a chorvátčiny.

Vo svojom prvom liste (16. I. 1785), ktorý bol odpoveďou na Ribayov list z 22. 8. 1783, Dobrovský pripomína: ... „Daraus würde sich schließen lassen, daß sie, die Slowaken, mehr Verwandschaft mit den Kroaten haben, *als die Böhmen*“ (Kurzíva V. B.). Jakubec však v Úvode, XII vykladá: „Odhaduje z toho trochu upřílišněný závěr, že by prý potom Slováci měli větší příbuzenství s Charváty *nežli Čechy*“. (Kurzíva V. B.) Má byť ... „*ako Česi*“. J. Stanislav, *Slovenčina v diele Dobrovského.* Bratislava 3 (1929), 813 opakuje toto miesto bez poznámky.

[14]) J. Dobrovský, *Podrobná mluvnice jazyka českého v redakcích z roku 1809 a 1819.* Praha 1940, 6.

[15]) „*Sermo Slovanicus* sensu latissimo sumptus in *duo* dispescitur *idiomata:*

1. in idioma ordinis primi.
2. in idioma ord. secundi.

Primum Russis, Serbis, atque Croatis, Vinidis quoque in Carniolia, Stiria, Carinthia, secundum vero Czechis, Lechis, Venedis in utraquo Lusatia commune quondam fuit. Plures inde pro fluxere dialectus, quas iam linguas appellare liceat. Prostant autem diuersarum harum dialectorum Grammaticae *decem*“. (V. Jagić, *Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar,* 1808—1828. Berlin 1885, 158. Tiež Weingart, l. c. 596.)

názor, že „uhorskí Slováci sú Moravania, títo však Česi“: „Pravdaže, ak sa čeština pokladá za hlavný jazyk, patrí slovenčina ako vedľajšie nárečie alebo ako variant (Varietät) k češtine. Ale keby Slováci nikdy neboli prijali český literárny jazyk, ale oddávna spismi rozvíjali vlastné nárečie, vtedy by sa slovenčina musela pokladať za viac ako púhe podrečie (Varietät)“. V apríli r. 1815 si Dobrovský zapisoval *Slavische Wörter in der ungrischen Sprache mit Rücksicht auf die Altslav., russische, polnische, böhmische, slowakische und windische Mundart.*[16]) V týchto rukopisných záznamoch uvádza slovenčinu osobitne vedľa češtiny. Naznačený vývin Dobrovského názorov je potvrdený tým, že 2. vyd. *Geschichte* (1818), *Lehrgebäude* (1819), kde je i vynechané odsúdenie bernoláčtiny z 1. redakcie, a *Institutiones* (1822) uvádzajú slovenčinu na prvom mieste II. triedy samostatne pred češtinou.

Dobrovského názory sa však nevykryštalizovali jednoznačne. V posudku Šafárikovho diela *Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten*[17]) Dobrovský polemizuje so Šafárikovým riešením, keď Šafárik pokladá slovenčinu za samostatné nárečie. Dobrovský staval nado všetko potrebu jednotného spisovného jazyka. Bernoláčtina celonárodné uplatnenie nezískala, preto ju v inom článku v Slovanke[18]) zavrhuje slovami: „Veď ako by sa to skončilo, keby Slováci iných krajov navrhli pravidlá svojho ľudového nárečia a pozdvihli ich na literárny jazyk? O to sa pokúsili r. 1752 Sotáci, keď vytlačili vo svojom nárečí spevník a žalmy, r. 1758 modlitebnú knihu, ale horlivosť ochabla a sotácka literatúra odumrela“.[19])

Možno teda povedať, že Dobrovský vo svojich posledných veľkých dielach berie do úvahy individualitu slovenčiny, dáva jej osobitné miesto vo svojej dichotómii. (Na túto skutočnosť sa odvoláva i Štúr v *Náuke reči slovenskej.*[20]) Ale Dobrovského postoj nie je jednoznačný, lebo nachádzame i niekoľko prejavov, ktorými sa vracia k svojim starším názorom.

Otázku pomeru češtiny a slovenčiny riešil Dobrovský v čase, keď sa na prechode od feudálneho zriadenia ku kapitalistickému formoval novodobý český národ. Významnú spoločenskú úlohu v dobe národného obrodenia mal národný jazyk, ktorého vynikajúcim zakladateľom sa stal práve Jozef Dobrovský. Spomenutí starší filológovia a literárni vedci, ktorí vysvetľovali a komentovali Dobrovského pomer k slovenčine, nepostihli podstatnú vec: že proces, ktorý v Čechách prebiehal za Dobrovského, na Slovensku sa kryšta-

---

16) M. Weingart, l. c. 569, pozn. 34.

17) A. Pražák, *K stykům Dobrovského se Slovenskem.* Bratislava 3 (1929) 676.

18) *Über die Literatur der östlichen Wenden (Slowaken) nach Fritsch, mit berichtigenden Ergänzungen.* Slovanka 2 (1815), 177—187.

19) V článku *Über Adelungs Mithridates, in Betreff der slawischen Sprachen* (Slovanka 1814, 198—199) cituje Dobrovský z Ribayovho katalogu tieto 4 sotácke knihy: 1. *Hlasz pobosnoho spéwánya.* Debretzin 1752. — 2. *Svetoho Davida 150 Soltari.* Ibid. eod. — 3. *Radosztz szertza pobosnoho, to jeszt Modlidby.* 1758. — 4. *Agenda eccles. reformatarum, to jeszt, Szprava, jakbi se malo.*

20) Ľ. Štúr, *Náuka reči slovenskej.* Bratislava 1846, Úvod.

lizuje takmer o polstoročie neskôr. Za štúrovcov sa vytvára novodobý slovenský národ a spojivom nárečove roztriešteného spoločenstva sa stáva národný slovenský jazyk so svojou spisovnou formou domácou. Keď vyzreli hospodársko-spoločenské podmienky, uplatnili sa vnútrojazykové predpoklady, ktoré tu už existovali. Nadviazalo sa na to *špecifické* vo vývine slovenského jazyka. Výsledok vnútorných jazykových zákonov slovenčiny v období národnostného jazyka na rozdiel a v pomere k vývinu češtiny by sa dal charakterizovať ako *väčšia konzervatívnosť v hláskosloví* (túto vec spoznal už Dobrovský) *a rýchlejší vývin v tvarosloví.* K tomu pristupuje vzrast *špecificky slovenských lexikálnych prvkov.*

Dobrovský sledoval jazykové pomery na Slovensku v dobe uvoľnenia kultúrneho vplyvu češtiny, ale ešte pred procesom národného formovania. V zložitej situácii sa orientoval len ťažko. Pobadal však, že vývin neprebieha priamočiaro. Vytrvalým hľadaním pravdy sa dostával bližšie k správnemu hodnoteniu ako tí neskorší bádatelia, ktorí — celkom nehistoricky — chceli Dobrovského postoj k slovenčine premietať do doby o 100 rokov neskoršej a ktorí u Dobrovského hľadali oporu a argumenty pro vyriešenie tzv. československej otázky.

Vincent Blanár

K otázce historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského

Václav Vážný

Zamýšlíme-li se nad dějinami jazykovědy a její methodiky, překvapuje nás, vážení a milí přátelé, že se tak dlouho nevědělo, že k výkladům jevů vlastního jazyka potřebujeme jeho srovnání s různými jazyky jinými a že toto srovnávání je třeba promítnout i do jazykové minulosti.

Jak klasickým Řekům, tak i Indům chyběla znalost historického vývoje jazyků; stejně tomu bylo ještě v 17. a 18. století, kdy myšlenka historické perspektivy jazykové byla vcelku stejně neznáma jako za času Aristotelových anebo proslulého indického gramatika Pāṇiniho — tedy zhruba ve 4. století před Kristem.

Až počátkem 19. století se soustavně ve všech vědeckých oborech vynořuje nový způsob myšlení; logické představy se již nechápou jako výklady, ale hledá se nová cesta výkladová ve spojení methody srovnávací s pohledem na historický vývoj příslušných jevů. Tak na příklad v oboru věd společenských se dospělo k poznání, že společenská zřízení vznikala z řady za sebou následujících postupů, které nemožno bezpečně vysvětlit bez jejich historického sledování. Je to tedy právě metoda historického výkladu, která je výtvorem 19. století a do určité míry již konce století 18. V tomto širokém rámci srovnávací mluvnice je jen jednou částí v celku methodických výzkumů, týkajících se historického vývoje jevů přírodních i společenských.

Srovnávací mluvnice vznikla, když se připadlo na myšlenku systematicky srovnávat sanskrt s řečtinou, latinou a germánštinou a později i s jazyky baltskými a slovanskými a s ostatními indoevropskými jazyky. Za takové dílo, zvěstující začátek srovnávací mluvnice, se právem pokládá spis Františka B o p p a, *Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache,* který vyšel ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1816, tedy v době, kdy byly Dobrovskému 63 roky.

Je jistě zajímavé, že již více než 100 let předtím Gottfried Wilhelm L e i b n i z (1646—1716) naléhal na srovnávání všech jazyků a sám chtěl seskupit evropské jazyky podle jejich příbuznosti a poznal vnitřní souvislost maďarštiny s finštinou a turečtiny s jazyky mongolskými; nemohl se sice vymknout duchu své doby a řešení všeobecných otázek (o původu řeči a

pod.), ale žádal jinou metodu, metodu srovnávací. Někteří badatelé tohoto srovnávacího směru naznačili již také příbuznost sanskrtu s evropskými jazyky. Tím se přiblížila doba obratu ve vývoji evropského jazykozpytu: způsobilo ji právě poznání sanskrtského jazyka a indických prací mluvnických. Je velmi pozoruhodné, že se i Dobrovský poměrně brzy seznámil s jazykem indickým, a to nejprve s nářečím novoindickým již roku 1791 a brzy potom i se sanskrtem a již roku 1799 v listě Durychovi správně srovnával slovanské *ognʼь* se staroindickým *agnih*. Výsledky prací těchto prvních indologů vedou potom přímo k Františku Boppovi, jehož pracemi se začíná doba soustavného studia jazykozpytného. V ní možno přímo za převrat označit užití srovnávací metody ve velkém slohu, tedy důsledné provedení myšlenek Leibnizových, a to zatím pro jednu skupinu jazyků.

V době tohoto významného myšlenkového a metodického přelomu ve vědách přírodních i společenských a zvláště v jazykovědě vyrůstá jedna z našich nejvzácnějších osobností, Josef Dobrovský, vynikající všestranností nesmírně širokých obzorů, jedinečně hlubokou kritickou pronikavostí, spojenou s houževnatou pracovitostí a vřelým zájmem o vše slovanské. Přípravné práce Dobrovského sahají do poslední třetiny 18. století, soustavná mluvnice česká, *Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache* vyšla roku 1809, druhé vydání 1819, a *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris* vyšly koncem roku 1821 nebo začátkem roku 1822.

Dobrovský však poskytl své vědě nejenom základní díla mluvnická, která byla po několik desetiletí vzorem podobných prací v češtině i jiných slovanských jazycích, byl nejenom ukazovatelem nových cest, po nichž měla jazykověda postupovat, a skvělým příkladem vědeckého organisátora, ale především Dobrovský dal své vědě metodu, tím že promyšleně aplikoval Dobnerovy zásady historicko-kritické na jazykozpyt. Cílem mu byla pravda, pouhá, holá, nešperkovaná. Badatel v jazycích slovanských má podle Dobrovského znát sice jazykozpyt filosofický a srovnávací, ale hlavní věcí jsou fakta, empirie. K výstavbě mluvnického díla musí jazykozpytec snášet prameny: památky staré i řeč lidovou. Z pramenů, ne z druhé ruky, nutno citovat, a to přesně, prameny třeba kontrolovat. Z fakt plynou srovnáváním důsledky; ty mají cenu, jen když je lze dokázat. Dobrovský žádá důkazů, ne možností. Cílem je mu jistota. Duch positivismu vane těmito descartesovsky prostými principy v souzvuku s rázem filosofické školy Wolffovy, pro kterou střízlivá rozumovost byla vrcholem duševního vývoje. Jazykozpytné práce Dobrovského, mluvnické, slovníkové i jiné, vynikající podivuhodnou přesností dat, jsou této metody vtělením. (Srov. Emil Smetánka, *Počátky slovanského jazykozpytu v Čechách.* Literatura česká 19. století. I. Praha 1902, 202—203.)

Myslím, že referát Běličův vcelku velmi dobře vystihl, v čem vidíme dnes základy historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského, a svou thesi prokázal bohatými doklady nejen z nejvýznamnějších

jazykovědných děl Dobrovského, ale i z jeho drobnějších statí i z jeho korespondence. Správně vyzdvihl, že u Dobrovského nejde ještě o systematické uplatnění metody historickosrovnávací, poněvadž činnost Dobrovského patří do doby, kdy historickosrovnávací metoda nebyla ještě plně vypracována, ale že dospěl vlastní cestou až k samým hranicím historickosrovnávacího jazykozpytu. Svými etymologiemi, při nichž se uchyloval k srovnávání slovanské zásoby slovní s latinou, řečtinou, litevštinou, jazyky germánskými, ba i starou indičtinou, jakož i svými výklady některých tvarů flektivních, zvláště slovesných, byl do jisté míry — jak už skoro před 30 lety správně postřehl Weingart — předchůdcem Boppovým. Tedy u nás Dobrovský nesporně první připravoval cestu srovnávací jazykovědě. Svou thesi podrobně dokazoval Bělič na zhodnocení hlavních poznatků Dobrovského z historického vývoje češtiny, z předhistorického vývoje slovanských jazyků a na Dobrovského tušení příbuznosti jazyků indoevropských. K tomuto zhodnocení Běličovu dovoluji si připojit jen několik poznámek a doplňků.

Je jistě pozoruhodné, že ani v hláskosloví, jemuž v duchu své doby Dobrovský věnoval ještě jen poměrně malou pozornost, neušly mu hlavní jevy z dějin českých hlásek: přehlásky, difthongisace a jiné, neunikla mu ani jejich zákonitost; snažil se též aspoň přibližně určit jejich rozšíření na jazykové oblasti české a slovenské; nemůžeme ovšem ještě vyžadovat na Dobrovském smysl pro podrobnější určení a chronologii jevů hláskoslovných, pro pojem hláskoslovné normy a pro ocenění hláskosloví jako základu veškerého zkoumání mluvnického; to bylo zůstaveno až pozdějším stadiím srovnávacího jazykozpytu.

Z jazykových bádání, kterými mohl obzvláště prospět spisovné češtině, zaujala Dobrovského hlavně tvořivost řeči české, kterou se snažil podrobněji objasnit. První pokusil se o bezpečnější základ slovanského kmenosloví, na jehož okraji si všímal i jiných důležitých otázek spisovné češtiny. I když některé obecné předpoklady Dobrovského dosti záhy zastaraly, jakmile se plněji rozvinul srovnávací jazykozpyt, jeho pozorování v jednotlivostech, zejména co se týče slov složených, jsou správná a přišla v pravý čas jako kritické memento do období puristického kvasu a slovníkových neologismů. Při této příležitosti rád bych jen zdůraznil, jak se Dobrovský (v pozoruhodné stati, *Die Bildsamkeit der slavischen Sprachen an der Bildung der Substantive und Adjektive in der böhmischen Sprache dargestellt)* snažil ukázat na rozdíl mezi historickým obdobím jazyka českého a mezi živým stavem přítomným. Správně vytýká slova zastaralá, způsob tvoření, který z živé řeči již vymizel (na př. u přípony *-ba, -ota);* jinde ukazuje, že se v novější době projevuje snaha tvořit slova hojnější měrou jiným způsobem než v časech starších (na př. v novější době převládá zdrobňující přípona *-ek* proti dřívější *-ec).* Při svých pozorováních opírá se Dobrovský též o živé dialekty na Moravě a na Slovensku, řidčeji všímá si i jiných jazyků slovanských, zvláště ruštiny.

Srovnávací zřetel Dobrovského výrazně se uplatňuje i v jeho dvou pokusech o charakteristiku jazyka slovanského (Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur a v Geschichte der böhmischen Sprache und älteren Literatur), v pokusech, obsahujících některá dobrá pozorování, která pozdější srovnávací jazykozpyt potvrdil. Tak Dobrovský správně pozoroval, že v jazycích slovanských je mnoho sykavek *(c, č, s, š, z, ž)* a že bývají i tam, kde v jiných příbuzných jazycích takové souhlásky nejsou; jako příklady uvádí Dobrovský srovnání: *zima — hiems, vezu — veho, zrno — granum, zlato — gold, srdce — herz;* Dobrovský poznal též, že v slovanských jazycích není hlásek aspirovaných a že se v původních slovanských slovech nevyskytuje souhláska *f;* v soustavě slabičné upozorňuje na slovanské typy *brada, breg, mleko* proti německému *Bart, Berg, Milch.* I když tato pozorování nejsou vždy zcela přesná a chybí jim, jak ani jinak nebylo možno při tehdejším stavu bádání, kdy se srovnávací jazykozpyt teprve připravoval, potřebný rozhled aspoň po hlavních členech velké jazykové rodiny indoevropské, svědčí nesporně o bystrém srovnávacím pohledu na daný slovanský jazykový materiál.

Rovněž v klasifikaci slovanských jazyků podle významných jevů z oblasti hláskoslovné projevuje se historické a srovnávací hledisko jazykozpytné Dobrovského. Dobrovský pokusil se o ni několikrát, zejména v *Geschichte der böhmischen Sprache,* v *Lehrgebäude* a v *Institutiones.* Je to tak zvaná dichotomie, rozdělení slovanských jazyků na dvě větve, jihovýchodní a západní, klasifikace jazyků slovanských na svou dobu poměrně dost podrobná a pozoruhodná, která přežila dlouhou řadu novějších pokusů o roztřídění a pro své dobré jádro udržuje se (vedle klasifikace trojdílné a vedle skepse k veškeré klasifikaci vůbec) v slovanských mluvnicích posud.

Dobrovský věnoval též několik poznámek otázce příbuznosti slovanštiny s jinými jazyky. V rozpravě *Über die ältesten Sitze der Slaven in Europa* vykládá, že slovanštině nejblíže příbuznými jazyky byly litevština, lotyština a stará pruština, potom latina a němčina; v Geschichte der böhmischen Sprache und älteren Literatur ukazuje, že se slovanština značně shoduje s jazykem staroindickým, mluvnickou pak stavbou s jazyky klasickými a němčinou. Jinak vůbec třeba zvlášť ocenit zásadu Dobrovského, významnou pro další zkoumání příbuzenských poměrů mezi jazyky, kterou končí v Geschichte der böhmischen Sprache und älteren Literatur kapitolu o vztahu slovanštiny k jiným jazykům. Jenom z pouhých srovnání podobných slov nemůžeme pronésti správný úsudek o pravém poměru slovanských jazyků k jazykům jiným, jestliže při tom nepřihlížíme obzvláště k tvarům slov a k celé výstavbě jazyků.

Při této příležitosti chtěl bych ještě jenom ukázat, s jakým úspěchem uplatnil Dobrovský toto hledisko i pro oblast jazyků ugrofinských a uraloaltajských. Jak je všeobecně známo, Dobrovského široký slavistický zájem vedl ho i k tomu, aby si všímal maďarštiny. Co se týče složité problematiky jazykových vztahů slovansko-maďarských, můžeme pokládat Dobrovského

— aspoň ve světě slovanském — za průkopníka tohoto směru bádání v slavistice a za připravovatele cest Miklošičovi.

Později poznáním finštiny a laponštiny a studiem jazyků turkotatarských za jeho pobytu ve Finsku a v Rusku jeho jazykové znalosti a zkušenosti se ještě více rozšířily a umožnily mu jasný a správný úsudek o příbuzenských poměrech těchto jazyků na základě studia historického spojeného s pohledem srovnávacím.

Podle vynikající studie předčasně zemřelého slovenského badatele, Pavla B u j n á k a, *Dobrovského miesto v ugrofinskej lingvistike,* ve 3. ročníku Bratislavy, Časopisu Uč. společnosti Šafaříkovy z roku 1929, věnovaného na stoletou paměť smrti Josefa Dobrovského a na počest I. sjezdu slovanských filologů, Dobrovský byl prvý, kdo určoval příbuznost jazyků ugrofinských i uraloaltajských na základě morfologickém. V třídění a seskupování jazyků na podkladě tohoto principu — podle slov Pavla Bujnáka — Dobrovský předstihl Rasmusa R a s k a i B o p p a. Zvláště pak vyzdvihuje Bujnák výsledek pozorování Dobrovského v tom, že Dobrovský poznal vnitřní gramatickou souvislost gronštiny s jazyky tatarskými nebo mongolskými a že gronštinu zařadil mezi jazyky altajské a přičlenil ji k velké skupině uraloaltajské.

Rovněž Dobrovský se zabýval srovnáváním finských slov s ruskými a byl jistě mezi prvními, kteří řešili otázku ruských slov ve finštině.

Dobrovský tedy stojí na přechodu od století 18. k vědě nové jako tušitel a připravovatel jejích nových cest a jako spolutvůrce její nové metody historické a srovnávací. Rozsáhlou činností, velmi důkladnou a systematickou, vynikl Dobrovský vysoko nade všecky své předchůdce v mluvnici české i slovanské a v bádání jazykovědném vůbec. Náš bývalý vzácný vysokoškolský učitel, profesor S m e t á n k a, už před 50 lety v lapidární zkratce, myslím, velmi vhodně ocenil význam Dobrovského takto: *Dílo Dobrovského je v tom, co dodělal, základem, v tom, čeho nedokončil, programem a v metodě vzorem vší úspěšné práce další.*

Václav Vážný

Dobrovského pojetí českých dějin a stanovisko k našemu historickému vývoji

Josef Macůrek

Otázka pojetí českých dějin byla předmětem už nesčetných diskusí a vědeckých sporů. Dotýkali se jí všechni významnější čeští historikové a všichni, kdo přemýšleli o smyslu a filosofii českých dějin, všichni, kdo chtěli vážně pochopiti i dílčí úseky a problémy české minulosti. U všech, kteří si tuto otázku kladli, nekončily ovšem úvahy a diskuse se stejným zdarem.

Vzpomeňme, jaký rozruch způsobila diskuse kolem pojetí, v němž Dobrovský byl označován za pokračovatele idejí českobratrských a reformačních. Vzpomeňme na druhé straně, kolik životnosti si i dnes podržela dějinná koncepce i filosofie jednoho z největších novodobých historiků vůbec, Františka Palackého. Vzpomeňme posléze, kolik dějinné pravdy je obsaženo v historicko-filosofických úvahách na thema „Ke sporům o smysl českých dějin“ u Zdeňka Nejedlého.

Otázka pojetí smyslu českých dějin neztratila povahu časovosti ani dnes. Právě naopak; vzrostl její význam; třeba na ni odpovídati právě dnes v době velkého budovatelského úsilí i hrdinských pokusů o výstavbu nové socialistické společnosti, ve chvíli, kdy historická věda je zvláště povolána k tomu, aby ukazovala kořeny i příčiny vedoucích sil dějinného vývoje, zákony jeho organického růstu, místo společenských tříd ve vývoji jednotlivých národů i v obecném dění vůbec.

Nový pokus o pojetí českých dějin musí být založen (má-li míti úspěch) narozsáhlém a svébytném, individuálním a kolektivním výzkumu současných vědeckých pracovníků, na jejich pevném a zdravém světovém názoru. Musí být budován pomocí nejlepší vědecké metody. Nemůže se ovšem obejít ani bez pohledu zpět, bez studia starších dějinných koncepcí, zejména pokud měly pokrokový ráz a pokud napomáhaly progresu společnosti. A uvážíme-li, že dnešní zápas o práva a svobody lidu je v podstatě pokračováním našich velkých obrozenských tradic, nemůže nové uvažování o smyslu českých dějin nepřihlédnouti k dějinné koncepci hlavní postavy našeho národního obrození a tvůrce naší novodobé vědy o Slovanstvu, Josefa Dobrovského; tím spíše, že jde o osobnost, která se zrodila a vyrostla v lidovém prostředí, která pracovala k tomu, neobracejíc se jinak přímo k masám, aby lid měl

své mluvčí, jakmile bude s to, aby vystoupil jako národ; tím spíše, že jde o osobnost, která byla ovládána při všem svém vědeckém úsilí devisou: pomoci tomuto národu na nové, zdravé cesty života.

Na první pohled se ovšem může zdát, že spojovat otázku pojetí českých dějin s velkým zjevem Josefa Dobrovského není na místě a že to nemůže vést ke kladným výsledkům. Dobrovský vynikl přece především jako filolog jako literární historik, jako zakladatel studií o církevní slovanštině a v těchto vědeckých oborech dosáhl největších vědeckých úspěchů a světového jména.

Než byl by omyl, kdybychom hledali zásluhy J. Dobrovského jen ve filologii. Vždyť jde o vědce neobyčejného nadání, který měl od počátku vědecké tvořivosti v letech 70tých 18. stol. a v průběhu svého padesátiletého vědeckého úsilí velmi mnohostranné vědecké zájmy, a ač svými vlastními životními osudy byl nevalně bohatý (odešel přece jako sedmatřicetiletý rektor do výslužby), udržoval si vždy jako nezvyklý polyhistor pronikavý pohled na rozličné vědní obory. Vřelý zájem o historii, zejména o historii vlastního národa i o její vědecké poznání, se musel projeviti již na okraji jeho tvořivosti proto, že žil v době, nad níž málokterá starší doba byla pohnutější, že se stále pohyboval v ovzduší rozsáhlých zájmů soudobého učeného světa o minulost, že ve svém shonu za památkami literárními i jazykovými byl nucen si všímat také dokumentů čistě historických a pozadí jejich vzniku. Musela tu působit také skutečnost, že jako obrozenský vědec a buditel zahleděný do slavné kulturní minulosti vlastního národa, ovládaný snahou vynést na denní světlo co nejvíce literárních a jazykových památek slavné české minulosti, ovládaný snahou zjistit a střežit správnost i zákony spisovné češtiny, její historickou kontinuitu i jednotu, si byl více nežli kdokoli ze současníků vědom toho, co znamená minulost pro přítomnost i budoucnost, co znamená dobré historické poznání pro přítomný boj i příští vývoj.

Dále jako průkopník nového světového názoru charakteristického odporem proti všemu, co bránilo pokroku lidství, charakteristického odporem proti náboženskému násilí, byl nucen řešit i themata čistě historická, která byla do té doby představiteli oficiální církve pokládána za nedotknutelná. Byl nucen klást si otázky, týkající se povahy české minulosti v tom či onom období dějin.

Posléze třeba dodat, že o otázky čistě historické musel zavadit už vlivem své pokrokové pracovní metody, platné ve všech vědách a neméně také ve vědě historické; byl nucen tak činiti pro svůj svrchovaně kritický postoj ke všem památkám minula a pro své stálé úsilí o vědecký pokrok. Vskutku láska k historii i zájem o ni se projevily u Dobrovského už na počátku jeho vědecké činnosti; historie a znalost dějin doprovázely všechny jeho práce analyticko-monografické i synthetické povahy. Není divu, že proto právě svými historickými pracemi si získával uznání doma i v cizině, kde velký Goethe charakterisoval vědecké zásluhy Josefa Dobrovského příznačnými slovy: „Der Altmeister kritischer Geschichtsforschung in Boehmen".

Právem proto můžeme u Dobrovského — linguisty a literárního badatele hledat poučení v otázce tak vyhraněné, jako je a) pojetí českých dějin a b) jeho stanovisko k českému historickému vývoji.

Jaké k tomu máme prameny? Pomůckou je tu celé dílo J. Dobrovského počínaje a) časopiseckými úvahami a kritikami ze 70—80tých let 18. stol., uveřejněnými v B L 1779, B M L 1880, Lit. Mag. 1786/7, b) prvními knižními edicemi, zejména *Dějinami české řeči a literatury*, zachovanými v několika redakcích (z r. 1791, 1792, a 1818), c) kritickými studiemi o starých českých dějinách *(Kritische Versuche* z let 1803—1819), spisem o Cyrilovi a Metodějovi (z r. 1823), d) řečí z roku 1791 o významu slovanských apoštolů, e) popisem cesty do Švédska a Ruska z roku 1792—1793. Pomůckou jsou také práce plánované: jako byly Nejstarší dějiny slovanských národů *(Inicia eruditionis Slavorum ante divum Cyrillum)* a chystané edice i výklad legendy o Václavu Svatém.

Zvláštní význam má bohatá korespondence Josefa Dobrovského, vedená takřka se všemi význačnými domácími i cizími průkopníky vědy jeho doby, vydaná dosud tiskem jen zčásti (koresp. s Durichem, Ribayem, Bandtkiem, Englem, Helfertem, Veršauerem, Cerronim).

Nelze zapomínat ani na ústní sdělení Josefa Dobrovského, o nichž se zachovala památka ve vzpomínkách současníků. Nelze si nevšimnout ani beletristických děl, pokud mají historické jádro. Sem náleží V. A. Šmilovského *Za ranních červánků.*

Chceme-li poznat a pochopit pojetí českých dějin u J. Dobrovského, nestačí ovšem sáhnout jen k těmto pramenům; třeba si uvědomit, jaké byly teoretické předpoklady jeho práce.

V té věci lze vyjíti ze slov Zdeňka Nejedlého, vyjádřených v jeho *Dějinách národa českého* (I., 68—69), kde Nejedlý pronikavě osvětlil podstatu díla J. Dobrovského, zařadil je společensky a ukázal, jak dílo Josefa Dobrovského je odrazem doby, a to aktivním odrazem a článkem jejích nejprogresivnějších sil. „V něm (praví Z. Nejedlý o Dobrovském) nebylo ještě dosti víry v novověkou skvělou budoucnost českého národa; ale byla v něm hluboká účast i žal nad jeho pádem. A z toho se zrodilo i nové vědomí povinnosti k národu, jež ho, přes všechnu vnější cizotu, učinilo prvním velkým národním buditelem.“ V něm byly spojeny všechny tři složky nového buržoasně-svobodomyslného světa: a) rozumovost a z toho plynoucí vědecká kritičnost, b) bojová průkopnickost i odpor proti všemu, co bránilo pokroku lidstva i c) konečně nové vlastenectví, nový duch národní. V tom je velký, přímo historický význam Dobrovského v celém životě nově se probouzejícího českého národa.

Než upusťme od pouhých citací a pokusme se vyložit teoretické předpoklady vědecké činnosti Josefa Dobrovského.

Thema, jaké byly teoretické předpoklady a základy vědecké práce Dobrovského, je obtížné. Vyžaduje, aby se přihlédlo nejen k velké vědecké individualitě, ke zvláštnostem jejího ducha, k velkému vědeckému úsilí. Vyžaduje, abychom odpověděli na řadu důležitých otázek: 1. jaká byla doba a prostředí, v němž Dobrovský žil a tvořil, 2. jaké bylo předchozí i soudobé vědecké snažení i jeho metody vůbec, v dějepisectví zejména, 3. jakou úlohu měla v tomto dějepisectví domácí tradice, úsilí o zapojení vědecké práce na život, 4. jak při tom působila láska k vlasti, její minulosti i víra v budoucnost češství a slovanství.

Otázka ta vyžaduje, abychom obrátili pozornost k tomu, jak vědecká práce Josefa Dobrovského i jeho pojetí české historie (vyvěrající jinak z vlastního proniknutí látky i pramenů) bylo formulováno stálým působením doby, časovými materiálními i psychickými podmínkami.

Všechno to není možno vyjádřit v krátké úvaze v celém rozsahu i v celé složité dynamice, tím méně, když tu není rozsáhlejších, pokrokově pojatých přípravných prací. Obtíž je také v tom, že Dobrovský vystupuje už ve svých prvých historických pohledech jako bezpečně poučený a ve svých názorech ucelený badatel. Obtíž je posléze i v tom, že v jeho padesátileté vědecké tvořivosti můžeme sice vidět tu i tam opravy a doplňky, nové formulace a poznámky, ale nikoli a nikdy zásadní zlomy.

Než všimněme si některých teoretických předpokladů jeho práce konkretněji. Především pokud jde o dobu a prostředí v 2. pol. 18. stol. a poč. 19. století.

Jde o řadu desetiletí, zvaných dobou národního obrození, o období, kdy vyvrcholila (podle nejnovějších výzkumů) krise feudalismu a začala se vyvíjet kapitalistická výroba, mající u nás — ještě na konci 18. stol. na rozdíl od pokrokovějších evropských zemí — malou výrobní kapacitu a nízkou technickou úroveň. Jde o půl století, kdy spolu s rozkladem feudálního řádu a s rozvojem kapitalistických vztahů se řítil k zániku starý svět a za převratů v třídní struktuře společnosti se začaly rozvíjet a upevňovat nové společenské třídy. Dosud vládnoucí feudální třída si udržovala za slabosti buržoasie a pomocí šlechtického úřednictva stále hospodářské a politické posice, a nejednou přecházela ke kapitalistickému podnikání.

V této podobě se české země rozechvěly pod údery francouzské buržoasní revoluce a s druhé strany se dostaly do doteku s revolučním proudem, který pronikl do části pokrokovější společnosti polské a uherské. V té souvislosti byly postiženy censurou a protirevolučními opatřeními, jejichž cílem bylo potříti sympatie k revoluci, projevující se u nás tu a tam v lidovém prostředí, a dostaly se do hluku dlouholetých protinapoleonských válek. Úpadek, v němž se octly v době předchozí (v ohledu hospodářském, kulturním, literárním i jazykovém), za napoleonských válek zastaven nebyl a spíše rostl. Byly ohroženy hospodářské i duchovní statky. Literatura byla psána stále vesměs v jazyku německém a latinském. Čeština, omezovaná jen na lid a pokládaná za jazyk barbarský, pronikala jen těžko do jiných společen-

ských sfér. Nechybělo (ještě na přelomu 18. a 19. a počátkem 19. stol.) hlasů, má-li vůbec smysl existence českého národa, zda-li má smysl oživovat starou českou literaturu a vést k novému životu národ zřejmě upadlý a zda-li by nebylo lépe připojit se k velkému sousednímu národu.

Jakoby navzdor proti těmto myšlenkám a proti sílíci germanisaci se začaly objevovat v lidovém prostředí (v souvislosti s rozkladem feudalismu, s blahodárným zrušením nevolnictví, s tolerančním patentem i se současným formováním novodobého českého národa) červánky doby nové.

Mnoho k tomu přispěl (na přelomu 18./19. stol.) dotek českého lidu s *ruskými vojsky,* přišlými do zemí českých za protinapoleonských válek, kdy český lid byl posílen poznáním, že není sám, ale že jsou ještě jiní, jemu blízcí Slované, a že může nalézti ve velkém ruském světě pomoc ve svých obtížích i ve svých nadějích.

To bylo tím významnější, že se tomuto českému lidu dostalo v téže době (ne-li už dříve) pomoci i jinak. Kladně se tu uplatnily výsledky staršího i soudobého domácího vědeckého i literárního snažení, ovládaného racionalistickými úvahami, pokrokovými názory, které se obracely proti supranaturalistickému chápání života, proti klerikalismu, proti náboženskému dogmatu i náboženské nenávisti, a zdůrazňovaly heslo tolerance, zesvětštění života, heslo svobody individuální i kolektivní.

V tomto ovzduší nové společenské i ideologické emancipace i nových pohybů v lidových masách vyrostli t. zv. naši *buditelé,* kteří se zasloužili o to, že pomohli formovat tvořící se novodobý český národ.

Vycházejíce z názoru, že duchovní poroba, do níž byl lid uvržen v době protireformační, není hodna ušlechtilé lidské společnosti, postavili proti veškerému násilí svůj program humanitní, podle něhož ani jedinec, ani kolektiv, ani národ nemá být násilím potlačován, ale každému: kacíři, člověku nižších tříd, jiné národnosti i jazyka má být dopřáno spravedlnosti.

Obraceli svůj zřetel se zálibou k utlačovaným jedincům i kolektivu, začali projevovat také živý zájem o řeč a literaturu zanedbané české národnosti i o osud národnosti samé.

Kromě jiných vědních oborů učinila to zejména česká historiografie.

Kořeny této české historiografie byly složité. Jako nový, mladý vědní obor nemohla zůstat nedotčena od obecných tendencí a proudů.

V době úzkého teritoriálního spojení českých zemí s okolními německými oblastmi, kde počátkem 2. pol. 18. stol. bylo vědecky rušno, nemohla si nevšimnout nové metody vědeckých prací povahy filosoficko-teoretické i monograficko-praktické, prací, které usilovaly (ve smyslu zásad praktické filosofie) o poznání hlavního účelu vědy, historické zejména: totiž pravdy, a dále, aby se z dějin vytvořila učitelka života. Důležité byly v této vědecké tvořivosti také teorie o slovanském dávnověku, které se ozvaly počátkem posledního desetiletí 18. stol.

Mladé tehdejší české dějepisectví nemohlo nepřihlédnout ani k vědec-

kému ruchu, který se rozvíjel v 2. pol. 18. stol. a na druhé straně českých zemí, v Uhrách a v němž kromě řečených filosoficko-metodických tendencí se tehdy objevily práce, které se dotýkaly (už svým obsahem) nejstarších českých dějin: a) otázky cyrilometodějské, b) otázky rozsahu Velké i užší Moravy, c) otázky funkce staroslovanského jazyka a písma.

Tak na př. v letech 1777 vyšel v uherském Pětikostelí první svazek sedmidílné práce kanovníka Štěpána Szalagye *De statu ecclesiae Pannonicae,* který pojednával o velkomoravských dějinách, který omezil Velkou Moravu na oblast mezi dolním tokem řeky Moravy i Hronem s jedné a mezi Karpaty a Dunajem se strany druhé, který dále vyloučil pozdější moravské markrabství z velkomoravského prostoru. Autor jeho Štěpán Szalagy se odvážil tvrdit, že apoštolská činnost Metodějova, vladaření Rastislavovo a Svatoplukovo nemají s pozdější užší Moravou co činit. Usoudil posléze, že ani území staré Pannonie a oblast ležící východně řeky Hronu neměly s Velkou Moravou nic společného.

Na tom nebylo dosti. R. 1778 vyšel prvý díl velmi rozsáhlé pramenné sbírky redakcí exjesuity Štěpána Katony, v němž se usilovalo o nový důkaz, že Velkomoravská říše ležela jen západně od řeky Hronu.

A když Slovák Sklenár r. 1784 se pokoušel názor ten odmítnout ve své práci vydané v Bratislavě (r. 1784), uveřejnil profesor peštské university Katona v letech 1786—1789 další tři pojednání, v nichž vymezil rozlohu Velké Moravy na území ležící „mezi Hronem a Čechami".

Vše volalo po tom, aby se do těchto sporů zasáhlo také s české strany. A za těchto okolností nastalo v českém prostředí (od 70tých let 18. stol.), a) už vlivem domácích potřeb, b) také na obranu proti nesprávným pohledům šířeným v cizině, jedno v nejvážnějších období české historiografie. Vzrostl zájem o české dějiny a jejich prameny. Vše jako by bylo alarmováno k historické práci. Nikdy předtím nenabyla česká historiografie tak důležité úlohy také v politickém a kulturním dění českého národa. Začala se laicisovat. Objevily se v ní pokrokové hlasy, vymanivší se z ideologie myšlení feudalismu a protireformace. Objevilo se v ní heslo, že je třeba stůj co stůj poznat především historickou pravdu. Začal se boj proti lži, šířené doma i v cizině. Ozval se při tom nejen pokrokový racionalismus, osvobodivší se z pout theologické nadvlády (v té věci našim prvým dějepiscům této doby sotva uniklo nějaké cizí významnější dílo vědecké); ozvala se také silná domácí, svou povahou česká a národní historická tradice, silnější nežli všechny cizí podněty a vlivy, a v ní skrytá živelná síla národní hrdosti. Tato domácí tradice, ovládaná odedávna opravdovým úsilím o pravdu i důrazem na české vlastenectví, měla nabýt v naší historiografii v 2. pol. 18 .stol. a v našem obrození většího významu nežli uvolnění duchů, zvané osvícenstvím. Měla působit také na cizince usedlé v Čechách i mimo ně. Jejím vlivem české vědecké snažení a v tom i naše dějepisectví začalo nabývati od 2.—3. desetiletí 18. stol. přese všechny cizí podněty české národní osobitosti, stávajíc se českým nejen svým obsahem, ale i duchem.

Zcela zřejmým mezníkem v rozvoji této české novodobé historiografie ze 60.—80. let 18. stol. je Gelasius Dobner, autor a vydavatel proslulých tří základních děl: *Monument, Anales* a *Scriptores,* Dobner, který čerpal přes všechny cizí vlivy a proti nim především z domácích tradic a stával se v tom smyslu bojovníkem za novou kritickou vědu i za svobodu vědeckého přesvědčení.

K této otázce poskytuje korespondence Dobnerova s vůdčím uherským historiografem Jiřím Prayem ze 60tých let 18. stol. cenné poznatky. Z korespondence té, která má ráz veřejných projevů, je vidět, že už v 60tých letech 18. stol. Dobner svedl první novodobý velký očistný zápas o historickou pravdu, konkretně v otázce nepomucké. Výsledek tohoto jeho zápasu ze 60tých let 18. stol. je nepochybně velmi reální: Hájek z Libočan (dochází Dobner k závěru), který uvedl legendu o zpovědním tajemství Nepomukově do veřejnosti, nemá pravdu. Byl jen jeden Jan z Pomuku. Beatifikační bulla, opírající se o zpovědní tajemství, spočívá na písku, opírá se o nepravdu, kanonisuje neexistující, smyšlenou osobu.

Bylo to poznání, které se diametrálně rozcházelo s protireformačním názorem. A co je důležité, Dobner si byl toho již v 60tých letech 18. stol. plně vědom. Jako osvědčený bojovník za novou historickou vědu v Čechách, za vědu zbavenou pověstí a mythů, viděl, že podvrací a ničí důležitou představu protireformační společnosti. Byl si vědom i toho, jakou krisi by mohlo toto jeho poznání způsobit v případě zveřejnění u nás v soudobé společnosti. Proč tak neučinil, zavinila tehdejší persekuce a censura. Nemohl však mlčet před poznanou pravdou a svěřil se se svým názorem roku 1764 uherskému učenci. Bylo to zveřejnění svého druhu.

Když takřka po dvaceti letech byl Dobner postaven před úkol, aby na příkaz řádu zasáhl v tisku do nepomucké otázky, nebyl už s to, aby projevil své původní přesvědčení. Pokrokové jeho hledisko let 60tých jakoby ochablo, Dobner (nemocný a bez nadějí na uzdravení) se podrobil církevní kázni.

Ale ani tehdy, ve svém spise z r. 1784, nevyložil věc důsledně ve smyslu světového názoru vžitého v církvi i ve vládních kruzích. Zaujal tehdy prostředkující hledisko, jak správně poznal již Fr. Palacký při rozboru nepomucké otázky ve 3. svazku svých českých dějin.

Na vědecké kontroversi o Janu z Pomuku nezůstalo.

Už v 60.—80. letech 18. stol. Dobner rozvířil (ve smyslu domácích potřeb, v duchu kritických metod i svého úsilí o pravdu a neméně v souvislosti s cizími pracemi dotýkajícími se nejstarších dějin českých) jiný vědecký spor: spor o rozsah Velkomoravské říše. Iniciativu k tomu dal ve svém komentáři k Hájkově kronice z r. 1765, kde s obdivuhodnou znalostí soudobých pramenů západoevropských, středoevropských a byzantských naznačil, že základna Velkomoravské říše byla v hranicích užší Moravy, ale postupem doby obsáhla také Pannonii až do Podráví a Posáví, a s druhé strany (směrem na východ) také oblast horního Potisí.

Tím dal Dobner počátek k velkému, již zmíněnému vědeckému sporu, do něhož zasáhli v letech 1777—1784 soudobí znalci maďarští Szalagy, Katona i slovenský Sklenár a v němž Dobner nakonec pronesl svou formulaci ve spisku z r. 1784 *(Über die Grenzen Altmährens)*, kde narýsoval po pronikavém rozboru pramenů a ve smyslu svých starších thesí takový obraz velkomoravských hranic, na němž ani dnes není v podstatě co měnit.

Ale Dobner nebyl na zápolišti mladé české historiografie 60.—80. let (charakteristické pokrokovým úsilím o pravdu, kritickou metodou, důrazem na svobodu myšlení, láskou k vlasti a k mateřskému jazyku i k české minulosti, úctou k domácím pokrokovým tradicím, vědomím českosti i svazků českých zemí s ostatním slovanským světem) sám. Vedle něho se objevili na společné vědecké frontě, jsouce více či méně ovládáni analogickým duchem a úsilím vědeckým, buditelským a popularisačním, ale často s menšími úspěchy, jiní jeho vrstevníci: 1. M. Pelcl, autor vlastenecky zabarvených krátkých dějin českých *(Kurzgefasste Geschichte Böhmens)*, vydaných v letech 1774—1782 ve třech edicích, rychle za sebou následujících; 2. A. Voigt, autor spisu *Acta literaria*, rozhorlující se na neúctu ciziny, zejména německé, ke slavným našim kulturním i literárním snahám a zdůrazňující literární odkaz 16. a 17. st., kdy česká literatura a kultura byly v rozmachu. Vedle Dobnera, Pelcla a Voigta se objevili i starší autoři, mluvíce k národu svými pracemi v nových edicích. Roku 1775 vyšla vlastenecky a slovansky zanícená Balbínova *Obrana jazyka českého;* r. 1792 začalo vycházet mohutné dílo Pavla Stránského *(Respublica Bohemiae)*.

Nejen to. Vědecká a zejména historická práce se začala soustřeďovat kolem první vědecké společnosti, vzniklé na půdě české r. 1774 a reorganisované r. 1784. Vědecká tvořivost se začala organisovat a vyvíjet i kolem literární tribuny této společnosti (Abhandlungen). Už při prvých krocích této první české vědecké společnosti se ozvalo české vědomí, hlásící se k tradicím české minulosti a hledící navázati na ni i na někdejší skvělou českou kulturu a literaturu. Vlastenecky vyzněly články otištěné v časopise společnosti (Abhandlungen), ať jejich autorem byl Dobner, Voigt, Pecl, Ungar či Šeršnik. Nejednou se tam české vědomí povzneslo až k uvědomění slovanskému. Spolu s tím česká historiografie začala rozšiřovat své cíle; vycházejíc z nových pokrokových a buditelských zásad, předsevzala si získávat pro nové myšlenky také širší lidové vrstvy s tendencemi obrodnými a popularisačními.

V pozadí této doby, tohoto prostředí, tohoto vědeckého i popularisačního snažení a jeho kritických method, v době nových projevů vědomí českosti začal rozvíjet svou bohatou činnost od konce 70. let (r. 1779) Josef Dobrovský. Vědecky odchovaný na pražské universitě, od roku 1784 člen české učené společnosti, z počátku vychovatel ve šlechtické rodině Nosticů, od r. 1786 kněz, v l. 1787—1791 vicerektor a rektor generálního semináře na Hradisku u Olomouce, r. 1791 (při zrušení tohoto semináře)

pensionovaný, privatisující potom po celý život vesměs ve feudálním světě šlechty i církve a rozvíjející po padesát let velmi rozsáhlou vědeckou práci.

Ač jde o zjev zcela mimořádný v soudobé české společnosti, je vidět také na něm, jak k poznání osobnosti a jejího pojetí je třeba poznání doby. I na něm je vidět, že individuum i kolektivum jsou jakoby spojené nádoby, že doba a kolektiv vtiskuje každému svou pečeť nebo že osobnost se aspoň rozechvívá při záchvěvech doby i prostředí. Jeho myšlenky (ráz a způsob jeho práce vědecké) byly ovládány silou jeho ducha, vůle, rozumu. Ale nejednou byly individuálním vyřčením dobových problémů a v jeho duševní dílně i silou jeho individuality byly jakoby absorbovány a přetavovány dobové vnitřní i vnější, domácí i cizí názory v nový, osobně zabarvený názor, v nový charakterový vjem.

Jako mnohý z jeho nedávných předchůdců a vrstevníků, byl také Dobrovský stržen pokrokovým proudem 2. pol. 18. stol., který se zvedl jako obrodný projev lidského ducha do boje proti nadvládě a existenci protireformace, který nastolil jako rozhodného činitele rozum a vytvořil zvlášť příznivé podmínky a podněty pro vědeckou práci. Pokrokové tendence pronikaly už jeho první vědecké projevy, uveřejňované od r. 1779. Všude tam Dobrovský projevoval nechuť proti theologickým traktátům; stavěl se proti zázračnictví, rodícímu se z nevědomosti a pověry; obracel i mladé theology k přírodě jako k nejlepšímu prameni poučení a ukazoval na velký rozvoj literatury a vědy u vzdělaných národů evropských, v tom také u národů slovanských. Všude bojoval proti náboženskému fanatismu a proti náboženské nesnášenlivosti, zejména nesnášenlivosti pobělohorského temna, proti násilnictví hierarchie a hierarchickému despotismu. Všechny jeho projevy ze 70.—80. let byly ovládány láskou k vědě a vědecké pravdě, kriticismem a vědeckou skepsí s jedné a vírou ve vítězství vědy a pravdy s druhé strany. Pokrokovým ideálům z doby mládí Dobrovský zůstal věren i tehdy, když mnozí někdy horliví progresivní současníci se zřekli svého programu, a ještě v posledních letech za ně bojoval.

Ale jinak vidíme už z prvých projevů Dobrovského z 70.—80. let, že se stavěl také k osvícenství (jak byl a je často zván onen pokrokový směr 2. pol. 18. stol.) — na rozdíl od mnohých západoevropských myslitelů a učenců, kteří v zajetí svého myšlení postupovali nejednou takřka slepě vpřed — kriticky. Vybíral si z osvícenství nejlepší, mravně i kulturně nejcennější myšlenky a snahy: především náboženskou snášenlivost, svobodu svědomí, myšlení a bádání a vše nikoliv bez cílů; vybíral si vše to za tím účelem, aby přispěl k lepšímu poznání své vlasti, jejího lidu a jeho minulosti.

Než Dobrovský byl stržen nejen pokrokovým myšlením své doby, ale neméně domácím úsilím o emancipaci, které se projevovalo (v souvislosti s účinkem domácích pokrokových tradic) v soudobém českém myšlení a životě. Přes všechny cizí, evropské myšlenkové i kulturní proudy a vzory působila na něj zřejmě (jako na jeho vrstevníky) také domácí tradice a česká práce. Lze říci, že i na něho domácí tradice měla snad větší vliv

nežli uvolnění duchů, zvané osvícenstvím. Toto spojení Dobrovského s domácí tradicí je viděti už na poměru mladého Dobrovského k Balbínovi, Stránskému, Pelclovi, Dobnerovi. Balbín to byl, jemuž Dobrovský věnoval jednu z prvých svých prací (z r. 1779). Pelcl to byl, který vlastně získával mladého Dobrovského pro studium dějin a literatury české. S Pelclem souvisí i první velké kritické dílo Dobrovského Scriptores rerum bohemicarum (I/II, 1783/4). A čím byl pro historika Dobrovského Dobner, ukazují (přes všechnu jeho polemiku proti Dobnerovi) rozličné články J. Dobrovského, v nichž se jasně ozývá Dobnerova skepse, jeho heslo boje o pravdu, jeho nechuť k dohadům, záliba ve faktech, v drobné kritice až hyperkritice. Právem se vyjádřil o této věci Jar. Vlček v *Dějinách literatury české:* „Dobrovský vstoupil jen důsledněji ve šlépěje Dobnerovy; kritické jeho zásady rozšířil i na jazykozpyt a hájil je i proti Dobnerovi samému". Lze tu citovati i slova Nejedlého (Z dějin národa českého I.), podle něhož Dobrovský byl nejlepším pokračovatelem a zdokonalovatelem díla Dobnerova. — A co znamená v literární, filologické a historické tvořivosti Durich, který rozněcoval Dobrovského ke studiím českým i slovanským, je obecně známo.

Ale lze uvésti i podněty jiných soudobých českých lidí na okraji vědecké tvořivosti J. Dobrovského. Zlobický na př., který se pokoušel sám napsati nástin dějin českého jazyka, měl zcela zřejmý vliv na vznik Dobrovského *Dějin českého jazyka a literatury.* Svědectvím toho je vzájemná korespondence mezi oběma (Dobrovským a Zlobickým). Nelze nevzpomenouti ani Pubičku, jehož *Chronologické dějiny Čech* Dobrovský nazval dílem „výborným", i když jinak k nim měl kritické poznámky.

Vše to ukazuje, že Dobrovský byl ve své vědecké tvořivosti stržen už existujícími tendencemi a proudy soudobé české vědecké práce, českého dějepisectví zejména. Pokračoval v nich, maje otevřeny oči do širokého světa zcela zřejmě a zdokonaloval je, dodávaje jim zvláštního osobního důrazu a spádu.

Skutečnost, že Dobrovský se zapojil již na okraji své vědecké tvořivosti do kolektivní práce tehdejší české vědy, vědy historické zejména, projevila se i jinak: přes to, že se, ač původem Čech, pozdě naučil česky (teprve v piaristickém gymnasiu), přes to, že žil většinou v cizím feudálním prostředí, přes to, že psal takřka výlučně německy a latinsky (prvý český článek otiskl teprve r. 1827), osvojil si vlivem českého literárněvědného prostředí i domácích tradic i ve styku s českým lidem výrazné české a slovanské vědomí, které se v jeho době stalo podstatnou složkou nové české, národní již vědy.

Ve svých projevech, v nichž se zračilo české a slovanské vědomí, navazoval přímo na Balbína a nejednou si citoval slova tohoto, jak říkal, „opravdového českého vlastence a milovníka mateřštiny". Nejednou se v jeho slovech ozvala Balbínova hrdost na český a slovanský původ. V tom pozadí, v duchu Balbínově a slovy Balbínovy obrany mluvil v Učené společnosti

r. 1791 o velikosti Slovanů, zejména Slovanů ruských. Odtud byl jen krok k první uvědomělé propagaci slovanství v časopise *Slavín* (z r. 1806), označeném Dobrovským za „poselství z Čech ke všem slovanským národům“.

V takovém ovzduší, za takového stavu vědy, historické vědy zejména, si Josef Dobrovský vytvářel také své pojetí české minulosti a zaujímal své stanovisko k jednotlivým obdobím a problémům českých dějin.

Přihlédněme především k otázce prvé!

Hlavní prací, v níž se můžeme poučit o pojetí české minulosti Josefa Dobrovského, jsou jeho Dějiny české řeči a literatury z r. 1792 *(Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur)*, nejpůvodnější to spis, který vyšel do té doby o české literatuře. Přípravou k němu byly Dějiny českého jazyka *(Geschichte der böhmischen Sprache)*, vydané rok před tím (roku 1791) ve spisech české učené společnosti (Abhandlungen). Pozdějším přepracováním řečené práce jsou Dějiny řeči a starší literatury (do r. 1526) z r. 1818. Dílo to, jak vidět, vyrostlo v údobí třiceti let. Podrželo ve všech třech vydáních zásadní linie a stejný postoj k základním otázkám české minulosti; tak se stalo, že tyto Dějiny jsou, jak usoudil Zdeněk Nejedlý už roku 1920 (v článku napsaném u příležitosti 60. výročí J. Vlčka *Náš literární dějepis*, znovu otištěn v Sebraných spisech Z. Nejedlého ve svazku *Z české kultury*, 1951), „víc než dějinami písemnictví; jsou dějinami života. V nich nalézáme přímo dějiny národa a v těch zase i hlavní rysy filosofie našich dějin“.

Už na tomto díle je vidět, že Dobrovský je zpracoval za určitých předpokladů a v době staršího úsilí české vědy o analogické dílo. Pokoušel se o takové dílo Voigt r. 1773/5 a Procházka r. 1782. Dobrovský je předstihl. Předčil je také tím, že se pokusil o periodisaci literárního vývoje, o určení etap, o vystopování dobové i společenské souvislosti. Jaké jsou tyto etapy české minulosti v pojetí Dobrovského?

Přihlížeje především k vývoji české řeči a literatury, Dobrovský dělí dějiny české řeči a literatury po obecném úvodě o Slovanech na 6 oddílů:

1. od přistěhování Čechů až k jejich pokřestění,
2. od rozšíření křesťanství až ke králi Janovi,
3. od krále Jana až k Husovi,
4. od počátku husitských válek až k rozšíření knihtiskařského umění v Čechách nebo k r. 1520,
5. od r. 1520 až k Bílé hoře,
6. od Bílé hory a vyhnání nekatolíků z Čech až po svou dobu, v níž Dobrovský žil.

Budeme mít příležitost promluvit o této periodisaci, která se v rozličných obměnách udržela v pozdějších děleních české literatury; zatím třeba říci, že časové mezníky a jednotlivá období, která Dobrovský v některých případech charakterisuje šíře, byly v určitých variacích podrženy také v některých historických synthetických dílech jiných autorů. Lze tu citovat

aspoň dílo Františka Palackého, který rozeznává: a) věk starý (do r. 1403), b) věk střední (do r. 1627), c) věk nový (od r. 1627). Ostatní časové mezníky periodisace J. Dobrovského (zejména počátek křesťanství, vymření Přemyslovců a jiné) mají u Palackého podružný význam při dělení starého a středního věku. Ale jsou i u Palackého.

Sledujme pojetí J. Dobrovského podrobněji v tom, jaké je jeho stanovisko k našemu historickému vývoji v jednotlivých etapách a v jednotlivých otázkách.

Pro hodnocení nejstarších českých dějin (a dějin slovanských zároveň) je příznačná kapitola Dějin nadepsaná *Slované, slovanská řeč.* Kapitola ta se stýká s jinými články Dobrovského o nejstarších sídlech Slovanů *(Über die ältesten Sitze der Slaven in Europa,* uveř. r. 1781 jako úvod k Monseově dílu *Die älteste Landesgeschichte v. Böhmen),* o starém pohřebním ritu u Slovanů *(Über die Begräbnisart der alten Slaven,* Abhandlungen 1786), o původu jména Čech *(Über den Ursprung des Nahmes Czyech* v Pelclově *Geschichte Böhmens* r. 1782). Lze tu citovati i názor Dobrovského z r. 1818 (v pozměněné redakci Dějin) o příchodu starých Čechů a Slováků z Povislí.

Dodnes jsou aktuální výklady Dobrovského o tom, že Slované měli od dávné doby důležitou úlohu v evropských dějinách. Otázka spadá ovšem do oboru archeologie. Třeba jen říci, že příslušný text Dobrovského z r. 1792 o nejstarších sídlech Slovanů je v redakci Dějin z r. 1818 přepracován; to ukazuje, že Dobrovský neváhal rektifikovat své názory vlivem nových přesvědčujících dokladů. Nelze se ani nezmíniti o tom, že Dobrovskému nebyly (už r. 1792) cizí teorie Herderovy o slovanském dávnověku a o povaze starých Slovanů. Dobrovský tyto teorie znal už roku 1792 a doporučoval je Durichovi t. r. a r. 1806 otiskl příslušnou stať Herderovu celou v Slavíně.

Vlastní období českých dějin Dobrovský vymezil dobou od počátku křesťanství u nás (r. 845) do počátku 14. stol., propracoval je nejen ve třech redakcích svých Dějin, ale také v řadě jiných knižních prací (z nichž lze citovat: 1. edici *Script. rerum boh.* I/II 1783/4, 2. *Kritische Versuche* I/III z r. 1803/7, 1819, 3. *Cyrill und Method der Slaven Apostel* z r. 1823, 4. *Die mährische Legende* z r. 1826), ale i v nesčetných recensích, uveřejňovaných v Böhmische Literatur 1779 Böhm. Mähr. Literatur 1780, v Liter. Magazin 1786, v Hormayerově Archivu z r. 1824, ve Wiener Jahrb. 1824). Lze tu uvésti také jeho rozsáhlou korespondenci s domácími i cizími učenci.

Tu i tam Dobrovský věnoval víc či méně svou pozornost několika základním problémům českých dějin: 1. počátkům křesťanství u nás, 2. působení slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje v našich zemích, 3. otázce Velkomoravské říše, 4. otázce nejstaršího slovanského písma a slovanské liturgie v českých zemích, 5. původu české spisovné řeči, 6. otázce počátků nejstarších českých legend a ceně rukopisů Králodvorského a Zelenohorského.

Na většinu jmenovaných otázek si Dobrovský odpověděl velmi záhy (už okolo r. 1778/9) a zpravidla setrvával ve svém názoru důsledně i koncem 1. čtvrti 19. stol. Svůj základní názor obměňoval tu i tam jen nepatrně.

Vcelku Dobrovský dospěl v těchto otázkách v době své vědecké tvořivosti až do r. 1818 k těmto závěrům:

1. Křesťanství v Čechách se rozšířilo pod vlivem latinské církve. Kníže Bořivoj nepřijal od Metoděje křtu ani na půdě české, ani na Moravě.

2. Velká Morava ležela na území od řeky Moravy až k Hronu a severně Dunaje. Svatopluk nevládl nikdy v Pannonii. Dnešní, užší Morava podléhala církevně Pasovu. Metoděj působil v říši Kocelově, v Slavonii a v části Charvátska, a neměl stálého sídla. Na dnešní, užší Moravě nerozvinul misionářské činnosti, tím méně tam mohl mít své sídlo; působili tam pouze latinští kněží.

3. Cyrilice je nejstarší slovanské písmo. Glagolice vznikla na slovanském jihu značně později. Čechové nepatřili mezi ty Slovany, pro něž Cyril toto písmo vytvořil a pro něž přeložil bibli do slovanštiny.

4. Slovanská liturgie a cyrilské písmo, cyrilské literární památky se v Čechách v době působení Cyrila a Metoděje neuchytily a nerozšířily. Metoděj je nemohl uvést ani do Čech, ani do dnešní Moravy. Kníže Václav se neučil slovanským knihám, nýbrž knihám latinským. Slovanská škola na Vyšehradě je výmysl skladatele legendy prokopské. Slovanská liturgie se uchytila v Čechách — a to jen na chvíli — teprve v první pol. 11. stol. vlivem kláštera sázavského.

5. Spisovná řeč česká nevznikala působením staroslovanštiny, kterou Cyril psal. Staročeská bible vznikla nezávisle na staroslovanštině, a to podle textů latinských. Staroslovanština nepůsobila na češtinu ani ve století 14. (po zřízení emauzského kláštera).

V tomto zásadním obraze, který si Dobrovský podržoval vcelku stále v průběhu své padesátileté vědecké tvořivosti, objevily se teprve v posledním desetiletí vědecké práce J. Dobrovského některé změny.

Na př. 1. pokud jde o nejstarší slovanské *písmo*. Jestliže r. 1792 Dobrovský ve svých Dějinách soudil, že někteří Slované snad znali písmo už před Cyrilem, r. 1818 (v 3. redakci svých Dějin) usoudil, že před vynalezením písma Cyrilem Slované písma neznali.

2. V otázce *metodějské:* jestliže v počátečních svých pracích vylučoval možnost, že by Metoděj působil na užší Moravě a tuto dával příliš pod pravomoc pasovských biskupů, v prvním svazku svých Kritische Versuche z roku 1803 nedržel se staršího tvrzení, že by Metoděj, jsa arcibiskupem pannonským, neměl v dnešní Moravě pravomoci. A posléze ve svém spise o Cyrilovi a Metodějovi z r. 1823 zval jasně Metoděje arcibiskupem Moravy i Pannonie, ač jej dále pokládal za biskupa bez pevného sídla a odmítal, že by zemřel na dvoře Svatoplukově.

3. Pokud jde o *otázku velkomoravskou,* připustil v letech 1818—1825 v korespondenci s Polákem Bandtkem, že dnešní Morava náležela k Velké Moravě, a r. 1823 (ve spise o slovanských apoštolích) řadil tuto užší Moravu

zase k Moravě Velké. Než r. 1825 (v korespondenci s Bandtkem) opět usoudil, že Svatopluk a Rastislav vládli jen mezi řekou Moravou, Váhem a Hronem a severně Dunaje.[1])

Nelze se tu obírat otázkou, co všechno vedlo J. Dobrovského k těmto závěrům. Jedno však říci třeba. Formulace Dobrovského, pokud jde o velkomoravskou otázku i činnost Cyrila a Metoděje vznikaly sice v pozadí domácího českého úsilí, snad v souvislosti s bojem Dobrovského proti církevnímu chápání starých českých dějin, ale také zcela zřejmě pod dojmem velké práce pětikostelského kanovníka Szalagye z r. 1777 a peštského historika exjesuity Katony. Přímé výroky Josefa Dobrovského, vyjádřené v korespondenci s Ribayem a Durichem v letech 1787—90, kde Dobrovský vyslovuje svůj souhlas s řečenými uherskými učenci, tuto závislost zřejmě dosvědčují. Ještě v letech 1818—1825 (v korespondenci s Polákem Bandtkem) Dobrovský přitakával pětikostelskému prelátovi Szalagyovi, který takřka před čtyřiceti lety se vyslovil proti názoru, že by Velká Morava sahala na jih od středního Dunaje (do Pannonie), že by sahala na východ od Hronu, a který zužoval hranice Velké Moravy na území mezi Moravou, středním Dunajem a Hronem. Dobrovský se tehdy, v letech 1818—1825, od Szalagye (jak výslovně podotýkal) odchýlil jen v jedné věci: a to pokud jde o hranice této Velké Moravy vůči Čechám.

Pokud jde o jiné otázky nejstarších českých dějin, zabýval se Dobrovský

---

[1]) Analogicky se Dobrovský vyslovil o těchto otázkách také r. 1812. Když toho roku se pokusil jeho žák J. Müller znovu vydat tiskem staroruské letopisy (*Altrussische Geschichte nach Nestor.* Mit Rücksicht auf Schlözers Russische Annalen, die hier berichtigt und vermehrt werden, Berlin 1812), napsal Dobrovský k edici na přání Müllerovo velmi cenný úvod (43 stran) a mimo to připojil i četné poznámky, v nichž podal cenné postřehy jednak o staroruském životě, jednak o staré Moravě. Na jedné straně byl ovládán snahou pomoci k očistě a k poznání staroruských letopisů, pramene cenného pro všechny Slovany i pro mnohé jiné národy evropské, k poznání filiace letopisů, k rekonstrukci původního textu a k vydání nejstaršího slovanského jeho znění. Na druhé straně se zabýval interpretací té části nejstaršího ruského letopisu, která přihlíží k dějinám moravským, českým a středoevropským vůbec. Tu i tam Dobrovský dospěl k pevným pohledům. Nazývaje se Slovanem („Ich zwar kein Russe, aber doch ein Slave"), zmínil se na několika místech o původu jména Rus od potoka či řeky Rusa (str. 8: „den Namen Russen von dem Bache Russa erhalten", str. 9: „Dieser Interpolator... liess die Worte: von diesen Waräger Ankömmlingen hat Russland den Namen bekommen, stehen, ungeachtet er diesen Namen eher von dem Bache Russa abgeleitet hatte", str. 187: Ein fremdes... Volk Rhos... feste Anwohner eines Flußes"). Zdůraznil slovanské kořeny staroruského života (str. 25—26: „Die Recension AB liest hier ganz widersinnig: die ersten Ansiedler [Erbeigenthümer] in Kijev sind Waräger. Nach „v Kieve" müßten ja Poliane stehen; denn diese waren nach frühern Angaben die ersten Bewohner von Kiev. Nik. läßt lieber die ganze Stelle aus. Die Erbauung der Stadt Novgorod durch die an dem Ilmensee angekommenen Slawen erzählt sie gerade so, wie die Recension AB. Doch fehlt in ihr die Einsetzung des Gostomisls. Und warum? Weil sie den Rurik zum Erbauer von Novgorod macht. Nun so hätte ja nicht nur der Gostomisl, sondern selbst die Erbauung Novgorods durch die Slaven wegbleiben sollen. Eben so inconsequent ist es, wenn Radz. die drei Brüder Ladoga bauen läßt...") Pokládal staré smlouvy rusko-byzantské (10. stol.) za smyšlené (str. 12: „die äusserst verdächtigen Urkunden über die Tractate Olegs u. Igors. Vielleicht sind schon damals, noch vor der Einnahme von Konstantinopel durch die Lateiner die verdächtigen Urkunden aus Patriotismus erdichtet und in die alte Chronik eingeschoben worden. Daß sie schon

ve svých pracích problémem staročeských legend. K legendám těm neměl (jak obecně známo) větší důvěry; legendu Kristiánovu označil za kompilaci a pouhý výpis z jiného, značně pozdějšího pramene (1. pol. 14. stol.) a upřel t. zv. Kristiánovi jakoukoli cenu.

Svou úvahu o prvním období českých dějin uzavřel Dobrovský ve svých Dějinách z r. 1792 charakteristikou doby přemyslovské 13. stol. Ve zkratce odhalil příčiny tehdejšího rozkvětu uměleckého a literárního. Při tom se nevyhnul ani úvahám o věcech hospodářských a právních. Ukázal, jak v 13. stol. čeští králové projevovali přízeň městům, osazeným vesměs německými řemeslníky a umělci, jak v souvislosti s tím rostl v městech blahobyt, obchod, na jehož podporu čeští králové udíleli rozličné úlevy. Ukázal, jak vše to vzbudilo k činnosti i ducha a vedlo k rozvoji umění. Zákony, které tehdy nejpřednější města dala sepsati, obnovily pořádek; bohatla také feudální třída, lesku nabyl také český královský dvůr, který byl po císařském dvoře prvním ve střední Evropě. Tento dvůr i feudální třída si oblíbily německou řeč; němčina vedla k napodobování Němců, kteří se stali potom Čechům v umění a vědách nejbližšími vzory. Čechové (končí Dobrovský svou stať o 13. stol.) poznávali díla švábských básníků a nacházeli v nich zalíbení.

Nelze nepřipojit k této úvaze Dobrovského o českých věcech na sklonku doby přemyslovské poznámku. Byl-li Dobrovský, pokud jde o otázku velkomoravskou, zcela zřejmě pod dojmem uherských církevních historiků S z a-

---

Nestor aufgenommen habe, ist gar nicht wahrscheinlich. Denn sie passen nicht sowohl in den Context und lassen sich, ohne den Zusammenhang zu stören, gar füglich herausheben", str. 35: „Manches aus Patriotismus Erdichtete, wie die Tractate Olegs und Igors"). — Soudil, že ruský letopis čerpal (své zprávy o Moravě) z latinských legend o Cyrilovi a Metodějovi (str. 13: „Ich kann noch die lateinischen Legenden von Kyrill und Method als Quellen nachweisen, aus welchen diese Erzählung größtentheils geschöpft, aber auch entstellt worden ist. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass sie noch in keiner Handschrift vor der Hälfte des 14ten Jhdts anzutreffen war", str. 194 poznámka 36: „Die Gesandschaft an den Zar Michael nahm der Russe aus dem ältern lateinischen Biografen der heiligen Kyrill und Method". — Odmítl také zprávu letopiscovu, že by na Moravě byly sepsány Cyrilem a Metodějem slovanské knihy (str. 21: „... heißt es: in Mähren wurden zuerst die Bücher niedergelegt. Dies verstand er [autor] unrecht und setzte dafür: preložena kniga, wurde das Buch übersetzt", str. 193, č. 35: „Allerdingst brachten Kyrill und Method slawische Kirchenbücher nach Mähren mit. Allein wo und wenn Kyrill die slawischen Buchstaben erfunden und das erste Buch übersetzt hat, ist noch immer nicht ganz ausgemacht. Schon in Konstantinopel mochte er den ersten Versuch gemacht haben", str. 197 „Konstantin vor seiner Ankunft im Slawenlande, wohin er die slawischen Evangelien schon mitbrachte, mit der Anfertigung des Alphabets und der Übersetzung einiger Bücher schon in Konstantinopel beschäftigt war", str. 205: „Kyrill schon in Konstantinopel das Alphabet eingerichtet und mit dem Übersetzer den Anfang gemacht habe". — Tvrdil, že Metoděj se odebral už okolo r. 882 do Říma a tam záhy zemřel (str. 199). — Metoděje sice nazval „arcibiskupem pannonským a moravským" (str. 199, 201), ale soudil, že neměl pevného sídla a popíral (ve smyslu práce Szalagyovy) jak možnost, že by Metoděj působil na půdě starodávného sremského biskupství, tak dohad, že by jeho sídlo bylo na Moravě (str. 201: „Dass aber Method auf dem ehemaligen Stuhle des Andronik gesessen habe, ist gar nicht wahrscheinlich. Denn dies Bisthum in Sirmien war längst eingegangen, worüber Salaegius De statu eccl. Pan. nachzulesen ist. Method war Erzbischof in den benannten Ländern ohne einen bestimmten Sitz zu haben. Spätere versetzten ihn eben unkritisch nach Welehrad in Mähren").

lagye a Katony, ve svém pojetí o povaze 13. stol. je zřejmě pod vlivem světského Čecha M. Pelcla a jeho studie o Němcích a Čechách, otištěné ve spisech učené společnosti.

Výklad o třetím období českých dějin, které Dobrovský vymezil ve svých Dějinách z r. 1792 lety 1310—1410, poskytuje stejně látku k srovnávacímu studiu. Na jedné straně se Dobrovský i tu opřel o dosavadní výzkum a názory svých českých vrstevníků a starších českých badatelů (Balbína, Procházky, Cornovy, Pelcla), na druhé straně však dospěl vlastním pramenným studiem a zejména poznáním soudobých literárních památek i jazyka českého k samostatným závěrům. Tak na př. na rozdíl od Balbína a Procházky (kteří zahrnovali celé 14. stol. českých dějin ještě ve smyslu protireformačního světového názoru velkou chválou, kteří spatřovali v době Karla IV. dobu největšího českého rozkvětu politického, hospodářského, kulturního i náboženského, kteří viděli v Karlově panování ideál a vrchol českého státu), dále na rozdíl od Pelcla, který věnoval 14. století českých dějin své dvě nejlepší monografie, Dobrovský se díval ve svých Dějinách z r. 1792 na tuto dobu zdrženlivěji a racionálněji. Rozdělil si ji na dvě části: na dobu vlády Jana Lucemburského a na dobu Karla IV.

První polovinu 14. století, t. j. vládu Jana Lucemburského, hodnotil jako dobu úpadku, který se projevoval (podle Dobrovského) v nedostatku národního sebevědomí a národní osobitosti, ve směšném opičení se po všem cizím a v pronikání němčiny. „Za krále Jana Lucemburského (praví Dobrovský) byly tendence Čechů napodobovati vše, co u dvora uviděli, tak mocně posíleny, že velká část, zejména vyšších tříd, si zalíbila v cizích šatech, botách, v novém ústrojí hlavy a v německé řeči, jako by mysleli, že nyní po vymření přemyslovského rodu musí přestat býti Slovany a Čechy. Stalo se (praví Dobrovský) příslovím, že Češi jsou jak opice. Šlechta i měšťané přijali řeč dvoru královského. Ježto mnohá města v zemi byla obsazena Němci, šířila se tím němčina stále více.“

V té souvislosti Dobrovský dospěl k poznání, že hnutí české šlechty proti králi Janovi nebylo jen rázu osobního, respektive stavovského, nýbrž že se v něm jevilo vlastenectví a odpor národa proti národnímu poručenství a proti cizím vlivům. „Žárlivost, praví Dobrovský, vzněcovala vlastenectví českých pánů; vznikaly neshody mezi nimi i králem a panovník konečně musil ustoupiti před českou vážností.“

Tento názor z r. 1792 Dobrovský podržel také v 3. redakci svých Dějin z r. 1818. Tu pozměnil jen svou charakteristiku vlasteneckého Dalimila, který u Dobrovského zaujal mnoho místa; Dobrovský si znovu a znovu opakoval jeho výroky: a) „vol svého jazyka, ciudzieho nechaj“, b) „vře každému srdce po jazyku svému“.

O době Karla IV. se Dobrovský vyjádřil r. 1792 i r. 1818 vcelku příznivě, ale zdrženlivěji nežli předchůdcové Dobrovského. Mluvil o rozkvětu věd a umění, o blahobytu v zemi, o stoupajícím významu češtiny a o pronikání češtiny do veřejného života. Zjistil, že Praha byla za doby Karla IV. nej-

lidnatější město v celé střední Evropě a stala se vlivem císařského dvora střediskem věd a umění. Dobrovského zaujalo ustanovení Zlaté bully, kde Karel IV. (který sám mluvil a psal česky) nařizoval, aby synové německých kurfiřtů byli ihned v mládí vedeni ke studiu jazyka slovanského. Zajímal ho předpis Majestatis Carolinae, že žádný soudce nemá býti v zemi ustanoven, který by nebyl dobře znalý české řeči, a konečně i tam uvedené ustanovení, že znění korunovační přísahy krále českého má býti pro všechny časy předčítáno nahlas v české řeči. Povšechnou charakteristiku tohoto období zakončil Dobrovský zmínkou o Husových zásluhách o vydání t. zv. dekretu kutnohorského.

Zkušebním kamenem pojetí českých dějin u J. Dobrovského je zejména jeho názor na 4. období českých dějin, které Dobrovský vymezil lety 1410 až 1520 a které nazval obdobím „vládnoucím“ (Die herschende böhmische Periode“). Svůj názor o tomto období Dobrovský vyjádřil několikrát: 1. ve svých Dějinách z r. 1792, 1818, 2. v několika statích (na př. *Geschichte der Pikarden und Adamiten* z r. 1788, *Beiträge zur Geschichte des Kelches in Böhmen* z r. 1817, Abhandlungen), 3. v recensích (o díle Sexstetterově a Roykově) v Liter. Magazin z r. 1786/7, 4. ve své korespondenci (s Helfertem z r. 1784, Ribayem z r. 1789, Durichem z r. 1789/90), 5. ve zprávách o nálezích husitských památek (v Böhm. Liter. z r. 1779 a jinde).

V hodnocení doby husitské se Dobrovský odchýlil od některých svých předchůdců i starších současníků (Dobnera, Voigta, Procházky a j.), kteří v době husitské spatřovali více stínů nežli světla. Dobrovský se tu rozešel i s Balbínem, který dobu husitskou odsuzoval jako kacířskou.

Dobrovský připouštěl mnohé z předchozích výtek; ale zaujal své hledisko. Proč? Působilo tu zcela zřejmě jeho pokrokové přesvědčení, které se při hodnocení husitské doby ozvalo také u jiných jeho vědeckých vrstevníků (na př. u Cornovy, překladatele a vydavatele Stránského spisu Respublica Bohemiae z r. 1792). Působilo tu pokrokové nazírání, které sice nechápalo náboženského obsahu a zanícení husitských zásad, nemělo smyslu pro všeliké dogmatické hádky, pro subtilní věrouku Českých bratří, nevyznalo se ani v dogmatických rozdílech jednotlivých stran, ale už s ohledem na heslo náboženské tolerance se stavělo zásadně proti odsouzení Husovu a sympatisovalo s husitskými bojovníky, i když konstatovalo také jejich tvrdé rysy.

Kromě tohoto zcela zřejmého pokrokového názoru, kterým Dobrovský měřil dobu husitskou, působila na jeho pojetí této husitské doby (a to je hlavní přednost Dobrovského před jinými posuzovateli husitské doby) také jiná zásada: že totiž měřil každou dobu českých dějin podle toho, jak umožňovala rozmach českého jazyka a českého písemnictví.

Všechny tyto zásady se projevily u Dobrovského už v jeho názoru na Husa, jehož vzpomínkou Dobrovský vlastně začal své „vrcholné období českých dějin“. V 3. vydání svých Dějin z r. 1818 Dobrovský neopominul k Husovi dodati (jako to učinil exjesuita Cornova ve svých komentářích ke Stránskému r. 1792), že Hus znal Wiklifa. Ale zdůraznil hned nato, na roz-

díl od Cornovy, zásluhy Husovy doma: přičiněním Husovým, praví Dobrovský, se stala česká strana na universitě vládnoucí a získala si v části národa nemalou zásluhu a u mistrů velkou vážnost. O významu Husově v českém náboženském hnutí Dobrovský pomlčel (dotkl se jen v Liter. Magazin 1787 o Betlemské kapli, proslavené Husovými kázáními) a zaujal se především jeho významem v dějinách české řeči a českého písemnictví. Zdůraznil autorství Husova pravopisu (už v korespondenci s Durichem r. 1789, 1790), význam Husův při úpravě bible: stylisoval v té věci svůj názor v 3. redakci Dějin z r. 1818 slovy: „že by byl Hus původcem českého překladu bible, jak tvrdí někteří, nelze dokázat, ale jistě se staral o jeho rozšíření". Ozvalo-li se tu hledisko jazykové, proniklo humánní heslo při hodnocení Husovy smrti. Dobrovský neschvaloval (jako v téže době exjesuita Cornova) Husovo odsouzení — a co více: pohoršoval se nad hanebným postupem při jeho smrti; užíval slov (v 3. vydání Dějin z r. 1818) „schimpliche und grausame Hinrichtung". Názor Dobrovského na Husa pronikl také v pochvalných slovech, kterých užil při posouzení Roykova spisu, který hájil Husa proti kostnickému koncilu a dokazoval, že Hus byl odsouzen nespravedlivě a že nebyl kacířem.

Zmínky o husitství samém nejsou u Dobrovského zvláště četné. Nepochybně z důvodů již uvedených nedovídáme se nic o příčinách českého náboženského hnutí ani o významu a hodnotách české reformace. Ale jsou k tomu náznaky. Tak v listě Zlobickému z r. 1796 čteme, že „ti husité, naši dobří předkové, nebyli tak zlí, jak se jesuiti domýšleli; již na jejich kacéřování nic nedáme".

Ze všech směrů husitských upoutali Dobrovského Adamité, a to jako důsledný směr usilující o svobodu myšlenky a trpící také za své přesvědčení. O táborských božích bojovnících se Dobrovský vyslovil jinak a ostří jeho slov mizelo jen podle toho, jak toto hnutí přispívalo k šíření češtiny a k ochraně země. V té souvislosti se Dobrovský zmiňoval na př. o tom, jak německá vojska „byla hned na hranicích české země zahnána", vyslovoval se o táborské písni *Kdož jste boží bojovníci,* o Chelčickém, o Českých bratřích, aniž rozebíral jejich věrouku.

A nakonec všechno toto dění v době husitské posuzoval podle pokroku ve vývoji českých jazykových památek. „Bez husitů (končil Dobrovský své poznámky v listě Zlobickému z r. 1796) neměli bychom žádných starých biblí". Táboři a jiní husité se zasloužili (čteme v 3. redakci Dějin z r. 1818) o bibli, o zavedení češtiny do mše, o vzrůst češtiny ve veřejném životě.

Celkový dojem o pojetí Dobrovského českých dějin 15. století je tudíž kladný. Vytvořila se tu česká, nejčistší osobitost. Je to příkrá protiva proti 14. století, proti době překotného napodobování ciziny a mocného pronikání cizích vlivů do Čech. 15. stol., ovlivněné husitstvím, je dobou samostatného rozvoje, netušeného a cizinou neovlivněného vývoje, doba typicky česká a česky svérázná. Němci a německý vliv byl tehdy zatlačen; Čechové se stali všude vládci svých věcí; všude se mluvilo česky; náboženská horlivost na-

pomáhala tříbit mateřský jazyk. Splnil se požadavek, který Dobrovský kladl již roku 1780 v Böhm. Mähr. Literatur, aby lidu bylo dovoleno čísti bibli v národním jazyce.

Páté období českých dějin Dobrovský nazývá „krásným nebo zlatým věkem české řeči“ a klade je do let 1520—1620.

Uvážíme-li, že o tomto století nemáme ani dnes žádné představy, že naše historiografie nám práci o této době na základě pramenného výzkumu dodnes dluží, nelze se divit, že ani u Dobrovského není obraz této doby na výši, i když se Dobrovský touto dobou obíral velmi záhy, jak svědčí jeho poznámky o spisech humanistů (v Liter. Magazin 1786). Třeba se zmíniti ještě o jiné věci. Také tu Dobrovský nezačínal z ničeho. Dobrovský navázal také v hodnocení 16. století na dílo svých předchůdců a starších současníků, kteří zvali 16. století stejně dobou krásnou nebo zlatou; ale nakonec se s nimi rozešel. Kdežto Balbín, Voigt, Procházka se tu stavěli na stanovisko latinisujících humanistů, Dobrovský (ovládaný stále zájmem o pokrok české řeči a české literatury) si předsevzal sledovati pouze snahy humanistů vlasteneckých, vliv latinisujících humanistů na rozvoj českého jazyka a české literatury, na vnitřní rozkvět a vnější zmohutnění české řeči.

S tohoto hlediska projevil své sympatie k Českým bratřím a zdůraznil jejich heroismus i lásku k české řeči a literatuře.

Dobrovský mluvil o třech znacích, jimiž se vyznačuje tato doba: 1. rozvoj knihtiku, 2. vyvrcholení vlády a dokonalosti jazyka českého za vlády Rudolfa II., 3. stoupající napětí náboženské a počátek protireformace. Mnohé z těchto znaků zdůrazňovali již předchůdcové Dobrovského. Ale přece je rozdíl mezi nimi a Dobrovským. Zatím co předchůdcové posuzovali knihtiskařství spíše s hlediska uměleckého, Dobrovský postihl obrovský jeho význam pro široké *lidové* vrstvy národa. „Celá masa národa je vábena ku čtení a vybízena k přemýšlení. Nejvzdělanější část myslí a píše svobodně. Vláda českého jazyka (píše Dobrovský dále) vyvrcholila.“ Český jazyk se stal jednacím u všech úřadů. Podle zemského zřízení z r. 1530 i cizinci měli před zemským soudem vésti své právní pře v české řeči a podle ustanovení zemského sněmu z r. 1615 ti, kdo při svých schůzkách hovořili dále cizí řečí, ačkoli uměli česky, měli zemi opustit. Toto nařízení je Dobrovskému důkazem, že německý jazyk se v této době mezi Čechy silně rozšířil. V souvislosti s vypravováním o rozvoji jazyka se Dobrovský dotýká i zásluh Českých bratří, kteří podle slov Dobrovského „šli dále než sám Luther“; zmínil se o *Kralické bibli a* Blahoslavových pracích.

Třetím znakem tohoto období je podle Dobrovského stoupající napětí náboženské a počátky protireformace v době vlády Ferdinanda I.

Výklad o „zlatém“ období (1520—1620) uzavíral Dobrovský v redakci z r. 1792 větou A. Veleslavína, který mu byl jinak nejvýznačnějším zjevem v těch časích, větou o potřebě dalšího vzdělání české řeči; a dodával, že by se Veleslavínovo přání, aby k nám přešla všechna řecká a latinská moudrost

zároveň se svými autory a aby k nám mluvil mateřským jazykem naším Plato, Aristoteles, Xenofon a jiní, snad byla časem zcela vyplnila, kdyby ustanovení českých stavů na zemském sněmu r. 1615 nebyla brzy potom zmařena.

Poslední (šesté) období českých dějin sahá v pojetí Dobrovského od r. 1620 do přítomnosti, t. j. do doby Dobrovského, je charakteristické jako období úpadku české řeči a české literatury. Studiem tohoto období se Dobrovský zabýval velmi záhy, takřka od počátku své vědecké tvořivosti. Pokoušel se je zvládnout heuristicky a za tím účelem podnikl cestu do Švédska v l. 1792—1793, aby tam hledal české rukopisy a knihy zavlečené na sever v době třicetileté války. Vybízel i jiné pracovníky k analogickým studiím v archivech vídeňských i domácích patrimoniálních.

Bílou horu Dobrovský chápe jako událost, která „ochromila a oslabila celý český národ na těle i na duši“, která vedla k vystěhování nekatolíků, k vylidnění českých zemí a jejich zpustošení za třicetileté války. Dobrovský lituje toho jako „vlastenecký“ Balbín či protestant Stránský. Jde však dále než oni. Jako nikdo z jeho předchůdců odsuzuje ve svém pokrokovém světovém názoru náboženské násilí, které potom na české půdě nastalo, všechno znásilňování svědomí, všechno to jesuitské knihoborství nejlepších českých knih. Naznačil o tom své mínění už v Böhm. Mähr. Literatur 1780, Lit. Mag. 1781/7 a znovu se rozhorlil v podobném slova smyslu také v 2. redakci svých Dějin z r. 1792, užívaje vzpomínek na Balbína i Pavla Stránského: „Styděti se musíme (praví tam) za předešlé doby, kdy s náboženstvím se prováděla taková neplecha“, a roku 1792 volá: „co by řekl Balbín, jehož obrana jazyka slovanského, zejména českého (v Praze znovu vydaná v r. 1775) ho ukazuje jako opravdového českého vlastence a oceňovatele mateřštiny, o nepřístojnostech, které jeho druhové prováděli brzy po jeho smrti s českými knihami, kdyby se měl s nimi na ně dívati?“

Už z těchto slov je vidět, že také toto období českých dějin Dobrovský hodnotil zase především z vývoje českého jazyka a českého písemnictví, nedotýkaje se otázek jiných. V tom smyslu zdůraznil ubohost a tendence domácí jesuitské literatury, kterou nepokládal za nic jiného než za překlady z cizích jazyků a přetisky cizích dogmaticko-polemických knih.

Maje na mysli především vývoj české řeči a literatury, širšího rozboru 17.—18. století (o kterém ostatně nemáme ani dnes důkladnější české historické práce, ač o této době rádi či neradi mluvíme) nepodal. Ve dvou věcech však pozdější naše vědecké pracovníky daleko předčil: 1. v tom, jakým způsobem začal bojovat proti protireformační době, zejména proti kultu protireformačního temna, zračícího se v postavě Jana z Pomuku, 2. v tom, jak se pokoušel sám přispět k ukončení protireformačního úpadku a jak hodnotil novou nastupující, obrozenskou dobu.

Protireformační ideologii hleděl Dobrovský narušovat už tím, že jako mladý vědecký pracovník volil za thema svých prací otázky, které byly

pokládány dosud oficiálními představiteli církve za nedotknutelné: otázku o zlomku domnělého evangelia sv. Marka, o kněžském celibátu v Čechách, o Janu z Pomuku.

Pověstný spor o Jana z Pomuku Dobrovský začal už r. 1779, více se o něm vyslovil roku 1783, posléze r. 1787 zhodnotil diskusi, která se kolem věci rozvířila, vyslovuje se přímo proti kanonisačnímu procesu a kanonisační bulle.

Tento čin Josefa Dobrovského byl pokládán v naší době za velmi průkopnický a Dobrovský byl označen za zakladatele nové české historické polemiky. Je jím zcela jistě! Jak jsem však výše ukázal, rozešel se s vládnoucím protireformačním názorem na otázku nepomuckou již Dobner, a to takřka 15—20 let dříve nežli Dobrovský.

Než uzavřeme Dobrovského periodisaci českých dějin! Dobrovský označil, jak jsme viděli, dobu po r. 1620 (až do svých časů) za jeden celek. Ale přece z jednotlivých jeho projevů už z 80. let 18. stol. a potom z 2. redakce jeho Dějin je vidět, že posledních několik desetiletí 2. pol. 18. stol., zejména poslední čtvrtstoletí 18. st. pokládal za červánky doby nové, charakteristické určitými zjevnými projevy národního obrození.

Také tuto poslední čtvrt 18. stol. hodnotil Dobrovský především s hlediska nové české knižní produkce a rozvoje českého spisovného jazyka. Pomíjel všechnu naši soudobou latinskou a německou literaturu a seznámil především s novodobými pokusy o povznesení české řeči. Za tragického stavu této spisovné české řeči, ohrožené germanisací, se díval na budoucnost národa jako mnozí z jeho vrstevníků (na př. Pelcl) s určitou skepsí a nedůvěrou. „Věc našeho národa (psal Kopitarovi r. 1810) je téměř zoufalá.“ Jindy však, zvláště ve chvílích blouznivého vzrušení, jej ideál národní slávy i sen o skvělém národním příští ovládl úplně a za těch či analogických okolností Dobrovský končíval své projevy slovy: „My, Čechové, budeme ze všech národů nejprvnější!“

Jeho skepse o budoucnosti národa nepominula ovšem nikdy; ale neoslabila jeho nadšení pro vědeckou práci; nevedla jej k vědecké resignaci a k pasivitě; měla jej k snažení ještě usilovnějšímu, zaměřenému k záchraně národního života a zejména jeho svazků s ostatním Slovanstvem.

Všechnu svou skepsi v národní existenci Dobrovský oslabil a potřel svým obrovským vědeckým úsilím, které rozvinul ve snaze, aby uchoval a rozvinul mateřskou řeč, aby ji očistil od kazů, aby ji učinil skutečným celonárodním jazykem; všechnu svou skepsi nakonec rozptýlil i tím, že se snažil přispět ke vzkříšení znalosti národních dějin.

Na tom poli dosáhl velkých úspěchů. Objevil a vychoval vědecky Fr. Palackého, který vlastně navázal na pojetí dějin Josefa Dobrovského i jeho kritickou metodu a který potom oživil i jeho dílo novými pohledy, hlubokou vírou v budoucnost národa i vědomím povinnosti tomu napomáhat.

Takové je pojetí české minulosti v životním díle Josefa Dobrovského. Takové je jeho stanovisko k jednotlivým obdobím a k některým důležitým problémům české minulosti. Jde o pojetí nikoli vetkané do širokého obrazu všestranného národního vývoje, ale o pojetí podané často jen náznakově, na okraji studia českého jazyka a českých (česky psaných) literárních památek nebo stylisované ve vědeckém boji badatele, ovládaného při vší lásce k vlasti i k její řeči svrchovaným kriticismem, často až hyperkriticismem a nesmlouvavým racionalismem.

S těmito okolnostmi souvisí do jisté míry nedostatky i přednosti toho pojetí: jak pokud jde o celkový pohled na minulost, tak pokud jde o chápání některých dějinných zjevů a událostí.

Jaké nedostatky se nám tu jeví? Podotýkám, že tyto nedostatky nelze hodnotit a kritisovat dnešním měřítkem, ale jen v pozadí doby a prostředí, v němž Dobrovský žil a tvořil, a dále s hlediska vědeckých cílů jeho práce.

1. Není pochyby, že přílišné filologické zaměření podle vývoje jazyka (jde často více o studium řeči nežli jazykových památek), příliš jednostranné chápání literárních památek jako pouhé ilustrace řeči, přílišný důraz na chronologii a bibliografii těchto památek, odvedly J. Dobrovského od poznání vůdčích sil společenského vývoje. Přílišné soustředění na vývoj českého jazyka rozhodlo při dělení na jednotlivé epochy a podmínilo prostý, většinou chronologický systém při vytčení památek. Za této nadvlády filologických zájmů úvahy o věcech hospodářských, politických a třídních se objevily jen tu a tam, aniž mohlo jíti o hlubší proniknutí do povahy a podstaty věcí.

2. Jazykové a literární úvahy staví Dobrovský příliš (a tu se ukazuje názor, co vlastně tvoří dějiny) jen na vybraných individualitách, které v pojetí Dobrovského tvoří českou národní literaturu.

3. Nikde není zmínky o hromadných jevech v literárním dění a tím méně ve složitém dění celonárodním.

4. Nejednou se vývoj jazykový a literární (a vlastně vývoj vůbec, zejména vývoj kulturní) redukuje na zevnější vlivy, které sice v českém národním životě působily jako v životě národů jiných, ale nemohou nám vysvětlit mnoho a všechno. Tak Dobrovský nejednou příliš zdůraznil vlivy latinské, vlivy západní Evropy a německého světa zejména; už při počátcích křesťanství v Čechách, potom v době německé kolonisace v českých zemích ve století 13., v počátcích Husovy činnosti (vliv Wiklefův). Jinde je si ovšem vědom, že český vývoj charakterisuje spíše boj s těmito vnějšími vlivy. Tak na př. píše 1. o boji české společnosti s němčícím Janem Lucemburským, 2. o boji českých husitů s cizinou, 3. o boji českého jazyka s latinisujícími humanisty v době pohusitské, 4. o boji českého národa s cizími vlivy v době temna, 5. o boji s germanisací v české společnosti v 2. pol. 18. stol. Ale buď jak buď, cizími vlivy, šířením křesťanství z Němec i z východu Dobrovský začíná (jako protestant Stránský) české dějiny. S druhé strany ovšem s rozvojem vlastního vědeckého bádání Dobrovský překonal jednostranný výklad

našeho (i slovanského) obrození z německého osvícenství i z německé romantiky a objasnil jiné (buď domácí a slovanské či jiné evropské) souvislosti.

5. Přílišný kriticismus vedl Dobrovského nejednou k jednostrannému řešení některých otázek, a) ať to byla otázka cyrilometodějská, b) husitství, či c) pohled na dobu pobělohorskou. Na prvý pohled je těžko vysvětliti, proč Dobrovský setrvával na určitých thesích, pokud jde o nejstarší dobu moravských dějin, v době, když se objevovaly prameny, které naznačovaly jiné možnosti koncepce. Ale skutečnost ta zcela zřejmě souvisí s metodou práce J. Dobrovského, který na jedné straně velmi záhy (už na počátku své vědecké dráhy) rozpoznal jádro problému a pravděpodobnost vývoje, na druhé straně však vždy dlouho přezkoumával prameny, nežli podal názor nový. Nevěřil hypothesám a dohadům. „Důkazů (pravil v kritice Dobnerova díla v 80tých letech), osvědčených důkazů žádám, nikoliv možností. Důkazů, nikoli deklamací, a pokud důkazy přesvědčivé nejsou, musím podle logiky své se zdráhati historické faktum za pravdivé považovat.“ Těmito slovy, jimiž se řídil v celoživotní, padesátileté práci vědecké, je naznačen směr i metoda i výsledky jeho vědecké tvořivosti.

Že však byl přístupen změnit své názory vlivem přesvědčujících pramenných dokladů, vidět nejlépe ze skutečnosti, že na př. názor na slovanský dávnověk (v souvislosti s novými archeologickými výzkumy) vždy znovu a znovu přetvářel.

6. Nenajdeme-li u Dobrovského filosofie dějin v pozdějším slova smyslu, nanejdeme přirozeně u něho ani filosofický pohled ve smyslu historických zákonů, podle nichž se dějiny vyvíjejí.

Než upusťme od určitých nedostatků (k nimž ostatně by bylo možno připojiti i nedostatek víry v budoucnost českého národa) a všimněme si předností a progresivních rysů v jeho dějinném chápání!

1. Především třeba zdůraznit, že Dobrovský se díval na české dějiny, vycházeje přirozeně především z představy celistvosti jazyka, výrazné to součásti celonárodních dějin, jako na celistvý, celonárodní proces, nikoli na vývoj jen určitých tříd či jedinců. Při tom neupíral jednotlivým českým zemím větší či menší funkci v celonárodním životě, ale ji spíše vyzvedal. Přilnul k Moravě a jejím dějinám věnoval pozornost v soukromých lekcích udílených za pobytu na Hradisku u Olomouce.

2. Na vývoj českých dějin, tvořený za účasti lidových vrstev, se díval jako na proces souvislého a stále se měnícího vývoje, vývoje plného změn a zvratů. Při těchto změnách šlo stále o jeden a týž jazyk, o celonárodní jazyk; různil se jen stupeň jazykové dokonalosti. Mluveno s klasiky marxismu-leninismu, měnila se základna, t. j. hospodářský řád společnosti i nadstavba, t. j. politické, právní, náboženské, umělecké i filosofické nazírání společnosti a jim odpovídající politické, právní i jiné instituce. Ale jazyk zůstával stále týž a udržoval svou kontinuitu. Ovšem v Dějinách Dobrovského z r. 1792 není ona základna (i nadstavba) líčena ve stejném rozsahu:

někde nejsou vůbec popsány; (na př. v době pohanské, na poč. křesťanství); jindy jen povšechně (v 13. stol.). Více nacházíme v popise 15. stol. (celkovou charakteristiku), ještě více v popise 14. a 16.—17. století.

3. Jinou předností u Dobrovského je, že (i když mu šlo především o to, aby konstatoval fakta, aby podal konkretní náplň, konkretní odpověď budovanou na pramenném základě) chtěl jít vždy dále a usiloval o to, aby vymezil vývojové fáze: zase ovšem nikoli schematicky, pouhou spekulací, ale na základě studia bezpečných a ověřených pramenů.

4. Dalším jeho kladem bylo, jak hodnotil (ve smyslu nové vědecké metody i pokrokových zásad, analogicky jako mnozí jiní čeští vědečtí pracovníci, ale daleko důrazněji) jednotlivá fakta a vývojové fáze, jak se stavěl na místo progresivního posuzovatele a jak se snažil odhalit a zdůraznit z národních dějin především to, co pomáhalo jejich progresu. Proto už se musel postaviti kladně k Husovi i husitství a negativně k protireformaci i k době temna.

5. Kladem při tomto hodnocení bylo, že české dějiny neposuzoval, i když přihlížel především k českému jazyku i k českým památkám literárním, jen v úzkém rámci češství; jeho pohled tu byl širší a pohyboval se v rámci vývoje okolních národů, slovanských zejména, v rámci pokroku vůbec a na různých místech zdůrazňoval svazky českého národního celku s jednotlivými slovanskými národy i jejich neslovanskými sousedy v jednom nedílném proudu dějin.

6. Všude tu doprovázel jej positivistický realismus, úsilí o střízlivou objektivitu v obsahu i ve formě, úsilí o tvořivost zapojenou na život; a přitom všem přihlížel především k potřebám života, ke skutečnosti a přítomnosti.

7. Všude doprovázela jeho vědeckou práci upřímná láska k vlasti i národu, jeho řeči i minulosti a velké vědomí slovanské. Láska k češství a slovanství nebyla ovšem bez mezí. Neoslavovala vše a nemilovala vše ani v dějinách českých, ani pokud jde o soudobé skutečnosti ve Slovanstvu. Neoslavovala vše, ale třídila, jsouc vedena láskou k pravdě, odporem k romantickým představám, progresivním pojímáním kritiky, snahou dojíti na základě pramenů k novému národnímu a slovanskému sebepoznání.

Tím vším se stalo, že Dobrovský (i když byl v mnohém svém výzkumu závislý na výsledcích práce i pojetí svých předchůdců a starších současníků, na Balbínovi, Stránském, Dobnerovi, Pelclovi, Voigtovi, Cornovovi a zčásti i na práci cizích učenců) se stal badatelem daleko pokrokovějším a úspěšnějším: pokročil dále vpřed, jak pokud jde o pracovní metodu, tak pokud jde o chápání života a rozličných forem dějinného života.

Lépe pojal nejstarší fázi slovanských (a tím vlastně i českých dějin); lépe vystihl vlivy slovanských národů na národy jiné (Němce, Maďary, Rumuny). Lépe se vyznal ve složitosti staročeského života. Přistoupil první u nás kriticky k studiu legend 10. stol., k systematickému rozboru legend a naznačil jejich filiaci, která se udržela dlouho potom a v některých pří-

padech až dodnes. Spolu s Pelclem vydal první edici kroniky Kosmovy. Byla-li dosud po dvě století hlavním pramenem pro nejstarší dějiny české kronika Hájkova, pramen plný fantasií a pověstí, dostal se díky Dobrovskému (a Pelclovi) do rukou obrozenských Čechů hlavní pramen starých českých dějin; tím bylo nepochybně umožněno a urychleno další jejich bádání. Třeba to označiti za čin velkého významu.

Lépe nežli jeho předchůdcové vystihl Dobrovský podstatu doby rozvitějšího feudalismu. Objektivnější byl jeho pohled na dobu Karla IV.; větší zájem nežli kdokoli v jeho době či v době krátce předcházející projevil o dobu husitskou, ač jinak k husitskému hnutí zůstával (jako Stránský i Cornova) vlažný. Měl hlubší pojetí také Bílé hory i následků, které potom pro český národ nastaly, ačkoli jinak příliš schematicky kladl úpadek českého národa, českého jazyka už do nejbližších let; víme, že t. zv. „temno" nastalo později, a převládlo teprve v 2. pol. a koncem 17. stol. v důsledku událostí, které se samou bitvou na Bílé hoře přímo nesouvisely. — Příliš suše se vyslovil o Komenském.

Ale více než kdo jiný dovedl ve své době posíliti národní vědomí doma a rozšířiti jméno českého národa i jeho význam před zraky cizími. Nikoli bez významu napsal H o r m a y e r ve svém Archivu r. 1828, jak Dobrovský si získal velké zásluhy tím, že „nádherné dějiny starých Čech očistil od bezpočetných bájí" a že se „zasloužil o oživení pravého smyslu staré velikosti a důstojnosti země české".

Nikoli bez příčiny pozdravil Dobrovského ruský generál Barclay de Tolly a viceadmirál i president ruské akademie věd A. S. Šiškov jménem velkého Ruska a jeho vítězných armád, jménem vrcholné instituce ruské vědy jako muže, kterého „veškeré Slovanstvo a celá střední Evropa počítá mezi své nejvzácnější a nejučenější muže". Nikoli bez příčiny nazval Dobrovského proslulý kritik Nestorových letopisů S c h l ö z e r v 5. části svých *Russische Annalen*, Göttingen 1809, 212: „Dobrovský . . . unstreitig einer der gelehrtesten Kenner der ganzen slavonischen Literatur."

Ale význam Dobrovského pojetí dějin i jednotlivých problémů tkví nejen v tom, že byl ve své době progresivní. Nemenší význam je i v tom, že jeho koncepce i jeho velké dílo vůbec dalo *podnět k dalšímu pokrokovému chápání české minulosti:* v celku i v jednotlivostech.

Dalo podnět k revisi základních i dílčích otázek doby nejstarších českých dějin, doby vrcholné — husitské, doby t. zv. druhého znevolnění (v 16.—17. století) i velkého přelomu, jakým byl rozklad feudálních řádů a nástup nové doby v době t. zv. obrození. Dalo podnět ke studiu mezislovanských vztahů, které nabylo tolik praktické účinnosti už v době obrozenské a tím více v době dnešní.

Na díle i pojetí dějin Josefa Dobrovského se učil už jeho spolupracovník P e l c l, ovládaný napřed Dobnerem a potom tvořící pod dojmem velké tvůrčí činnosti Dobrovského; v jeho stopách šel Fr. P a l a c k ý, který splnil vše, co Dobrovský svou prací naznačil, v míře i rozsahu, o němž Dobrovský ani

nesnil. Velká láska k pravdě, zájem o dobu husitskou, nechuť k době temna, vše to tak příznačné pro Dobrovského, kladlo základ k pozdější pokrokové filosofii dějin Frant. Palackého, jemuž byl Dobrovský v jeho mládí učitelem, ať už jde o pomocné vědy historické, paleografii, diplomatiku, historickou kritiku či o základní pojetí života národního a života vůbec, ať už jde o buditelskou činnost či o podněty v programu vědecké práce a v heuristice pramenů.

Ale Dobrovský svou dějinnou a životní koncepcí i vědeckou tvořivostí vedl nejen ke studiu dějin; stal se významným *spolutvůrcem dějin:* nejbližší obrozenské přítomnosti i vzdálenější budoucnosti. Stal se spolutvůrcem českých dějin už tím, že položil zvláštní důraz na češtinu jako na celonárodní jazyk, že vybavil svůj národ životným spisovným českým jazykem, že tím vedl k národní konsolidaci a k mohutnému národnímu vědomí, že působil na českého člověka už svým pokrokovým zesvětštělým názorem, svým úsilím o svobodu svědomí, bojem proti převaze náboženských formulací, svým morálním založením. Přispěl k budování českých dějin tím, že působil na své prostředí svou životní prací, plnou bohatých podnětů a myšlenek, poučující o slavné národní minulosti i kritické přítomnosti, tvořenou s vědomým veřejným účelem a veřejným posláním, prací ovládanou zásadou působit na jiné, na obrodu českého člověka i národa. Stal se spolutvůrcem dějin i tím, že poučoval i vychovával svým odkazem na vývoj dějin, svou koncepcí našeho zapojení do světa slovanského, svou průkopnickou činností na poli vzájemnosti česko-slovanské, svým přínosem k solidaritě Čechů a Slovanů s ostatními pokrokovými národy vůbec.

Vším tím přispěl k vytvoření novodobého národa českého i jeho dějin. Bez Dobrovského nelze si představit českého obrození, naší spolupráce se Slovanstvem a našeho místa ve slovanském světě. Jeho prací byly vytvořeny předpoklady k naší novodobé a dnešní spolupráci s ostatními Slovany, s velikým ruským národem zejména.

Čím nám zůstává Dobrovského koncepce dějin vzorem dnes?

1. Je nám vzorem, že ji vytvořil člověk plný šlechetnosti a šlechetných činů.

2. Ohlížíme-li se po jeho pojetí českých dějin, prolnutém láskou a citem, po pojetí, které bylo ve své době pokrokové a naznačovalo nové cesty pokrokovému chápání české historii. Pojetí to bylo napsáno ve smyslu nejlepších tradic české historiografie, s heslem bojovat proti tmářství i proti romantickému chápání minulosti. Umožnilo poznati starou dobu českých dějin, dobu husitské revoluce, tragiku temna i jaro obrození.

3. Dobrovský je nám vzorem v tom, jak pochopil český vývoj v rámci vývoje ostatních národů slovanských, v souvislostech s obecným děním s tím přesvědčením, že budoucnost českého národa je zajištěna jen ve slovanské pospolitosti.

4. Je nám vzorem svým pojetím dějepisné práce, ovládané bojem za nový svět idejí a za nový svět, úsilím o svobodu vědeckého bádání a přesvědčení,

úsilím o zjištění pravdy (a to nikoli pomocí pouhých deklamací, hypothes a schemat, ale na základě velké vědecké akribie a kritičnosti), je nám vzorem svou důsledností, přesností v analyse a synthese, důrazem na práci konkretní a na přesná fakta, vyložená v pozadí znalosti doby a prostředí.

Je nám vzorem thesí, že největší škodu by národu způsobil, kdo by mu chtěl sloužit jinak než pravdou.

Je nám vzorem svým úsilím zvěděčtit vědu, historickou zejména, svým vědomím o vysokém národním poslání české vědy, vědomím povinnosti vědeckého pracovníka k národu, svým úsilím o pokrok a pokrokové chápání života.

Je nám vzorem svým vědeckým realismem, spojováním znalostí minulosti a zájmů přítomnosti, svým příkladem, že nestačí jen dějiny poznávat, ale že vědecký pracovník má účinně přispívat i k jejich tvoření ve své společnosti a ve své generaci.

Vším tím je nám vědeckým pracovníkům na poli historie J. Dobrovský jako „Magnus parens (jak říká Zdeněk Nejedlý) našeho obrozenského dějepisectví“.

Josef Macůrek

Dobrovský v politických zápasech své doby

Jaroslav Vávra

J. Vávra se ve svém koreferátu soustředil na *postoj Josefa Dobrovského k politickému dění a obrozenskému hnutí.* Stručně se zmínil o Dobrovského názoru na český historický vývoj, jak jej Dobrovský formuloval ve svých Dějinách české řeči a literatury z r. 1792, a podtrhl zejména pokrokovost Dobrovského hodnocení husitství a Bílé hory. Upozornil dále, že při hodnocení Dobrovského účasti na politických zápasech doby nutno vidět celou jejich složitost a převratnost. Že Dobrovského účast v zápasech doby nutno chápat na pozadí všech otřesných událostí, které provázely revoluční proces přeměny společenské formace feudální ve formaci kapitalistickou, kdy ve vzájemných vztazích sil pokroku a sil reakce docházelo k složitým zvratům, jež byly dány specifickou situací té které země; že s hlediska našeho historického vývoje nutno účast Dobrovského neustále vidět v souvislosti s počínajícím procesem konstituování novodobého českého národa, t. j. s procesem nástupu nových výrobních sil a společenských vztahů, a to i zde v širších souvislostech vývoje evropského, jejž Dobrovský dovedl srovnávat s poměry doma. Upozornil konečně, že se nebude zabývat vývojem ekonomických poměrů, poněvadž je v souvislosti s Dobrovským osvětlil jinde. (Sov. věda — hist., 1952, č. 5, 684—694).

K otázce o postoji J. Dobrovského k politickému a obrozenskému dění jeho doby a k otázce o aktivní účasti Dobrovského na něm řekl pak koreferent v podstatě toto:

Nemáme zatím přímá a někdy ani nepřímá svědectví o tom, jak Dobrovský přijímal a soudil zahraničně politický vývoj (na př. francouzskou revoluci) a nemůžeme se odvážit analogických závěrů podle známých nám názorů takového Opize, Jeníka z Bratřic či Helda v Čechách nebo Lamberga a Mittrowského na Moravě, ať už jsou některými rysy světového názoru Dobrovskému blízcí. Můžeme soudit jen z daných a známých fakt, jež jsou bohatší, pokud jde o názory na vývoj domácí.

Dobu 70. a 80. let 18. stol. staví Dobrovský do kontrastu s dobou předchozí a mluví o ní jako o „jasném poledni, kdy záře osvěty zaplašuje všechny temnoty mozku daleko za náš obzor“. A o to, aby tak bylo, se vším elánem bojuje i Dobrovský sám. Volí si zvlášť uctívané modly „temnot mozku“, aby je kácel. Je to domnělý autograf Markova evangelia, k němuž do té doby putovaly statisíce ohlupovaných poctivých lidí. Je to boj proti

ztrnulosti a zpátečnictví ve vědeckém životě, vedený v odvážně a břitce psaných časopisech Česká (a moravská) literatura a Literární magazin, které programem i způsobem boje daleko předčily všechny pokusy předchůdců a následovníků. Je to vítězná bitva o světce temna, Jana Nepomuckého, nedoceněná dosud nejen co do jejího dosahu, nýbrž i co do argumentů, jichž Dobrovský užil. Je to jeho živá účast na ideových bojích o úlohu osvíceného kněze mezi lidem, ať už v součaném polemickém tisku, nebo v čele osvícenské instituce, jíž byly generální semináře. A je to v neposlední řadě Dobrovského vysoce iniciativní činnost v Učené společnosti. Dobrovský posuzovaný později pod vlivem svého vědeckého díla nebyl dostatečně oceňován jako bojovník živě a úzce spjatý se svou dobou, jako bojovník, který má své předchůdce, své spolubojovníky i nástupce. Dobrovský stojí v řadě organisovaného nástupu vědy proti „temnotám mozku", nebojuje sám. A ani v zápasech dne nestál, zejména v prvém období (do poloviny 90. let) osamocen. Počátkem 80. let mluví Praha o tajné prý společnosti kritiků kázání, jež si vytkla za úkol rozbít jednu z mocných opor a zbraní zpátečnické ideologie: využívání kazatelen pro šíření tmářství a pro boj proti nebezpečí, jež reakci hrozilo uvolněním svobody tisku. Společnost, v níž hlavní slovo mají Born, Chládek a Dobrovský, řídí obávaný Bič kazatelů, periodický týdeník žurnalisty a dramatika Steinsberga. Steinsberg v žurnalistice, stejně jako Born ve vědě, je vedle mladého Dobrovského postava zvlášť typická; mladý dramatik, který vydává tragedii *Jemeljan Pugačev* tři roky po popravě vůdce největší selské války v Rusku (a tři roky po největším selském povstání v Čechách), autor — anachronistických ovšem — her o Libuši a Českém rytíři Žižkovi. A tomuto Steinsbergovi, později řediteli českého vlasteneckého divadla u Hybernů, poskytuje argumenty pro vyvrácení nepomucké legendy v Biči kazatelů — Josef Dobrovský. I tu tedy Dobrovský stojí v jedné frontě s nastupující pokrokovou buržoasií, která si bojem s náboženskými a tmářskými předsudky a překážkami razí cestu vpřed.

Zdá se však, že můžeme u Dobrovského postihnout i kritiku buržoasie, aspoň její bezohledné, ničeho se neštítící zištnosti. Tak na př. Dobrovský ostře odsuzoval zbohatlého pražského nakladatele J. F. Schönfelda. (Proto, že z lačnosti po zisku odevzdal do stoupy neprodané výtisky Thámovy Obrany, aniž čekal, že další zájemci se ještě přihlásí, a proto, že z týchž důvodů vydal křiklavě špatný plagiát Dobrovského příručky ruštiny Nová pomůcka jak snáze porozuměti ruské řeči.) Dobrovský v listech přátelům přímo mluví o záludnosti a ziskulačné nestoudnosti známého nakladatele.

A rovněž ne dost výrazně bylo dosud připomínáno a s hodnocením Dobrovského účasti na veřejném dění spojováno, jak Dobrovský byl za svůj pokrokový boj stíhán, jak mu jeho činnost byla znemožňována. Světská i církevní reakce neopominula ani jedné příležitosti, aby se nepokusila Dobrovského umlčet. Už za vydání Pražského zlomku Markova evangelia byl Dobrovský vyšetřován církevními úřady a nižší instance, kněží a mniši, agitovali u pražských knihkupců proti prodávání latinské knížečky. Jak nebez-

pečnými pro církevní hiearchii byly Dobrovského bojovné výpady, je zřejmé na př. z toho, že i osvícenský biskup Hay si přál, aby Dobrovský nepubli-koval své polemické stati v lidové řeči. Oba časopisy Dobrovského byly na zákrok postižených zpátečníků zakázány — což se stalo v době josefinského uvolnění censury! Jak se potom divit, že na konci 90. let nedovolila censura Dobrovskému ani to, aby ukončil svou polemiku s Thámem o *Německo-český slovník.* A Dobrovského slovanské sborníky Slavín a Slovanka nemohly již vůbec vycházet ve formě a zejména v duchu prvých časopisů Dobrovského, jak původně mínil. Musely se stát sborníkem výňatků většinou jinde již tištěných prací a zpráv.

Zvlášť typická ovšem byla nejvyšší, samým pražským purkrabím Rottenhahnem provedená censura Dobrovského řeči připravené pro slavnostní zasedání České učené společnosti u příležitosti návštěvy císaře Leopolda (1791). Příznačný ovšem nebyl jen censurní zásah, ale zvlášť významná byla především řeč sama. V ní možno vidět vrcholný a uzlový bod Dobrovského přímé účasti na politickém životě národa. Thema řeči volí Dobrovský záměrně. Je to patrno z toho, že původně zvolené thema nedlouho, asi měsíc před zasedáním změnil. A právem možno usuzovat, že thema loyality slovanských národů vůči habsburskému domu bylo skutečně jen prostředkem, a nikoli vlastním účelem a cílem řeči. Cílem bylo — podstatně změnit „ony tak četné okolnosti, které nejsou v naší moci“ a které hatily vyhlídky na úspěch obrozenského úsilí. Bylo by možné dovozovat, že thema s takto zamýšleným účinkem zvolil Dobrovský pod dojmem radostného hnutí, jež v českých lidových vrstvách vyvolal fakt korunovace českého krále? Nebo pod vlivem požadavků, vznášených skupinou obrozenců, takže sám se dal strhnout k vystoupení, jehož sice nikdy nelitoval, ale jehož výsledky byly tak hubené? Je pravděpodobné, že Dobrovský byl veden těmito podněty, mnohem pravděpodobnější, než že by přednášel prostý pendant k stavovským desideriím šlechty.

V projevu Dobrovského aspoň není ani ohlasu po šlechtických státoprávních desideriích, ani slova pro obnovu stavovské feudální ústavy, o požadavku zrušit některou z osvícenských reforem ani nemluvě. Celá řeč je naopak nesena argumentem přirozeného práva: Je nás Čechů a Slováků šest milionů, všech Slovanů pak v habsburských státech dobrá polovina všeho obyvatelstva. Situace Slovanů ve světě se k nepoznání změnila. Zejména ruská moc nahrazuje Slovanům mnohonásobně všechny v průběhu dějin utrpěné ztráty a je s to, aby vyvrátila (spolu s rakouskými, z poloviny slovanskými státy) úhlavního nepřítele Slovanů, říši tureckou. Ruská moc ovládá přečetné národy Evropy a Asie až po hranice daleké Číny a ještě vzdálenější severozápadní Ameriky. Tak rozsáhlé končiny jsou poslušny příkazů ve slovanské řeči. Čechové se kdysi vzbouřili, či zbloudili „podivnou a nešťastnou shodou okolností a příčin“ (tak to původně chtěl říci Dobrovský — a nikoli „pro náboženské třenice“, jak mu zpřesnila text censura. Šlo však purkrabímu Rottenhahnovi jen o zpřesnění? Nemohla by se snad „podivná a nešťastná

shoda okolností a příčin" vyskytnout v nových podmínkách spíše než „náboženské třenice"?) Nyní jsou však Čechové už dávno loyální a věrní. Jako výraz toho předkládají panovníkovi literární práce v českém jazyce. — Až potud censura projev povolila. Nedovolila přednést celý logický závěr řeči: Vznášejí však prosbu (t. j. Čechové, resp. doslova Dobrovský „jménem statisíců"), aby jim nebyla brána řeč, drahé dědictví po předcích. I pro panovníka to bude s větším prospěchem, nebude-li český lid násilím nucen — jak se to děje — přijímat jako obcovací řeč jazyk, jemuž nerozumí. Neboť i při výhodách, jež se zdají mluvit pro jedinou společnou řeč, jsou i se státního hlediska pádné důvody pro užitečnost a potřebnost českého jazyka u všech stavů, ve všech úřadech a školách.

Tiskem vyšel celý projev Dobrovského, německy i česky; zda nejpodstatnější censurní zásah měl chránit jen panovníka před vyslechnutím nezvykle směle formulovaných požadavků nebo zda tisková censura nebyla dostatečně bdělá, nebylo zatím zjištěno. Řeč měla radostný ohlas mezi vlastenci — Dobrovský to několikrát sděluje přátelům. Jaký měla ohlas v lidových masách, zjištěno nemáme, není však těžké uhádnout, že masový ohlas mít nemohla, i když vyšla česky v Krameriových novinách, jež se hojně četly. Dobrovský sám věděl, „že vlastenecká přání (vyslovená v obranách jako byla Hankeova a Thámova) nemohou vyvolat revoluci v celé mase národa" a neskládal tedy zajisté podobnou naději ani ve svou obranu, byť byla jak skvělou argumentací, tak okolnostmi přednesu nejúčinnější ze všech.

Proto je Dobrovského projev z 25. září 1791 vysoce významným dokumentem jak pro poznání Dobrovského, tak pro pochopení celé prvé etapy našeho národního obrození. Už na příklad to, jak Dobrovský po několika letech glosoval svůj projev, je charakteristické pro celý jeho postoj k dané politické situaci. Příčila se mu byzantinská, poníženostmi oplývající forma, v níž musila být řeč k monarchovi formulována. Tím spíše se mu příčil podobný tón u příležitosti spíše vnějškové a nadto za převládnuvšího reakčního režimu v pol. 90. let: Na jaře 1795 se Dobrovský postavil proti věnování Rozprav Učené společnosti císaři Františkovi, „poněvadž v nynějších dobách není možno vyjadřovati se jinak než velmi plazivě", jak napsal presidentu společnosti hraběti Hartigovi. Vyjádřil tehdy své přesvědčení, že uznává jen čestnou a svobodnou řeč a že se nesníží k těm, kdo se „jako červi plazí u nohou svých mecenášů, líbají prach obuvi jejich atd.". Vzpomíná pak, že jeho spisek, který přečetl v přítomnosti císaře Leopolda, „byl tehdejším nejvyšším purkrabím na více místech pozměněn. Byly opravdové obavy, aby v řeči nebylo ponecháno nic, co by bylo příliš svobodné (čestné)".

Tak smýšlel a psal Dobrovský v době, kdy ve Vídni a v Uhrách padaly hlavy „jakobínů", v době, kdy vláda přecházela k nejostřejší persekuci všech demokratů, kdy po procesu s „jakobíny" bylo v Rakousku zahájeno příkré tažení proti inteligenci vůbec. Dosud jsme se domnívali, že Dobrovský doplatil na svou osvícensky bojovnou aktivitu jen tím, že za nastalé reakce nesměl obdržet žádné významnější místo ve veřejné (státní či církevní)

službě. Koncem léta 1795 stihl Dobrovského prvý silný záchvat jeho choroby. Nezachránilo toto neštěstí Dobrovského před něčím ještě horším, než byla nemilost a přezírání se strany vídeňské, revolucí vyděšené vlády?

Radostný ohlas projevu z r. 1791, avšak jen u hrstky nadšených vlastenců, a hubené výsledky praktické — místo obecného uvedení češtiny do všech úřadů v Čechách a na Moravě jen zřízení katedry českého jazyka na pražské universitě — nemohly zbavit Dobrovského těžkých pochyb o vyhlídkách obrozenského snažení. Naopak, mohly jej spíše jen utvrdit v přesvědčení, že nepříznivé okolnosti jsou silnější než vůle a úsilí jednotlivců. Dobrovský nejlépe vidí, v jak hlubokém úpadku je jazyk, jak tento úpadek vinou Pohlů, Schimků a jiných dále pokračuje. Vidí (kol r. 1780), že česky psaná věda, kdysi tak kvetoucí, „tiše stojí", zatím co na př. Rusové „kráčejí olbřími kroky vpřed" a záhy nás předhoní. Přistupují i další, vnější okolnosti a na ty Dobrovský zvlášť ukazuje. „Zda dosáhneme zde vytčených (v Thámově Obraně) vzorů našich předků, neb zda za *nynějších okolností* jich vůbec dosáhnouti můžeme, je otázka, která by se dala zodpovědět nikoli těžko." Ani dílčí drobné úspěchy (rostoucí počet českých knih, české divadelní hry), neopravňují podle Dobrovského k smělým nadějím, jimiž se těšili vlastenci z 2. pol. 80. let. Neboť „více doufali, . . . než bylo *podle okolností* možno očekávat . . ." Povzbuzování, úsilí, podniky a zájem hrstky vlastenců, opakuje Dobrovský, sotva jsou s to povznést řeč na vyšší stupeň dokonalosti, než na jakém byla v 16. stol. Neboť nová doba, tuší Dobrovský, se nemůže spokojit se starými, i když kdysi dokonalými prostředky. Rozhodnutí padne v budoucnosti, protože, opakuje Dobrovský, „to *závisí na tolika okolnostech, které nejsou v naší moci.* Při nařízení, platném od r. 1780, podle něhož se žádnému Čechu, který není znalý německé řeči, nedovoluje vstup do latinských škol, je to zajisté sotva již možné" (podtrhl J. V.).

Dobrovský vyznával rozšířené osvícenské přesvědčení, že vysoce postavená osobnost, zákonodárce, panovník, může podle své rozumové úvahy změnit okolnosti, podmínky vývoje společnosti. To plyne z jeho projevu k Leopoldovi i z žádostí, jež zasílal ke dvoru ve chvílích duševního vzrušení, i z ujišťování, za podobných okolností vyslovených, že panovník daruje Čechům ústavu a pod. Zároveň s tím však zastává Dobrovský materialistické hledisko na vývoj společnosti. „Lidská ustanovení," říká již v r. 1783, „jsou měnlivá a podléhají změnám a musí jim podléhat." A v článku o gymnasiích ještě důrazněji konstatuje: „Také latinské školy v Čechách byly podřízeny neproměnnému zákonu proměny jako všechny věci v přírodě." Pro českou otázku pak Dobrovský nedovedl rozpoznat, zda příští vývoj přinese proměnu šťastnou. Četné a závažné okolnosti jej naopak přesvědčovaly, že ve šťastný obrat věcí lze sotva doufat. A tu nutně vyvstává otázka, proč Dobrovský, jenž v tak četných problémech odborných, na př. v otázce tak základní, jako je správné vystižení národního vývoje v minulosti, prokázal takovou pronikavosti úsudku a dospěl k závěrům, jež nesly pečeť trvalé platnosti, proč v otázce o perspektivách národního vývoje pravdu neměl. Proč setrvával na

svém mylném názoru, který vyvracel jak svým velikým dílem, tak úsilím těch, které pro národně osvobozenské úsilí získal a v něm je posiloval a povzbudil?

Zjevný nesoulad mezi pronikavě správným poznáním a nápadným omylem, vyvráceným dalším historickými vývojem, a zjevný rozpor mezi obrovitým dílem ve prospěch národního obrození a nevírou v úspěch obrozenského úsilí samotného konstatovali všichni, kdo se blíže Josefem Dobrovským zabývali. Většinou se také pokusili tento rozpor vysvětlit. Bylo by nejen zajímavé, ale i poučné sledovat tyto pokusy Palackým počínaje a současnými výklady konče. Většina odpovědí vyúsťuje v ten smysl, že Josef Dobrovský nevěřil v úspěšné obrození a rozvoj českého národa proto, že byl osvícenský skeptik, člověk důkazů a fakt, nikoli nadšený romantik, člověk přání, víry a fantasie. Jiné výklady se v podstatě spokojují s tím, že Dobrovský nedával svou skepsi ve svém literárním díle nikterak výrazně najevo, a proto ji svým dílem nešířil. I kdyby toto konstatování bylo zcela správné, neřeší podstatu věci.

Prvý, kdo ukázal cestu k správnému řešení otázky, byl spisovatel generace Nerudovy A. V. Šmilovský ve známé povídce *Za ranních červánků.* Dobrovský přestane být nevěřícím Tomášem, jak se tam sám nazývá, když důvěrně pozná prostý český lid, když pozná jeho vytrvalost a duševní ušlechtilost, jež překonala staletí útisku, příkoří a utrpení. Toto důvěrné sblížení s lidem, který zůstal a chce zůstat český, přivádí na sklonku života Dobrovského — ve Šmilovského pojetí — do řad věřících aktivních bojovníků za lepší budoucnost národa.

A druhý, kdo ukázal na nutnost vidět a správně vysvětlovat rozpor mezi Dobrovského názorem i dílem, byl národní hrdina Julius Fučík ve své objevné skizze *Návrat modrého abbé:* „Třebaže se Dobrovský láskyplně dovede zaposlouchat do lidové mluvy, přece je dalek od lidové základny národa. Je prvním nesmělým a skeptickým nositelem pochodně —.“ A J. Fučík pokračuje slovy, která zároveň vysvětlují, proč tomu u Dobrovského nemohlo být jinak: „... probuzení národa dospěje k vrcholu teprve tehdy, až lidová základna národa, uvolněná rozvojem výrobních sil a josefinskými reformami, je zachvácena národní a buditelskou myšlenkou — a sama jí dává odbojný ráz a směr“.

Josef Dobrovský pokládal obrození za sotva možné nebo za příliš podmíněné, než aby bylo lze se o něm vyjádřit bez pochyb, ne proto, že by byl skeptik, nýbrž proto, že za svého života neviděl a nemohl vidět onen široký nástup lidové základny národa. Ten nastal až v 30. letech 19. stol., tedy v době, kdy Dobrovský už nežil. „Tehdy totiž právě v letech třicátých dochází po době čiré poroby k velikému a hromadnému *probuzení* selského lidu u nás. Nejen v inteligenci a městském obyvatelstvu a nejen v tehdejší mládeži hlásí se tehdy k slovu jiná doba, jiná třída ... I v selském venkovském lidu vidíme tehdy totéž.“ (Zd. Nejedlý.)

Že byly Dobrovského soudy o perspektivách národního obrození takto

hluboce společensky podmíněny, vyplývá přímo i z jeho vlastních slov. Jestliže v r. 1791 je přesvědčen, že pro obrození řeči by bylo nutno „provést revoluci v celé mase národa“, že k tomu však nestačí nadšená hrstka vlastenců, pak to bylo určení a rozpoznání naprosto správné. A o dvě desítiletí později, kdy se Dobrovskému jevila „věc našeho národa téměř zoufalá“, byl Dobrovský přesvědčen ještě určitěji, že „jen politický život povznese řeč, všecky jiné pokusy diletantů přestanou a odumrou opět znenáhla“ (dopis Kopitarovi z r. 1812). Skutečné síly, které budou s to „provést revoluci“, vyvolat politický život, Dobrovský neviděl a vidět nemohl. V jeho době se teprve vytvářely podmínky pro masové politické hnutí. Dobrovský rozpoznal, že základní podmínkou tu není úsilí hrstky uvědomělých vlastenců, nemohl však rozpoznat, že hlavní podmínkou jsou změny v hospodářské základně, ony skutečné hlubinné síly, jež obrozenský proces vyvolaly a jím posilovány dovedly jej k vítězství.

Skutečný, veliký význam Josefa Dobrovského a jeho díla spočívá právě v tom, že ve své době dovedl daleko nejvíc vykonat pro to, aby ony síly, jež sám netušil a jimiž sám byl nesen, tak skvěle zvítězily. Že svým nesmírným, obdivuhodným úsilím, jež probudilo a posílilo tak mnohé obrozenské pracovníky, připravoval půdu pro konečné probuzení statisíců, za něž už pak nebylo nutno prosit: vydobyly si vítězství samy. — Naše historická věda je Josefu Dobrovskému ještě příliš dlužna: neukázala dosud Josefa Dobrovského našemu lidu jako velikého bojovníka za společenský pokrok, za triumf národně obrozenského úsilí a boje.*)

Jaroslav Vávra

*) Tento text je ve srovnání s přednesem (jenž byl ze značné části improvisován) na některých místech zkrácen, jinde doplněn a formulace zpřesněny. Zásadní vývody měněny nebyly.

Dobrovského pojetí husitství a reformace

F. M. Bartoš

Dovolte, abych začal osnovnou myšlenkou Dobrovského pojetí našich dějin, významem, jaký přisoudil v našich dějinách husitství a reformaci, když prohlásil husitství za počátek nové epochy v dějinách našeho národa a jeho kultury. Jaký je dosah tohoto činu a jak k němu dospěl? Důvody, které Dobrovského přivedly k pojetí husitství jako epochálnímu zjevu českých dějin, vyložil hlavně v *Dějinách české řeči a literatury* z r. 1792, kde napsal onen výrok a kde mohl nejotevřeněji vyložit své pojetí. Tam čteme asi toto: epochální význam reformátora Husa se projevil tím, že celý národ obrací svůj zájem k otázkám theologickým, mezi nimiž jmenován na prvém místě kalich, ale i zkoumání poměru mezi církví a státem, že horlí pro zákon Boží a studuje i dychtivě čte bibli, která dochází v překladě velikého rozšíření, zvláště když Hus doplnil dosavadní náběhy v celek a začal psát česky. Hus a Jeronym se zasadili vážně o reformu bohoslužby uvedením českých písní do kostela, Táboři znárodnili bohoslužbu úplně. Čeština ovládla veřejný život, jak dokazují projevy Žižkovy a husitský chorál, zákony i spisy světské i duchovní. Blokáda, vyhlášená proti Čechám papežem, přiměla národ dovršit staré pokusy a vybudovat si samostatnou literaturu vědeckou. Ohromné množství českých spisů 15. věku vzešlo většinou od husitů, na jejich vypočtení bylo by třeba celé knihy. To vše je podle Dobrovského dílo *reformátora* Husa a jeho následovníků. Co cenil na husitské reformaci obzvláště, vyniká ještě více z jeho výkladu o české kultuře slovesné století dalšího, které vymezuje lety 1520—1620 a charakterisuje jako krásný nebo zlatý věk české řeči. Knihtisk, vykládá, uvádí do oběhu duchovní plody starých i nových, domácích i cizích spisovatelů. Celá masa národa je vábena ke čtení a vybízena k přemýšlení. Nejvzdělanější část myslí a píše svobodně. To vysvětluje Dobrovský hlavně svobodou tisku, kterou si představuje spoutanou pouze v 2. pol. vlády Ferdinanda I. a jejíž osudy pečlivě sleduje podle přední zásady osvícenského dějepisectví, že první povinností kulturního historika je zjistit nejprve stupeň svobody tisku. Svou solidaritu s reformací projevuje Dobrovský tvrzením, že Jednota bratrská, z jejíchž velkých spisovatelů jmenuje Blahoslava, Jiřího Strejce a mistry Kralické, jež všecky zahrnuje chválou, šla o několik kroků dále nežli sám Luther. Tyto výroky dovolují postihnout zásady, z nichž vzešel Dobrovského revoluční čin, jeho prohlášení reformátora Husa za původce nové epochy v dějinách českého národa a jeho

kultury, a údobí husitského a reformačního za údobí největšího rozkvětu národní kultury. Jeho postoj k našim dějinám a jejich hodnocení je určováno novým mravním a kulturním ideálem, který si osvojil přilnutím k náboženskému křídlu německého osvícenství, jak je poznal u jeho vůdčích duchů, kteří zformovali jeho ducha v rozhodných letech duchovního jeho zrání. Byli to Lessing, velký, jak říká, Semler a Kant, reformátor filosofie. Jejich vliv byl u nás rozličně připraven již v starší generaci mocným pronikáním filosofie Newtonovy, Leibnizovy a Chr. Wolffa. Dobrovský nebyl v tomto příklonu k protestantismu zcela osamocen. Byl tu zajedno s několika důvěrnými přáteli, jako byl i přední bojovník tohoto směru u nás Aug. Zitte, spisovatel prvého vědeckého životopisu Husova a vydavatel jeho spisů v něm. překladu a původce památného programu dalekosáhlé reformy církevní, slavné Knihy Josefovy, muž zemřelý žel předčasně, teprve pětatřicetiletý, krátce na to, co ztroskotal pokus akademické mládeže, aby mu bylo svěřeno kazatelství kaple Betlemské. Reformní program Knihy Josefovy, sen o církvi obrozené v duchu reformace, především národní bohoslužbou, ale i zrušením celibátu, toť ideál i Dobrovského, ideál, jehož službě se zasvětil, ještě než se mu podařilo dosáhnout kněžství, a jemuž se zcela oddal, když se vysvěcením domohl profesury na generálním semináři v Olomouci. Z práce v semináři, z přednášek bohoslovcům vzešly i jeho Dějiny s jejich převratným pojetím epochálního významu husitství jako základny pro největší kulturní rozmach našeho národa. Tak bych formuloval dnes thesi, kterou jsem hájil před čtyřiceti lety v obraně Masarykovy filosofie českých dějin proti Pekařovi a od té doby na různých místech, naposledy v Listech filol. 74 (1950) 30—35.

Dějiny Dobrovského měly štěstí, že vyšly ještě za Leopolda II., jehož krátká vláda ukončila slavná tempora Josephi. Již skon velkého císaře zasáhl Dobrovského osobně, zrušením semináře olomouckého, které učinilo konec jeho působení učitele. Byla to bolestná krise, asi největší, jakou prošel jeho život, přelom, který rozděluje tento bohatý život téměř přesně na polovičku a dává mu nyní nové, mnohem drsnější klima. Krise vyvrcholuje duševní poruchou r. 1795, v patrné souvislosti s ranou, kterou sotva kdo jiný pocítil tak krutě, s obnovou dusivé censury. Veřejný život, jak vybuchl v prvém rozhorlení, byl tím opravdu vržen do údobí, kdy nebylo možno psát než servilně. To zasáhlo samy kořeny jeho práce až daleko za hrob a donutilo Dobrovského hledat pro ni nové cesty. Zkusil ovšem ještě po dvaceti letech vydat své Dějiny znovu, ale když musil vyškrtat skoro vše, co činilo knihu tak revoluční, rozhodl se ukončit dílo rokem 1526, aby je nemusil zcela zmrzačit. Našel si však zatím jinou cestu, aby uchránil budoucnosti aspoň něco ze zisků, jichž jeho generace dobyla naší historii. Byl sám žákem zakladatele moderní kritiky historické u nás G. Dobnera a znal z vlastních zkušeností veliké mravní hodnoty práce v tomto oboru. Cítil také povinnost pokračovat v díle velikého učitele. Tak vznikly jeho klasické *Kritische Versuche,* tak významné pro jeho pojetí nejstarších našich dějin. Jejich hlavní these jsem vyložil v právě vyšlém Historickém sborníku a podnikl i jejich obranu.

Diskuse o nich hodí se však asi málo pro toto forum, spíše do tisku. Dovolte mi raději zastavit se nakonec u nevelkého, ale zvláště významného projevu z posledních let Dobrovského, u bolestného dokumentu posledního, nejtrpčího zápasu velikého bojovníka, zápasu proti vlastním pobloudilým žákům.

Mocná vlna protinapoleonských válek přinesla episodicky uvolnění censury a také Dobrovský ho využil; jeho přičiněním vydán a také do němčiny přeložen husitský chorál Kdož jste boží bojovníci. Přinesla také uvolnění dozoru nad mládeží, takže si mohl zařídit školu pro vyučování staroslověnštině, milovanému jazyku nejstarších slovanských literatur. Mezi touto mládeží ožil vášnivý učitel, jímž vždy býval, a našel také žáky, jež si upřímně zamiloval. Ale nejlepší z nich, Hanka a Linda, užili neobyčejných vědomostí, jichž nabyli u Dobrovského, k vyrobení Rukopisů. Královédvorským obloudili samého učitele, avšak druhý jejich výrobek „Libušin soud" prohlédl Dobrovský naráz. Ale krásná ta báseň, okouzlující obraz domněle slovanské kultury, stala se, zvláště když se podařilo opatřit její vydání na Rusi a v Polsku, rychle jakýmsi paladiem národa jako vítaná zbraň proti hanobení německých odpůrců, kteří upírali Čechům jakoukoli schopnost kulturního národa. Dobrovskému připadl trpký úkol odsoudit podvod a uvalit na sebe klatbu většiny národa. Provedl bolestnou operaci ne bez rozhorlení, ale jako mistr velikého umění, jímž ovládal neúprosné discrimen veri et falsi, a nezaváhal obětovat úctu, jíž si dobyl dílem celého života, i oddanost žáků, jež byla tak mocnou potřebou jeho srdce. Jako bychom ho slyšeli, jak si říká s oblíbeným svým básníkem: Iustum ac tenacem... Nikdy snad skvěleji nezazářila velikost ducha i charakteru vznešeného křesťanského humanisty než v této chvíli, kdy se samojediný, jako pravý rytíř ducha, jak ho nazval Masaryk, postavil proti většině národa a rozbil falešnou modlu, kterou začala uctívat. A žádný jeho čin nepůsobí ještě dnes tak mocně jako tento velký případ občanské i vědecké statečnosti. To je snad nejvzácnější odkaz J. Dobrovského, historika i bojovníka, učitele i člověka.

F. M. Bartoš

K Dobrovského koncepci českých dějin

Rudolf Holinka

K obsáhlému referátu prof. Macůrka, který se obírá celou problematikou daného thematu, mohu připojit jen několik poznámek, týkajících se těch otázek, kterými jsem se kdysi poněkud blíže zabýval.

Zdá se mi, že především si nutno ujasnit postup, jak se přiblížit k řešení otázky, která nás zde zvláště zajímá, totiž zkoumat, jaké byly předpoklady Dobrovského koncepce českých dějin. Dobrovský o svém pojetí českých dějin nikde výslovně nemluví. Víme z jeho korespondence, že velmi pozorně sledoval historickou produkci domácí i cizí, vydával prameny k českým dějinám a intensivně promýšlel rozličné historické náměty po celý život. Avšak k historickým problémům, pokud o nich psal, dostával se namnoze jako filolog a leckde jedná o nich tařka in margine svého filologického a literárně historického bádání. Na př. jeho výklady o Velkomoravské říši, o jejím rozsahu, byly celkem podmíněny a ovládány problémem, k němuž byl veden jako jazykozpytec svým zájmem o církevní slovanštinu, totiž jak to bylo se slovanskou bohoslužbou v našich zemích, především v Čechách v X. století. Z téhož zájmu vyplynuly i jeho proslulé *Kritische Versuche* a jiné jeho studie a příspěvky. A tak z vlastní zkušenosti se brzy Dobrovský přesvědčil, že současný stav historických studií u nás není té povahy, aby se badatel jeho rázu mohl na základě jejich výsledků odpovědně a bezpečně vyjádřit o stěžejních otázkách české minulosti, jejichž objasnění bylo teprve předpokladem k pojetí českých dějin. Bylo zde třeba především raziti cestu k správnému poznání, a co Dobrovský v této metodické průpravě vykonal, má základní význam v dějinách české historiografie. V různých svých projevech, hlavně v polemikách s Dobnerem, Dobrovský zdůrazňuje, že neznáme v mnohých historických otázkách skutečnou species facti, kterou možno zjistiti jen dlouhou prací kriticky historickou, pravou historickou metodou, pomocí svědectví a dokladů, náležitě zvážených a vytříbených, nikoliv dohady a deklamacemi. Ukazoval, že při poznávání historických skutečností nutno nemilosrdně vyloučit živly legendární, pozdní tradice, byť velmi populární, a jíti vždy k primárním pramenům. Odmítal apriorní koncepce a tendence sebeúctyhodnější, neboť historikovi jde prostě a v první řadě o holou pravdu, aby se přiblížil co možno nejvíce správnému poznání minulosti.

Bylo by ovšem omylem se domnívat, že na př. Dobner již dlouho před Dobrovským si neujasnil nutnost a platnost takových postulátů. Nicméně

Dobrovský lépe a hlouběji než jeho předchůdci a současníci byl přesvědčen, že chápat a vylíčit dějiny jest vědecký úkol, že dějiny jsou vědou, která má své zákonitosti, a že, co dosud vykonáno, metodicky i materiálně, nedostačuje a jest velmi vzdáleno tomuto základnímu požadavku. Je zřejmé, že Dobrovského přísné odmítání ukvapených a nezralých řešení nedovolovalo ani jemu soudy a hodnocení obecnější povahy o hlavních otázkách české minulosti, jednak proto, jak sám neúnavně ukazoval, že jejich materiální podklad a metodické zpracování nedostačovaly, jednak že Dobrovský neopouštěl a nemínil opustit svou hlavní posici — totiž českou a slovanskou filologii.

Přesto však možno z jeho spisů a z jeho korespondence vyvodit určité poznatky, které nám osvětlují jeho názory na dějinné souvislosti a dějinný proces, a tím do jisté míry se možno odvážit konstrukce jeho pojetí českých dějin. Není pochyby, že takové zkoumání může býti zatím jen neúplné. Bude nejdříve třeba kritických edic jeho prací a hlavně jeho obsáhlé korespondence, z níž ještě mnoho odpočívá v rozličných archivech.

Je nasnadě a bylo to zde právem již zdůrazněno, že klíčem k naší otázce je periodisace dějin jazyka a literatury české, jak ji podává ve svém proslulém a opravdu epochálním spise. Jsou to nejen dějiny jazyka a literatury po stránce filologické a literárně historické, nýbrž také dějiny politické a sociální funkce českého písemnictví a tedy i jeho působení a uplatnění ve vývoji české společnosti. Nutno přímo říci — jeho tvořivého působení, neboť je v něm dynamika životodárných a progresivních sil — není to pouhý učenecký a mrtvý soupis životopisných a knihopisných dat, jaké se dělaly před Dobrovským i v jeho době a v nichž si libovala zvláště poslední fáze rozkládajícího se feudalismu.

V této souvislosti třeba uvážit, že Dobrovský se také horlivě a s porozuměním zabýval přírodními vědami, historií přírodní, jak se tehdy říkalo, zvláště mineralogií, geologií a botanikou. Pozorování přírodních jevů a jejich zákonitostí pomáhalo Dobrovskému chápat složitost i souvislosti života a jeho organické přeměny — je zde již na těch cestách, které vedly v 19. a 20. stol. k velkým objevům ve vědách přírodních a společenských. Zdá se, že Dobrovského pozorování a studium přírodních zákonů působilo plodnými podněty i v jeho přemýšlení o vývoji lidské společnosti a o způsobu, jak zmocniti se vědecky vztahů a zákonitostí v dějinném procesu. Dobrovský jest ovšem v těchto úvahách orientován historicky, ale na rozdíl od více méně statické kulturní historie osvícenské a na rozdíl od historismu, který se rozbujel v období romantickém a zdůrazňováním iracionálních prvků v dějinách byl výrazem leckdy přímo společenské a kulturní reakce — je historickému realismu Dobrovského imanentní genetická a racionální komponenta. Tím si vysvětlíme, že Dobrovský odmítal zásahy metafysiky do procesu poznání a že zavrhoval spekulativní traktování otázek náboženských, ale také že společenské a kulturní jevy nepojímal isolovaně a odtažitě. A jak rozličné projevy Dobrovského svědčí, již nebyl příliš vzdálen názoru, že každý jev spo-

lečenský i každý systém myšlenkový jest vázán na své prostředí, na hmotné a kulturní poměry, které nejsou jen rámcem, nýbrž přímo podmínkou jeho vzniku a rozvoje. Názornou ilustrací toho, co řečeno, jest na př. Dobrovského výklad v jeho dějinách řeči a literatury české o počátcích doby lucemburské. Zde i jinde se Dobrovský přibližuje dialektickému chápání dějin, ví, že minulost jest podmínkou budoucnosti, že v zanikající epoše vzniká již epocha nová a že vývoj a pokrok společnosti jest podmíněn změnami, vytvářenými antagonismem starého a nového, jedním slovem, že jsou zde přirozené zákonitosti, které se v přirozeném procesu dějinném uplatňují. Ovšem jen hlubší studium spisů a pozůstalosti Dobrovského vymezí a zkonkretisuje teoretické a metodické činitele jeho vědecké práce i jeho světového názoru a lze mít za to, že jejich správné poznání a ocenění upraví nám cestu k chápání rozličných otázek, které se přímo víží k Dobrovského pojetí českých dějin. Máme zde ostatně několik opěrných bodů, na něž se ukázalo již v referátech a které nám mohou býti východiskem při takových úvahách a zárukou, že se pohybujeme na jistější půdě.

Dotkneme se zběžně aspoň jedné věci. — Dobrovský věděl, že stojí na prahu nové doby. A věděl také, proč. Je to zřejmé z jeho četných projevů a uvádí se k tomu zvláště ono proslulé místo z r. 1779 „o jasném poledni, v němž záře osvěty zaplašila všechny mrákoty mozku daleko za náš obzor“. Tento a podobné jiné výroky vykládají se obyčejně úzce osvícensky jako uvolnění duchů v osvícenství a podobně — tedy namnoze idealisticky. Ale Dobrovský byl si vědom, že nastává pád feudálních řádů a že začíná nová společenská formace, která se projeví v politice i v kultuře. Dobrovský na př. více, než se tuší, znal dobře sociální skutečnost vládnoucí třídy a neměl ilusí svých vlasteneckých vrstevníků, kteří ve svém buditelském úsilí upínali naděje na šlechtu jako vedoucí vrstvu v národě. Dobrovský zajisté nepodceňoval ani tehdy význam šlechty, vyplývající především z jejího hmotného postavení a stále ještě značného vzdělání i kulturního zájmu i působení — nicméně v Dobrovského korespondenci s jeho šlechtickými příznivci a přáteli vyšlehují záblesky poznání, že systém patrimoniální a vrchnost, t. j. vláda nad poddanými se všemi přežitky feudálními, chýlí se k neodvratnému konci. Rozpoznával a netajil se tím svým známým šlechticům, Bedřichovi Nosticovi a Evženu Černínovi, že nový společenský a politický řád nutně odstraní výsady i staré, tradicí a ideologií feudální posvěcené formy lidských vztahů a že bude razit dráhu emancipace širokých lidových vrstev. A zdá se, že s tímto demokratisačním vývojem spojoval, aspoň v posledních letech svého života, své přesvědčení o velké budoucnosti Slovanů, především Rusů. Věřil také, že tato nová lidovější společnost uplatní vládu rozumu a mravnosti v sociálních vztazích a tím také umožní rozšíření osvěty, hmotného i duchovního pokroku v celém národě. Domnívám se, že tato Dobrovského diagnosa současné doby je důležitá pro jeho pojetí hybných faktorů v našich dějinách. Pomůže nám osvětlit i jinou otázku. Neboť to, co bylo řečeno o předpokladech Dobrovského koncepce českých dějin, o jeho dějezpytném kri-

tickém realismu, o jeho kriteriích pokroku ve vývoji lidstva — to vše nutno míti na zřeteli při zkoumání často nadhazované otázky, jak Dobrovský pojímal dobu husitskou a jaké místo jí vykázal v českých dějinách.

Jeho předchůdci a současníci, hlavně Dobner, Pubička a Voigt, byli stále více méně v zajetí iedologie pozdního feudalismu a byli přesvědčeni aspoň o relativním oprávnění tradiční struktury společenské, třebas u Dobnera nelze nepozorovat aspoň v mladších letech zřetelný rys skepse a oposice. Proto namnoze viděli v husitství především duchovní i společenskou heresi a kulturní úpadek. Podle nich husitství rozvrátilo vymoženosti doby Karla IV., kterou idealisovali a líčili jako nejslavnější období českých dějin i jejich vrchol. Proto historiografie protireformační hlásá návrat k epoše Karlově a rozličným způsobem zatarasuje cestu k správnému poznání a ocenění husitství. Dobrovský nebyl, a jak ukázáno, ani nemohl býti toho mínění. Ne snad jen proto, že byl osvícencem, jak se často říká. Prostě podle jeho chápání dějin má husitství ve vývoji české společnosti místo nutné a legitimní. Je to nejen doba studia hodná, nýbrž i velmi významná. Není pochyby, že oceňoval i dobu předhusitskou a Karlovu, především také proto, že připravovala husitství. Ale Dobrovskému neušlo, že hnutím husitským vytváří se nová sociální a kulturní situace národa a že jest po mnohé stránce pokrokem proti staršímu stavu. Oceňoval jistě i náboženské a mravní úsilí husitské reformy, ale především ho zaujala skutečnost, že husitství vneslo do širokých vrstev lidu osvětu, politický i kulturní zájem, že je probouzí a uvědomuje. Ujasnil si to, když s podivem listoval v bibli táborské mlynářky, když sledoval snažení lidových sektářů a když viděl veliký rozmach písemnictví česky psaného, psaného lidem a pro lid. Při jeho studiích jazyka a literatury nemohlo mu zůstati utajeno, že hnutí husitské uvolňuje a znásobuje tvořící energii lidu, nezbytný to předpoklad pro rozvoj kultury opravdu národní, české. Mám za to, že právě tato skutečnost, jasně rozpoznaná, dovolila Dobrovskému jinak hodnotit husitství než jeho předchůdcům i současníkům, kteří nepronikli k poznání podstatných faktorů dějinného vývoje a zřídla národní osvěty. Není sporu, že Dobrovský takto položil základ k husitským studiím Palackého, jehož ostatně uváděl do techniky i metody historické práce. Ovšem teprve Palacký napsal dějiny husitství a zdůvodnil své pojetí dějin českých — nicméně i zde byl do značné míry jeho předchůdcem Dobrovský.

Rudolf Holinka

Josef Dobrovský a kritika historických pramenů

Václav Vojtíšek

O Josefu Dobrovském už jsem napsal, že se narodil filologem a stal se také historikem. Tato věta — jsem přesvědčen — obstojí, i kdyby se proti ní ozvaly námitky, ukazující, že Dobrovský hned od počátků svých studií exegetických a filologických nastoupil nejen metodu srovnávací, ale i metodu vývojovou, historickou, že dějiny řeči spojil s dějinami písemnictví a obé uváděl v souvislost a vykládal v souvislosti s dějinami národa a jeho vzdělanosti. Je pravda, podivuhodný universální duch Dobrovského měl hluboký smysl historický, ale ten byl povzbuzován a řízen potřebami bádání jazykozpytného. Dobrovského dílo je v podstatě dílo filologické, jím si Dobrovský získal čest otce bohemistiky a slavistiky. Historická práce Dobrovského, třebas úctyhodná a nové cesty razící, má postavení druhotné. Dobrovský se k dějezpytu a dějepisu dostal od filologie, prostřednictvím filologie a pro dobré filologie.

Klíčem pro pochopení toho poměru filologie a historie u Dobrovského je jeho zásadní stanovisko při posuzování národní řeči a každé řeči, k níž obrátil zřetel. Jazyk Dobrovskému byl — možno užít formulace Stalinovy, a také z toho je vidět, jak Dobrovský o hony předběhl svou dobu — „produkt epoch, v jejichž toku se tvoří, obohacuje, rozvíjí a vybrušuje". A Dobrovský, aby pronikl a porozuměl živému jazyku v jeho podstatě a ryzosti, pátral po pramenech všeho jeho vývoje a snášel si je ze všech časů a v širokých okruzích. Prameny mu byly vedle mluvy společnosti, a zvláště lidu jeho doby, podle staletí nejen knihy psané a tištěné všelikého obsahu, hlavně ovšem bible, gramatiky a slovníky, také listiny, nápisy, pak památky a pozůstatky v nejplnějším slova smyslu: mince, starožitnosti, báje, pověsti, písně, pohádky, bajky, přísloví, pořekadla, jména osob, míst, řek a hor, kroj, mravy, zvyky, obyčeje. Ale vše to jsou i prameny historické, vše to jsou prameny k poznání dějin národní společnosti, té společnosti, která byla roditelkou, nositelkou i opatrovatelkou jazyka. A Dobrovský pokládal za nevyhnutelné, aby znal dějiny lidu, z něhož vyšel a jehož jazyk minulý i přítomný zkoumal, uvažuje i o jeho budoucnosti. A tak se také Dobrovský díval na zvětšené své úkoly, když se mu „český obzor stal úzkým", když svá studia rozšířil stejnými způsoby a se stejnými cíli na velikou rodinu národů slovanských.

Poslání historie vyjádřil v dopisu Josefu Dobrovskému Jiří Samuel Bandtke slovy: „Prima lex historiae, ut vera sit." To bylo i stanovisko

Dobrovského, jak je častěji v různých projevech naznačil, jemu dějiny ukládaly povinnost vyzkoumat a povědět, jak se co v minulosti vlastně stalo. Dobrovský už tolik desítiletí před Leopoldem Rankem chtěl se historickým snažením dobrat poznání, „wie es eigentlich gewesen", a to historické snažení nezáleželo mu jen v prázdném sbírání skutečností a jejich volném spojování, nýbrž v jejich pochopování, aby bylo zřejmé, kam se v jednotlivých obdobích časových lidské pokolení obracelo, oč usilovalo, co získávalo a čeho opravdu dosáhlo.

Proto Dobrovskému každý jev, každá událost, každý lidský čin byl vědeckým problémem, a pro jeho řešení hledal prameny, pravé a „poctivé" prameny. Třebas Dobrovskému bylo historickými prameny takřka vše, co se z minulosti uchovávalo, především obracel zřetel k pramenům vypravujícím a dokumentárním. Pro zkoumání pramenů si Dobrovský záhy předepsal pevná pravidla. Aby byly odstraněny záhady, aby bylo jasno v temných často a zmatených představách, aby byly rozmnožovány vědomosti a ve všem byla jistota, měly být slyšány staré prameny jako svědkové. Dobrovský výslovně mluvil o „Zeugenverhör". Ale jako živí svědkové, kteří jsou voláni, aby vydali svědectví pravdě, nemohou a nechtějí pravdu vždy mluvit, tak podle soudu Dobrovského zprávy pramenů lze přijímat jen s opatrností. Vždyť se staré prameny nezachovaly namnoze v originálech, nýbrž v pozdějších opisech, a ještě s úpravami, doplňky a s rozšířeními, nebo ve zpracování, a při tom ti, jejichž rukou původní prameny procházejí, ať z neporozumění nebo z nevědomosti anebo zúmysla je porušují, zatemňují, k horšímu mění i falšují. Ano Dobrovský připouštěl i falšování pramenů a obviňoval z něho doby i lidi. To už Dobrovský měl na péči, když studoval prameny a snažil se je zhodnotit. Proto staré prameny hleděl postihnout v jejich ryzosti a pravdymluvnosti, pokud se zachovaly v mladších opisech a redakcích, hleděl je zbavit všeho zatížení, prameny stejných časů konfrontoval a hledal, co mají shodného a co stojí v protivě. Prameny psané ve vzdálenosti od dob, o kterých mluvily, srovnával se starými prameny těch dob, a kdyby starým pramenům odporovaly, bez milosti je zavrhoval nebo jich aspoň v určitých otázkách nedbal. Jen tím způsobem podle Dobrovského — a tu Dobrovský citoval Schlözera — zlato historické pravdy může být vyneseno z nánosu bájí; jen takovým způsobem mohou být i napraveny chyby vědy a dosavadní literatury.

Dobrovský k pramenům a jejich svědectvím přistupoval s pochybností, se skepsí. Skepsi mu dala jeho přirozenost, ale i jeho vzdělání. V Dobrovském už v mládí byla nashromážděna neobyčejná učenost, a neustále ji rozmnožoval a posiloval. K tomu, co mu dala věda století 17. a 18., četl literaturu, jak ji jeho doba přinášela. A právě proto, že to byla doba, kdy starý svět zápasil s novým, knihy a spisy, jak vycházely, dávaly mu zase a zase podněty a látku k přemýšlení a úvahám. Dobrovský, vyznavač osvícenství a zastánce práva i moci zdravého lidského ruzumu, svobodného rozumu, jenž k nikomu nestojí v postavení služebníka nebo otroka, s důvtipem, rozhledem, pohotovostí a statečností útočil na přežilé názory, překážející pokroku, odhaloval pře-

žitky, bořil předsudky, káral vady a nedostatky, vytýkal omyly a odsuzoval klam i podvody, ať fraus byla pia nebo impia. Nic nepřejímal, jak se mu nabízelo, vše přezkoumával podle přímých pramenů i jiných svědectví. Podle výpovědí dobře zvážených, srovnávaných a prošlých přímým soudem rozumu. A jako Dobrovský v pramenech pátral po nezvratných skutečnostech, tak i ve vědě chtěl důkazy. „Důkazy, spolehlivé důkazy žádám, nikoli možnosti, důvody, nikoli deklamace“ — tak řekl, obraceje se proti Dobnerovi, kterého sám uznával mužem o český dějezpyt zasloužilým.

Dobrovský, podrobuje prameny zkoumání, vycházel z filosofického stanoviska, jak sám k němu dospěl. Podle názorů času, ale vlastním přemýšlením a hloubáním. Ač sám byl ovlivněn Kantem, r. 1783 vyznal Helfertovi: „Jsou věci, o nichž nikdy bychom neměli jiným věřit, nýbrž sami vždy spíše přemýšlet, a až pak své myšlenky srovnávat s tím, k čemu jiní dospěli. Sám přicházím, jestliže čtu příručky metafysiky, na mnohé nové myšlenky, které by mně nikdy nenapadly. Za to jsem také filosofický pedant nebo jemu blízko.“ Dobrovský jistě v tom ohledu měl na mysli nejtěžší problémy lidského bytí, ale je v té větě i východisko pro pochopení vlastností Dobrovského při práci dějezpytné. Dobrovský sám si byl tak vědom, že jeho kriticismus při oceňování pramenů i předkládaných vědeckých výsledků přechází až k nedůtklivosti. Ale na čem Dobrovskému záleželo a za co se bil, stálo za to, aby byl neústupný a aby byl nevědomostí, nepřesností, nespolehlivostí i zbytečným odporem jiných vzrušován a rozhořčován. Co Dobrovský měl na zřeteli, byla pravda, ji Dobrovský povýšil za měřítko všech věcí. Všech věcí ve vědě, jako v životě. Pod zorným úhlem pravdy, t. j. spravedlnosti a práva, Dobrovský posuzoval přítomnost, ale i minulost. Nepřejímal v ničem dogmata, ale zastával volnost přesvědčení, svobodu kritiky a projevu pro lepší a dokonalejší poznání a pokrok světa.

Dobrovský dějiny pojímal jako stálý boj mezi svobodou a násilím. Viděl v ní stálé zápasy, strasti, tyranii a ukrutenství, jež neustávají. V tom smyslu se díval i na dějiny svého národa. Hodnotil starou českou kulturní výši, ctil Husa, vyzdvihoval význam husitství, táborství i Českých bratří, zavrhoval násilí pobělohorské, pronásledování náboženské i útisk národnostní, protireformační podvod při svatořečení Jana Nepomuckého. Ale odsuzoval i nové podvody. Bránil se podvrhu *rukopisu Zelenohorského* — ani v *Královédvorský rukopis* po prvním překvapení nevěřil — odsoudil i podvrh *evangelia sv. Jana,* každá zrada pravdy se mu příčila. V odkrývání nepravostí a nesprávností, v odstraňování chyb i klamů a v zjednávání jistoty byl účel jeho kritiky. Kritika byla kus Dobrovského osoby, byla smysl jeho života. Třeba sám při ní ztrácel. Kopitarovi napsal: „Celý život sotva stačí, aby člověk odstranil všechno nesprávné. Kterak má k tomu dospěti, aby vědu soustavně založil!“ A tak při svém kriticismu sbíral a sbíral prameny, šel do nejmenších podrobností, všechno chtěl mít v rukou, všechno poznat. To byl rys jeho povahy, který nedovedl uvést v řád, třebas si byl vědom jeho škodlivosti. Vždyť sám mluvil proti těm, kteří sbírají a nikdy nejsou hotovi,

ale také přičinil, že s ním samotným tak se děje. Za všech těch okolností vědecká práce historická J. Dobrovského je v podstatě heuristická a kritická. Při ní přes obecný zájem, který mu byl vlastní, Dobrovský, jak už bylo řečeno, především se omezoval na dvojí skupinu historických pramenů: na prameny literární a dokumentární, na listiny. Na listiny Dobrovský kladl větší váhu, měl je za prameny bezprostřední a jisté. Vypravující prameny v jeho očích byly především zatíženy ustrnulou znalostí autorů, autoři nepsali o tom, co viděli, co prožívali, psali s odstupem času, a byli děti určitých dob, řídíce se jejich zájmy, potřebami, záměry. Spoléhali také při psaní na vypravování starců, na jejich paměť, která bývá vratká; a nadto vypravující prameny, jak věky procházely a byly převáděny s generací na generace, podléhaly zkáze předsudky, neporozuměním, zlobou a nenávistí staletí i lidí. Dobrovský nedůvěřoval středověku, měl jej za období barbarské, ale i v nové době, v protireformaci, viděl nespravedlivost a nekřesťanskou tyranii, která i zhyzdila staré dějiny české. Protože sám pochopoval život, ve kterém žil, a viděl do jeho složek a stránek, chtěl postihnout starý život v jeho plnosti. V mládí procházel knihovny a archivy a znovu a znovu je vyhledával doma i v cizině. Kolik cest za hranice podnikl i se slavnou cestou do Švéd a do Ruska, která měla veliký úspěch, na knihy se dotazoval přátel: na všech stranách, obětí nešetřil, aby je získal. Tak sháněl rukopisy, prvotisky, staré i novější tisky. Osvědčoval při tom rozpoznávací bystrost, stačilo mu číst i zlomek, aby určil příslušnost, byl i pohotový, velké jeho vědomosti vždy se osvědčovaly. O Dobrovském možno mluvit jako o kodikologovi dávno dříve, než kodikologie vznikla, a při tom myslil na úplný soupis českých rukopisů; možno o něm mluvit jako o znalci českého umění knihtiskařského a jeho produktů, jenž vycházeje od nich samotných, měl v nich i srovnávací látku pro knihtiskařská díla jiných národů slovanských.

Je zvláštní, že Dobrovský, suverénně ovládající historické prameny, při jejich hodnocení nepostupoval podle povahy a skupin v celistvosti a v plnosti jejich vlastností, mluvy a významu. Bylo to tím, že mu především šlo o ně jako o svědectví pro jednotlivé otázky, ne pro soubor otázek. Zpracování obsažnějších a složitějších themat Dobrovskému se ztrácelo v nedostupnosti. Jsou vlastně jen nevelké knížky, v nichž se podává kus historie české, byť v omezené linii. Je to rozprava *De sacerdotum in Bohemia coelibatu narratio historica* (1787), napsaná pro odsouzení „tvrdých“ zákonů Řehoře VII. se stanoviska přítomné doby, která měla na mysli i reformu v těchto směrech. A je to rozprava *Cyrill und Method der Slaven Apostel* (1823), která, jak poukázal prof. Dr. Josef V a j s, nezpracovává úzký výsek z domácích dějin, nýbrž „zachycuje široké pásmo dějin veškerého Slovanstva; do ní Dobrovský vložil výsledky životního bádání“. Sice tato rozprava je „ein historisch-kritischer Versuch“ jako jiné studie Dobrovského té povahy, ale je v ní mnohem víc než rozbor a zhodnocení pramenů pro jednu otázku. Dobrovský do temné a zmatené historie bratří Cyrila a Metoda chtěl vnést jasno a pořádek, aby byla poznána činnost a význam slovanských apoštolů, počátků

křesťanství v českých zemích, osudů slovanské liturgie na české půdě a kulturního vývoje národního. Ale závěry této rozpravy se objeví v plné ceně, spojí-li se s výtěžky jiných podobných studií, v nichž Dobrovský řešil základní záhady nejstarších dějin českých v rámci dějin slovanských, usiluje o podání spolehlivého vylíčení na podkladě pramenů správně pojatých, zvážených, očištěných a vpravdě vyzkoušených.

Neobyčejná je cena studií, které mají jednotný a sjednocující název *Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen.* Ať se řeší otázka Bořivojova křtu, poměru kněžen Ludmily a Drahomíry, Václava a Boleslava, nebo jde o kritiku legendy prokopské a o život i působení sv. Prokopa. Každá ta nevelká knížka stejně jako studie o Cyrilovi a Metodovi, která jako by je vyvrcholovala, staví se „proti povídkám bez jakéhokoli základu", jak dosud platily výsledkem nekritického dějepisu předchozích dob, a jak Dobrovský proti nim už staršími pracemi bojoval. Dobrovský, hledě k starým, původním pramenům, výše stavěl jejich mlčení, nežli jakákoli vypravování neopřená důkazy, a jen takové možnosti uznával, byly-li utvrzeny spolehlivými důvody. „A posse ad esse non valet argumentum" — tato zásada staré logiky stejně mu byla vodítkem jako věta Ciceronova: „Defendat, quod quisque sentit: sunt enim iudicia libera". Jeho studie tím mají polemický ráz, a Dobrovský i věděl, že jimi vyvolá polemiku. Ale sebevědomě spoléhal na správnost svého postupu, nikterak se neobávaje, že by se kdo odvážil popírati jeho vývody osvědčenými svědectvími. Otázky, které bylo působení sv. Cyrila a Metoděje v říši Velkomoravské a zasáhlo-li do Čech, jaký byl stav slovanské liturgie a slovanského písemnictví v Moravě a projevily-li se jejich účinky i v Čechách, byl-li klášter sázavský uměle zasazený trs či byl poslední stupeň předchozího vývoje, a jak slovanská liturgie a písemnictví vešly do života jiných Slovanů, jsou problémy příliš složité a závažné, než aby se bylo možno o nich tu šířit. Ale právě v těchto věcech historie a filosofie při úvahách i řešeních se obzvláště stýkají, a Dobrovský metodu obojího směru dovedně spojoval i navzájem prohluboval. V podstatě šlo o oceňování a zkoumání legend, a k tomu Dobrovský přistupoval se stanoviska své doby. Legendy pokládal namnoze za produkt smyšlenek, ba nedobrých úmyslů, jak se zejména při zkoumání legendy Kristiánovy projevilo. Dobrovský navazoval na Dobnera a vzdával mu čest otce kritického dějezpytu v Čechách, uznávaje především správnost jeho zásady: „Contemnitur, quidquid a recentiore sine vetustioris auctoritate profertur". Hlásil se však i k jiné větě Dobnerově, chtěje ji naplniti. Pokládal se za jednoho z těch, o nichž Dobner předpověděl, že po něm samotném přijdou kritikové a budou mnohem přísnější a že to, co sám zůstavil nedotčené, budou pronikavěji studovat a kritikou třebas i zavrhnou. A právě přísností své kritiky Dobrovský se dostával i na scestí a dospíval až k hyperkritice. V tom právě hrálo úlohu, že byl dítě své doby, která si legend v potřebné míře ne vždy vážila. Ale možno se divit Dobrovskému, když se ani dodnes historická věda nepo-

vznesla od předsudku, že středověké legendy jsou i výsledkem podvodů a falšování!

Přestože se Dobrovský i mýlil, také proto, že neznal prameny, které až pozdější léta objevila — jsou však mezi nimi these, které se dnes uznávají za správné — „kritické pokusy" jsou mistrovské kusy historické kritiky. V nich Dobrovský postupoval nejjednotněji a nejcílevědoměji. A jsa si vědom těžkostí pokroku historické kritiky v Čechách, nejsou-li zhodnoceny starší památky české, nastoupil cestu nápravy, připojuje k studiím i edice a rozbory pramenů. A všechny způsoby tak vyzkoušené a se zdarem se potkávající byly i výrazem Dobrovského postoje a způsobů při používání jiných pramenů vypravujících i listin. Dobrovský šel k samým jejich kořenům, snažil se je poznat a objasnit v pravé podstatě. V tom ohledu je pověstná rozprava *Wie soll Nestors Chronik aus so mancherlei Recensionen des Textes rein hergestellt werden?* (Berlin 1812), a ta také přispěla k rozšíření jména Dobrovského ve vědeckém světě, které zejména bylo utvrzeno Goethovým slovem o „Altmeister der historischen Kritik" a Pertzovou výzvou, aby se Dobrovský ujal vydání Jordanisova spisu o dějinách Gótů pro *Monumenta Germaniae historica.*

Nebyl-li Dobrovský neomylný ve všem, co podnikal, možno říci, že nechtěl ani být neomylným. Věty, které předkládal, předkládal ad discutiendum. Korespondence s jeho přáteli, v níž určoval svým všestranným zájmem směr i obsah, přináší bohaté vědecké rozpravy, a Dobrovský rád poučuje o tom, co ví, i dává se poučovat, a je za každou zprávu i opravu vděčen. A aby se vědečtí pracovníci mohli scházet při společné práci a mohli tím spíše prameny zkoumat i vzájemně se kontrolovat, Dobrovský vydával historické prameny. Kromě toho, co vydával příležitostně v souvislosti se svými vědeckými potřebami, přistoupil s F. M. Pelclem k vydávání *Scriptores rerum Bohemicarum* a měl hlavní díl napsáním předmluv a poznámek v obou svazcích (1783, 1784), zvlášť si zjednávaje zásluhu zhodnocením kroniky Kosmovy. S Pelclem Dobrovský také působil v Král. české společnosti nauk, aby byla připravena edice českého diplomatáře, edice listin vztahujících se na české dějiny do r. 1306. V tom směru Pelcl i Dobrovský mnoho vykonali sami i pomocí přátel a Dobrovský se vracel k úkolu, když už Pelcl zemřel. Ze zachovaného materiálu je vidět, jak značný byl při práci rozdíl mezi Pelclem a Dobrovským, který spíše listiny správně ovládal, a jak možno litovat, že se dílo neuskutečnilo, a že se ani tehdy neuskutečnilo v náhradu za diplomatář, když nebylo peněžitých prostředků, vydání *Regesta diplomatica nec non epistolaria regni Bohemiae.* Byly by podány přičiněním Dobrovského výsledky práce dokonalejší, než znala tehdejší doba. I když Dobrovský teprv hledal pravý poměr k listinám. Dobrovský listiny přijímal a posuzoval jen se stanoviska historického. Připouštěl sic při nich i otázku pravosti a nepravosti, ale především mu záleželo na využití listin pro historické poznání. Tak psal r. 1785 stať *Wie man die alten Urkunden*

in Rücksicht auf verschiedene Zweige der vaterländischen Geschichte benützen soll, zkoumaje po všech stránkách obsahu listinu břevnovského kláštera danou domněle Boleslavem II. r. 993, kterou měl za nejstarší listinu českou. Pokládal ji za pravou a teprv dodatečně zjišťoval v Lit. Mag. II., že jde o falsum, které je psáno touž rukou jako konfirmace téže listiny daná Přemyslem II. r. 1255. Znovu totiž spolehl na mínění Dobnerovo a přestal na tom, aby ukázal, jak listina je k užitku nejen pro nějaký hlavní fakt, nýbrž jak její obsah — a obsah každé listiny — je bohatý zdroj pro poznání osob, zeměpisu a místopisu, zákonů země, stavů v jejím obyvatelstvu, t. j. šlechty a poddaných, komorních platů, justice, zemědělství a hospodářství, umění a řemesel, mince, měr a váh, paleografie a jazykovědy. Při tom Dobrovský stál na stanovisku, že platnost náleží jen tomu, co v listině opravdu stojí, a nepřipouštěl, aby se nějaký smysl do listiny jen položil, a listina se pak vykládala, jako by ten smysl v listině už původně byl. A spolu přikazoval, že není-li naléhavého důvodu, v listinách se nesmí ve znění nic měnit, že listiny musí zůstat nedotknutelné, svaté, aby historie nepozbývala spolehlivosti.

Je podivné, že Dobrovský ani při té rozpravě ani jinak nepoložil odstavce, který by byl věnován úvahám diplomatickým ve smyslu vědy diplomatické, Mabillonem založené, a že odstavec paleografický byly pouhé poznámky o způsobech pravopisných, o způsobech, jak se slova v těch starých dobách psala. Dobrovský nedospěl k metodě paleograficko-diplomatické, ač znal přece Mabillona, Montfaucona, Maffeiho, Nouveau traité — z německého překladu a vyslovil se o něm s uznáním — znal i jiná díla francouzská, italská, německá. Tak se nestal zakladatelem české diplomatiky, ač listiny jako historický pramen vyzdvihoval, srovnával je, jejich vlastností si všímal. Jen některé poznámky podal v dopisech nebo v Lit. Magazin, tak o listině litoměřické z r. 1057, rajhradské domněle z r. 1045, plaské domněle z r. 1146 a j. V takových poznámkách Dobrovský ukazoval značný rozhled a vědomosti — měl je nejen pro potřeby české, ale i obecné — nikdy jich však nevyužil k platnějším a ucelenějším závěrům. Stejně se Dobrovský nestal zakladatelem české nebo slovanské paleografie, ač chápal újmu, že jich nebylo, a ač o nich také mnoho uvažoval. Co jen věnoval práce, aby postihl pravý smysl slova psáti, písmo, kniha, aby vysvětlil názvy pracího náčiní a psacích prostředků, aby také jména psacích látek objasnil! A co ho stálo přemýšlení o postavení písma cyrilského a hlaholského — ono písmo měl za starší — o vzniku azbuky a jejím vývoji. Ač se Dobrovský i numismatikou obíral, rovněž mu nelze přičíst zásluhu rozvinovatele české numismatiky, a v chronologii přestal na otázkách jmen měsíců i dnů týdenních v slovanských jazycích a ve vysvětlování některých dnů svátečních. Vůbec Dobrovský si nebyl vědom velikého významu pomocných věd historických, ač znal i Gatterera, který je spojil s historickým bádáním v těsnou souvislost, a ač uznal oprávněnost synchronis-

tické metody historické, kterou Gatterer zavedl. Ale psal-li co Dobrovský o pramenech těch oborů, i v tom potvrzoval své mistrovství v historické kritice, která tak byla stavěna před nové povinnosti.

Přehlíží-li se dílo Dobrovského na historickém poli, shledá se vlastně jen nevelká řada rozprav a studií. Dílo otce moderní kritiky historické Gelasia Dobnera je mnohem větší a rozsáhlejší i má cenu základní — také pro Dobrovského, který od něho vycházel. Také Pelcl nad Dobrovským vynikl odvahou k monografiím velkého rozsahu i k povšechným dějinám českým nebo k studiím, které průkopnicky zasahaly v směry dosud nedotčené. Ale ani tomu, co Dobrovský vykonal, nelze odepřít význam ražení nových cest a nelze neuznat dalekosáhlost jeho zásluh. Pokrok v jeho vědecké metodě historické tkví v tom, že uvedl český dějepis v souvislost s obecným dějepisem, především s dějepisem slovanským, a že národní dějiny české postihoval v celosti pod zorným úhlem pokrokových názorů práva a spravedlnosti. Právě přítomnost, ve které žil a v níž se především k lidu obracel, učila ho chápání minulosti, jako mu minulost dávala schopnost a možnost vidět tíži přítomnosti. A podléhaje té tíži, bál se o svůj národ, ale zase doufal. Proto pro něj pracoval a jeho dílo mělo sílu životadárnou.

Dobrovský pracoval pro národ, protože věřil v podivuhodnou moc pravdy. I historické pravdy. A Dobrovskému i historická pravda byla mravní pravda. O Dobnerovi bylo řečeno, že v historii „mentiendi finem fecit“, o Dobrovském se může povědět, že si dal a vyhlásil povinnost „veritatem dicendi“. Pravda byla kus Dobrovského osoby i života. V tom byl účinek jeho filosofického a mravního vzdělání. Ale v tom bylo jeho češství. Dobrovský jako Hus, kterého ctil, mluvil pravdu, hájil pravdy, miloval pravdu. Sám ve chvíli vzrušení vyjevil, že netouží po jiné slávě, než aby mohl šířit takové pravdy, které by měli vliv pro blaho lidstva. Byť byl pro to pronásledován. Však byl také reakčními živly zatlačován, a jeho nemoci chtěla užít státní správa k jeho odstranění. Záznam v Heldových pamětech je toho zřetelným důkazem. Právě Dobrovského láska k pravdě dává smysl i jeho historické kritice a zaručuje její vědeckou a mravní výši. A co tak Dobrovský v naší historii představuje, je příkazem i nejkrásnějším odkazem generacím po generacích.

Václav Vojtíšek

Josef Dobrovský a kritika historických pramenů

Josef Macůrek

Z dosavadní úvahy o stanovisku J. Dobrovského k českému historickému vývoji i o jeho kritice českých historických pramenů vysvítá jasně toto: 1. Dobrovský kladl velký důraz na to, aby pomohl objeviti, jak říkal, „poctivé prameny a poctivá svědectví"; 2. snažil se, aby „postihl prameny v jejich pravé podstatě"; 3. k pramenům přistupoval nejen se vší zvídavostí, ale také se skepsí i nedůvěrou; 4. jeho kritický duch věřil jen tomu, co bylo opřeno o věrohodné prameny a co bylo měřeno věrohodnými prameny; 5. na této cestě šel iniciativně sám vpřed; ale bral podněty také od jiných vědeckých pracovníků: ovšem nikdy bez vlastní kritiky, snaže se jíti všude svou vlastní, osobitou cestou; 6. v tom smyslu se zabýval prameny českých dějin a prameny k dějinám českého kulturního a literárního života především: staročeskými legendami, nejstaršími českými listinami, staročeskými letopisy; 7. v kritice těchto českých pramenů dosáhl značných úspěchů, i když v některých věcech byl, jak ukazuje novější bádání, na omylu.

O všech těchto otázkách se vyslovili odborníci českých dějin již velmi často.

K tomu je nutné dodat, pokud jde o otázku Dobrovského kritiky historických pramenů, že v analogickém duchu i s analogickými výsledky se Dobrovský zabýval nejen nejstaršími prameny k dějinám českým, ale také prameny k dějinám jiných slovanských národů, ruských zejména. Činil tak v duchu své představy, že dějiny slovanských jazyků i slovanských literatur lze poznati jen v pozadí celého ostatního života i jako produkt řady dějinných epoch a společenského vývoje.

Věnoval pozornost „Ruské Pravdě", „Písni o polku Igorově", ruským letopisům čili t. zv. Nestorovi.

Zájem J. Dobrovského o t. zv. Nestora vzrostl v souvislosti s edicí A. Schlözera *Russische Annalen,* kolem níž se rozvířila na poč. 19. stol. ve vědeckém životě živá diskuse. Diskuse té se účastnil také J. Dobrovský, a to na dvou místech: a) jednak poznámkami, které Schlözer připojil k 5. části své edice, vydané v Göttinkách r. 1809, na str. 212/5 (Berichtigungen und Zusätze, die 4 ersten Teile meines Nestors betreffend, freundschaftlich engesandt von Herrn Abbé Dobrovskij in Prag, unstreitig eines der gelehrtesten Kenner der ganzen slavonischen Literatur), b) jednak v rozsáhlé (43 stránkové) předmluvě a v poznámkách k nové edici

Nestorova letopisu, kterou vydal v předvečer Napoleonova vpádu na Rus pražský žák J. Dobrovského J. Müller s názvem *Altrussische Geschichte nach Nestor. Mit Rücksicht auf Schlözers Russische Annalen, die hier berichtigt und vermehrt werden,* Berlín 1812.

Tu i tam bylo cílem J. Dobrovského, aby pomohl k očistě a poznání svrchovaně cenného staroruského letopisu, cenného nejen pro poznání staroruských dějin, ale i jiných slovanských i ostatních evropských národů. Chtěl přispět ke stanovení filiace jednotlivých staroruských redakcí, k rekonstrukci původního textu a k jeho dokonalému vydání v původním znění.

K jakým závěrům Dobrovský dospěl při této kritice staroruského letopisu?

Dobrovský ukázal především mistrným způsobem, jak je možno tříditi zachovalé letopisné redakce a jak lze hodnotiti tento letopis vůbec. V úvodě k Müllerově edici položil si otázku: „Wie soll Nestors Chronik aus so mancherlei Recensionen des Textes, die in Handschriften zu finden sind, rein hergestellt werden?". Svou úvahu o tom rozdělil na 8 částí, které nazval takto: 1. Schlözers Bemühungen und Vorschläge, 2. Verschiedenheit der Recensionen. Die neuesten zwei flossen aus einer älteren, 3. Ältere Recension, ihr Wert und ihre Beschaffenheit, 4. Jüngere Recension: die Ukrainische, 5. Die Weissrussische: Ihre Unbrauchbarkeit, 6. Welche Handschriften sollen verglichen werden? Ist Nestors Text unverändert zu uns gekommen? 7. Die Proben eines gereinigten Textes samt der Beurteilung der Varianten aus mehrern Recensionen. 8. Wunsch und Rath des Verfassers.

V těchto otázkách Dobrovský dospěl k těmto závěrům: a) Označil Schlözerovu edici za výbornou; ale v některých věcech se s ní rozešel a jindy ji doplnil a opravil. Novým způsobem vysvětlil název pontských Rusů (Dromitů). b) Nesouhlasil se Schlözerem v tom, že slovanský text letopisu hleděl rekonstruovati z novodobých a špatných rukopisů. Nesouhlasil se Schlözerem ani v názoru na povahu a cenu některých letopisných variantů. d) Vyslovil požadavek, aby byl rekonstruován „čistý" Nestor (autorem letopisu byl v pojetí Dobrovského Nestor, naproti tomu mnich Silvestr rukopis jen přepisoval, tu a tam leccos změnil). e) Příští vydání letopisu Dobrovský označil za úkol ruské Akademie věd. Přál si, aby úkol ediční nebyl svěřován žádnému cizinci (t. j. Neslovanu), a nabízel se sám uspořádati nejstarší rukopisy a varianty nejstaršího ruského letopisce v době 6 týdnů (slovy: „Aber ohne gelehrte Sprachkenntnis hat auch kein Russe und kein Ausländer den wahren Beruf zu dieser Arbeit. Ich zwar kein Russe, aber doch ein Slave, der die ältesten biblischen Handschriften vor 20 Jahren in Russland sah und prüfte . . . erbiethe mich . . . die alten Chroniken in 6 Wochen nach ihrem Alter zu ordnen").

Příznačné jsou názory J. Dobrovského, které v této souvislosti vyslovil o některých problémech staroruského života:

a) *Dobrovský se zmínil na několika místech o původu jména Rus od potoka či řeky Rusa:* „den Namen Russen von dem Bache Russa erhalten"

(str. 8 v Müllerově edici). „Dieser Interpolator... liess die Worte: von diesen Waräger Ankömmlingen hat Russland den Namen bekommen, stehen, ungeachtet er diesen Namen eher von dem Bache Russa abgeleitet hatte“ (tamtéž 9), „Ein fremdes Volk Rhos... feste Anwohner eines Flusses“ (tamtéž 187).

b) *Zdůraznil slovanské kořeny staroruského života* (tamtéž 25—26): „Die Recension AB liest hier ganz widersinning: die ersten Ansiedler (Erbeigenthümer) in Kiev sind Waräger. Nach »v Kieve« müßten ja Poliane stehen; denn diese waren nach frühern Angaben die ersten Bewohner von Kiev. Nik. läßt lieber die ganze Stelle aus. Die Erbauung der Stadt Novgorod durch die an dem Ilmensee angekommenen Slawen erzählt sie gerade so, wie die Recension AB. Doch fehlt in ihr die Einsetzung des Gostomisls. Und warum? Weil sie den Rurik, zum Erbauer von Novgorod macht. Nun so hätte ja nicht nur der Gostomisl, sondern selbst die Erbauung Novgorods durch die Slawen wegbleiben sollen. Eben so inconsequent ist es, wenn Radz. die drei Brüder Ladoga bauen läßt und diese Stadt, nicht Novgorod, dem Rurik zum Sitze anweiset und gleich darauf sagt, von diesen Warägern heisse Russland Novgorod. Hyp. war hier consequenter und läßt Novgorod und die folgende Zeile von den Novgorodern, daß sie von Warägischer Abkunft seyen, aus, indem auch er den Rurik erst nach dem Tode seiner Brüder an den Ilmensee führt und am Wolchow eine Stadt bauen läßt, die er Novgorod nannte.“

c) *Prohlásil staré smlouvy rusko-byzantské z 10. stol. za smýšlené:* „Die äußerts verdächtigen Urkunden über die Tractate Olegs und Igors... Vielleicht sind schon damals, noch vor der Einnahme von Konstantinopel durch die Lateiner die verdächtigen Urkunden aus Patriotismus erdichtet und in die alte Chronik eingeschoben worden. Dass sie schon Nestor... aufgenommen habe, ist gar nicht wahrscheinlich. Denn sie passen nicht sowohl in den Context und lassen sich, ohne den Zusammenhang zu stören, gar füglich herausheben“ (tamtéž 12) ... „Manches aus Patriotismus Erdichtete, wie die Tractate Olegs und Igors“ (35 tamtéž).

d) *Usoudil, že ruský letopis čerpal své zprávy o Moravě z latinských pramenů* (z legend latinských o Cyrilovi a Metodějovi): „Ich kann noch die lateinischen Legenden von Kyrill und Method als Quellen nachweisen, aus welchen diese Erzählung größtenteils geschöpft, aber auch entstellt worden ist. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß sie noch in keiner Handschrift vor der Hälfte des 14ten Jhts anzutreffen war“ (tamtéž 13). „Die Gesandschaft an den Zar Michael nahm der Russe aus dem ältern lateinischen Biografen der heiligen Kyrill und Method“ (194, pozn. 36).

e) *Odmítl zprávu staroruského letopisce, že by na Moravě byly Cyrilem a Metodějem sepsány slovanské knihy:* „... heißt es: in Mähren wurden zuerst die Bücher niedergelegt. Dies verstand er unrecht und setzte dafür: preložena kniga, wurde das Buch übersetzt“ (tamtéž 21), „Allerdings brachten Kyrill und Method slawische Kirchenbücher nach Mähren mit. Allein

wo und wenn Kyrill die slawischen Buchstaben erfunden und das erste Buch übersetzt hat, ist noch immer nicht ganz ausgemacht. Schon in Konstantinopel mochte er den ersten Versuch gemacht haben" (tamtéž 193, pozn. 35), „Konstantin vor seiner Ankunft im Slawenlande, wohin er die slawischen Evangelien schon mitbrachte, mit der Anfertigung des Alphabets und der Übersetzung einiger Bücher schon in Konstantinopel beschäftigt war (tamtéž 197), „Kyrill schon in Konstantinopel das Alphabet eingerichtet und mit dem Übersetzer den Anfang gemacht habe" (tamtéž 205).

f) *Prohlásil, že Metoděj se odebral z Moravy už okolo r. 882 do Říma a že tam záhy zemřel* (tamtéž 199). — Metoděje zval sice arcibiskupem pannonským a moravským (tamtéž 199, 201), ale soudil, že neměl pevného sídla. Ve smyslu velké práce pětikostelského církevního historika Salagia (vydané v 70. letech 18. stol.) popíral stejně možnost, že by Metoděj působil na půdě starodávného sřemského biskupství, jako i dohad, že by jeho sídlo bylo na Moravě: „Dass aber Method auf dem ehemaligen Stuhle des Andronik gesessen habe, ist gar nicht wahrscheinlich. Denn dies Bisthum in Sirmien war längst eingegangen, worüber Salaegius De statu eccl. Pan. nachzulesen ist. Method war Erzbishof in den benannten Ländern ohne einen bestimmten Sitz zu haben. Spätere verstezen ihn eben unkritisch nach Welehrad in Mähren" (tamtéž 201).

g) *Pokud jde o podobu a rozsah Velkomoravské říše, o tom se Dobrovský vyslovil (u příležitosti studia ruských letopisů) už v poznámkách, připojených k 5. dílu Schlözerových Annalen z r. 1809, vyslovuje se tu analogicky jako při jiných příležitostech: zamítal, že by Velká Morava sahala na jih středního Dunaje (do Pannonie) a popíral, že by tam byl vládl Rostislav či Svatopluk,* slovy: „Pannonien ist dem Sviatopluk nie abgetreten worden. Er herrschte nur am nördlichen Ufer, nie am südlichen. Rostislav nam nicht den Landstrich jenseits (südlich) der Donau, sondern diesseits (nördlich). Mähren ging nicht über die Donau."

V některých věcech se Dobrovský při své kritice nejstarších ruských letopisů zřejmě mýlil: lze to říci, pokud jde o jeho názor na smlouvy rusko-byzantské v 10. stol., o mínění, že nejstarší ruský letopisec čerpal své zpráv o Cyrilovi a Metodějovi z latinských legend; lze to říci i pokud jde o představu, že na Moravě n e b y l y přeloženy a sepsány slovanské knihy a posléze i o dohad, že Velká Morava nesahala jižně středního Dunaje (do Pannonie).

Ale jinak třeba uznat, že Dobrovský svou kritikou ruských letopisných pramenů přispěl velmi záslužně jak k poznání tohoto letopisu, jeho nejstaršího slovanského textu, jednotlivých filiací, tak i k novým poznatkům, pokud jde o vznik jazyka nejstarších letopisů, o počátky Rusi, o původ názvu Rus. Předstihl i tu svou dobu a podal interpretaci staroruského pramene takřka v novodobém slova smyslu.

Josef Macůrek

Dobrovský a slovanský dávnověk

Jan Eisner

Význam Josefa Dobrovského je z příležitosti dvoustého výročí jeho narozenin oceňován v odborných publikacích i v denním tisku a při tom se ukazuje nejen na vědeckou, ale i na národní hodnotu jeho díla i jako celku i jednotlivých jeho částí. Má totiž Dobrovský své místo v dějinách několika vědních oborů, mimo jiné též ve studiu slovanského dávnověku.

Lubor Niederle jej považoval za svého prvního předchůdce a napsal o něm, že byl vynikajícím filologem, který se nevyhýbal ani otázkám historickým a mythologickým, a že byl prvním badatelem, který se obíral slovanskými starožitnostmi s hlediska vědeckého a kriticky je řešil.[1]) Dílo Dobrovského podrobně probrali při spisování svých *Slovanských starožitností* i Pavel Josef Šafařík i Niederle a náležitě ho využili a ocenili. Proto jsem pro svůj referát vybral jen dvě otázky, které Dobrovský řešil, abych se podle nich pokusil ukázati na povahu jeho práce a na její význam v dějinách tohoto úseku naší historické vědy.

Jde předně o jeho názor na slovanskou pravlast, a tedy o problém, který je nyní pilně vzděláván slovanskými vědci a je vůbec přední úlohou slovanských starožitností. Dobrovský napsal o původních slovanských sídlech jen dvě krátké stati,[2]) ale k otázce, kde se Slované rodili a odkud a jak se šířili do svých historických vlastí, se znova a znova vracel ve své korespondenci i ve svých spisech, třeba jen vždy stručně, někdy jednou větou, někdy několika řádky. Soustavně se obíral otázkou pohřebního obřadu slovanského ve dvou statích, v jejichž rozboru můžeme nalézti druhý pramen k poznání i povahy jeho práce i jeho významu pro náš vědní úsek, pro slovanskou archeologii.

Dnes podle vzoru sovětské vědy mluvíme raději o slovanské etnogenesi než o slovanské pravlasti, protože se snažíme poznati nejen místo, kde se Slovanstvo rodilo, ale celý proces jeho vzniku, růstu a expanse. Opíráme se při tom především o rozbor dějepisných zpráv, potom o archeologické výzkumy a konečně o výsledky, k nimž dochází jazykozpyt. K těmto třem hlav-

---

[1]) L. Niederle, *Manuel de l'antiquité slave,* I, Paris 1923 (předmluva).

[2]) J. Dobrowsky, *Über die ältesten Sitze der Slawen in Europa* (Monse, Landesgeschichte Mährens II, str. IX—LII, Olmütz 1788; týž, *Über das erste Datum der slaw. Geographie und Geschichte,* Neuere Abh. d. böhm. Ges. d. Wiss. 1790, I, 363 a d.

ním naukám se pojí ještě obory jiné, na př. etnografie a antropologie, které rovněž přispívají k řešení tohoto velkého problému.

Dobrovský se mohl opírat jen o dějepis a jazykozpyt. V opatrném hledání opor pro poznání slovanských počátků předčil svoji dobu, kdy Slované byli ztotožňováni s různými národy z dějepisu známými, jednou se Skythy a Sarmaty, po druhé s Dáky a Pannonci nebo vůbec s Illyry a Thráky. Podle Dobrovského Slované byli vždy Slované a jejich nejbližší příbuzní byli Litevci. Příbuznost slovanštiny s baltštinou měla u něho při hledání slovanských počátků rozhodné slovo. Jiný bezpečný pramen viděl ve starém slovanském názvosloví místním, speciálně ve jménu řeky *Visly*. Její jméno nalezl už u Pomponia Mely a považoval je zprvu za nejstarší slovanské slovo z dějepisných pramenů známé. Předním pramenem byly Dobrovskému dějepisné zprávy. Postup, jak si při jejich výkladu vedl, nám pěkně osvětluje povahu jeho vědeckého myšlení. Základem jeho výkladu jsou bezpečné zprávy z doby, kdy Slovanstvo vstupuje trvale na jeviště dějin. Údaje, které nám tehdy o Slovanech podali Jordanis a Prokopios, byly Dobrovskému pevným bodem pro výklad o slovanských počátcích i tehdy, když později svůj názor o jejich původních sídlech velmi změnil.

V 6. stol., píše Dobrovský, zabírají Slované ve velkém množství severní břehy Dunaje. Odtud vnikají do římských provincií, odtud prý jejich část táhne k Dněpru a buduje Kyjev a potom i Novgorod. Slovanské země na Dunaji v 6. století jsou však nová sídla, v nichž Slované žijí vedle Avarů a Hunů. Předtím seděli dále k severu, k Dunaji se posunuli od pramenů Dněstru a Prutu. Tam je v postupu drželi Góti, tam jim vládl zprvu Hermanarich a potom Huni, a teprve po Attilově smrti r. 453 se mohli šířiti po Dněstru a Prutu k Pontu a k Dunaji. Dobrovský probírá podrobně zprávu Jordanisovu, podle níž „per immensa spatia Venetharum natio populosa consedit“ od Visly až k městu Novietunu v dunajské deltě a k jezeru Mursijskému, a usuzuje z ní, že se tehdy slovanská sídla prostírala po širých krajích za Karpaty. V té věci se s opatrným výkladem Dobrovského shoduje nově prof. Bohuslav Horák při své analyse Jordanisovy zprávy.[3]) Od pramenů Visly, kde zná Slovany Jordanis, jde Dobrovský k jejímu ústí, kde v 1. stol. našeho letopočtu zná slovanské Venedy Plinius. Pobřeží Baltu nedaleko od ústí Visly je jejich nejstarší vlastí. Tam seděli od nepaměti v sousedství Germánů, Lotyšů, Prusů a Litevců. Z jazykových důvodů musíme prý soudit, že Slované sídlí v Evropě tak dlouho jako Latini, Řekové a Němci. Není prý možno si myslit, že přišli až po době Kristově. A tak je Dobrovský sleduje od Baltu k pramenům Visly a k Dněstru a odtud potom k Dunaji a Pontu. S Avary se dostali do Pannonie a potom do Korutan, v nichž hledá říši Samovu.

Dobrovský mnoho přemýšlel o původních sídlech Slovanů a svou představu o nich zcela změnil, nikde však nepíše, proč Šafařík myslil, že jej

---

[3]) B. Horák, Le territoire slave d'après Jordanès. Spisy odboru Čs. společnosti zeměpisné v Brně 1933, řada C 2.

k tomu vedla jednak okolnost, že jméno *Venedi* je neslovanské, jednak Tacitova úvaha o národnosti Venedů. Tacitus totiž, jak je známo, uvažuje ve své *Germanii* (kap. 46), má-li je přičíst k Sarmatům nebo ke Germánům, a rozhoduje se pro jejich germánskou příslušnost, protože stavějí domy, nosí štíty a těší se z hbitosti svých nohou a tak se odlišují od Sarmatů, žijících na koni a na voze. Byly však asi ještě jiné příčiny, proč Dobrovský změnil svou původní představu. Snad i to, že opustil svůj starší výklad, že jméno Visly je slovanské. Ale hlavním podnětem ke změně jeho názoru na původní slovanská sídla a na jejich postup do historických vlastí je snad v jeho přesvědčení, že původní jméno všeho Slovanstva bylo *Srbové*. Přivedl jej k tomu Prokopios, podle něhož se Slované zprvu nazývali *Sporové*, v čemž Dobrovský viděl pokažené jméno Srbů.[4]) Protože pak Plinius (VI, 7, 19) uvádí mezi kmeny u Donu lid zvaný *Serbi* a Ptolemaios (V, 9, 21) zapsal v Povolží kmen *Serboi*, viděl Dobrovský v oněch dalekých končinách původní sídla Slovanů.[5]) V listě Kopitarovi z r. 1810 píše, že musíme jít k Volze, ke Kaspickému moři a do Asie, abychom tam našli původní slovanskou vlast, a téhož roku v jiném listě Kopitarovi uvádí, že Slované žili na Dněpru a za Dněprem.[6]) Tam si patrně představoval jednu etapu jejich postupu z Povolží. R. 1818 uvažuje,[7]) zda přišli teprve s Huny nebo brzy po nich do Evropy z Asie — Asií myslí zřejmě kraj Pliniových a Ptolemaiových Serbů — nebo zda žili jako sousedé Gótů za Litevci nad horním Dněprem a nad horní Volhou. Druhý výklad se mu zdá být pravděpodobný, neboť jsou v slovanštině gótská slova a z Jordanise víme, že Slovanům vládl Hermanarich. Teprve po odchodu Gótů se prý rozšířili k ústí Dunaje a k Dněstru a odtud k pramenům Visly, kde je zná Jordanis. Ten je nazývá *Venety*, neboť v jeho době sídlili tam, kde kdysi v době Tacitově žili germánští Venedi. Tak na Slovany přešlo jméno kraje, kdysi od Venedů obývaného.

Změnou, která se jeví v názorech Dobrovského na slovanské počátky, se podrobně obíral Šafařík v oné skvělé části svého spisu,[8]) kde dokazuje slovanství Pliniových, Tacitových a Ptolemaiových Venedů. Souhlasíme s ním, že prvý výklad Dobrovského byl lepší než druhý, ale souhlasíme i s Niederlem,[9]) že Šafařík v úvaze o té věci posuzuje Dobrovského přísně. Nesmíme zapomínat, že Dobrovský žil v době, kdy Slované, jak jsme už uvedli, byli ztotožňováni s různými jinými národy. Právem hájil své učení,

---

[4]) Literární údaje o výkladech jména Prokopiových Sporů má L. Niederle, *Slovanské starožitnosti* II, 2, Praha 1910, 488.

[5]) Že tento kmen Serbů jsou slovanští Srbové, píše Dobrovský Bandtkemu (*Korrespondence Jos. Dobrovského*, díl II. *Vzájemné dopisy Jos. Dobrovského a J. S. Bandtkeho z let 1810—1827*. K vydání upravil V. A. Francev, Praha 1906, 156).

[6]) *Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar* (1808—1828), vyd. V. Jagić, Petrohrad—Berlín 1885.

[7]) J. Dobrowsky, *Geschichte der Böhmischen Sprache und ältern Literatur* Prag 1818 (vyd. B. Jedlička, Praha 1936, 188).

[8]) P. J. Šafařík, *Slovanské starožitnosti* I (vyd. J. Jireček, Praha 1862, 91 a d.).

[9]) L. Niederle, *Slov. star.* I, 1, 2. vyd., Praha 1925, 196, pozn. 3.

že Slované byli vždy Slované. Také se nedal zviklat v přesvědčení, že se k Dunaji i k Labi a Sále přistěhovali a že tam nebyli autochthony. Pro jejich genesi hledal oporu nikoli v biblické tradici a nikoli v *Letopise kyjevském,* na ní závislém, ale v historických zprávách. Opíral se ovšem též o výsledky svého jazykozpytného studia, a protože se jeho názor na prameny měnil, změnil se i jeho výklad slovanské etnogenese. Je-li jeho pozdější názor vzdálenější od učení, k němuž se nyní slovanská věda dopracovává, je postup, jak Dobrovský o problému přemýšlel, hoden naší pozornosti i úcty. Při zmínce o jeho metodě budiž pochválena i jeho snaha po úplném sebrání pramenů. Znamená to jeho žádost, aby Václav Fortunát Durych pátral v rukopisech Ptolemaiovy *Hyfégése* ve Vídni, jak je v nich psáno jméno *Visly.* Vedle šíře vědeckého zájmu Dobrovského, vedle jeho rozsáhlého vzdělání a vedle jeho kritičnosti je podstatným rysem jeho vědecké práce i jeho slovanství, jak v těchto dnech znovu a znovu s důrazem opakujeme.

Kdybychom výklad Dobrovského o slovanské etnogenesii chtěli označit novými názvy, řekli bychom, že byl zprvu zastáncem these o západní slovanské pravlasti nad Vislou a později these o východní pravlasti nad Dněprem. Dnes se slovanská věda v podstatě vrací k Niederlovu výkladu[10]) a hledá místo, kde se Slovanstvo rodilo, v oblasti kultury lužické v Povislí, potom v oblasti, kterou P. N. Treťjakov nazývá[11]) dněsterskostředodněperskou, a konečně v kulturní oblasti hornodněperské. Jde tedy o území mezi Baltem a Karpaty a mezi Odrou a Děsnou, pobočkou Dněpru.

Různé nevědecké výklady o slovanských počátcích, kterými se tehdy hemžila dějepisná práce, Dobrovský odbývá vtipem. V Noemově lodi prý na štěstí nehledal Slovany žádný učený ani neučený dějepisec, ale už při stavbě Babylonské věže je objevil Dalimil a Pulkava, a polský biskup Boguchwał měl zase štěstí, že poznal Slovana v biblickém Nimrodovi.

Dodatkem lze snad upozornit ještě na některé postřehy Dobrovského, které přispívají k osvětlení jeho metody.

Souvislost Herodotových *Enetů* čili *Henetů* s Venedy Pliniovými, na niž Dobrovský ukazuje, je i nyní uznávána, na př. ve vědě sovětské. Výklad, že jantaronosná oblast při Eridanu — což je některá řeka v Pobaltí — byla už v době antické omylem zaměněna za Popádí v severní Italii, a kmen Enetů, který při Eridanu sídlil, za Venety nad horní Adrií, je i dnes považován za platný. V Herodotově národopisném obrazu staré Skythie se kritickému Dobrovskému nevyskytlo ani jediné jméno slovanské; výklad o slovanskosti Budinů opětovně zamítá. Dnes se rozborem Herodotovy zprávy obírá především věda sovětská, která slovanství Neurů, sídlících mezi Karpaty a pánví pripeťskou, a jejich jižních sousedů nad horním Dněstrem, Skythů-Oráčů, podpírá i důvody archeologickými.

---

[10]) Tamže mapa k str. 30.

[11]) P. N. Treťjakov, *Восточнославянские племена,* Moskva 1953.

V polské i v naší literatuře se nově rozbírá zpráva Konstantina Porfyrogeneta o Bilém neboli Velikém Charvátsku,[12]) k němuž podle Dobrovského náležely Čechy, Morava a severní Uhry až po Hron, a tedy nynější Československo. „Archon“ Bílých Charvátů, o němž se Konstantin zmiňuje, byl podle Dobrovského Boleslav I., současník císařův, a nikoliv vladař z počátku VII. století (a tedy snad Samo), kdy se prý Charváti hnuli ze severu do své historické vlasti.

Na jednom místě Dobrovský uvažuje o tom, co mohl o Slovanech a jejich sídlech věděti Helmold, a jaké mohly být jeho zeměpisné znalosti, a čteme-li tuto úvahu, musíme vyslovit přání, aby se nejen Helmold, ale i jiní autoři probrali a ocenili s tohoto hlediska. Taková práce rozhodně přispěje k lepšímu poznání pramenné ceny těchto zpravodajů o dávných Slovanech.

O slovanské expansi z původních sídel Dobrovský právem předpokládal, že byla nehlučná, že skupiny slovanských rolníků a pastýřů vnikaly do sousedních krajů bez boje, aniž to antický svět věděl. Slované byli zprvu lidé, jak Jordanis praví, »armis disperiti, sed numerositate pollentes«, a proto bylo snadno je ovládnout. Naučili se však bojovat a rozhodně nebyli národem beránčím, jak Dobrovský výslovně uvádí. Prokopios o nich praví, že jsou upřímní jako Hunové, a Dobrovský v tom vidí doklad o jejich asijském původu, totiž o jejich původních sídlech mezi Donem a Volhou. Příčinou jejich expanse byla prý plodnost jejich žen a to, že jejich těla byla zvyklá nejtěžší práci zemědělské. Je zajímavé, že podobnou myšlenku, že Slovan si po věky zvykal tvrdé práci zemědělské, opakuje i Niederle při úvaze o slovanské povaze.[13])

V pojednáních o významu Dobrovského v dějinách naší vědecké práce se opětovně ukazuje na jeho zásluhy jednak v korigování výkladů vedených snahou po nekritickém zveličování naší národní minulosti, jednak v odmítání fals. Tak na př. nově Jaroslav Pošvář upozorňuje, že Dobrovský vyvrátil předpoklad, že mince tak zv. velehradské jsou z doby velkomoravské.[14]) A byl to teprve Dobrovský, jenž z výkladu o slovanském dávnověku vymýtil t. zv. privilegium Alexandra Velikého, v němž tento král se odměňuje Slovanům za jejich služby, které mu prokázali v jeho výbojích, a dává jim vládu nad severními zeměmi až po hranice Italie. Tak se až jeho zásahem skončila tradice, která žila od 13. století a která patrně vznikla z výkladu některých antických zpráv o jednání Alexandra Velikého s Gally a Skythy.[15])

---

[12]) G. Labuda, *Pierwsze państwo słowiańskie, Państwo Samona,* Poznań 1949. U nás R. Grünwald v denním tisku.

[13]) L. Niederle, *Život starých Slovanů* III, 2, Praha 1925, 771.

[14]) J. Pošvář, *O t. zv. velehradských mincích,* Vlastivědný věstník mor. 8 (1953), 59 a d.; týž, *Josef Dobrovský a numismatika* (Josef Dobrovský 1753—1953, Sborník studií k dvoustému výročí narození, Praha 1953, 456—472).

[15]) L. Niederle, *Slov. star.* I, 2, 2. vyd., Praha 1926, 335.

Přejdeme k druhé části svého výkladu.

Význam Dobrovského v dějinách československé archeologie byl už několikráte osvětlen[16]) a při tom se zdůrazňovalo, že Dobrovský u nás po prvé viděl v archeologických památkách historický pramen, nový zdroj poznání dávné minulosti, a že z něho čerpal.[17]) Naši archeologové vidí v Dobrovském zakladatele své vědy. Oceňují především jeho pojednání *Ueber die Begräbnissart der alten Slawen überhaupt, und der Böhmen insbesondere.*[18]) Dobrovský tam dospěl k správnému závěru, že dávní Slované znali oba pohřební obřady, spalování i pochování těla nespáleného. K této otázce se vrátil ještě jednou ve stati o 19. listě mohučského arcibiskupa, sv. Bonifáce, napsaném v letech 744 až 747.[19]) Bonifacius v něm, jak známo, píše anglosaskému králi Aethibaldovi, že Slované považují za chvalitebné, přivodí-li si žena při mužově smrti sama smrt, aby byla spolu s ním spálena na jedné hranici.

Také při studiu těchto pojednání Dobrovského poznáváme důležité rysy jeho vědeckého přemýšlení. Je to především jeho všestrannost, s níž uvažuje o pohřebních zvycích dávného Slovana, dovolávaje se dějepisných zpráv, nálezů archeologických, výkladu některých jmen a lidových přežitků. Za zvláště důležité však považuji, že přemýšlel o pohřebních zvycích starých Čechů v rámci všeslovanském. V tom šli potom za jeho příkladem všichni naši badatelé o slovanských starožitnostech, stejně Šafařík a J. E. Vocel jako J. L. Píč a Niederle.

Pokusil jsem se ukázat na význam Dobrovského pro studium slovanského dávnověku pouze rozborem jeho výkladu o slovanské pravlasti a slovanských zvycích pohřebních. Jsou to dva problémy, kterým Dobrovský věnoval zvláštní pozornost. Budiž mi nakonec dovoleno, abych se stručně zmínil o nynějším stavu našeho studia slovanského dávnověku. Rád bych totiž viděl, aby nynější oceňování Dobrovského po stránce vědecké, národní a slovanské mělo i praktický výsledek, aby bylo podnětem k úvaze o zdokonalení našeho studia slovanského dávnověku. Také u nás jako u jiných slovanských národů se studium slovanských starožitností utěšeně rozvíjí ve všech hlavních oborech, které přicházejí v úvahu. Obnovena byla diskuse o slovanské etnogenesi, konány jsou rozsáhlé výzkumy na slovanských nalezištích, které naši představu o předcích národa českého a slovenského doplňují a mění, vycházejí četná pojednání i významné knihy a časopisy archeologické, diskutuje se o vývoji slovanské společnosti podle dějepisných

---

[16]) J. Eisner, *Josefem Dobrovským se počíná studium slovanské archeologie* (sborník Josef Dobrovský 1753—1953, 415—418). Tam jsou starší literární údaje.

[17]) Na Slovensku si archeologických památek jako historického pramene všiml už Matěj Bél (1684—1749), s nímž se Dobrovský shoduje i ve výkladu, že „civitas Dovina“ fuldských análů z r. 864 je Děvín při ústí Moravy.

[18]) Abh. d. Böhm. Ges. d. Wiss. auf das Jahr 1786, 333—359.

[19]) J. Dobrowsky, *Ueber eine Stelle im XIXten Briefe des Heil. Bonifacius, die Slawen und ihre Siten betreffend,* Abh. d. Böhm. Ges. d. Wiss. auf das Jahr 1787, Zur Diplomatik, Alterthumskunde und Geschichte, 156—160.

zpráv i podle archeologických pramenů, k slovanskému dávnověku se přihlíží i v studiu národopisném, jazykozpyt začíná řešit otázky, kterými se kdysi obírala Niederlova generace, a navazuje se i na práci Niederlovu, Matiegkovu a Malého v studiu slovanské antropologie. Současně se dává do práce četná a zdatná mladá generace. V dobré organisaci této práce vidím vlastní uctění památky Dobrovského a důležitý úkol Slovanského ústavu ČSAV.

Jan Eisner

Dobrovský a slovanský dávnověk

Jiří Horák

Josef Dobrovský pojal studium Slovanstva v rozsahu nejširším. Až do konce života stál v čele bádání o srovnávacím jazykozpytu slovanském, o literárních dějinách, o historii i o archeologii národů slovanských, ale vedle toho věnoval bedlivou pozornost také jiným složkám duchovní i materiální kultury starých Slovanů, národopisu, folkloristice, mythologii, slovem oborům, které lze v duchu Šafaříkově a Niederlově shrnouti souborným názvem „kuturní starožitnosti slovanské“.

Lituji, že tomuto úseku nebyl věnován samostatný referát, poněvadž konfrontace názorů Dobrovského s pojetím jeho žáků a mladších vrstevníků je živě časová, máme-li na mysli výsledky našich archeologů i práce historiků a archeologů polských a zejména sovětských. Snad se podaří jinde pojednat o tomto thematu podrobněji. Čas vymezený koreferátu dává možnost uvésti jen několik obecných poznámek. Připomněl bych, že tu podávám výňatek z úvodní studie k svému vydání Dobrovského *Slavina.*

Pro krátkost času přihlížím tu především k některým zmínkám v Dobrovského korespondenci, ale zejména k šesti kritickým studiím Dobrovského z let 1806—1827 o těchto dílech:

1. Andrej Serg. Kajsarov, *Versuch einer slavischen Mythologie 1804.* (Slavin 1806).
2. Nik. Mich. Karamzin, *Istorija gosudarstva rossijskogo.* 1818. (Vídeňské Jahrbücher der Literatur [1822]).
3. Ignacy Benedykt Rakowiecki, *Prawda Ruska.* (Tamtéž [1824]).
4. Jós. Maksym. Ossoliński, *Wincenty Kadłubek.* Přel. do němčiny Sam. Gottl. Linde. (Tamtéž [1824]).
5. P. J. Šafařík, *Geschichte der slavischen Sprache u. Literatur nach allen Mundarten.* (Tamtéž [1827].)
6. Jos. Jungmann, *Historie literatury české.* (Tamtéž sv. XXXVII, [1827].)

Tyto studie tvoří dohromady knihu o 161 stranách hustého tisku a dobře objasňují myšlenky Dobrovského o kulturních starožitnostech slovanských i rozpory s mladším pokolením.

Svými názory o kritické metodě historické a filosofické Dobrovský v podstatě stál na stanovišti osvícenském. Zdůrazňoval Newtonův odpor k domněnkám i Leibnizův a Fuldův směr linguistický, a proto pře-

devším usiloval o přesné zjištění faktů a o jejich filosofické zpracování. Proto historickou a filologickou kritiku kladl výše než soustavy metafysické, proto žádal, aby vědecké vývody byly založeny na bezpečných dokladech, a nikoliv na dohadech nebo na tvrzeních, při nichž je přání otcem myšlenky.

V souhlase s těmito zásadami soudil o povaze starých Slovanů, o jejich mravech a vůbec o jejich úrovni kulturní i civilisační.

Karamzin ve 3. kap. I. svazku svého díla pojednal *О физическом и нравственном характере славян древних*. Naznačil podle Montesquieua, že podnebí mělo podstatný vliv na fysické vlastnosti Slovanů, na jejich vzrůst, otužilost, tělesnou sílu, rychlost v běhu atd., ale uvedl také doklady o stinných stránkách tehdejší civilisační úrovně slovanské a proti názoru o „holubičí" povaze slovanské připomněl zprávy byzantských dějepisců o bojích Slovanů v Podunají v 6. stol. Východořímské obyvatelstvo prchalo před nájezdy Slovanů, kteří v bojích s byzantskými vojsky osvědčovali nejen podivuhodnou chrabrost, ale také vytrvalost o obratnost. Slovanští bojovníci dychtili po kořisti, ale na ústupu často uloupené věci spálili, ukázalo-li se, že je nemohou zachrániti. Karamzin nezatajuje, že dějepisci 6. století vylíčili barvami velice temnými krutost Slovanů, ale také Řekové nelítostně mučili zajaté Slovany, kteří snášeli nejtěžší mučení s podivuhodnou odolností.

Prokopios i Mauricius zaznamenali, že v povaze Slovanů nebylo úskočnosti, že zajatci u nich nebyli otroky a že po ustanovené době se mohli buď vykoupit a vrátit se domů, nebo zůstat mezi Slovany na svobodě jako přátelé. Karamzin chválí podle starých zpráv pohostinnost Slovanů, věrnost jejich žen a pevnost svazků manželských, ale soudí, že i u Slovanů — jako u sousedních národů germánských a u starých Prusů — děti měly právo ubíjet rodiče příliš staré nebo neduživé, kteří byli na obtíž rodině nebo kolektivu.

Údaje Nestorovy o nižší civilisační úrovni Drevljanů, Radimičů, Vjatičů a Severjanů Karamzin doplňuje doklady z byzantských dějepisců o podunajských Slovanech 6. stol., o jejich sídlech uprostřed nepřístupných blat, takže cizinec bez průvodčího nemohl cestovat jejich krajem.

Karamzinova střízlivá charakteristika dávných Slovanů, která věrně podle pramenů rozdělovala světlo a stín, došla souhlasu Dobrovského. V recensi poznamenal: „Třetí kapitola krásně popisuje mravy Slovanů podle Prokopia a Mauricia." (L. c. 217—218.) Avšak tento obraz zdaleka nestačil mladým pokračovatelům Dobrovského v oboru slovanských studií, kteří toužili po jiném, daleko barvitějším a skvělejším obraze dávné kultury slovanské. Není úkolem tohoto koreferátu podrobně sledovat, jak se vyvíjel tento názor na rozmezí 18. a 19. stol.; dostačí připomenouti, že filosofický základ vytvořil Rousseau slavnou rozpravou o škodlivém vlivu civilisace na prvobytnou ušlechtilou prostotu a ryzost mravů. Herder promítl tyto myšlenky na monumentální pozadí své filosofie dějin a Slované stali se mu svým historickým vývojem jakoby ztělesněním postupné realisace idejí humanitních.

15

Z tohoto úsilí, jakož i ze snahy povznésti minulost národa českého, vzešel *Libušin soud*, padělek, který měl znázorniti podivuhodnou vyspělost slovanského dávnověku. Rakowiecki, jemuž byl text zaslán, mohl ho ještě užíti v své knize a doplnil tak obraz pradávné vzdělanosti slovanské. Tuto část knihy Dobrovský ostře odmítl.

Byl sice přesvědčen, že ještě před známým sborníkem velikého knížete Jaroslava Vladimíroviče *(Pravda russkaja)* měl na př. Novgorod zákony (t. j. pevně ustálené právní obyčeje a zvyklosti, ústní jednání atd.), ale dodává, nebyl to zákoník psaný, nebyly to Védy z Indie.

Svůj úsudek o Rakowieckém Dobrovský shrnuje takto: „Hlavní úsilí p. autora směřovalo v podstatě k tomu, aby ukázal, že staří Slované nebyli tak suroví a divocí, jak je obyčejně líčí, že měli vyspělý jazyk, že znali písmo dávno před přijetím křesťanství..." V další části posudku (99) Dobrovský vytýká zcela neodůvodněná tvrzení Rakowieckého o tom, že řečtina vzešla ze slovanštiny, že Orfeus zpíval slovansky, že ještě v době pohanské byly psané sborníky zákonů občanských a náboženských, že vedle hymnů a zpěvů na počest bohů byla dějepisná díla vypravující o slavných činech předků atd. To všecko prý se ztratilo v neklidných stoletích středověkých. Dobrovský dodává: „Co nebylo, nemohlo se zachovat. Jsou tvrzení tak smělá důstojná badatele v oboru dějezpytu? Nejsou to prázdné, neodůvodněné domněnky, pouhé vlastenecké snění?" (L. c. 99.)

Zcela obdobně Dobrovský posoudil také Šafaříkův výklad o povaze a obyčejích Slovanů (v *Geschichte der slavischen Sprache)*. Shrnuje kladné rysy, Šafařík připojil, že Slovanům je naprosto cizí spílání jiným národům nebo výsměch namířený proti cizincům. Slovanské jazyky prý ani nemají slov jizlivého výsměšku vůči jiným národům. (Geschichte 55.)

K tomu Dobrovský s humoristickým zabarvením namítá: „Naopak, Slovan také tu, jako každý jiný člověk podléhá přírodnímu zákonu reakce; komu z Čechů není známo říkadlo: Němec brouk atd. a pořekadlo: Všudy lidé, v Chomutově Němci? Jen rostoucí kultura může tu zmírniti příkré protiklady a dobýti práva člověku vedle krajana a proti němu. Sokrates chtěl býti člověk světový »mundanus«." (Jahrb. l. c. 6.)

Na recensi o díle Šafaříkově Dobrovský navázal — v témž svazku Jahrbücher — posudek o Jungmannově *Historii literatury* a je přirozené, že i tam projevil nesouhlas s nedoloženými výklady o nejstarší vzdělanosti slovanské, na př. s poznámkou, že Krok založil ještě v údobí pohanském v Budči školu, na které se učily jeho tři dcery a také Přemysl atd.

Přestávám na těchto dokladech, poněvadž i z nich lze jasně poznati zásady Dobrovského. Soudil, že zejména byzantští historikové zachovali spolehlivé a důležité doklady o charakterologii dávných Slovanů i o jejich úrovni kulturní i civilisační, a že z těchto vědeckých pramenů, jež doplňují nejstarší dějepisci slovanští (na př. Nestor, Kosmas), lze vytvořit souborný nástin. Fakt, byť i méně významný, ale bezpečně doložený, pokládal za cennější než básnickou fikci, kterou v díle vědeckém odmítal jako nemístnou. Tento kri-

tický realism působil blahodárně a měl i podnes má vzácný význam výchovný. Návrat k metodickým principům Dobrovského vždy znamenal pokrok.

Stejně názorný a poučný je také postup Dobrovského v oboru slovanské mythologie, kde zejména bylo třeba vymýtit všecky padělky, jména pohanských bohů, které vybásnili na př. Středovský, Hirschmentzel a j.

V korespondenci s Kopitarem najdou se místa svědčící, že Dobrovský, zejména v mladších letech, také uznával shody náboženských představ pohanských Slovanů s představami indickými. Srovnej dopis Kopitarovi z 6. III. 1810. (Jagić, *Pis'ma Dobrovskogo i Kopitara*, 112. Sbornik otdel. rus. jaz. i slov. Imp. akad. nauk. Sv. XXXIX 1885.)

Ale když úsilí sblížit Slovany s Indií se změnilo v jakousi „indomanii", Dobrovský se obrátil proti nekritickým dohadům věcnými důvody i také poznámkami zahrocenými ironicky. V recensi o Jungmannově *Historii literatury* (Jahrb. l. c. 29) ironisuje víru v pravost *Libušina soudu* a dodává, že některý jiný padělatel snad najde Libušina proroctví nebo zákony Přemyslovy, nebo dokonce maršrutu praotce Čecha z Indie. Zásluhy Dobrovského o slovanskou mythologii plně uznal L. Niederle.

Jen několika slovy mohu upozornit na osobité názory Dobrovského o lidové poesii slovanské. O jeho zájmu svědčí zejména korespondence. Vysoce si vážil *Slova o pluku Igorově* a v listě Kopitarovi napsal: „Igor, ein Gedicht, dem nichts an die Seite gesetzt werden kann." (Jagić, l. c. 647.) Pokud jde o junácké písně srbské, nesdílel plně nadšení Kopitarova a ostatních představitelů mladšího pokolení.

Téměř sto třicet let nás dělí od kritických statí Dobrovského a v tomto dlouhém období se po všech stránkách pronikavě změnily názory o slovanském dávnověku. Přibylo pramenů, pramenům známým dostalo se namnoze ocenění zcela nového, ale zejména práce archeologů našich i sovětských vytvořily obraz naprosto nový. Dnes se obecně uznává, že kulturní i civilisační úroveň slovanského dávnověku byla nesrovnatelně vyšší, než soudil Dobrovský, který byl odkázán většinou jen na zprávy cizích historiků a neměl ještě možnosti čerpati na př. z církevněslovanských legend o knížeti Václavovi, o jeho matce Ludmile atd.

Výsledky bádání akademika Grekova o Kyjevské Rusi, práce sovětských archeologů v Novgorodě, Pskově, na Dněstru a j., u nás epochální vykopávky v Starém Městě u Uherského Hradiště podávají doklady o vysoké úrovni kulturní i civilisační, vrhají nové světlo na tak řeč. teorii varjažskou atd.

Šafařík to tušil v době, kdy dokončil Starožitnosti. Byl si vědom toho, že obraz slovanského dávnověku, tak jak jej podávalo tehdejší bádání, je kusý a nesprávný. Přímo symbolický význam mají slova v listu Pogodinovi (24. X. 1836): „O Freund! ein Leben voll nationeller Eigenthümlichkeit, Fülle und Kraft ist im Sturme von Jahrhunderten untergegangen an den Ufern der Weichsel, der Berezina, der Dwina, der Lowat, des Dnjeprs etc., dessen Lichtseite nur noch in einigen matten Strahlen, dem reinen keu-

schen, züchtigen Auge sichtbar, zu uns undankbaren Nachkommen durchbricht: dessen falsch aufgefasste Kehrseite einige entartete Söhne sich zum Vorwande nehmen, um unsere Voreltern zu schmähen, zu schimpfen, zu lästern!" (V. A. Francev, *Korespondence Pavla Jos. Šafaříka.* Praha 1928, II, 523.) „O příteli! Život plný národní osobitosti a síly zanikl v bouři staletí na březích Visly, Bereziny, Driny, Lovati, Dněpru atd., jehož světlá stránka k nám, nevděčným potomkům proniká již jen několika matnými paprsky, viditelnými čistému, cudnému, mravnému oku: jehož nesprávně pojatý rub si berou někteří zvrhlí synové za záminku, aby naše předky tupili, spílali jim a pomlouvali je."

Šafařík, žák a pokračovatel Dobrovského, prorocky vystihl převrat, z jehož důsledků dnešní bádání tvoří zcela nový obraz slovanského dávnověku.

Jiří Horák

Konference na paměť Josefa Dobrovského

Československá akademie věd a její ústavy, Slovanský ústav, Ústav pro jazyk český, Ústav pro českou literaturu a Historický ústav, svolaly vědeckou konferenci slavistů na paměť patriarchy československé a světové slavistiky, Josefa Dobrovského. Konference se konala v Praze ve dnech 30.X.—2. XI. 1953.

Prvního dne se konalo slavnostní zahájení, druhý den jednala konference v sekcích jazykovědné, literárněvědně a historické, třetí den se sešla společná schůze závěrečná.

Slavnostní zahajovací zasedání zahájil po zahrání hymen v Karolinu akademik František Trávníček. Přivítal všechny přítomné, zejména představitele státního a veřejného života a dále sovětské hosty, kandidáta historických věd Udaľcova, prof. Žurka a docentku Širokovovou. Zároveň akademik Trávníček omluvil presidenta ČSAV akademika Nejedlého. V zahajovacím projevu pak řekl mimo jiné:

„Naše osvobozená vlast budující socialismus váží si kulturního dědictví, váží si a oceňuje práci pokrokových představitelů starších období vývoje českého a slovenského národa, a proto pokládá také za svou povinnost podrobně a všestranně osvětlit velký význam Josefa Dobrovského pro náš kulturní život.“

Poté promluvil kandidát historických věd Udal'cov, který řekl:

«Уважаемые товарищи, разрешите от лица советских славистов приветствовать настоящую конференцию, посвященную памяти Иосифа Добровского, выдающегося чешского ученого и патриота. Деятельность Добровского является неразрывной составной частью одной из наиболее выдающихся эпох чешской истории — эпохи национального возрождения. Имя Добровского тесно связано с именами многих других деятелей чешского национального возрождения, с именами будителей чешского народа конца 18-го и первой половины 19-ого века. Деятельность чешских будителей, сделавших крупный вклад в развитие чешского литературного языка, рисующих в своих произведениях перед чешским народом героические страницы его прошлого, содействовавших культурному сближению чешского народа с другими славянскими народами и прежде всего, с русским народом — эта их деятельность способствовала подъему национального самосознания чешского народа, укрепляла его силы в национально-освободительной борьбе, укрепляла его веру в победу. Советские слависты с большим вниманием изучают период национального возрождения в Чехии и в Словакии. С огромным интересом встречают каждую новую работу чехословацких историков и филологов, посвященную этой выдающейся эпохе в истории народов чехословацкой республики. Тем большее внимание и тем больший интерес вызывают у советских славистов такие важные события в научной жизни, как настоящаа конференция, в ходе которой, как то видно из её программы, будет обсужден целый ряд важнейших проблем истории возрождения, связанных с деятельностью столь крупного и ученого филолога и историка, каким был славный сын чешского народа Иосиф Добровский. Советские слависты внимательно изучают ма-

териалы этой конференции и используют их в своих работах по истории и истории культуры Чехословакии.

Разрешите пожелать успеха в работе настоящей конференции, посвященной памяти Иосифа Добровского.

Разрешите пожелать всем участникам этой конференции и всем деятелям чехословацкой науки и культуры дальнейших творческих успехов в их благородном труде на благо народа».

Po projevu sovětského hosta, který byl přijat potleskem, ujal se slova hlavní řečník zahajovacího zasedání akademik Bohuslav H a v r á n e k. (Jeho přednášku viz v plném znění zde na str. 81 n.) *ČSAV*

Dopolední zasedání jazykovědné sekce zahájil a řídil akademik Bohuslav Havránek, při odpoledním zasedání předsedal prof. Dr Ján Stanislav.

Byly předneseny tři základní referáty: akad. Fr. T r á v n í č k a (Brno), *Význam Dobrovského pro vytváření národního jazyka,* prof. Dr. J. K u r z e (Brno), *Základy vědeckého studia církevněslovanského jazyka,* a prof. Dr J. B ě l i č e (Olomouc), *Základy historického a srovnávacího chápání u Dobrovského.* Úplný text všech tří referátů zde na str. 101 n., 111 n., 144 n.

Koreferát k prvnímu základnímu referátu, a to o *vztahu Dobrovského ke spisovnému jazyku slovenskému,* přednesl ředitel Ústavu slovenského jazyka SAV Dr Štefan P e c i a r (Bratislava). Úplný text koreferátu zde na str. 107 n.

Jednotlivé diskusní příspěvky k prvnímu thematu, *význam Dobrovského pro vytváření národního jazyka,* byly zaměřeny jak na osvětlení thematu s různých stran, tak na probrání jednotlivých dílčích otázek. Proto diskusi předsedající akad. Havránek rozdělil do dvou okruhů: 1. význam mluvnice Dobrovského pro vývoj jazyka a národa, 2. způsob zpracování mluvnické látky u Dobrovského.

V prvním okruhu promluvil nejprve prof. Dr K. H o r á l e k (Praha) k otázce významu Dobrovského mluvnické kodifikace spisovné češtiny pro formaci českého národa. Jistě měl i po této stránce Dobrovský velký význam. Nesmíme si však věc představovat tak, že by se byl český národ bez mluvnice Dobrovského ve svém vývoji nějak podstatně zpomalil. O této věci nám může poskytovat hodně poučení srovnávací pohled na celou rodinu slovanských národů a jazyků. Vidíme tu, že se některé novodobé slovanské národy zformovaly, aniž měly možnost opřít se o mluvnickou práci takové vědecké úrovně, jako byla mluvnice Dobrovského. Některé slovanské národy ještě podnes větší vědeckou mluvnici nemají. To platí na př. o národu běloruském, a ovšem také o Makedoncích. Jiným národům se dostalo vědecké mluvnice dříve, než se provedlo hospodářské sjednocení (než byl zformován národ buržoasní). To platí na př. o Slovincích, jimž se dostalo slušné mluvnice již dílem Kopitarovým; o něco později pak vznikly mluvnice slovinštiny na podkladě mluvnice Dobrovského.

Při posuzování otázky archaičnosti spisovné normy Dobrovského se nesmí — podle názoru prof. Horálka — zapomínat na to, že kontinuita spisovné češtiny od 15. stol. nebyla u nás docela přerušena. Také se nesmí podceňovat význam literatury emigrantské (aspoň v 17. stol.) a literární činnost Slováků. Je ovšem možno připustit, že mohlo být provedeno větší sblížení s obecnou češtinou, jak se o to pokoušel na př. Tomsa. Po stránce hláskoslovné by to bylo ovšem ztížilo užívání češtiny na Slovensku. Nebylo by však správné dívat se na sblížení spisovného jazyka s obecnou češtinou jako na nějaké zdokonalení ve smyslu Skaličkovy these, že obecná čeština je vývojově pokročilejší než čeština spisovná. Spisovná čeština je složitější, liší se od obecné češtiny větším stupněm flexivnosti a také

tím, že má navíc některé prostředky mluvnické. To lze sice hodnotit jako archaismy, ale nikoli jako nějakou přítěž. Je to důležitá složka spisovné češtiny, na níž se zakládá její stylistická diferencovanost. Češtině je po této stránce mezi slovanskými jazyky nejbližší ruština se svou vrstvou prvků církevněslovanských.

Prof. Dr Alois Jedlička (Praha) připomněl, že Dobrovský nepůsobil jen mluvnickou kodifikací, nýbrž i kritikou literární tvorby a všeho tehdejšího jazykového dění. Není správné proti sobě stavět Dobrovského a Jungmannovu generaci v otázkách lexikálního obohacování. Rozdílnost jejich stanovisek vyplývá z rozdílnosti společenských podmínek a z rozdílu určení sociálního. Hlavním kriteriem Dobrovského je všeobecná srozumitelnost jazykového projevu: odtud plyne jeho revise veleslavínské normy podle vžitého jazykového obyčeje. Při přejímání slov z jazyků slovanských žádá Dobrovský obměňování přejatých slov pole usu domácího jazyka.[1])

Věd. aspir. Dr Zoe Hauptová (Praha) připojila několik poznámek k úloze Dobrovského ve vytváření normy novočeského spisovného jazyka. Vývoj nové spisovné češtiny je proces, který trval po celé devatenácté století a byl dovršen teprve až v samostatném státě. Na počátku tohoto procesu stojí Dobrovský jako první kodifikátor nové spisovné češtiny. Nelze však tvrdit, že by byl Dobrovský tvůrcem spisovného jazyka. Protože otázka obohacování slovní zásoby se stává aktuální až teprve tehdy, když čeština začíná více pronikat do veřejného života a do vědy, soustředil se Dobrovský především na kodifikaci gramatické tvorby češtiny. — Bylo zde již řečeno, proč Dobrovský čerpá ze starší tradice spisovného jazyka. Jaký byl postoj Dobrovského ke staršímu jazyku, lze si objasnit srovnáním tří soudobých českých gramatik, na které upozorňuje již akad. Havránek ve své práci o vývoji spisovné češtiny: gramatiky Pelclovy z r. 1795, Tomsovy z r. 1782 a Dobrovského Lehrgebäude z r. 1809. Pelcl hájí jazyk krajně archaický, rozeznává ještě měkké a tvrdé *l*, měkké a tvrdé retnice, zvláštní výslovnost *au* a pod. Naproti tomu Tomsa zachycuje ve své mluvnici dvojí rovinu jazyka: jazyk starších spisovatelů a jazyk běžně mluvený. Tento postup sice věrně obráží rozkolísanost tehdejšího jazykového usu, ale nemůže přinést nic plodného pro kodifikaci spisovného jazyka. Když srovnáme tyto tři práce, můžeme říci, že Dobrovský přichází se skutečnou snahou vytvořit novou normu spisovného jazyka. V podstatě sice vychází ze staršího usu, ale přizpůsobuje jej již soudobému jazyku nebo vytváří pro potřeby nového spisovného jazyka normu umělou (přechodníky). — Pokud trvá na archaismech, zpravidla je nějak významově, funkčně odůvodňuje: jako příklad lze uvésti jeho výklad o psaní *y* po tzv. obojetných, odůvodnění pravopisu *jsem, jsi* a pod. Důležité je Dobrovského hodnotící hledisko: za nepotřebné archaismy uznává to, co nepřináší nic podstatného pro významové rozlišování a pro přesné vyjadřování (srov. na př. hodnocení přechodníků *dada, dadouc, dadouce* a 3. pl. *dadí:* zde se ani Gebauer nevymanil z archaisujících tendencí).

Příspěvek Dr Karla Olivy (Olomouc) se týkal obecně these, že mluvnice spisovného jazyka působí při formování národa z národnosti. Upozornil na to, že je možné, aby mluvnice spisovného jazyka byla nahrazena jinak. Typický příklad toho je polština. Na rozhraní 18. a 19. století vzniká sice gramatická práce Kopczyńského,[2]) která však nemá charakter vědecké mluvnice, nýbrž je to jen pokus o racionální uspořádání různých jevů jazykových, často nevědecky interpretovaných. Teoretické vývody Kopczyńského viděly úkol gramatiky v regulování a podávání dosti přísných pravidel. Kopczyński tedy na jedné straně sice brzdil rozvoj jazyka svými rigorosními formulkami, ale na druhé straně

---

[1]) Srov. o tomto thematě podrobněji v příspěvku Al. Jedličky, Slovo a slovesnost 14 (1953) 167—179.

[2]) Gramatyka, I. díl (1778), II. díl (1780), III. díl (1783).

rozhodně přispěl k ustálení labilních gramatických tvarů. Romantismus obohatil lexikální stránku jazyka, ale morfologická stránka těchto slov odpovídala běžnému usu, sankcionovanému pro praktickou potřebu Kopczyńským. Vidíme tedy, že vědecká mluvnice, která by odpovídala práci Dobrovského, v polštině ještě tehdy nebyla a že její úlohu převzala vlastně velmi vyspělá literární tradice, která byla natolik normou, že zastupovala mluvnici. Pro utváření polského národa měla tedy význam klasická polská literatura a její tradice systematicky dále rozvíjená, jež spolu s praktickým, ale v podstatě nevědeckým souhrnem pravidel, jakým byla mluvnice Kopczyńského, vytvářela celonárodní jazyk.

Dr Eugen Jóna (Bratislava) poukázal na to, že archaisující kodifikace spisovné češtiny u Dobrovského je opřena o živý literární usus na Slovensku.

Prof. Jaromír Bělič (Olomouc) osvětlil správnost počinu Dobrovského takto: Chceme-li správně hodnotit Dobrovského kodifikaci kultivované mluvnické podoby jazyka, v podstatě ustálené již v době předbělohorské, i jeho postoj k obohacování slovní zásoby, musíme vycházet ze sociálně ekonomické doby. Po zániku feudálního českého státu nastává postupně v průběhu sedmnáctého a ještě v osmnáctém století hluboký úpadek české národnosti. Zcela jsou zgermanisováni feudálové, téměř úplně inteligence a do značné míry vrstvy městské. Český živel se omezuje hlavně jen na nevolný venkovský lid. Úpadek dostupuje vrcholu právě v době, kdy rozvoj výrobních sil už začíná směřovat k likvidaci feudálního řádu. Za této situace zaostává ve svém rozvoji také spisovná čeština, která v době předbělohorské již dosáhla značné stability i dosti velkého funkčního rozpětí. Tato kultivovaná podoba jazyka se v době pobělohorské dále nerozvíjí, nýbrž udržuje se jen tradičně hlavně v literatuře náboženské. Ve značné části literatury, pokud nová literatura vůbec vzniká, naopak se tato podoba rozkládá nesystematickým pronikáním různých nářečních prvků. Čeština se také nerozšiřuje do nových oborů, ba naopak její funkční rozpětí se proti době pobělohorské zužuje hlavně jen na okruh literatury pro lid. Proto tedy mnohá stará slova upadají v zapomenutí; pokud jsou uměle vytvářena slova nová, jsou nepotřebná, a proto se nerozšiřují; kromě toho jsou povětšině tvořena neorganicky, bez znalostí slovotvorných zákonů češtiny a bez jazykového citu. I u jazykových teoretiků z doby úpadku se projevuje nedostatečná znalost jazyka, takže jsou různá pravidla konstruována uměle a nesprávně. To je ještě situace z mladších let Dobrovského. Je třeba vyzvednout, že kultivovaná podoba češtiny nebyla zcela mrtvá, nýbrž v části literatury se přece jen udržovala; nebyla ani pociťována jako podoba archaická, neboť se projevuje jako ideální norma s určitými odchylkami a kolísáním i v době úpadkové literatury, v níž se jiná norma nevytvořila.

Za života Dobrovského počíná již u nás probíhat proces likvidace feudalismu. Dílčím vrcholem tohoto procesu je v tomto údobí zrušení nevolnictví r. 1781, velmi významný mezník v českém životě. Zrušení nevolnictví uvoluje přebytky pracovních sil z venkova a umožňuje jejich pohyb za prací do měst, kde se z nich začíná vytvářet základ průmyslového proletariátu i nová buržoasie, z počátku hlavně drobná, a také inteligence. Tento příliv nového obyvatelstva znamená oživení českého živlu v poněmčených městech a vytváří předpoklady pro nový rozvoj češtiny. — Dobrovský sám přes svůj lidový původ ovšem není ještě součástí tohoto nového proudu, přicházejícího z českého venkova do měst. Je příslušníkem generace starší, kotví v době přípravné a novému pohybu v plném rozsahu ani vždy nerozumí. Součástí nového proudu je až generace mladší, Jungmannova, která na rozdíl od Dobrovského již cítí nutnost a má i možnosti uvádět češtinu do rozmanitých odvětví soudobého kulturního života. Genialita Dobrovského je však v tom, že přece jen viděl dopředu, postihoval nejzákladnější potřeby nastupující nové doby a svým dílem vlastně sloužil budoucnosti. Pro svou kodifikaci mluvnické podoby češtiny zvolil

takovou podobu jazyka, která mohla ihned sloužit jako východisko nového rozvoje a stát se pro svou nadnářeční celonárodně uznávanou tvářnost pojítkem celého národa a mocným činitelem v rodícím se národním hnutí. Byla to právě ona podoba, která byla současníky pociťována jako ideální forma a nebyla tedy přijímána jako něco násilného. Sám Dobrovský ji popisoval jako kultivovanou podobu v současnosti fakticky existující vedle forem úpadkových. Podle soudobého usu přitom na jedné straně zamítal skutečně už neživé archaismy a na druhé straně nepřipouštěl prvky pociťované jen jako krajové, neboť takové prvky by oslabovaly celonárodní úlohu jazyka a mohly by vést k oslabování a tříštění sil. Vlastních zásahů Dobrovského, směřujících k posílení stability a zdůraznění zákonitosti jazyka, je zde ve skutečnosti jen velmi málo. A o tom, že jeho analysa poměrů byla správná, svědčí skutečnost, že jeho kodifikace byla rázem uznána a přijata, ačkoli doba obrozenecká měla další dvě dobré a už starší kodifikace, jednak archaisující mluvnici Pelclovu, jednak mluvnici Tomsovu připouštějící podle současných poměrů dosti kolísání. Kdyby kodifikace Dobrovského skutečně neodpovídala potřebám dobovým, žádným způsobem by nebylo možno ji naoktrojovat.

Dobrovský posloužil potřebám nové doby, i pokud šlo o rozhojňování slovní zásoby, třebaže měl k lexikálnímu novotaření v praxi poměr negativní; jako příslušník starší generace nepociťoval ještě jeho naléhavost. Jeho odpor ke zbytečnému a neumělému tvoření nových slov v předcházející době úpadku jej vedl jednak k shromažďování a oživování zděděné slovní zásoby, jednak ke studiu slovotvorných zákonů češtiny. Plodem prvního úsilí je jeho německo-český slovník, který pak vydatně posloužil i při sestavování slovníku Jungmannova, plodem druhého úsilí bylo vytvoření pevné základny pro obohacování slovní zásoby mladších generací, takže se novotaření školy Jungmannovy, vyplývající už ze skutečných potřeb dobových, zásadně liší od starších pokusů Rosových, Vusínových i j. — Uvědomíme-li si to všechno, vidíme, že Dobrovský na poli českého jazyka opravdu dobře postihl potřeby nastupující nové doby, svým dílem zabránil tápání a tím usnadnil a vlastně i urychlil proces konstituování moderního českého národa. V tom je nesporná jeho zásluha.

Dr S. Utěšený (Praha) připomněl k otázce archaisace, že Dobrovský měl na zřeteli při kodifikaci i usus na Moravě a na Slovensku. Dotvrzuje to místo z dopisu Ribayovi z r. 1790, týkající se psaní *ý — ej — ay (tichay)*. Viz dále zde na str. 241 n.

Tato část diskuse tedy ukázala — tak vyznělo shrnutí akad. Bohuslava Havránka — dvě věci: jednak to, že výtky archaisace nejsou oprávněné, jednak to, že nová spisovná norma slovanských jazyků se vytváří za nestejných podmínek pro přetváření národnosti v novodobý národ a pro rozvoj spisovného jazyka.

K druhému okruhu otázek — o způsobu zpracování mluvnické látky u Dobrovského — promluvil nejdříve prof. Dr Vl. Skalička (Praha). Připomněl úvodem ještě k prvnímu okruhu, že pokrokovost v jazyce není ve velké proměnlivosti. Nemáme na př. vůbec důvodu pokládat slovanské jazyky za méně vyspělé než jiné, v jejichž vývoji došlo k větším změnám, na př. germánské. Určitá archaisace v češtině byla tedy nutná pro velkou kolísavost tradiční normy. Tento český vývoj měl obdobu i jinde, na př. v němčině. Pak ukázal, v čem je přínos Dobrovského do způsobu zpracování mluvnické látky: týká se především tvoření slov. I když najdeme samostatné části slovotvorné před ním již u Adelunga, které se dříve spojovaly i se syntaxí a se slovními druhy (u Rosy), neprovedl snad jen pouhou mechanickou aplikaci hotové věci, nýbrž vyšel ze své znalosti materiálu starého, nového, ba i lidového, systematicky jej roztřídil a sestavil do jasného obrazu, jímž nahradil Adelungův jen povšechný rozbor. Princip Dobrovského není ovšem něco absolutně daného, není nutný v jiné době a v jiné situaci. I když se dnes názory na za-

řadění tvoření slov změnily, je třeba přínos Dobrovského hodnotit s hlediska potřeb jeho doby (vytváření nové terminologie) a jeho poměru k předchůdcům. Dnes se diskutuje o zařazení nauky o tvoření slov v SSSR a akademická mluvnice ruštiny je přiřazuje k partiím o slovních druzích.

Po připomínce prof. H o r á l k a, že přesné rozhraničení tvoření slov a mluvnice je věcí složitější a že u Dobrovského byla kombinována i tím, že je v jeho tvoření slov obsaženo i tvoření slovesných forem, ukázal velikost Dobrovského právě na jeho pracích slovotvorných doc. A. D o s t á l (Praha).

Akad. T r á v n í č e k ve svém referátě zdůraznil, že Dobrovského zásluhy na tomto úseku jazykovědných prací spočívají předně v tom, že z nauky o tvoření slov udělal samostatnou část mluvnice. K tomu připojil doc. Dostál ještě těchto několik doplňujících poznámek: Dobrovský promyslil tvoření slovanských slov na konkretním materiálu a na základě srovnání češtiny s jinými jazyky. Již proto je v těchto pracích původní, neboť tak první odhalil principy tvoření slov v slovanských jazycích. Tvoření slov pokládal za velmi starobylé a spojoval je správně se samými začátky jazyka. Na konkretním materiálu uvažoval také o motivovanosti pojmenování a předpokládal, že slova svůj význam dostala jako onomatopoické sestavy hlásek. Odtud dále uvažoval o nejmenším základu slova, správně poznal, že je to slabika, tedy viděl problém opravdu slovotvorně, a základy slov klasifikoval, ba pokoušel se i o jejich přesnou evidenci. — V podrobnostech Dobrovský viděl správně dva principy v tvoření slovanských slov, totiž velmi časté odvozování slov ze slov základních a komposici jako slovotvorný princip, i když méně častý. Nauku o tvoření slov vydělil jako samostatnou část mluvnice, ale jazyk viděl jako celek i zase další příbuznosti mezi jazyky. Jazyk chápal správně v historickém vývoji, prokázal neobyčejnou znalost textů a zdůrazňoval jazykovou tradici. — Dobrovský podal v mnohých pracích i v pracích o tvoření slov hluboký teoretický rozbor, ale nikdy neztratil se zřetele otázky jazykové praxe. — Po mnohých stránkách budou Dobrovského práce o tvoření slov nepochybně východiskem pro práce další na tomto úseku a budou také více doceněny než dosud.[3])

Akademik Trávníček vyzdvihl světový primát Dobrovského na tomto úseku vědecké práce jazykozpytné. Již r. 1929 při 100. výročí smrti patriarchy slavistiky připomněl Václav Flajšhans ve sborníku statí, vydaném u příležitosti I. sjezdu slovanských filologů, že první Wortbildungslehre jako samostatnou část mluvnice má již Adelung ve své německé mluvnici z r. 1782 a v knize *Über den Ursprung der Sprache, den Bau der Wörter besonders der Deutschen* z r. 1787, ale zároveň ukázal, v čem Dobrovský vynikl nad své předchůdce: vůbec po prvé vypracoval soupis všech přípon českých jmen v abecedním pořádku a téměř úplný seznam hlavních odvozenin pod jednotlivými příponami, zatím co u Adelunga najdeme pouze ukázky, nikoli vyčerpávající soupis přípon a výčet odvozenin. A nadto Dobrovský tuto novou, bohatou a důmyslně roztříděnou látku zpracoval novou srovnávací metodou, přihlížeje nejen k domácím dialektům, nýbrž i k ostatním slovanským jazykům, zejména k staroslověnštině. V Lehrgebäude pak šel ještě dále: podává v ní vyčerpávající soupis a roztřídění kořenů českých jmen.

Podobně si Dobrovský vede samostatně i v oddíle o skládání slov. V objemné a pro další vývoj češtiny vysoce důležité *Bildsamkeit* uzavírá sice tento oddíl citátem z Adelunga o podřadném významu stručnosti — hlavním to užitku skládání slov v jazyce — ve srovnání s jeho čistotou, správností, srozumitelností a libozvučností, ale činí tak proto, aby

---

[3]) Podrobněji je diskusní příspěvek A. D o s t á l a rozveden v jeho článku *Práce Josefa Dobrovského o tvoření slov* ve sborníku *Josef Dobrovský 1753—1953*, Praha 1953, 130—155.

odvoláním na uznávanou německou autoritu varoval mladé české spisovatele před nepotřebným novotařením a otrockým překládáním německých složenin. V samém rozboru komposice však jde vlastní cestou. Vychází tu sice z velmi široké definice skládání slov, neboť jím rozumí sjednocení dvou výrazů v jeden pojem, v němž je jedno slovo druhým blíže a přesněji určováno, hned však připojuje, že k tomu slouží nejčastěji předložky, z adverbií pak ta, která se končí na *-o*, a příslovce *spolu*. Adjektiva podle zjištění Dobrovského nemohou bez proměny koncové samohlásky vytvářet skutečné složeniny: buďto ji ztrácejí, na př. *bělpuch, svatvečer, velryba*, nebo se přeměňují v adverbia na *-o*. Mnohem řidčeji se v prvním členu složenin objevují substantiva. Spojují se s jiným jednak bez „ohýbací“ hlásky (Biegungslaut), na př. *medvěd, nocleh*, jednak v tvaru genitivu nebo jiného pádu *(bohabojný, pecivál, předsevzetí)*, jednak nahrazují každou jinou ohýbací hlásku hláskou *-o (zimomřivý, kozorožec, jitrocel, obrazorušec)*. Nejřidčeji pak se v prvním členu složenin objevují slovesa.

Tyto základní zákonitosti české komposice vyvodil Dobrovský jednak z češtiny veleslavínské a bratrské, jednak ze současné živé češtiny lidové a zarazil tak rázně libovůli v tvoření nových slov, vycházejících částečně z mluvnice Rosovy, hlavně však Pohlovy a do jisté míry i Doležalovy, ba i z Bernolákovy *Etymologie vocum slavicarum*, a přecházející již i do nových jazykových příruček, na př. do slovníku Thamova. Dobrovský již v *Bildsamkeit* obdivuhodně správně vystihl nejen zákony skládání slov v našem jazyce, nýbrž i jasně odlišil spojování slov s předložkami, jež ve shodě se skutečností nijak neomezuje, od složenin s adjektivy, substantivy a slovesy v prvním členu. Konstatuje menší produktivnost tohoto druhu komposice v češtině, i když ještě neznal významové třídění komposit pocházející od staroindických gramatiků. Vytýkaje v Bildsamkeit (str. 66) Thamovi slova *měchošlap* a *krkotoč*, doporučuje dávat přednost slovům jednoduchým nebo slovním spojením, protože „česká řeč je ve skládání stejně omezena jako latinská a může se v tom jen ve zcela nepatrné míře říditi němčinou“. Je to konstatování obdivuhodně prozíravé a velmi přesně vystihující skutečný stav. Při podrobném probírání slovní zásoby jednotlivých autorů se mi totiž ukázalo, že s výjimkou pokusů družiny Klaretovy o počeštění cizojazyčné terminologie tvoří složená slova po celou dobu ústrojného vývoje českého jazyka jen nepatrnou část jeho slovní zásoby, totiž pouhé 2—3%. Změna v tomto stavu nastává teprve neústrojným, libovolným a mechanickým novým tvořením v období barokního purismu od druhé poloviny sedmnáctého století, přes celé století osmnácté až do očistného kroku učiněného právě Dobrovským v Bildsamkeit. Ten zajistil ústrojný vývoj obrozujícímu se spisovnému jazyku, když mu hned při prvních krůčcích do nového života hrozilo, že omyly barokního purismu, převzatými z mluvnic Rosovy a Doležalovy do nového Thámova slovníku, bude sveden celý jeho další vývoj v slovotvorném systému na nesprávnou cestu a tak bude úplně odtržen od sytému stavby slov v jazyce lidovém, který se po celou dobu vrcholícího a vrcholného feudálního útisku bez přerušení vyvíjel podle svých vnitřních zákonitostí a nebyl zasažen umělými zásahy theoretiků, odtržených z ideologických (náboženských) důvodů od vyspělé jeho formy v literatuře bratrské na konci 16. a v první třetině 17. století. A v tomto dvojím navázání souvislosti — jednak na přerušený vývoj literárního jazyka doby veleslavínské s jedné strany a na zákonitě vzniklý stav současného jazyka lidového se strany druhé — spatřujeme nesmrtelnou zásluhu Dobrovského.

Dr Miloslav K r b e c (Olomouc) se zabýval ve svém příspěvku pracemi Dobrovského o českém přízvuku a prosodii.

Objevitelská síla Dobrovského při stanovení nových prosodických zásad, platných pro češtinu, vyplývá především z toho, jakým způsobem Dobrovský přistupoval k řešení

problematiky českého přízvuku. V starších gramatikách se obyčejně řešila otázka „přízvuku“ v rámci prosodie a gramatikové, nemohouce se vymanit z tradičního pojetí, termínem „přízvuk“ označovali kvantitu samohlásek, která pravopisně vyznačena byla, kdežto přízvuk nikoliv. Dobrovského sice přivedla k objevení českého přízvuku rovněž prosodie, avšak při řešení vlastní problematiky šel cestou úplně novou. Nevycházel totiž z jazyka psaného nebo z apriorních prosodických zásad, jak činili v podstatě jeho předchůdci, nýbrž sluchem pečlivě srovnával rytmus mluveného jazyka se skandováním časoměrných veršů. Právě tato metoda zřetelně ho odlišuje nejen od starších českých prosodiků, nýbrž i od Adelunga, který bývá často uváděn jako vzor Dobrovského při stanovení prosodických zásad. Adelung vychází totiž ve své prosodii z literárních pramenů, kdežto Dobrovský sahá k mluvenému jazyku. — Dobrovskému nešlo pouze o racionalistické zjištění a popis prosodického systému vhodného pro češtinu, nýbrž o to, aby pomocí své nové teorie podnítil obrození české poesie, která byla právě v hlubokém úpadku. Je třeba rovněž zdůraznit, že jeho zájem o českou prosodii nekončí stanovením pravidel, nýbrž s živým zájmem sleduje i jejich praktickou aplikaci.

K dokreslení metodologického postupu Dobrovského je třeba ještě připomenout, že významnou úlohu mělo pro objevení českého přízvuku užití srovnávací metody. Již styk s nejednotnými přízvukovými poměry na Moravě podněcuje Dobrovského k tomu, aby se snažil získat informace o přízvukových poměrech v jiných jazycích. V dopise Durychovi ze dne 1. II. 1795 (Koresp. I, 332 n.) podává již sám Dobrovský obsáhlý přehled o přízvukových poměrech v ruštině, němčině, francouzštině, angličtině a finštině. Důležité je, že i v cizích jazycích hledal Dobrovský oporu v mluveném jazyce. Dobrovský si dokonce uvědomuje, že naše přízvukování latiny je jiné než přízvukování latinských hexametrů.[4]) Poslechová metoda není u Dobrovského omezena pouze na tyto případy. Dobrovský se řídí sluchem i při zjišťování různých odstínů hláskových a rovněž zde se osvědčil jako pečlivý pozorovatel. Tak na př. v Lit. Mag. (1, 1796, 95) zjišťuje sykovost české hlásky *ř* na rozdíl od měkkého *r* v ostatních slovanských jazycích. Rovněž bedlivé poslouchání mluveného jazyka ho přivádí ke konstatování, že v češtině zaniklo dvojí *e*, kdežto na severovýchodní Moravě je dále zachováno. Jeho pozorování jde dokonce tak daleko, že si plně uvědomuje přechod *ľ* v *j* v italštině a přechod *l* ve *w* nebo *u* v některých jazycích nebo nářečích slovanských: „Beym Italiener geht das l in j über, planta, pianta, — bei einigen Slaven in w oder u“ (srov. dopis Antonovi ze dne 31. III. 1790 — Neues Lausitzisches Magazin 19, 1841, 73).

Akademik František Trávníček na závěr zhodnotil diskusi. Byla plodná, přinesla nové poznatky a nadhodila nová hlediska. Sám dal jen ve svém referátě první diskusní příspěvek. Byla důkladně probrána otázka vlivu Adelunga, skoro definitivně vyvráceno tvrzení buržoasní literární historie o závislosti na něm. Dobrovský šel svou vlastní cestou. Ostatně po sovětské diskusi o závislosti duševních pracovníků bychom to neměli opakovat; jde jen o samostatné zpracování současných podnětů. Bělič správně zdůraznil význam tvoření slov v závislosti na společných podmínkách a správně vystihl, že Dobrovského kodifikace pomohla ústrojnému, ne živelnému vývoji jazyka, jaký byl u puristů. Je nutno vždy vycházet ze Stalina a ptát se, do jaké míry dílo, i minulé, odpovídá té představě, kterou máme dnes o jazyce. Prof. Skalička měl na mysli archaisaci typologickou, ale zde šlo o archaisaci ve vývoji češtiny samé, že byl vzat za základ kodifikovaný starší vývojový stav. Prof. Horálek pokládá otázku vlivu kodifikace za složitější, je to pravda, ale vývoj náš i jiných národů a jazyků nebyl stejný. U Poláků nebylo takové

---

[4]) Srov. o tomto thematě článek M. Krbce, Slovo a slovesnost 14 (1953) 179 až 181.

mluvnické kodifikace, ale také tam nebyl přerušen vývoj literárního jazyka, to nahrazovalo kodifikaci. Proto měla kodifikace Dobrovského u nás mnohem větší význam, než by byla měla kde jinde, na př. u Poláků. Různými způsoby vzhledem k různým podmínkám společně se dojde k téže věci. Obecný jazyk je vývojový útvar dialektů, výsledek jejich sbližování a stírání rozdílů hláskoslovných a tvaroslovných. Ale pramen toho je ve spisovném jazyce a jeho celonárodní funkci, spisovný jazyk si dialekty podřizuje. Obecný jazyk je začátek odumírání dialektů, ne pokročilá forma. Dialekty ztrácejí svou funkčnost a to se projevuje v ztrátě jejich odlišnosti. Cenné byly připomínky Peciarovy se zřením k Slovensku i Jedličkovo ocenění kritické praxe. Dr Hauptová polemisovala s formulací, že Dobrovský byl „tvůrcem“ novočeského spisovného jazyka, zbytečně; šlo o to, že pomohl vývoji jazyka svou kodifikací, ne o to, že by on sám byl tvůrcem jazyka. Dobře vystihla Hauptová poměr mezi Pelclem, Tomsou a Dobrovským. Nezapomínejme na společný úkol osvětlit důkladně vliv Dobrovského na vývoj jazyka, ale i na vývoj našeho národního a společenského života.

Podle závěrečného projevu předsedajícího akad. Havránka diskuse ukázala, že je nutno revidovat starší názory o práci Dobrovského, zejména otázku t. zv. vlivů. Dobovou souvislost nebudeme popírat, ale nelze Dobrovského rozkládat mosaikově, jak to dělal Flajšhans. T. zv. archaisování vidíme dnes jinak, dobově podmíněné. Obecná čeština má sice starou tradici, už od období husitství, ale v 18. stol. byla nově rozkolísána omezením spisovného jazyka poněmčováním měst a pohybem nového českého obyvatelstva do měst. Nebylo tu jednoty a jistoty v mluveném usu jazykovém, ale existovala dobrá jazyková norma starší literární tradice.

Druhý základní referát přednesl prof. Josef Kurz na thema: *Význam Dobrovského pro základy vědeckého studia a církevněslovanského jazyka.* Plné znění zde na str. 111 n.

Prof. Dr J. Stanislav věnoval v koreferátě pozornost jazykovým svědectvím o přítomnosti staroslověnštiny na území Slovenska.[5])

Prof. Dr Karel Horálek ocenil ve svém koreferátě kriticismus Dobrovského při řešení některých speciálních otázek slavistických ve vztahu k vývoji církevněslovanské vzdělanosti u nás. Pokud byly názory Dobrovského pozdějším bádáním překonány, bylo to způsobeno hlavně tím, že v jeho době nebyly známy ještě nejdůležitější památky. I vědecké založení Dobrovského a dobové podmínky vedly ke kritickému zaměření jeho prací a to způsobilo, že se nedostal k positivnímu, konstruktivnímu vlastnímu řešení. Otázky církevněslovanské vzdělanosti a tradice u nás řešil Dobrovský tak, že neměla významnějšího pokračování po období velkomoravském kromě episody, kdy byla slovanská bohoslužba zavedena v klášteře sázavském. Toto řešení bez souvislosti s historickými poměry se jeví povrchní, ale bylo třeba zúčtovat nejdříve s dobovými názory;[6]) nutno počítat s tím, že v době Dobrovského nebylo ještě materiálových základů pro řešení správné. Dobrovský se neměl oč opřít při bádání o staroslověnské tradici v Čechách v X. století. Nebyly známy t. zv. pannonské legendy ani staroslověnské památky českého původu (Kyjevské listy a Pražské zlomky). Je však nesprávné, když nyní při novém materiálu někteří historikové — kryjíce se autoritou Dobrovského — popírají staroslověnské složky v české kultuře 10. stol., jak to činí prof. F. M. Bartoš. Je třeba to řešit s širšího slavistického hlediska na základě později objeveného materiálu. Nelze „vylidňovat“ 10. stol. autoritou Dobrovského. Je tu i dost rozsáhlá literatura překladová českého původu, zachovaná v rus-

---

[5]) Viz zde na str. 135 n.
[6]) Srov. o tom úvodní projev akad. B. Havránka zde str. 81 n.

kých rukopisech, a svatováclavské legendy. Musíme se spíš snažit doplnit kulturní obraz české minulosti, jak by to byl udělal jistě i Dobrovský, kdyby byl měl k disposici prameny a materiál, který byl objeven teprve později.

Objasněním záporného stanoviska Dobrovského k Vostokovovu objevu nosovek ve staroslověnštině se zabýval doc. Dr Ant. Dostál. Úplný text koreferátu A. Dostála viz zde na str. 139 n.

Dr F. V. Mareš (Praha) přispěl k osvětlení významu Dobrovského pro staroslověnskou kritiku textovou. Dobrovský je jejím zakladatelem, první ukázal na dějiny církevněslovanského biblického textu. Předtím biblisté užívali vydání tištěných (1751 Alžbětino vyd.) nebo bible Ostrožské. Dobrovský ukázal, že Alžbětino vydání se k vědecké práci s textem nehodí vůbec a že Ostrožského textu lze užívat jen s opatrností. Dobrovský se proto obrátil přímo k rukopisům dostupným buď přímo nebo z opisů přátel. Byly to texty mladší, církevněslovanské, ze století 12., 13. a mladších. Je svědectvím geniality Dobrovského, jestliže na základě těchto dost pozdních rukopisů, nedokonalého a neúplného materiálu došel Dobrovský k závěru o řecké, nikoli latinské předloze překladu. Ale svědčí to o významu církevněslovanských rukopisů pro biblickou textovou kritiku. Zvlášť je třeba ocenit Dobrovského schopnost hodnotit rukopisy a rozlišovat v jednom rukopise části podstatné od variant méně důležitých pro textovou kritiku. Dobrovský se snaží využít co největšího počtu textů. Hrozilo tu velké nebezpečí utonutí ve velké spoustě variant, ale Dobrovský se toho dovedl uvarovat. Řekl své slovo k evangeliu a apoštolu i apokalypse, žaltářům, starozákonním knihám, homiliářům i liturgickým knihám. Výsledky Dobrovského byly po objevu nového materiálu buď překonány, nebo nemohou už postačit, ale jeho metoda má stále co říci. Evangelní text byl pozdější generací dobře textově kriticky zpracován a vydán, stejně žaltář a části Starého Zákona. Třeba dnes výsledků ve starých obdobích užít na mladší texty církevněslovanské tak, jak to činil Dobrovský. Na základě této konfrontace je třeba přistoupit k vydání ne už památek, ale textů, a přejít od studia evangelií k jiným biblickým textům i jiným památkám. Takto pojatá staroslověnská textová kritika přispěje nejen k osvětlení nejstaršího období, ale i k osvělení kulturních středisk slovanských.

K tomuto thematu promluvil akad. Bohuslav Havránek; ukázal především, že textově kritické příspěvky dodnes mají svou cenu: na př. mýlil se prof. Vajs, když nepřihlédl k výsledkům kritické práce Dobrovského o řeckém textu biblickém a couvl před „textus receptus“, jak je ukázáno ve sborníku Josef Dobrovský.[7]) Přednesené referáty a příspěvky doplnil Havránek poukazem na to, že tvaroslovné partie v Institutiones podle jeho názoru kromě známých jevů hláskových nejvíce odrážejí pozdější prameny Dobrovského. Nesouhlasí s tím, že označení „Institutiones“ znamená jen „úvod“; pro druhé vydání se objevuje termín „compendium“ a to měl být stručnější výbor, ale Institutiones pak měly tedy být dílem základním, nikoli jen úvodem. — Positivistická věda nedostatečně hodnotila církevněslovanské práce Dobrovského a jeho Institutiones. Je třeba vidět ještě širší historické souvislosti z doby před Dobrovským. Církevněslovanské studie Dobrovského je třeba hodnotit s toho hlediska, že jimi osvědčil svůj jiný pohled na význam období církevněslovanského a že reagoval na jeho reakční interpretaci. — V Instituitones Dobrovský postupoval induktivně a nesledoval jen cíle didaktické, nýbrž šlo mu o skutečné vědecké poznání na základě empirie. Důležitá je jeho důvěrná znalost materiálu. Velký význam má též zásada Dobrovského, že je třeba sledovat podobnosti mluvnické stavby jazyků, a ne jen příbuznost jednotlivých slov — zde šlo o nové hledisko a o reakci na způsob srovnávání do této doby obvyklý. Nelze však řešiti vše tvrzením, že

[7]) Srov. o tom v uvedeném sborníku Josef Dobrovský, str. 197—226.

Dobrovský předstihl svou dobu; je plně člověkem své doby, ale takovým, který ji dobře ideově obráží, staví na tom nejlepším v ní; postižení doby resp. překonání je pak již důsledkem toho.

Prof. Kurz zhodnotil diskusi v tom smyslu, že doplňky byly cenné, sám mohl thema pojmout jen rámcově. Proti odchylnému mínění hájil prof. Kurz názor, že tvarosloví v Institutiones neobsahuje nejstarobylejší stav, spíše tu míšení vede ke zmatku. Varianty třeba vážit a hodnotit, ne počítat.

Třetí základní referát přednesl prof. Dr Jaromír Bělič (Olomouc) na thema *Základy historického a srovnávacího chápání jazyka u Dobrovského.* Plné znění referátu zde na str. 144 n.

Doc. Dr V. Blanár (Bratislava) se ve svém koreferátu soustředil na *Dobrovského klasifikaci slovanských jazyků a místo slovenštiny v ní.* Úplný text koreferátu zde na str. 152 n.

Zapojení Dobrovského *do vývoje srovnávacího jazykozpytu* provedl ve svém koreferátu prof. Dr V. Vážný (Praha). Úplný text koreferátu prof. Vážného zde na str. 159 n.

V diskusních příspěvcích shrnul dokumentárně materiál o vlivu J. Dobrovského na ukrajinské gramatiky první polovice XIX. stol. dr Ivan Paňkevič.[8]) Vliv J. Dobrovského na západoukrajinské gramatiky byl již ve vědecké literatuře dostatečně prokázán O. Makovejem, M. Vozňakem, I. Brykem, Čechovyčem a Simovyčem.[9]) Můžeme konstatovati, že skoro každý z ukrajinských gramatiků, jako Ivan Mohylnyc'kyj, Josef Lozyns'kyj, Ivan Vahylevyč a Jakov Holovac'kyj se v mnohých otázkách opírali o autoritu Dobrovského, zároveň však čerpal poučení také z jiných autorů. Tehdy byla vedoucí metodou jazyková zkušenost. Projevovala se u každého, kdo čerpal z národního pokladu živé řeči a odchyloval se ve větší nebo menší míře od „slaveno-ruských“ tradicí Meletije Smotryc'kého. Již předchůdce Ivana Mohylnyc'kého Ivan Lavrovs'kyj při psaní své mluvnice nazvané *Versuch über die Sprachlehre der russischen Sprache wie solche samt ihren Untermundarten in den Königreichen Galizien und Lodomerien gesprochen wird* (1815—1823) byl veden empirií. Torso této mluvnice nedává nám možnost hlouběji poznati její empirickou metodu. Empirie u Ivana Mohylnyc'kého je zřetelná v celé mluvnici (napsané v r. 1823) a také v pojetí mluvnice, kde položil důraz na „národní zvyklosti“. Mohylnyc'kyj se dovolává Dobrovského na několika místech. V úvodní části při obhajobě samostatnosti ukrajinského jazyka a při vysvětlování termínu „ruský“ ve významu ukrajinský čerpá argumenty z Dobrovského Slavína. Tam našel Bohoričovo rozlišování mezi jazykem polským, ukrajinským a ruským již v roce 1583. Mohylnic'kyj na četných místech používá srovnávání, uvádí příklady z jazyka polského, ruského a českého. Při vysvětlování přízvuku se drží Dobrovského v otázce místa přízvuku a jeho významové funkce ve slově a dokonce cituje mínění Dobrovského o síle přízvuku. — Mohylnyc'kyj se nepostavil zcela na stanovisko živého usu, obhajoval orthografickou tradici, odmítaje návrh Pavlevského z roku 1819, aby se psalo za střídnici *o* v nových zavřených slabikách písmeno *i*. Jeho archaisace, jak se zdá, našla také oporu v názorech Dobrovského.

Hledisko živého jazykového usu hájil Josef Lozyns'kyj (jeho mluvnice byla napsána už v r. 1833 a vyšla až v r. 1846), odmítal tradice církevně slovanské; považuje církevně slovanský jazyk za mrtvý. Lozyns'kyj znal dobře dílo Dobrovského, využil

---

[8]) Tento diskusní příspěvek byl sice na konferenci přednesen až v rámci třetího thematu, ale pouze pro nedostatek času; zařazujeme jej podle obsahu sem.

[9]) Srov. Sborník Dobrovského 1929.

dokonale jeho metody a opíral se o něho v otázkách přízvuku. Ve shodě s Dobrovským nepovažoval církevně slovanský jazyk za matku slovanských jazyků, nýbrž za jejich sestru. Lozyns'kyj se dokonce postavil kriticky k Dobrovského klasifikaci slovanských jazyků na dvě skupiny v tom smyslu, že znaky ruských jazyků lze zařaditi do obou skupin. Podle Šafaříka pak rozděluje ruskou skupinu na tři větve: ruskou, ukrajinskou a běloruskou. — Z Dobrovského čerpal také Ivan Vahylevyč, jehož mluvnice vyšla polsky s úvodem v r. 1846. Úvod do mluvnice obsahuje část jeho *Rozprawy o języku południoworuskim,* jež zůstala v rukopise ve sbírkách bývalého otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti v Akademii věd SSSR. (Popis této rozpravy podal akad. M. Vozn'jak v práci *U stolitt'ja Zory Markiana Šaškevyča,* č. II, Lvov 1936.) Mluvnice Vahylevyčova se opírá o mluvnici ruského jazyka od Greče a Vostokova. Ale v Rozpravě se Vahylevyč jeví nejen dobrým pozorovatelem současného ukrajinského jazyka, nýbrž také si všímá jeho dějin a jeho vztahu k jiným slovanským jazykům. Vahylevyč první z ukrajinských gramatiků jde po stopách Dobrovského také tím, že užívá historické a srovnávací metody. Mezi prameny, z kterých čerpal, uvádí Dobrovského Institutiones a jeho mluvnici jazyka českého. Je škoda, že Vahylevyčova Rozprava nevyšla celá, neboť pak by bylo možno zhodnotit lépe toto dílo, tak významné ve své době.

Čtvrtý gramatik, Jakov Holovac'kyj, šel ještě dále. První uvedl do své školní mluvnice z r. 1849 (Грамматика руського языка) Dobrovského dělení slovesa na 6 tříd; ale ve svém pojednání Розправа о южноруськом языцi (Lvov 1850), předneseném na Soboru ruskych učenych ve Lvově 1848, vytýká Dobrovskému, že se při klasifikaci slovanských jazyků opíral především o psané památky a že pomíjel jazyk živý, jazyk lidových písní. — Dobrovského etymologisování našlo ohlas u básníka M. Šaškevyče, jenž v drobných článcích podával etymologii některých slov, připravoval vydání staroslověnského slovníku a přispíval také k slovníku ukrajinského jazyka. — Nejdůslednějším stoupencem Dobrovského byl zakarpatskoukrajinský gramatik Michail Lučkaj, jehož mluvnice *Grammatica slavo-ruthena* vyšla již v r. 1830. Jeho mluvnice, jak to konstatuje V. Simovyč, byla krátkou redakcí Institutiones Dobrovského pro potřeby duchovních seminářů a přihlížela k ruské církevní slovanštině XVII. stol. Zřetel k přísné jazykové zkušenosti a srovnávací metoda ho přivedly k tomu, že uvádí také příklady ze svého rodného jazyka, své rodné obce Lučky u Mukačeva[10]).

Prof. Dr Karel Horálek přispěl k diskusi osvětlením poměru historické a popisné metody. Hodnota historického studia v díle Dobrovského není samoúčelná. Je obrácena k praktickým otázkám a k praxi na mluvnici češtiny. Základní charakter historického pohledu na jazyk je určen kombinací metody popisné a historické. Historické srovnávací studium slovanských jazyků bylo nemožné, dokud tu nebyly mluvnice popisné; to Dobrovský dobře viděl. Mohl se opřít o starší mluvnice české; tradice ruská (Lomonosov) hodně přispěla k vytvoření srovnávací základny pro historické srovnávací studium jazyků. Charakteristika slovanštiny je pokus na základě srovnání s latinou. Má pomocnou metodickou cenu i dnes (vzpomeňme jen na synchronní popisnou charakteristiku jazyka pěstovanou V. Mathesiem a na typologickou charakteristiku Skaličkovu). I Dobrovský zde fakticky prokazuje, že není správný názor, že jen u příbuzných jazyků je možná metoda srovnávací; nemusí ústit jen v historickosrovnávací studium, nýbrž může být pomocným prostředkem k popisné práci. Historická srovnávací metoda umožňuje vniknutí do systémové stavby jazyka. Dobrovského historicky srovnávací pohled na slovanštinu splňuje požadavek postupovat od věcí dobře zjištěných k méně známým. Při klasifikaci

[10]) В. Г. Геровский, *Русский язык в церковно-славянской — русской грамматике Михаила попа Лучкая,* Užhorod 1930.

Dobrovský nevychází ze starých sporných dat, nýbrž z bezpečných a kritických zjištění. V podrobnostech neměl jasný obraz o vývoji slovanských jazyků, protože nebyly splněny k tomu předpoklady. Leccos lze vysvětlit kritickým postojem, opatrností Dobrovského při formulaci věcí jen hypothetických, tušených. Nešlo o zdůraznění přímočarého vývoje rodových linií, byl si vědom přeskupování (ruština — západní slovanské jazyky, poměr ruštiny k církevní slovanštině).

Prof. Dr Fr. Jílek (Praha) upozornil na význam trojího vydání díla *Geschichte der böhmischen Sprache (und Literatur)* a na jeho šestidílné periodisování. Mělo vliv i na Palackého. Dobrovský vyzdvihuje jako vedoucí periodu v dějinách národa, a tedy také jazyka, husitství (1410—1526). Gebauer 1902 došel k názoru, že Hus nemá ve vývoji jazyka, v jeho dějinách postavení výlučné, že nejde o přelom. Stejně 1927 Trávníček v Českém jazyce a 1935 v Úvodu k Historické mluvnici (str. 22). Osobnost Dobrovského i Husova měly však vliv na vývoj jazyka, i když neutvářejí skutečnost samovolně — nejde ovšem o přelom jazyka. Dobrovský správně spojoval dějiny jazyka s dějinami národa. Periodisace českých dějin u Palackého je pokroková, a to pod vlivem Dobrovského; šel po linii vývoje, viděl kupředu. V době baroka se vývoj nejen zastavil (podle Pekaře), nýbrž je to nejsmutnější období (podle Dobrovského). — Dobrovský chválil Zikmunda z Jelení za srovnávání jazyků, i když to bylo vnější srovnání. Vedle sanskrtu srovnává i s jinými asijskými jazyky; je tu mnoho nahodilého a je třeba opatrnosti při celkovém hodnocení. — V Geschichte der böhmischen Sprache si hlavně všímá jazykové stránky památek. Mluvčí žádá závěrem, aby do usnesení byl pojat i bod o nutnosti práce na soustavném chronologickém přehledu rukopisů textů a nejlepších vydání.

Rozsáhlost vědeckých zájmů Dobrovského doložil v svém příspěvku i Dr Jan Svoboda (Praha). Ukázal na jeho práce o vlastních jménech a na zamýšlené, leč neuskutečněné *Onomasticon slavicum.* I zde usiloval Dobrovský o odhalování zákonitostí jejich tvoření, nebral jednotlivá jména isolovaně a odmítal vysvětlování jen podle vnější a náhodné podobnosti.[11])

Na význam studia staročeských biblí pro odmítnutí podvržených rukopisů upozornil Dr Vladimír Kyas (Brno). Dobrovský však věděl již také o vlivu staročeského překladu bible na staropolský, rusko-církevněslovanský a slovinský, neboť — protože se staroslověnský překlad bible nedochoval — byl to tehdy nejstarší překlad do slovanského jazyka (bible Leskovecká, 1390—1410).[12])

O významu práce Dobrovského pro dialektologii mluvil Dr S. Utěšený. Jako pro všechny ostatní speciální jazykovědné discipliny i pro naši dialektologii má jazykovědná práce Dobrovského význam víc než pouze historický, přestože se zde jedná o obor, který nebyl jako zvláštní druh studia ustaven ani ještě dlouho po jeho smrti. V naší dialektologické tradici nebývá dosud zvykem vracet se dále než k Šemberovi a na Moravě se vlastně obvykle vychází až z Bartoše. Starší jazykovědná práce a významná soudobá svědectví se přitom zpravidla dost pomíjejí, jedinou snad výjimku tvoří známé pasáže v Husových kázáních, týkajících se pražské češtiny, a Blahoslavovy kapitoly De dialectis. Není to tak docela správné a rozhodně by se na příklad rozbor Dobrovského pojetí dialektů a nářečních rozdílů neměl objevovat jen při slavnostních příležitostech. Takový nezájem o Dobrovského by byl nezasloužený už proto, že celkový objevitelský a

[11]) Srov. jeho článek *Dobrovského studium vlastních jmen* v uvedeném sborníku *Josef Dobrovský,* 156—181.

[12]) Podrobně se Dobrovského průkopnickou a dosud nepřekonanou prací o redakcích českého biblického překladu zabývá Kyasův příspěvek v uvedeném sborníku Josef Dobrovský, 227—300.

průkopnický charakter jeho práce představuje mezník pro důkladné poznání našeho jazyka právě v aspektu historickém, vývojovém, jak to výstižně shrnul ve svém jubilejním příspěvku *Dobrovský a stará čeština* z r. 1929 prof. Emil Smetánka. A není snad dnes třeba zvláště zdůrazňovat, že pro dialektologa především musí tento historický zřetel představovat vždy zájem stěžejní. Je sice pravda, že v zásadě se Dobrovský bližším studiem dialektů neobírá, že i jeho klasifikace t. zv. slovanských nářečí, t. j. vlastně hlavních slovanských jazyků, i jeho úvahy historické ve svém celku s podrobnějšími nářečními odstíny nepočítají, přestože si jich je Dobrovský velmi dobře vědom a přestože už v podstatě správně postihl v jiné souvislosti i zeměpisné činitele těchto rozdílů. Pregnantně to Dobrovský vyjádřil už v 1. vydání Dějin české řeči a literatury těmito slovy: Unter diese (slawische Hauptdialekte) lassen sich alle übrigen Mundarten als Unterabtheilungen bringen, wobei man eben nicht auf die kleinsten Unterscheide sehen darf; sonst müßte man z. B. das Mährische allein wiederum in mehrere Mundarten teilen. Lassen sich die Varietäten verschiedener Sprecharten auf gemeinschaftliche Analogien der Grammatik zurückführen, so können sie noch nicht als verschiedene Dialekte angesehen werden, ungeachtet des verschiedenen Gebrauches mancher Wörter und ihrer merklich abweichender Aussprache. Zhruba se tu Dobrovskému jeví problém nářečních variací v oblasti dnešního českého a slovenského jazyka jako otázka jazykových rozdílů mezi Čechami, Moravou a Slovenskem. Jen málokdy tu výslovně blíže rozlišuje na příklad nářeční zvláštnosti na vlastním českém území. Najdeme tak už v jeho Mluvnici zmínku o vých. čes. typu *kreu̯, krou̯*, najdeme tu podobně i pozorování z Klatovska, z doby jeho pobytu v Chudenicích, zmínku o hiátovém *h-* v slovech typu *hudělati*. Valná většina nářečních prvků okrajových zůstala však Dobrovskému neznáma, a tím si můžeme vysvětliti snad i taková fakta, jako že nevěří v reálnou existenci průvodního vokálu u slov jako *hirnec, herdlička*, která by vyplývala ze staročeské grafiky. — Na druhé straně je třeba si uvědomit a je třeba to zvlášť zdůraznit, jak pronikavě a v zásadě vždy správně si spojil Dobrovský všecky své poznatky dialektologické s vývojovou perspektivou celého českého a slovenského jazykového území a můžeme tu bez nadsázky říci, že Dobrovský tak na nesčetných místech své mluvnice i ve své bohaté korespondenci, jakož i ve své rukopisné pozůstalosti zanechal materiál, který můžeme považovati přímo za základ naší historické dialektologie v tom pojetí, jak je později rozvinul až Gebauer. Všechna tato práce je mu pak jen přípravou pro napsání opravdu vnitřních dějin českého jazyka, „eine, innere, nicht äussere Geschichte", jak zdůrazňuje sám Dobrovský ve svém dopise Ribayovi z r. 1791.

Jako příklad této zřetelné historické perspektivy, spojené s citlivým hodnocením současného stavu jazyka na celém československém území, uveďme si zde jednu pasáž z Dobrovského mluvnice. Všechny příklady se týkají hláskosloví, tím však není řečeno, že bychom pro gramatiku a slovník podobných nenašli. Týká se osudu dlouhých samohlásek v češtině na rozdíl od poměrů moravských a slovenských. V Lehrgebäude na str. 3 čteme: Das *u* dehnen nur die Mähren und Slowaken, die Böhmen schreiben dafür *au*, sprich *ou*: saud für súd, budau für budú, řkauc für řkúc. Das gedehnte *e* sprechen die meisten Böhmen wie *ý* aus: dýl für dél ... ljp für lépe, ljk für lék, mljko für mléko. Das ý (Dobrovský tu rozlišuje podle grafiky i v hláskosloví *í* a *ý*) lösen sie gern in *ey* auf: beyk für býk, seyr für sýr, beywa für bývá. — Překvapuje nás tu kromě výraznosti příkladů *(bejk, sejr, mlíko)* hlavně rozlišování mezi tím, co se v Čechách říká a píše obecně (typ *soud*), co se říká většinou (typ *mlíko*) a co s oblibou (typ *bejk*). To, že se v uvedeném výkladu nerespektují poměry hanácké (tedy typy *sód, mliko, bék*), ač byly Dobrovskému se vší pravděpodobností známy z olomouckého pobytu, dá se snad vysvětlit tím, že Dobrovský se zřejmě orientuje jen na literární jazyk a jeho dějiny, a hanácké

změny uvedeného typu v starých památkách vlastně nanajdeme. Vidíme z toho, jak na svou dobu pronikavě posuzoval Dobrovský mezi jiným i otázky nářečního vývoje českého a slovenského jazyka a že tato jeho pozorování, byť se za vlastně dialektologická považovat nedají, mají pro nás i dnes cenu dat někdy základních.

Prof. Dr Ján Stanislav (Bratislava) doplnil tento příspěvek údaji o faktech ze slovenštiny u Dobrovského. V dílech J. Dobrovského a zejména v korespondenci s Ribayem je řada dokladů na to, jak se Dobrovský zajímal o historický vývoj slovenštiny. Některé nářeční jevy, které znal od Ribaye a snad i od jiných Slováků, bychom dnes už dost těžko hledali v živé lidové řeči. Tak na př. neznáme výraz *pol vtora* (= pol druha), který Dobrovský uvádí ze slovenštiny v Lehrgeb. 1819, 85. J. Ribay oznamuje Dobrovskému v dopise ze dne 22. června 1787, že v Hontě a Novohradě se užívá tvaru *ni* místo *nás, nám.* Dnes je tento tvar méně rozšířen. Je zajímavé, že Ribay v tomto dopise za nejčistší a nejsprávnější slovenštinu pokládá nářečí hontské a nevohradské. Píše mu, že tomuto nářečí je nejbližší jazyk v Turci, Liptově, a částečně na Oravě a v Trenčíně. Po tak dlouhé době pokládáme oblast Hontu a Novohradu historicky za nejrázovitější, takže jsme nakloněni dělit střední slovenštinu na jižní a severní, přitom jižní nás zvláště zajímá pro své zvláštnosti v historickém vývoji. V tomto dopise uvádí na př. tvary *kod, kody,* které podle dnešního savu zkoumání byly více rozšířeny než dnes. Ribay psal 10. července 1807, že Slováci užívají tvarů *jaros* (toto jaro), *večeros* (tento večer), *rános* (toto ráno, tohoto rána). Nevíme, že by tyto tvary existovaly ještě dnes. U nejednoho jevu se můžeme opírat o materiál, který uvádí ze slovenštiny J. Dobrovský nebo J. Ribay. Dobrovský používal historickosrovnávací metody a kladl na ni důraz. Bez srovnávacího hlediska by se slovenská historická gramatika těžko sestavovala a byla by kusá. Tato metoda nám pomáhá při chronologii takového jevu, jako je koncovka 1. os. sg. praes. na *-m.* Pomáhá i u jiných jevů. — Dobrovský si při své práci nic nevymýšlel, ale všechno vyvozoval z materiálu. Toto stanovisko nelze nezdůrazňovat při posuzování vývoje mnohých prvků slovenského jazyka. Vezměme si na př. zájmenné tvary *moja, môjho, môjmu.* O vývoji těchto tvarů se psalo a poukazovalo se na možné vývojové cesty.[13]) Přitom se nepoužilo materiálu z listin a pod. Ten ukazuje, že ve slovenštině byla kontrakce i u tohoto typu, t. j. byly tvary mého, mému, resp. mieho, miemu, mích (mých) a že dnešní formy jsou novotvary, které se šíří od konce 15. stol. Metoda J. Dobrovského nám velmi často ukazuje správnou cestu vývoje slovenského jazyka.

Ke konci diskuse promluvil akad. Havránek. Ve všech referátech i v diskusi byla konstatována ohromná šíře znalostí a zájmů Dobrovského, avšak ani zde na konferenci, ani v publikacích se ještě neprojevila v celé úplnosti a do všech podrobností. Na př. Dobrovský zasáhl do studia jazyka Polabských Slovanů; tím úsekem díla Dobrovského se dosud nikdo neobíral. Jsou tam vždy i cenné poznámky srovnávací (o češtině, polštině, lužické srbštině). I srovnávací studium zásoby slov a srovnávací etymologie Dobrovského jsou důležité; zásluhu Dobrovského o základní poznání etymologického vývoje slov nelze přehlížet. Projevy Dobrovského o etymologii slov postupují od roztroušených poznámek až k soubornému zpracování v Institutiones. Nahodilé srovnávání slovanských jazyků s hebrejštinou má jiné odůvodnění než srovnávání na př. s baltskými jazyky; nutno rozlišit, co bylo tehdy jen věcí obvyklou (u kritika biblického textu) a co plyne z nového pozorování jazyka s hlediska příbuznosti a co chce osvětliti srovnáváním s jazyky indoevropskými. A i když srovnávání s neslovanskými indoevropskými jazyky

---

[13]) Ľud. Novák, *Otázka jerových střídnic a kontrakce v střední slovenštině,* Bratislava 5 (1931) 641—656 a *Kontrakcia v strednej slovenčine;* Sbor. Matice slovenské (1935) 21.

není systematické, přece ukazuje, že tyto jazyky vycházejí z jednoho vychodiska; týká se jevů mluvnických. Na př. známý Boppův výklad osobních koncovek slovesa z osobních zájmen najdeme již také naznačen v Institutiones. Počátky srovnávání indoevropských jazyků byly u Dobrovského vědomé, ne nahodilé, ale nebyly nikdy uvedeny v soustavu. Proto je Dobrovský jen předchůdcem indoevropeistiky, a ne zakladatelem. V otázkách cizího vlivu jazykového rozlišuje už vliv na stavbu gramatickou a na zásobu slovní — i v tom předbíhá dobu.[14]) Úhrnem nutno zdůraznit velkou podnětnost názorů Dobrovského na nejrůznější otázky jazyka, a to i v těch úsecích, kde nedospěl k systematické práci.

V svém závěrečném slově konstatoval referent Jaromír B ě l i č, že v diskusi k jeho referátu nebylo kritických připomínek k jeho vývodům, kromě příspěvku prof. Jílka, na nějž už reagoval akademik Havránek. Omezil se proto pouze na několik poznámek. — Soudruh Blanár mimo jiné podal objektivní a výstižný přehled názorů Dobrovského na slovenštinu. Je velmi důležité uvědomit si celý tento soubor názorů, neboť některých výroků Dobrovského o slovenštině badatelé stojící na posicích buržoasního čechoslovakismu jednostranně zneužívali, vybírajíce si z nich jen to, co se jim hodilo, a zamlčujíce výroky jiné i celkový vývoj názorů Dobrovského. Jisté kolísání Dobrovského v poměru k slovenštině vyplývá nepochybně i z toho, že v době konstituování českého národa nebyly na samém Slovensku poměry ještě zcela jasné. — U koreferátu prof. Vážného je třeba vyzvednout zvláště jeho široké zařazení Dobrovského do zrodu mezinárodní historicko-srovnávací jazykovědy. Bylo by možno jít ještě dále. Zrod novodobé vědy vůbec zřetelně souvisel s nástupem buržoasie. Rozvoj skutečné vědy přispívá k společenskému pokroku, proto i progresivní mladá buržoasie vítala, vytvářela a požadovala reální, materiálově podloženou, nemystickou vědu. Naši pracovníci se nemohli isolovat a neisolovali od vědeckého života mezinárodního; leccos přitom samozřejmě i přejímali, ale hodně přinášeli v mezinárodní spolupráci také vlastního. — Pokud jde o historickou hodnotu materiálu nashromážděného Dobrovským, pěkné svědectví tu přinesl prof. Stanislav. — Prof. Horálek ve svém příspěvku narazil na otázku typologie a tím přecházel k živé a aktuální naší problematice dnešní. Je škoda, že se diskuse v tomto směru nerozvinula dále. — Jinak přinesla diskuse řadu hodnotných dodatků k správnému ocenění Dobrovského jako vynikajícího jazykovědce, který po mnoha stránkách daleko předstihl svou dobu.

Na závěr zasedání jazykovědného oddělení přednesl jménem celé sekce prof. Dr Karel Horálek návrh usnesení jazykové sekce, které bylo pak pojato do celkového usnesení konference (viz zde str. 265).

Miloš Helcl, Jan Svoboda, Zoe Hauptová

Jednání sekce literatury se soustředilo kolem tří hlavních referátů, přednesených prof. Dr Josefem H r a b á k e m, akademikem Janem M u k a ř o v s k ý m a prof. Dr Felixem V o d i č k o u. Referáty, věnované několika z nejvýznačnějších otázek a rysů Dobrovského vědeckého díla, vyvolaly diskuse a spolu s nimi ujasnily nejen další otázky, které je třeba zodpovědět při poznávání a hodnocení celého našeho obrození a díla nejvýznačnějších vědeckých a uměleckých osobností této doby, ale naznačily metodický směr vší naší nové literárně historické práce, usilující o prozkoumání starších obodbí literárního vývoje.

V úvodním referátu podal prof. Dr Josef H r a b á k rozbor Dobrovského periodisace české literatury, otázky, která je klíčem k poznání jeho celkové koncepce našeho

---

[14]) Srov. o srovnávání jazyků indoevropských a o otázce cizího vlivu u Dobrovského podrobněji v příspěvku B. H a v r á n k a, *Význam Josefa Dobrovského pro slovenskou jazykovědu* v uvedeném sborníku *Josef Dobrovský*, str. 102 n. a 105 n., o studiích jazyka Polab. Slovanů v. tamže, str. 100.

literárního vývoje.[1]) Hrabák ukázal, jak velikou zásluhou Dobrovského je, že jako první u nás pohlížel na literární minulost jako na vývojový proces a ve svých literárně historických pracích tak dějiny zobrazil, při čemž tuto svou koncepci opřel o historii českého jazyka, pojatého jako prostředek společenského styku. Dobrovský-literární historik vyrostl z Dobrovského-jazykovědce a v české literatuře minulosti viděl především doklady velkého rozvoje českého jazyka na rozdíl od onoho neutěšeného stavu, v němž byla čeština v poslední čtvrtině 18. století, v době Dobrovského vědeckých počátků. Ve srovnání s literárně historickou prací předchůdců se proto v Dobrovského díle materiál dějin české literatury zužuje na díla psaná česky. Pokrokovost této koncepce vyplyne jasněji, uvědomíme-li si, že v dané době právě zřetel jazykový je rozhodujícím prvkem, který určuje ráz procesu vytváření českého národa.

Určil-li Dobrovský za základní hledisko své periodisace literárního vývoje vývoj jazyka jako prostředku společenského styku, umožnilo mu to určit vývojové mezníky, stanovit vývojový rytmus české literatury a tím i společenského vývoje vůbec. Neshody Dobrovského periodisace s dnešním vymezením jsou způsobeny hlavně kusým materiálem, který měl Dobrovský po ruce. Zřetel jazykový určil ovšem i Dobrovského hodnocení jednotlivých epoch českého literárního vývoje. Dobrovský v nich sleduje vlastně proces zlidovění literatury a vidí tedy právem až do r. 1620 neustále vzestupnou linku vývoje. Spíš než se zřetele ideového vychází tak vysoké hodnocení husitství u Dobrovského s hlediska toho, jakého rozkvětu došla čeština v období husitských válek. Podobně hodnotí-li Dobrovský období mezi lety 1520 a 1620 jako „krásný, zlatý věk české literatury“, má na mysli především růst české literatury do šířky, zatím co hodnocení vlastního literárního významu děl tohoto období ustupuje do pozadí. Předbělohorské období označuje Dobrovský ovšem jako dobu novější; vidí v ní dosud bezprostředně působící odkaz lepší minulosti, na který nutno navazovat ve snaze o nový rozkvět české literatury. Pobělohorská doba se pak Dobrovskému jeví jako největší úpadek. Pro hodnocení této doby uplatňuje Dobrovský i ideoloigcké hledisko na rozdíl od hodnocení starších vývojových etap. Tento úsudek nebyl diktován jen historikem jazyka, ale i nadšeným osvícencem, který proti ideovému dědictví pobělohorského baroka útočil od počátku své vědecké dráhy (rozborem zlomku evangelia sv. Marka atd.).

Dobrovského vědecké dílo se nám jeví jako spolehlivý základ, na němž je možno rozvinout nové marxistické zhodnocení staročeské literatury, ale je nám i živým příkladem pro vlastní vědeckou práci v Dobrovského poměru ke studované látce a v živé účasti na pokrokovém snažení jeho doby.[2])

Diskusi o Hrabákově referátu zahájil již svým koreferátem akad. Andrej Mráz. Uvedl, že při oceňování nelze zapomínat ani na to, čím byl Dobrovský při vytváření své koncepce omezen, to jest do jaké míry jeho jednostranně jazyková hlediska zjednodušovala problém na př. již tím, že do dějin naší literatury nezahrnoval díla psaná latinsky, případně i německy. Přílišné zahledění do minulosti českého jazyka znemožňovalo Dobrovskému i správné zhodnocení nových snah, počátku nového vývoje jazykového i literárního, uskutečovaného za jeho přítomné spolupráce. To souviselo i s tím, že Dobrovský si nebyl dost vědom společenských podmínek vzniku nové literatury, souvisících s nástu-

---

[1]) Hrabákův referát rozvedl některé these z autorovy studie *Josef Dobrovský a kulturní dědictví,* otištěné ve sborníku Josef Dobrovský 1753—1953, Praha 1953, 344—360.
[2]) Hlavní these všech tří referátů, přednesených v literární sekci, přejímáme z cyklostylovaného letáku, který vydal Slovanský ústav pro účastníky konference.

pem nové třídy. Nesporné však je, že i přes tato omezení Dobrovský kul svou prací zbraně k zápasu s minulostí. Za velmi kladný přínos Dobrovského označil Mráz systematické začlenění faktů ze slovenské oblasti do celkového obrazu české literatury. Dobrovský byl ze všech literárních pracovníků své doby relativně nejlépe informován o slovenských literárních poměrech v minulosti i přítomnosti a spolupráce se slovenskými literáty mu umožnila ovlivňovat jejich činnost. Jiného druhu je otázka Dobrovského názoru na Bernolákův pokus o jazykovou odluku. Ten musil Dobrovský se svého hlediska považovat za nesprávný ústupek, za porušení positivní tradice.

Akademik Jan Mukařovský upozornil na pojetí Zdeňka Nejedlého, který dokládá, jak hluboce ideového pohledu na dějiny a zvlášť na husitství se Dobrovský dopracoval. Nesmí tu ovšem mást suchost a střízlivost Dobrovského výkladů, daná celou jeho metodou vědecké práce. Mukařovský soudí, že nelze mluvit o nezájmu Dobrovského o estetické otázky. Svědčí proti tomu celá Dobrovského prosodická teorie i přímá svědectví v díle a korespondenci, na př. nadšený obdiv pro estetické hodnoty písně *Ktož jsú boží bojovníci.* Otázku vztahu Dobrovského ke generaci Jungmannově bude třeba zkoumat v rámci problematiky celého obrození. Mnohé věci viděl Dobrovský jasněji než mladší pracovníci, na př. otázku lidovosti.

Prof. Dr J. B. Čapek připomněl v souvislosti s Dobrovského estetickými názory knihu J. Ludvíkovského *Dobrovského klasická humanita,* která přispívá zvlášť k objasnění Dobrovského vztahu k latinskému humanismu, a upozornil, že je zapotřebí detailněji vyložit, jak se filolog Dobrovský stával literárním historikem. Zajímavý materiál pro takový výklad přinášejí na př. některé Dobrovského recense.

Dr František Svejkovský se v diskusi zabýval Dobrovského názory na vydávání staročeských textů. Od Dobrovského vyšel podnět k transkribování starých textů a Dobrovský sám programaticky žádal jejich vydávání pro potřeby vědeckého studia. Jeho vlastní ediční práce je nevelká, vlastně jen úryvky v dějinách a ukázky v časopisech, tím větší je však význam jeho názorů na vydávání pro výchovu mladších pracovníků, Palackého, Hanky, Erbena, Šafaříka. Od Dobrovského jde tak přímá cesta až k edicím Gebauerovým.

Prof. Dr Milan Pišút doplnil referentův výklad poznámkou, že to nebyl jen zřetel jazykový, co vedlo Dobrovského k stanovení jeho periodisačních dělítek. Značný význam tu měl i zřetel ideový, totiž Dobrovského snaha sloužit lidu. V zaměření svého díla byl tak Dobrovský mnohem pokrokovější než osvícenský kruh vídeňský, s čímž úzce souvisí i ostře kritický postoj Dobrovského k náboženské církevní literatuře.

Dr Slavomír Wollman upozornil, že osvícenství, klasicismus a národní obrození bude třeba zkoumat jako jevy třídně složité, na kterých se podílí několik společenských vrstev; uvedl, jak tyto otázky propracovává bádání ruské a polské. — K otázce, zda Dobrovského hledisko bylo převážně jazykovědné či literárněvědné, poznamenal, že Dobrovský nazíral jazyková i literární fakta s hlediska filologické metody.

Vydavatel Dobrovského díla Dr Benjamin Jedlička polemisoval proti tradici, že Dobrovský byl především jazykozpytec a že jeho práce literárně historické byly jen odvozeny z hlavního zřetele filologického. Naopak velký zájem o současnou literaturu, který se projevuje v Dobrovského časopisech, nevyplýval jen z erudice jazykozpytné, podobně jako z ní nemohl vyplynout téměř žurnalistický charakter Dobrovského drobných literárních prací, článků a recensí, hlavně z posledního tvůrčího období, naplněných skvělou kritikou nejen jazykozpytnou, ale i literárně historickou a společenskou (na př. kritika Jungmanna, Šafaříka, rukopisného boje). Všechny tyto práce stejně jako Geschichte,

skvělá synthesa právě literárně historická, svědčí o tom, že literární historie byla Dobrovskému docela samostatnou disciplinou.

Referent Josef Hrabák odpověděl na některé námitky. Nejde o to, že by Dobrovský otázky estetické a ideologické opomíjel vůbec, nevychází však se zřetele ideologického při určování periodisačních mezníků. Nicméně právě jeho pojetí jazyka jako nositele společenského styku a vzdělanosti (jemuž diskuse v mnohém nebyla práva) mu umožnilo stanovit periody vývoje české literatury v podstatě správně. Kořen rozporů mezi Dobrovským a generací Jungmannovou je nutno vidět v různých fázích vývoje společnosti, v nichž působili, a v důsledku toho i ve změněném poměru mladých pracovníků k hlavní látce Dobrovského literárního studia, ke staročeské literatuře.

V závěrečných slovech ukázal předsedající prof. Dr Julius Dolanský na hlavní otázky, které formuloval referát i diskuse a jimiž se ústavy akademie musí ve své další práci zabývat: otázku osvícenství, třídní podstaty obrození a Dobrovského vědecké metody literární historie a kritiky.

Akademik Jan Mukařovský rozváděl svým referátem tyto hlavní these:

Dobrovského prosodické úsilí je nutno zkoumat v souvislosti s vývojem hospodářským a společenským. Protikladnost prosodických názorů Dobrovského a názorů Jungmannových a autorů *Počátků českého básnictví* je odrazem soudobého vývoje třídních rozporů v české společnosti.

Prosodická reforma Dobrovského ve vztahu k Dobrovského vědeckému dílu jako celku i k vědecké osobnosti Dobrovského: v Dobrovského prosodické reformě splývá vědecký zájem s uměleckým, tato reforma je jeden ze základních vědeckých činů Dobrovského a zároveň trvalý základ všeho dalšího vývoje české básnické formy a českého básnictví vůbec. Je příkladem vědecké práce, zasahující tvořivě do života společnosti.

Jaký význam má Dobrovského prosodická reforma pro dějiny české literatury? Není pravidlem, jehož strohá aplikace by rozhodovala o rytmické dokonalosti českých veršů, ale je základnou všeho dalšího vývoje českého verše. Jungmann a autoři Počátků českého básnictví hájili proti Dobrovskému časomíru, jež se však jako prosodický systém českého básnictví neosvědčila; vnesli však zároveň do vývoje českého verše trvalé dialektické napětí mezi směřováním k schematické pravidelnosti a směřováním k rytmické rozmanitosti. Tato dialektická antinomie umožňuje při zachování zásadní platnosti Dobrovského prosodického principu historicky živé a individuálně pružné sepětí rytmické formy verše s ideovým obsahem díla.

Tak zvané prosodické boje ve dvacátých letech 19. století vysvětloval Josef Král ve spise O prosodii české jako záležitost pouhé básnické formy a jako výsledek osobních vztahů mezi soudobými vědeckými a uměleckými pracovníky. Tyto boje, v nichž se platnost Dobrovského prosodických názorů definitivně projevila, se zdaleka netýkaly jen básnické formy, už proto ne, že v nich byla položena otázka společenského dosahu uměleckého mistrovství v poesii; k jejímu kladnému dořešení došlo teprve později — příkladem je tu poesie Erbenova, lidová do všech důsledků a zároveň přímo základ dalšího rozvoje uměleckého mistrovství, právě i rytmického. Prosodické boje nebyly také pouhým výsledkem osobních přátelství nebo nepřátelství mezi buditeli, nýbrž odrazem jistého procesu v celé české kultuře. O tom svědčí jejich současnost se sporem pravopisným a se sporem o pravost rukopisu Zelenohorského. Ani jako příznak pouhého generačního boje nemohou být označeny. Jde tu o nalezení správného vztahu mezi minulým a budoucím v české kultuře, vztahu, který byl aktuální právě po přerušení vývoje dobou Temna. Dobrovský byl

ve všech těchto sporech na straně pokroku, ale svými zásahy do nich přijal historickou úlohu oné objektivní síly, která boj o právo na kulturní obnovu na prahu národního obrození uvedla v pohyb.[3])

Diskusi o tomto referátu zahájil Dr Karel Polák a doplnil vývody Mukařovského poukazem na to, jak dogmatické chápání Dobrovského prosodických názorů, úzkostlivé lpění na strojově pravidelném rytmu veršů se stalo brzdou básnického výrazu na př. v epických básních bratří Nejedlých a tím i jedním z důvodů jejich neživotnosti. Naopak na básních Š. Hněvkovského je zřejmé, jak tvořivé pochopení Dobrovského zásad vedlo k tvorbě básní po výrazové i rytmické stránce svěžích i živých až do dnešní doby. Na teoretické úvahy i tvůrčí praxi členů Puchmajerovy básnické družiny mohly však působit i terminologické nejasnosti plynoucí z toho, že Dobrovský formuloval svá pravidla české prosodie německy. Polák uvedl zajímavý doklad z Dobrovského definice českého přízvuku (za jeho základ považuje Dobrovský „die Erhebung der Stimme“, zesílení hlasu, ne tedy „Erhöhung“, zvýšení ve smyslu musikálním).

Všichni další účastníci diskuse se zabývali s různých hledisek vzájemným vztahem prosodických názorů Dobrovského a autorů Počátků, jejich hodnocením a úvahami o míře historického významu časomíry.

Andrej Mráz polemisoval s představou, jako by úsilí Šafaříka a Palackého bylo motivováno snahou o získání vyšších vrstev pro českou poesii. Stopy takové snahy je možno najít naopak spíš u Dobrovského, jak ostatně odpovídá historickému a společenskému kontextu jeho života a díla. Podle Mrázova názoru bylo úsilí autorů Počátků výrazem nových společenských potřeb, hlavně touhy vytvořit povědomí o rovnocennosti buržoasní kultury s kulturou feudální, jejímž typickým projevem byl klasicismus, v literatuře vnějškově representovaný časomírou. V úvaze o místě Dobrovského v pokrokovém úsilí jeho doby vyšel Mráz od osobnosti Dobrovského jako osvícence sui generis, který sice viděl vnitřní společenské rozpory, neuvědomoval si je však nijak důrazně a snažil se je zharmonisovat. V porovnání s úsilím mladší generace se práce Dobrovského jeví do značné míry jako dílo kabinetního vědce. To platí i pro jeho teorii prosodickou. Dobrovský v ní prostě vysledoval přízvukové vlastnosti češtiny; byla otázkou jeho odbornosti, nelze v ní shledávat uvědomělou snahu o demokratisaci literatury jako v knize Palackého a Šafaříkově. Na Slovensku byla situace v mnohém obdobná: na př. Tablic byl ve svých básnických počátcích jedním z přívrženců přízvučné prosodie, po vystoupení Palackého a Šafaříkově ho však jeho klasická vzdělanost ihned převedla na jejich stranu. Není také náhodou, že i Jan Kollár psal své nejpokrokovější a nejútočnější básně časoměrně.

Dr Jan Jíša se naproti tomu pokusil vyložit Počátky jako dobře míněný, ale mylný pokus o stanovení nového směru poesie, jakých znají dějiny víc (na př. úsilí o vybudování proletářské poesie v SSSR ve dvacátých letech, kdy koncepce proletářské literatury byla nesprávná, třebaže ji vytvářeli upřímní revolucionáři, a správná koncepce Majakovského byla naproti tomu přehlížena a potlačována).

Milan Pišút pronesl domněnku, že ne vlastní prosodická teorie Dobrovského, ale její praktické uskutečnění v pracích Puchmajerova básnického kruhu vyvolalo reakci mladší generace. Intelektuálně vyspělé mladší skupině, jejímu estetickému cítění tato poesie nevyhovovala, viděli nutnost jít výš a dál. Studium lidové poesie neukázalo však dosud perspektivy další cesty českého básnictví, a proto hledali v antické poesii příklad pro vlastní úsilí. Časomíra jim na druhé straně byla prostředkem, jímž chtěli do české poesie vnést pokrokové ideje a umožnit jim proniknutí do konservativnějších vrstev

[3]) Referát byl autorem přepracován a otištěn jako studie pod názvem *Dobrovského Česká prosodie a prosodické boje jí podnícené* v časopise Česká literatura 2 (1954) 1—29.

společnosti. Vzorem jim mohla být i soudobá časoměrná poesie maďarská, bohatá na pokroková díla, jako na př. epos *Lúdas Matyi* (1814), oslava lidového hrdiny. Palacký a Šafařík však zřejmě netrvali na časomíře jako na jediném prosodickém systému, vhodném pro českou poesii. Starali se i o sbírání lidových písní a byli si patrně vědomi toho, že právě tato složka národní kultury sehraje významnou úlohu v budoucím vývoji českého básnictví. Otázku Počátků nelze tedy řešit jednoznačně tak, jako to učinili Vlček a Jakubec, kteří je prohlásili bez rozboru situace za Palackého a Šafaříkův omyl.

Doc. Dr Oldřich Králík upozornil v diskusi na zajímavý doklad odmítavého postoje lidu k časoměrné poesii, jak se projevuje slovy písničkáře Pohořalského v Klicperově Divotvorném klobouku.

Příspěvky Benjamina Jedličky a doc. Dr Artura Závodského ukázaly hlavně na to, jak blízký je Dobrovský naší době nejen svými charakteristickými znaky vědce, který zasahuje do společenského dění vždy na straně pokrokových sil a účastní se kritikou současného literárního života, ale přímo i některými výsledky vlastní vědecké práce (na př. postojem k RZ, stíráním rozdílů mezi literární historií a kritikou).

V závěrečném shrnutí diskuse se Jan Mukařovský zabýval hlavně podněty, kterými přispěla diskuse k zhodnocení významu prosodické teorie Dobrovského a teoretických názorů Palackého a Šafaříkových. V historické situaci prosodických bojů je třeba pohlížet na obě stanoviska jako na odraz diferenciace v rámci téže třídy, způsobené rychlým sociálně ekonomickým vývojem na počátku 19. století. Epochální význam prosodické teorie Dobrovského je dán tím, že vznikla na základě vědeckého poznání zákonů přízvuku v českém jazyce, základním materiálu české literatury. Omezený historický význam časomíry v počátcích novočeské poesie spočívá hlavně v tom, že vyvedla z rovnováhy puchmajerovský veršový systém, který se dostal do slepé uličky a nemohl se tak stát východiskem dalšího vývoje českého básnictví. Diskuse jasně ukázala, že boj o prosodický systém nebyl isolovaným problémem, ale že tu šlo o základní otázku, bude-li literatura sloužit celému rodícímu se národu nebo bude-li zaměřena na úzký okruh konsumentů. Další vývoj přinesl synthesu všeho kladného, co oba protichůdné systémy obsahovaly, hlavně v díle Erbenově. V dané chvíli se však prosodický boj jeví jako rozpor mezi snahou o výlučnost poesie a usilování o literaturu pro nejširší čtenářský okruh, boj, v němž Dobrovský stál díky vědeckému poznání na straně pokrokových snah demokratisačních.

Referát prof. Dr Felixe Vodičky, vlastně úsek větší práce, otištěné v akademickém sborníku prací o Dobrovském,[4]) byl věnován *významu J. Dobrovského pro obrozenskou literaturu.* Tento význam lze objasnit jen tehdy, ukážeme-li, jakou úlohu mělo jeho vědecké dílo vzhledem k objektivním požadavkům, kladeným na českou literaturu koncem 18. století v souvislosti s likvidací feudalismu a se vznikem českého národního hnutí. Rozbor historických podmínek a specifických znaků českého národního hnutí ukazuje, že v dané situaci se proces vzniku novodobého národa soustřeďoval k otázce zajištění a upevnění jeho jazykové pospolitosti. Vzniká proto potřeba hlubší kultury spisovného jazyka, aby se mohl stát jazykem celonárodním, a zároveň potřeba literatury, která by se na základě celonárodního jazyka stala výrazem národní pospolitosti, národního života, v plné rozloze jeho kulturních potřeb. Při splňování těchto potřeb připadá zvláštní úloha pracovníkům filologickým, tedy také Dobrovskému. Při svém počátečním zájmu o český jazyk a českou minulost není Dobrovský veden úsilím apologetickým jako historisující obhájci „cti národa", spjatí s osudem národu odcizené šlechty (Pelcl, Voigt), ale vychází z posic

---

[4]) Felix Vodička, *Úloha Josefa Dobrovského při vzniku obrozenské literatury* ve sbor. Josef Dobrovský 1753—1953, Praha 1953, 303—343.

osvícenské vědy a chce svou prací sloužit životu a přítomnosti. Jen tak se Dobrovskému mohlo podařit velké dílo, postupné vypracování nové koncepce české literatury, odpovídající potřebám národního hnutí na sklonku 18. století. V této koncepci nejde už o jednotlivé osobnosti, ale o celkové jazykové národní pojetí české literatury.

Historické studium Dobrovského vycházelo tak z potřeb přítomnosti, zjišťovalo zákonitosti v historickém procesu a ukázalo současné literatuře ve starším literárním dědictví nesmírné hodnoty, zejména jazykové.

Srovnáváním s minulými stadii vývoje jazyka a literatury vyplynuly ovšem i nedostatky současného stavu. Dobrovský si byl vědom toho, že nový rozvoj literatury je podmíněn společensky, ale jeho osvícenství mu neposkytovalo možnost představit si změnu současného stavu české literatury, omezené jen na cíle lidovýchovné. Přesto vytvářel svým dílem (kodifikací mluvnickou, studiemi o tvoření slov, slovníkovými pracemi) předpoklady pro činnost jungmannovského období.

Teoretické pojetí české literatury, její hodnoty a jazykové kultury, bylo provázeno praktickou pomocí českým spisovatelům, hlavně v otázkách jazykové stránky jejich děl. Pokyny Dobrovského se opíraly o nové pojetí úkolu gramatika, který nesmí jazyk, jímž hovoří miliony lidí, mistrovat, nesmí se odtrhnout od lidu a zapomenout, že spisovný jazyk při vší své kultivovanosti musí být srozumitelný všem. Za jediný správný základ gramatické kodifikace pokládal Dobrovský usus. Ve srozumitelnosti viděl pak „jediný účel všeho mluvení a psaní“ a podle této zásady hodnotil i projevy současné literatury. Hlediskem srozumitelnosti bylo určeno i jeho stanovisko k prosodické otázce, jejímž řešením se mu podařilo sjednotit síly mladé literatury ke společnému nástupu. Zabránil tak na čas roztržce mezi literaturou lidovýchovnou a literaturou „vyšší“, směřující k náročnějším úkolům cestou jazykového experimentování.

Dobrovský poskytl tak vědeckou oporu obrozenské literatuře v prvním období jejího rozvoje, při vytváření celonárodní jazykové jednoty, a zajišťoval, aby jazyková kultura nové literatury nejen neztratila kontakt s minulostí, ale aby zároveň dobře sloužila současným potřebám a uchovala si znaky obecné srozumitelnosti.

Prof. Dr Karel K r e j č í ve svém koreferátu se zabýval především těmi otázkami, které v bádání o Dobrovském byly sporné. Předně to byla otázka Dobrovského vnímání uměleckých děl. Z některých jeho prací i výroků se tu zřetelně jeví silný rozdíl proti generaci Jungmannově. Někteří badatelé dokonce Dobrovskému vůbec upírali estetické cítění. Krejčí upozoruje, že v řešení této otázky musíme být opatrní, protože pracujeme s velmi neúplným, jednostranným materiálem. Dobrovský díla zabývající se přímo uměleckou stránkou literárních děl nepsal, nezpovídal se také ze svých dojmů čtenářských. O literatuře mluví jednak ve svých dílech jazykozpytných, jednak v korespondenci s vědeckými přáteli, která se převážně zabývá vědeckými otázkami jazykovými. Že v projevech tohoto druhu stojí v popředí zájem o jazykový charakter literárních památek, vyplývá z celkového charakteru sdělení a naprosto nesvědčí o tom, že Dobrovský by už vůbec neměl smysl pro nic jiného. Některé dochované výroky ovšem svědčí o tom, že Dobrovský skutečně i díla beletristická četl s převažujícím zájmem osvícenského učence, který se odtud chtěl něco dovědět. Jen tak je možno vysvětlit jeho výrok k Čelakovskému, že jihoslovanské lidové písně jej málo zajímají, protože v nich nejsou aoristy nebo místo v korespondenci, že romány nečte příliš rád, protože není možno se z nich dovědět žádné datum. Avšak i když abstrahujeme ode všech těchto vedlejších motivů, určujících Dobrovského soudy, přece vidíme, že mezi Dobrovským a mladší generací v estetickém cítění byl rozdíl hlubší než rozdíl, určovaný charakterem učence-filologa na straně jedné a básníka na straně druhé. Zejména jihoslovanské písně naprosto v Dob-

rovském nevzbuzovaly takové nadšení, jako v jeho mladších vrstevnících. V té věci se ovšem Dobrovský nelišil od jiných svých velkých vrstevníků, ani od J. W. Goetha, který se o „morlackých“ zpěvech sice zprvu vyjadřoval s velkým nadšením, později však velmi znatelně ochladl. Působil zde zřejmě rozdíl, určovaný společenským vývojem, který od generace Dobrovského k Čelakovskému již značně pokročil a vyvolával i řadu jiných diferencí, jaké se ostatně v jiné formě objevily mezi žáky Jungmannovými a generací K. H. Máchy. U jihoslovanských písní byl to v přední řadě jejich lidový původ a charakter, který povzbuzoval zájem generace, jež příklonem k poesii lidové se snažila vytvořit umělecký styl nové společnosti, vyrůstající na troskách feudalismu.

Benjamin Jedlička upozornil na zajímavou taktiku Dobrovského vědecké práce v odporu k Pohlovu a Šimkovu neopodstatněnému novotaření. Dobrovský se k němu stavěl naprosto záporně, pokud je prováděli lidé naprosto odtržení od lidového jazyka, filologičtí nedoukové, a k tomu v době, kdy nebylo zapotřebí rozšiřovat slovní zásobu jazyka. Dobrovský ovšem novotářství v jazyce neodsuzoval paušálně; bylo by naopak zajímavé po této stránce prozkoumat jeho vlastní česky psané články, t. j. práce z posledního tvůrčího období, kdy už se celková situace české literatury změnila natolik, že se objevila skutečná potřeba rozšířit výrazové bohatství češtiny v různých oblastech. Dosud nebyla též diskusí docela vyjasněna oprávněnost němčiny jako jazyka, jímž Dobrovský napsal většinu svých spisů. Nutno připomenout, že čeština nebyla v té době ještě tak rozvinuta, aby mohla dost přesně tlumočit výsledky Dobrovského vědecké práce. Vedle toho se Dobrovský snažil udělat z české otázky otázku světovou. V této snaze mu byl ovšem velkou pomocí německý jazyk, tehdy obcovací vědecká řeč.

Jan Mukařovský se zabýval otázkou češství Dobrovského. Proti mínění, že Dobrovskému pomáhala v cestě k uvědomělému češství vědecká práce, připomínal vše to, co je možno vysoudit z jeho češství rodově zakotveného.

Karel Polák připomněl, že pro posouzení Dobrovského češství se nelze omezit jen na přímé výroky Dobrovského, ale je třeba bedlivě se zabývat i vzpomínkami pamětníků. Je jich sice zachováno málo, ale je nutné si povšimnout i toho, že na př. Šmilovský v povídce *Za ranních červánků* nevytváří jen své básnické pojetí Dobrovského, ale opírá se o vzpomínky kaplana Livory, který Dobrovského znal.

K otázce Dobrovského češství přispěli poznámkami i Julius Dolanský, Dr Vladimír Štěpánek a akademik Rudolf Urbánek. Dolanský uvedl některé doklady národní uvědomělosti Dobrovského a charakterisoval jeho cestu k uvědomělému češství jako boj o smysl vlastního díla. Tento vývoj se zajímavě odráží v chápání výrazu *böhmisch*, který Dobrovský zprvu pojímá jen ve smyslu teritoriálním a teprve postupným vývojem se mu jeho obsah mění. Českým šovinistou se ovšem Dobrovský nikdy nestal.

Vladimír Štěpánek uvedl, že „vědeckost Dobrovského, jeho zájem o vědecké poznávání vůbec, jeho methoda, racionalismus a kriticismus, vyrůstaly plně z ideologie doby, z potřeb a možností onoho období velkých feudálních reforem. Touto cestou se mohl Dobrovský stát vynikajícím biblistou a hebraistou, t. j. badatelem v oboru, jehož nové, kritické prozkoumání bylo ideologickou potřebou pronikavých reforem feudalismu. Že obrátil vědeckou pozornost k bohemistice, že řešil problémy důležité pro obrození národa, to je v nepopiratelném rozporu se společenskými idejemi reformátorů feudalismu. Český národ, jeho jazyk a literatura neměly v koncepci osvícenského racionalismu význam a budoucnost, byly v ideologii josefinismu něčím bezvýznamným, byly vlastně určeny k likvidaci. Genetický fakt českého původu by asi nebyl za těchto okolností dostatečnou silou, která by způsobila převrat v zájmech Dobrovského, převrat tak odporující principům, z nichž celá jeho práce vycházela. Češství, přesněji český původ došel však

uplatnění proto, že jej aktualisoval objektivní společenský proces — nový růst české národnosti".

Rudolf Urbánek vyložil rozpor mezi osvícenstvím a češstvím Dobrovského jako rozpor mezi rozumem a citem. Je proto příznačné, že citové projevy přicházely ke slovu hlavně v tragických okamžicích výbuchů Dobrovského duševní choroby. Jsou dokladem velmi složitého konfliktu v samé osobnosti Dobrovského.

V souvislosti s otázkou češství upozorňoval Dr Karel Dvořák na osud Dobrovského díla ve společnosti 19. století, kdy nebylo doceňováno ani českými radikálními demokraty.

Ředitel Ústavu slovenské literatury Dr Karol Rosenbaum poukázal na velký přínos Vodičkova referátu ve věci odlišení Dobrovského od apologetů a osvětlení jeho díla jako dalšího vývojového stupně, který po úsilí obranném směřoval k vědeckému poznání českého jazyka jako základu nové literatury. Pro poznání vlastenectví Dobrovského má velký význam i jeho učitelský vztah k mladší generaci slovenské, Kollárovi a Šafaříkovi, jimž dal základní slavistické poznatky. Dobrovského přiznávání k českému jazyku a celý jeho vztah k národu je nutno hodnotit jako otázky velkého politického dosahu.

Závěrem se vrátil prof. Vodička znovu k několika otázkám, které byly předmětem diskuse. Dobrovský psal německy, protože byl ve vědeckém kontextu, kde se psalo německy. Nebyl přesvědčen, že vědecké dílo psané česky má nějakou sociální objednávku. U děl příslušníků generace Jungmannovy je ovšem taková objednávka zřejmá. Dobrovského vlastenecké uvědomění nelze redukovat ani jen na jeho vědeckou práci, ani jen na rodovou příslušnost a citové přilnutí. V procesu uvědomování mu však vědecké studium, poznávání věcí, přispívalo v stálém prohlubování jeho vztahu k češství. Dobrovský pomáhal nakonec tomu vlastenectví, které se opíralo o národní hnutí, i když sám měl k tomuto hnutí leckdy skeptické stanovisko. Těžiště významu Dobrovského pro formování obrozenské literatury je v tom, co jí dával jako jazykozpytec. I *Geschichte der böhmische Sprache und Litteratur,* jeho hlavní literárně historická práce, je nejvýznamnější tím, jak sleduje s přihlédnutím k literatuře vývoj jazyka v jeho společenské funkci.

Konference o díle Josefa Dobrovského přispěla ke zdokonalení pracovních method naší literární vědy, stanovila nové otázky, které je třeba zodpovídat, a dokázala — zvlášť v některých diskusích — plodnost vědeckého sněmování při řešení složitých otázek, které mají základní význam pro správné poznání naší literární minulosti.

Jaroslav Kolár

Jednání sekce historické bylo zahájeno obsáhlým referátem prof. Dr Josefa Macůrka *Dobrovského pojetí českých dějin a stanovisko k našemu historickému vývoji.* Koreferáty pronesli Dr Jaroslav Vávra, prof. Dr F. M. Bartoš a prof. Dr Rudolf Holinka.[1])

Poté vystoupil v diskusi s připomínkami k přednesenému referátu, koreferátům a k některým otázkám hodnocení Dobrovského doc. Dr Milan Machovec. Mezi jiným se zabýval otázkou hodnocení t. zv. omylů Dobrovského a tím, jak celkově zcela pochybnou úlohu připsal ve svých pracích Dobrovskému Masaryk. Ve vlastním diskusním pří-

---

[1]) Všechny referáty a koreferáty jsou otištěny zde; referát Macůrkův na str. 164 n., koreferát Vávrův na str. 191 n., koreferát Bartošův na str. 198 n. a koreferát Holinkův na str. 201 n.

spěvku pak nadhodil problém filosofie dějin u Dobrovského, t. j. jeho celkového pojetí dějin a hodnocení smyslu českých dějin. Poukázal, že při řešení této otázky nelze vycházet pouze z oné periodisace dějin české řeči a literatury, uvedené ve stejnojmenném spise, nýbrž z jeho zcela rozdílného hodnocení a metodologického přístupu k jednotlivým obdobím českých dějin. Ukázal, že u Dobrovského je patrná v zárodku, byť ne zřetelně, ona filosofie českých dějin, kterou razil později jeho žák Palacký, s husitstvím jako vrcholem a smyslem české historie. Vyzdvihl zejména to, že Dobrovský byl prvním novověkým obhájcem husitství, který si nenamlouval jako předchozí obrozenečtí obhájci, že husité byli pravověrní. Naopak — byl si plně vědom toho, že husité byli kacíři. Dobrovský však klestil cestu Palackého pojetí českých dějin také svým odporem k středověkým katolickým mythům a k období temna. Dobrovský tedy již dovedl v dějinách třídit, měl k nim ideový poměr, vyrůstající z jeho pokrokového osvíceného zaměření. Jako bojovník proti mythům feudální reakce byl osvícencem nejčistšího ražení, osvícencem, tíhnoucím nikoliv k protestantismu, nýbrž k materialismu. Tento jeho ideový poměr k českým dějinám byl výrazem pokrokových zájmů protifeudálních společenských sil koncem 18. a začátku 19. století v naší vlasti.

Potom vystoupil s krátkým příspěvkem prof. Dr Vratislav Vycpálek, který připomněl zejména, že při studiu, hodnocení i popularisaci Dobrovského díla je třeba povšimnouti si i takových otázek, jako je jeho poměr k hudbě.

Prof. Dr František Kutnar ukázal, že je třeba věnovat pozornost Dobrovskému jako politickému činiteli, o kterém je možno předpokládat, že byl mluvčím tvořící se měšťanské skupiny Krameriovy, neboť jazykové požadavky, přednesené Dobrovským v jeho uvítacím projevu k Leopoldovi II., se vcelku shodují s obsahem politického snažení, jak je vyjádřeno v Krameriových novinách a jeho brožurách.

Diskusi pak shrnul člen korespondent ČSAV, doc. Dr Josef Macek, který předsedal dopolednímu jednání historické sekce. Vyzdvihl zároveň nutnost dalšího hlubokého a bedlivého studia Dobrovského díla.

Poté pronesl akademik Václav Vojtíšek referát *Dobrovský a kritika historických pramenů.*[2]) Po něm vystoupil s koreferátem prof. Macůrek.[3])

V závěru dopolední schůze historické sekce přijali její účastníci na návrh předsedajícího Macka resoluci, kterou se přihlásili k pokrokovému odkazu velikého představitele naší obrozenecké vědy, Josefa Dobrovského.[4])

Odpolední jednání historické sekce bylo zahájeno referátem akademika Jana Eisnera *Dobrovský a slovanský dávnověk.*[5]) Po jeho skončení poukázal předsedající akademik Josef Urbánek na význam kritického postoje Dobrovského k známému falsu 14. století, listu Alexandra Velikého Slovanům, a na význam historické kritiky v jeho díle vůbec. Dostalo se jí zaslouženého uznání také tím, že vydavatelé známé sbírky pramenů *Monumenta Germaniae Historica* vyzvali Dobrovského, aby zpracoval edici Jordanisova díla *Getica.* Potom pronesl koreferát prof. Dr Jiří Horák.[6]) V diskusi pak vystoupil Dr Rudolf Turek, který navázal na Eisnerovu výzvu k prohloubení a nové organisaci studia slovanských starožitností a připojil se k jeho návrhu, aby byl obnoven Věstník slovanských starožitností.

---

[2]) Referát Vojtíškův je otištěn v plném znění zde na str. 205 n.
[3]) Koreferát Macůrkův je otištěn v plném znění na str. 213 n.
[4]) Znění resoluce viz zde na str. 266.
[5]) Eisnerův referát je otištěn v plném znění na str. 217 n.
[6]) Horákův koreferát je otištěn v plném znění na str. 224 n.

Eisner dále navrhl, aby Slovanský ústav svolal poradu našich slavistů, která by vypracovala program příštího časopisu, eventuálně patřičného místa v časopise Slavia, který by bylo nutno za tím účelem rozšířit. Je třeba publikovat jednak zpravodajství slovanského dávnověku, které bude nutno postupně zdokonalovat, jednak přehledné a všam badatelům přístupné stati o slovanských počátcích.

K návrhu se připojil prof. Horák a člen korespondent ČSAV prof. Dr Jan Filip, který doporučil, aby program příštího časopisu byl širší nežli v Niederlově Věstníku. Bylo by třeba, aby obsahoval nejen přehledy a informace, ale i řešení problémů. Nemělo by být zapomenuto ani na národopis a antroplogii. Je nutno zachytit produkci všech slovanských národů. K tomu účelu by bylo také třeba zlepšit výměnu časopisů, zejména s Ukrajinskou SSR, kde výměna vázne. Závěrem upozornil Filip, že ze všeho nejdříve je třeba organisovat kádry, rozdělit úlohy a zajistit zahraniční přispěvatele.

Poté vzpomněl Horák leningradské porady slavistů r. 1946, která vytyčila přesný program studia slavistiky v mezinárodním rámci. Doporučil dále, aby návrh na nový časopis byl pojat do resoluce.

Prof. Dr Dimităr Krăndžalov upozornil na význam byzantských autorů pro studium slovanských dějin. Mezi jiným doporučil, aby se Slovanský ústav snažil získat podle možnosti úplný bonnský *Corpus*. Tento podnět podporoval také prof. Dr Jiří Cvettler. Krăndžalov se dále obrátil na Eisnera se dvěma dotazy, totiž, zda přijímá výklad, že jméno *Visla* je slovanské, a dále, v čem sovětský archeolog Arcichovskij doplňuje Niederla ve své studii o jednotě hmotné kultury u Slovanů. Eisner stručně osvětlil svůj názor na slavinitu jména Visla a dále zodpověděl dotaz o jednotě hmotné kultury dávných Slovanů. V slovanském archeologickém odkazu je řada styčných bodů, na př. v keramice, v řemeslné technice, v stavbě domu, v konstrukci hradby a v pohřebních zvycích.

Urbánek pak v závěru zhodnotil životní dílo Dobrovského, vyzdvihuje zejména jeho dokonalou vědeckou přípravu a opatrnost v úsudku. Vedle toho je u Dobrovského i silný moment citový, projevující se v jeho vřelém slovanství. Posléze poděkoval účastníkům za cenné podněty, které ukazují naší slavistice cestu vpřed.

Bohumila Zástěrová

Na společném zasedání všech tří sekcí konference Dobrovského za předsednictví akademika Mukařovského přednesl 2. XII. člen korespondent ČSAV prof. Julius Dolanský základní referát na námět *Dobrovský a slovanské literatury.*[1])

„Dobrovský vytváří také novou epochu v poměru českého národního obrození k slovanským jazykům a literaturám. On první u nás ukázal na jedinečný význam literatury pro kulturně politický život národa, stejně jako pro vzájemné poznávání různých národů, pro jejich sbližování a spolupráci. Posiloval náš lid dalekými výhledy do slovanského světa. Učil nás kritickému poznání Slovanstva a především Ruska, abychom je tím více milovali. V tom byla největší jeho síla. Dobrovským se u nás počíná také vědecké studium slovanských literatur.

Mezislovanské literární styky jsou ovšem tak staré jako samy slovanské literatury. Ale dějinná velikost Dobrovského záleží v tom, jak se dovedl nově a kriticky on první postavit ke slovanské skutečnosti. Nebylo by jeho epochální práce v oboru slavistiky

---

[1]) Text přednášky otištěn v časopise Sovětská literatura 3 (1954) č. 1, 71—86.

a nebylo by ani tak velikých úspěchů českého a slovenského národního obrození bez Ruska a jeho pomoci.

Naši buditelé v čele s Dobrovským uměli dokonale využít myšlenky slovanské spolupráce. Zdůrazňovali lásku k Slovanstvu a k Rusku jako bytostnou a nerozlučnou složku našeho „národního charakteru". Posilovali tak rostoucí vlastenectví a dodávali národního sebevědomí v bojích proti národním utlačovatelům. Dobrovský stál od počátku bděle na stráži všude tam, kde se bojovné slovanství mladé české buržoasie zvrhalo v součást buržoasního nacionalismu.

Že se zájem o Slovanstvo, o slovanské jazyky a literatury mohl stát integrální složkou našeho národního obrození, za to děkujeme především Rusku. Rusko působilo už od časů Petra Velikého až po Kateřinu II. přitažlivě na utlačované slovanské země. Celá střední a západní Evropa se živě zajímala od sklonku 17. věku o mohutnou východní velmoc. Množily se studie o Rusku v Německu, Švédsku, Anglii, Francii i j. Odtud pramenil a stále více se šířil zároveň také zájem o Slovanstvo, které bylo spjato s Ruskem příbuzností jazyků a namnoze i kulturním vývojem.

Politické a kulturní úspěchy Ruska 18. století nemohly minout bez ohlasu ani ve slovanských zemích mimo hranice Ruska. Je známo, jak obrovskou úlohu sehrála ruská pomoc v národním obrození jižních Slovanů a zvláště Srbů v 18. století. Také Polsko za Stanislava Augusta Poniatowského bylo v neustálých stycích s Ruskem. Pro obrození nesvobodných slovanských národů rakouské monarchie měly obzvlášť veliký význam hojné politické styky Rakouska a Ruska za válek proti Turkům, od míru v Karlovcích 1699 až po mír ve Svištově 1791. Císař Josef II. vyvrcholil tento vztah k Rusku spojeneckou smlouvou, když se osobně setkal s Kateřinou II. Tato jedinečná váha Ruska v mezinárodní politice 18. století a politická aktivita Ruska v tehdejší Evropě je jednou ze základních podmínek a důležitých činitelů pro vznik a růst národního hnutí v nesvobodných slovanských zemích.

Projevila se přímo nebo nepřímo už také u bezprostředních předchůdců Dobrovského u nás, zvláště u V. F. Durycha a v činnosti lipské učené Společnosti Jabłonowského, polského migranta, zaměřeného proti Rusku. Oživovala u nás starší slovanská tradice z časů humanismu a pobělohorského temna. Dobrovský zahájil svou slavistickou práci na křižovatce různých směrů. Jeho genialita je v tom, jak bystře rozpoznal celkovou situaci a jak správně si uvědomil význam studia Slovanstva, v čele s Ruskem, na základě kritického poznání skutečnosti a pravdy.

Co poznal Dobrovský ze slovanských literatur? A jaké dědictví nám tu zanechal?

Kromě hlubokých znalostí *české literatury* věnoval nejvíce pozornosti *církevně slovanskému písemnictví*, které mu poskytovalo nejvíce materiálu pro jeho jazykovědná studia. S pomocí církevní slovanštiny si řešil množství otázek také pro politické a kulturní dějiny Slovanstva. Společenství staroslověnského jazyka a písemnictví určovalo i jeho poměr k ostatním slovanským literaturám. Nejživěji se vždycky zajímal o ty slovanské literatury, které měly nějaký vztah k církevní slovanštině a které prošly církevně slovanským obdobím. Odkud zejména jeho rozsáhlé znalosti starší literatury ruské a literatur jižních Slovanů, nemluvíme-li už o dějinách českého písemnictví. A odtud ovšem vyplýval i jeho poměrně menší zájem o literaturu polskou a lužickosrbskou, kde nebylo církevně slovanských — nebo jak on říkal: »slovanských« — textů."

Druhá polovina přednášky prof. Dolanského podává ve zhuštěné zkratce celkový obraz dějin slovanských literatur, jak jepoznal Dobrovský. „Všemožně se pídil po slovanských knihách a rukopisech. Opatřoval si je i za cenu největších obětí a přes nejrůznější

překážky. Obrovský význam měla pro něho památná cesta do Ruska. Vztahy Dobrovského k *ruské literatuře* a vědě už nebyly náhodné, jak tomu bývalo u nás dříve. Dobrovský si našel bezpečnou cestu přímo do ohnisek ruské literární a vědecké práce. Pozorně sledoval zvláště činnost ruských vědeckých společností, jako byly »Voľnoje rossijskoje sobranije« v Moskvě, petrohradská »Rossijskaja akademija«, »Obščestvo ljubitelej rossijskoj slovesnosti« a j. S mnoha členy těchto společností navázal i přímé osobní styky a zapjal se svou vlastní tvůrčí prací do proudu ruského vědeckého myšlení. Nepřijímal jenom pasivně podněty ruské vědy. Účastnil se jejího rozvoje i samostatnou tvůrčí kritikou. Právem proto napsal presidentovi Ruské akademie Šiškovovi r. 1820 »My prinimajem dejateľnejšeje učastije v úspechach Rossijskoj slovesnosti, i gordimsja tem, čto i naši proizvedenija, po krajnej mere drevnejšije, uvažajutsja rossijskimi učenymi.« Poznal z vlastní četby celou starší ruskou literaturu v jejích nejvýznačnějších zjevech, od církevně slovanských počátků, od prvních letopisů a vzácných památek Kyjevské Rusi přes vývoj ruské slovesnosti ve všech dalších staletích až do své doby. Obzvláště si vážil *Pověsti vremennych let* a *Slova o polku Igorevě*. Ale živě se zajímal také o jiné vynikající zjevy a spisovatele. Vykonal tak u nás jedinečně průkopnické dílo. Seznámil nás se starším ruským písemnictvím a zaplnil tak mezeru, kterou jsme měli v poměru k Rusku od nepaměti. Méně se zajímal o výtvory nové ruské literatury, o soudobou beletrii, poesii a prózu. Ale i tu působil jeho příklad podnětně na mladší generace.

Podobný byl jeho vztah také k ostatním slovanským literaturám. Ať šlo o písemnictví jižních Slovanů, nebo o literaturu lužickosrbskou a polskou, vždycky se zajímal tvůrce naší slavistiky nejvíce o staré překlady biblí a o náboženské texty, o letopisy, kroniky, historická díla a odborné spisy jazykovědné. S tohoto hlediska znal podrobně *literatury jižních Slovanů,* zejména slovinskou, charvátskou a srbskou. Neunikla mu umělecká krása renesanční literatury dalmatské, ani svéráznost lidové poesie. Měl mezi jižními Slovany množství osobních přátel a ctitelů. Byl stržen i do prudkých bojů o nový srbský spisovný jazyk a pravopis. Za obzorem jeho poznání zůstalo ještě Bulharsko, ujařmené tehdy ještě tureckou okupací. Zato učinil u nás Dobrovský první kroky pro poznání *lužickosrbské slovesnosti* a *ukrajinské* literatury. Docela nový vztah vytvořil k bratrské *literatuře polské.* Miloval horoucně Polsko a těžce nesl jeho tragický osud po trojím dělení. Navštívil Varšavu a Krakov už při návratu z Ruska r. 1793. I ve stáří vyznával, že chce pracovat pro svobodu Polska „ze všech sil, jako by to byla jeho otčina". Sám úzce spolupracoval s nejvýznamnějšími představiteli tehdejší polské filologie a historie. Objímaje celý vývoj polské slovesnosti od nejstarších časů až po svou dobu, také tu zůstával věren především svým filologickým a historickým zájmům. Ale i tak otvíral dveře pro mladší generace. Položil pevné základy pro novou literární spolupráci mezi Čechy a Poláky. A nejeden z význačných polských hostů navštívil Prahu především proto, aby se mohl seznámit s českým „patriarchou slavistiky" a poklonit se mu.

Obrovitá byla práce, kterou u nás podnikl Dobrovský pro poznání slovanských literatur. Udivuje nejenom její kvantita, ale také kvalita. Také v poměru k literaturám zazářil u Dobrovského jeho racionalistický kriticismus a střízlivý smysl pro skutečnost. Vždycky a všude hledal jenom pravdu. Příkladem vlastního díla dal trvalé základy pro praktickou literární vzájemnost a slovanskou spolupráci. Otevřel nám nové, široké a daleké obzory do slovanského světa. Vyvedl nás tím z „babylonského zajetí" jednostranné závislosti na německé kultuře a vítězně tak překonal neblahé následky pobělohorského temna. Díváme-li se na objevitelskou činnost Dobrovského v našem vztahu k slovanským literaturám, je jasné, že geniální zakladatel naší slavistiky vykonal pro nás a pro naši další budoucnost i epochální politický čin. Položil už do samých počátků našeho národního

obrození jednu z nejkrásnějších a nejmocnějších tradic našeho lidu: lásku k Rusku a soudružnou spolupráci s mírumilovnými národy celého světa.“

Koreferát doc. Milana Machovce byl věnován *filosofickému významu díla Josefa Dobrovského.*

„Filosofičtí mluvčí upadající české buržoasie (na příklad T. G. Masaryk, Josef Tvrdý), jakož i literární vědci a historikové tohoto období (Arne Novák, Miloš Weingart, Jaroslav Ludvíkovský) sice přiznávali, že vědecké dílo Josefa Dobrovského mělo i závažný filosofický smysl, ale zcela v duchu kosmopolitního zaměření reakční české buržoasie vykládali Dobrovského filosofii jen jako odlesk západoevropských filosofických soustav. Celková metoda jejich práce byla pochybná, idealistická. Všímali si většinou pouze přímých výroků Dobrovského o tradičních filosofických otázkách. Marxistický historik musí však vzíti Dobrovského dílo jako celek a — jestliže chce stanovit jeho filosofický význam — musí zkoumat obecný — t. j. teoretický a metodický — podklad Dobrovského speciálních životních bojů.

Dobrovského vědecké dílo vyrostlo z doby počínajícího rozkladu feudalismu v habsburské monarchii. Dobrovský byl jedním z těch, kteří hledali ve vědě mocnou zbraň proti upadající církevně feudální reakci a katolictví jako její ideologické opoře. Proto neúnavně bojoval za očistu vědy od vlivů církevnictví, za poznání objektivní pravdy ve věcech, za svobodu vědecké kritiky a za co největší rozšíření pokrokových osvícenských myšlenek a vědeckých poznatků. Dobrovský nebyl pouze neúčastný divák procesu osvícení, ale neúnavný bojovník za osvícení a proti tmářství, papeženství a autoritářství. Proti církevnímu autoritářství zdůrazňoval zkušenost lidských smyslů. Jeho vášnivá láska k vědě ho odvedla od katolického náboženství, v němž byl vychován.

Jeho odklon od katolictví — protože byl podmíněn ne snahou zachránit náboženství, ale vlastními vědeckými objevy — nebyl odklonem k protestantismu, ale k materialismu. Dobrovský se sice — vlivem zaostalých společenských poměrů — nedostal až k otevřené formulaci materialismu, ale v jeho díle zřetelně vystupují některé prvky materialismu a v jeho vědomí probíhal ostrý boj mezi materialismem a idealismem, mezi nimiž kolísal. Cítil sympatie pro atheismus. Když byl přímo dotázán, hlásil se k osvícenému deismu, ale z vědecké práce důsledně vyloučil cokoliv nadpřirozeného. Pod rouškou přednášek o křesťanském náboženství šířil proticírkevní osvícenské ideje.

V jeho povaze vystupují do popředí krásné rysy bojovného humanismu člověka, který byl ještě zcela vzdálen měšťácké omezenosti: všestrannost, vášnivost, ušlechtilý charakter atd. To je zvlášť zřetelně znát na Dobrovského vlastenectví, jež bylo ještě nedotčeno nacionalismem mladé české buržoasie. Miloval vlast a ctil vše pokrokové a krásné u jiných národů. Tato jeho láska byla láskou hluboce ideovou, podmíněnou jeho velikou vírou ve vědu a pravdu. Proto příkře odsoudil podvodné metody Hankova kruhu. Ve dvacátých letech 19. století bojoval Dobrovský již s posic mladé pokrokové buržoasní vědy proti nevědeckým tendencím, pronikajícím do ní pod vlivem dobového romantismu i jesuitských subjektivistických rysů povahově zlomených jednotlivců kruhu Hankova.

Dobrovského životní boje — od vyvrácení domněnky o evangeliu Markově až po boj proti rukopisu Zelenohorskému — měly tedy vskutku svůj hluboký filosofický smysl. Jeho filosofie však nebyla pouhým odleskem názorů západoevropských filosofických autorit, jak tvrdili buržoasní vykladači, ale vyrostla z jeho vlastních životních bojů, v nichž se odrážely protikladné zájmy tříd doma ve vlasti.

Ideové dílo Dobrovského je slavnou tradicí české vědy: dodnes nám může v lecčem přispět v boji proti objektivismu, subjetktivismu a proti mythům jakéhokoliv druhu. Může nám býti vzorem lásky k vědě, úcty k faktům, k objektivní pravdě a svobodné

kritice, vzorem bojovného humanismu a hluboké ideovosti, bez čeho všeho se nelze obejít ani dnešnímu marxistickému vědci."[2])

Dr Radegast Parolek pak promluvil v koreferátu o *Dobrovském a ruském klasicismu.*

„V naší historii a literární vědě bývá často zdůrazňováno, že Dobrovský byl celým svým založením racionalista a klasicista. V předmluvě k vydání *Výboru z díla* (1953) píše o tom B. Jedlička. Důkazů je pro to dost. Již na 21. stránce Výboru ve stati *Česká literatura* čteme vášnivé vyznání Dobrovského víry v sílu rozumu a osvěty, když odpovídá na otázku, zda je možné v jeho době psát práci o české literatuře: »Před sto nebo padesáti lety se sotva mohli takto ptát; ale *dnes, za jasného poledne, kdy záře osvěty zaplašuje všecky temnoty mozku za náš obzor,* není již možno... si klást takovou otázku.«[3]) Jiným důkazem, který svědčí o jeho vztahu k estetice racionalismu a klasicismu, je samo jeho velevýznamné dílo *Česká prosodie,* jejíž zásady jsou ilustrovány připojenou *Ódou o velebnosti božské,* kterou z ruského originálu Cheraskovova přeložil Puchmajer. Bylo by možno uvést další doklady, zvláště kladný vztah Dobrovského k ódám Lomonosovovým.

Literární historik se však nemůže spokojit se zjištěním, že Dobrovský byl racionalista a klasicista. Buržoasní literární vědě to stačilo k tvrzení o nepůvodnosti Dobrovského a k všelijakým, většinou velmi pochybným závěrům o tom, kdo všecko měl na Dobrovského vliv. Dobrovský jako velký učenec a originální myslitel doslova zmizel pod nánosem všelijakých vlivů a napodobování. O tom, že Dobrovský znal mnoho autorit zahraničních, nemůže být sporu a jistě se u nich i leccemus naučil. Je však třeba vidět, že to dovedl užít pro české poměry a *samostatně* tvořit dále.

Klasicismus a racionalismus není ve všech zemích stejný. Jsou velké rozdíly jak ve formě, tak i přímo v podstatě různých odstínů těchto duchovních proudů 18. století. Sovětští literární historikové, zejména D. D. Blagoj, dokázali zásadní odlišnost klasicismu francouzského od klasicismu ruského. Dokázali dále, že každý z těchto klasicismů měl dvě křídla — pokrokové a reakční. Starší klasicismus francouzský, opěvující královský dvůr a královskou rodinu, byl veskrze proniknut pathosem podřízení jednotlivé osobnosti zájmům absolutní monarchie, ztělesněné v osobě panovníkově. Dokud byla absolutní monarchie pokrokovým jevem v dějinách, dotud byl i tento klasicismus jevem relativně kladným, neboť pomáhal ideologicky sjednocovat zemi a národ kolem krále. V Rusku vidíme podobný příklad v klasicistické poesii Lomonosovově, jež opěvovala pokrokové dílo Petra I. (*Petriada*). Avšak později, když je absolutní monarchie již reakční, stává se i klasicistická literatura, která jí slouží, rovněž jevem reakčním. (Viz v Rusku na př. básník Petrov.) Avšak na rozdíl od francouzského klasicismu, který podřizuje osobnost zájmům absolutní monarchie, ruský klasicismus ve svých nejlepších představitelích tuto monarchii kritisuje a dochází až k nejostřejší kritice ruské šlechtické společnosti (Kantemir, Fonvizin, ba i Radiščev v ódě Volnost). Pathos ruského klasicismu je u jeho nejlepších představitelů buď přímo kritický nebo občanský vlastenecký, svá themata čerpá víc z ruského života než z antiky.

Dobrovský znal ruské klasicisty a ocenil i Lomonosovovo dílo, jež položilo základy tří stylů v poetice ruského klasicismu. Schvaloval Puchmajerovy překlady z ruštiny. To jsou okolnosti, kterých si dnes velmi vážíme. Ale plně a správně tyto okolnosti lze

---

[2]) Resumé ze studie, otištěné v plném znění ve sborníku Jos. Dobrovský 1753—1953, 46 n.

[3]) Podtrhl R. Parolek.

hodnotit jen tehdy, dovedeme-li uvidět, že i my jsme měli svůj klasicismus a racionalismus, který i když měl mnohé společné rysy s ruským, přece jen se od něho lišil a vyjadřoval náš tehdejší vývoj.

Soudruh Machovec mluvil o osvícenství Dobrovského a dokazoval to široce na jeho poměru k náboženství a víře. Dokazoval, že Dobrovský byl deistou a nikoliv theistou. Jeho deismus byl mu nikoliv ústupkem idealismu vědě, nýbrž naopak. Má v tom podle všeho asi pravdu — ale to byl případ pro vědce dost častý (viz v Rusku Lomonosova). Domnívám se však, že daleko důležitější je ukázat *zvláštní rysy českého osvícenství,* jak je vidíme v Dobrovském. A tu bylo třeba ukázat, že hlavními problémy tohoto osvícenství jsou otázka jeho pojetí vlastenectví, jeho slovanství a zaměřenost k potřebám našeho obrozeneckého hnutí. Tu by se ukázalo, že Dobrovského osvícenectví má hluboce *lidové* kořeny, že vyrůstal z lidu a že jeho ideologie nesloužila absolutní monarchii, nýbrž národu, který se pod tlakem této monarchie probouzel k novému životu.

Právě takové to bude asi s Dobrovského klasicismem. To nebude klasicismus, podřizující osobnost zájmům absolutní monarchie, nýbrž klasicismus, který podřizoval osobnost, i tvůrce díla, potřebám našeho obrození a měl přitom všecky rysy osvícenecké filosofie Dobrovského. — Vytvářel pro český jazyk a verš *pevnou normu* a prosodický vzor. Není pochyby, že to byly ožehavé potřeby našeho rodícího se českého uměleckého slova, jež tolik utrpělo v mrákotách pobělohorského temna. Český klasicismus se značně lišil i od ruského. Jeho silnou notou byla nota humanistická a slovanská. (To je patrno i v pozdějších dílech, ať už čteš *Růži stolistou* — nebo *Slávy dceru.*) I když se později, jak známo, prolínal s romantismem, jeho velká a v určité době relativně pokroková úloha je nepopiratelná. (Třebaže se pozdějším čtenářům zdála klasická česká literatura neumělou a nepůvodní.) Též filologický zájem tu byl zákonitý a pro české poměry příznačný.

Hovořili jsme o vztazích Dobrovského k ruskému klasicismu a k ruské literatuře vůbec. Chtěl bych se vrátit k otázce několikrát nadhazované účastníky konference: Zda totiž měl Dobrovský nějaký vztah k Radiščevovi? Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by o něm něco věděl. Někteří tu již poukazovali na jeho vztahy k Šiškovovi a Vostokovovi. Šiškov nesporně patřil ke klasicistům reakčního zaměření. Vztahy Dobrovského k Šiškovovi byly spíš oficiálně formální. Daleko zajímavější je však otázka vztahu mezi Vostokovem a Dobrovským. Geniální ruský slavista Vostokov si velmi vážil Dobrovského a i když jejich vzájemný poměr byl kritický, považoval Dobrovského za svého učitele. Vztah Dobrovského k Vostokovovi je však neobyčejně závažným pro celé dějiny rusko-českých kulturních styků, neboť právě Vostokov je představitelem radiščevského křídla ruské literatury. Jeho klasicismus jde ve šlépějích Radiščevovy *Volnosti.* Vostokov se stává po smrti Radiščevově členem nevelikého kroužku básníků — radiščevců. K nim patřili ještě Ivan Born, Ivan Pnin a Vasilij Popugajev. Radiščevci měli živý zájem o Slovanstvo. Jejich slovanství není však oficiálním, carským, pravoslavným panslavismem. Snili o federaci svobodných slovanských národů. I v tom byli následovníky velikého genia Radiščevova, který předpovídal lidu slovanských zemí svobodu a velikou budoucnost:

О народ, народ преславной!
Твои поздные потомки
Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной,
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят... природу даже, —

И пред их могущим взором
Пред лицом их озарённым
Славою побед огромных
Ниц падут цари и царства . . .

(Písně zpívané při závodech na počest staroslovanských bohů.)

Radiščev, pěvec svobody slovanského lidu, znal Čechy a byl vřelým ctitelem jednoho z největších synů našeho národa — Mistra Jana H u s a. Hus podobně jako Galileo Galilei byl jeho oblíbeným hrdinou. Tyto dva muže si bral za příklad v boji. Ve vyhnanství na Sibiři obraz Husa mu pomáhal snášet těžký osud. Věděl, že jako Hus i on předběhl svou dobu a že dobové podmínky v Rusku ještě nebyly zralé pro svržení samovlády. O tom všem svědčí slova, která napsal ze Sibiře svému příteli:

«Нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоан Гус издыхает во пламени, Галилеи влечётся в темницу, друг вам в Илимск заточается».

Radiščevovské pokrokové slovanství přejali jako dědictví básníci radiščevci a po nich děkabristé a Gercen. Stačí připomenout děkabristický tajný Spolek sjednocených Slovanů, O d o j e v s k é h o báseň *Slovanské dívky* a G e r c e n ů v *Kolokol*. Odtud jde přímá linie revolučního pojetí slovanské otázky celou pokrokovou ruskou literaturou 19. století. V této linii má své místo též radiščevovec Vostokov. Jeho slovanské studie počínají ještě za života Radiščevova. Jeho pokroková poesie se dotýká slovanského thematu zejména cyklem Srbských a českých písní. V jedné z nich, *Češka*, zvučí hrdá bojovná nota:

Если б знала я,
Мое дитятко,
Что ты будешь чех
верный, доблестный, —
Обвила бы я
Тебя розами
Тебя розами
Благовонными.
(Грянул гром тогда!)

Если б знала я,
Мало дитятко,
Что ты будешь чех
Малодушный, злой, —
Обвила б я тебя
Жестким тростием
И в колючий терн
Тебя бросила б!

Jde tu zřejmě o Vostokovův překlad známé Hankovy básně. (Viz sborník „Поэты радищевцы“, Leningrad 1952, 345.) A tento velký ruský učenec a básník *ctil našeho Dobrovského*! Vztah Dobrovského a Vostokova je světlou stránkou v bohaté knize vzájemných vztahů *nejpokrokovější linie* ruské i české kultury. Tento fakt je třeba náležitě ocenit.“

PhDr Jaroslav V á v r a připojil několik slov na okraj diskutovaných otázek *ke vztahu Josefa Dobrovského k Rusku a k poměru J. Dobrovského k soudobé společnosti, zejména k širokým lidovým vrstvám.*

„Objevné cesty na Rus v letech 1792—1793 se účastnili dva členové Královské české společnosti nauk; její sekretář, vynikající již filolog Josef Dobrovský a člen Spo-

lečnosti, uznávaný tehdy přírodovědec hrabě Jáchym Šternberk. Vzájemné vztahy obou těchto mužů, nesmlouvavých osvícenců, byly přátelské a jejich názory na současné otázky si byly značně blízké. Šternberk vydal proslulou Dobrovského politickou řeč před Leopoldem II. již v r. 1791 jako zvláštní, necensurovanou brožuru a i později podporoval Učenou společnost v jejích zemsky vlasteneckých snahách; dával též najevo — i hmotně — své sympatie k obrozující se české literatuře. Dalo by se tedy očekávat, že oba čeští osvícenci se budou jak v pohledu na Rusko, tak v politických závěrech a praktických vývodech z cesty na Rus shodovat. Přes jisté nesnáze takového srovnání — Dobrovský svá pozorování ruského života nezahrnul do Literárních zpráv o švédské a ruské cestě a ani později svůj úmysl v tomto směru nerealisoval — můžeme zjistit zejména srovnáním Dobrovského zmínek a náznaků v jeho korespondenci s příslušnými náměty v obou Šternberkových cestopisech o Rusku shodný postoj obou cestovatelů v pohledu na soudobé Rusko. Je to na př. živý zájem o sociální postavení ruského lidu, charakteristika ruské šlechty a ruské inteligence, názor na pravosloví a pravoslavné kněžstvo atd. Šternberk ostře kritisuje a rozhodně odmítá nevolnické právo, vyslovuje soucit se zuboženými, bezprávnými nevolníky, tuší svérázné a bohaté nadání ruského lidu, jež se nemůže svobodně rozvinout, líbí se mu národní ruské písně a zvyky, odsuzuje nevzdělanost šlechty a povrchnost inteligence, ironicky mluví o církevních obřadech a knězích. V tom všem s ním byl Dobrovský jistě zajedno a jeho formulace jsou někdy při vší stručnosti výstižnější než líčení Šternberkovo. Jsou však i rozdíly, a to tak podstatné, že je nelze vysvětlit jinak, než názorovými rozdíly mluvčích dvou společenských tříd: mluvčího aristokracie, která v osvícenství, slovy jakkoli radikálním, a ve vlastenectví výlučně teritoriálním vidí konec konců jen prostředek, jak upevnit své hroutící se třídní posice. A mluvčího rodící se české buržoasie, která s obavami hledí do budoucnosti a hledá opory pro své národně obrozenské úsilí. Je to rozdíl v postoji k potřebám českého národně obrozenského hnutí. Zatím co Šternberk se dívá na ruskou kulturu svrchu a vidí v ní jen cizokrajný import západu a přesto že dosti podrobně líčí stav osvěty v Rusku, nejmenuje a nezná jediného ruského spisovatele (s výjimkou Kateřiny II.!) — je Dobrovský poučen o ruské kultuře a osvětě jako málokdo za hranicemi Ruska. Ovšem to mohlo být ovlivněno rozdíly na vědeckých zájmech. Vezměme však na př. otázku zahraniční politiky Ruska! Šternberk pokoušeje se o ekonomický výklad, líčí Rusko jako vysloveně výbojný, přímo loupeživý stát. Opakem Ruska je Šternberkovi — Prusko Fridricha II., stát hospodářsky prý kvetoucí dík hospodářským a jiným reformám Fridrichovým. Zde Šternberk jakoby pruskou výbojnost neviděl, zavírá před ní, on, český zemský patriot, oči. Dobrovský naproti tomu vidí ve válkách, jež Rusko vede, nejen prostředek mocenského, teritoriálního rozmachu, nýbrž osvoboditelský čin ve prospěch Tureckem porobených balkánských Slovanů. A pokud jde o Prusko, tu Dobrovský v hloubi duše si přeje, aby pruský král byl přinucen vrátit uloupené slovanské země, aby Prusko bylo potrestáno za lup, jehož se dopustilo na českém státu.

A konečně — jak se odrazilo bezprostřední poznání Ruska v další činnosti obou osvícenců? Šternberk, vydav záhy po sobě své dva cestopisy, ztrácí o Rusko zájem. V celé jeho další vědecké a veřejné činnosti nenajdeme podstatnější ohlas ruských věcí. Zcela jinak Dobrovský. Stačí připomenout soustavný zájem o ruštinu a její příbuznost s češtinou, o ruskou odbornou i krásnou, zejména starší literaturu a jeho promyšlenou propagační i pedagogickou, do odborných vlasteneckých i širokých veřejných vrstev zaměřenou práci. Máme u něho však doložen i bystrý postřeh politický. Jak dosvědčil Ant. Marek, nezapochyboval Dobrovský — snad jediný u nás — od prvé chvíle o konečném vítězství ruského lidu nad Napoleonem. A když byl nucen, aby aktivně podpořil rakouskou státní

loyalitu u řecko-katolických a pravoslavných (ukrajinských a srbských) obyvatel monarchie — vyšel z tohoto nátlaku vlastně pravý opak toho, co od Dobrovského vídeňská policejní vláda očekávala.

Policejní ministr Sedlnitzky vyslovil »přání«, aby Dobrovský vydal svou staroslověnskou mluvnici tak, aby čelila národnímu uvědomování rakouských Ukrajinců a Srbů, kteří skládali své naděje na osvobození z národního útisku ve slovanské Rusko. V těchto nadějích jim byl oporou slovanský církevní jazyk, společný všem pravoslavným a řeckým katolíkům, zvlášť když slovanské knihy a učebnice přicházely do rakouských zemí z Moskvy. Dobrovského vědecké důkazy o tom, že staroslověnština byla samostatným jazykem a nikoli starou ruštinou či základem všech slovanských jazyků, měly pomoci vídeňské vládě v boji proti národnímu hnutí Ukrajinců a Srbů. Dobrovský Sedlnitzkému jeho očekávání nevyvracel. Od počátku však psal a pak i vydal své přísně vědecké dílo Základy staroslověnského jazyka latinsky, tedy v jazykové formě, která politické využití či zneužití ne-li vůbec znemožňovala, tedy velmi znesnadňovala. A jakoby ironií osudu se stalo, že nikoli ve Vídni a ve vídeňském loyálním duchu, nýbrž v Moskvě v ruském zpracování vyšla již r. 1825 práce I. S. Peninského, praktická příručka staroslověnštiny pro školy, vypracovaná podle Dobrovského Institucí. Ta se jistě — ve svých četných vydáních — nestala oporou rakouské loyality v habsburských zemích, tím méně, že staroslověnština v Dobrovského Institucích nebyla ještě prosta četných rusismů (vzhledem k jazykovému materiálu, jejž měl Dobrovský k disposici). V těchto souvislostech nepřekvapuje, že vídeňská vláda přestala uvažovat o panovníkově peněžní odměně Dobrovskému za jeho Institutiones. A tak i tam, kde dílo Dobrovského mělo být využito v intencích reakce, stalo se nakonec zbraní pokroku.

Josef Dobrovský se s láskou zaposlouchával do prosté řeči lidu. Po celý svůj život chodil mezi lid, z něhož vyšel, a horoucně si přál i usiloval o to, aby lid byl zbaven okovů tmářství a aby se mu dostalo skutečné osvěty. Přesto však »zůstal dalek od lidové základny národa« — jak správně poznamenal náš nejlepší literární vědec-marxista Julius Fučík. Není důvodu pochybovat o výstižnosti tohoto Fučíkova výroku. Fučík tu vyhmátl i příčiny a kořeny Dobrovského známé skepse a často i beznaděje, pokud šlo o perspektivy národně obrozenského úsilí. Správně je už na př. vystihl spisovatel demokrat z generace Nerudovy A. V. Šmilovský. Dobrovský však byl vzdálen lidové základny národa, zdráhal se uvěřit v úspěšné perspektivy národně obrozenského snažení ne proto, že byl skeptik, ale proto, že jasně viděl, čeho je nutně potřebí, aby obrozenské úsilí přineslo trvalé plody. V r. 1812 napsal Kopitarovi: »Jsem přesvědčen, že jen politický život povznese řeč, všechny jiné pokusy diletantů přestanou a odumrou opět znenáhla . . .« A právě tento nutný politický život národa Josef Dobrovský ve své době neviděl a vidět ani nemohl. Hromadné, uvědomělé politické hnutí začíná u nás, jak ukázal Zd. Nejedlý, až v 30. letech 19. stol.

Dobrovský se ovšem mýlil, když nedocenil význam obrozenského úsilí buditelů své doby (a v tom i sebe samého), jež ve spojení s rozkladem feudálních pořádků a s nástupem nových výrobních sil a společenských vztahů a jimi zrozeno, vytvářelo podmínky pro skutečný nástup i politického života, jenž povznese řeč, t. j. vytvoří novodobý vzkvétající národ. Velicí ruští revoluční demokraté, Gercen, Černyševskij, Dobroljubov, se mylili (a někdy i zoufali — Gercen) co do perspektiv ruského revolučního hnutí a jeho příštích cest, poněvadž neviděli a ve své době ani vidět nemohli uvědomělé, masové, demokratické a revoluční hnutí. Víme však, že tento jejich „omyl" nic neubírá na velikosti jejich díla. A právě tak v ničem neutrpěl „omylem" Dobrovského obrovský význam jeho veskrze pokrokového díla, jež Dobrovský vykonal pro zdar národního obrození."

Dr. Benjamin Jedlička připojil k referátu Dolanského poznámky o *otázce národní skepse, otázce slovanství Dobrovského.*

„Pokud se týká slovanství, Dobrovský vždy chápal velkou politickou sílu Slovanstva jak dobře dosvědčuje jeho řeč před Leopoldem r. 1791. Poukazoval na rozlohu, početnost a vliv ruského národa na ostatní slovanské národy.

Že nebyl Dobrovský kabinetním učencem, dokazuje i jeho činnost slavistická. Ačkoli měl dobře před očima velké úkoly slavistické vědy, dovedl se, když si toho chvíle žádala politicky, věnovat i drobné práci slavistické. Vydával příručky ruského jazyka, aby širokým vrstvám českého lidu ukázal na příbuznost slovanských jazyků.

S. Dolanský se dotkl toho, že Dobrovský chápal literaturu společensky, nejen jako filolog. V Dějinách české literatury je jasné, že Dobrovský opravdu chápal vliv hospodářské situace na literaturu — viz na př. jeho obraz doby Karla IV. — je to sice jen načrtnuto, ale velmi konkretně.

Jsme dosud Dobrovskému dlužni dokončit *vydání korespendence.* V nevydané korespondenci je mnoho nových věcí.

Marxistické posuzování Dobrovského se musí především opříti o objektivní působení jeho díla. Důležité je však zjistit, z jakých pramenů a pohnutek pramenil tento ráz jeho díla.

Na př. rozbor evangelia sv. Marka neprováděl Dobrovský s posic protináboženského boje, nýbrž z posic vědce-filologa, z posic textového kritika. Ale v tom, že neváhal výsledky tohoto textového bádání publikovat, ačkoli značně podlamovaly církevní autoritu, je velký čin Dobrovského pokrokovosti.

Machovec se zmínil také o tom, že Dobrovský byl spjat se šlechtickou aristokracií. Myslím, že při formulaci těchto vztahů je třeba postupovat s velkou opatrností. Dobrovský byl člověk velmi společenský. Vztahy mezi ním a Nostici byly čistě lidské. Šlechta mu však nikdy neimponovala svým pouhým původem a tituly. Vždyť již v úvodu k prvnímu svazku *České literatury* napsal: »Dlouhou řadu zde nic neznamenajících slov, jimž říkáme titul, vynechávám, abych ušetřil papír, neboť nepíši žádnou sbírku titulů.« On naopak oslňoval šlechtické okolí a vysoce je převyšoval. Pro jeho poměr k šlechtě je ještě charakteristická okolnost, že žádné ze svých děl nikomu v dedikaci nepřipsal, tedy ani ne svým příznivcům Nosticům.

Měli bychom dnes na této konferenci vzpomenout také Julia Fučíka, který neměl sice možnost zahloubat se do studia zjevu Josefa Dobrovského s takovou podrobností, s jakou se věnoval studiu osobnosti Boženy Němcové, ale Josef Dobrovský jej přesto přitahoval. Již jako student psal o něm do studentského časopisu, později pak, r. 1939, v studii Návrat modrého abbé výstižně o Dobrovském řekl, že »zasuté české řeči dodal vědeckého posvěcení evropského«."

Závěrem pak připojil akademik František Trávníček k diskusi tyto poznámky:

„Nemůžeme se dívat na Dobrovského jen jako na jazykozpytce. Má své místo i v literatuře. Chápe společenské pozadí literatury. Nelze ho však také oddělovat, je to jedna osobnost. Jestliže vytvořil českou gramatiku, šlo mu jistě i o literaturu. V tom je jeho velikost. Vytvořil nástroj k tomu, aby naše literatura mohla žít. Co z toho plyne pro pojetí Dobrovského? Dobrovský je svými kořeny v lidu, v národě. Nelze se domnívat, že by měl vztahy jen ke šlechtě. Celý život se stýkal s lidem, hovořil s ním. Byl to lidový člověk skrz naskrz, v tom je jeho velikost. Není to kabinetní učenec.

I Dobrovského musíme posuzovat s hlediska marxismu, jen tak můžeme posoudit velikost zjevu. Stalin nám otevřel oči, poznali jsme Dobrovského. I Parolek mluvil o Radiščevovi a o slovanství Dobrovského. Toto je nutno důkladně prostudovat. Měli jsme náš

názor zamlžený hyperkritičností. Buržoasie se snažila zastřít skutečnost, že jsme měli velké lidi. Správně řekl s. Parolek, že v Dobrovském se zrcadlí náš národ. To nám chybělo za první republiky."

Předsedající akademik Jan Mukařovský uzavřel konferenci tímto projevem:

„Je zásluhou vývoje české vědy, že jsme pokročili kupředu. Srovnejme sborníky z r. 1929 a dnes! Vidíme, jak bezmocná byla věda dožívající společnosti, jak byla slepá vůči problémům.

Stojíme také před problémem skutečné organisace vědecké práce. Začínáme si na Dobrovském uvědomovat, že není možné vidět člověka, když se na něho díváme jenom s hlediska určité odborné discipliny. V tom tato naše konference znamená krok kupředu. V komplexním řešení úkolů tato konference velmi pomáhá. Svazky, které byly navázány, nebudou jednorázové, ale budou se i nadále rozvíjet.

Docházíme k jinému způsobu kladení problematiky. Problematika vyplývá jako thema historicky podmíněné. Otázku nelze řešit jedním rázem. Dobrovský v sobě zahrnuje nejen proces individua, ale proces individua, zrcadlícího dobu. Dnes ty problémy, které nám vyrůstají, jsou problémy živé, v pohybu. Nejsou to otázky pro nic za nic. Na naší práci záleží nejen nám, ale celé veřejnosti. Pohled přítomný je naprosto nutný, ale musí být souběžný se stanoviskem dobovým. Věříme, že Dobrovského konference a všechny její výsledky budou plně zužitkovány."

Na závěr byly přečteny a schváleny resoluce (viz dále plný text). K nim navrhli Dr Josef Polák a prof. Dr Ant. Frinta doplňky. První navrhl uvést, že nutno dále rozvíjet součinnost českého bádání s vědou slovenskou, jejíž představitelé významně přispěli i ke zdaru této konference; na jeho podnět byl do usnesení také pojat požadavek důkladné monografie o Dobrovském. Druhý navrhovatel žádal, aby mezi úkoly dalšího bádání byly uvedeny také slovníky slovanských jazyků.

Usnesení vědecké konference na paměť Josefa Dobrovského

Při oceňování vědeckého přínosu Josefa Dobrovského je třeba přihlížet k společenským podmínkám, z nichž se vědecké dílo Dobrovského vyvíjelo. Vývoj a potřeby společnosti jsou také základním měřítkem toho, co je v Dobrovského vědeckém díle životného, čím přispělo k řešení praktických otázek dobových a v čem si podržuje trvalou platnost.

Dosavadní bádání o Dobrovském trpělo tím, že se buď mechanicky vysvětlovalo dílo Dobrovského ze starší tradice a z německé vědy, nebo se nepřihlíželo k dobovým podmínkám a vývojovým souvislostem. Nové zkoumání ukazuje, že Dobrovský byl původní i tam, kde vycházel z cizích podnětů. Na rozdíl od t. zv. barokního slavismu Dobrovský řešil mnohé otázky slovanských jazyků a slovanské kultury skutečně na základě vědeckém. Pokud jde přímo o hodnotu vědecké práce Dobrovského, spočívá její těžisko především v pronikavém kriticismu a v důkladné přímé znalosti rozsáhlého slovanského materiálu a v jeho nové a správné interpretaci.

Výrazně pokrokovou složkou, potvrzenou Stalinovými pracemi o jazyce, je Dobrovského studium jazyků v souvislosti s rozvojem společnosti, zejména s dějinami literatury a kultury vůbec. Studium slavistiky jako souvislého celku, samým Dobrovským geniálně plněné, zůstává živým programem i v době, kdy rozsah materiálu nutí vědecké pracovníky k větší specialisaci.

Přínos Dobrovského v jednotlivých úsecích vědy o Slovanstvu je takového rázu, že nezřídka docházelo jeho dílo správného ocenění už v dobách, kdy se slavistická studia plně rozvinula v Rusku i v jiných zemích. Poměrně nejdříve se dočkal Dobrovský pokračovatelů v pracích z oboru slovanské jazykovědy, zejména ze staroslověnštiny. Především mluvnická díla Dobrovského se stala vzorem a východiskem při práci na mluvnicích různých slovanských jazyků spisovných. Tím pomáhalo dílo Dobrovského důležitým způsobem i při formování novodobých slovanských národů.

Pro rychlé konstituování národa českého a pro jeho kulturní rozvoj měla velký význam Dobrovského mluvnice spisovné češtiny. Dobrovský se v ní projevil pronikavým znalcem mluvnické soustavy českého jazyka jako výsledku celého historického vývoje. Zvláštního ocenění si zaslouží přínos Dobrovského v otázkách tvoření slov. Poznání zákonitosti tvoření slov mělo velký význam při rozhojňování slovní zásoby, potřebné pro rozvoj rodící se národní vědy.

Z jednání jazykovědné sekce plynou tyto úkoly pro ústavy ČSAV i pro příslušné vysokoškolské katedry:

1. Dobrovského přínos v oboru studia staroslověnštiny měl dlouho význam světový a zavazuje naše pracovníky k tomu, aby v tomto důležitém úseku slavistických studií udržovali úroveň naší vědy na takové výši, jaká by byla úměrná významu paleoslovenistických studií Dobrovského. Bude třeba pokračovat intensivněji v práci na staroslověnském slovníku a také v pracích textově kritických a edičních.

2. Podobného významu je vědecký odkaz Dobrovského také v otázkách studia dějin slovanských jazyků a v bádání etymologickém. Dobrovského odkaz na tom poli bude naplňován, bude-li se dále rozvíjet naše práce na úkolech, které si naše slavistika dala na konferencích r. 1951 v Brně a r. 1953 v Olomouci.

3. Naše bohemistika a slovenistika zůstane věrna odkazu Dobrovského, bude-li při studiu češtiny a slovenštiny jazyk správně pojímat jako soustavu, bude-li studovat vývoj češtiny a slovenštiny v souvislosti s dějinami českého a slovenského lidu, bude-li pojímat studium češtiny a slovenštiny jako součást studií slavistických.

K závažným úkolům bohemistiky i slovenistiky patří také soustavný soupis pramenů k dějinám češtiny a slovenštiny. Jako naléhavý dílčí úkol je třeba si znovu prostudovat veškeren materiál Dobrovského, týkající se slovenštiny, přezkoumat Dobrovského postoj k slovenštině a zbavit jej nesprávného výkladu, který mu dávala buržoasní věda.

4. Naléhavým úkolem celé československé slavistiky je práce na zvýšení úrovně školského studia slovanských jazyků (na vysokých školách i jazyka staroslověnského). To znamená mimo jiné práci na učebních pomůckách jak srovnávacích, tak speciálních, týkajících se jednotlivých slovanských jazyků. Kromě úkolů vytyčených na dřívějších slavistických konferencích přibyly některé úkoly nové. Je to především kolektivní práce na mluvnici spisovné ruštiny na srovnávacím základě, dále pak práce na staročeské mluvnici a na sborníku studií o staroslověnské syntaxi.

Ze sekce literárněvědecké vyplynuly tyto úkoly:

1. Propracovat otázky periodisace české a slovenské literatury.

2. Studovat naše české a slovenské národní obrození jako důsledek rozkladu feudalismu, zrodu buržoasie a formování novodobého národa.

3. Prouzkoumat význam otázky uměleckého mistrovství pro vývoj národních literatur.

4. Prozkoumat a zhodnotit vývoj literatury v sepětí s procesem formování celonárodního jazyka.

5. Zkoumat vývoj české a slovenské literatury ve vztahu k literaturám slovanským, se zřetelem k vzájemnosti v rozvoji literatur a se zřetelem na jejich účast v národně osvobozeneckém boji.

6. Dovršit literárněvědný odkaz Dobrovského vypracováním marxisticky pojatých dějin české a slovenské literatury.

Historikové, shromážděni na vědecké konferenci o významu díla Josefa Dobrovského, rovněž se hlásí k pokrokovému odkazu tohoto velikého představitele obrozenecké vědy. Historická věda účastnící se budování socialismu bude čerpat z díla Dobrovského snahu po metodicky přesném, kritickém zvážení pramenného materiálu, zanícení v zápase se všemi tmářskými přežitky a pověrami, zásadovost v boji za poznanou pravdu, lásku k národu a službu pracujícímu lidu.

Z díla Dobrovského budou se naši historikové učit rozvíjet historii slovanských národů a především historii bratrských svazků mezi slovanskými národy, hlavně pak národy Sovětského svazu s národy našimi. Je proto nutné, aby bylo kádrově posíleno historické oddělení Slovanského ústavu, aby bylo v Československé akademii věd možno se zdarem tuto vědeckou práci podniknout a rozvinout.

Výročí Dobrovského připomnělo československé historiografii důležitou povinnost: soustavné studium dějin naší historické vědy. Jedině tak bude možno plně odkrýt pokrokové tradice československé historiografie. Bude úkolem pracovišť VI. sekce ČSAV a zvláště Historického ústavu i Slovanského ústavu z VIII. sekce, zároveň i úkolem historických časopisů, aby problémům dějin československé historiografie věnovali soustavnou pozornost.

Budiž též pečováno o zdokonalení organisace našeho studia slovanských starožitností a budiž dán podnět k úvahám o všeslovanské organisaci tohoto studia.

Společným úkolem ze všech tří sekcí je tento požadavek: k prohloubení studia díla Dobrovského je třeba pokračovat ve vydávání jeho *Spisů a projevů*; hlavně je nutno urychlit vydání drobných statí, recensí a korespondence, a to pokud možno i s českými překlady.

Doporučuje se dále, aby naše časopisy informovaly veřejnost o vědecké konferenci o díle J. Dobrovského a aby se uvažovalo o publikování referátů a koreferátů z konference v samostatném sborníku.

K tomu, aby mohl být vědecký odkaz Dobrovského naplňován a rozvíjen, je třeba dílo Dobrovského studovat a promýšlet. Při vší této práci, stejně jako při jakékoli vědecké práci jiné, nechť je československým slavistům, literárním historikům i historikům pracovním heslem Dobrovského kriticismus, jeho láska k pravdě a k národu, a zároveň i požadavek vědy aktuální, vědy srostlé s životem národa, vědy stranické v pravém smyslu slova.

Mukův zlomek církevněslovanských minejí

(Věnováno univ. prof. Dr. Josefu Vašicovi k 70. narozeninám)

František V. Mareš

Roku 1896 našel Arnošt Muka v Gósmaru u Grożišće (Sonnewalde) v Dolní Lužici dva pergamenové listy, popsané cyrilským písmem. Tamní farář je odlepil z vazby nějaké staré knihy; jeden si ponechal (o tom dále nic nevíme) a druhý daroval Mukovi. Ten pátral po dalších podobných památkách v Lužici a po bezvýsledném snažení vydal svůj list s krátkým komentářem v Časopisu Maćicy serbskeje 71(1918)44—48 pod titulem *Starosłowjanski rukopis z Gósmarja w D.-Ł.* Podává fotografický snímek obou stran listu, ale obrací strany, takže napřed je verso. Připojuje přepis latinkou (s četnými chybami) a lužickosrbský překlad, vadný zejména v místech, kde spočívá na konjekturách kusého textu původního. Týž snímek uveřejnil Muka v knize *Bausteine zur Heimatkunde des Luckauer Kreises*, Luckau 1918 za str. 464 (tam je pořadí stran správné, napřed recto). O rukopise je v této publikaci jen krátká zmínka na str. 456.

V komentáři v ČMS se Muka domnívá, že jde o zlomek církevněslovanského irmologia nebo theotokaria srbskocharvátského původu ze XIV. až XV. století, a má za to, že poslední opis pochází z Emauz nebo z Dobriługa v Dolní Lužici. Rukopis prý ukazoval také Jagićovi a Josefu Pátovi. Identifikovat texty se mu nepodařilo. Tyto Mukovy předpoklady i sama okolnost, že se památka zachovala v Lužici, žádají, abychom si jí blíže povšimli a zjistili zda může něco přinést pro osvětlení otázky slovanské bohoslužby v západoslovanských krajinách.

Je to srbsko-církevněslovanský zlomek liturgických minejí. Obsahuje část kánonů na orthros podle byzantskoslovanského ritu, a to na svátek Zjevení Páně (6. ledna). Oba kánony se proplétají, jak tomu v minejích bývá, t. j. po ódě z kánonu I. následuje vždy táž óda z kánonu II. Podle obvyklé praxe se v zlomku irmosy prvního kanonu uvádějí záhlavím ирмось (odpovídá řeckému εἱρμός), zatím co irmosy druhého kánonu jsou označeny инь ирмось (podle řec. εἱρμὸς ἄλλος).

Kánon εἰς τὸν ὄρθρον — на оутрени odpovídá západnímu propriu k laudám (matutinum je μεσονυκτικόν — полѹнощница). Kánon se skládá z osmi ód (ᾠδή — пѣснь); číslovány jsou 1—9, ale druhá chybí. Óda se skládá z irmosu (εἱρμός — ірмось) a několika troparů (τροπάριον — тропарь). Irmos je strofa, podle jejíhož rytmického i melodického modelu

jsou vybudovány tropary. — Kdyby památka byla irmologion, jak myslel Muka, obsahovala by jen irmosy; poněvadž tu však čteme i tropary, jde bezpečně o zlomek liturgických minejí. Svátek Zjevení Páně (τὰ Θεοφάνεια — Богоѧвлєнїє) patří na Východě k dvanácti nejvyšším svátkům liturgického roku (*праздники двaнадесятые*). Proto nemůžeme tvrdit, že původní kniha byly úplné mineje. Mohly to být mineje výběrové, třeba právě jen pro *праздники двaнадесятые*. Tento fakt však zároveň svědčí, že překladově to může být text velmi starý.

Podrobný obsah zlomku:[1])

Aa 1—2: konec 3. troparu VII. ódy prvního kánonu (zač. ódy: Ю҃ношы благочєстивыѧ... — Νέους εὐσεβεῖς...).

Aa 2—22: VII. óda druhého kánonu (zač.: ѿпалѝ стрꙋѥю... — Ἔφλεξε ῥείθρῳ...): irmos, 1. tropar a necelý 2. tropar. — Se zbývající částí listu byl odříznut konec 2. troparu této ódy a začátek irmosu ódy následující. 3. tropar VII. ódy v rkpe asi chyběl, jak nasvědčuje srovnání s velikostí dalších mezer na spodní části pergamenu.

Ab 1—18: VIII. óda prvního kánonu (zač.: Тайнꙋ прєславнꙋю... — Μυστήριον παράδοξον...). — Chybí začátek irmosu, vypuštěn asi jeden řádek v 1. troparu a celý 2. tropar.

Ab 19—Ba 13: VIII. óda druhého kánonu (zač.: Свободна ѹбѡ тварь... — Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις...). — Odříznuty dva verše irmosu a první verš 1. troparu.

Ba 14—Bb 14: IX. óda prvního kánonu (zač.: Недоꙋмѣєтъ всѧкъ ѩзыкъ... — Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα...). — Odříznut skoro celý 1. tropar.

Bb 15—22: IX. óda druhého kánonu (zač.: ѿ паче ѹма... — Ὦ τῶν ὑπὲρ νοῦν...): irmos a začátek 1. troparu.

Tím jsou zjištěny i paralelní texty řecké a církevněslovanské, je otevřena cesta bezpečným konjekturám kusých slov a vět při odříznutých krajích listu a dán klíč k podrobnějšímu studiu památky.

Rukopis je psán mladším jihoslovanským ustavem (unciálou), nepříliš pečlivě, jedním písařem. Písmo je většinou přímé, nestejné velikosti, bez specifických příznaků bosenských. Paleograficky se hlásí do XIII. nebo spíše do první poloviny XIV. století. Pozdějšímu datování Mukovu (XIV. — XV. stol.) odporuje na př. okolnost, že šikmá příčka litery н, nedosahující zpravidla až na spodní konec pravého břevna, přece se připojuje pod jeho polovinou, dále míra protažení svislé čárky litery ѣ, středová poloha vodorovné příčky litery є a poměrně málo zvýšená u liter ю a ꙑ. Naše datování se dále řídí zvláště tvarem i proporcemi písmen в, ж, з, и, к, ч, ь. Souhlasí s tím také umírněné užití ligatur. V celém zlomku najdeme jen čtyři případy: м + н v slově поємни Aa 2 a čtyřikrát р + ѣ (Aa 22, Ab 18, Ba 2, Bb 10). Tato ligatura (рѣ) je charakteristická pro rkpy jihoslovanského původu. — Také materiál pod-

[1]) A — strana recto, B — strana verso; a — levý sloupec, b — pravý sloupec; 1—22 — řádky rukopisu.

poruje naše vročení. Na Rusi ustupoval pergamen papíru od poloviny XIV. století, u jižních Slovanů ještě dříve.[2])

Vyskytují se tato diakritická znaménka: ^ (ѥ̂динь Aa 1), ᾿ (і̓ро̑ Aa 2), ′ (na př. бл҃гтелю́ Bb 19), ‵ (ѹ҆бо Ab 19, по̀немь Bb 19), ¨ (Ї́саи́ꙗ Bb 1, и̇змии́те се ibid.) a zvláště pouhá tečka (na př. и̇ Ab 2, інь Bb 15, ѡ̇крьвавлена Bb 11, по̇неми Aa 2). Všechny jsou reflexem řeckých diakritik a jejich funkce je značně neurčitá. „Spirity“ a tečka někdy signalisují začátek slova, akut a gravis máme i tam, kde přízvuk nepředpokládáme. Nelze tu mluvit o systému Jevfimija Trnovského ze XIV. věku, jejž v Srbsku propagoval Konstantin Kostenecký.

Rukopis je psán scriptione continua. Interpunkce je prostá a nepříliš hojná. Nejčastější je pouhá tečka (.); ojediněle najdeme skupinu teček ⁛ jako jakési punctum finale, oddělující irmos od troparů (Aa 9), dále tečku nahoře (ἡ ἄνω τελεία [˙] Aa 14) a čárku (, Aa 6). Častější užívání čárky můžeme v jihoslovanských rukopisech sledovat asi od XIV. století (podle Karského). — Začátek irmosů a troparů je většinou vyznačen majuskulí.

V Mukově minejním zlomku nepozorujeme ani nadměrné rozbujení zkratek a nadřádkových písmen, jež se v rukopisech množí asi od XII. století a ve XIV. věku bývají často velmi hojné.[3]) Zkratky jsou převážně starého typu: nomina sacra, slova od nich odvozená, závažností jim blízká nebo silně frekventovaná (б҃ь, дх҃ь, бц҃е, бж҃ию, іс҃льсти, кр҃тить, і҆ро҃, гл҃е, бы҃, ниꙗ a pod.). Mladšího rázu jsou zkratky per litteram superpositam, naznačující, že povýšená litera je mezi dvěma stejnými vokály [изре Ab 8, (с)ьшьш(а) Ab 11, по̂бн(оумоу) Ab 17], dále na př. люе Ab 18, възвижено Ba 9, прѣ Bb 2 a pod. Nadřádkové litery jsou pravidelně kryty titlou, jen д a ustálené spojení ѿ jsou vždy bez ní; snad je výjimkou také neobvyklé зыкь (nebo зыкь ?) Ba 15. Tato grafika sama o sobě dovoluje klást vznik rukopisu do XIV. až první poloviny XV. století.[4])

Pravopis jeví známky určité stabilisační tendence a snahy po jednotnosti, která v církevněslovanských cyrilských památkách není právě obecným zjevem. Jeví se to v poměrně důsledném vyjadřování jotace i v dosti spořádaném užívání dublet. Slabika *je* se píše skoro výlučně literou ѥ (kolem 30 případů), ať stojí na začátku slova nebo po samohlásce (na př. ѥси Ba 20, стоѥщоу Aa 11, сп҃сениѥ Bb 18). Výjimky jsou jen tři: люе Ab 18, ѡбнавлꙗе

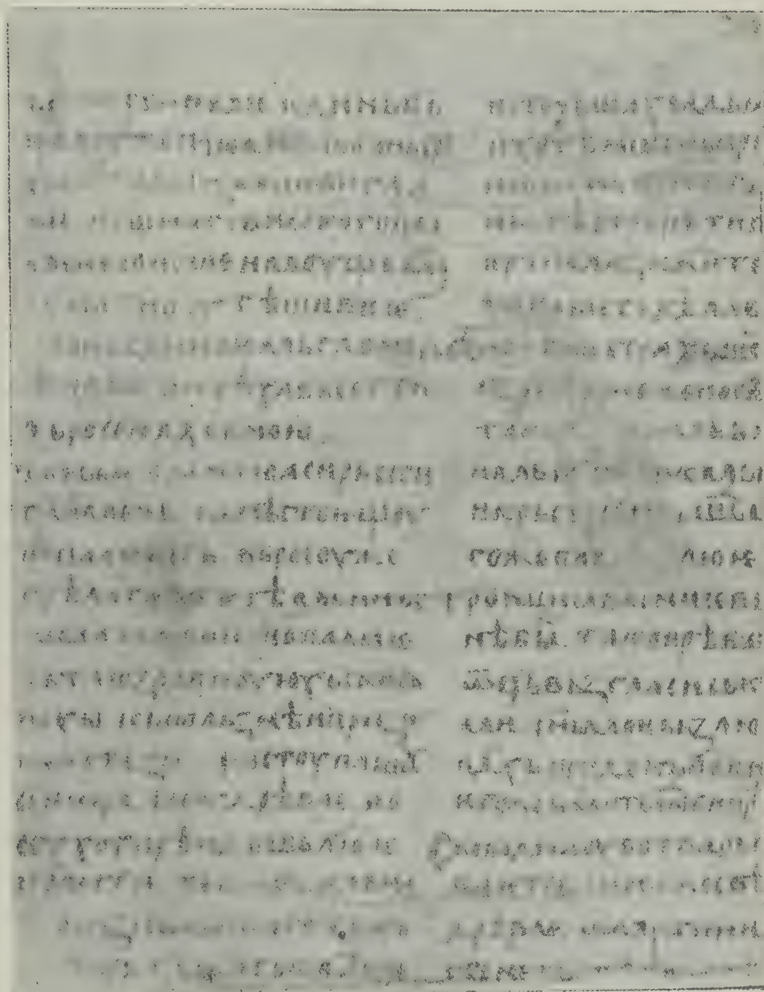
---

[2]) E. F. Karskij, *Славянская кирилловская палеография*, Leningrad 1928, 94.
[3]) Karskij o. c. 231.
[4]) Karskij o. c. 232; B. Horodyski, *Podręcznik paleografii ruskiej*, Kraków 1951, 43.

Bb 4 a snad зыкь Ba 15. Po souhlásce se však píše є; připadá tu v úvahu jen *l*: дрѣвлє Aa 18, Ab 21, ꙗвлєниє Ab 13, хвалєниꙗ Bb 20 a ꙗвлєн'на Bb 22. Souvisí to asi s výslovností. Náslovné *a*- je vždy praejotováno a píše se ꙗ, na př. ꙗсно Ba 1, ꙗко Ab 1. Uvnitř slova se *ja* píše také někdy ꙗ, ať stojí po samohlásce nebo po souhlásce: хотѣꙗшє Ab 2, ниꙗ Aa 13, попалꙗѥть Aa 14 a pod. Často se však píše pouhé а, zvláště po souhlásce, jako вьса Ba 10, бана Bb 13, гоубитєла Bb 9, ale i чтаа Bb 16, славєнаа Bb 17. ю se užívá zcela pravidelně. Nikde se nevyskytuje ѣ v platnosti *ja*. Tento stav označování jotace vede jako celek k úsudku, že rukopis byl opsán nejspíše z *předlohy cyrilské*. — Dublety: Csl. ѡ se důsledně užívá na začátku slov (ѿ Aa 8, ѡблачающи сє Aa 14, ѡг҃нь Ab 3 a j.). V předponě se zachovává i tehdy, předchází-li další praefix (вьѡбражаю Aa 10). Vedle toho se píše v cizích slovech i když tam podle normální řecké grafiky nepatří: иѡрдан(оу) Aa 18, моисѣѡви Bb 21. Poněkud překvapuje grafika interjekce O (Bb 15); nevadí, že je to majuskule — v Ab 7 máme majuskuli Ѿ. Jiných odchylek není. Vokál *i* se zpravidla vyjadřuje písmenem и, a to i v sousedství samohlásek, na př. Троици Ab 13, ꙗвлєниє ib., нєзаходєщии Bb 14. Písmeno I se používá k signalisaci cizích slov, a to zase i tehdy, kdy k tomu řecká ortografie neskýtá podklad: іср҃льсти Aa 20, іро Bb 15, Aa 2 a Ïсаиꙗ Bb 1. Dvakrát se vyskytuje na konci řádku, protože při nedostatku místa je pohodlnější než и: падєні Ba 8 a водамі Ba 11. Výjimkou se píše v slovanských slovech v těchto případech: інь Aa 2, Bb 15 (anticipováno podle následujícího іро), іс(пал)и Aa 3 a snad і іс(ч)ититє сє Bb 1. Také ve vyjadřování hlásky *u* panuje ustálenost. Pravidlem je оу, jen na konci řádků máme třikrát ȣ, nepochybně pro úsporu místa: растоупльшȣ Aa 17, пагȣ/(бьниє) Ba 5—6 a нашȣ Ba 19. Užívání dublet je v našem zlomku tedy ukázněné, má skoro vždy nějaké odůvodnění. — Nehledíme-li k poruchám textovým, jsou v památce jen dvě chyby čistě písařské, totiž přebytečné стѣ Ab 4 a diploprafie slabiky na předělu řádků v slově ѡстави/витє Bb 2—3. — Pravopis zlomku jako celek nenese žádné známky resavské školy Konstantina Kosteneckého (XIV. stol.) ani známky prostředí bosenského a neskýtá také důvody k předpokladu hlaholské předlohy.

Vokalismus Mukova zlomku je srbský v celém systému: *i-e-a-o-u — ь*. Nosovky *ę (ję)*, *ǫ (jǫ)* jsou vždy vystřídány orálním *e (je)*, *u (ju)*, na př. юношє Aa 5, стоющоу Aa 11, росоу Aa 12, росою Aa 9. — Protiklad *ъ : ь* byl zrušen a píše se vždy jediný znak *(ь)* za jediný foném. Příkladů je množství. V silné poloze se jer vyskytuje jen jednou a není vokalisován [(с)вьшьш(а) Ab 11]. K vokalisaci však nedochází ani v těch hojně doložených případech, kde ji srbské hláskosloví zpravidla provádí i v slabé posici, na př.: стьзи Aa 17, вьзгласи Ab 15, сь ibid., (л)ьсти Ba 6, вьзвижєно Ba 9, сьблюдошє Ba 10 a j. I v jeho vynechávání je jistá pravidelnost. Děje se tak někdy na konci

slova před příklonkou [познавакт сє Ab 20, (да оуѣкл)ит сє Ba 7, кропит бо Ba 4, тѣм жє Bb 13, jednou bez enklitika: мьглом Aa 7 — v těsnosti prostoru na konci řádku]. Ostatní doklady máme vesměs ve skupině souhlásek před nasálou nebo likvidou (-вн-, -вн-, -дн-, -рн-, -нн-, -стн-, щн-; -тл-, -зр-).[5]) Neetymologický jer přichází jen v slově злокьзьнном Aa 7. Sonantní $\mathring{r}$ se



Str. A

[5]) Jer se zpravidla vynechává bez náhrady. Jen jednou je zaň apostrof (ꙗвлен’на Bb 22) a jednou ¨ (свѣтло измнвенно Ba 13).

píše -рь- (na př. стрьпѣти Ab 4), k *l̥* není příležitosti. — Starý fonologický protiklad *i : y* je zcela likvidován ve prospěch jediného *i*. Znak ы se graficky zachovává jen asi v pěti případech (na př. бы҇ Ab 14, грѣхы Ba 12), jinak všude ustupuje liteře и (kolem 20 dokladů, na př. призиваѥ Aa 16—17, вишѥ Bb 15). Obrácená záměna je vzácná: пѣсны Bb 20 a ныѕьоумѣнть Ba 16.[6]) V témž jediném и splývá také původní ižica-ypsilon ѵ v neslovanských slovech: асирьски Aa 10 a моисѣwви Bb 21. — ѣ se píše pravidelně. Není-li to síla tradice, můžeme myslet na jekavské prostředí. оутѣшивиѥ Aa 6 místo оутишивиѥ (κατευνάσας) pokládám za starou chybu z předlohy, sotva za vážný doklad ikavské výslovnosti. O tom viz dále v textové kritice. — Z vokalismu zlomku lze bezpečně soudit, že poslední opis byl pořízen na jazykovém území srbském, snad jekavském, a to (podle stavu jerů) nejpozději v XIV. století.

V konsonantismu není takřka odchylek od staroslověnské normy. Epenthetické *l'* se zachovává, jako v památkách srbského původu vůbec. Výjimkou jsou dva doklady v slově благословѥнь (Aa 2 a Bb 17). Tu však jde o zvláštní, obecně známý případ, vysvětlovaný progresivní disimilací.[7]) — Souhláska *z* se píše vždy з, i v slovech, jež v bulharské redakci podržují často staré ѕ (стьзи Aa 17) nebo je nenáležitě nově zavádějí (змиѥви Aa 3, злокьзьниоѥ Aa 7). — Staroslověnské, resp. bulh. щ a жд se důsledně zachovávají. Щ se píše jedinou literou a neprozrazuje tím nic o své výslovnosti; жд je plně vypsáno jen jednou (жѥждоущи Bb 3), třikrát se píše ж҇ — snad pod vlivem srbské (nečakavské) střídnice *đ*. — Jeden nebo dva doklady na *st* ze *sk* před palatálním vokálem [ісрльсти Aa 20 a pochybné (иwрда)ньстѣ Ab 3—4] zdají se ukazovat k bulharské předloze nebo aspoň k tradici v tomto směru.

Slovotvorně jsou zajímavé tři případy, z nichž však žádný nemůže přímo přispět místnímu určení: свободна Ab 19 místo starého свободь, dále adjektiva, tvořená z ptc. perf. pass. sufixem *-ьno*, jako измивѥнно Ba 13, ꙗвлѥн҆на Bb 22 a dvojí tvoření ptc. praet. act.: источьша Ab 1 vedle оутѣшивиѥ Aa 6.

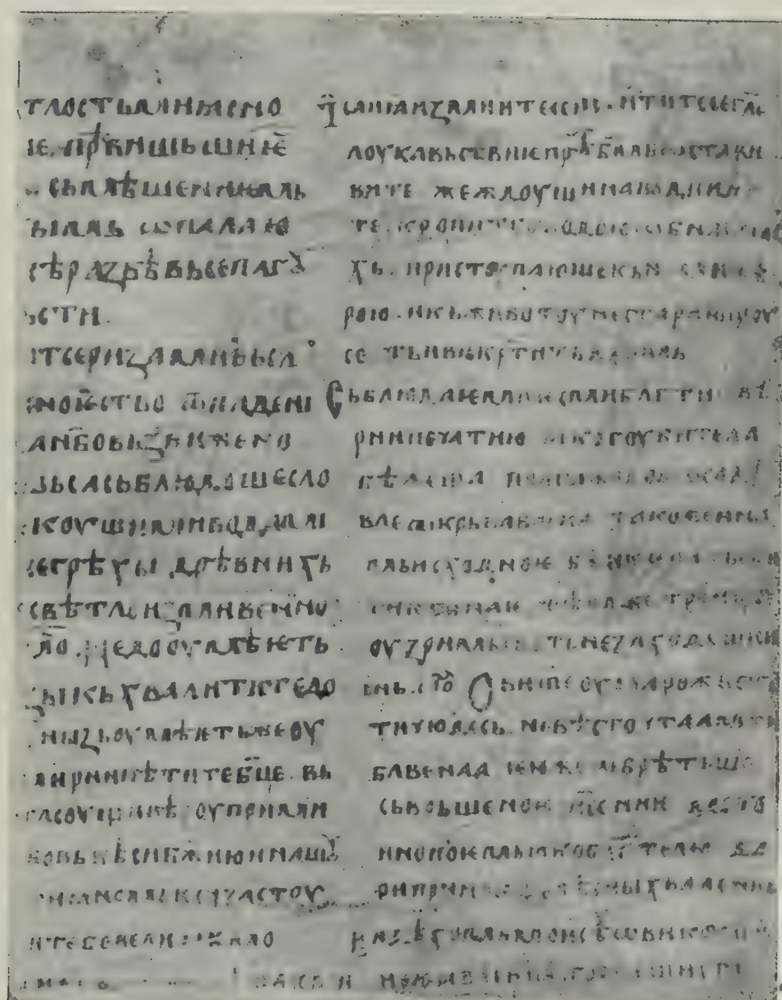
Ve *flexi* se zlomek celkem přidržuje staroslověnské normy. Z odchylek, bezvýznamných pro bližší lokalisaci, uveďme tři doklady na užití genitivního tvaru pron. pers. pro akusativ, vždy v postavení výrazně orthotonickém: (мѥ)нѥ Ab 8 (ἐμοί), тѥбѥ Aa 10, 20 (σέ). Je to stav mladší, ale obecně církevněslovanský.[8]) — Ojedinělý je tu gen. sg. m. високого Aa 4 vedle pravidelného (kontrahovaného) typu na -аго (na př. пѥщнаго Aa 4). V památkách t. zv. kanonických jsou takové tvary sice výjimkou, ale v památkách střbulh., starosrbských a staroruských nejsou vzácností. — Obvyklým jevem, známým

[6]) Není tu tedy zmatek, známý z pravopisu četných památek srbské provenience (Apoštol Šišatovacký z r. 1324, Hvalův kodex z r. 1404). Souvisí to asi s prokázanou pravopisně stabilisační tendencí Mukova zlomku.

[7]) V. Vondrák, *Altkirchenslavische Grammatik*, Berlín 1912, 338—339.

[8]) Srov. B. Havránek, *Genera verbi v slovanských jazycích* I, Praha 1928, 35n (zejména 39) a 170n.

už z nejstarších rukopisů, je nom. pl. složeného skloňování participií na -ии, -и (na př. жєждоущи Bb 3 οἱ διψῶντες) proti jmennému zakončení na -є (na př. ѡбрѣтъшє Bb 17 τυχόντες). — Přece však i ve flexi najdeme zřetelné serbismy. V deklinaci je to *ā*-kmenový instrumentál мъглом Aa 7 (v porušeném místě; stojí místo akus., τὴν ἀχλύν). Terminus a quo pro tento tvar je asi začátek XIII. století.[9]) Jinak je tu běžný instrumentál na *-oju* (na př.



Str. B

[9]) V. Vondrák, *Vergleichende Slavische Grammatik* II, Göttingen 1908, 36.

водою Bb 4). — V konjugaci sem patří koncovka 1. pl. (praes.), která má trojí podobu: *a)* поємь Bb 19, *b)* поєми Aa 2, єсми Bb 8, *c)* величаємо Ba 21. Tento stav připomíná pestrost Apoštola Šišatovackého, kde na př. v Act 17, 28 (edice str. 35) čteme: тѣмь бо живемо и движемь се и есми. Koncovka -мъı (> -ми) je už staroslověnská a také středobulharská, -мо je především srbské, ač i v střbulh. památkách se najde.[10]) — V Aa 3—6 čteme porušenou větu: іс(пал)и водою змиєви главі. пещнаго високого пламене юноше имоуще благочьстно оутѣшивиє,... Ἔφλεξε ῥείθρῳ τῶν δρακόντων τὰς κάρας, ὃ τῆς καμίνου τὴν μετάρσιον φλόγα, νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς κατευνάσας. V paralelních slovanských textech vznikají na tomto obtížném místě zase jiné koruptely.[11]) Původní čtení lze rekonstruovat asi takto: испали водоѭ змиевъı главъı, пещьнаго въıсокаго пламене юноша имѫща благочьстьнъı оутишивъıи. Tvar пещьнаго въıсокаго пламене ... имѫща lze v archetypu předpokládat bezpečně. Je to genitiv-akusativ u neživotného substantiva (chápaného životně?). Podle Vondráka je tato zvláštnost známa z památek bulharského původu[12]); můžeme ji považovat za náznak provenience originálu nebo starého hyparchetypu.

Syntax. Zlomek zná dativ adnominální: Троици ꙗвлениє Ab 13 (Τριάδος), (х)р҇тиꙗномь єси застоу(пьница) Ba 20 (Χριστιανῶν), рож҇ьств(а) ти Bb 16 (σου). Shoda s paralelními texty nás opravňuje k domněnce, že tyto dativy byly už v originále. — Podobně příležitostný překlad genitivu adjektivem: змиєви Aa 3 (τῶν δρακόντων), дх҇овною Aa 9 (τοῦ Πνεύματος). Některé mladší texty tu mají pády substantiv (ѕміємъ, дх҇а[11]). — V užívání jmenných a složených forem adjektiv se zlomek chová jako starobylé památky, t. j. za řecké adjektivum bez členu staví formu jmennou, zatím co složená odpovídá řeckému adjektivu s členem. I tam, kde se paralelní texty od tohoto usu odchylují, Mukův zlomek zachovává původní stav, na př. (бл)ага Ba 18 (ἀγαθή), Свободна Ab 19 (ἐλευθέρα), (с)ьш҇ьш(а) Ab 11 (συγκαταβάντα), источьша Ab 1 (πηγάσασα). Odchylky jsou jen nečetné: приступающе Bb 5 (τοῖς προστρέχουσιν), ꙗвлен'на Bb 22 (τὰ ... δεδειγμένα), zkomolené (д)ржавна призивающаго Aa 20—21 (τὸν κράτιστον ἐμφοροῦντα) a бж҇ию Ba 19 (τὸν ἔνθεον), kde nelze složený tvar odvodit, a pod. — Starobylý rys je také překlad řeckého praesentu historického aoristem: прѣидоше Aa 19 (περᾶται — mladší csl. texty tu mají praesens). — Za zmínku stojí passivum Сьблюдаєми єсми Bb 8 (συντηρώμεθα) proti сьблюдаємсе v mladších textech.

Slovník. Mukův zlomek obohacuje poznání církevněslovanské slovní zásoby o některé málo běžné nebo vůbec neznámé slovansko-řecké ekvivalence Jsou to na př. tyto:

---

[10]) V. Vondrák, *Vergleichende Grammatik*, II, 139; týž, o. c. (Aksl. Gr.), 492. Paralelní formy z jiných slov. jazyků tu nepřicházejí v úvahu.

[11]) Vysvětlení a přehled variantů viz na konci v poznámkách k textu.

[12]) V. Vondrák, *Studie z oboru csl. písemnictví*, Praha 1903, 133.

вьображати ζωγραφεῖν
грѣхъ πταῖσμα
зълокъзньно дрьжимъıи ὁ δυσκάθεκτος
неприкосновенъıи ἄϋλος
низоумѣти ἰλιγγιᾶν
облачати ἀμφιεννύναι
призъıвати ἐκφορεῖν
растѫпити сѧ ἀποῤῥηγνύναι
свѣтьло παμφαῶς
свѣтьлость ἁγιστία
сътрьпѣти στέγειν
тьлꙗ зълобьнаꙗ σίντη κάκιστος
оубѣлити сѧ ризами λευχειμονεῖν
чистъıи πάναγνος
ꙗсьно παμφαῶς

Podrobný lexikální rozbor, který by mohl vnést další světlo hlavně do otázky původu originálu, vyžadoval by při současném stavu csl. lexikografie neúměrně velkou přípravu. V následujícím odstavci se omezíme na ty výrazy, kde paralelní církevněslovanské texty poskytují lexikální varianty.

Textová kritika. Mukův zlomek jsem srovnal se všemi dostupnými paralelními texty. Jsou to: Církevněslovanské: 1. Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. IX G 7, Psalterium-Horologium-Synaxarium s kánony svatých.[13]) Patří do sbírky Šafaříkových rukopisů. Je srbsko-církevněslovanský, pochází z r. 1646 z Trojického kláštera, kde byl opsán — podle Speranského — patrně z ruské předlohy.[14]) Psán je na papíru. Oficia 12 svátků jsou na ll. 272—383; část, odpovídající Mukovu zlomku, je na ll. 318v—319v. Tento text dále označuji siglou *M*. — 2. Novocírkevněslovanský text ruské redakce z edice Je. Lovjagina, *Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках*, книга первая, С.-Пб. 1855, 31—34 a 40—44. Sigla *T*. — 3. Irmosy z rukopisného (papír) církevněslovanského irmologia haličského nebo karpatského původu ze XVII. — XVIII. století, 11. ПИ—Чv (= 88—90v). Sigla *I*. — Řecké: 1. *Μηναῖον τοῦ Ἰανουαρίου . . . ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμασιάνου τοῦ Ἰμβρίου*[2], ἐν Βενετίᾳ 1852. — 2. Z téže Lovjaginovy edice jako text církevněslovanský. Oba tyto řecké texty jsou téměř do podrobností shodné. Cituji proto vždy mineje; jen tam, kde je variant odpovídající slovanskému textu, uvádím jej z Lovjagina.

Všechny naše texty pocházejí ze společného základu. Ukazuje na to na př. irmos Свобода оубо тварь Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις, který se skoro úplně shoduje ve všech redakcích. Původní text byl však časem revidován a upravován, a to s řeckou předlohou před očima. V tomto smyslu si ovšem nejsamostatněji vede tištěný nový text *T*. Známky původní jednoty i pozdějších zásahů máme ve slovníku, v textu a hlavně v společných chybách. Podáme zde výběr příkladů.

Slovník: Slovo δρόσος se překládá роса Aa 9 *GIMT*, Aa 12 *GMT*.[15]) Jednou se však překládá хладь Ab 1 a v tomto čtení se shodují *GIM*; *T* sjed-

---

[13]) Signatura i název a údaje mám podle Vašicova-Vajsova soupisu csl. musejních rukopisů, který je v tisku.

[14]) M. N. Speranskij, *Рукописи П. И. Шафарика,* 27—33, č. 5.

[15]) Pokud není uvedena sigla *I*, znamená to, že místo se v irmologiu nečte.

nocuje podle řečtiny a zavádí i zde ρόсꙋ. Ἔφησεν má v Ab 8 nezvyklý překlad изрѣ, stejně čte *M*, kdežto *T* zavádí běžné рече. V Aa 8—9 máme чтить za πλύνει; tento výraz sdílí *I*, zatím co *M* a *T* zavádějí běžný překlad омываетъ. Za ἰλιγγίᾳ máme нызьоумѣнть (= низоумѣнть) Ba 16 v *GIM*, v *T* je изꙋмѣваетъ. Za ἔμελλεν... εἰσδέχεσθαι je v *GIM* хотѣꙗше... принт(н) Ab 2—3, *T* klade имѧше... воспрїѧти. Stará ekvivalence водꙑ za ῥεῖθρα, známá z Pražských zlomků, je v *G* zachována (Ab 1—2, Ba 11); v *IMT* je na obou místech (Ba 11 není v *I*, protože to není irmos) mladší náhrada стрꙋи. (свѣ)тлостьми Ba 1 ἁγιστίαις je také v *M*, *T* zavádí přesnější стынѧми. — Pozdější vidové změny se obrážejí v případech приносеще Bb 20 *G* φέροντες proti носѧще *IMT*, крстима Ab 5 *GIM* βαπτιζόμενον — крещаема *T*, крстить Bb 7 *G* βαπτίζει крщаеть *MT*. — Jindy se v úpravách projevuje pozdější snaha po doslovném ztlumočení, často i kalky z řečtiny: имоуще Aa 6 *GIM* φέρουσαν — носѧщь *T*, вьωбражаю Aa 10 *GM* ζωγραφοῦσαν — живописꙋющїи *T*, ωпалаю(ще) Ba 4—5 *GM* πυρπολοῦσαν — огнепалѧщее *T*, хваленига Bb 20 *GI* εὐχαριστίας — блгодаренїѧ *T*, хвалити Ba 15 *GIM* εὐφημεῖν — блгохвалити *T*, свѣтло Ba 13 *G* παμφαῶς — прѣсвѣтло *MT*, съвръшенное Bb 18 *GIM* παντελοῦς — всесовершенное *T*, чтаа Bb 16 *G* πάναγνε — пречитаѧ *IM* — всечтаѧ *T*, застоу(пьница) Ba 20—21 *GI* προστάτις — прѣстательница *MT*, до(стоино) Ba 15—16 *GIM* πρὸς ἀξίαν — по достоѧнїю *T*. Ojedinělé jsou případy opačné: (вь ро)сѣ Ba 5 *G* ἐν δρόσῳ — росою *MT* a (да оубѣл)ит се ризами Ba 7 *GM* λευχειμονείτω — да оубѣлитсѧ *T*, jež svědčí spíše o prvotních překladatelských obtížích a menším zdaru archetypu v jednotlivých nesnadných případech. Sem můžeme zařadit i pozdější zpřesnění výrazu грѣхꙑ Ba 12 *G* πταισμάτων — съгрѣшенїи *M* — прегрѣшенїи *T*. — Jako příklady obvyklého lexikálního vývoje uveďme ještě aspoň tyto varianty: ιюже Bb 17 *GIT* δι᾿ ἧς — еже ра *M*, жидовьска Bb 10 *GM* (*M* má жидове) Ἑβραῖοι — еврен *T*, дрѣвнихь Ba 12 *G* τῶν πρίν — прѣжны *MT*, пос(лоушан) Ab 8 *G* πειθάρχει — повиннсе *MT*. — Lexikálně se tedy Mukův zlomek mezi ostatními texty jeví jako starobylý, ať už jde o vyrovnávání individuální rázovitosti původního překladu nebo o změny, vyvolané gramatickou stránkou jazyka (vidy některých sloves), o míru doslovnosti v ztlumočení řeckých výrazů anebo o běžný csl. lexikální vývoj.

Text: Společný pramen *GIM* se dá prokázat také rozborem textu. V *I* nebo v *M* se někdy projeví pozdější úprava podle řeckého vzoru, v *T* je tomu tak skoro vždy. Společné odchylky od řeckého textu: вьсе Aa 8 *GM* ὅλην δέ — add же *IT*, же Aa 12 *GM* bez řeckého protějšku — om *T*, (вод)и Ab 1—2 *GIM* (*I*: стрꙋꙗ, *M*: стрꙋе) ῥείθροις — стрꙋѧми *T* (společné čtení *GIM* předpokládá nedoložený řecký variant ῥεῖθρα), podobně прѣ бмь Bb 2 *GM* ἔναντι... Κυρίου — пред᾿ Гдемъ *T* (předpokládá variant ἔναντι... Θεοῦ), дари Bb 19—20 *GI* δῶρον — даръ *MT* (předpokládá variant δῶρα[16]). — Stejný pře-

[16]) Místo předpokladu nedoložených řeckých variantů lze zde i všude dále rovnocenně počítat s možností přehlédnutí a omylu původního překladatele.

klad polysémických řeckých slov: вьнѣ стоницоу (místo -щь) Aa 11 *GM* (v *M* zkomoleno na въ нимъ стоеще) ἔξτῶσαν — оужасенъ *T*, стрьпѣти Ab 4 *GIM* στέγειν — ѡбѧти *T*[17]). — Společné chyby: оутѣшивии Aa 5—6 *GI* (v *I* je -вꙑ) κατευνάσας — místo оутишивый *T* (*M* má vůbec jiné slovo z naprostého neporozumění místu), развѣ *G* кромѣ *M* Ba 5 εὐκτῶς místo милостивно *T* (čtení *GM* nedává dobrého smyslu a nutno je vysvětlit chybou v řeckém textu: ἐκτός), вь(сако бл)ага соущи Ba 18 *GI* (v *I* zkomoleno: всѧ бо . . .) ὅμως... místo обаче... *MT* (předpokládá v řecké předloze chybný variant ὅλως), пѣсны *G* пѣснь и *I* Bb 20 ὕμνον (sg. a bez καί) místo пѣснь (beze spojky) *T* пѣние *M*.

I když text *T* byl dobře zrevidován a konformován s řeckým, přece se dá ukázat i na takové shody, které umožní i pro tuto novocírkevněslovanskou recensi předpokládat východisko z téhož dávného překladu, od něhož odvozujeme *GIM*. Jsou to tato místa: nápadně stejný překlad řeckého slova ἰσθμῷ[18]) obratem по соухоу Aa 18—19 *GT* (*M* má скрозе море); ꙗко благомꙋ *MT* (v *G* je omylem vynecháno, patří do Ab 8) ὡς Χριστῷ — je založeno na variantu ὡς χρηστῷ, doloženém z Lovjagina; кропит бо водою ѡбнавлꙗе Bb 4 (*M* má zkomoleno na -влꙗетъ) ῥανεῖ γὰρ ὕδωρ καινοποιόν — předpokládá variant καινοποιῶν; имоуже поими Aa 2 *GT* (v *M* jsem první dva řádky nenašel) ᾧ καὶ ψάλλομεν.

Jestliže tedy *srbský* Mukův zlomek má týž archetyp jako rukopisy *ruské* (*GIT* a mediate i *M*), lze podle obvyklého exportu církevněslovanských textů myslet na to, že tento archetyp byl bulharského původu. Slabé takové náznaky jsme zjistili už v hláskosloví a ve flexi Mukova zlomku a neodporují tomu ani některé jevy syntaktické (dat. adnom.). Mám však za to, že tato domněnka se dá vážně podepřít i několika omyly, jež lze dobře vyložit jen bulharskou záměnou nosovek, případně zavedením jediného grafického znaku pro obě (ѧ — jako je tomu na př. v Apoštolu Makedonském). Jsou to tyto případy: Тебе вьѡбражаю асирьски пламень Aa 10—11 *G* Σὲ ζωγραφοῦσαν τὴν Ἀσσύριον φλόγα — místo въображаѭ, srov. въображе (ж superscript) *M* (живописꙋющїй *T*). Také hned následující slovo вьнѣ стоницоу má asi týž původ: správné стоѩщь bylo asi už v Bulharsku změněno v стоѩщѧ, z čehož odvodíme zároveň obě chyby: стоницоу *G* i стоище *M*. тѣмже троицоу оузримь свѣть... Bb 13—14 *GM* ἔνθεν καὶ τῆς Τριάδος ὀψόμεθα φῶς... — троицѧ — троицѫ (Трⷪ҇цы *T*). Snad spolupůsobila podobná záměna i při vzniku zmatených čtení v Aa 7—8 (и v злокьзьнное a е ve вьсе).

Pozorujeme-li shody rukopisů i tištěného textu, ukazuje se tento obraz: *G* je nejstarobylejší a je nejblíže společnému prameni. K němu se pak nejvíce blíží *I*, zatím co *M* má zřejmý vztah k *T*. Představuje tedy *I* starou ruskou recensi; o *M* se potvrzuje mínění Speranského, že byl v srbském klášteře

---

[17]) Podobný případ призивающаго Aa 21 *G* ἐκφοροῦντα — съдръжещаго *MT* (*T*: -щꙗ) je buď oprava starého hyparchetypu, společného pro *MT*, nebo innovace *G*.

[18]) Ἰσθμός = úzký pruh pevné země (Menge: „Landzunge“, Vlachu: „isthme“).

opsán z *ruské* předlohy, neboť nese stopy oprav, společných i ruskému tištěnému textu. Spolu s ním je asi zástupcem jiné recense ruského textu než *I*, linie více revidované, již v konečném výsledku známe právě z tištěného textu.[19])

Poetická forma. Kánon je skladba, určená pro zpěv; proto má svou pevnou metrickou stavbu. V našem úryvku řeckého textu se to jeví takto: První kánon je prosaický, zachovává však v troparech skoro vždy týž počet slabik, jako je v irmosu. Druhý kánon je psán šestistopým jambickým veršem. Oba kánony jsou v řečtině opatřeny akrostichy podle obvyklého pravidla: u prosaického se čtou počáteční litery irmosů a troparů, u veršovaného pak první litery veršů. V žádném z našich slovanských textů nelze prokázat ani rytmické schema ani akrostichy.

Závěrem shrnujeme: Mukův rukopis, který on nazýval Gosmarským, je zlomkem církevněslovanských liturgických minejí. Jazykově se hlásí zcela jasně mezi památky srbsko-církevněslovanské. Podle materiálu, písma i jazyka pochází nejspíše z XIV. století. Předloha byla patrně středobulharská a cyrilská. Zachoval se nám tu textově starobylý úryvek oficia na Epifanii, na svátek, pro nějž se liturgické texty pořizovaly jistě velmi záhy. V zlomku však není ani jediná stopa jakéhokoli druhu, jež by svědčila o kontaktu s jazykovým územím lužickosrbským nebo českým. Ani obsah — liturgický text podle byzantského obřadu — neskýtá žádnou oporu pro Mukův předpoklad cesty přes Emauzy a Dobriług. V kulturní a literární historii Lužice zůstává tento rukopisný zlomek osamoceným a neorganickým článkem. Jeho putování do Lužice je nejasné a asi jen náhodné. Snad bude na místě, připomeneme-li na konci Mukovu zprávu, že Grożišćo jako hrad vzniklo kolem r. 1200 (první zápis je z r. 1362) a že v XVII. století tam Švédové rozebrali „velmi cennou knihovnu o mnoha tisících svazků“ (o. c. *Bausteine...*, strana 16—17).

Připojuji přepis zlomku podle snímků (paralelně s příslušným řeckým textem), poznámky a výčet variantů.

---

19) Srov. přehled variantů v poznámkách k textu.

Text

( ) konjektury, [ ] athetese.

Aa

1 (ра)вноѥⷭ҇ствними. ѥ̂динь б̂ь	(Τοῦτο γὰρ Τριὰς ὑποστάσεσιν) ὁμοού-
2 ѥмоуже поѥ̇ми (б)лⷭ҇ве. інь іⷭ҇ⷨро	σιος, εἷς δὲ Θεός· ᾧ καὶ ψάλλομεν· Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς· εὐλογητὸς εἶ.
	Εἱρμὸς ἄλλος.
3 іс(пал)и водоѭ змиѥви гла	Ἔφλεξε ῥείθρῳ τῶν δρακόντων τὰς κάρας,
4 ви. пещнаго високого пла	Ὁ τῆς καμίνου τὴν μετάρσιον φλόγα,
5 мене юноше имоуще бла	Νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς κατευνάσας·
6 го́чьстно оутѣшивиѥ̇,	Τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ ἁμαρτίας,
7 злокьзьноѥ̇ мьглом дрь	Ὅλην πλύνει δέ, τῇ δρόσῳ τοῦ Πνεύματος.
8 жими ѿ грѣха вьсе чⷭ҇ти	
9 ть росоѭ дх҃овноѭ ⁖	
10 Тебе вьѡбражаю асирьски	Σὲ ζωγραφοῦσαν τὴν Ἀσσύριον φλόγα,
11 пламень вьнѣ стоѥщоу	Ἐξτῶσαν ἵστης, εἰς δρόσον μετηγμένην·
12 попалꙗ(ют?)ь. вь росоу же	Ὕδωρ ὅθεν νῦν ἀμφιέσσαο φλέγον,
13 прѣлага(ѥ?)ть тѣмь нꙗ̇	Σίντην κάκιστον Χριστὲ προσκεκευθμένον,
14 ѡблачающи се· попалꙗ̈ѥ	Πρὸς τὴν ὄλιστον, ἐκκαλούμενον τρίβον.
15 ть тлю злобноую хⷭ҇ь скврь	
16 ноую. кь польѕнѣи призи	
17 ваѥ стьзи. растоупльшꙋ	Ἀποῤῥαγέντος τοῦ Ἰορδάνου πάλαι,
18 се иѡрданоу дрѣвле. по	Ἰσθμῷ περᾶται λαὸς Ἰσραηλίτης
19 соухоу прѣидоше лю҇ⷣѥ	Σὲ τὸν κράτιστον ἐμφοροῦντα τὴν κτίσιν,
20 ісрл҃ьсти тебе (д)рьжавна	Ἠπειγμένως νῦν ἐν ῥοαῖς διαγράφων,...
21 призивающаго тварь	
22 (оу)тврьжⷣьшаго се дрѣвле	

2 ми ligatura. — 22 рѣ ligatura.

Ab

1 источьша хладь ꙗ(ко водам)
2 и хотѣꙗше непри(коснове)
3 ни ѡг҃нь приꙗт(и иѡрда)
4 нь [стѣ] стрьпѣти п(льтию)
5 (ѣ) кртима зижите(лꙗ ѥго)
6 же бл҃вите дѣла в(. . . ?)
7 ѿложи (вь?) страхь сп҃с(ь прѣдьтечи)
8 изр҄е (ме)не же пос(лоушаи)
9 ꙗко . . . . имь б(ыхь? мо)
10 имь п(овелѣ)ниѥмь (покори се)
11 и крьсти (ме с)ьшьш(а. ѥ)
12 гоже бл҃в(ите) люѥ
13 Троици ꙗвлениѥ вь (иѡрда)
14 нѣ бы҃. ꙗко прѣбж҃(иѥ ѥтво.)
15 ѿц҃ь вьзгласи сь к(рьщаѥ)
16 ми сн҃ь мои вьзлю(блен)
17 и дх҃ь приде кь по҃бн(оумоу)
18 ѥгоже бл҃вите люѥ и прѣ(вьзносите)
19 Свободна оубо тварь (позна)
20 ваꙗт се сн҃ове же свѣ(та иже)
21 дрѣвле. ѡмрачени (ѥдинь)
22 стенеть т(ѣм? пр)ѣ(дьстатель)

(ᾨδὴ η΄. Ὁ Εἱρμός.
Μυστήριον παράδοξον, ἡ Βαβυλῶνος ἔδειξε κάμινος) πηγάσασα δρόσον· ὅτι ῥείθροις ἔμελλεν, ἄϋλον πῦρ εἰσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης, καὶ στέγειν σαρκὶ, βαπτιζόμενον τὸν Κτίστην· ὃν εὐλογοῦσι Λαοὶ, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Ἀπόθου φόβον ἅπαντα, ὁ Λυτρωτὴς τῷ Προδρόμῳ ἔφησεν· ἐμοὶ δὲ πειθάρχει, ὡς Χριστῷ (var. χρηστῷ) μοι πρόσελθε· τοῦτο γὰρ φύσει πέφυκα ἐμῷ προστάγματι εἶξον, καὶ βάπτισόν με συγκαταβάντα, ὃν εὐλογοῦσι Λαοὶ, καὶ ὑπερυψοῦσιν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν· αὕτη γὰρ ὑπέρθεος φύσις· ὁ Πατὴρ ἐφώνησεν· Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου· τὸ Πνεῦμα συμπαρῆν τῷ ὁμοίῳ· ὃν εὐλογοῦσι Λαοὶ, καὶ ὑπερυψοῦσιν…

(Εἱρμὸς ἄλλος.)
Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτίσις γνωρίζεται· Υἱοὶ δὲ φωτὸς, οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι. Μόνος στενάζει, τοῦ σκότους ὁ προστάτης·
(Νῦν εὐλογείτω συντόνως τὸν αἴτιον…)

---

18 рѣ ligatura. Celé toto slovo bylo asi zkráceno a následoval snad nadpis инь ірмось (také zkrácený).

Mezi řádkem 12 a 13 je vynechána celá jedna strofa Глáголы ꙗкоже оуслы́ша . . . Ῥημάτων ὡς ἀκήκοεν . . . Vzhledem k opakovanému společnému závěru strof je to asi omissio ex homoteleuto.

Variant χρηστῷ v strofě Ἀπόθου je vzat z Lovjaginovy edice Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках, книга первая, С-Пб. 1855.

Ba

1 (свѣ)тлостьми ꙗсно	(. . . ,
2 (показа)ше. прѣвишьши ѥ҃	Αἰγλῆντα*) τριτταῖς παμφαῶς) ἁγιστίαις,
3 (ьств)о. сьмѣшениѥмь	Σαφῶς ἐδήλουν τὴν ὑπέρτατον φύσιν
4 (чл҃чьс)кымь ѡ̇палаю	Μίξει βροτείᾳ, πυρπολοῦσαν ἐν δρόσῳ,
5 (ще вь р)осѣ развѣ вьсе пагȣ	Εὐκτῶς ἅπασαν, τὴν ὀλέθριον πλάνην.
6 (бныѥ л)ьсти . . .	
7 (да оубѣл)ит се ризами вьса	Λευχειμονείτω πᾶσα γηΐνος φύσις,
8 (коѥ земл)ино ѥ҃ство ѿ падені	Ἐκ πτώσεως νῦν οὐρανῶν ἐπηρμένη·
9 (ꙗ н҃нꙗ н)а н҃бо вьзвижено	Ὧ γὰρ τὰ πάντα συντετήρηται Λόγῳ,
10 (имьже б)о вьса сьблюдоше сло	Νάουσι ῥείθροις ἐκπλυθεῖσα πταισμάτων,
11 (вомь т)екоущими водамі	Τῶν πρὶν πέφευγε, παμφαῶς λελουμένη.
12 (ѡмыв)ь се грѣхы дрѣвнихь	(Ὠδὴ θʹ.)
13 (оубѣж)е свѣтло измивеннo	. . .
	Ὁ Εἱρμός.
14 (ір)м҃о. Недооумѣѥть	Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα, εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν· ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν σε Θεοτόκε· ὅμως ἀγαθὴ ὑπάρχουσα, τὴν πίστιν δέχου· καὶ γὰρ τὸν πόθον οἶδας τὸν ἔνθεον ἡμῶν· σὺ γὰρ Χριστιανῶν εἶ προστάτις σὲ μεγαλύνομεν.
15 (вьсакь) зыікь хвалити те до	
16 (стойно). ныізьоумѣѥть же оу	
17 (мь прѣ)мирни пѣти те б҃це. вь	
18 (ꙗко бл)ага соущи вѣроу прими	
19 (ибо л)юбовь вѣси б҃жию и нашȣ	
20 (ты бо х)р҃тиꙗномь ѥси застоу	
21 (пьница) и тебе величаѥмо.	
22 (Д)а(в)и(де) . . . . . . мѣшаѥми	Δαυῒδ πάρεσο, Πνεύματι τοῖς φωτιζομένοις.

*) Místo Αἰγλήεσσαν (Lovjagin, o. c.).

3 Konjektura na začátku řádku odpovídá řeckému textu i textu *M* a *T*; poslední literu slova však nelze příliš jistě číst jako о.

8 *M* čte земьноѥ, *T* земное. Pokud vím, není adj. землинъ doloženo a lze se domnívat, že zde byla textová porucha.

Bb

1 Ісаиа измиите се і іс(ч)итите се гле
2 лоукавьствие прѣ бмь шста[ви]
3 вите. жеждоущи на води идѣ
4 те. кропит бо водою шбнавлꙗе
5 хь. пристоупающе кь немоу вѣ
6 рою. и кь животоу не старающоу
7 се. ть й ви крстить дхомь
8 Сьблюдаеми несми блгтию вѣ
9 ри и печатию. ꙗко гоубитела
10 бѣжеща. прага жидовьска дрѣ
11 вле шкрьвавлена такоже и на
12 мь йсходное бжие се пакы би
13 тие бана е тѣмже троицоу
14 оузримь свѣть незаходещии
15 інь. іро О више оума рожьств(а)
16 ти чюдесь. невѣсто чтаа мти
17 бленаа еюже шбрѣтьше
18 сьврьшеное спсение досто
19 ино поемь ꙗко блгтелю. да
20 ри приносеще пѣснѫ хваленіꙗ
21 Вида̂хомь моисѣшви коуп(и)
22 ною ꙗвлен'на. гр(е)деши стр(анными)

Ὁ Ἡσαΐας Λούσασθε, καὶ καθάρθητε φάσκει· τὰς πονηρίας ἔναντι, ἀφέλεσθε Κυρίου· οἱ διψῶντες, ὕδωρ ἐπὶ ζῶν πορεύεσθε· ῥανεῖ γὰρ ὕδωρ καινοποιὸν Χριστὸς, τοῖς προστρέχουσιν αὐτῷ ἐν*) πίστει, καὶ πρὸς ζωὴν τὴν ἀγήρῳ, βαπτίζει Πνεύματι.

Συντηρώμεθα χάριτι, πιστοὶ καὶ σφραγίδι· ὡς γὰρ ὄλεθρον ἔφυγον, φλιᾶς Ἑβραῖοι πάλαι αἱμαχθείσης, οὕτω καὶ ἡμῖν, ἐξόδιον τὸ θεῖον τοῦτο, τῆς παλιγγενεσίας λουτήριον ἔσται· ἔνθεν καὶ τῆς Τριάδος, ὀψόμεθα φῶς τὸ ἄδυτον.

Εἱρμὸς ἄλλος.

Ὢ τῶν ὑπὲρ νοῦν, τοῦ τόκου σου θαυμάτων!
Νύμφη πάναγνε, Μήτερ εὐλογημένη·
Δι᾽ ἧς τυχόντες παντελοῦς σωτηρίας,
Ἐπάξιον κροτοῦμεν ὡς εὐεργέτῃ,
Δῶρον φέροντες, ὕμνον εὐχαριστίας.

Ἴδμεν τὰ Μωσεῖ, τῇ βάτῳ δεδειγμένα,
Δεῦρο, ξένοις (δεσμοῖσιν ἐξειργασμένα·)

---

*) Var.: om (Lovjagin).
10 рѣ ligatura.
20 пѣснѫ — první písmeno nezřetelné; připouští čtení тѣснѫ, což by ovšem byla textová porucha.

Poznámky k textu a varianty

Sigly: *G* - Mukův zlomek, *I* - rusko-csl. irmologion XVII.—XVIII. věku, *M* - rkp knihovny Nár. musea sign. IX G 7, *T* - tištěný novocsl. text z edice Lovjaginovy.

Podrobnosti o rkpech a vydáních csl. i řec. textu viz v kapitole o textové kritice. Rkp *I* obsahuje jen irmosy, proto se u troparů neuvádí. První dva řádky zlomku (Aa 1—2) neuvádíme podle *M*, protože jsme je v tomto rkpe nenašli. První citace je vždy z Mukova zlomku, proto se sigla *G* vynechává.

Aa

1 (ρа)вносͨ҇ствними, místo -нага (scil. троица) ὁμοούσιος] ѐдиносꙋщнаѧ *T*. — ѥдинь εἷς δέ] add же *T*.

2 Chybí protějšek za řecké καὶ *(GT)*. — (б)ⷧ҇ве je zkratka závěrečné doxologie бл҃гословéнъ ѐсѝ Гⷭ҇ди Бж҃е во вѣ́ки *T*.

3 іс(пал)и *IM* ἔφλεξε] ѿпалѝ *T*. — змиѥви *T* τῶν δρακόντων] змиѥвыѧ *I*, ѕмїемъ *M*.

4 главы *IT* τὰς κάρας] add и *M* (řec. ø).

4—5 пещнаго високого пламене *IM* τῆς καμίνου τὴν μετάρσιον φλόγα] пéщный высóкїй плáмень *T*.

5—6 юноше имоуще благочьстно оутѣшивиѥ ὁ … νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς κατευνάσας místo юноше имоуща (scil. пламене) благочьстьны оутишивыи; koruptela vzniká nepochopením оутишивыи = ὁ … κατευνάσας a zmatením gram. významu slov юноше имоуща] юноша имꙋще бл҃гочетивїѧ оутѣшивы *I*, юноше имоуща бл҃гочтивыи. оугасише *M*, ю̆ноши носѧ́щь благочестѝвыѧ оу̑ти́шивый *T*.

7—8 злокьзьнноѥ мьглом дрьжими ѿ грѣха τὴν δυσκάθεκτον ἀχλὺν ἐξ ἁμαρτίας místo злокьзньно дрьжимоую мьглоу ѿ грѣха] злоконꙁꙋю мглꙋ ѿ грѣха *I*, (оугасише) злоказ'нънаго мрака грѣховнаго *M*, неꙋдободержи́мꙋю мглꙋ̀ ѝз' грѣха̀ *T*.

8—9 чⷭ҇тить *I* πλύνει] омываⷮ҇ *MT*.

9 дх҃овною *IM* τοῦ Πνεύματος] Дх҃а *T*.

10 вьѡбражаю ζωγραφοῦσαν] въобраⷤ҇е *M*, живописꙋющїй *T*. — асирьски τὴν Ἀσσύριον] асүрійскыи *MT*.

11 вьнѣ стоѥщоу ἐξτῶσαν] въ нѥмъ стоеще *M*, оу̑жа́сенъ *T*.

12 попалга(ѥт?)ь ἵστης] поставлѧ́еши *T*, om *M*. V *G* má asi být полагаѥши. — же *M* (řec. ø)] om *T*.

13 прѣлага(ѥ?)ть μετηγμένην] се прѣлагае *M*, преведе́нъ *T*. — тѣмь ὕδωρ ὅθεν] тѣмже вода *MT*. — ниꙗ *M* νῦν] add ꙗ̆коже пла́мень *T* (řec. ø).

14 ѡблачающи се ἀμφιέσσαο] ѡбличающи се *M*, ѿдѣва́ѧй *T*.

14—15 попалгаѥть *M* φλέγων] ѿпалѧ́етъ *T*.

15 тлю злобноую *M* σίντην κάκιστον] врéднѹю злóбѹ *T.* — х҃ь Χριστέ] х҃е *MT.*

15—16 скврьноую προσκεκευθμένον] съкръвéннѹю *M,* прикровéннѹю *T.*

16—17 кь польз҄нѣи призиваѥ стьзи πρὸς τὴν ὄλιστον ἐκκαλούμενον τρίβον] ѿ поплъзенїꙗ призывающїи стьзы *M,* ѿ поползновéнныѧ стезѝ призывáюще *T.* Zakončení podle dalšího troparu: … къ нетлѣнней и полъзнѣи стъзе *MT.*

17—18 растоупльшѹ се ἀποῤῥαγέντος] разѣ҃лшѹ се *MT.*

18—19 по соухоу *T* ἰσθμῷ] сквозе море *M.*

19 прѣидоше περᾶται] проходетъ *M,* прехóдѧтъ *T.*

20 (д)ръжавна τὸν κράτιστον] держáвнѣйшаго *T,* крѣпкаго *M.*

21 призивающаго ἐκφοροῦντα] съдръжещаго *M,* содержáща *T.*

22 (оу)тврьжьшаго се дрѣвле nemá ani přímou řeckou předlohu ani patřičnou csl. paralelu] наставлꙗемии нн҃ꙗ водами *M,* некоснúтелнѣ нн҃ѣ въ водáхъ *T* ἠπειγμένως νῦν ἐν ῥοαῖς….

Ab

1 источьша *M* (-ии) πηγάσασα] источи҃шїѧ *IT* (-аѧ). — хладь *IM* δρόσον] рóсѹ *T.*

1—2 (вод)и ῥείθροις] струꙗ *IMT* (*T*: -ѧми).

2 хотѣꙗше *IM* ἔμελλεν] ймѧше *T.*

2—3 непри(коснове)ни *I* ἄϋλον] невещественыи *MT.*

3 приѥт(и) *IM* εἰσδέχεσθαι] восприѧти *T.*

4 (иωрда)нь Ἰορδάνης καί] add и *IMT.* — стрьпѣти *IM* στέγειν] ѿб҄ѧти *T.*

5 кр҃тима *IM* βαπτιζόμενον] крещáема *T.*

6 бл҃вите дѣла в(ьса) zkrácená doxologie; v ostatních textech zní však jinak: благословѧ҃ людїе и превонсѧ҃те его во вѣки *I,* бл҃ветъ людїе и превъносе *M,* бл҃гослóвѧтъ лю́дїе и превозносѧтъ во всѧ вѣ́ки *T* εὐλογοῦσι Λαοί, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Stopu starého chybného čtení (imperativ, aspoň u druhého slovesa) nese snad ještě *I.*

7 (вьсь?) страхь φόβον ἅπαντα] ~ *MT.* — сп҃с(ь) ὁ Λυτρωτής] избавитель *MT,*

8 изре҃ *M* ἔφησεν] рече *T.* — (ме)не … пос(лоушаи) ἐμοὶ … πειθάρχει] мнѣ … повинúсе *MT.* — же *T* δέ] om *M.* — *G* vynechává následující ꙗко бл҃гомѹ мнѣ приступи *MT* ὡς Χριστῷ (var.: χρηστῷ) μοι πρόσελθε; vzhledem k následujícímu тако *(G)* proti předchozímu ꙗко jest to asi omissio ex haplographia.

9 тако τοῦτο γὰρ] се бо *MT* (*T*: сїе). — Tato nejasná řádka zní: се бо ѥ҃твомъ бы *MT.*

11 (с)ьшьш(а) *M* συγκαταβάντα] сошéдшаго *T.*

12 Zkratka doxologie; viz poznámku k řádku 6 téže stránky a sloupce. Dále vynechán celý tropar.
14 тако αὕτη γὰρ] тā бо *M*, са́мое бо *T*. — прѣбж̑(ни?) ὑπέρθεος] прѣбж̑ствьно *MT* (*T*: -ое).
16—17 мои вьзлю(блен)и ὁ ἀγαπητός μου] ~ *MT*.
17 д҃хь τὸ Πνεῦμα] add же *MT* (bez řeckého protějšku).
18 Zkratka doxologie; viz poznámku k Ab 6.
19 Свободна *IT* ἐλευθέρα] -ная *M*.
20 сн҃ове же *IM* υἱοὶ δέ] и с҃ынове *T*.
22 т(ѣм?) τοῦ σκότους] тмѣ *M*, тмы *IT*.

Ba

1 (свѣ)тлостьми *M* ἁγιστίαις] ст҃ынѧми *T*. — ꙗсно σαφῶς] ꙗвѣ *MT*.
2 (показа)ше *M* ἐδήλουν] пока́зовахꙋ *T*. — прѣвишьши *M* (-шше) τὴν ὑπέρτατον] превы́шнее *T*.
4—5 ѡпалаю(ще) *M* (ѿ-) πυρπολοῦσαν] ѻгнепалѧ́щее *T*.
5 (вь р)осѣ ἐν δρόσῳ] росо́ю *MT*. — развѣ εὐκτῶς (předpokl. var.: ἐκτός)] кроме *M*, ми́лостивнѡ *T*. — вьсе ἅπασαν] въсакое *M*, всѧ́кꙋ *T*.
7 (да оубѣл)ит се ризами *M* λευχειμονείτω] да оу҆бѣли́тсѧ (om ризами) *T*.
9 вьзвижено ἐπηρμένη] въз҆водимо *MT*.
10 (б)о *T* γὰρ] om *M*. — сьблюдоше συντετήρηται] съблюдают се *MT*.
11 водамі ῥείθροις] стрꙋ́ꙗми *MT*.
12 (ѡмыв)ь се ἐκπλυθεῖσα] ѿмывьши се *M*, ѿмы́вшесѧ *T*. — грѣхы πταισμάτων] съгрѣшенїи *M*, прегрѣше́нїй *T*. грѣхы (*G*) je omylem místo грѣхь. — дрѣвнихь τῶν πρὶν] прѣжны *MT*.
13 свѣтло παμφαῶς] пресвѣтлѡ *MT*.
15 хвалити *IM* εὐφημεῖν] бл҃гохвали́ти *T*. — те *IM* řec. ∅] om *T*.
15—16 до(стоино) *IM* πρὸς ἀξίαν] по достоѧ́нїю *T*.
16 нызьоумѣкеть *IM* ἰλιγγιᾷ] изꙋмѣва́етъ *T*.
17—18 вь(сако) ὅμως (předpokl. var.: ὅλως)] всѧ бо *I*, ѻба́че *MT*.
18 (бл)ага *M* ἀγαθή] благаѧ *IT*.
19 бж̑ию *I* τὸν ἔνθεον] бж̑твенꙋю *MT*. — и řec. ∅] om *IMT*.
20 хр҃тиꙗномь *IM* Χριστιανῶν] Хрїстїа́нъ *T*.
20—21 застоу(пьница) *I* προστάτις] прѣстателница *MT*.
21 и řec. ∅] om *IMT*. — тебе *M* σέ] тѧ *IT*, тѧ́ бо *některé tisky uniatské*.

Bb

1 і *M* καί] om *T*. — іс(ч)истите се καθάρθητε] очистите се *MT*. — гл҃е φάσκει] глаго́летъ *T*, гл҃етъ и *M*.
2 лоукавьствие *M* τὰς πονηρίας] -їѧ *T*. — бм҃ь *M* Κυρίου] Гдемъ *T*.
3 на води ὕδωρ ἐπὶ ζῶν] на водꙋ живꙋ *MT*.

4 ѡбнавлꙗѥ *T* καινοποιόν (předpokl. var.: καινοποιῶν)] -ѥтъ *M*.
5 пристоупающе τοῖς προστρέχουσιν] -ѥѥ *M*, -ыѧ *T*.
6—7 не старающоу се τὴν ἀγήρω] не състарѣющомꙋ се *M*, нестарѣемомꙋ *T*.
7 ть и би řec. ø] om *MT*. — кр҃тить βαπτίζει] крщаетъ *MT*.
8 Съблюдаеми ѥсми συντητώμεθα] Съблюдаем се *MT*,
8—9 вѣри πιστοί] вѣрнꙑи *M*, вѣрнїи *T*. — ꙗко ὡς γάρ] бо *MT*. V *G* je to omyl.
10 бѣжеща ἔφυγον] бѣжаше *M*, бѣжа́ша *T*. — жидовьска Ἑβραῖοι] жидове *M*, Ѥвре́и *T*.
11 такоже οὕτω] тако *MT*.
12 бж҃ие τὸ θεῖον] бж҃твное *MT*.
12—13 пакы бытиѥ παλιγγενεσίας] -їѧ *MT*.
13 ѥ҃ ἔσται] бꙋдетъ *MT*. — тѣмже ἔνθεν καί] ѿсоу҃ и *MT*. — троицоу *M* Τριάδος] Тр҃цы *T*.
14 незаходещии τὸ ἄδυτον] незаходимыи *MT*.
15 више *IM* ὑπέρ] па́че *T*.
15—16 рож҃ьств(а) ... чюдесь *MT* τοῦ τόκου ... θαυμάτων] р҃одество ... чꙋдеси *I*.
16 ти *IM* σου] твоегѡ̀ *T*. — ч҃таа πάναγνε] пречи҃таѧ *IM*, всеч҃таѧ *T*.
17 ѥюже *IT* δι᾽ ἧς] ѥеже ра҃ *M*. — ѡбрѣтьше τυχόντες] полꙋ҃чише *IT*, оулꙋчише *M*.
18 съвръшеноѥ *IM* παντελοῦς] всесоверше́нное *T*.
19 поѥмь (...бл҃гтелю) κροτοῦμεν] во(спѣ)ва҃ (-лю) *I*, хва́лимъ (-лѧ) *T*, om *M*.
19—20 дари *I* δῶρον] даръ *MT*.
20 приносеще φέροντες] носѧще *IMT*. — пѣсны *M* ὕμνον] пѣснь и *I*, пѣснь *T*. — хваленига *I* εὐχαριστίας] бл҃годаренїа *MT*. *I* čte akus. хваление vzhledem k předchozímu пѣснь и.
21 Видѣхомь ἴδμεν] оувѣдѣхомъ *MT*. — моисѣѡви *M* Μωσεῖ] Мѡѷсе́ю *T*.
22 ꙗвлен'на δεδειγμένα] ꙗвле́ннаѧ *T*, ꙗвленїа *M*. — гр(е)дешн δεῦρο] гредии *M*, грѧдѝ *T*.

F. V. Mareš

KRITIKY A REFERÁTY

Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Ред.: *Г. Ф. Александров, В. В. Виноградов, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников и Д. И. Чесноков.* Москва 1952, АН СССР, 495 стр.

Sborník Voprosy teorii i istorii jazyka v svete trudov I. V. Stalina po jazykoznaniju, vydaný péčí dvou ústavů Akademie věd SSSR, jazykovědného a filosofického, přijímá naše linguistická veřejnost jako významný přínos k otázkám teorie jazyka. Není to první souborná práce sovětská, která vznikla z podnětu Stalinových statí *O marxismu v jazykovědě.* V minulých letech vyšel sborník *Voprosy jazykoznanija v svete trudov I. V. Stalina* (1. vyd. 1950, 2. vyd. 1952), který zejména v 1. vydání byl namnoze spíše rozvedeným výkladem Stalinových prací. Dva díly sborníku *Protiv vul'garizacii i izvraščenija marksisma v jazykoznanii* (díl I. 1951, díl II. 1952) měly jiné poslání. Kriticky hodnotí Marrovo vulgarisátorské učení v těch oblastech jazykovědy, v kterých nejvíce proniklo. Oba díly přinášejí některé positivní články, avšak celkový ráz článků je kritický a trpí přílišným přetížením citáty z N. J. Marra, jak na to ostatně upozorňovaly i recense v SSSR. Oba díly přispěly k odhalení celé řady chyb v pracích některých sovětských linguistů, způsobených přímým vlivem Marrova učení nebo i jeho nepřímým působením. Vedle těchto kritických statí se sovětská linguistická literatura od uveřejnění Stalinových prací soustřeďovala v několika diskusích k otázkám základního slovního fondu, k vnitřním zákonitostem jazyka, k historickosrovnávací metodě. Recensovaný sborník přináší novou problematiku. Velká pozornost se v něm věnuje otázkám vztahu gramatiky a lexikologie, tvoření slov, výkladu systému jazyka, odolnosti jazyka, různým typům gramatické abstrakce.

Všechny tyto problémy a celá řada dílčích otázek jsou řešeny na širokém materiálu jazyků nejrůznějších systémů. Tato okolnost jistě přispívá k tomu, že teoretické vývody, k nimž sovětská jazykověda dochází, mají právě proto tak širokou platnost, poněvadž se opírají o bohatý a široký materiál.

Dalo by se předpokládat, že spolupráce s Ústavem filosofie se více projeví ve sborníku. Zatím však je tu jen jeden filosofický článek G. F. Aleksandrova *Veliká síla Stalinských idejí* (7—22), který se zabývá přínosem Stalinových článků o jazyce k marxistické filosofii a jejich politickým významem. Charakter sborníku by si přímo vyžadoval, aby v něm byla více zastoupena filosofická problematika se zřením k jazyku. Ani nejzákladnější problém jazykovědy — vztah jazyka a myšlení — nenašel většího uplatnění ve sborníku. V úvodu se sice dočítáme o aktuálnosti této otázky, ale stať G. F. Aleksandrova ji neřeší a ostatní stati se jí jen dotýkají (zejména A. S. Čikobavy, V. A. Avrorina) a ničím novým nerozšiřují dosavadní poznatky. Jinak tematika sborníku, který obsahuje 18 statí, je neobyčejně široká. Proto se v recensi zastavíme jen u základních otázek, kterým se ve sborníku dostává nového řešení.

Ve svém článku *Úkoly sovětské jazykovědy ve světle stalinského učení o jazyce* (22—40) se A. S. Čikobava vrací k otázkám historismu v jazykovědě, s nimiž již

několikráte vystupoval v sovětském tisku. U strukturalistů požadavek zkoumat jazyk jako systém vedl k oddělení synchronie od diachronie, dodáváme zejména u školy ženevské a kodaňské, menší měrou u pražské, která proti odtržení vystupovala. Čikobava zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že jazyk je produktem celé řady epoch, že se neustále vyvíjí, je nutno „statickou analysu jazyka provádět se zřetelem k historii daného jazyka, na základě historie a pomocí historie" (23). Je to jistě důležitý požadavek, neboť vidět jazyk v perspektivě jeho vývoje umožňuje správně zařazovat určité jevy do systému jazyka a určovat jejich postavení a vztahy v tomto systému. A. S. Čikobava se dotýká také *otázky znaku* v jazykovědě. V období Marrova učení o jazyce se proti znakovosti jazyka ostře vystupovalo. Zneužívalo se k tomu i Leninovy kritiky znakovosti v gnoseologii. Tvrzení, že slovo je znakem, pokládalo se za agnosticismus. Lenin ovšem, jak správně ukazuje A. S. Čikobava, kritisoval znakovost v teorii poznání, t. j. naše počitky a představy jsou odrazem věcí, reálně existujících ve skutečnosti, a nikoli pouhými znaky. Nikde však V. I. Lenin nemluví o tom, že slovo, jeho zvukovou stránku, není možné pokládat za znak.

Neznamená to však, že znakovost jazyka, jak je vykládána ve strukturalistické jazykovědě, je správná. V. M. Žirmunskij v recensi sborníku v časopisu Voprosy jazykoznanija (1953) No 1 ukazuje, že slovo není pouhým náhodným znakem, ale trvalá *jednota znaku a významu*, vzniklá *dlouholetým vývojem národa a jeho jazyka.* Svým významem je slovo obráceno ke skutečnosti a odráží skutečnost. Slovo je také gramaticky určováno — gramatické formanty jsou také znaky, ovšem znaky, jimiž se vyjadřuje v systému jazyka jistý význam, určité gramatické kategorie, vztahy ke skutečnosti a celému historicky vzniklému systému jazyka. Tyto dvě stránky slova, jak je uvádí Žirmunskij, je tedy třeba mít při řešení teorie znakovosti v jazyce na zřeteli.

A. S. Čikobava zaujímá kriticky postoj i k typologii. Typologické srovnávání nevylučuje, zejména v oblasti metodiky vyučování jazykům, kde srovnání faktů jazyka na základě stejných funkcí může přinést užitek. Avšak typologie jako metoda nemůže nahradit metodu srovnávací, poněvadž není metodou historickou.

Otázkou historie jazyka se zabývá i stať V. I. Abajeva *Historie národa a historie jazyka (40—56).* Podle něho k otázce vztahu jazyka k historii národa by se mělo přistupovat se dvou hledisek: 1. od historie jazyka k historii národa, 2. od historie národa k historii jazyka. V prvém případě jde o stanovení, s jakými etnickými skupinami byl ve svém vzniku daný národ spojen. K řešení této otázky musí být využíváno jak slovní zásoby, tak i gramatické stavby, neboť příbuznost jazyků je určována celým systémem zakonitých shod, týkajících se struktury obou jazyků a nikoli jen jednotlivými slovy nebo tvary. Jestliže jazykové materiály mají pomoci objasnit otázky kultury a života národa v minulosti, je možné orientovat se jen na základní slovní fond a slovní zásobu. Při zjišťování historických vztahů mezi národy stačí opírat se o přejatá slova v slovní zásobě jazyka.

V druhém případě, kdy nás zajímá, čím může přispět historie národa k historii jazyka, je třeba zkoumat některé změny ve slovníku a sémantice podmíněné změnami ve společnosti. Jazyk bezprostředně spjatý s historií národa, který je jeho tvůrcem a nositelem, bezprostředně odráží a registruje změny ve společnosti, především v slovní zásobě. Spojení s hláskoslovím, morfologií a skladbou je složitější a zprostředkované.

Podle V. I. Abajeva toto spojení se obecně projevuje v tom, že „intensivnost národního života určuje tempo rozvoje jazyka" (52). Pod intensivností národního života chápe jak vnitřní politické, sociální a ekonomické změny, tak i intensitu vzájemného styku lidí ve společnosti a vzájemného styku s ostatními národy. Není možno říci, že příklady, které uvádí V. I. Abajev (přehláska *k, g* v palatální afrikáty *č, ǯ* před samohláskami *y, i, e* v ironském nářečí osetinského jazyka) by byly průkazné. Autor se domnívá, že tato změna

nastala v oblasti města bývalého Vladikavkazu, dnešního Ordžonikidze, poněvadž zde byl rušný společenský život. To bylo živnou půdou pro vznik jazykových novot, které se rozšiřovaly na ostatní území Osetinska.

Podle Abajeva zrychlení tempa života národa zrychluje tempo vývoje jazyka. Autor sám v poznámce uvádí, že tyto vývody jsou předběžné a vyžadují širšího doložení materiálem.

Podle našeho názoru i zde je ovšem třeba vidět, že zrychlené tempo života společnosti se nerovnoměrně projevuje v různých složkách jazyka, více a bezprostředně ve slovníku a sémantice, méně a zprostředkovaně v mluvnické stavbě. Intensita společenského styku se patrně projeví v rychlejším rozšiřování určitých nových jevů po území, na kterém jazyk působí jako dorozumívací prostředek, než v urychleném rozvoji nových hláskových nebo morfologických změn v jazyku samém.

Otázku, jakými způsoby se obohacuje mluvnická stavba v historickém vývoji, klade si článek K. V. Lomtatidze *O zákonitostech historického rozvoje jazyka* (56—68). Na základě stalinského učení o podstatě gramatiky, která „abstrahujíc od jednotlivého a konkretního jak ve slovech, tak i ve větách, vybírá to obecné, co je základem změn některých slov a spojování slov ve větách“ (Stalin, O marxismu v jazykovědě, 1950, Svoboda, 23), vidí Lomtatidze obecnou tendenci zdokonalování jazyka v přechodu od poměrně méně abstrahovaných kategorií k více abstrahovaným, a to jak v oblasti slovníku, tak i v oblasti mluvnické stavby. Na příklad v ruském jazyce duál jako jeden z konkretnějších způsobů vyjádření mluvnického čísla ustoupil obecnějšímu, více abstrahovanému vyjádření množného čísla. Stejně se projevuje v ruském jazyce tendence vyjadřovat abstraktní pojmy konkretním středním rodem (srov. *staroje staritsja, molodoje rastet)*. Tato tendence přechodu k abstraktnějšímu vyjadřování nevylučuje podle Lomtatidze nikterak vznik jednotlivých gramatických jevů s konkretnějším významem. V přechodu k obecnějším abstraktním kategoriím autor vidí rozvoj myšlení i jazyka, neboť se jazyk tímto způsobem zdokonaluje a obohacuje. Jazyk se však nezbavuje možnosti vyjadřovat konkretní pojmy; užívá však opisných prostředků. Konkretní pojmy vyjadřuje v plánu lexikálním nebo syntaktickém.

S historického hlediska řeší otázku systému jazyka V. N. Jarcevová *(K otázce o historickém rozvoji systému jazyka,* 68—99). Systémovost jazyka vyplývá z jeho funkce dorozumívacího prostředku ve společnosti. Tato funkce předpokládá určité uspořádání a roztřídění jazykových tvarů a tím i schopnost účelně jimi vyjadřovat obsah myšlení. Systémovost jazyka předpokládá i vzájemnou podmíněnost různých složek jazyka. „Základní slovní fond a mluvnická stavba jsou spojeny složitými vztahy, v kterých se sémantické a slovotvorné procesy, charakterisující základní slovní fond, realisují podle zákonů gramatiky daného jazyka“ (69). Gramatické kategorie se vztahují na celou slovní zásobu, poněvadž slova v systému jazyka neexistují mimo mluvnickou stavbu. Na historii anglického jazyka Jarcevová ukazuje, že různé kategorie mají různé pole působnosti. Při rozvoji určité gramatické kategorie je možno pozorovat, jak se rozšiřuje její působnost v slovní zásobě. Kategorie překonává odpor lexikálního materiálu a začíná si podřizovat neustále větší a větší okruh slov různého obsahu.

Značné místo věnuje Jarcevová kritice strukturalistického pojetí systému jazyka, podle něhož jednotlivé elementy i celý systém spočívá na vzájemných protikladech.

Jazyk, podle Jarcevové, na všech stupních svého vývoje si zachovává systémový charakter, poněvadž v každý daný moment plní úlohu dorozumívacího prostředku ve společnosti. Základ jazyka se vyvíjí pomalu a postupně, a to zaručuje stabilitu jazyka. Ty vztahy, které spojují rozličné jevy jazyka mezi sebou, a v kterých se projevuje systémo-

vost jazyka, platí i při historickém vývoji jazyka. Posloupnost jazykového vývoje nemůže být tedy narušena, poněvadž jazyk by přestal plnit svou společenskou funkci. Oddělování synchronie od diachronie, jak se ho dopouštějí některé strukturalistické školy, neodpovídá tedy konkretnímu jazykovému vývoji.

Několik článků je věnováno otázkám vztahu gramatiky a lexika. Skupinu těchto článků uvádí obsáhlá studie V. V. Vinogradova *Tvoření slov a jeho vztahy ke gramatice a lexikologii* (str. 99—153). Autor navazuje na celou řadu článků, s nimiž vystoupil v posledních letech v různých linguistických časopisech. V. V. Vinogradov při stanovení hranice mezi flexí a tvořením slov vychází z jazykového povědomí nositelů současného ruského jazyka, kteří chápou slovo jako „systém tvarů", v němž se spojují všechny tvary daného slova, jak flexe, tak i přípony. Absolutní rozlišení flektivních a slovotvorných kategorií je v jazycích indoevropského typu, jak uvádí L. A. Bulachovskij, stěžováno tím, že skloňování a časování obvykle spojuje v sobě významy pádů a čísla u substantiv, osoby a čísla, času a způsobu u sloves. Poněvadž pád u substantiv je kategorií flektivní a číslo slovotvornou, je jejich rozhraničení obtížné. Mezi tvary jednoho slova jsou tedy, podle V. V. Vinogradova, „tvary syntakticky podmíněné (syntaktické) a tvary syntakticky podmiňující (nesyntaktické)" (str. 110). V průběhu historického vývoje i nesyntaktické tvary slov, poněvadž jsou těsně spojeny se syntaktickými tvary a kategoriemi, jsou vtahovány do sféry vyjadřování nejrůznějších syntaktických vztahů. Na příklad vidových významů sloves, protože jsou těsně spojeny s tvary času, je v ruštině využíváno k vyjadřování různých syntaktických vztahů ve složených větách s časovými spojkami *poka ne, kak* atp. (110).

V několika kapitolách V. V. Vinogradov dává obsáhlý kritický přehled dosavadní literatury k této otázce. Hlavní nedostatek starší literatury vidí v tom, že někteří linguisté dříve ne dosti zřetelně rozlišovali tvary slova od odvozených slov. Tento nedostatek vedl na př. F. F. Fortunatova a jeho žáky k tomu, že tvary plurálu, vidové tvary slovesa a tvary minulého času na *-l* řadili k tvoření slov. Tedy i nesyntaktické tvary, jako je plurál, F. F. Fortunatov zahrnoval do tvoření slov L. V. Ščerba, který do značné míry přispěl k rozlišování tvarů slov a odvozených slov, nedovedl se zejména v prvních pracích zbavit příliš širokého pojetí pojmu tvar slova. Na příklad k tvoření tvarů řadil u substantiv kromě tvaru singuláru a plurálu i tvary subjektivního hodnocení, deminutiva a augmentativa, a dokonce i dvojice slov jako *medved — medvedica.*

Určení hlavní úlohy a postavení základního slovního fondu v systému jazyka, jak je ve svých statích ukázal J. V. Stalin, přispívá i k řešení otázky postavení a úlohy tvoření slov v jazyce.

Tvoření slov je s jedné strany spojovacím článkem mezi základním slovním fondem a mluvnickou stavbou, s druhé strany určuje formy a způsoby vztahů a vzájemného působení základního slovního fondu a ostatní slovní zásoby. V. V. Vinogradov se neomezuje jen na konstatování těchto vztahů. Na celé řadě příkladů na materiálech ruského jazyka a jeho nářečí ukazuje, jakými složitými cestami se tyto vztahy uskutečňují.

Uvedeme některé Vinogradovovy příklady. Těsné spojení mezi tvořením tvarů a slov se někdy jeví nejen v plné shodě způsobů tvoření slov a tvarů slova, ale i v historických přechodech odvozených slov ve tvary slova, t. j. slovotvorných tvarů ve tvary flektivní a naopak. Tak v severovelikoruských nářečích se ke slovům *snop* tvoří tvary množného čísla *snopovjё*. Stejně *blocha — blošjё*. Hromadná jména jsou v těchto nářečích nerozlučně spojena s tvary jednotného čísla slov s konkretním významem. Odpovídají tedy tvarům množného čísla (113).

Při změně tvaru slova v slovo se tvoření slov uskutečňuje prostředky flektivními. Na příklad *čudom, šagom.* V těchto případech se koncovka instrumentálu stala vlastně adverbiální příponou (114).

Stejné obtíže činí určit hranici mezi tvořením slov a tvarů v systému ruského slovesa. Předponové tvoření sloves (slovoobrazovanije) je těsně spjato s vidovým tvořením tvarů (formoobrazovanije).

Mezi slovotvornými a flektivními kategoriemi je podle V. V. Vinogradova zásadní rozdíl, neboť slovotvorné kategorie nikdy nedosahují takového stupně zobecnění a abstrahovanosti jak na př. pád, číslo a rod. V tom jim brání nedostatečná systémovost, celá řada nemotivovaných omezení, různorodost shodných nebo blízkých významů u jednotlivých slovotvorných typů.

Vinogradovova stať se zabývá různými typy vztahů slovotvorných přípon a slovního základu. Na příklad ruská přípona *-ec* je neproduktivní v současné ruštině ve spojení se slovesnými a adjektivními základy *(chrabrec, gordec)*, ale je produktivní ve spojení se substantivními základy *(stachanovec)*.

Z bohatého materiálu vyvozuje V. V. Vinogradov základní typy tvoření slov v současné ruštině: *morfologický, morfologicko-syntaktický* (substantivisace, adverbialisace a j.), *syntakticko-morfologický* (tvoření komposit), *syntaktický, lexikálně sémantický (čelovek — ljudi), lexikálně morfologický (zasedať — zasesť*, t. j. různá slova, ačkoliv jde o různé tvary vidu téhož slovesa). Se zřetelem k těmto typům akademik Vinogradov navrhuje rozlišovat *odvozování slov* (pomocí morfologických prostředků) a *tvoření slov* (tvoření nových slov kombinováním již existujících slov nebo významovým přehodnocením jejich tvarů).

Morfologickým a syntakticko-morfologickým typem se tvoření slov sbližuje a prolíná s morfologií, lexikalisací slovních spojení a lexikálně sémantickým typem je tvoření slov nerozlučně spojeno s lexikologií.

O hlavní vývody, obsažené ve Vinogradovově článku, opírá se stať K. A. Levkovské *O tvoření slov a jeho vztahu ke gramatice* (153—182) a stať E. V. Sevortjana *Ke vztahu gramatiky a lexika v turkotatarských jazycích* (306—368). První se zřetelem k specifiku tvoření slov v německém jazyce, druhá v azerbejdžanském, tureckém a uzbeckém.

Článek A. I. Smirnického *K otázce slova* (182—204) navazuje na otázky poměru slova a jeho částí, kterých se ve svém článku také dotýká V. V. Vinogradov. Autora zajímá, jaká jsou kriteria určování slova jako jednotky řeči. Slovo je jednotka slovní zásoby, která je schopna gramaticky se měnit a gramaticky se spojovat ve věty s jinými podobnými jednotkami. Tedy základní lexikální význam je doplňován ještě jinými gramatickými významy. Slova jsou tedy gramaticky, t. j. morfologicky a syntakticky, určována a tím jsou jistým způsobem přizpůsobena k plnění své funkce v souvislé řeči. Tímto určením se slovu dostává jisté smyslové zakončenosti, která umožňuje poměrně lehko je vydělt v řeči. Části slova (afixy) jsou této možnosti zbaveny. Na příklad substantivum v 1. sg. *li* a *lis-*, t. j. slovní základ slova *lisa* atp. (191). První slovo vedle základního významu má celou řadu doplňujících významů, předmětu, mužského rodu, čísla a pádu. Druhý příklad jako slovní základ tyto doplňující významy nemá, a nemůže proto být vydělen jako slovo. Fonetické příznaky vydělení slova jsou nedostačující, poněvadž takto určená slova se často nekryjí s tím, co se v životní praxi chápe pod slovem. Fonetický příznak stejně jako logickosémantický příznak pokládá autor za pomocná a nikoli hlavní kriteria při určování slova jako jednotky řeči. Vedle přímého určování mohou být slova určována jako jednotka řeči i nepřímo, negativně (na př. *na sud)*. To znamená, že ně-

která slova, pokud je to dáno jejich sémantikou, mohou být určována ne na základě svých vlastností, ale vlastností slov s nimi spojovaných (193).

Při vydělení slov, na rozdíl od slovních spojení, vyzdvihuje A. I. Smirnickij hledisko ucelenosti (celnosti) slova, t. j. slovo, na rozdíl od slovních spojení idiomatických i neidiomatických, je tvořeno jako jedno slovo (srov. *železnodorožnik,* ale *spustja rukava, dom otdycha;* 193 n.).

Celá řada článků se zabývá otázkou *odolnosti jazyka a míšením jazyků.* Nejobecněji jsou hlavní zásady zformulovány ve stati B. A. Serebrennikova *O odolnosti morfologického systému jazyka* (204—225), a proto se u některých problémů podrobněji zastavíme při výkladu této stati.

Při vzájemném míšení jazyků se ukazuje, že ne všechny složky jazyka jsou přístupné cizím vlivům. Slovní zásoba je prostupnější než mluvnická výstavba jazyka. Příčinou nestejného stupně odolnosti vidí Serebrennikov v různém stupni a charakteru lexikální a gramatické abstrakce. Abstrakce je podstata jazyka i myšlení, neboť umožňuje proniknout do podstaty předmětů, jevů a procesů materiálního světa.

Lexikální abstrakce vzniká na základě zobecnění velkého množství jednotlivých konkretních předmětů, jejich jednotlivých vlastností a kvalit. Má tedy předmětný charakter. Pole její působnosti je poměrně úzké, poněvadž se týká úzké kategorie předmětů a jejich vlastností.

Gramatická abstrakce je naopak nebyčejně široká, neboť se vztahuje na veškeré lexikální bohatství jazyka. Gramatické afixy vyjadřují vztahy mezi slovy, abstrahují z velkého počtu konkretních vztahů mezi předměty a jevy. Lze říci, že flexe se pravidlem nepřejímá z cizích jazyků. Systém flektivních formantů se mění a doplňuje z vnitřního fondu materiálních prostředků jazyka.

Z cizího jazyka se obvykle přejímá jen to, co je spojeno s předmětnou abstrakcí, nikoli to, co je spojeno s abstrakcí gramatickou, která nemá předmětný charakter. Své vývody dokládá Serebrennikov celou řadou příkladů z jazyků nejrůznějších systémů. Pozoruhodné je i to, že i v t. zv. smíšených jazykových útvarech (jazykovyje smesi), které vznikají na silném stupni bilinguismu, cizí flektivní prostředky nezasahují slova rodného jazyka, ale jsou spojeny jen se slovy cizími. Stejně i jazykové svazy, na př. balkánský, baltský a j., ukazují na některé strukturní shody. Zpravidla však jednotlivé jazyky nepřejímají flektivní prostředky. Řešení otázky jazykových svazů se zřetelem k historickým podmínkám soužití národů by jistě přispělo k osvětlení otázky zonálních jazyků.

Mnohem větší sklon k prostupnosti prokazuje hláskosloví i skladba, v níž se některé konstrukce mohou vytvářet podle vzoru jazyka druhého. Přejímány mohou být i některé slovotvorné přípony a připojovány k domácím základům *(očerkist, značkist),* neboť slovotvorné přípony, jak již bylo uvedeno, nemají takový stupeň abstrahovanosti, jako má flexe.

Jiné případy nastávají při míšení jazyků příbuzných. Serebrennikov uvádí příklady svérázných žargonů italsko-španělských a portugalsko-španělských v jižní Americe. Uvedené příklady ukazují, že v těchto případech je možná záměna osobních koncovek sloves jednoho jazyka osobními koncovkami sloves druhého příbuzného jazyka (221). Podobné příklady vidí autor i ve vytlačování pádových a osobních koncovek v některých ruských nářečích koncovkami spisovného jazyka. Na příklad nářeční instrumentály typu *za gribam* jsou vytlačovány spisovným *za gribami.* Máme za to, že uvedená analogie s jihoamerickými žargony není podle našeho názoru na místě. Vztah nářečí ke spisovnému jazyku je jiný než vztah dvou příbuzných jazyků, byť i sebebližších. Nářečí jsou podřízena celonárodnímu spisovnému jazyku jako formy nižší formě vyšší. Jejich vzájemný vztah je určován dvěma okolnostmi: 1. tím, že spisovný jazyk nad dialekty převládá a podřizuje si je, 2. tím, že

nářečí bývají často navzájem velmi blízká svou gramatickou stavbou a slovníkem (tak aspoň ruská nářečí). Tyto okolnosti vedou k tomu, že za příznivých historických podmínek jsou nářečí velmi prostupná. Avšak i zde proces vytlačování nářečí spisovným jazykem probíhá složitými cestami. Nerovnoměrně se odráží v jednotlivých složkách jazyka. Stejně i jednotlivé jevy hláskoslovné i mluvnické prokazují nestejnou míru odolnosti tomuto vlivu.

Podobnou problematikou se zabývá na materiálech severních tadžických nářečí, sousedících s uzbeckými, V. S. Rastogujeva *O odolnosti morfologického systému jazyka* (225—237) a G. A. Menovščikov *O odolnosti mluvnické stavby a základního slovního fondu eskymáckého jazyka* (430—461). Míšení kavkazských jazyků probírá v obsáhlé studii J. D. Dešerijev *O vzájemném působení jazyků se starou a mladší písemnou tradicí a jazyků, nemajících vlastního písemnictví (ve světle Stalinova učení o jazyce)* (461—494). K řešení otázek míšení jazyků na Kavkaze, kde poměrně na malé ploše se stýká 47 jazyků, autor přistupuje historicky. Přihlíží k písemné tradici, kulturní úrovni a početnosti nositelů jednotlivých jazyků a k příbuznosti jazyků. Tyto okolnosti ovlivňují stupeň a intensitu míšení jazyků.

Dílčí problematice je věnována stať N. M. Tereščenko *O rozvoji gramatických kategorií něněckého jazyka* (368—387), v které autor srovnávací metodou vykládá vznik a perspektivy vývoje kategorie příčeští v něněckém jazyce.

Cennou myšlenku k uplatnění srovnávací metody při vyučování cizím jazykům přináší článek V. A. Avrorina *K otázce národní svébytnosti jazyka* (387—430). Na omylech marrovské jazykovědy ukazuje, k jakému nebezpečí vedla snaha hledat v jazycích společné kategorie, stejné zákony rozvoje a opomíjet přitom národní specifičnost. Na př. V. K. Paškov ve sborníku *Voprosy metodiky prepodavanija russkogo i rodnogo jazyka v nerusskoj škole*, vydaném v r. 1948, doslova píše: „Jsme proti scholastickému hledání specifičnosti v rodném jazyce." Požadavek vycházet z mateřského jazyka při vyučování cizím jazykům se někdy může chybně chápat jako přizpůsobování cizího jazyka mateřskému. Toto nebezpečí je jisté, i když netak velké, při vyučování příbuzným jazykům, jako je čeština a ruština. Nesprávně pochopené srovnávací hledisko může často vést k tomu, že mateřský jazyk pohltí specifikum cizího.

Do sborníku byla pojata také stať L. A. Bulachovského *Historickosrovnávací metoda a zkoumání slovanských jazyků ve světle učení J. V. Stalina* (237—260). Ve sborníku je to jediná stať, zabývající se historickosrovnávací metodou a uplatňující ji na materiálech slovanských jazyků. Slovanské jazyky jsou vhodným předmětem výzkumu především proto, že je to velká rodina jazyků, představovaná již v 10. stol. vyvinutým spisovným jazykem staroslověnským. Staroslověnský jazyk zachoval celou řadu archaických rysů, které mohou být pevnou oporou pro rekonstrukci některých původních zvláštností slovanského systému. V nemenší míře k tomu přispívají i četná nářečí a blízkost slovanských jazyků k baltickým jazykům indoevropského typu. Některé slovanské jazyky spolu s baltickými (především litevským) si zachovaly volný přízvuk a bohatý systém intonací.

Tyto okolnosti měl na mysli J. V. Stalin, když ve svém díle O marxismu v jazykovědě upozornil, že studium jazykové příbuznosti takových národů, jako jsou slovanské, by jazykovědě mohlo přinést velký užitek při studiu zákonů vývoje jazyka.

Článek L. A. Bulachovského programově ukazuje na možnost uplatňovat historickosrovnávací metodu v jednotlivých oblastech jazyka. Neomezuje se však jen na these. Bohatý přesvědčivý materiál z nejrůznějších slovanských jazyků ukazuje Bulachovského jako vynikajícího slavistu, který je u nás znám z celé řady historickosrovnávacích studií, z nichž upozorňujeme na jeho poslední práce z oblasti slovanské akcentologie *Akcento-*

logičeskij kommentarij k poľskomu jazyku (Kijev 1950) a *Akcentologičeskij kommentarij k češskomu jazyku* (Kijev 1953).

L. A. Bulachovskij upozorňuje, že hláskové zákonitosti se dost často zkoumaly mechanicky, bez zřetele k sémantice zkoumaných slov. Slovo v jazyku není isolováno, ale je v těsném vztahu k ostatním slovům. Proto je důležité neopomíjet tuto „asociační sféru", neboť velmi často napomáhá pochopit celou řadu výjimek jako výsledek této reálně existující a působící sféry. Na př. ukrajinské *jastrub* není porušení očekávané střídnice z **astrębъ*, ale výsledek sblížení se slovem *golubъ*. Srbské *tȇtrijeb* není hláskovou odchylkou od **tetervъ*, ale výsledek sblížení se slovem *jȁstrijeb*.

Stejně i kontaminace má, podle L. A. Bulachovského, pro objasnění některých faktů s hlediska srovnávacího mnohem větší dosah, než se dosud předpokládá. Na příklad ukrajinské slovo *tovkmačiti* je výsledkem sblížení slov *tokmačiti, tovkati, tovmačiti.* V českém *rdousiti,* které J. Gebauer ve své Historické mluvnici jazyka českého vykládá jako připojení *r* k slovu *dusiti,* Bulachovskij vidí výsledek sblížení slov *hrdlo* + *dusiti* (srov. též nářeční *chrdusiti* = *chřtán* + *dusiti).* Sem patří i změny slov pod vlivem slov blízkých významem nebo podle sféry užití, na příklad slovenské *ľavý* místo *levý* podle *pravý.*

Upozornění Bulachovského na významnou úlohu asociačních sfér a kontaminace jsou neobyčejně důležitá, neboť zřetel k nim by jistě mohl vyvarovat vědu od celé řady etymologických chyb.

Stejně podnětná jsou i upozornění o možnostech a sférách užití historickosrovnávací metody v oblasti sémantiky, morfologie, skladby a dialektologie slovanských jazyků.

Dosud se velmi málo užívalo historickosrovnávací metody při vyučování cizím jazykům. Vědecky zpracovaná etymologie by podle Bulachovského usnadňovala zvládnutí slovní zásoby příbuzného jazyka ne jako materiálu, který má být osvojován pamětí, ale jako materiálu, který je v určitých zákonitých vztazích k mateřskému jazyku.

Závažná připomínka o možnosti užití historickosrovnávací metody při vyučování cizím jazykům, jak se o to svého času pokusil Baudouin de Courtenay ve své práci *Poľskij jazyk sravniteľno s russkim i drevnecerkovnoslavjanskim* (1912) má v článku bohužel jen informativní charakter.

V článku Bulachovského jsou četné české příklady a autor v otázkách gramatické analogie navazuje na polemiku A. A. Šachmatova s J. Gebauerem.

Ve dvou článcích pojatých do sborníku se řeší dílčí otázky ruského jazyka. V článku V. I. Borkovského *Základní problémy historické skladby ruského jazyka* (260—286), jde v podstatě o určení cest, kterými se má ubírat zkoumání skladby staroruského jazyka. Konkretní materiál nasvědčuje tomu, že autor, který je mimo jiné u nás znám svou prací *Sintaksis drevnerusskich gramot* (Lvov 1949), se dobře vyzná jak v materiálu, dosud velmi málo zpracovaném, tak i v širších otázkách metodologických.

Úkolem historické skladby není podle něho jen ukázat, co se změnilo, ale ukázat tuto změnu v širší souvislosti, jako část procesu rozvoje a zdokonalování syntaktického systému jazyka.

V rozvoji syntaktického systému se projevuje nerovnoměrnost. Při výzkumu je nutno přihlížet k tomu, že některé syntaktické konstrukce mohou být v průběhu historického vývoje značně odolné i stabilní, jiné naopak se mohou vyvíjet velmi rychle.

Historik jazyka, zabývající se problematikou historické skladby, má vycházet podle V. I. Borkovského ze dvojího srovnávání syntaktických konstrukcí. *Srovnávání syntaktických konstrukcí na stejné etapě historického vývoje* napomáhá určit synonymické obraty a dává bohatý materiál k otázkám historické stylistiky. Neméně důležité je *srovnávání syntaktických konstrukcí na různých etapách historického vývoje.* V tomto případě je

však nutné rozlišovat, co a jak srovnávat. Nejčastěji se srovnává s konstrukcemi současného jazyka v jeho nářečích. Dosavadní *Programma*, podle které se sbírá nářeční materiál pro sestavení atlasu ruských nářečí, má podle Borkovského některé nedostatky. Formulace otázek Programmy vede jen k určení výskytu určitého syntaktického obratu, a nikoli k určení jeho významu, čímž se ztěžuje zpracovávání historických materiálů. Na příklad v některých severoruských nářečích se vyskytuje při perfektu spona (*direvnja nasililas' jes'*). Z toho by se mohly dělat mylné závěry, že dané nářečí zachovává staré tvary perfekta. Spona *jesť* se však v daném nářečí vyskytuje i v présentu. Užívá se jí jako prostředku zdůraznění, podobně jako částice *da*. Je to tedy fakt sekundárního užití spony při perfektu.

Nářeční materiály jsou důležité pro historickou skladbu, ale opomíjení významové stránky, jak patrno z uvedeného příkladu, může nářeční materiál značně znehodnocovat.

Stejně nemají podle Borkovského nářeční materiály absolutní platnost ani při stanovování normy celonárodního staroruského jazyka. Vycházíme-li z platnosti celonárodního jazyka jako dorozumívacího prostředku celé společnosti, můžeme předpokládat, že syntaktické konstrukce, které se v něm vyskytují, měly také celonárodní platnost. Historik však musí stanovit, co bylo v syntaktickém systému staroruského jazyka celonárodní a co místní, nářeční. Celá otázka je tím složitější, že často některé nářeční konstrukce se mohou na určitou dobu rozšířit v spisovném jazyce, a po určité době mohou opět být z něho vytlačeny. Na příklad konstrukce typu *topit' banja*, vyskytující se podnes v severozápadních, pomorských oloněckých a východních nářečích ruského jazyka se stala normou jazyka moskevských aktů (moskovskij prikaznyj jazyk) a držela se v něm až do doby Petra Velikého. Byla však ze spisovného jazyka vytlačena, poněvadž neměla oporu ve středoruských a jihoruských nářečích. Mechanické konstatování (bez přihlédnutí k písemným památkám), že uvedená konstrukce se nevyskytuje v ostatních současných nářečích, a tudíž že je ji třeba pokládat i v jazyce Moskevského státu za dialektismus, by skreslovalo obraz historického vývoje.

Dále je třeba podle Borkovského srovnávat jednotlivé syntaktické konstrukce se shodnými konstrukcemi v ostatních slovanských jazycích. Úkoly historické skladby jsou však jiné než úkoly srovnávací mluvnice, proto při srovnávání má jít především o stanovení svébytnosti vývoje ruského syntaktického systému. O stejné úkoly jde v podstatě i při srovnávání s neslovanskými jazyky. Zde se ovšem přidružuje i otázka přejímání syntaktických konstrukcí. Neméně důležité je i srovnávat syntaktické konstrukce v jednotlivých žánrech staroruské literatury, neboť to napomáhá určit, v kterých žánrech a jakým způsobem se projevuje vliv církevněslovanského jazyka.

Druhá stať N. S. Pospelova *Kategorie času v mluvnické stavbě ruského jazyka* (286—306) řeší ještě užší problém gramatiky ruského jazyka. Tradiční pojetí času „s hlediska mluvčího“ (u Peškovského) kritisuje jako idealistické. Článek se pokouší o nové, avšak sotva plně přijatelné pojetí kategorie slovesného času a způsobu. (Viz o tom též P. S. Kuznecov, Trudy Instituta jazykoznanija II, 1953, 222 n.)

Kategorie slovesného způsobu je výrazem zobecněného vztahu samotného slovesného děje ke skutečnosti, bez ohledu na hledisko mluvčího. Kategorie času odráží objektivní čas. Bezprostředně zapojuje slovesný děj do reálné skutečnosti. Nevyjadřuje tedy čas s hlediska mluvčího, t. j. ve vztahu k momentu promluvy (293). Článek se dále zabývá časovými významy tvarů présentu sloves nedokonavého vidu.

Sborník je kolektivní prací starších i mladších jazykovědců, jazykovědců ruských i příslušníků ostatních svazových republik. Můžeme tedy sborník pokládat za měřítko úspěchů celé sovětské jazykovědy. Prohlížíme-li rozsáhlou problematiku otázek jazyko-

vědné teorie (v recensi jsme měli možnost jen upozornit na některé významnější otázky) a hodnotíme-li nová řešení, jež články uvádějí, musíme se zamyslit nad otázkou, jakým způsobem se sovětská jazykověda zbavila v tak krátké době neblahého dědictví vulgarisátorského učení N. J. Marra. Je to především proto, že valná většina významných jazykovědců, která se k Marrovi stavěla kriticky, rozvíjela dále pokrokové dědictví starší ruské jazykovědy. Celá řada článků sborníku nasvědčuje tomu, že spojitost se starší jazykovědnou tradicí nebyla narušena. Stalinovy články O marxismu v jazykovědě, které samy o sobě znamenají teoretické a filosofické zobecnění a další rozvinutí dosavadních vědeckých poznatků o jazyce, daly nový popud k mohutnému a v historii jazykovědy nevídanému rozvoji.

Celá řada problémů, z nich uvádíme zdokonalování jazyka jako přechod od méně abstraktních kategorií k abstrahovanějším, různé stupně abstrakce jednotlivých kategorií v jazyku, příčiny odolnosti a prostupnosti jazyka, postavení tvoření slov v systému jazyka a j., znamená obohacení teorie jazyka o nové poznatky.

Charakter jednotlivých článků není stejný. Některé články představují obsáhlé studie (na př. článek V. V. Vinogradova), jiné spíše na problémy ukazují, neřeší je v plné šířce a vyžadují dalšího zpracování. Je přirozené, že sborník nemohl obsáhnout všechnu problematiku. Přesto však je možné vytknout, že neřeší některé otázky přímo související s vytčenou thematikou. Jsou to především filosofické otázky jazyka, zejména vztah jazyka a myšlení, problém znakovosti jazyka a j., které by si, jak jsme již upozornili, zasluhovaly větší pozornosti. Stejně je možné vytknout, že ve sborníku zabývajícím se historickou thematikou je jen jeden článek o historickosrovnávací metodě. Rovněž se sborník vcelku nezabývá otázkami historické dialektologie. Více pozornosti, podle našeho soudu, mělo být věnováno kritice současných idealistických směrů v jazykovědě. S kritickými připomínkami se setkáváme jen ojediněle v některých článcích, a i ty se spíše týkají obecných strukturalistických formulí a nikoli zevrubné kritiky jak strukturalismu vcelku, tak i jednotlivých konkretních prací. Pozorněji si všímá strukturalismu jen V. N. Jarcevová, která ve svém článku dává obsáhlejší kritiku strukturalistického pojetí systému jazyka. Sborník, zabývající se teoretickými otázkami jazyka, mohl ještě více přispět ke kritice strukturalismu.

Sborník Voprosy teorii i istorii jazyka v svete trudov I. V. Stalina po jazykoznaniju hodnotíme jako významný úspěch sovětské marxistické jazykovědy a jako důkaz vědecké síly Stalinova učení o jazyku.

Vladimír Barnet

Д. Д. Благой, **История русской литературы XVIII века.** Изд. 2-е перераб. Допущено Министерством высшего образования СССР в качестве учебника для университетов и пед. институтов. Москва 1951, Учпедгиз, 687 стр.

Osmnáctý věk je významným obdobím ve vývoji slovanských literatur a jejich vztahů. Je to zhruba období, kdy probíhá (nebo aspoň začíná probíhat) obrození slovanských národů. V Rusku se obrození počíná v době Petra Velikého a Lomonosova a pokračuje do ideově revolučního vystoupení Radiščevova a až do napoleonských válek, jak to odpovídá společenskému vývoji země (absolutismus, narůstání kapitalistických vztahů ve „státě poměščiků a kupců"). Polsko je prožívá téměř současně, československá oblast a poté jižní Slované přiměřeně později. Všude ale možno říci, že ustavení novodobého národa s pevným spisovným jazykem, s jednotou hospodářskou, správní a kulturní kotví již ve století 18., stejně jako v něm kotví i obrozující se a mohutnějící národní slovesnost. Soustavný

a samostatný průzkum slovesnosti u slovanských národů 18. století není tedy dán nějakou náhodností periodisace, libovůlí časového vymezení, ale má své dobré důvody. Přitom ovšem víc než kde jinde platí, myslím, požadavek, aby snahy periodisační hledaly spíše vrcholy, kulminační body než hranice, které vždy bývají sporné.

Celé pojetí národní klasiky a kritického i revolučního demokratismu v literatuře 19. století závisí na výkladu věku 18., na revisi četných zásadních otázek tohoto období. Probádání slovesného vývoje u slovanských národů 18. věku je tedy věcí mimořádně významnou.

Nejvíce to pochopila a největší kus práce na tomto poli zatím udělala rusistika. Navazujíc na podnětné úvahy starší, počínající Puškinem a Belinským a na povlovnou, ale vytrvalou práci ruské Akademie (zejména ediční), vyvinula již v předválečných letech velkou činnost textologickou, vydavatelskou a monografickou; po válce tato práce pokračovala zvýšeným tempem.[1])

Polonistika dala si tento úkol jako jeden z prvních ve svém poválečném úsilí o nové pojetí polských literárních dějin a dosáhla tu již cenných výsledků.[2]) Jižní Slované mají v tomto oboru vykonáno málo, zvláště pak málo nového, stejně tak Češi a Slováci, snad už proto, že jejich pozornost byla převážně věnována až přelomu 18. a 19. věku.[3])

Problematika klasicismu u většiny slovanských národů teprve čeká na zpracování. Bádání o 18. století bude velmi důležité hlavně také u těch Slovanů, kteří se teprve v té době či dokonce ještě později začali v rámci změny společenského řádu a pokračující diferenciace vyhraňovat ve zvláštní národnosti a národy (Ukrajinci, Bělorusové, Slováci...); zde snad bylo podniknuto dosud nejméně.

Rusistika je tedy zatím v popředí obsahem i rozsahem vykonané práce. Úhrnem této práce je recensovaná *Istorija russkoj literatury XVIII veka.* Jejím autorem je profesor Lomonosovovy university v Moskvě a člen Akademie pedagogických věd RSFSR, Dmitrij Dmitrijevič Blagoj (nar. 1893). Jeho práce je vysokoškolskou učebnicí a tedy samozřejmě přihlíží k potřebám učebním. Nazval-li jsem ji však úhrnem, neznamená to nikterak, že by byla pouhým svodem bádání jiných vědců. Právě naopak, je to spis, který do bádání samostatně zasahuje, nadhazuje četné problémy a podněcuje k novým plodným úvahám.[4]) Je tedy s metodologického hlediska takovou příručkou, jaké bychom potřebovali pro jednotlivé slovanské literatury i pro synthetický pohled na ně, a nutno ji už proto cenit jako přínos a plod velkého úsilí. Proto se jí zabýváme podrobně.

Hned na začátku provádí Blagoj zhodnocení ruské práce o daném předmětu v obšírné a hutné kapitole *Istoriografija russkoj literatury XVIII v.* (10—31). Upozorňuje, že literatura 18. věku byla chápána a hodnocena zejména v rámci *polemik* (11), že reakcionáři byla vykládána s „bezvýhradnou pietou" při zveličování právě slabých stránek (13). Vy-

---

1) O tom podrobně u Blagého, jak ještě ukáži.

2) Viz zejm. již Pamiętnik literacki 41 (1950) zesz. 3—4, obsahující výtěžek prvních velkých porad o tomto období. Srov. dále Karel Krejčí, *Nová polská bádání o kultuře a literatuře XVIII. století*, Slavia 21 (1952) 163—164; mé záznamy ve *Zpravodajství za r. 1950*, Slavia 20 (1951) 602—603 a na dalších místech, a záznamy Milana Kudělky ve *Zpravodajství za r. 1951*, Slavia 21 (1953) na různých místech v seš. 4, a za r. 1952, Slavia 23 (1954) na různých místech v seš. 4.

3) O značné části nových prací českých toho druhu viz Karel Polák, *Odkaz Jungmannův*, Slavia 19 (1950) 488—496. K literatuře bulharské budiž uveden aspoň Žak Natan, *Bălgarskoto văzroždane*, 4. izd., Sofija 1949, Bălg. Pis., 544 str.

4) Nedává si tedy za cíl „jen dělat závěry" z dosavadního bádání, jak se domnívá v kladném posudku M. Koz'min, Lit. gazeta (1952) No 82, naopak — často opravuje dosud platné názory a upozorňuje na sporné věci.

soce cení příspěvky Puškinovy (13—14), revolučních demokratů (15—17, 20—23), vydání Grotova a Suchomlinovova (17—18). V 1. vydání (1945, 12—13), Blagoj zhodnotil již kriticky a celkem správně přínos a zásadní nedostatky práce Alekseje Veselovského, autora spisu *Zapadnoje vlijanije.* Nebylo, myslím, nutno tyto soudy upravovat a proškrtávat po kritice t. zv. Veselovského školy. Zkrácený výrok 2. vydání (24), že „Aleksej Veselovskij vystupuje proti přívržencům krajně nacionalistických názorů a zároveň ostře přehání s posic buržoasního kosmopolitismu závislost ruské literatury na literaturách západoevropských", je ovšem kromě terminologie obsažen i v obdobném odstavci 1. vydání a je výstižný, ale škrtnuté podrobnosti měly být podle mého názoru ponechány právě z důvodů učebních, didaktických. Hodnocení akad. Aleksandra Veselovského (bratra Aleksejova) je v 2. vydání (25) právě tak jednoznačně záporné, jako bylo v 1. vydání (13) kladné. Pokud jsem zjistil, projevila se tato změna v díle samotném většinou jen škrty v bibliografických odkazech.

Kritický přehled synthetických prací (26—30) je cennou pomůckou nejen pro studující, ale zvláště také pro badatele; ti by ovšem uvítali ještě doplnění všeobecných poznámek o existenci další literatury (29).

Probrané kapitole předchází *úvod* (3—10), podstatně rozšířený proti 1. vydání. Jinak je poměr obou vydání (kromě toho, co už bylo řečeno) asi takový, že 2. vydání je propracovanější zvlášť v jednotlivostech a doplněné o nejnovější výsledky.[5])

V úvodu podává Blagoj výstižné pojetí posloupnosti slovesného vývoje v rámci národním i mezinárodním:

„Ruská literatura 18. st. přirozeně vyrůstá na domácí, národní půdě, připravené staroruskou písemnou literaturou a ústní lidovou tvorbou; pokračuje v domácích literárních tradicích a rozvíjí je...

Ale ruští spisovatelé 18. st. se neomezovali jen na domácí literární zkušenost. Bedřich Engels napsal: »...filosofie každé epochy disponuje jako předpokladem určitým myšlenkovým materiálem, který jí byl odevzdán předchůdci a z kterého vychází.« Přibližně totéž poznamenal Engels i o vědeckém socialismu: »Musil podobně jako každá nová teorie vycházet z existující už zásoby idejí, třeba byl kořeny spjat s materiálními fakty.«

Toto všechno se nemenší měrou týká i umělecké literatury. Tvorba každého opravdu významného spisovatele-umělce je kořeny spjata s materiálními fakty, jeví se odrážením života, reálné skutečnosti. Ale zároveň spisovatel musí disponovat vší speciální literární zkušeností, nahromaděnou do té doby jeho předchůdci, dávající mu možnost, aby na stránkách svých knih odrazil skutečnost nejlepším způsobem. Aby dokázala opravdově a vysoce umělecky vyjádřit svůj národní obsah, stát se velkou národní literaturou, ruská literatura 18. st. musila ovládnout i bohatou uměleckou zkušenost světovou, nahromaděnou do té doby. A ruští spisovatelé 18. st. naléhavě, úporně a velmi rychle a úspěšně zvládli tuto zkušenost, postupy a prostředky uměleckého mistrovství, využívajíce toho a rozvíjejíce pro své cíle to, čeho již bylo dosaženo: pro vytvoření své vlastní veliké národní literatury" (7—8).

Poměr ruské literatury té doby k literaturám jiným a souvislost s nimi chápe Blagoj takto:

„...»učit se«, zvládat zkušenost pokrokových, progresivních západních spisovatelů v té době, v epoše osvícenské filosofie a bezprostřední přípravy francouzské revoluce nemělo v sobě nic ponižujícího. Naopak, ovládnutí této zkušenosti bylo nutné k tomu, aby bylo možno stát se »nesrovnatelně obeznalejším svého učitele«, bylo nutné k rychlejšímu pohybu vpřed, k samostatnému a plnocennému rozvoji.

---

5) Zvětšení rozsahu naznačuje poměr počtu stran (420 : 687); část toho však připadá na vrub změn grafických, takže skutečné rozšíření je poněkud menší.

Je-li nutno rozhodně odmítnout, že ruská literatura do Puškina byla jen napodobující, bylo by však historicky nesprávné tvrdit, že už v té době dosáhla plného nacionálně svébytného rozvoje. V procesu zvládání západní literární zkušenosti, tradic západních literatur, někteří naši spisovatelé té doby časem skutečně neprojevovali nutnou samostatnost. Odtud jsou pochopitelné ostré, byť někdy i ne docela spravedlivé útoky na »přejímavost« (pereimčivost') řady spisovatelů 18. st. se strany i samotného Puškina i kritiků, revolučních demokratů Belinského, Černyševského, Dobroljubova.

Zároveň ten nebo onen jev literatury 18. st. se ukazoval tím národně svébytnějším, samostatnějším, čím byl pokrokovější a významnější" (8—9).

Jinak k úvodu podotýkám, že se mi nejeví výstižnou představa, jako by existence „třeťostavovských elementů" (5), včetně „gorodskogo demokratičeskogo ljuda" (podle slov Blagého) a pod tím ještě ujařmených rolnických mas a jejich projevů, zvláště folklorních, byly specifické pro historický a literární vývoj ruský. Utlačená lidová vrstva a její ústní a jiné lidové projevy jsou obdobně i u jiných národů (srov. na př. polskou jakobínskou literaturu, českou kramářskou píseň, jihoslovanskou junáckou epiku atd.).

Konečně dává Blagoj významné upozornění o poměrech silně připomínajících i české osvícení a obrození:

„Literatura 18. st. byla svého druhu gigantickou kolektivní tvůrčí laboratoří, ve které se vypracovávala stylistika verše i prózy, systém versifikace.[6]) Všichni velicí literární činitelé 18. st. byli uvědomělými, často skvělými experimentátory v oblasti uměleckého slova. Nikoli náhodou byli všichni nejen uměleckými spisovateli, ale současně i teoretickými filology."

Vlastní spis je rozdělen do tří velkých dílů: I. *Novoje soderžanije v starych formach. Na putjach k klassicizmu. (Literatura pervych desjatiletij XVIII veka.)* Str. 32 až 99. — II. *Russkij klassicizm. Stanovlenije nacional'nogo literaturnogo jazyka. Novaja sistema stichosloženija. (Literatura 30—50-ch godov.)* Str. 100—260. — III. *Na putjach ot klassicizma k sentimentalizmu i realizmu. Sentimentalizm. Zaroždenije kritičeskogo realizma. (Literatura poslednej treti veka.)* Str. 261—675.

Na počátku *I. dílu* dělá Blagoj nejprve základní poznámky o vývoji společnosti a kultury. Již zde vidí třídní protiklady a rozpory nikoli jako holá schemata, ale uvnitř jevů, souvislostí a osobností. Proto se mu společnost nerozpadá na třídy nemající nic společného, a proto také může vysvětlit literaturu 18. věku, vyhýbaje se oběma krajnostem: teorii jediného proudu i vulgárnímu sociologismu zejména pereverzevovskému, jehož zásady by vedly k zavržení téměř vší umělé literatury 18. století prostě proto, že pochází většinou od příslušníků vykořisťovatelských tříd. Ovšem v jednotlivých případech bylo by možno považovat Blagého postřehy a soudy za diskusní. Tak na př. tam, kde předpokládá, že literární činitele dané doby k společným cílům „spojoval nadšený kult díla a osobnosti Petrovy, láska k osvětě a konečně horoucí vlastenectví" (41). Zdá se mi že by tu bylo třeba jít dále a stanovit společenské historické příčiny, ze kterých doba čerpala obecné, celonárodní úkoly, spojující činitele různé orientace a různého původu.

Výrok, že „předpetrovské umění se vyvíjelo v základní dráze středověké církevní kultury" (42) jistě nemá popřít to, že tu byla také mohutná ústní slovesnost, lidové umění, publicistika (významná na př. v 16. století; srov. také znamenité politické polemiky za Ivana Hrozného), cestopisy, letopisy; byl tu vertep, skomorošské produkce atd., a značnou úlohu měly ještě dvojvěrecké kulty. — Blagoj přesvědčivě dokazuje svým spisem mylnost představy, jako by ruská literatura 19. století byla vznikla z ničeho; také pro literaturu věku 18. bylo by třeba hlouběji prozkoumat starší domácí kořeny písemné i ústní.

---

[6]) Rus. *sistema stichosloženija.*

Poté přistupuje Blagoj k vlastní látce I. dílu a dělí ji podle slovesných druhů. V kapitole *Povesti* (45—57) má hlavní místo *Povest' o Vasiliji Koriotskom* (50 n.). Poměrný demokratismus, který zde Blagoj shledává, dobře naznačuje ráz nejen probíraného výtvoru a druhu, ale do značné míry tehdejší tvorby vůbec.

Tři příklady pověstí o cestujícím synu ukazují trojí různé zpracování ve třech sociálních vrstvách. Blagoj píše:

„V pověsti o ruském námořníku Vasilii Koriotském, která vyjadřovala ideologii pokrokových vrstev drobné úřednické šlechty[7]) petrovské doby, při vší pozoruhodné novotě obsahu a tónu, setkáváme se s řadou rysů, jež ji sbližují s lidovou skazkou *ob udačlivom »dobrom molodce«;* v pověsti o ruském šlechtici Aleksandrovi, jež je spjata s ideologií velkého »novomanirnogo šljachetstva«, zvláště v její druhé části, se analogická látka zpracovává ve formě milostně dobrodružného rytířského románu; v pověsti o kupci Ioannu, patřící třetímu stavu — ve formě blížící se »bytovému« vyprávění" (55).

Následuje kapitola nazvaná *Stichotvorstvo* (57—63). Zde Blagoj probírá přípravu k oněm velkým činům teoretiků a básníků, z nichž se záhy poté rodila ruská poesie novodobá.

Zatím si ještě udržují své místo *virši;* Blagoj o tom říká:

„Simeon Polockij a jeho žáci a pokračovatelé — Silvester Medvedev, Karion Istomin a j. — vnesli do viršového verše, vycházejíce ze systému polské prosodie, princip syllabismu... Rýmu se používalo převážně ženského rovněž po vzoru verše polského" (57).

Výtvory, kterým Blagoj dává jména „stichotvornyje štuki — čisto formalističeskije uchiščrenija" (58—59), svědčí, myslím, jako pokusy hledající výraz pro nový obsah m. j. o tom, že formalistické sklony se najdou i ve starších obdobích. Bylo by hodno vysvětlení, jak tyto hříčky a experimentace, opírající se o tradici školské poesie a přímo o cvičení v poetice na moskevské a kyjevské akademii, souvisí s oním velkým rozmachem básnictví, který brzy následoval a který se vyznačuje jmény tak velkými jako Lomonosovovo. — Blagoj pokračuje:

„Na Západě v 17. a 18. st. došla nezvyklého rozmachu milostně galantní poesie. Jejím centrem byla Francie. Odtud se milostně galantní žánry rozšířily po celé Evropě" (60).

Je ovšem jisto, že proudění zde bylo a Francie v něm byla významným činitelem, ne však činitelem jediným; rovněž mi připadá ne docela přesným mluvit pro tu dobu v evropském měřítku jen o rozmachu a působení poesie galantní. Antikisující kolorit této poesie považuje Blagoj za „stopu jejího zřejmého vztahu se západoevropskou renesancí"[8]) (61), avšak neuvádí pro to důvody.

Následující kapitola *(Dramaturgija;* 64—78) je věnována poměrně rychlému růstu dramatického a divadelního umění ruského. Tehdejší tvorbě je podle Blagého vlastní „nadnesená, ostrá a hlučná divadelnost" (66), záliba v dramatisacích, délka, početnost osob, nedivadelní sklony školské hry, slavnostní řečnění, rozmáchlý monolog atd. Bylo by, myslím, zajímavé sledovat stopy těchto historicky vzniklých rysů i v dalším vývoji ruského dramatu a divadla; jistě by mnohé tím bylo vysvětleno.

Kapitola o dramatu podává převážně výběr z ohromných výzkumů o tomto předmětu, a to výběr velmi názorný. Podotýkám k výkladu jen to, že *intermedia* nejsou, aspoň na t. zv. Západě, produktem školské hry (74), ale původní hry pašijové na přechodu z chrámu na náměstí.

[7]) Rus. *služilogo dvorjanstva.*
[8]) Rus. *Vozroždenijem.* — Myslím, že při této thesi by bylo důležité pojem renesance blíže vymezit obsahově i časově.

Nato v kapitole *Narodnaja literatura* (78—87) podává Blagoj doklady toho, jak ujařmená většina národa svérázně zasahuje do slovesného vývoje. Ostře se odráží mínění lidu zejména v písních o Petru Velikém (78 n.). Příkladem lidového odporu sociálního je skladba *Myši kota pogrebajut* (83—84). Ve výkladu známé hry *Car' Maksimiľjan* zdůrazňuje Blagoj, že se tu odrazily i události kolem smrti careviče Alekseje (85).

Uvedení lidové tvorby do celku slovesného vývoje je velmi správné a mohlo by být ještě podstatně rozšířeno.

Za touto kapitolou je připojen bohatý seznam pramenů a pomůcek k předchozí látce; obdobné seznamy připojuje pak Blagoj téměř ke každé kapitole. Kniha tím značně získává s hlediska potřeb vědeckých i učebních.

Poslední kapitolu I. dílu postavil Blagoj mimo dělení literárně teoretické a věnoval ji největší postavě tehdejší literatury, Feofanu Prokopoviči (87—99); ukázal složitost a ve výslednici pokrokovost této nadmíru zajímavé osobnosti z bezprostředního okolí cara Petra — osobnosti církevního reformátora, básníka, sžíravého satirika, ideologa a politika.

II. díl je opět uveden obecnými poznámkami z politické a kulturní historie. Pro tu dobu je již charakteristický boj o poměr k t. zv. Západu. Blagoj o tom říká:

„Někteří církevní mluvčí obnovují všeobecné útoky proti všem cizincům vůbec jako proti »ďábelským emisarům«, zarytým nepřátelům ruského národa. Jiný poměr k tomu nalézáme u pokrokových činitelů literatury a společnosti. Rozhodně bojujíce s otrockým obdivem patolízalských kruhů šlechty k Západu, kriticky si osvojují nejlepší výtěžky pokrokového západoevropského myšlení a uměleckého slova a obracejí je k prospěchu budující se ruské národní kultury“ (105).

Poté podává Bragoj definici ruského *klasicismu* takto:

„Tvoří se literárně umělecký směr, vyrovnávající dříve zaostalou literaturu se životem, odpovídající tomu novému stupni v rozvoji společenských vztahů a společenského vědomí, na který země vstoupila v důsledku přeměn Petrových. Tento literárně umělecký směr má název ruský klasicismus“ (111).

Klasicismus, jak praví Blagoj, vytvářejí *jak* šlechtici Kantemir a Sumarokov, *tak* raznočinec Trediakovkij, *tak* rolnický syn Lomonosov (112). Jak vidno, účastní se v tomto případě hned několik třídních útvarů, a to ještě nemluvíme o ohromné mase nevolnické; zároveň se tu dobře ukazuje, jak ve spolupráci i srážkách lidí různého původu a různého zaměření vznikají hodnoty celonárodní.

Za „silné stránky klasicismu“ pokládá Blagoj „vysoký občanský pathos“, „kult rozumu“ a „oplodněnost velkými vzory antického umění“. Na tom však je „pečeť podstatné ohraničenosti podmíněné jeho sociálně historickou přirozeností“ (112).

Podle Blagého „nejvyšším estetickým kriteriem klasicismu byla rozumnost výtvoru“ (112). To, jak se mi zdá, platí více pro normativní estetiku klasicismu než pro jeho praxi: racionalismus se může, ale nemusí krýt s klasicismem. Přiléhavější už je charakteristika o „metafysickém charakteru“ pojímání skutečnosti v klasicismu (112); ani ona však nemusí být platná nebo podstatná ve všech případech (srov. hned klasicistickou komedii, na př. Molièra a j.).

Naproti tomu skutečně specifický je „propracovaný systém literárních rodů i vidů“ a „strohá hierarchie žánrů“ (113), jež spolu se „systémem neproniknutelných mezižánrových přehrad ukázala se nejzranitelnějším místem klasicismu, na které se později také vrhly zvlášť prudké údery jeho protivníků“ (113)

V klasicismu podle Blagého „místo plnokrevných obrazů živých lidí, kteří podle slov Puškinových jsou naplněni »mnohými vášněmi, mnohými vadami«, kreslily se pod míněné »charaktery«, t. j. obrazy-schemata, obrazy-pojmy..." (114). Bylo by věcí diskuse, do jaké míry tato věc z normativní poetiky klasicismu plynula; za podstatný jeho rys ji však nemohu považovat již na př. proto, že sama praxe ruského klasicismu, hlavně jeho satiry a komedie, pro to nesvědčí. Plodnější i prostší byl by výklad, vycházející z konkretních výtvorů; tu by se objevilo, že i klasicismus zobrazoval živé lidi, ovšem svým specifickým způsobem a ve zvláštních, pro tu dobu a pro její myšlení příznačných okolnostech.

Jestliže Puškin a Belinskij mluví o „lžiklasicismu", „pseudoklasicismu", Blagoj vysvětluje, že takové označení bylo oprávněné ve vztahu k antice, neboť klasicismus se snažil o nemožné, o přesazení řecké poesie do podmínek tiskařského stroje — řečeno s Marxem (116).

Potud k Blagého výměrům klasicismu jako uměleckého období a stylu. Je otázka, do jaké míry je za daného stavu vědy tak široký, obecný výměr klasicismu v měřítku evropském a obecně sociálním možný. Blagého poznámky jsou však cenné už tím, že podněcují k dalším úvahám. — Jinak sám Blagoj naznačuje několik vrstev klasicismu ve smyslu společenském, alespoň jeho vlastní materiál je ukazuje, i když Blagoj v odstavcích synthetických vidí jen hlavní dva třídní protiklady. — Národní zvláštnosti klasicismu v daném prostředí je třeba zdůraznit zvlášť. Blagoj to činí v následujících výkladech. „Dlouho byl tu sklon dívat se na ruský klasicismus 18. st. jako na mechanické napodobení francouzského. To je nesprávné," dovozuje Blagoj (116) a připomíná, že tu byly již starší zdroje v „t. zv. školním, scholastickém klasicismu" Simeona Polockého a jiných, od něhož se stal spojovacím článkem Feofan Prokopovič. „Mimo to takoví zakladatelé a největší činitelé ruského klasicismu jako Kantemir, Trediakovskij, Lomonosov výborně ovládali starořecký a latinský jazyk", takže tu byl také přímý vztah k antice. Blagoj to ukazuje na *Tilemachidě* T r e d i a k o v s k é h o, „svérázném přepracování románu francouzského spisovatele Fénelona, které Trediakovskij dokázal v daleko větší míře, než tomu bylo v originále, přiblížit k světu homérského eposu. Tak náš[9]) klasicismus 18. st., spjatý stejně jako západní klasicismus s rozvojem nové filosofie a nové vědy, při vší své nejpodstatnější odlišnosti od středověkého, scholastického klasicismu byl zároveň zákonitou, postupně uzrálou etapou v organickém procesu rozvoje naší literatury" (117).

Tak Blagoj podává na materiálu pojetí vzájemných vztahů výtvorů k starším výtvorům, jejichž síť pak v souvislosti s konkretními historickými podmínkami představuje národní literaturu v její posloupnosti, v její závislosti na společenských změnách i v její souvislosti s klasickými jevy domácího a světového kulturního odkazu, a to nejen literárního, ale vůbec ideového. (Tak bylo by možno teoreticky vyjádřit postupy, kterými Blagoj spojuje danou problematiku s domácí a zahraniční tradicí.) Přitom se Blagoj, jak vidno, nevyhýbá zjišťování vztahů mezinárodních. Při jejich posuzování se ovšem opírá o důvody sociálního řádu, které umožňují vznikání obdobných jevů. Proti vlivologům naznačuje na příkladě Trediakovského a jinde, že nestačí konstatovat vztah, vliv, přejetí, že je důležitý především *způsob přejetí*, hodnota přepracování, onen přínos, který z recepce činí sourodou součást národní literatury. (Tak zase bylo by možno vyjádřit, jaký přístup ke srovnávací problematice volil Blagoj.) Rys „nacionálně historického svérázu" vidí Blagoj na př. ve „zvláštním satirickém zaměření, které se mu jeví již „dalekou předzvěstí budoucího kritického realismu" (117).

---

[9]) T. j. ruský.

Na Rusi stejně jako ve Francii 17. st. měla teorie klasicismu „v základě aristokratický charakter," praví Blagoj. Přesto shledává v ruském klasicismu „při vší jeho odtrženosti od lidových mas" projevy „lidu, jeho řeči, jeho tvorby... v řadě podstatných momentů" (117); poukazuje na př. na „téměř lidový styl" hned v souvislosti se satirami Kantemirovými a naráží na vliv „mužických písní" u básní Trediakovského. Podotýkám, že lidové rysy by se ovšem našly i u takového Molièra a četných jiných západních klasicistů; přirozeně u Slovanů, zejména u těch slovanských národů, kde specificky slovanská životaschopnost a rozsáhlost ústní tvorby byla nejsilnější, bude možno zjistit také nejsilnější míru pronikání lidových rysů do „horní" vrstvy klasicismu.

Bylo by snad také lépe nezůstat při posuzování „lidových elementů" jen u této „horní" vrstvy klasicismu. Vždyť sám Blagoj ukázal nejen složitost třídních posic této vrstvy, ale věnuje na jiných místech pozornost i vrstvě nejšíře lidové (srov. na př. oddíly na str. 78 n., 320 n., 450 n., zabývající se výslovně masovou slovesností); prospělo by věci vzít to vše v úvahu i při obecném hodnocení. Pravda, při této vyloženě lidové vrstvě klasicismu by se objevila zas řada nových otázek, hned na př. otázka vlivu výtvorů, které se pohybovaly převážně v polohách vládnoucích společenských tříd, protože jistě obě vrstvy nebyly odděleny čínskou zdí; stejné pozornosti by zasloužila otázka obráceného vlivu, zdola nahoru (srov. na Rusi zejména oblibu lidových skazek v nejvyšších vrstvách). To by jistě obohatilo vysvětlení lidových souvislostí u předních literátů doby a zároveň by se ukázalo, jak klasicismus ve svém celku je ještě složitější a sociálně protikladnější, než se často má za to.

Hlavní specificky národní rys klasicismu ruského vidí Blagoj v jeho nacionální a patriotické zaměřenosti, v jeho vzláštním zřeteli k národním dějinám (zejména na př. v dramatice takového Sumarokova), v jeho všenárodních cílech (118—119).

Blagého dílo pochopitelně neodpovídá na všechny důležitější teoretické otázky související s kulturním děním období osvícenství a absolutismu, konkretně s t. zv. klasicismem. Ale rozhodně přináší mnoho nových postřehů na konkretním ruském materiálu a podněcuje i v tom směru k dalším úvahám. Jeho vývody, shrnující do značné míry názory současného sovětského bádání, bude třeba konfrontovat se studiem tohoto období v jiných zemích, především slovanských, tedy v oblasti převážně mnohonárodních států střední a východní Evropy, kde problematika absolutismu, osvícenství, klasicismu a obrození je tak důležitá. Taková hlubší konfrontace by prospěla hned na př. bádání polonistů a ještě více bohemistů a slovakistů — nepochybně zase také zjištěním národních zvláštností i shod, které by tak vynikly.

Blagého kniha ukazuje na mnoha místech velikou důležitost *překladatelství*. Blagoj mu přikládá velký význam pro vývoj ruského poetického jazyka a verše. Překlady byly pořizovány podle tehdy nejlepších vydání, opatřovány bohatými textologickými a kulturně historickými poznámkami (141). S tím souvisí na př. i vlastní Kantemirův vztah k jiným autorům. V duchu principů poetiky klasicismu šel Kantemir za určitými vzory, jak praví Blagoj, a na několika místech se přímo hlásil k Horatiovi, Boileauovi, Iuvenalovi a Persiovi (123). „Plně přijímá racionalistický základ estetiky klasicismu" a z těchto básníků „vypůjčuje si[10]) postupy skladby svých vlastních satir, jejich formu, chod výkladu, poetické obrazy. Při tom jako pravověrný přívrženec klasicismu nejen toho neskrývá, ale naopak se o tom starostlivě[11]) zmiňuje ve vlastních poznámkách. Ale současně sám Kantemir přesně vymezuje i hranice svého následování vzorů. Uměleckou formu osvojenou u cizozemských předchůdců podle vlastních slov »prisvoil k našim obyčajam«, »zaplatil po

---

[10]) Rus. *zaimstvujet.*
[11]) Rus. *tščatel'no.*

russki« t. j. naplnil originálním nacionálně ruským obsahem — spojil s reálnou ruskou skutečností“ (123—124), jak dokládá Blagoj také výrokem Belinského a řadou dalších poznámek. — Obdobně je posouzena překladatelská činnost velké řady vynikajících osobností tehdejší ruské literatury.

II. díl má naprosto jinou dělbu látky než díl I. Látka je zde rozdělena do kapitol podle vynikajících spisovatelů: Kantemir (119—143), Trediakovskij (143 až 173), Lomonosov (173—225). Každá kapitola končí samostatným seznamem pramenů a pomůcek. Proberu některé pozoruhodné otázky tohoto dílu.

Nejprve se Blagoj zabývá životem a dílem Kantemirovým. Někteří badatelé tvrdili, že Kantemir nebyl a ani nechtěl být básníkem. Blagoj má jiný názor a poukazuje na to, jak Kantemir piloval a krátil své práce, jak dělal nové a nové redakce. Jsou-li jeho satiry někde umělecky slabé, pak je to důsledek tehdejší nepropracovanosti uměleckého jazyka a verše (135). Jazyku pak je věnováno mnoho místa (135—138). Blagoj vysoce hodnotí Kantemirovu práci na vytváření ruského literárního jazyka. Poté se zabývá jeho veršem, dovozuje však, že ve verši byl Kantemir konservativnější (138—139).

Mimo to psal Kantemir „ i v mnohých jiných rodech“.[12]) „Avšak... měl pravdu, když pokládal žánr satir za nejvíce sourodý se svým talentem. Všechny ostatní... jeho výtvory mají význam hlavně jako vzory nových žánrů, kterých bylo jím po prvé užito v naší[13]) literatuře“ (138).

„Přesvědčený a aktivní osvícenec,“ kterým podle slov Blagého byl Kantemir, vyvíjel také rozsáhlou činnost popularisační. Významné je zejména upozornění Blagého na Kantemirovy poznámky, komentáře k vlastním veršům (141).

„Kantemir byl nejen praotcem[14]) našeho[15]) klasicismu, ale i zakladatelem jeho nejživotnějšího směru, reálně satirického, který se stal podle slov Belinského »od časů Kantemirových ... živým proudem vší ruské literatury«“ (142).

Pozoruhodné je vylíčení života „osvíceného raznočince“ (144), prvního ruského spisovatele-profesionála, Trediakovského, jeho vnitřních protikladů, věcných a osobních sporů s Lomonosovem a Sumarokovem, které vyústily v osudnou štvanici na něho (143—148). Takové líčení mohlo být podáno Blagým jen v přesvědčení, že dějiny se nesmějí vylepšovat, neboť stinné stránky všech tří největších literátů tehdejšího Ruska jsou ukázány neobyčejně ostře.

Jezda v ostrov ljubvi Trediakovského, překlad západoevropského románu, vyjadřovala dvorské rozkošnictví 18. století, „ale současně... byla prvním světským literárním uměleckým výtvorem 18. st., který se objevil u nás[16]) v tisku, první ruskou knihou s thematikou do té doby nebývalou a nemyslitelnou, jež byla přímou výzvou tradičně asketickému ideálu staré Moskevské Rusi. V tom je nesporný význam, který jí náleží v historii ruské umělecké literatury“ (151).

Tak v dialektické úvaze dovede Blagoj po zásluze ocenit i díla, poplatná dočasným jevům své doby. S tím spojuje Blagoj otázku obnovy literárního jazyka, když Trediakovského předmluvu označuje přímo za „svého druhu literárně jazykový manifest“ (151), a chválí Trediakovského pokus o náhradu církevní slovanštiny hovorovou ruštinou a také

---

[12]) Sc. literárních rodech.
[13]) T. j. ruské.
[14]) Rus. *rodonačal'nikom.*
[15]) T. j. ruského.
[16]) T. j. v Rusku.

jeho vynikající účast v tom směru ve zvláštním orgánu Akademie. Zároveň však nepřeceňuje toto úsilí, které se orientovalo na řeč vládnoucích vrstev a pohrdalo lomonosovským jazykem lidovým, ale pokládá je právě jen za „uvědomělé vytyčení problému“ (153), který ve skutečnosti nerozřešil nikdo jiný než právě Lomonosov.

Ke konečnému převedení literatury na cestu tvorby nových uměleckých forem, odpovídajících novému obsahu, bylo třeba vyměnit syllabický virš „za veršovanou strukturu více vlastní ruskému jazyku“. To nedokázal ještě Kantemir, ale dokázal to už Trediakovskij (154—155).

Princip syllabické poesie podrobně vykládá Blagoj právě až u Trediakovského; hned ukazuje jeho nedostatky rytmické a naznačuje s velkou pozorností, jak Trediakovskij dospěl postupně k novým zásadám (155).

Jeho *Novyj i kratkij sposob*..., první vydání 1735, druhé, přepracované vydání 1752, je první ruská teorie básnictví. Blagoj podává kritiku jiných systémů versifikace se zřetelem k ruštině, jak ji provedl Trediakovskij, a ztotožňuje se s ním v základě, vytýká však, že svým syllabotonickým systémem zůstal Trediakovskij na půli cesty, když neaplikoval nová pravidla na verš kratší (do 9 slabik). To plynulo z jeho trvajícího spojení s řadou tradic syllabiky (převážně ženský rým v ruštině a pod.) [156—157]. „Prakticky ve svém přetvoření Trediakovskij nešel dále než k tonisaci tradičního dlouhého syllabického verše, ale zásadní význam toho byl neobyčejně velký“ (158). Rozhodně má Blagoj za to, že Trediakovského reforma měla národní a lidové základy a nebyla, jak tvrdil Peretc přes ujištění samého Trediakovského, pouhou výpůjčkou z francouzských poetik (159).

Při srovnání Boileauovy ódy *Na dobytí Namuru* a Trediakovského ódy nazvané *Oda toržestvennaja o sdače goroda Gdanska* uvádí Blagoj Trediakovského vlastní výrok, kde se ruský spisovatel chlubí, že se mu podařilo do takové míry následovat Boileaua. Blagoj tu ukazuje, že to souvisí s jednou ze stěžejních zásad klasicismu, kterou bylo následování velkých vzorů (161). Lomonosovova o pět let mladší óda *Na vzjatije Chotina,* jež pro pochvalnou ruskou ódu kanonisovala jamb, zastínila pak výtvor Trediakovského, který nicméně i zde byl průkopníkem.

Blagoj zdůrazňuje překlady Trediakovského, který do ruštiny uvedl tak závažné věci jako estetiku Boileauovu, historii Rollainovu, materialistickou filosofii Baconovu, Berkeleyovu uměleckou apologii absolutismu, *Argenidu,* Fénelonův politickomravoučný román *Télémaque* atd. (164—165). Tilemachidě, tomuto svéráznému básnickému přepracování, věnuje Blagoj mimořádnou pozornost (165—171), neboť toto dílo volil Trediakovskij zřejmě pro jeho buřičský odpor k panovnické moci a z téhož důvodu jeho podání mělo v ruské literatuře silnou a trvalou působnost.

„Trediakovskij byl do jisté míry zakladatelem ruské filosofie,“ praví Blagoj a podotýká, že upadal do slovanského antikvářského blouznění (171). Je zde tedy obdoba toho, co se projevuje také u kulturních pracovníků jiných slovanských národů za stejných okolností.

V druhém vydání své práce stejně jako už ve vydání prvním projevuje Blagoj pozoruhodnou schopnost hutného a výstižného podání základních fakt o jednotlivých spisovatelích. Příkladem toho může být úsek, věnovaný životu a činnosti kteréhokoli ze tří velikých rovesníků poloviny 18. století.

To platí plně o kapitole zachycující život a dílo Lomonosova (173—225). Blagoj dokázal vystihnout tuto obří postavu polyhistora a novátora na celkem omezeném prostoru. Bezpečnými náznaky o jeho rodném Bělomořském kraji, o společenském

kulturním prostředí u t. zv. „státních rolníků“ uvádí do situace, ze které pak vyrůstá výklad o povaze a schopnostech tohoto muže i o celém jeho dalším působení.

Při velké pozornosti, kterou Blagoj právem věnuje vývoji ruského verše, postupuje případ od případu tak, že srovnává předchozí změny s novými. Tak Trediakovského reformu (vytvoření základů syllabotonické prosodie) srovnává s dřívější prosodií syllabickou, Lomonosovův postup opět zevrubně s Trediakovským. Tu se ovšem objevuje nevýhoda třídění látky, které Blagoj zvolil pro druhý díl (ostatně žádné třídění není bez nedostatků, zvláště, chce-li synthetický spis zároveň být podrobným výkladem v mnoha rozličných směrech). II. díl, jak už bylo ukázáno, je rozdělen na kapitoly věnované jednotlivým osobnostem. Proto výklady o jednotlivých problémech, které se dotýkají několika osobností, jako na př. právě výklady o verši, jsou podány tak řečeno na pokračování i u současníků. Snad by tento zásadní problém zasloužil v příštím vydání samostatnou kapitolu, která by pak mohla vycházet z průřezu staré veršové tradice písemné i ústní slovesnosti ruské.

Některé jednotlivé úseky ovšem vyšly Blagému popisně, patrně také pro rozlehlost podávaného materiálu. Zdá se mi, že to platí na př. o odstavcích, týkajících se Lomonosovova boje za národní literární jazyk a jeho učení o třech „štilech“. Zde totiž jsou přístupně vyloženy Lomonosovovy zásady a jejich praktická užitečnost, není však provedena jejich historická kritika, t. j. není ukázán stupeň, ke kterému velký učenec pokročil a od něhož bylo již pokračování přenecháno potomkům (srov. 181—187). Podobně to platí po mém soudu i o následující partii, kde Blagoj podrobně probírá Lomonosovovu literární tvorbu. Jeho dělení výkladů podle thematiky je výstižné, mělo by však přihlížet i k ostatním stránkám děl daleko více a být východiskem k celkovým závěrům o nich (srov. 188—198).

Pozoruhodnou thesi vyslovuje Blagoj k ódám Lomonosovovým: Lomonosov psal pochvalné ódy jednak z povinnosti, jednak jako pobídky, aby panovnice sledovaly odkaz Petra Velikého, jednak (ale to je uvedeno spíše jako domněnka) v nich ztělesňoval obraz matky Rusi.

Zvláštní důležitost má výklad Blagého o těch dílech Lomonosovových, v nichž vidí „vědeckodialektický charakter“, který podmínil i umírněnost tvárných prostředků, konkretně jazyka (200). Příkladem toho je právě takové *Pis'mo o pol'ze stekla.* Tento výtvor mohl by znamenat zároveň jeden z důkazů toho, že slovesný výtvor nemusí být převážně, ba snad ani částečně zaměřen esteticky, a přece nepřestává být slovesným výtvorem. — Lomonosovova polemika se Synodem o heliocentrickou soustavu, spojená se strany popů i s politickou denunciací, byla také částečně vedena básnicky, jak připomíná Blagoj (*Gimn borode* od Lomonosova; 201).

Ve zvláštním oddíle je zhodnocena, a to dosti nepokrytě, kriticky, „ideová síla a slabost Lomonosovova“ (209—212). Blagoj konstatuje, že s výjimkou několika strof (v Pis'mu o pol'ze stekla) „ve vší ostatní Lomonosovově tvorbě nenajdeme žádných stop po odrazu utrpení ruského ujařmeného rolnictva“ (210). Jeho ódy pokládá za iluminované „dekorace“, na něž ovšem Lomonosov psal svá pozoruhodná hesla osvícenská a nacionálně kulturní, ze kterých mnohá mohou být uskutečňována teprve dnes (211—212). Uměleckou sílu a slabost Lomonosovovy poesie spojuje pak Blagoj právě s těmito otázkami v konečném hodnocení (212—216).

Blagoj má průběžně na zřeteli otázku, jak ty nebo ony události, jevy a výsledky literatury 18. století působily dále, jak pokračovaly, jaká tradice se o ně později opřela. Bylo by ovšem možno v tom směru leccos dodat. Lomonosovova *Rétorika* na př. nabízí řadu výhledů v tomto směru. Tato ... *ritorika, pokazujuščaja obščija pravila obojego*

krasnorečija, to jest oratorii i poezii (Blagoj o ní pojednává na str. 216 n.), ukazuje hned na to, že Lomonosov pod pojem a předmět řečnictví, *krasomluvy* zahrnuje v souhlase s některými výměry staršími nejen řečnictví ve vlastním smyslu slova, ale celou uměleckou literaturu; z toho pak rozlišuje prózu *(reči v proze)* a její teorii *(oratorija)* a básnictví a jeho teorii *(poezija)*. Sám Blagoj naznačuje, že to souvisí s problematikou ódy. Z toho však plyne otázka: projevilo se toto řečnické zaměření v důsledku ohromné autority Lomonosovovy v následujícím literárním vývoji ruském? Tato otázka by si snad zasloužila zvláštního prozkoumání. — Podobně lze klást otázku o Lomonosovově hlubokém zájmu o umělecké slovo a skrze ně o teorii literatury a zde možno hned aspoň zhruba odpovědět, že celý pozdější vývoj ruského myšlení v těchto věcech vychází z Lomonosovova příkladu.

Polemiky mezi Lomonosovem, Trediakovským a Sumarokovem se ovšem rozpadají v líčení Blagého podle toho, o kterém spisovateli právě zvlášť pojednává.

Poslední kapitola II. dílu je věnována Sumarokovovi, nejčelnějšímu dramatickému a divadelnímu činiteli ruskému v polovině 18. věku (225—260). Kapitola je stavěna a vypracována přibližně stejně jako hlavy předchozí; více než ony se zakládá na rozsáhlé literatuře. Poznámky a odkazy této kapitoly jsou cenným ukazatelem zejména nejnovější literatury sovětské, týkající se nejen samotného Sumarkova, ale i s ním spojeného vývoje ruského dramatu a divadla vůbec.

Hlavní předností výkladů o Sumarokovovi je jejich dialektické osvětlení této postavy a jejího díla. Sumarokov více než jeho vrstevníci v ruském literárním světě byl osobností krajně složitou. Přimykal se ke dvoru, na kterém závisela jeho divadelní i autorská existence, ale byl plný kritických postřehů, oprašoval starou, svému národnímu prostředí odlehlou thematiku, ale vytvářel současně typ národního historického kusu v ruské literatuře a povznesl i oživil komedii, vyloučil zcela rozhodně mystickomythologický element z dramatické tvorby a učinil tím velký pokrok proti školské hře i Prokopovičovi (Blagoj to zvláště zdůrazňuje; 233), byl tedy průkopníkem pokroku, ale naproti tomu se uměl prudce, ba nevybíravě srazit právě s ostatními nejpřednějšími pokrokovými kulturními pracovníky své doby. Blagoj velmi poučně ukazuje celou tuto složitost souvislostí a protikladů.

Rozbor dramatického díla Sumarokovova podává Blagoj velmi ze široka. Ukazuje jeho pokusy o reálné zobrazení skutečnosti a zároveň onen uzavřený svět hrdinských činů, který mu vychází, upozorňuje na Sumarokovovo přesné oddělování tragedie od komedie (charakteristický rys klasicismu), na jeho dodržování jednoty děje, na základní zápletku kolem lásky a povinnosti, zápletku, která je prostředkem k výchovně didaktickému cíli, a hodnotí politickopublicistické zabarvení Sumarokovových her (233—238). Zdá se mi, že těchto a dalších jednotlivých postřehů, nových i přejatých, bylo by možno více využít k shrnutí a synthetickému posouzení věci. Blagoj skutečně dále k synthese přistupuje v oddíle *Obščaja charakteristika tragedij* (242—244), a to hlavně hodnocením ideově politickým: shledává, že Sumarokov vytvořil v ruské literatuře typ politické tragedie. Přitom však své postřehy, týkající se jiných ideově uměleckých složek, nechává namnoze stranou.

Cenný je oddíl, ve kterém Blagoj upozorňuje na opomíjenou skutečnost, že Sumarokov byl také básníkem milostné lyriky (255 n.).

Kapitolou u Sumarokovovi končí II. díl Blagého spisu. Přestože silně zdůraznil význam ruského klasicismu a podal o něm také bohatý soubor názorů teoretických, omezil jej Blagoj v jeho čisté formě na pouhá tři decenia 18. věku. V tomto přísném vymezení

mohl pak studovat vrcholné projevy klasicismu, kdežto v díle úvodním a závěrečném se zabývá nástupem a odchodem klasicismu, jeho začleněním do vývojové posloupnosti ruské literatury. V tom smyslu bylo takové vymezení šťastné jak s badatelského, tak i s učebního hlediska. Námitky by mohlo spíše vyvolat to, že se Blagoj v II. díle omezil na pouhé čtyři spisovatele. Jsou to, pravda, mužové rozhodně nejdůležitější a pro ruský klasicismus nejtypičtější, na druhé straně však nelze jistě říci, že jen oni sami by tvořili generaci, že by nebyli svázáni množstvím spojů s osobnostmi staršími i mladšími. V daném schematu práce tyto spoje zanikají. Jak vidno znovu z tohoto příkladu, má skutečně každé literárněvědné třídění své přednosti i nedostatky. Přesto nutno zdůraznit, že II. díl je pevným a promyšleným jádrem práce.

III. díl svého spisu o ruské literatuře 18. století věnoval Blagoj ruské literatuře poslední třetiny století. V úvodních odstavcích poukazuje na postup sociálního vývoje ke kapitalismu, na růst společenských rozporů a na jejich výslednici — povstání Pugačëvovo. Píše:

„Poltavské vítězství, které zabezpečilo existenci ruského národa[17]) jako národa velikého, vyvolalo k životu bohatýrskou postavu Lomonosova. Selská vojna pod vedením Pugačëvovým, namířená proti omezené třídní formě, do které se odlil národní ruský stát — stát poměščiků a kupců — byla onou půdou, na níž vyrostla neméně bohatýrská činnost jednoho z nejpozoruhodnějších představitelů ruského národa, autora Putování z Petrohradu do Moskvy — Radiščeva“ (264).

V duchu této základní these je koncipován III. díl spisu. Řada oddílů úvodních je vyplněna zásadními obecnými poznámkami o vývoji společnosti, myšlení, literatury a ostatních umění v té době. Poslední z těchto oddílů podává již také charakteristiku sentimentalismu. Zvláštní pozornost zde Blagoj věnuje carskému ukazu o volných tiskárnách, který způsobil velké rozšíření knih. Činnost t. zv. *Typografické kompanie* N. I. Novikova (kolem 1000 vydání!) hrála tu základní úlohu. Dochází k mimořádnému růstu překladové literatury. V ruských převodech se objevuje valná část antické literatury, osvícenská filosofie, většina významných uměleckých děl západoevropských literatur (Blagoj má na mysli ovšem literatury několika největších národů) a některá díla literatur východních. Současně roste počet tisků původních.

Překladová literatura byla v té době jako vždy pákou mezinárodního kulturního styku. Proto Blagoj hned připojuje výklad o vlivu osvícenské filosofie francouzské (Voltaira, Montesquieua a j.) na ruských „horních deset tisíc“. Ukazuje, jak Kateřina II. a dvorské kruhy překrucovaly licoměrně tuto filosofii a zneužívaly jí k podpoře svých záměrů (upevnění samoděržaví, právo panské zvůle, poživačnost atd.), jak plynulo z potřeb této vrstvy (269—270). Zároveň konstatuje Blagoj růst ruského pokrokového myšlení osvícenského v kruzích šlechty a raznočinecké inteligence (270).

Pugačëvovo povstání tvořilo ostrou mez mezi dvořanskou a demokratickou ideologií, jak praví Blagoj. Odtud vyvozuje „velké rozšíření protiosvícenské nálady a směrů, které se ztvárnily v četných zednářských organisacích“ (271). Po povstání se mezi zednáři objevují mystické proudy, které vyvolaly odpor nejpokrokovějších činitelů, na př. Radiščeva (271—272).

„Nespornou úlohu sehrálo zednářství se svými antiracionalistickými tendencemi, výzvami k sebezdokonalování, zahloubáním do světa lidské osobnosti, mystickou naladěností, tajuplnou romantikou obřadů a symbolů — i ve formování *ruského sentimentalismu*“[18]) (272).

---

[17]) Rus. *nacii.*
[18]) Podtrhl S. W.

Tak naznačuje Blagoj ve zkratce situaci, která vedla od klasicismu k sentimentalismu.

Poté upozorňuje Blagoj na vzrůst počtu spisovatelů v poslední třetině 18. století. Novikov ve svém slovníku spisovatelů uvedl skoro překvapující počet — přes 250 spisovatelů současníků v r. 1772 (277). Růst kulturních kádrů na sklonku klasicistického období ruské literatury byl tedy ohromný.

„Oproti klasicismu, panujícímu literárnímu směru doby rozkvětu feudálního absolutismu, sentimentalismus byl literárním směrem, který vznikl a rozvinul se v rozličných zemích Evropy, především v Anglii, v období rozkladu feudálního absolutismu a stále sílícího růstu buržoasních vztahů“ (278).

Heslo „osvobození osobnosti“ (raskrepoščenije ličnosti) se stalo vedoucím heslem (278).

„Bylo-li na praporech klasicismu napsáno »Stát«, — na praporech spisovatelů sentimentalistů stálo »Člověk«. Estetika a umělecký světový názor klasicismu byly těsně spjaty s racionalistickou metafysikou; sentimentalismus byl spjat s filosofií sensualistickou, která rozvrátila neměnnost a nehybnost metafysických kategorií, která nesla prvky života, pohybu — dialektiky“ (278).

Proti „střízlivému“ rozumu — citovost, proti tragedii, ódě, epopeji jako vedoucím žánrům — rodinný a psychologický román, novela, proti neosobnosti — osobní zabarvení, proti starým látkám — živý současník (dokonce někdy pod skutečným jménem) jako hrdina, proti vypreparovaným třem jednotám — jejich zavržení, proti abstraktnímu ohraničení žánrů — jejich míšení a vznik plačtivé komedie, vážné komedie, komické opery, měšťanské tragedie a dramatu, proti aristokratismu — větší či menší demokratismus, proti převaze velmi stylisovaného verše — próza, proti heroické poesii — žánry osobní, intimní lyriky (elegie, meditace), proti řečnické intonaci — intonace zpěvná, tak asi možno v kostce shrnout změny, které Blagoj zjišťuje v přechodu od klasicismu k sentimentalismu (279—281) Blagoj se zde opět pokusil o výměr specifických rysů sentimentalismu vůbec, t. j. sentimentalismu, abych tak řekl, kterékoli třídy nebo národa. A tento výměr je celkem velmi zdařilý, pokud vůbec lze mluvit o společných specifických rysech uměleckého stylu v tak širokém rámci. Je přirozené, že v každé dané třídní, generační, státní nebo národní formaci přistoupily by k tomu charakteristické zvláštnosti další. Jistě ani Blagoj by to nepopíral. Nicméně Blagého příklad je velmi důležitý odvahou objevovat i zákonitosti co nejobecnější. Jak ukazuje uvedené shrnutí jeho výměru, odrážejí tyto nejobecnější zákonitosti také nejobecnější změny, charakteristické pro vývoj společnosti jako celku.

Buržoasní vztahy v Rusku koncem 18. století rostly, ale ideologický boj s absolutismem nevedla buržoasie, nýbrž oposiční vrstvy šlechty — šlechtičtí osvícenci. Avšak rozhodnou úlohu při formování sentimentalismu měla podle slov Blagého pugačëvština. Odpovědí na ni jsou, jak praví Blagoj, dva základní proudy v ruské literatuře: šlechtický subjektivistickoidealistický sentimentalismus Karamzina a jeho školy a revolučně materialistický sentimentalismus Radiščeva, který v podstatě překročil rámec sentimentalistického směru (281—282). Zde, jak patrno, přikročil již Blagoj k diferenciaci s třídního hlediska. Naznačil rozdíly ideové; bylo by třeba zjistit také rozdíly ostatní.

V kapitole o *satirických časopisech let 1769—1774* (282—320) uznává Blagoj důvody G. Makogonenka pro to, že N. I. Novikov byl sám autorem nejvýznamnějších příspěvků svých časopisů. Tím se podle Blagého Novikov staví mezi největší umělecké spisovatele své doby (287—288).

Objasniv pokus Kateřiny II., skutečné vydavatelky časopisu *Vsjakaja vsjačina*, podmanit si ve svůj prospěch satirické písemnictví tak, jak se o to pokusila s politickým životem v pověstné komisi pro reformy (282—284), věnuje se Blagoj velmi zevrubně vývoji satirické publicistiky, zvláště polemice Kateřinina časopisu s Novikovovým časopisem *Truten'* o právo a povinnost satiry zabývat se vážnými nedostatky společnosti (292—303). Poté Blagoj hodnotí význam těchto časopisů (315—318). Třebaže Dobroljubov s hlediska revolučně demokratických požadavků pokládal jejich praktickou účinnost za malou, nelze je mít jen za nějaké „štěkání do větru", neboť právě ony zahajují nekonečné martyrium ruského periodického tisku (316). Důležitá je také žánrová mnohotvárnost novikovovské satiry: novela, črta, cestopis, rozhovor, dopis, zejména dopis redakci, „lékařský" recept, novinové oznámení nebo zpráva, dokument, slovesný portrét, satirický slovník, obrázek atd.; virtuosní je Novikovovo propracování jazyka satirických postav (317).

Kapitola *Narodnaja satira i publicistika* (320—329) vrací se opět k výtvorům lidovým. Blagoj mohl poněkud více rozvést výklad o rukopisných sbornících a zvláště o „žertech zábavných", ve kterých chytrost mužikova vítězí nad pánem (323). Bylo by, myslím, i zde vhodné porovnat povahu této lidové a pololidové tvorby s obdobnou tvorbou aspoň v sousedních zemích. Protivládní *Plač cholopov* (322—324) zasloužil by na př. už srovnání s illegální slovesností polskou, jmenovitě s polskou t. zv. literaturou jakobínskou, které předcházel. Dokumenty pugačëvského povstání, tvořící druhou část kapitoly (325—329) měly být uvedeny v souvislost s ostatní publicistikou té doby.

III. díl vrací se se svým rozdělením látky v jádře k dílu I. Kdežto druhý díl byl rozdělen na kapitoly podle význačných literárních osobností, díl III. je utříděn opět převážně podle měřítek literárně teoretických, při čemž ovšem i zde se v jednotlivých některých kapitolách soustřeďuje pozornost na hlavní postavy literárního dění. Tak je tomu také v kapitole *Dramaturgia 60 — 90-ch godov — Fonvizin* (330—413), ve které se pojednává o novém rozmachu divadla. Už rozsahem kapitoly udává Blagoj význam dramatiky v té době. Kapitola je orientována na Fonvizina (mnoho místa je věnováno i jeho životopisu a zajímavé polemice s Kateřinou II.; 337—346), ale zachycuje postupně tvorbu celé plejády, zvláště Knjažnina, Kapnista, Ablesimova, Malinského, Plavilščikova.

Jak ukazuje Blagoj, pociťovalo se tehdy mocně, že divadlo je tribunou a národní školou. Proto se ho chtěla zmocnit Kateřina II., autorka množství podřadných her (330).

Změna sociálního složení obecenstva, jeho demokratisace, vynucovala si už vývoj dramatické tvorby směrem k „měšťanskému dramatu", k „slzavé komedii". Proto už r. 1765 se objevuje Lukinův *Mot, ljubovno ispravlennyj* (332). R. 1770 úspěch Baumarchaisovy *Evženie* jako slzavé komedie vyvolává dokonce korespondenci mezi Sumarokovem, uraženým takovým směšováním literárních druhů, které uzákonil klasicismus, a Voltairem (331—332). Avšak i Lukin jeví se Blagému ještě kolísavým. Na jedné straně vystupuje proti mechanickému přepracování západních originálů, na druhé straně sám nepřekračuje téměř hranice epigonství a slouží svými předělávkami vlastně režimu, takže vyvolává odpor pokrokových satirických časopisů (333—334).

Konfrontace toho, co bylo řečeno o Sumarokovovi (232) a nyní o Lukinovi, ukazuje, že by bylo vhodné bedlivěji prozkoumat povahu a význam cizích výpůjček, o kterých polemisoval už Lomonosov se Sumarokovem (231—232) a poté Lukin (334), a určit průběžně, jak se *samostatnost* ruské dramatiky vytvářela. Výklad těchto otázek rozhodně nezískává rozdělením látky od oddílů před 60. lety a po nich. Myslím, že by alespoň

měl být výklad na jednom místě shrnut. Ukazuje se také, že přijatý způsob třídění není důsledný. Tak v kapitole vymezené vysloveně literárně teoreticky, podle slovesného rodu dramatického, je na př. dlouhá odbočka o Fonvizinově satirické tvorbě, která s hlediska vědecké jednotnosti náleží jinam a s hlediska didaktického se zde ztrácí (346—350).

Rozbor *Brigadira* Fonvizinova (352—354) obsahuje některé rozpory. „To, co Lomonosov udělal pro formy našeho verše, uskutečnil Fonvizin po prvé ve vykreslení lidských charakterů," praví Blagoj (354). A vedle toho ještě zdůrazňuje, že Fonvizin „první v ruské literatuře dokázal podat *umělecké*[19]) obrazy — typy" (354), že jeho obrazy „se vyznačovaly opravdovou uměleckostí" (353). Naproti tomu však Blagoj tvrdí: „Jako divadelní hra je »Brigadir« ještě dosti slabý. Jeho obsah je primitivní a vymyšlený" (353), jeho fabule není vtipná (nechitraja), děje ve skutečnosti nemá (354). Rozboru chybí závěr, synthesa; mám za to, že rysy připadající Blagému jako nedostatky, byly by odůvodnitelné jak záměrem, ideou hry, tak stupněm rozvoje společenských představ uměleckých, formového vědomí, vkusu. — *Nedorosl'* zaujímá u Blagého poměrně veliké místo (354—366). Zde již je hodnocení jednoznačné a Blagoj připojuje také řadu poznámek o soudobém i pozdějším ohlasu. Nepatří ovšem mezi přednosti výkladu, že je celý věnován jen rozboru látky a smyslu hry, kdežto ostatní rysy jsou téměř potlačeny. Tak není zdůrazněna ani skutečnost, že hra má výrazné, konkretní remarky (poznámky), kterými se už velmi podstatně odlišuje od klasicistického dramatu a předjímá umělecké postupy realismu.

Komická opera té doby je, jak ukazuje Blagoj (370), vlastně činohrou s „různorodými hudebně písňovými čísly" a už tím se vzdaluje od pravidel klasicismu. Tohoto nového literárně hudebního druhu využívají pro své cíle hojnou měrou jak pokrokoví raznočinci, tak i konservativci (371). I toto pozorování Blagého je dokladem pro skutečnost, že umělecký druh (ba dokonce ani druh právě vznikající z určitých historických podmínek) není sám o sobě ještě nijak předurčen, predestinován třídně a stává se vehiklem, nástrojem i protichůdných pojetí.

Následují výklady o operách nebo, jak bychom to snad případněji nazvali, hudebních komediích od Popova (371—373), Ablesimova (373—375) a Matinského (375—376). Jejich hry jsou již dost známy a znovu byly vydány nedávno ve sborníku *Russkaja komedija i komičeskaja opera XVIII veka.*[20]) Blagoj však upozorňuje, jak nepropracované jsou ještě životopisy autorů, zvlášť pokud jimi byli raznočinci; je tu tedy velké pole pro další bádání. Mimochodem, tři uvedení spisovatelé zajímavě dokládají společenskou složitost tehdejší inteligence: první byl kupeckého původu, druhý z nejnižší šlechty, třetí z nevolníků.

V hutném odstavci upozorňuje Blagoj (376—377), že vedle nových vidů a forem slzavé komedie, komické opery, měšťanského dramatu, které Nedoroslem už ohlašují kritický realismus, pokračuje tradice sumarokovského klasicismu, a to zejména v žánru *„klasické" tragedie.* Tento druh se svým hrdinským pathosem a kultem státní povinnosti jeví se Blagému jako velmi vhodný pro vyjádření oposičních nálad a zároveň dávající svou odtažitostí a deklamativností možnost vyhýbat se naléhavým otázkám nevolnického Ruska, jak to odpovídalo nestálosti a neurčitosti většiny šlechtické oposice. Blagoj tak v dalším případě objevuje, jak složité společenské podmínky vyvolávají dialektickou protikladnost a napětí přímo uvnitř literárního procesu, slovesného druhu, jednotlivého výtvoru. Neodpovídalo by pravdě a bylo by trapným nepochopením historického hlediska, kdyby tu badatel postupoval od umělého roztřídění spisovatelů do třídně zcela ohrani-

---

[19]) Podtrhl S. W.
[20]) Red. i vstup. staťja P. N. Berkov. Moskva-Leningrad 1950, Iskusstvo, 734 str.

čených skupin, enkláv, ke stanovení nějaké ryzí třídní příslušnosti jednotlivého výtvoru. Slovesný materiál 18. století se tomu brání víc než co jiného, prokazuje naopak spojitost a vzájemnou podmíněnost všech složek dané společnosti, jak správně chápe také Blagoj.

Veden těmito měřítky rozbírá nato Blagoj takřka neznámou, zato však pozoruhodnou a v mnohém politicky průbojnou dramatickou tvorbu Nikolevovu (377 až 382) a také tvorbu Knjažninovu (382—401); zde na př. v rozboru Knjažninova *Rosslava* ukazuje, jak u autora žila současně oposiční hesla i terminologie, kterou později zakázal Pavel I. v strachu před francouzskou revolucí *(otečestvo, graždanin, obščestvo)* a vedle toho přímá spolupráce s Kateřinou II. v těch letech (391—392). Ve *Vadimu Novgorodském* je pak přímo srážka republikánské ideologie s monarchismem, k níž autor je neutrální; přes vítězství monarchismu vyvolává hra po smrti autorově vytištěná hněv panovnice obdobně jako v případě Radiščevově a je veřejně spálena (392—397). Dosavadní spory o smysl této tragedie a tedy i o politické stanovisko Knjažninovo (398—401) svědčí nejlépe o veliké složitosti literárního procesu té doby.

Výklady o Kapnistovi a Plavilščikovovi (401—413) uzavírají kapitolu.

Rozsahem podstatně kratší je kapitola *Poezija poslednej treti veka — Petrov, Vasilij Majkov, Bogdanovič, Cheraskov* (413—450). Také výkladem se připojuje k tomu, co už bylo řečeno, jak praví sám Blagoj ve vstupním odstavci. Pozornosti zde zasluhuje pojednání o *burleskní, heroicky-komické poesii;* vývoj a uplatnění tohoto literárního druhu jsou probrány v širokých souvislostech světové literatury. Blagoj stanoví jeho růst na sklonku klasicismu v zahraničí i v Rusku a znovu tak dokládá, že ruská literatura se vyvíjela nikoli v isolaci, ale „na magistrále“ vývoje světového, mám-li užít případného slova Rjurikovova.[21])

Ještě méně místa je věnováno kapitole *Proza vtoroj poloviny XVIII veka do Radiščeva i Karamzina — Fedor Emin, Michail Čulkov, V. Levšin i dr.* (450—481), ač zabírá dokonce půl století. Ve srovnání s předchozími kapitolami je tak už rozsahově naznačen poměr jednotlivých literárních rodů v dané době; byl ostatně způsoben, jak praví Blagoj (450), odmítavým postojem klasicismu. Souvisí s odchodem epochy klasicismu a s nástupem masovějšího čtenářstva, že prozaické druhy nabývají místa (451). Překlady i tu pomáhají razit cestu (Cervantes, Defoe, Lesage, Prévost, Scarron, Voltaire, Rousseau, Swift, Feelding, Richardson, Sterne, Goethe a ovšem Tisíc a jedna noc; 452); již tato jména svědčí o příchodu jiných než klasicistických proudů. U Čulkova a Levšina může již Blagoj mluvit o „slévání, synthese literárních a folklorních tradic“ (473), které otvírá cestu zájmu o ústní tradici a připravuje půdu pro první sborník lidových povídek vydaných Petrem Timofejevem r. 1787 (474).

Ve zbytku spisu přechází Blagoj opět k třídění podle autorů, tedy chtě nechtě k „literárním medailonům“ s jejich přednostmi i nedostatky. Především jsou tu rozsáhlé kapitoly o Deržavinovi (481—532) a o Radiščevovi (533—600), poté kapitoly Molodoj Krylov (601—626) a Karamzin i jego škola, Dmitrijev (626—675). Jejich nepoměrný rozsah, daný zřejmě účelem didaktickým, je vyplněn hodnotným svodem bádání, které plně odpovídá požadavkům kladeným na vysokoškolskou učebnici. Blagoj měl tu úkol zvlášť obtížný — objasnit konec století 18. (které kulmi-

[21]) B. Rjurikov, *Staryje ošibki v novom obličii,* Lit. gazeta (1951) No 150; srov. Slavia 21 (1953) 448.

novalo klasicismem a osvícenským obrozením) a přechod k epoše romantickorealistického století 19. Hlavní důraz položil přirozeně na Radiščeva, kterému také poskytl nejvíce místa. Vymezení kapitol podle autorů využil Blagoj co nejlépe — ovšem, pokud to bylo možné. Běží totiž o autory více méně současné, a je proto celý výklad vyústění 18. věku roztříštěný v několika více souběžných než po sobě jdoucích kapitolách. Nadto řada kapitol předchozích, utříděných podle literárních druhů nebo rodů, je ochuzena právě o některé vynikající osobnosti, což těmto kapitolám pochopitelně nedodává na účinnosti.

Třídění posledního, III. dílu knihy je krátce nedůsledné. Objevuje se to i v jiných případech. Tak o dramatické tvorbě Cheraskovově se mluví nikoli v kapitole o dramatě, ale v kapitole o poesii, kde je Cheraskov probírán v celku (439—441); takový postup nutí čtenáře pochopitelně k hledání souvislosti a hlavně — nedovoluje Blagému úplný pohled na jednotlivá odvětví literárního procesu. Třídění podle rodů a druhů slovesných nutno i v této podobě uvítat; jeho přednosti vynikají ostatně velmi dobře ve srovnání s II. dílem spisu, který v dělení výhradně podle autorů obraz probírané látky, vrcholného klasicismu, do značné míry rozbíjí. Snad by se doporučovalo uspořádání kombinované; v tom případě měly by kapitoly vymezené slovesnými druhy, rody nebo jinými podobnými věcnými měřítky vyčerpávat zásadně tvorbu všech autorů a současně by měly být doplněny statí, která by podávala souhrnný pohled v historickém (a v jádře i časově posloupném) průřezu; do této stati by pak byly vpraveny odstavce biografické, životopisné profily spisovatelů. (Ale ovšem sám materiál, jak vidět, určuje už metodické postupy.)

Takovou stať nenahrazuje Blagého *Zakljućenije* (676—681). Je to hutný pohled s ptačí perspektivy na celý literární vývoj 18. století. Závěr obsahuje některé ostré postřehy, které v podrobnostech knihy nemohly vyniknout, tak na př. postřeh, že ideově politickým podkladem klasicismu byl t. zv. osvícenský absolutismus, že však ruský absolutismus, samoděržaví, byl právě méně než co jiného osvícený (677—688); tím se objasňuje rostoucí napětí mezi představiteli samoděržaví a představiteli tvůrčího klasicismu, ukázané na četných místech Blagým.

Celkově jeví se mi závěr poměrně krátkým; na podkladě tak zevrubných a poučených výkladů bylo by možno očekávat i bohatší synthesu, a to právě se zřetelem k potřebám didaktickým. Mám dojem, že stručnost vedla tu místy k přílišnému zjednodušování. Na př. projevy „třeťostavovských tendencí“ vidí závěr až u Čulkova a Emina v próze a u Plavilščikova v dramatě (679), ač postupné narůstání nejprotikladnějších společenských východisek prokázal sám Blagoj v průběhu *celého* století. Tuto složitost také sotva lze vpravit do pouhých *dvou* táborů, o kterých se závěr zmiňuje (679); srov. také úvod 5). Sám Blagoj na mnoha místech přesvědčivě vylíčil tu dlouhou stupnici od krajní oficiálnosti ke krajnímu oposičnictví; a pak zde ovšem byly ještě nejširší vrstvy lidové, které jen zdánlivě stály stranou tehdejších sociálních srážek; je známo, jak značné bylo rozpětí i ještě ve století 19. mezi těmito lidovými vrstvami a na př. děkabristy v Rusku nebo třeba revolucionáři z r. 1830 v Polsku. Do literárního vývoje i v 18. století lidové vrstvy silně a svébytně zasahovaly ústní a jinou lidovou slovesností. S t. zv. raznočinci nelze je ztotožňovat ani ve slovesných projevech, ani v politických posicích.

Úzké vymezení předromantických proudů ve „*šlechtický* sentimentalismus“ (680), do kterého přirozeně nepatří Radiščev, „nehledě na jeho literárně stylový způsob v mnohém blízký poetice a stylu sentimentalismu“ (681), zdá se mi být především věcí uspořádání. Fakt je, že vývěskou sentimentalismu bývala zastírána, smazávána průbojnost Radiščevova a konec konců i národní svébytnost jeho tvorby. Na druhé straně bylo by

jistě potřebné zjistit obecné rysy onoho období přechodu od klasicismu k romantismu a realismu, období snad „poloromantického"; sociální protiklady v něm by musily být ovšem vysvětleny zároveň.

Jak jsem již naznačil úvodem, spis Blagého je důležitý a cenný jednak jako úhrn dosavadního bádání o daném předmětu, jednak jako podnět k nutným metodickým úvahám. Jako úhrn dosavadních výtěžků literární vědy o slovesném vývoji ruském 18. věku je rozhodně úhrnem kritickým, hutným a zároveň výběrovým. Podnětů dává Blagého kniha celou řadu, jak jsem se pokusil ukázat; závěrem vytýkám aspoň dva: je to jednak problém klasicismu u slovanských národů s hlediska literární historie slovanské a klasicismu vůbec s hlediska teorie literatury, jednak je to metodologická a didaktická otázka třídění zkoumaného slovesného (zároveň s tím ovšem i životopisného a politicko-společenského) materiálu ve větších synthetických pracích.[22])

Slavomír Wollman

Любовь Фейгельман, **Маяковский в странах народной демократии — Чехословакии, Болгарии, Польше.** Москва 1952, Сов. писатель, 487 стр.

Thema této knihy je z několika důvodů nesmírně závažné. Především je ostře aktuální — tím, že vyzdvihuje otázku působení největšího básníka vítězného proletariátu, občana prvního státu dělníků a rolníků — SSSR — na pokrokovou literaturu nesovětskou. Správné osvětlení tohoto problému ukáže, jak nejen dnes, nýbrž i v minulých třech desetiletích se rozestupovali představitelé světové kultury, bezděčně i uvědoměle, do dvou táborů. Magnetickým pólem jednoho tábora jsou metropole kapitalistického Západu, pólem druhého pak je Moskva — srdce celého socialistického světa, jehož osvobozené národy neznají bídy, nezaměstnanosti, hladu, rasové, nacionální a sociální nerovnosti. Proto byla a je sovětská literatura, která tento nový život odráží, nejpokrokovější literaturou na světě, proto má nesmírný výchovný význam i za hranicemi své vlasti.

Za druhé je thema této knihy důležité proto, že jeho správné zpracování předpokládá zdárné rozřešení důležitého problému literárněvědného bádání, totiž problému literárních vlivů, působení literárních děl a idejí v nich obsažených na společenský život, působení jednoho autora na druhého bez ohledu na státní hranice či jazykovou různost. A konečně souvisí tento problém co nejúže s otázkou tradice, literárního dědictví, neboť spisovatelé, umělci a myslitelé se sbližují nejen ve směru horizontálním (se současníky), nýbrž i ve směru vertikálním (s předchůdci). Je zřejmé, že otázce literárních vlivů, které jsou významným, i když ne rozhodujícím činitelem v literárním vývoji jednotlivců i celých literatur, se nevyhne žádný odpovědný literární historik-badatel, nechce-li se totiž vzdát dialektického, živého, objektivně správného, a tedy jedině vědeckého názoru na zkoumaný problém. Samozřejmě, že takovéto zkoumání literárních vlivů nemůže mít nic společného s bezzásadovou buržoasní komparativistikou.

Je přirozené, že nejprve se objevily práce o Majakovském a jeho působení na sovětské básníky ruské i neruské v jeho vlasti. V jubilejním roce 1950 vyšlo v sovětských časopisech několik studií na toto thema. Otázky Majakovského a Československa se po prvé dotkl Zdeněk Nejedlý ve svých přednáškách, proslovených za války v SSSR (viz literaturu na konci recensované knihy), později v článku *Iz istorii svjazej sovetskoj i čechoslovackoj literatur* (Novyj mir 1945, č. 2—3, 217—222), potom Ljubov' Fejgeľ-

[22]) Po napsání této recense vyšla Blagého kniha v českém překladu; tohoto překladu nemohlo však už být použito při citacích.

manová v článku „Majakosvkij v slavjanskich stranach“ (Novyj mir 1948, 232—250). Uvedené články se pouze dotýkají některých stránek problému. V Československu se pokusil řešit problém vztahu české literatury k Majakovskému (v obrysech) po prvé autor této recense v článku *Majakovskij a česká poesie* (Praha-Moskva 1950, č. 4, 265 až 271), brzy nato Stanislav Neumann v článku „Čemu se učíme u Majakovského“ (Tvorba XIX, č. 15, 337—339). V roce 1951 věnoval problému Majakovského Institut slavjanovedenija v Moskvě 1. číslo svých Kratkich soobščenij, kde je studie S. V. Nikoľského *Majakovskij v Čechoslovakii* (36—45).

První velkou prací o působení Majakovského na zahraniční literaturu je práce bulharského badatele Simeona Rusakieva, týkající se vlivu Majakovského v bulharské literatuře. První větší prací o poměru české literatury k Majakovskému byla práce autora těchto řádků *Česká poesie pod revolučním vlivem Majakovského*, která byla podána a schválena jako disertace na filosofické fakultě Karlovy university v létě 1950. Kromě této práce byl na jaře téhož roku vypracován článek *Majakovskij a česká poesie* (asi 60 tiskových stran) pro sborník *Náš Majakovskij* (Praha 1951). Článek byl vysázen, zkorigován, avšak z různých příčin nemohl být do sborníku zařazen.

Všechny tyto první práce měly vedle řady vážných nedostatků i svoje klady, které se mohly stát oporou v dalším bádání. Hlavní dvě metodické chyby byly protikladného charakteru: Buď byla pro autory hlavním svědectvím vlivu Majakovského zevní, nápadná podoba lomeného verše nebo zase jen ideová shoda. Jestliže bylo první pojetí příliš úzké, bylo druhé příliš široké, a obě byla povrchní. Kromě toho byly všechny práce postaveny na neúplném materiálu, často velmi kusém a náhodném.

V polovině prosince 1952 se objevila v Praze recensovaná kniha L. Fejgeľmanové, která je kromě knihy Dm. Moľdavského *Majakovskij i poezija narodov SSSR* (Leningrad 1951) a několika drobnějších studií jednou z prvních velkých prací o daném problému, které vyšly tiskem.

Kniha Felgeľmanové je rozdělena na tři části — *Majakovskij v Čechoslovakii, Majakovskij v Bolgarii* a *Majakovskij v Poľše*, z nichž první je nejdelší (149 str.). Všem třem částem je společná úvodní kapitola *Poet Velikoj Oktjabr'skoj socialističeskoj revoljucii* (47 stran).

V úvodní kapitole chce autorka poukázat na příčiny obliby, které se Majakovskij těšil a těší zejména ve slovanských zemích lidově demokratických. Je to jednak podle autorky tradiční láska k pokrokové tvorbě velkých klasiků ruské literatury, kteří již dávno zasahovali kladně do rozvoje národních literatur slovanských, jednak potom ta okolnost, že byl v Majakovském spatřován typický člověk nového světa, představitel nové sovětské kultury. Autorka pak přistupuje k charakteristice tvorby Majakovského a jeho vývoje, při čemž vyzdvihuje ta konkretní díla nebo ty rysy jeho poesie, které se setkávaly ve zkoumaných literaturách s ohlasem před druhou světovou válkou a hlavně pak po ní. Široce rozebírá jeho vrcholná díla — poemata *Vladimír Iľjič Lenin* a *Chorošo*, ukazujíc zejména nanich vlastnosti poesie socialisticky realistické, o niž dnes usilují básníci Československa, Bulharska a Polska. Ukazuje, že Majakovskij, který vyjádřil nejhlouběji ideje socialistické revoluce v poesii, se neustále učil u lidu, byl spjat s jeho životem a bojem. Jeho poesie, proniknutá bolševickou ideovostí, sloužila úkolům výstavby komunistické společnosti, a to žádal Majakovskij též od ostatních básníků. V boji za realisaci úkolů stojících před poesií v rodící se socialistické společnosti byl vzorem neohroženosti a důslednosti. S novou společenskou funkcí a obsahem poesie souvisela ovšem i nová forma. Majakovskij vytvořil básnický systém, který se opírá o pokladnici lidového jazyka, lidovou uměleckou tvořivost a velké tradice ruské klasické literatury. Autorka ukazuje, že se

Majakovskij ve své tvorbě zejména po Říjnu zbavoval abstraktnosti a všeobecnosti v zobrazování historické skutečnosti a dospěl ke krystalicky jasnému a historicky konkretnímu zpodobování. Nejdokonalejším výrazem tohoto jeho vrcholného mistrovství jsou zmíněná poemata Vladimír Iľjič Lenin a Chorošo, největší dosud díla socialisticky realistické poesie. Autorka se zmiňuje o širokém ohlasu těchto básní v zemích lidové demokracie, o všeobecné lásce, jíž se tu dílo Majakovského těší, a uzavírá tím, že toto dílo již po 30 let obhacuje revoluční kulturu zmíněných národů.

Oddíl *Majakovskij v Čechoslovakii* počíná úvodem, v němž se zdůrazňuje kladný vliv pokrokových představitelů ruské klasické literatury na formování pokrokové literatury české, která pomáhala na jednom z předních míst národně osvobozeneckému boji českého a slovenského národa s rakousko-uherskou monarchií. Demokratické ideje a tradice obě literatury sbližovaly. Autorka přechází ke světodějnému významu Říjnové revoluce, jejímž jedním důsledkem bylo též osvobození českého a slovenského národa. Příklad sovětského Ruska a sovětských spisovatelů posiloval české revoluční spisovatele v boji s kapitalismem.

V kapitole *Pervoje znakomstvo s Majakovskim. „Krasnyje pesni“ S. K. Nejmana* poukazuje autorka na nesmírný ohlas Majakovského básně „Levý pochod“, na úspěch pražské inscenace *Mysterie Buff* a silné zapůsobení Majakovského na největšího českého básníka minulých desetiletí — S. K. Neumanna, což se projevilo konkretně v jeho *Rudých zpěvech.* Tyto Neumannovy verše z let 1919—1923 podle autorky souvisí s Majakovského *Levým pochodem* a *150,000.000.* Jmenuje několik podobností ideových i formálních. Neumannovy verše znamenaly přes svou určitou deklarativnost a všeobecnost základní přelom v české poesii.

V kapitole *Irži Voľker* je dokazováno, že druhý největší představitel české revoluční poesie Jiří Wolker se ve svých teoretických statích stýkal svými názory na úkol poesie i realisací těchto názorů ve vlastní básnické tvorbě s Majakovským. Autorka předpokládá, že Wolker znal jednotlivá díla Majakovského. Charakteristickým tu však prý není fakt přímého vlivu, nýbrž sblížení Wolkera s Majakovským.

Kapitola nazvaná *Poèma „150,000.000“ v Čechoslovakii* hodnotí český překlad této básně o světovém významu Veliké Říjnové socialistické revoluce. Vřelou sympatii prý vyvolalo umění Majakovského u S. K. Neumanna, Hory a Hořejšího. Poema byla protikladem k měšťácké tvorbě poetistů, kteří od revoluční tvorby desertovali, i když se dříve někteří z nich považovali do jisté míry za přívržence, spoluvyznavače Majakovského novátorství. Báseň Majakovského vplynula do života revolučních vrstev národa, jsouc příbuzná umění nejlepších básníků země.

Následuje oddíl nazvaný „Majakovskij v Prage“, který osvětluje básníkův pražský pobyt v druhé půli dubna roku 1927. Autorka líčí, jak byl básník vřele přijat pražskými dělníky, kteří znali jeho dílo již dříve z českých překladů, jak v několika prozaických črtách a v básni „Slavjanskij vopros — to rešajetsja prosto“ poukázal na druhou, měšťáckou tvář československé „demokracie“, jak četl na večírku uspořádaném na sovětském zastupitelství v Praze našim básníkům své verše o poslání básníka ve společnosti *(Razgovor s inspektorom o poezii),* které jim odhalily prvky estetiky socialistického realismu. Zmiňuje se o nesmírném úspěchu jeho vystoupení ve vinohradském Národním domě a o působení jeho veršů na pokrokové spisovatele. Básníci Devětsilu však Majakovského nepochopili. Oddíl končí zdůrazněním vlivu Majakovského na společenské vědomí revolučních vrstev národa, který byl výsledkem jeho pražské návštěvy.

Delší kapitola nazvaná *S. K. Nejman o Majakovskom. Pravda o Sovetskom Sojuze* se obírá problematikou let třicátých. Začíná Neumannovou básnickou odezvou na smrt

Majakovského, popisuje boj pokrokových představitelů české kultury za šíření pravdy o SSSR, především Julia Fučíka *(V zemi, kde zítra již znamená včera)*, soustřeďuje se na boj B. Václavka v polovině 30. let proti surrealistům, píše o skupině Blok, kterou Václavek založil a z níž vyšel budoucí hlavní překladatel veršů Majakovského — Jiří Taufer. Všímá si Neumannovy knihy *Anti-Gide*. Neumannovy verše, které sbližovala s poesií Majakovského stranickost, pomáhaly vychovávat revoluční mládež v dobách mnichovské katastrofy.

Kapitola *Značenije Majakovskogo dlja pisatelej-učastnikov narodno-osvoboditeľnoj bor'by protiv fašizma* poukazuje na hrdinný boj Julia Fučíka, který patřil k nejoddanějším žákům Majakovského, na to, jak byla sovětská literatura a především verše Majakovského oporou protifašistickým bojovníkům za dnů zkoušek v koncentrácích i za bojů slovenského povstání.

Druhá část stati o Československu je nazvána *Majakovskij v narodnoj demokratičeskoj respublike Čechoslovakii*. Autorka poukazuje na rostoucí úlohu tvorby Majakovského v osvobozeném Československu, v době předúnorových bojů komunistické strany a všeho pracujícího lidu s buržoasní reakcí. V době, kdy se pokoušela reakce podlamovat důvěru českého lidu v Sovětský svaz, kdy snižovala jeho kulturu, objevují se Tauferovy překlady největších děl Majakovského — *Oblaku v kalhotách, Vladimíra Iljiče Lenina* a *Správné věci (Chorošo)*.

Několik kapitol spojených názvem *Propaganda proizvedenij Majakovskogo, jego estetičeskich principov. Dejateľnosť Irži Taufera* (45 stran) je věnována Tauferově propagaci Majakovského a překladům jeho děl. Rozebírá se vývoj básníka Taufera, ukazuje se na jeho předválečné verše, vyjadřující jeho lásku a víru v SSSR, na jeho redaktorskou činnost v pokvětnové Tvorbě, která byla jednou z předních tribun, odkud zaznívaly Majakovského verše a články o Majakovském. Autorka se zabývá podrobně překladatelskou prací Jiřího Taufera a ukazuje srovnáváním s texty originálů na dokonalost a mistrovství jeho českých převodů. Všechny novátorské prvky tvorby Majakovského se podařilo jeho českému interpretovi rovnocenně vystihnout, a to proto, že se opřel podobně jako sám Majakovskij o lidovou tvorbu, lidový jazyk a pokrokové tradice české poesie. Kromě překladů Tauferových hodnotí autorka též velmi kladně inscenaci satirické komedie *Ledová sprcha* (1948), která pomáhala bojovat proti přežitkům kapitalismu.

V oddíle nazvaném *Majakovskij i poety narodnoj demokratičeskoj respubliki* píše autorka proloženě toto: „Jeho (totiž Majakovského) umění pomáhá každému umělci ... maximálně projevit veškerý svéráz individuality, hlouběji proniknout do života svého lidu, odrazit jej plněji v tvorbě“ (180). Autorka je přesvědčena, že nové verše Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Ivana Skály *(Máj země)* a Milana Lajčiaka vznikaly pod vlivem Majakovského. Široce se zabývá poemou Stanislava Neumanna „Sto deset procent štěstí“, která dokazuje, jak všestranně tento mladý básník zakládá svou tvorbu na zkušenosti Majakovského.

Celý oddíl o Majakovském a Československu autorka končí zdůrazněním prvořadé úlohy příkladu Majakovského, jeho básnického dědictví, jeho názorů na úlohu básníka v životě lidu, při formování nových rysů současné poesie Československa.

Již sama skutečnost, že se objevila kniha tohoto thematu, zasluhuje kladného ocenění. Přináší materiál dosud neznámý, soustřeďuje a utřiďuje fakta sice již známá, která však byla rozptýlena ve starších pracích.[1])

---

[1]) Autorka bohužel tyto práce neuvádí a necituje.

S metodologického hlediska nutno kladně hodnotit úvodní část, charakterisující tvorbu Majakovského jako kvalitativně nový jev ve vývoji nejen ruské, nýbrž i světové poesie vůbec. Tím, že se autorka soustřeďuje při charakteristice nových, revolučních rysů tvorby Majakovského jednak na díla, která byla do jazyků zkoumaných literatur především překládána, jednak na jeho mistrovské poemy, které jsou stále nedostižnými vzory socialistického realismu v poesii, podtrhuje nové pojetí výzkumu literárních vlivů, které nemají mít již nic společného s buržoasní bezideovou a samoúčelnou komparativistikou.

Je správné, že se autorka snaží zařadit mohutné zapůsobení Majakovského v Československu do celkového kulturního vývoje země, že poukazuje na tradiční lásku k ruské literatuře v Čechách, na demokratické tradice, které obě literatury sbližovaly a které vlastně připravovaly půdu plodnému působení Majakovského.

Autorka správně poukazuje na to, že se dílo Majakovského stávalo v Československu aktivním účastníkem třídního boje na ideologické frontě, že se stávalo organickou součástí československé revoluční kultury, zejména v období budování socialismu. Proto věnuje velikou pozornost propagaci Majakovského, všímá si, kdo byl jeho překladatelem a propagátorem, které časopisy ho propagovaly, a hledá tu správně ideologické, třídní příčiny. Autorka věnuje velkou pozornost rozboru překladatelské činnosti Jiřího Taufera a ukazuje, jak již samy překlady děl Majakovského, které nutily básníka-tlumočníka, aby hledal nové výrazové prostředky, zaměřené na maximální účinnost, přinášely významné obohacení českého básnického jazyka a básnického mistrovství vůbec.

Co se pak týká dokumentace, prokázání vlivu Majakovského na toho nebo onoho básníka, působí vývody autorky nejpřesvědčivěji tam, kde uvádí přímé svědectví, doznání autorů (v případě Ivana Skály a mladého Neumanna).

Nyní poukáži na některé nedostatky především methodologického rázu.

V závěrečném projevu k diskusi o základních problémech studia tvorby Majakovského, která proběhla koncem ledna v Moskvě, poukázal Konstantin Simonov (Literaturnaja gazeta 1953, česky viz Sov. věda-lit. 2, 1953, č. 3) na hlavní nedostatky v bádání o tvorbě Majakovského a naznačil cesty, jimiž se má další práce literárních kritiků a vědců ubírat. Z řady zásadních připomínek k metodickým nedostatkům bádání o Majakovském, které se projevily v některých monografiích, uvádím především jeho rozhodné zamítnutí snahy některých autorů obcházet složitosti básnického vývoje Majakovského, snahu „vylepšovat historii". S tím souvisí snaha o zveličování významu předrevolučních děl Majakovského pro lid, čímž se stírá rozhodný význam Říjnové revoluce a strany pro básníkovu tvorbu sovětské epochy. Simonov poukazuje dále na nutnost míti na zřeteli při zkoumání daného problému celou složitou sumu faktů, které je nutno osvětlit „s jasných, konkretně historických posic". Někteří badatelé však, jak ukázal Simonov, určité skutečnosti obcházejí, zamlčují či vypouštějí, chtějíce ukázat vývoj Majakovského jako hladký a prostý všech obtíží. Tyto Simonovovy připomínky jsou ovšem platné pro všechna themata, a nebezpečí prohřešit se proti nim je u thematu recensované knihy větší než kde jinde. Chyby tohoto druhu jsou i u Feigeľmanové.

Řada chyb, o nichž Simonov hovořil, vyplývá ze snahy některých autorů vyplnit předem stanovené schema, při čemž samozřejmě zamlčují nebo přikrašlují fakta, která se do schematické kostry práce nehodí. Chybám tohoto druhu se nevyhnula ani Feigeľmanová, která nazvala knihu „Majakovskij *v zemích lidové demokracie*" (podtrhl J. J.). Toto vymezení předmětu nedává jednoznačnou pracovní směrnici. Proto je možné, že *rozbor* konkretních děl básníků 20. a 30. let zaujímá v knize minimální místo. Největší po-

zornost je věnována pobytu Majakovského v Čechách, hlavně pak překladům Jiřího Taufera. Při takovémto postupu je ovšem nutno se vyvarovat jednoznačných závěrů o stále rostoucím vlivu Majakovského nebo jiných podobných tvrzení, nepodepřených fakty. Toto obcházení složitostí vývoje se autorce vymstilo tím, že se v její práci vyskytují rozporná tvrzení — jednou o velikém vlivu a dojmu, kterým zapůsobil Majakovskij na pokrokové české básníky zejména za svého pobytu v Praze (což není dokumentováno rozborem jejich tvorby), jindy zas o deserci básníků Devětsilu od poesie bojovné a nepochopení podstaty tvorby Majakovského s jejich strany, ač vždy mohlo jít jedině o *jedny a tytéž básníky*, nepočítáme-li S. K. Neumanna a Jindřicha Hořejšího, jimž stejně není v této souvislosti věnována žádná pozornost.

Všimneme si nyní některých detailů. Na str. 68 a 69 hovoří autorka o *blízkosti* „Rudých zpěvů" S. K. Neumanna tvorbě Majakovského. Tuto blízkost spatřuje především v Neumannově lásce k SSSR, v „nemilosrdném odhalování imperialismu", v „oslavě síly revolučního kolektiva", v básníkových „problémových (problemnych) politických dílech", v „ostrých básnických formulacích", v „polemickém charakteru mnohých veršů", v bohatém využívání hyperboly při zobrazování nepřítele. Autorka však neuvažuje o *zdroji* vlivu a o *možnostech* vlivu Majakovského na Neumanna. Tyto znaky Neumannových veršů byly do značné míry podmíněny jeho předchozím vývojem, jeho postavením v politickém životě. Neumann *neuměl rusky*, z Majakovského mohl tedy znát jen 2—3 kratší básně, které byly přeloženy. Proto je třeba věnovat ověření a prokázání skutečného vlivu Majakovského zvlášť velikou pozornost.

Nelze na př. kapitolku o Jiřím Wolkrovi v rámci daného thematu opírat jen o několikráte opakované zjištění, že si byli Wolker a Majakovskij svými názory na poslání poesie ve společnosti, v revolučním boji — *blízcí*. V tomto ohledu byl Wolker blízký nejen Majakovskému, nýbrž také Gorkému a Leninovi. Z dosud nepublikované korespondence[2]) je však zjištěno, že Wolker znal z Majakovského především „Levý pochod", který se mu ve Weilově překladu příliš nelíbil, že se však snažil sovětskou poesii, a především Majakovského, více poznat. Proto nelze vysvětlovat Wolkerův vývoj z působení Majakovského, což ani autorka nechce. V tom případě však působí tato kapitola v rámci daného thematu neorganicky. Zdá se, že je autorka příliš závislá na článku St. Neumanna *Čemu se učíme u Majakovského* z Tvorby (19, 1950, č. 15, str. 337—340).

Rovněž návštěvu Majakovského v Československu a její ohlas je nutno vidět v celé její složitosti. Majakovského báseň „Rozhovor s berním inspektorem o poesii', kterou sám četl našim básníkům na sovětském zastupitelství a která obsahuje v kostce jeho názory na poslání poesie, a jeho osobní vystoupení podle autorky „posílily působení jeho verše na pokrokové spisovatele Československa" (95—96). Je všeobecně známo, že českých pokrokových spisovatelů tehdy valem ubývalo, což je myšleno tak, že se množily jejich deserce od poesie bojovného do blasti poesie „čisté", i když přitom svým osobním přesvědčením zůstávali většinou věrni dělnické třídě. Tento nepříznivý vývoj nezastavila ani Majakovského pražská návštěva, poněvadž se tu setkaly již dva těžko sladitelné umělecké světy — na jedné straně umění tonoucí v měšťáctví, na druhé pak umění revoluční a socialistické, spějící ke svým vrcholům. A že skutečnost takto vypadala, dokazují vzpomínkové články dvou předních představitelů tehdejší literární a umělecké levice — V. Nezvala a Jindřicha Honzla (ve sborníku „Náš Majakovskij", 1950), z nichž dokonce autorka cituje místa, která tento smutný stav dosvědčují (viz str. 99, 100 rec.

---

[2]) Cituji příslušná místa v článku *Česká poesie dvacátých let a Majakovskij* ve 3. čísle časopisu Sovětská věda — literatura (1953).

knihy). Takovým způsobem však vzniká veliký rozpor v jejích vývodech, plynoucí z snahy přizpůsobit historická fakta předem stanovenému schematu: Vliv Majakovského v české poesii *neustále* vzrůstal.

Pravdou je, že vliv Majakovského u nás byl skutečně významný, i když nedosahoval ve 20. a 30. letech přirozeně takových rozměrů jako po květnu 1945 a zejména po Únoru 1948. Zatím co však měl tento vliv v české literatuře samé ke konci 20. let linii sestupnou, což souviselo s celkovým jejím negativním vývojem v období relativní stabilisace kapitalismu, měl linii *jistě neklesající,* ale zřejmě vzrůstající mezi *dělnickým publikem,* kde jeho verše šířily na počátku 20. let Dědrasbor[3]) (Soňa Neumannová tam byla přední recitátorkou *Levého pochodu),* dále jeden ze zakladatelů a režiséru Dědrasboru — „dělnický herec" Josef Zora, později Modrá bluza, skupiny Agitpropu a p. O tom však se v knize nepíše.

Z české revoluční poesie popřevratové zůstal věren praporu pouze S. K. Neumann, avšak setkal-li se i on v roce 1927 s Majakovským, se doposud neví, a autorka se také o něm vůbec při této příležitosti nezmiňuje. A přece to byl ve 30. letech opět S. K. Neumann, který *vědomě* pokračoval v tradicích Majakovského a rval se s rostoucím úpadkem, který rozleptával řady jeho bývalých básnických soudruhů. Tady by bylo třeba uvést rozbor jeho veršů ze sbírek *Srdce a mračna* a *Sonáta horizontálního života* jako potvrzení uvedeného faktu. To však autorka rovněž neučinila.

Nedostatečně je doloženo též tvrzení na straně 177, že na básně Vítězslava Nezvala, Milana Lajčiaka a Stanislava Neumanna o Stalinovi působil „nesporně" Majakovskij svým *V. I. Leninem.* Je velmi pravděpodobné, že thematicky i pojetím thematu Majakovskij skutečně působil. U Nezvala je třeba *ukázat,* co se v jeho tvorbě objevilo nového, co je spojuje s Majakovským, a co ještě má překonat, t. zn. v čem se má ještě u Majakovského učit. Mluvit o působení Majakovského na Nezvalův *Zpěv míru* (182 n.) je ještě daleko těžší. Stejně oprávněně by se zde mohlo hovořit o působení Demjana Bedného, Stepana Ščipačëva nebo Nazima Hikmeta. Z toho vyplývá, že všechny autorčiny vývody bylo třeba podepřít fakty, jejich rozborem, protože něco jiného je bezprostřední vliv Majakovského a něco jiného opět vliv existence Sovětského svazu vůbec, celé jeho kultury. Na to nelze zapomínat, zejména v době současné, kdy se v míře nikdy předtím nebývalé překládá z literatury sovětské. Vždy je však třeba vidět hranici, specifičnost vlivu, už také proto, že je thematem knihy především Majakovskij. Kromě výše uvedených činitelů, které dnes působí na vývoj české literatury, se ovšem nesmí přehlížet společensko-politický vývoj domácí, který je vždy činitelem základním. Zde se právě autorka dopustila té chyby, že zkoumá působení Majakovského převážně *isolovaně* od těchto ostatních činitelů, i když je tu a tam *připomene.* Vliv Majakovského je tedy třeba zkoumat v souvislosti s vlivem ostatní sovětské poesie, ale nejen poesie, také teoretických článků, vyprávění vrátivších se delegátů z SSSR atd. atd. Je třeba vidět také ten fakt, že ne vždy si uměli naši básníci v SSSR vybrat skutečně revoluční vzory, o čemž svědčí silný vliv Jesenina a Pasternaka v části naší poesie, která se více méně cítila levou. Je třeba vidět příčiny této skutečnosti, které souvisí opět s celkovým vývojem české poesie meziválečné. Konečně je třeba mít na paměti, že ne všechny podobnosti musí vyrůstat z jednoho vzoru, ale že mohou vznikat samostatně tam, kde jsou obdobné společenské podmínky vzniku. O tom svědčí případ Wolkera. A tuto složitost otázky literárního působení je třeba co nejbedlivěji analysovat, rozvažovat a hodnotit.

---

[3]) Dělnický dramatický sbor.

Autorka též nezkoumá českou literaturu v plynulém proudu jejího vývoje, ale skáče po určitých chronologických bodech, které nejsou vždycky nejhlavnější a mezi nimiž bývá vzduchoprázdno. Tak vypadlo na př. důležité období na přelomu 20. a 30. let, kdy se u nás dějí pod přímým sovětským vlivem pokusy obnovit proletářskou, t. j. třídní a bojovou literaturu. Jestliže autorka uváděla boj Václavkovy skupiny *Blok* z poloviny 30. let, pak bylo stejně nutno uvést tento boj za revoluční literaturu, v jehož čele stály časopisy *Tvorba* (Fučík, Václavek), kladenská *Naše cesta* (Pekárek), *Index* (Václavek) a *Levá fronta* (Štoll, S. K. Neumann a j.). V opačném případě je historický vývoj silně skreslován. V tvorbě básníků, kteří vyšli z okolí těchto časopisů a kteří se seskupili později v Bloku, lze zjišťovat působení Majakovského (na př. u Nohy, Nechvátala, Taufera a Barta). Na to však autorka nepoukázala.

Nakonec je třeba vytknout nedostatečnou pozornost k literatuře slovenské, ačkoliv je oblastí autorčina výzkumu *celé* Československo.

Jak bylo již výše řečeno, spočívá význam knihy hlavně v jejím materiálovém přínosu. Vedle celkem zdařilých kapitol o pobytu Majakovského v Praze (až na ty rozpory v závěrech) a o překladech Jiřího Taufera přináší po prvé uceleně materiál, který ukazuje na nesmírný význam Majakovského pro básníky-bojovníky v době fašistické okupace naší vlasti a za slovenského národního povstání. Zde, na pozadí fašistického temna, vyniká světlá úloha Majakovského. Dobré je, že autorka poukázala na využívání Majakovského satiry z Oken ROSTA v boji proti domácí československé reakci před Únorem, že si všimla pražské inscenace jeho satirické komedie *Ledová sprcha* (Banja) a poukázala na její význam v boji proti zbytkům měšťáctví. Ovšem právě zde, v oblasti satiry, měla autorka podrobit naši literární skutečnost hlubšímu rozboru, k čemuž se ještě vrátím. Zdařilá je také část věnovaná mladému St. Neumannovi, ač bylo právě v tomto případě nutno upozornit na to, že u Neumanna hraničí jeho učení se u Majakovského, zejména v prvním jeho poematu, přímo s imitováním, které nebezpečně zatlačuje osobitost mladého talentovaného básníka. To je ovšem u prvotiny zjev přirozený, a poněvadž si Neumann správně uvědomuje podstatu učení u Majakovského, vytrhuje se záhy ze závislosti přímo otrocké, projevující se na příklad i v imitování vnější stránky Majakovského básní.

Nyní uvedu několik detailnějších poznámek k materiálu knihy. Autorka správně přikládá nesmírný význam Tauferovu překladu vrcholného poematu Vladimíra Majakovského *V. I. Lenin* z roku 1947, který uvádí jako první přebásnění tohoto díla do češtiny. Jisto je, že je to první mistrovské přebásnění, avšak k prvnímu seznámení s řadou úryvků nejen z poematu V. I. Lenin, nýbrž i z poematu Chorošo došlo již v druhé polovině ledna 1928 na stránkách Rudého práva, kde byl pravidelně denně otiskován překlad Jachontovovy „litomontáže“ *V. I. Lenin*, složené z veršů obou poemat, střídajících se s úryvky děl Marxe, Engelse a Lenina. Tohoto prvního překladu bylo používáno na vystoupeních Modré bluzy.

Málo věrohodně zní tvrzení (str. 22), že Majakovského verše o Číně přímo působily na podobné verše českých básníků, uvědomíme-li si, že Majakovského báseň *Nejkrásnější verš* vyšla teprve v novém, rozšířeném vydání Tauferových překladů r. 1953.

Název Neumannova časopisu *Červen* je chybně přeložen jako *Ijul'* (Červenec) na str. 64.

I když je velmi pravděpodobné, že se *Levý pochod* Majakovského ozýval z refrénů písní pokrokové mládeže, z veršů básníků, jak tvrdí autorka, bylo by prospěšné a vysoce zajímavé ilustrovat tento závěr příklady, poněvadž jde o fakta dnes málo známá.

Domněnka autorky, že Ivan Olbracht zachytil v románě *Anna proletářka* působení *Levého pochodu* na třídním uvědomování hrdinky, nemá dostatečný podklad. Olbracht sám ani netvrdí, že báseň, kterou Anna slyšela v Lidovém domě, je Levý pochod (i když to byla podle jeho popisu báseň jistě velmi podobná), a není to ani možné, protože překlad Levého pochodu byl po prvé otištěn 14. XI. 1920, tedy v samý předvečer prosincových bouří, dávno po návštěvách Anny v Lidovém domě.

Několikráte uvádí autorka zprávu o tom, že byla v Praze v roce 1922 provedena v českém jazyce s velikým úspěchem a před plným hledištěm Majakovského hra *Mysterie Buff* (9, 66—67, 145). To neodpovídá skutečnosti. Nejen že hra nebyla podnes nikdy inscenována, ale nebyla ani doposud do češtiny přeložena, kromě *Prologu*. To potvrzuje bývalý režisér Dědrasboru a recitátor Majakovského Z o r a, první překladatel Majakovského, a jiní odpovědní svědkové.

Souvislost *Rudých zpěvů* S. K. Neumanna se *150,000.000*, o níž píše autorka, se těžko dokazuje, protože vznikly o 2—5 let dříve než český překlad Majakovského poematu a rusky Neumann neuměl. Nanejvýše mohlo jít o působení nepřímé z různých informací, článků o Majakovském a pod., což autorka neříká a což je třeba dokumentovat.

Charakteristika předválečné tvorby S. K. Neumanna (6 a půl řádku na str. 68) může vzbuzovat nepřesné představy. Podle této charakteristiky šel Neumann k proletářskému čtenáři cestou složitou a protikladnou. „S. K. Neumann se rozešel se symbolismem a později překonával anarchistické a individualistické rysy ve svém umění. Již události prvé imperialistické války jej donutily rozloučit se s ilusorními představami o soudobé skutečnosti", čteme na straně 68. Tato stručná charakteristika zastírá skutečnou podstatu Neumannovy tvorby předválečné, která byla vždy ve znamení odboje a vzpoury proti měšťáckému řádu a jeho morálce. Dekadence let devadesátých a později anarchismus dávaly jen *vnější* formu Neumannově hluboce založené revoltě a nenávisti k současnému měšťáckému řádu, protože domácí sociální demokracie, tonoucí v oportunismu, neoplývala přitažlivostí pro skutečně revoluční básníky, na což poukázal již Bedřich Václavek a Ladislav Štoll. Ti pak se proto raději přikláněli k radikálnímu anarchismu. A víme, že mnozí z těchto anarchistů se dříve nebo později za revolučního nástupu mas jednoznačně postavili na stranu dělnické třídy a S. K. Neumann se stal dokonce jedním ze zakladatelů KSČ. Co se pak týká jeho „ilusorních představ o soudobé (t. j. kapitalistické) skutečnosti", je nejasné, co měla autorka na mysli, protože Neumann nikdy žádných podobných představ o kapitalistické skutečnosti *neměl*. Láska k plnému, nemrzačenému životu, touha osvobodit člověka z pout sociálních i mravních, do nichž jej vrhá neustále buržoasní společnost, byla *základnou*, na které vyrůstala veškerá tvorba Neumannova. V tom se mnoho nelišil na příklad od Maxima Gor'kého, který také musil hledat pravou cestu k realisaci svého snu. Jestliže však Gor'kij měl před očima skutečnou revoluční sílu, která mohla jeho sen realisovat, t. j. bolševickou, leninskou stranu, nebylo tomu tak u Neumanna. Tato příčina umožnila Gor'kému vyzrát v prvního mistra proletářské revoluční literatury v době, kdy Neumann ještě setrvával u anarchismu. A je pak jen přirozené, že se v době, kdy již existovala KSČ, Neumann obracel s takovou láskou a zájmem k Sovětskému svazu a jeho revoluční literatuře, především ke Gor'kému a Majakovskému, kteří jej díky společenskému vývoji ruskému předešli na cestě k revolučnímu umění proletářskému a ve kterých on zákonitě viděl v tomto směru učitele a spojence.

Básníkova tvůrčí minulost, její *správné* osvětlení a analysa podají tedy často vysvětlení ke kladně přijatému literárnímu vlivu pozdějšímu.

Na straně 69 autorka píše, že česká revoluční, proletářská poesie čerpala posilu ve svém boji s buržoasní ideologií v učení Lenina a Stalina, při čemž má na mysli poesii z počátku 20. let. Jisté je, že se o marxismu mezi mladými hodně mluvilo, ale že ho nikdo důkladně neznal, že ho často chápali povrchně a vulgárně. Jen S. K. Neumann byl jedním z mála těch, kteří hluboko vnikali do učení marxismu-leninismu a který vedl po celá dvacátá a třicátá léta boj za prohloubení marxistických znalostí. Jen *katastrofální neznalost či nepochopení tohoto učení* mohla být příčinou velmi brzkých dezercí básníků od poesie bojovné k poesii „čisté", k poetismu, později k zrůdnému surrealismu, spiritualismu a dokonce k náboženství a pod. Naopak zase pochopení tohoto učení chránilo S. K. Neumanna před podobným zhoubným vývojem. Vždyť na počátku 30. let vedou časopisy Tvorba, Naše cesta, Levá fronta a j. širokou kampaň za rozšíření a prohloubení znalostí marxismu-leninismu mezi českou levou inteligencí, poněvadž si jejich redakce správně uvědomovaly, že příčinou krise v české levé literatuře je nedostatečná znalost tohoto učení. Místo něho zde často bujely různé trockistické úchylky, což ovšem mělo ve většině případů pořád jeden a týž kořen: — neznalost a nepochopení.

Na straně 80 je uváděno, že po překladu *150,000.000* vyvolalo umění Majakovského vřelou sympatii u S. K. Neumanna, J. Hory a j. Ač o tom není v případě Neumannově pochyb, bylo by dobré uvést materiál, kterého je z té doby málo známo. U Josefa Hory je uvedené tvrzení již zcela problematické, protože v té době u něho již vítězily na celé čáře tendence přímo protikladné hlavním zásadám tvorby Majakovského, tendence jeseninovské, individualistické, které souvisely s rostoucí Horovou nedůvěrou v revoluční hnutí, v revoluční stranu, k čemuž u Majakovského nikdy nedošlo a co vedlo u Hory k přímému rozchodu s revolucí a se stranou v roce 1929, který se mu nikdy nepodařilo pořádně překonat. Na tomto faktu nic nemění ani ta skutečnost, že je Hora s Majakovským vyfotografován společně na balkonu Hoffmeistrova domu, ani to, že na vinohradském večeru (1927) vítal sovětského básníka jménem českých spisovatelů.

Autorčina značná závislost na článku mladého St. Neumanna *Čemu se učíme u Majakovského*, který oplývá ničím nepodloženými tvrzeními a závěry, je patrná m. j. též v partii o poetismu. Na straně 82 se tvrdí, že prý se ke skupině poetistů přimkli někteří básníci, kteří se dříve „považovali za vyznavače (vosprijemniki) novátorství Majakovského". To je jeden z nepodložených výroků, opakovaných po mladém Neumannovi, který považoval totiž šmahem všechny proletářské básníky z počátku 20. let za žáky Majakovského. Skutečností je, že nikdo z těchto básníků neměl ani zdání o jeho *novátorství*, a proto také mimo jiné dospěli až k smutným koncům, o nichž hovoří autorka.

I když však znali mladí básníci Majakovského tenkráte nedostatečně, neopravňovalo to ještě mladého Neumanna v roce 1950 k poněkud sekyrářskému a levičáckému odsouzení Seifertovy proletářské lyriky jako maloměšťácké, která zaměňovala socialismus za jídelní lístek, jako lyriky básníka, který prý sice občas kopíruje Majakovského, ale který nemá s Majakovským nic společného. Jestliže však autorka ocitovala široce a bez komentáře vývody Neumannovy, znamená to, že se s nimi ztotožňuje. To není správné, protože tehdy byl ještě Seifert upřímným vojákem proletářské poesie bojující, a to byla okolnost, která jej s Majakovským jistě *sbližovala*, i když nebudu tvrdit, že to bylo na základě vlivu veršů Majakovského, které jistě znal velmi nedostatečně. Kladné stránky Seifertovy tehdejší tvorby dovedl moudře ocenit L. Štoll ve své knize *Třicet let bojů za českou socialistickou poesii* z roku 1950, i když si je vědom určitých jejích maloměšťáckých elementů, které jsou „v celé té mladé poesii dvacátých let i v rané poesii Wolkerově jako zákonitý průvodní zjev přerodu, přechodu" (Štollova citovaná kniha, str. 46).

Na straně 96 a 97 vyslovuje autorka podiv nad tím, že ještě v roce 1927 představovaly některé české články o Majakovském tohoto básníka jako futuristu. To ovšem nebylo náhodné, nýbrž typické, a to až do doby pokvětnové. Přispívala k tomu za prvé neznalost jeho hlavních děl, za druhé představa mnohých našich levých básníků, že revoluční může být jen nějaký ismus, za třetí, a především, informativní a propagační články Jakobsonovy, Weilovy a j., jejichž autoři (zejména vlivný Jakobson) vytrvale spojovali dílo Majakovského s pojmy „formalismus" (myslí se ruská buržoasní literárněvědná škola) a „futurismus". Ještě Teigova trockisující monografie *Vladimír Majakovskij* z roku 1936 má podtitulek „K historii ruského *futurismu*". To vše svědčí o nesprávném chápání zjevu největšího sovětského básníka na naší literární levici a naopak to podtrhuje význam těch představitelů české kultury, jimž stál v čele S. K. Neumann, kteří si nelámali hlavu s ismy a správně, v duchu Majakovského, bojovali svými verši proti politické a kulturní reakci.

S tím vším souvisí též nepochopení Majakovského básníky Devětsilu, o němž píše autorka na straně 99. V článku *Majakovskij a česká poesie* ve 4. čísle Prahy-Moskvy z 1. dubna 1950), dnes již v mnohém ohledu překonaném, jsem kdysi napsal o české proletářské lyrice, že „jednou z příčin jejího určitého maloměšťáckého rázu je pravděpodobně okolnost, že mladí proletářští básníci byli bez ideologické pomoci, bez vzoru skutečně třídního proletářského umění" (266). Stejně vysvětloval omyly poetistické generace její přední básník Vítězslav Nezval za několik týdnů nato v článku *Setkání s Majakovským*, který otiskl v Novém životě: „Duch protiměšťácké provokace byl prvním stupněm výrazu našeho revolučního smýšlení, kterému jsme nedovedli tehdy dáti pro nedostatek skutečně revolučních dramatických předloh objektivní ráz" (citováno podle sborníku *Náš Majakovskij*, 260). Autorka, která tento článek široce cituje, vysvětluje poetické zmatky rovněž stejným způsobem: „V pochopení veškerého významu Majakovského, podstaty jeho tvorby jim vadilo to, že nebylo dosti překladů jeho děl..." (str. 99). Na jiných místech však autorka píše o popularitě Majakovského v Československu, o nesmírném vlivu, který mělo na pokrokového spisovatele setkání s Majakovským a pod., na příklad: (Vystoupení Majakovského) měla široký agitační význam pro představitele české kultury a pokrokové vrstvy dělnické třídy. *Básník sovětské země měl bezprostřední vliv na společenské vědomí revolučních vrstev národa*" (podtrženo autorkou; 108). Tím dochází opět k rozporům ve vývodech. Jisto je, že ani jeden z citátů nemá pravdu, alespoň ne stoprocentní. Majakovskij se nestal také revolučním básníkem na základě toho, že měl dostatek předloh „skutečně revolučního umění", ale svou účastí v revolučním boji. A naopak isolovanost našich levých básníků (s výjimkou S. K. Neumanna) od politického boje byla na jedné straně příčinou změšťáčtění jejich poesie, na druhé straně pak toho, že nebylo „dosti překladů (Majakovského) děl". Revoluční vzory mohou jen vývoj k revoluční poesii urychlovat, ale nikdy ne cele podmiňovat.

Jiný rozpor, tentokráte skrytý, se týká otázky rozšířené znalosti ruského jazyka. Nezval píše v citovaném článku toto: „K svému politování musím se přiznat, že naše tehdejší nepatrná znalost ruského jazyka nám dosti ztížila bližší dorozumění s Majakovským" (*Náš Majakovskij*, 261). Autorka, která bohatě cituje uvedený článek, toto místo neuvádí, ač by mohlo značně osvětlit poměrnou neúrodnost půdy, na niž padalo slovo Majakovského, a nepatrný ohlas jeho díla v tvorbě poetistů, tedy českých levých básníků. Tím by ovšem došlo k dalšímu zjevnému rozporu v knize, poněvadž autorka na několika místech ukazuje na rozšířenou znalost ruštiny v Československu, která vliv sovětské poesie usnadňovala.

Na straně 109 se letmo hovoří o básni Vladimíra Holana *Olze Majakovské* jako o jednom příkladu z celé řady vzrušených básní, jimiž reagovali čeští básníci na pětileté výročí smrti Majakovského. Vše, co autorka píše o této básni, skládající se ze tří čtyřveršových strof, je toto: „Psal o bratrské něžnosti Majakovského a o nenapravitelné ztrátě.“ Holan se nepochybně Majakovským obíral, ale hledal a ctil v něm to, co v daleko větší míře našel u Chlebnikova a Pasternaka — totiž „zaum“, slovní experimentátorství výrazovou výlučnost a abstraktnost, vedoucí k přímé nesrozumitelnosti. Hledal v něm prostě futuristu. Všemi uvedenými znaky je zatížena též zmíněná báseň, otištěná později ve sbírce *Záhřmotí* (1940).

Autorka uvádí též, že o Majakovském psal též Nezval a jiní, a na tom přestává. Bylo by však dobré, kdyby autorka ukázala na rozboru oněch veršů, jak zmínění autoři stáli tenkráte Majakovskému daleko, jak bylo pro ně tragickým omylem, že se místo o skutečně revoluční dílo Majakovského opřeli o francouzský surrealismus a jiné idealistické proudy západní měšťácké dekadence. Pak by její kniha mohla mít i hluboký kritický, výchovný význam.

K partii, kde se hovoří o Tauferových překladech, bych připomněl, že autorce uniká jeden závažný nedostatek české překladové literatury z Majakovského, a to nedostatek překladů jeho satir, které po více než deset let jeho sovětského období pomáhaly nejvydatněji v boji proti skrytým i zjevným nepřátelům socialismu, proti zbytkům kapitalismu ve vědomí lidí a podobně. I když máme tedy v českém jazyce vzorně přetlumočený bohatý výbor z díla Majakovského, nemáme přeložena všechna *nejcharakterističtější* díla, jak se autorka domnívá na str. 134. Majakovskij bez satiry (jsou přeloženy pouze asi 3—4 satiry) je poloviční Majakovskij, a možná ani to ne. S tímto nedostatkem souvisí též fakt, že *Ledová sprcha* (Banja), jejíž uvedení na české scéně autorka po zásluze kladně hodnotí, byla hrána pouze jednu sezónu v divadélku státní konservatoře (!) a více se neobjevila.*) Ze všeho toho je patrno, že je u nás satira Majakovského, tedy podstatná a velmi potřebná část jeho díla, opomíjena, což je nutno ostře vytknout. Souvisí to jistě s jiným nezdravým faktem z oblasti české překladatelské činnosti z Majakovského v současné době, totiž s nezájmem mladých básníků o překládání jeho veršů. Již po několik let se totiž objevují pouze překlady Jiřího Taufera, který nemá následovníků. Tato specificky naše situace ostře kontrastuje se situací v Polsku, Bulharsku a především v samém Sovětském svazu, kde jsou v neruských republikách, autonomních oblastech atd., zapojeny do překladatelské činnosti z Majakovského desítky básníků.

Po napsání této recense, jejíž hlavní these byly podkladem diskuse ve Slovanském ústavu, se nám dostala do rukou recense S. V. Nikoľského a V. I. Zlydneva (Sovetskaja kniga [1953] č. 12, 108—112), kteří se ve svých vývodech do značné míry stýkají s vývody mými.

Přes všechny nedostatky je nutno knihu L. Fejgeľmanové uvítat jako první tištěný pokus vyrovnat se ve větší práci s tak složitým problémem, jako je otázka literárních vlivů, kterého se u nás do nedávna mnoho literárních kritiků a vědců obávalo (a mnozí se bojí dodnes) jako záležitosti buržoasní! Je třeba uvítat knihu jako poukaz na nutnost osvětlit vědecky nesmírný význam, který měla a má sovětská kultura pro pokrokovou kulturu národů nesovětských. Po této práci se budou moci autoři prací dalších již vyvarovat mnohých úskalí, která se v tomto obtížném thematu skrývají.

Jan Jíša

---

*) S potěšením možno oznámit, že v době výroby tohoto čísla Slavie byla *Banja* znovu uvedena, a to v Praze a v Plzni.

Střední části spisu, *Majakovskij v Bolgarii*, bude v Slavii věnována pozornost v jiné recensi, zabývající se pracemi o poměru Majakovského k bulharské literatuře.

Redakce

Závěrečná třetí část knihy Ljubov' Fejgel'manové je věnována ohlasu a působení díla V. Majakovského v Polsku (*Majakovskij v Pol'še*, 325—444).

V *Úvodu* mluví autorka o tradicích polsko-ruské revoluční spolupráce, uvádí přátelství A. Mickiewicze s A. Puškinem, Mickiewiczův vztah k děkabristům, přátelství Gercenovo se St. Worcellem, osvobozenecká hesla, která spojovala polský a ruský lid ve společném boji za svobodu, přátelsví N. G. Černyševského se Z. Sierakowským, vliv ruských revolučně demokratických myšlenek na polské revolucionáře typu J. Dąbrowského, spojení první polské dělnické strany „Proletariát" s ruským revolučním hnutím. Sleduje ohlas pokrokové ruské literatury v Polsku: L. Kondratowicz-Syrokomła překládal Lermontova a Ševčenka, polský realismus čerpal z realismu ruského. E. Orzeszkowa si dopisovala se Saltykovem-Ščedrinem, Maria Konopnicka byla nadšena poesií Nekrasovovou. Polská dělnická třída hojně četla díla M. Gor'kého, který rovněž působil na polské spisovatele. Revoluce r. 1905 a r. 1917 dále posílila bojovou družbu polské a ruské dělnické třídy, říjnová socialistická revoluce přispěla k vytvoření samostatného polského státu v r. 1918. Na tuto úrodnou polskou půdu, kde byla silně rozšířena znalost ruského jazyka, přišla díla V. Majakovského — tribuna revoluce.

Ve vlastní práci navazuje L. Fejgel'manová na svou studii *Majakovskij v Pol'še*, kterou vydal v r. 1951 v Moskvě Slovanský ústav Akademie věd (Kratkije soobščenija 1, Majakovskij v slavjanskich stranach narodnoj demokratii, 46—68). V této publikaci dále otiskuje N. Ch. Ivanova práci *O perevodach proizvedenij Majakovskogo na pol'skij jazyk*, která je doplněna částečnou bibliografií těchto překladů (69—85). Této bystré studie, která je věnována převážně rozboru novějších překladů Majakovského, Fejgel'manová ve své práci vůbec nevyužívá. Nepoužívá téměř žádné vědecké literatury, která se týká Majakovského (až na knihu V. Katanjana *Majakovskij*) a nehledá hlubší poučení ani u polských literárních kritiků. Tím se stává, že její názory na polské básníky, opřené o částečnou znalost jejich díla a o několik článků z polského tisku, jsou velmi osobité a mnohdy zjednodušující. Bylo by nasnadě opřít se alespoň o kritické stati R. Matuszewského z let 1949—50, sebrané v knize *Literatura na przelomie* (Warszawa 1951, Czytelnik), kde jsou studie o Broniewském, Tuwimovi, Jastrunovi, Kubiakovi, Woroszylském a jiných básnících, jejichž vývoj Fejgel'manová sleduje. Autorka se vůbec ve své práci nezmiňuje o diskusi o poesii v Polsku r. 1950, v níž právě byla zdůrazněna úloha Majakovského a sovětské poesie i domácích tradic pro další rozvoj polského básnictví (viz R. Matuszewski, *O sytuacji w poezji*, 124). Fejgel'manová však nesleduje soustavněji ani polské časopisy, zvláště starší; interview, který udělil Majakovskij za svého varšavského pobytu listu Polska wolność, cituje podle knihy Katanjanovy, další ohlas návštěvy v polském tisku nehledá, Wiadomości literackie z r. 1936 cituje podle některého článku polského tisku. Studie L. Fejgel'manové je založena na velmi chudém vědeckém materiálu, má charakter spíše publicistický a populární, autorka se nemohla vyhnout mnoha zjednodušujícím a příliš všeobecným soudům.

V práci se odděleně probírá ve dvou hlavních částech působení Majakovského v buržoasním Polsku a v lidově demokratické polské republice. V první kapitole autorka schematicky líčí literární situaci v Polsku po r. 1918 a všímá si prvních překladů Maja-

kovského z let 1921—1922 (*Básník-dělník*, prolog k *Mysterii-Buff*, *Levý pochod*). Prolog k Mysterii-Buff pak provozovala řada polských scén, zvláště Dělnická scéna v Lodži. V roce 1923 vyšel v časopise přední polské básnické skupiny *Skamander* překlad Majakovského poematu *Oblak v kalhotách* od Juliana Tuwima. Tuwim, představitel pokrokového křídla skamandritů, usiloval již od své známé básně *Wiosna* o rozbití zastaralé mladopolské poetiky, naplňoval své básně realistickým pohledem na život velkoměsta. V té době se mu dostávají do rukou verše Majakovského jako pozdrav ruské revoluce. Tuwim nadšeně překládá Majakovského poema Oblak v kalhotách, je uchvácen jeho uměleckým novátorstvím a humanismem, proto jeho překlad je zdařilý, „je blízký originálu". Autorka správně charakterisuje v duchu poznámek Majakovského, že Tuwim byl vzdálen pojetí básníka-bojovníka revoluce a jeho překlad je spíše projevem „estetického buřičství".

Jádro první části tvoří kapitola *Władysław Broniewski — básník revolučního Polska*. Broniewski nechápal novátorství Majakovského pouze formálně, ale viděl jeho revoluční sociální náplň. Majakovskij ve svých poznámkách z varšavské návštěvy r. 1927 vysoce oceňuje revoluční poesii Broniewského, úzce spjatou s bojem proletariátu (*Na śmierć rewolucjonisty*, *Pionierom*, *Szpicel* a j.). Fejgeľmanová načrtává stručně vývoj Broniewského od první sbírky *Wiatraki* k druhé sbírce *Dymy nad miastem* a dokládá blízkost antimilitaristického zaměření jeho básní s Majakovským. Po převratu Piłsudského r. 1926 stává se poesie Broniewského ještě bojovnějším výrazem nálad polského průmyslového proletariátu. I v historických thematech (*Elegia o śmierci L. Waryńskiego*, *Komuna paryska*) vyzývá ke vzpouře. Právě v těchto letech překládá a uveřejňuje Broniewski Majakovského básně *Básník-dělník*, *Domů* a úryvky z poematu *Správná věc!*, které zdůrazňují důležitou úlohu poesie v boji proletariátu. Na str. 357 autorka píše: „Politické zaměření nejlepších děl Broniewského (»Pieśń o wojnie domowej«, »Zagłębie Dąbrowskie«, »Magnitogorsk albo rozmowa z Janem«) sbližovalo ho s Majakovským, při vší vzájemné odlišnosti." Takovýmto všeobecným způsobem srovnává Fejgeľmanová i na jiných místech tvorbu Broniewského s Majakovským, nikde nepodává hlubšího rozboru. Autorka si všímá i publicistického vystoupení W. Broniewského r. 1928 v diskusi o proletářské poesii a vystoupení na kongresu kulturních pracovníků r. 1936 ve Lvově, které dokreslují i po teoretické a politické stránce Broniewského jako básníka a bojovníka za práva proletariátu. Přes uvedené výhrady ukázala autorka přesvědčivě, že Broniewski byl úže a vnitřněji spjat s Majakovským než Tuwim, že tvorba Majakovského byla mu školou revoluční poesie. — Velmi zajímavým dokladem o vlivu Majakovského a o ideovém růstu Broniewského je jeho odpověq na anketu *Co zawdzięczają pisarze polscy literaturom obcym?*, kterou uspořádaly Wiadomości literackie (Fejgeľmanová ji ve své práci bohužel neuvádí): „. . . Najsilniej jednak oddziałała na mnie poezja nowoczesna, zwłaszcza rewolucyjna poezja rosyjska. Majakowskiemu zawdzięczam ostateczne zerwanie z symboliczną starzyzną i stosunek do słowa jako do narzędzia walki (Wiadomości literackie, nr. 47, r. IV, 20. XI. 1927, str. 3). Dále píše Broniewski, že jeho oblíbenou četbou je Lenin, „tento velký básník faktů". Tato přiznání Broniewského mají větší váhu než vzpomínkové články Broniewského a zvláště Tuwima po r. 1945, které při vší věrohodnosti autorů již tak přesně nelíčí skutečnost po r. 1918 (Fejgeľmanová čerpá pouze z těchto vzpomínkových článků).

Další kapitola *Majakovskij ve Varšavě* líčí návštěvu Majakovského ve Varšavě a vydání prvního výboru z jeho díla. Majakovskij přijel do Varšavy 12. května 1927 v době rušných politických bojů a své dojmy zachytil v básni *Čugunnyje štany*, která

je prosycena vírou v polské pracující, a v črtách *Naružnosť Varšavy* a *Poverch Varšavy*. V črtách ukazuje, jak kapitalistický Západ vykořisťuje zaostalé zemědělské Polsko, jak se polská buržoasie slepě opičí po Paříži, jak těžce žijí polští spisovatelé, pronásledovaní policií, censurou i hladem. Ve všech svých vystoupeních zdůrazňoval Majakovskij velkou společenskou úlohu sovětské literatury, radostný život nezávislých sovětských spisovatelů, morálně spjatých s lidem, obklopených širokou čtenářskou obcí (také v interviewu v listě Polska wolność 22. V. 1927). Majakovskij si zapisuje své dojmy ze setkání s polskými spisovateli: „Oduševněle vyhlížející" Tuwim zanechal v něm smutný dojem nadaného básníka, jehož talent hyne v malicherných poměrech; poznal také, že poměr Tuwimův k jeho básním je čistě „lyrický". Ostřeji odsoudil Majakovskij A. Słonimského, který přeložil jeho *Levý pochod*, ale napsal zároveň svůj pochod, jehož ideou bylo buržoasní „výše excelsior". Fejgeľmanová dále rozvádí odsudek Majakovského: „... za bravurou Słonimského se skrývala psychologie typického buržoasního spisovatele", byl mluvčím kosmopolitismu, jeho literatura sloužila zábavě literárních snobů (373). Odsouzení Fejgeľmanové zde vyznívá nespravedlivě v tom, že si i Słonimského nevšímá jeho odvážného boje proti polskému i mezinárodnímu fašismu, významnému přes to, že byl veden s posic buržoasních, ani jeho práce v lidově demokratickém Polsku, kde překonává staré chyby své poesie. Broniewského charakterisuje Majakovskij jako nejbližšího přítele, představitele polské revoluční poesie. Fejgeľmanová nezaznamenává, kdy Majakovskij odjel z Varšavy, nemluví také o článku Anatola Sterna *Poeta stu pięćdziesięciu miljonów*, který na svou dobu velmi dobře informuje o díle Majakovského (Wiadomości literackie, nr. 21, rok IV, 22. V. 1927). — Dále je podrobněji charakterisován první *Wybór poezyj* Majakovského (Warszawa 1927, Książka), který vyšel v redakci A. Sterna. Výbor obsahoval Tuwimův překlad *Oblaku v kalhotách* a dalších básní z mladšího období Majakovského tvorby; Broniewski přeložil básně *Já sám, Německá píseň* (z básně *Germanija*) a j. Další básníci (Słonimski, Słobodnik, Stern a j.) přeložili: *Náš pochod, Levý pochod, 150,000.000, Mysteria-Buff*, úryvek z poematu *V. I. Lenin* a j. Majakovskij hodnotil tento výbor jako přínos k polsko-sovětské družbě a posuzoval i úroveň překladů v diskusi s překladateli. V úvodu k výboru napsal: „Dumaju, čto vsledstvije rodstvennosti našich jazykov poľskije i češskije perevody budut bliže vsego k podlinniku." Tak v třicátých letech bylo v Polsku již dosti překladů, v nichž se šířily básně Majakovského; ohlas Majakovského smrti v Polsku však není v knize zachycen.

V poslední, čtvrté kapitole první části mluví autorka o *poesii Majakovského v Polsku v období německé fašistické okupace a ozbrojeného boje proti fašismu.* Dílo Majakovského se stalo „školou politické poesie" pro skupinu polských básníků, kteří se v r. 1939 po pádu buržoasního Polska uchýlili do SSSR: A. Ważyk, L. Szenwald, L. Pasternak, M. Jastrun, J. Przyboś, J. Putrament. Tito básníci v sovětském Lvově překládali a připravovali druhý výbor z poesie Majakovského (W. Majakowski, *Wiersze*, Kijów-Lwów 1940). Třetina překladů byla dílem A. Ważyka; M. Jastrun m. j. přeložil nově poema *Oblak v kalhotách*; výbor dále obsahoval poema *Miluji*, úryvky z eposů *V. I. Lenin, Správná věc!*, ukázky z veršů o Ameroce, ze satir a j. Autorka obšírně charakterisuje předmluvu k výboru, která hodnotila dílo Majakovského a vyjadřovala touhu, aby poesie Majakovského se stala základním kamenem nové budovy polské poesie. Jedny z nejzdařilejších překladů jsou dílem L. Szenwalda: *Levý pochod* (spolu s A. Ważykem), *Neobyčejné dobrodružství, Komsomolská*. Cesta L. Szenwalda k revolučnímu umění nebyla snadná; začínal jako člen buržoasní básnické skupiny Skamander a těžce se

zbavoval estetismu. Jeho verše o Španělsku byly ušlechtilým výrazem internacionalismu a odporu proti fašismu. V třicátých letech se Szenwald aktivně zúčastnil politického boje v řadách odborů, studentských organisací, při kulturní práci mezi proletariátem. Szenwald byl pravým typem básníka-bojovníka, který se r. 1943 přihlásil do polské divise T. Kościuszka a v jejích řadách padl r. 1944. Autorka rozebírá především jeho báseň *Pożegnanie Syberii,* v níž Szenwald podává mohutný obraz hrdinského sovětského lidu a přátelských svazků, které ho spojují s polským lidem. Szenwald byl svou bojovnou poesií blízký Majakovskému, měl také v úmyslu přeložit jeho báseň *V. I. Lenin* — bohužel, smrt mu v tom zabránila. — Polská poesie se v těchto letech pod mohutnými údery skutečnosti a pod vlivem sovětské poesie (zvlášť Majakovského) počala zbavovat estetismu a obracela se k tradicím bojovného umění. Netýkalo se to jen skupiny básníků v SSSR, ale zajímavé svědectví o tom podává i historie překladu Majakovského poematu *Správná věc!* v okupovaném Polsku. Básník Artur Sandauer ve svém karpatském úkrytu za těžkých podmínek překládal zpaměti Majakovského Chorošo!, velikost a optimismus sovětského básníka posilovaly polského básníka-vyhnance. Tento neúplný překlad vyšel pak po válce v Lodži (W. Majakowski, *Dobrze!*, Łódź 1945). V těchto těžkých dobách se k SSSR obraceli i jiní polští básníci, zvláště Broniewski, který byl v emigraci na Blízkém Východě.

V druhé části, věnované ohlasu Majakovského díla v lidově demokratickém Polsku, zabývá se L. Fejgeľmanová především některými novými překlady, novými verši Broniewského a vlivem Majakovského na nejmladší polskou básnickou generaci. Autorka velmi stručně naznačuje názorové boje v polské literatuře až po sjezd spisovatelů ve Štětíně v lednu r. 1949, kde byl přijat socialistický realismus jako jediná tvůrčí metoda spisovatelské práce. S tím souvisí další rozšíření děl Gor'kého a Majakovského v Polsku, spisovatelé se hlásí k vzoru Majakovského (Jastrun, Woroszylski a j.). Verše Majakovského pronikají do nejširších vrstev obyvatelstva a pozoruhodný je i zdařilý pokus státního divadla v Katovicích o scénické provedení Majakovského poematu *Chorošo!* na podzim r. 1948. Objevují se články o působení pokrokové ruské i sovětské literatury v Polsku, z nichž autorka rozebírá bystrý článek S. Pollaka *O czujności poetów* z r. 1949. V roce 1948 vychází ve Varšavě další, již třetí výbor z poesie Majakovského, který zpracoval a úvodem opatřil Adam Ważyk (W. Majakowski, *Wiersze wybrane,* Warszawa 1948, Książka). Autorka vůbec necharakterisuje tento výbor, nýbrž zabývá se podrobněji článkem A. Ważyka *Droga Majakowskiego* (Kuźnica, nr. 41, 10. X. 1948, str. 2), který je velmi hlubokým rozborem uměleckého novátorství a mistrovství Majakovského. Ważyk se však dopouští té chyby, že srovnává novátorství Majakovského s francouzským modernismem, což Fejgeľmanová vysvětluje a kritisuje (406). Dále autorka dosti zaujatě kritisuje popularisátorskou činnost A. Sandauera a jeho neúplný překlad Majakovského básně *Chorošo!,* který v Polsku získal plné uznání. Zůstává ovšem faktem, že toto poema, přeložené bez 4., 9., 10., 12., 15., 16. a 17. hlavy, je pouze torsem, i když zajímavým okolnostmi svého vzniku a kvalitou překladu. Dále rozebírá autorka překlad Majakovského básně *Plným hlasem,* který r. 1946 uveřejnil W. Broniewski, nalézá v něm některé zbytky „estétské poesie", ale celkově uznává, že báseň je přeložena s velikým mistrovstvím.

V druhé kapitole načrtává L. Fejgeľmanová vývoj poesie Broniewského v osvobozeném Polsku, kde se rychle zbavuje rysů pesimismu a zoufalství z období pobytu na Blízkém Východě. Rozebírá jeho báseň *Opowieść o życiu i śmierci Karola Waltera-Świerczewskiego, robotnika i generała* (1949), v níž podal strhující obraz lidového hrdiny.

Na str. 415 správně charakterisuje příbuznost s Majakovským: „Broniewského verš v tomto lyricko-epickém poematu je blízký verši Majakovského svým lakonismem, dynamikou, hlubokým lyrismem.“ Velmi podrobně rozebírá autorka Broniewského *Słowo o Stalinie* (1949), které se zvláště historickým úvodem blíží Majakovského eposu *V. I. Lenin*. Vysoce oceňuje Broniewského umění, s nímž vykreslil obraz J. V. Stalina na pozadí bohatých politických událostí a uvádí hojné ukázky z této básně. Zde se však ukázaly nejvíce slabiny některých ruských překladů, kterých autorka důsledně používá místo autentických citátů z polského originálu. Pro srovnání si uvedeme alespoň poslední sloku ze závěrečného zpěvu Slova o Stalinovi (Broniewski v duchu lidových písní srovnává Stalina s horským orlem a končí):

...myśli wyprzedzą czyny,
czyny legną opoką...
Chwała imieniu Stalina!
Pokój światu, pokój...

A stalinskim solnečnym genijem
vse v mire ozareno.
Imja jego — Vdochnovenije!
I sila epochi ono!
(Přel. V. Arcimovič.)

Jak vidět, překlad V. Arcimoviče oslabuje účinnost originálu a nevystihuje jeho smysl, zvláště v závěru. — Dále si Fejgeľmanová všímá v této kapitole stručně básnických osudů Leona Pasternaka, hrdinného antifašistického bojovníka, vojáka polské armády v SSSR, který se rovněž učil na překladech Majakovského. V jeho sbírce *Strofy gniewu* zní silně tóny internacionalismu a objevují se zde prvky satiry, které jsou blízké tvorbě Majakovského.

V poslední kapitole *Tradice Majakovského a poesie práce a boje za mír* píše autorka o nejmladší polské poesii, o verších T. Kubiaka, W. Woroszylského a T. Urgacze; poslední z nich však nijak významněji nezasáhl do vývoje polské poesie. Stručně rozebírá básně *Rzecz o trasie W-Z* T. Kubiaka a *Towarzysze-mówię o nim* a ukazuje aktuálnost jeho poesie. Všímá si veršů T. Urgacze o hornících, internacionalistických veršů R. Bratného o vítězství čínského lidu, budovatelské básně St. Ostrowského a na str. 427 všeobecně shrnuje hlavní společný rys těchto mladých básníků: „Správně chápou literaturu jako část fronty boje za nové, socialistické Polsko.“ V tom tkví jejich příbuznost s Majakovským. — Největší pozornost věnuje Fejgeľmanová W. Woroszylskému a jeho sbírce *Pierwsa linia pokoju*. Woroszylski se skutečně programově hlásí k dědictví Majakovského v řadě publicistických prací (nejzávažnější z nich *Batalia o Majakowskiego*, Odrodzenie nr. 4, 1950), diskusí (zúčastnil se i poslední sovětské diskuse o Majakovském, viz Sov. věda-literatura 1953, č. 3, 362), přeložil řadu básní Majakovského (*Desjatiletnjaja pesnja*, *Lozungi-rifmy*, *Dve Moskvy*, *Sifilis* a j.). Ve verších Woroszylského žije nové Polsko (báseň *Nowa Huta*), ale líčí i hrdiny polské minulosti: *Noc komunarda* (o J. Dąbrowském), *Świerczewski*. Autorka vidí, že nelze vše vyložit pouze vlivem Majakovského, ale že tento vliv byl už částečně zprostředkován poesií Broniewského. Proto na str. 433—434 mluví všeobecně o tom, že k sblížení s Majakovským dochází vždy na základě hlubokého poznání života vlastního národa a domácích literárních tradic. Konkretně však tento zajímavý a důležitý problém neřeší. Pak probírá některé básně ze sbírky *Pierwsza linia pokoju* a zmiňuje se o některých nedostatcích tohoto talentovaného básníka, nemluví však konkretně o přílišné rétoričnosti jeho verše a o častém užívání vulgarismů, což bylo v Polsku podrobeno kritice. Ke konci kapitoly připojuje autorka ještě několik postřehů o příbuznosti Majakovského básní o Číně s bá-

sněmi polských básníků, zvláště s M. Jastrunem, který je rovněž překladatelem Majakovského.

V *závěru*, který je věnován „lidovému smyslu poesie Majakovského", mluví Fejgeľmanová o nových překladech A. Ważyka, W. Woroszylského, J. Litwiniuka, o širokém ohlasu poesie Majakovského u polského lidu i na celém světě. Slovo Majakovského doprovází lidstvo v jeho boji za mír, na cestě ke komunismu. Ze závěru není dostatečně patrno, je-li určen k celé knize nebo pouze k polské části. Druhá část trpí tím, že se neopírá o polské a sovětské práce, které byly uvedeny již v úvodu recense.

Celkem možno říci, že přes řadu mezer, všeobecností, zaujatých postřehů a už uvedených chyb ukázala Ljubov' Fejgeľmanová ve své práci dosti přesvědčivě široký ohlas Majakovského díla v Polsku. Přinesla některé zajímavé ruské materiály, měla se však více opírat o materiál polský. Její práce je pouze základem k opravdu vědeckému prozkoumání plodného vlivu Majakovského na polskou poesii.

Otakar Bartoš

Nová literatura o Christu Botevovi a úkoly studia Botevova díla

„V dnešním boji za demokracii, lidovou republiku a národní nezávislost, za pokrok a rozkvět našeho národa je Christo Botev praporem, který bude stále výše vlát nad novým, demokratickým Bulharskem."[1]) — Těmito slovy zdůraznil — ve stati ze dne 3. června 1946 — Botevův význam Georgi Dimitrov, těmito slovy podtrhl nutnost hlubokého, soustavného studia jeho díla, díla vynikajícího básníka a myslitele, pronikavého novináře, sžíravého satirika a nesmlouvavého literárního kritika, díla velkého revolucionáře a velkého člověka. Boj za pravdivé, všestranné osvětlení Botevovy tvorby, jehož jsme v posledních letech svědky v Bulharsku i v některých jiných zemích, zvláště v SSSR, je proto třeba hodnotit skutečně velmi kladně, neboť je významnou součástí našeho úsilí o vpravdě tvůrčí, leninský poměr k pokrokovým tradicím.

Abychom mohli závažnost, problematiku a úkoly dnešního boje za marxistické osvětlení Botevova díla opravdu plně pochopit, musíme si nejprve alespoň připomenout, jak Boteva hodnotili buržoasní vědečtí pracovníci a publicisté, jak probíhal boj o nesmrtelný Botevův odkaz v minulosti. A tu je třeba také upozornit, že právě tato otázka — otázka dějin studia tvorby Christa Boteva — je současně i jedním z důležitých, dosud neprávem téměř zcela opomíjených úkolů,[2]) s nimiž se v nedaleké budoucnosti budeme musit vyrovnat. Ukázal-li totiž Zdeněk Nejedlý, že „poměr naší literární kritiky k Jiráskovi bude jednou, až bude podrobně vylíčen, velmi zajímavou, ano nad jiné příznačnou kapitolou v historii nejen této kritiky, ale vůbec celého našeho života" (Var 1, 1948, 485), platí to nesporně v nemenší míře i o tom, jak k Botevovi v minulých desítiletích přistupovala bulharská literární kritika, bulharská věda.

Neobyčejně rozsáhlá literatura o Christu Botevovi nám především prozrazuje, že nejcharakterističtějším rysem poměru buržoasie k této olbřímí postavě bulharských kul-

---

[1]) Georgi Dimitrov, *Za literaturata, izkustvoto i naukata*, red. G. Canev, Sofie 1949, 105. Jiří Dimitrov, O literatuře, umění a vědě, přel. E. Kubiová, poznámkami opatřil Z. Urban, Praha 1951, 83—84.

[2]) Podrobněji se některými problémy dějin studia Botevovy tvorby zabýval jen Michail Dimitrov ve své cenné knize *Ličnost'ta na Boteva* (Sofie 1938), jež je ovšem v podstatě zaměřena k otázce jiné.

turních i politických dějin byl — strach z Botevova díla. Bulharská buržoasie však nebyla v situaci nijak lehké. Lid Boteva miloval, vážil si ho, recitoval jeho verše, vyprávěl si o jeho hrdinném životě. Vládnoucí společenská třída starého Bulharska se proto jen zřídka odhodlávala k tak otevřeným, nezastřeným útokům, jakým byl na příklad v roce 1929 útok Makdăfův v téměř neuvěřitelně zrůdné knize *Čij e Botev? (Nravstvenija lik na taja zlovešta ličnost')*, představující Christa Boteva jako člověka, zatíženého „krvavým velikášstvím“ (83) a poplatného „temným, nespoutaným zvířeckým pudům“ (11); mnohem častěji se uchylovala k tomu, že se k Botevovi formálně sice přihlásila, ale současně všemožně oklešťovala, překrucovala a padělala smysl jeho díla. Nebylo lži, nebylo podlosti či nehoráznosti, jichž by se ostýchala použít. Tak známý literární časopis *Zlatorog* otiskl stať, v níž byly Botevovy myšlenky srovnávány s myšlenkami Benita Mussoliniho (Arturo Cronia, *Poezijata na Boteva*, Zlatorog, 7, 1926, 227), tak se Ljubomir Vladikin odvážil označit imperialistickou politiku bulharské fašistické vlády za druhé světové války za „věčné mausoleum“ Botevova odkazu *(Der bulgarische Doppelgänger von Theodor Körner*, Sofie 1942, 39), tak se Ljubomir Rusev pokoušel vykládat Botevovu lásku k vlasti, k revoluci a k svobodě a jeho nenávist k utiskovatelům a vykořisťovatelům pomocí t. zv. oidipovského komplexu, pomocí záliby v pojmech ženského rodu a nechuti k pojmům rodu mužského *(Psichoanaliza na Botevoto tvorčestvo*, Filosofski pregled, 5, 1933, 223—239; viz také *Chudožestvenata literatura i psichoanalizata*, Sofie 1934, 23). Pravda, padělání Botevova díla nedosahovalo vždy těchto přímo obludných rozměrů, mnohdy se také projevovalo zcela jinak, především zamlčováním velké části Botevovy tvorby, narážkami na „nezralost“ Botevových myšlenek a vysvětlováním Botevovy revolučnosti jeho „dobrodružnými sklony“ či prostě jeho mládím, velmi často se rovněž vedle úmyslného skreslování a komolení setkáváme i se skreslováním neúmyslným, vyplývajícím z nesprávné, nevědecké metody, skutečností však zůstává, že v Bulharsku byly před vítězným 9. zářím 1944 napsány desítky prací, ve kterých bylo Botevovo dílo osvětleno — v té či oné formě nebo stupni — v jádře nepravdivě.

Avšak již před 9. zářím 1944 se ozývalo i nemálo hlasů na obranu Botevova díla. Byly to hlasy Botevových „skutečných následovníků“ (D. Blagoev, *Christo Botev*, Sofie 1887, 32), hlasy představitelů bulharského proletariátu, jenž plně pochopil, jak výraznou posilou a zbraní je odkaz Christa Boteva v boji za práva pracujícího lidu, kolik síly je možno načerpat z jeho tvorby, z jeho života a z jeho revoluční činnosti. Ne náhodou se proto prvním důsledným obráncem Botevova díla stal se právě Dimităr Blagoev, zakladatel Bulharské sociálně demokratické strany a pozdější přední bojovník proti oportunismu II. internacionály, který již od osmdesátých let minulého století plamenně upozorňoval na Botevovu velikost a který přesvědčivě ukazoval, že nemilovat Boteva a tvořivě nerozvíjet jeho odkaz znamená „ztratit víru v pokrok“ (D. Blagoev, *Obštestvenno literaturni văprosi*, Plovdiv 1901, 64—65). Ve stopách Blagoevových kráčeli pak další a další, jejichž zásluhou bylo Botevovo jméno stále pevněji „organicky spojováno s bojem dělnické třídy“ (RLF 2, 1931, čís. 49, 1).

Z nich je třeba uvést především známého marxistického literárního kritika a historika Georgiho Bakalova (1873—1939), autora řady důležitých knih a statí, hájících Christa Boteva před nenávistnými útoky bulharských fašistů a přinášejících vskutku cenný materiál k poznání a pochopení jeho díla, čelného filosofa, estetika a literárního vědce Todora Pavlova, jenž svými botevovskými studiemi v mnohém vytyčil cestu dnešnímu bádání a jenž také přispěl i ke kritice některých chyb a omylů Bakalovových, a Michaila Dimitrova, dosud největšího znalce Botevovy tvorby, kterému vděčíme nejen za zá-

važná díla o Botevovi, nýbrž i za objevení množství jeho dříve neznámých prací. A v této souvislosti si musíme připomenout i významnou pomoc starších badatelů sovětských, prokázanou velmi podnětnou, byť místy ještě dosti diskusní monografií Je. Z. Volkova (*Christo Botev — Na zare balkanskogo revoljucionnogo kommunizma,* Moskva-Petrohrad 1923) a zejména oběma studiemi nedávno zesnulého laureáta Stalinovy ceny Nikolaje Sevasťjanoviče Deržavina (*Christo Botev, poet — revoljucioner,* Moskva-Leningrad 1948; *Istorija Bolgarii,* IV, Moskva-Leningrad 1948, 174—219), jež ovšem — podobně jako některé práce Pavlovovy, Dimitrovovy i jiných badatelů — spadají již do období po osvobození, do období příprav radostných oslav stého výročí Botevova narození.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že s výjimkou otázky dějin studia Botevovy tvorby a několika otázek podružnějších byla problematika života a díla Christa Boteva již v prvních letech po druhé světové válce dostatečně plně osvětlena, že další studium by bylo jen přinášením dříví do lesa. Práce let 1949—1953 však ukázaly, že přes skutečně veliké zásluhy dřívějšího bádáni je zde ještě nemálo naléhavých otázek a úkolů, jimiž se je třeba zabývat. Podívejme se proto nyní, v čem je hlavní přínos těchto nových prací, jaké úkoly z nich vyplývají.

Mimořádně důležitým výrazem soudobého boje pokrokových vědeckých pracovníků za pravdivé a všestranné osvětlení Botevova díla je především objemný sborník, vzniklý z podnětu rady ministrů Lidové republiky bulharské a vydaný pod pečlivou redakcí Michaila Dimitrova a Petra Dinekova nedlouho po stém výročí básníkova narození Bulharskou akademií věd a Vědeckým ústavem Christa Boteva (*Christo Botev; sbornik po slučaj sto godini ot roždenieto mu,* Sofie 1949, XII + 784 str.). Tento sborník je nesporně přesvědčivým projevem poměru nového Bulharska k Botevovu odkazu a současně i svědectvím významného tvůrčího růstu bulharské vědy.

Největším kladem sborníku je jeho materiálová bohatost a podnětnost. Sborník přináší mnoho nového materiálu k Botevovu životu a k jeho veřejné činnosti, přispívá k hlubšímu pochopení prostředí, ve kterém se Christo Botev vzdělával a ve kterém pracoval a tvořil, upozorňuje na četné nové stránky jeho díla. Tak se ve sborníku setkáváme s cennými statěmi o Botevově rodišti (Pavel Deliradev), o jeho rodičích (Michail Dimitrov, Ivan Kr. Stojčev), o oděském gymnasiu, na němž studoval (I. Z. Strugacki), o jeho pobytu v Alexandrii a v Ismailu (Nikola Trajkov), o Botevově četě a o jeho hrdinné smrti (Pavel Deliradev, Boris Nedkov, Dono Ivanov, Aleksandăr Burmov), o Botevových stycích s rumunskými revolucionáři (P. Constantinescu-Iaşi), o jeho příteli, pokrokovém polském malíři a karikaturistovi Henryku Dębickém (Tatjana Siljanovska-Dimitrova), o jeho poměru k pedagogické (D. Kacarov) a osvětové činnosti (Nikola Trajkov) a o jeho zájmu o otázky zemědělské výroby a družstevnictví (Ivan Topuzov), avšak také o Botevově významu pro dnešek (Todor Pavlov), o jeho revoluční ideologii (Michail Dimitrov, Asen Kiselinčev, Ivan Klinčarov), o jeho práci novinářské (Vl. Topenčarov, D. P. Ivančev), o Botevově slovanském cítění a o jeho názoru na federaci jižních Slovanů (Dimităr Šeludko), o Botevově poesii (Emil Georgiev, Ljudmil Stojanov, Ivan Burin, Georgi Konstantinov) a o zhudebňování jeho básní (Ivan Kamburov),[3]) o jeho literární kritice (Cvetan Minkov), o jeho jazyce a stylu (Ljubomir

---

[3]) Ivan Kamburov zde také upozorňuje na zajímavé tvrzení Dobriho Christova, že melodie Botevovy básně *Pristanala* — podobně jako řady bulharských písní jiných — je českého původu (502—503); tato poznámka by si jistě zasloužila pozornosti našich hudebních vědců.

Andrejčin, Ivan Lekov), o Botevovi v bulharských lidových písních (Chr. Vakarelski), o Blagoevových pracích o Botevovi (Angel Bănkov), o úkolech studia Botevovy tvorby (Petăr Dinekov)[4]) a s několika články jinými.

Sborník Bulharské akademie věd a Vědeckého ústavu Christa Boteva, přinášející v jedné ze statí Nikoly Trajkova i tak závažný dokument, jakým je Botevův rozsáhlý, dosud zcela neznámý otevřený list *Pričini za neuspěcha na Băl. Kniž. Družestvo* ze dne 29. IX. 1871, vydaný v Paničkovově tiskárně v Braile (296—302), má však vedle svých velkých kladů i nedostatky. Nejde zde jen o to, že ve sborníku postrádáme hlubší studie o některých velmi důležitých, dosud nepropracovaných otázkách (zejména o Botevově satiře), ačkoliv v něm nacházíme i stať Sl. P. Čauševa *Christo Botev a Georg Herwegh,* jež s Botevovým dílem souvisí dosti vzdáleně, nejde zde jen o některé podružnější omyly či nesprávné formulace, na které někdy upozornila i sama redakce (na příklad u I. Z. Strugackého), nýbrž především o to, že většina autorů sborníku tehdy dostatečně jasně a plně nechápala třídní obsah a charakter bulharského revolučního, národně osvobozeneckého hnutí šedesátých a sedmdesátých let minulého století, jehož byl Christo Botev ideologem, mluvčím a pěvcem, že nedoceňovala či neviděla skutečnost, že toto hnutí bylo svou podstatou hnutím rolnickým, jak to později ukázaly studie sovětské a v nedávné době zejména Vălko Červenkov svou známou statí *Kăm 80-godišninata ot gibelta na Vasil Levski* (Rabotničesko delo, 26, 1953, č. 49, 2). V této souvislosti ovšem bude také třeba podstatně hlouběji se zabývat otázkou organické spřízněnosti Christa Boteva s velikými revolučními demokraty ruskými a mnohem pozorněji těžit jak z Leninova rozboru ruské buržoasně demokratické revoluce, tak i z jeho myšlenek o ruských revolučních demokratech, zvláště o Nikolaji Gavriloviči Černyševském. A na druhé straně bude rovněž třeba pečlivě promyslit a prověřit otázku Botevova vlastnictví a Botevovy znalosti ruského překladu I. dílu Marxova *Kapitálu* (z r. 1872), o níž píše Ivan Klinčarov (223 až 225), protože přeceňování této možnosti, jíž I. Klinčarov sice pokládá za „jasnou věc", pro kterou však zatím nemáme dostatek spolehlivých důkazů a pro kterou se nezdají nasvědčovat ani dosud známé Botevovy práce, by mohlo vést k vážným omylům.

Významným materiálovým doplněním uvedeného sborníku se stala zejména drobnější publikace Botevova ústavu, nazvaná *Christo Botetv 1848—1948, spomenna kniga,* red. Todor Borov, Sofie 1949, 64 s.) a obsahující vedle zpráv o přípravách oslav 100. výročí Botevova narození a o dokumentech a památkách, jež se nám po Botevovi dochovaly, vedle seznamu příslušníků jeho čety (byť dosud neúplného) a některých prací jiných i důležitou bibliografickou studii Todora Borova o bulharských knižních vydáních a nákladech Botevových děl do konce roku 1948 (22—33). I když všechny údaje nejsou dosud zcela přesné, je již na základě Borovovy stati možno s určitostí říci, že Botevovy práce vyšly bulharsky nejméně v 89 samostatných knižních vydáních, a to nákladem nejméně 420.000 výtisků, což jistě nad jiné výrazně svědčí o Botevově oblibě. A k těmto úctyhodným číslům musíme ovšem ještě přičíst skutečnost, že jednotlivé Botevovy práce byly přetištěny i ve stovkách antologií, sborníků, čítanek, učebnic, botevských listů, deníků a časopisů a že výbory z Botevovy tvorby mnohokráte vyšly i v překladech do nejrůznějších jazyků,

---

[4]) Prof. P. Dinekov vytyčuje osm hlavních úkolů: 1. doplnění a zpřesnění Botevovy biografie, 2. boj proti zbytkům a přežitkům buržoasních falsifikací, 3. všestranné osvětlení Botevovy ideologie, 4. pátrání po dosud neznámých Botevových pracích časopiseckých a po jeho archivu, 5. hlubší studium Botevovy poesie, 6. studium vlivu a působení Botevova díla, 7. vydání úplné bibliografie prací o Botevovi a překladů z jeho tvorby, 8. podrobné studium doby, v níž Botev žil a pracoval (str. 660—669).

v mimořádně velkých nákladech především v SSSR,[5]) kde je Botevovo dílo známo již opravdu dobře a kde se také stalo předmětem hlubokého studia. S počátky podobného studia se setkáváme i v jiných zemích tábora míru, v Polsku (Bronisław Č i r l i č, *Christo Botew a Polacy*, Twórczość 8, 1952, 137—144), u nás a zvláště v Rumunsku, ve kterém akad. P. C o n s t a n t i n e s c u - I a ş i připravil po stati o Botevových stycích s rumunskými revolučními kruhy, o níž jsme se již zmínili, podrobnou práci o Botevově pobytu v Bukurešti ve světle rumunských pramenů *(Din activitatea lui Hristo Botev şi a altor revoluţionari bulgari la Bucureşti*, Bukurešť 1950, 72 s.), přispívajících rovněž — zejména rodným listem Botevovy dcery Ivanky (68) — k stanovení data jeho narození (pravděpodobně dne 25. XII. 1847, podle nového kalendáře tedy dne 7. I. 1848).

Velikou pomoc dnešnímu úsilí o všestranné osvětlení Botevova díla poskytla ovšem v prvé řadě věda sovětská. Její zásluhou byly činností D. F. M a r k o v a — studií *Velikij bolgarskij poet-revoljucioner Christo Botev* (Učënyje zapiski Instituta slavjanovedenija, II, Moskva-Leningrad 1950, 106—115) a studií *K voprosu o perevodach Christo Boteva na russkij jazyk* (Izvestija AN SSSR, OLiJa 8, 1949, 560—568), jež je pro nás velmi podnětná i jako nový doklad příkladné sovětské péče o vysokou úroveň básnických překladů — objasněny některé závažné otázky uměleckého mistrovství Botevovy poesie, sovětská věda však hlavně ukázala cestu k správnému chápání třídního charakteru Botevovy ideologie, k chápání Boteva jako důsledného revolučního demokrata, jako mluvčího ujařmeného a utlačovaného bulharského lidu, především bulharského rolnictva. To sice ještě neplatí o práci L. B. V a l e v a *Social'no-političeskije vozzrenija Christo Boteva* (Učënyje zapiski Instituta slavjanovedenija, II, Moskva-Leningrad 1950, 95—105), ve které rovněž nacházíme stopy nezdravého přeceňování vlivu Proudhonova a Bakuninova, platí to však plně o pronikavých studiích L. V. V o r o b'j ë v a *Mirovozzrenije Christo Boteva* (Voprosy filosofii 1950, čís. 2 [10], 128—147) a *Social'no-političeskije vzgljady Christo Boteva* (Kratkije soobščenija Instituta slavjanovedenija 6, Moskva 1951, 85—93) a do značné míry i o knize L. J e r i c h o n o v a *Russkije revoljucionnyje demokraty i obščestvennaja mysl' južnych slavjan v 60—70-ch godach XIX veka* (Moskva 1950, 168 str.), i když zde — na rozdíl od prací Vorob'jëvových — rozbor poněkud trpí autorovým nedostatečným zřetelem k vývoji Botevova myšlení a zřejmými omyly ve výkladu díla Karavelovova.[6])

A závěrem ještě o jednom úkolu, který je zvlášť důležitý pro nás. Podobně jako dosud není známo, že dílo Botevova srbského spolubojovníka Svetozara Markoviće, jež je dnes v rukou poctivých jugoslávských vlastenců mocnou zbraní boje proti zrůdné Titově klice, k nám pronikalo již v samých počátcích našeho dělnického hnutí,[7]) nezabývali jsme se do nedávna hlouběji ani otázkou Botevova působení u nás, Botevovým poměrem k Čechám, jeho styky s Bulhary, kteří studovali na našich školách (zvláště v Táboře), českými a slovenskými překlady jeho prací, ohlasy jeho díla a činnosti v našem periodic-

---

[5]) Na příklad v letech 1948—1952: *Izbrannoje* (1948) — 10.000 výtisků, *Stichotvorenija* (1951) — 25.000 výtisků, *Publicistika* (1952) — 30.000 výtisků, *Poezii* (1949) — 5.000 výtisků a j.

[6]) Jerichonov správně bojuje proti podceňování Ljubena Karavelova Žakem Natanem a jinými bulharskými vědeckými pracovníky, nesprávně však klade Karavelova-myslitele téměř do stejné výše jako Christa Boteva.

[7]) Svetozar Markovič, Dělnické Listy 4, 1875, č. 7, 3; Svetozar M a r k o v i č, *Dělnické hnutí v době poslední*, přel. J. B. Pecka, Kalendář dělnictva česko-slovanského na obyčejný rok 1881, Praha 1881, 14—17 a j.

kém tisku, v našem kulturním a politickém životě. Překvapivé množství materiálu k těmto otázkám — i materiálu archivního — však ukázalo, že zde jde o velmi závažnou a poučnou kapitolu československo-bulharských styků zejména sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, k níž se proto vrátíme větší studií.

Zdeněk Urban

ZPRÁVY

Dva bulharské sborníky, věnované důsledkům Stalinových thesí pro bulharskou marxistickou jazykovědu

Stalinovy články o jazykovědě vzbudily velký ohlas v celé pokrokové vědě. I bulharští jazykovědci na ně reagovali celou řadou článků v odborných časopisech a v denním tisku. Objevuje se nutnost přehodnotit celou dosavadní bulharskou jazykovědnou práci a postavit základy nové opravdu marxistické jazykovědy, která by se vypořádala jak s chybami Marrova „nového učení o jazyce", tak se západní buržoasní linguistikou. První výsledky tohoto úsilí bulharských jazykovědců otiskují dva jazykovědné sborníky, které brzy po sobě vyšly v Sofii r. 1951. První z nich, nazvaný Проблемите на българското езикознание в светлината на сталинското учение за езика[1]) obsahuje referáty a diskusní příspěvky, pronesené předními zástupci bulharské vědy na slavnostní vědecké konferenci, která se konala v prosinci 1950 na historicko-filologické fakultě sofijské university. Druhý sborník, který nese název Въпроси на езикознанието в сталинско осветление,[2]) obsahuje přednášky pronesené v Ústavu pro bulharský jazyk Bulharské akademie věd v období od listopadu 1950 do března 1951.

Prvý sborník má ráz spíše programový, nesený duchem kritiky a sebekritiky, i když přináší celou řadu velmi závažných teoretických otázek. Naproti tomu druhý sborník, mnohem rozsáhlejší, pokouší se již v řadě příspěvků řešit některé otázky, jichž se první sborník jen dotýká.

První sborník Проблемите zahrnuje především obsáhlý hlavní referát Vladimira G e o r g i e v a, diskusi k tomuto referátu a 16 menších příspěvků čelných představitelů bulharské vědy. Ústřední thematikou všech referátů je zhodnocení významu Stalinových článků a pokus o vyřešení některých nejnaléhavějších problémů z nich vyplývajících, dále otázky programu práce bulharské jazykovědy a konečně kritika a sebekritika všech hlavních představitelů bulharského vědeckého života.

Hlavní referát Vladimira Georgieva se skládá ze dvou částí: první část tvoří zhodnocení významu a výklad Stalinových statí, spojený s vytčením úkolů bulharské jazykovědy, druhá část se skládá z autorovy sebekritiky, z výkladu některých závažných jazykovědných otázek, zvláště otázky prajazyka, a posléze z kritiky vztahu představitelů bulharské jazykovědy k t. zv. „novému učení o jazyce". Úkol přednést hlavní referát na této konferenci byl svěřen Vladimiru Georgievovi především proto, že před uveřejněním Stalinových článků Georgiev byl jediným významným bulharským jazykovědcem, který veřejně kritisoval Marrovo „nové učení o jazyce", pokoušeje se vést tuto kritiku s posic marxismu-leninismu.

---

[1]) София 1951, Наука и изкуство, 227 стр.

[2]) София 1951, Българска академия на науките, 200 стр.

Za nejdůležitější přínos Stalinových statí pokládá Georgiev rehabilitaci historicko-srovnávací metody. Jedině pomocí této metody lze stanovit příbuznost mezi jednotlivými jazyky. Velký důraz klade Georgiev na studium historické mluvnice. Vztah historické mluvnice k mluvnici popisné hodnotí jako vztah dialektické logiky k logice elementární. Vybudování marxistické jazykovědy předpokládá především historický pohled na jazyk, proto Georgiev doporučuje věnovat hlavní pozornost především historii jazyka, t. j. historické mluvnici. Potřeba dobré historické mluvnice bulharského jazyka vyplývá především z nedostatků starších prací o tomto předmětě, zejména práce Beňo Coneva a Stefana Mladenova. Conevovu mluvnici hodnotí Georgiev jako sbírku surového materiálu, nesystematicky uspořádaného, s mnoha hrubými chybami. Mladenovova práce Geschichte der bulgarischen Sprache[3]) nenese název „dějiny" právem. Je snůškou faktograficky sebraného materiálu, neukazuje vývoj jazyka v těsném spojení s historií národa.

V souvislosti s problémy historické mluvnice se dotýká Georgiev také otázky periodisace dějin bulharštiny. Tvrdí, že tradiční dělení dějin bulharštiny na jazyk starobulharský, středobulharský a novobulharský není ničím opodstatněno, že jsou zde v zásadě pouze dvě odlišné kvality: flektivní jazyk starobulharský a analytický jazyk novobulharský. Tento Georgievův názor byl v diskusi podroben kritice hlavně se strany St. Stojanova. Stojanov dokazuje, že jazyk 9.—11. stol. má úplnou flektivní stavbu, v hláskosloví zachovává jery, nosovky, *y* a pod., naproti tomu v jazyce 12.—15 stol. probíhají velké změny, jako ztráta deklinace, infinitivu, nosovek, jerů, *y*, a od 16. stol. se začíná ustalovat jazyk v takové podobě, jakou má dnešní bulharština. Stojanov se tedy přidržuje starého dělení na starou, střední a novou bulharštinu, kde střední bulharštinou se rozumí období přechodu mezi oběma vývojovými stupni jazyka.

Otázka periodisace dějin bulharštiny je ještě dnes předmětem diskuse. Georgiev v poslední době znovu obhajuje své dělení na období starobulharské a novobulharské,[4]) proti Bernštejnovi[5]) však určuje pravděpodobněji dobu, kdy vznikla bulharská analytická deklinace. Bernštejn se domnívá, že tento rys bulharské gramatické stavby vznikl již před 9. stol. Církevní slovanštinu, která zachovává starou slovanskou flexi, pokládá Bernštejn za jazyk od počátku lidu cizí. Vznik analytické deklinace připisuje Bernštejn především na vrub thráckému substrátu. Bernštejnův názor zůstává v bulharistice osamocen: vyslovila se proti němu celá řada bulharských odborníků. Také u nás Horálek[6]) se spíše kloní k názoru, že vznik gramatické stavby bulharštiny, která má obdobu i u jiných balkánských jazyků, je třeba hledat ve sbližování balkánských národností pod tureckou nadvládou. Georgiev je nakloněn hledat východisko ve vlivu řečtiny a latiny. Nevýhodou Georgievovy periodisace je, že dělením na dvě období se rozděluje na dvě části také období přechodné. Proto Georgiev ve své nové práci rozděluje tato dvě velká období na celou řadu podobdobí, tím se stává jeho periodisace poněkud nepřehlednou. Přece však má výhodu před periodisací Bernštejnovou, která dělí bulharštinu na jazyk kmenový, feudálně národnostní a kapitalisticko-národní. Protože se klade vznik analytické deklinace již do nejstaršího období, toto kriterium pro periodisaci

---

[3]) Mladenov, *Geschichte der bulgarischen Sprache*, Berlin—Leipzig 1929, 254 S.

[4]) В. Георгиев, *Опит за периодисация на историята на българския език*, Известия на Инст. за бълг. ез. 2 (1953) 71—116.

[5]) С. Б. Бернштейн, *К вопросу о периодизации истории болгарского языка*, Изв. АН СССР, ОЛиЯ 9 (1950) 108—118.

[6]) K. Horálek, *Sovětská práce o periodisaci dějin bulharštiny*, Slavia 21 (1952) 50—62.

odpadá a Bernštejn vlastně dělí dějiny jazyka podle ekonomických formací společnosti a nikoli podle zákonitostí jeho vnitřního vývoje.

Kromě studia historické mluvnice zdůrazňuje Georgiev ve svém referátu ještě některé další úkoly bulharské jazykovědy. Je to především zkoumání slovní zásoby, zkoumání vlivu různých tříd na jazyk, sestavení podrobné gramatiky současné bulharštiny, zpracování dialektologie, hlavně jazykového atlasu bulharských nářečí, zkoumání toponymie, anthroponymie a pod. Velký důraz je třeba klást na studium staroslověnštiny a na srovnávací studium slovanských a balkánských jazyků. Ve spolupráci s historiky, archeology a etnografy je třeba vyložit otázku etnogenese slovanských národů. Dále je nutno věnovat pozornost obecným jazykovědným problémům, jako jsou otázky poměru jazyka ke společnosti, jazyka k myšlení a pod.

Druhá část Georgievova referátu vychází z autorovy sebekritiky, kde hodnotí především svůj vztah k Marrovi a jeho učení. Za základní chybu Marrova učení pokládá metodu čtyřelementové analysy, z které plynou všechny další chybné teorie, jako paleontologická sémantika, jednota glottogonického procesu, teorie o původu jazyka a o stadiálním vývoji jazyků. Jaký význam přikládá Georgiev čtyřelementové analyse, je také vidět z toho, že jí věnoval obšírný článek ve sborníku Въпроси. Tato podrobná kritika čtyřelementové analysy vychází z Georgievova názoru, že historicky správný pohled na jazyk je úhelným kamenem marxistické jazykovědy. Marrova čtyřelementová analysa je ovšem nejvýstřednější částí jeho učení, avšak její skutečný význam Georgiev poněkud přecenil. Čtyřelementová analysa je pouze důsledkem zásadně nesprávného pohledu na jazyk a jeho vývoj, nikoliv jeho základem. I když tato metoda nebyla četnými Marrovými žáky přijata, neodstranilo se tak pojetí jazyka jako nadstavby, teorie o třídnosti jazyka, o stadiálním vývoji jazyků a pod. Když Georgiev vyložil postupně své stanovisko k jednotlivým Marrovým thesím, přistupuje ke kritice bulharských jazykovědců. Je charakteristické pro Georgieva, že hlavním měřítkem podlehnutí marrismu je pro něho skutečnost, zda se oni jazykovědci hlásili nebo nehlásili ke čtyřelementové analyse.

Mnoho místa věnoval Georgiev ve svém referátu výkladu teorie prajazyka. Tento výklad navazuje na starší polemiku, kterou měl Georgiev s Todorem P a v l o v e m a která se přenáší i do této diskuse. Georgiev rozeznává tři různé koncepce co se týká původu a vývoje dnešních jazyků. Je to: 1. monogenetická teorie světového prajazyka, 2. rasistická teorie indoevropského prajazyka, 3. pojem „prajazyků“, kterého užívá srovnávací jazykozpyt (zde se nemluví o původu těchto jazyků, nýbrž o jednotlivých etapách jejich vývoje).

Monogenetickou teorii, která nemusí být vždy chápána jen s idealistického, theistického hlediska, by bylo možno udržet jen tehdy, kdyby se dala monogenese člověka skutečně dokázat. I kdyby se však dala prokázat, zbývala by ještě otázka, zda jazyk vznikl již v tomto prvotním lidském kolektivu nebo až tehdy, když se postupně vytvořilo více lidských kolektivů. Tato teorie se ovšem dnes nemůže podepřít žádnými jazykovými fakty.

Výrazným výplodem buržoasní vědy je rasistická teorie indoevropského prajazyka — zde ne bez významu „indogermánského“ —, který měl vzniknout ve 3. stol. před n. l. v severním Německu. Ačkoliv tato teorie nemá nic společného s historickosrovnávací metodou, jaké používá srovnávací jazykozpyt, přece Marrova škola nerozlišovala mezi vědeckým položením otázky prajazyka a rasistickou „indogermánskou“ teorií.

Georgiev obhajuje třetí prajazykovou koncepci, totiž teorii „prajazyků“, jejichž pojem je jak místně, tak časově omezen. Znamená to, že v určitém časovém období žil kmen nebo skupina kmenů na určitém území a tato pospolitost území byla spojena

s pospolitostí jazyka. Při tom se nevylučuje možnost přesídlení. Georgiev dále dokazuje, že pojem „prajazyka“ nemá nic společného s „pranárodem“. Termín „pranárod“ je nesprávný, nemarxistický, protože v prvobytné společnosti se nemohou vyskytnout podmínky k vytvoření národa. Na příkladě slovanských jazyků dokazuje Georgie, že pojem „praslovanštiny“ není nevědecký. Stejně je tomu i u jiných jazykových rodin. Jdeme-li dále do minulosti, předpokládají tyto rodiny výchozí rodinu jazyků indoevropských, ugrofinských atd. Georgiev tedy uzavírá svůj výklad zjištěním, že Marrova škola se neprávem obracela proti teorii prajazyka vůbec, neboť ji nesprávně směšovala s teorií indogermánského prajazyka.

Některým Georgievovým thesím oponuje ve svém diskusním příspěvku Todor Pavlov. Vytýká Georgievovi, že přeceňuje význam historickosrovnávací metody, která je pouze částí dialektické metody. Jazykověda se neskládá pouze z historie jazyka, nýbrž také z teorie jazyka. Todor Pavlov tu vychází ze Stalinova srovnání gramatiky s geometrií: gramatika se nezabývá konkretními slovy, nýbrž slovy vůbec, stejně jako geometrie vytváří své zákony abstrahujíc od konkretních těles.[7])

Zejména ostře útočí Pavlov na Georgievovy výklady o prajazyce. Proti Georgievovi trvá na názoru, že pojem „prajazyk“ předpokládá také „pranárod“. Pavlov nepochybuje o tom, že mohly existovat kmenové skupiny, které si byly blízké svou společenskou strukturou, ekonomickou základnou a které se stýkaly mezi sebou, jak se předpokládá na př. u slovanských kmenů. Avšak uvažovat zde o nějakém „pranárodu“ a „prajazyce“ by bylo podle T. Pavlova nemarxistické. Stanovisko T. Pavlova zůstává pro nás nejasné: z jeho výkladu dost jasně nevyplývá, proč by „prajazyk“ musel nutně předpokládat nějaký „pranárod“.

Proti Georgievově obhajobě prajazyka vystupuje také archeolog Atanas Milčev. Argumentuje takto: když Stalin hovoří o historickosrovnávací metodě, rozeznává zkoumání jednotlivých jazykových rodin na jedné straně a teorii prajazyka na straně druhé. Kdyby Stalin předpokládal, že existoval indoevropský prajazyk, neužil by příkladu společenství slovanských jazyků, nýbrž společenství indoevropských jazyků. Tuto poněkud těžkopádnou argumentaci podporuje Milčev ještě dalšími důvody: kdybychom se postavili na stanovisko, že existoval indoevropský prajazyk, museli bychom také uznat, že existovala indoevropská pravlast. Jazyk však vznikal ve společnosti ještě dříve, než se vytvářely kmenové svazy a vojenská demokracie, které měly tendenci k tomu, aby volily trvalá sídliště. Milčev ovšem vychází ze stanovisek značně zjednodušených, to vyniká zvláště při srovnávání jeho příspěvku s článkem Cvetana Todorova ve sborníku Въпроси.

Cenným příspěvkem je referát Asena Kiselinčeva, vedoucího učitele katedry psychologie. Kiselinčev hodnotí Stalinovy stati především s toho hlediska, kolik nového přinesly marxistickému světovému názoru vůbec. Kromě toho se Kiselinčev pokouší vyvodit ze Stalinových statí některé závěry o poměru jazyka a myšlení. Podle Kiselinčeva má myšlení dvojí charakter: jednak jako prostředek objektivního poznání, jednak jako výraz společenských názorů. V prvním případě myšlení nadstavbovým jevem není, v druhém případě jím je. Jazyk je spjat jak s první, tak s druhou formou myšlení: zbývá nyní vyřešit otázku, z které z těchto dvou forem myšlení jazyk vychází. Když Stalin mluví o jednotě jazyka a myšlení, má na mysli myšlení jako poznání a praktickou činnost. Klasikové marxismu-leninismu se shodují v tom, že nemůže být myšlení bez jazyka a že reálnost myšlení se projevuje v jazyce. Jazyk je pevně spjat s myšlením, není však myšlením samým. Po obsáhlé analyse vztahů formy a obsahu dospívá Kiselinčev k názoru, že jazyk je formou myšlení. Je jí především proto, že jazyk a myšlení jsou ne-

---

[7]) Srov. Stalin, *Марксизм и вопросы языкознания*, Slavia 20 (1951) 179

oddělitelně spojeny, ale při tom mají značnou samostatnost, nejsou totožné. Marr tedy nedělal chybu v tom, že prohlásil jazyk za formu myšlení, nýbrž v tom, že tuto formu špatně chápal jako čistou vnějškovost: odtud také plyne jeho hypothesa, že se lidé budou jednou dorozumívat myšlenkami bez jazyka.

Proti Kiselinčevovu pojetí jazyka jako formy myšlení vystoupil ve svém příspěvku A. Bănkov. Vychází z toho, že Stalin nedefinuje jazyk jako formu myšlení, nýbrž jako dorozumívací prostředek lidské společnosti. Definicí „jazyk je forma myšlení" se neobjasňuje vztah jazyka a myšlení. Podle Bănkova slovník je spojen s dorozumíváním, s výměnou myšlenek, gramatická stavba však je přímo spojena s myšlením.

L. Andrejčin ve svém příspěvku pouze konstatuje, že jazyk a myšlení tvoří jednotu, ačkoliv nejsou totožné. Referát L. Andrejčina je m. j. zaměřen proti formalismu v gramatice. Jako příklad uvádí pohled na slovesné časy, s kterými se dosud setkáváme v bulharských gramatikách. Andrejčin dokazuje, že na př. rozdíl mezi minulými časy typu правех a правел съм nemá nic společného s kategorií času, stejně nelze pokládat za „čas" bulharské plusquamperfektum. Ostří Andrejčinovy kritiky jazykovědného formalismu je namířeno především proti Miletičovi a jeho výkladu rozpadu bulharské flexe. Podle Miletičova mínění některé hláskoslovné změny v koncovkách určitých pádů vedly k splývání pádů a tento jev se analogií rozšířil do všech tvarů. Andrejčin tento výklad právem kritisuje jako formalistický, vlastní výklad však nepodává.

Hlavní linií referátu Kirila Mirčeva je zjištění, jak a do jaké míry se projevovalo v bulharistice „nové učení o jazyce". Tvrzení Marrovy školy, že bulharština je novým stadiem tráckého jazyka, vedlo k přehlížení celých dějin bulharštiny. These o třídnosti jazyka vedla k podceňování starobulharských památek: podle výkladu marristů odrážely tyto památky pouze jazyk feudálů, ať již světských nebo církevních. Toto mínění není ani dnes odstraněno, objevuje se dodnes v pracích Bernštejnových (srov. zde výše).

Stojko Stojkov vyvozuje ve svém referátě závěry, které plynou ze Stalinových statí pro dialektologii. Za důležité pokládá Stojkov Stalinovo zjištění, že dialekty jsou výsledkem dlouhého vývoje a že nikdy nebyly třídní. Všechna bulharská nářečí mají nejcharakterističtější vlastnosti bulharské gramatické stavby, jako postpositivní člen, ztrátu deklinace, ztrátu infinitivu, tvoření futura pomocí částic, systém minulých časů slovesných a pod. Bulharská nářečí mají rovněž společná slova základního slovního fondu, liší se tedy od sebe především hláskoslovnými rysy. Z toho vyplývá, že hláskosloví je sice důležitým, avšak nikoliv podstatným prvkem struktury jazyka. Proto také Stalin odděluje hláskosloví od gramatické stavby.

Kromě těchto větších referátů obsahuje sborník celou řadu kratších příspěvků, v kterých autor buď hodnotí svůj vztah k Marrovu učení (referát I. Lekova a M. Janakieva) nebo jsou míněny jako příspěvek k proneseným referátům (St. Stojanov) anebo posléze mají charakter všeobecného výkladu (M. Džananova, St. Romanski, A. Burmov, P. Zarev).

Z uvedeného rozboru příspěvků ve sborníku Проблемите vyplývá jejich průbojný, odvážný, avšak poněkud improvisovaný ráz. Musíme mít ovšem na zřeteli, že tyto referáty byly předneseny na veřejné diskusi, která měla spíše programový charakter. Referenti neměli tehdy také dostatečný kontakt se současnou sovětskou vědou; referáty byly publikovány tak, jak byly předneseny, a v době jejich přípravy byly referentům patrně ještě nedostupné první projevy sovětských jazykovědců ke Stalinovým statím (na př. přednášky na všesvazových poradách o jazykovědě, konaných v srpnu 1950 v Moskvě).

Tyto nedostatky poněkud odstraňuje druhý sborník, nazvaný *Въпроси на езикознанието в сталинско осветление* (Sofija 1951). Tento sborník obsahuje devět přednášek, které byly předneseny v období od listopadu 1950 do března 1951 v Ústavu pro bulharský jazyk Bulharské akademie věd. Protože přednášky byly proneseny v nestejném čase, je ovšem i jejich kontakt se současnou sovětskou vědou nestejný.

Jako první práce je ve sborníku uvedena přednáška Stojko Stojkova, nazvaná *Език и общество*. Tato práce je prohloubením příspěvku otištěného v předchozím sborníku. Stojkov vychází z kritiky názorů buržoasních vědců o vztahu jazyka a společnosti. Probírá postupně koncepce Baudouina de Courtenay a Šachmatova, kteří za jazykovou skutečnost pokládali pouze jazyky individuí a jazyk kolektivu pokládali za fikci, Vosslerovu idealistickou neofilologii, která chápe vývoj jazyka jako výsledek vzájemného působení dvou protikladných sil, totiž tvůrčí osoby a inertní masy. Podle Vosslera úlohou společnosti je gramatikalisace jazykových innovací, vytvořených individui. Základem všech těchto názorů je metafysický protiklad společnosti a individua. Skutečný vztah mezi jazykem a společností nemohla rozřešit ani de Saussurova škola, která se spokojila s tím, že oddělila jazyk (langue) jako jev sociální od mluvy (parole) jako jevu individuálního. Marrova škola správně pochopila jazyk jako společenský jev, ale dopustila se chyby, když jej hodnotila jako jev nadstavbového charakteru. Správné řešení přinesly teprve Stalinovy jazykovědné stati. Po této kritice buržoasních jazykovědných škol zkoumá Stojkov, jak se odráží třídní rozdělení společnosti v jazyce. Projevuje se to užíváním cizích a mrtvých jazyků (u nadřazených společenských tříd), tvořením slangů a žargonů.

Jádrem Stojkovovy práce je výklad o zeměpisných nářečích, který navazuje na referát ve sborníku Проблемите. Bulharská nářečí se od sebe odlišují především po stránce hláskoslovné, méně lexikálně a jen ve velmi malé míře v ne příliš podstatných jevech gramatických. Stalinovo tvrzení, že zeměpisná nářečí mají svou gramatickou stavbu a základní slovní fond, není třeba chápat tak, že jsou to od sebe oddělené samostatné jazykové jednotky: tvoří pouze různotvary celonárodního jazyka. Ve vývoji zeměpisných nářečí se odráží vývoj společnosti: v Anglii na poměrně malém území jsou ostře odlišené dialekty, které se formovaly v době feudalismu, naproti tomu v USA na velké rozloze nejsou dialekty jasně ohraničené, protože již rostly v době kapitalismu. Na teritoriálních dialektech se odrážejí také historické osudy národa, na př. bulharská nářečí se od sebe jasně odlišují především po hláskoslovné stránce, protože mezi jednotlivými celky byl nedostatečný kontakt (v době formace nářečí byli Bulhaři pod nadvládou Řeků a Turků, mezi jednotlivými feudálními pány byly rozbroje a pod.). Nářečí ovšem nezanikají hned se společností, která je vytvořila, velká část nářečí se udržuje ještě dosti dlouho v období kapitalismu a socialismu.

Z těchto Stojkovových výkladů vyplývá, že se postavil na stanovisko, že celonárodní jazyk je souhrnem nářečí, že nářečí jsou pouze různotvary celonárodního jazyka.[8]) Je právě charakteristickou vlastností jazyka, že může sloužit jako všestranný dorozumívací prostředek, i když není absolutně jednotný.

Jednou z nejhlubších prací tohoto sborníku je beze sporu přednáška L. Andrejčina, *Към въпроса за отношението между език и мислене*. Andrejčin vychází

---

[8]) U nás nebylo v této věci zaujato dosud vyhraněné stanovisko, srov. Bělič, Slovo a slovesnost 13 (1952) 71—86. Bělič přinesl ke svému stanovisku korektury ve svém referátě na slavistické konferenci v Olomouci. V otázce, zda je za celonárodní jazyk třeba považovat spisovný jazyk nebo souhrn nářečí, není jednotná ani sovětská věda (srov. odlišné stanovisko Čikobavy a Avanesova).— Viz Slavia 22 (1953) 185—194.

z these, že jazyk a myšlení tvoří dialektickou jednotu, avšak na rozdíl od Kiselinčeva dospívá k názoru, že jazyk není formou myšlení, nýbrž něčím víc, totiž prostředkem nebo nástrojem, který „obaluje do materiálního obalu jazykové přírodní materie naše myšlenky". Forma jako filosofický pojem se definuje zpravidla jako stavba, systém, organisace, vnitřní struktura, neoddělitelná od obsahu. Jazyk však není pouze „vnitřní struktura", nýbrž materiální jev. Stalin chápe jazykový „obal" jako jednotu materiální a významové stránky. Při tom výchozím bodem při zkoumání jazyka je jeho materiální forma, zkoumaná v neoddělitelné souvislosti s jeho významovým obsahem. Proto také každé pojmenování má dvě stránky: stránku pojmovou, obsahovou a stránku zvukovou, formální. Pojmenování se tvoří na základě jednoho charakteristického znaku, který se však spojuje s celým obsahem pojmu; to znamená, že k jednomu a témuž pojmu se mohou tvořit pojmenování různou cestou podle některého z jeho znaků (na př. bulh. slova влак a железница). Slova pro týž pojem v různých jazycích zpravidla vycházejí z různých představ: srov. na př. bulh. коник, pol. jeździec, rus. всадник. Vztah pojmenování k jednomu charakteristickému znaku předmětu nazývá Andrejčin „vnitřní formou". Tato „vnitřní forma" nestaví žádnou hranici používání slova v přeneseném významu. Proces přenesení významu může tedy probíhat bez spojení s materiální formou a naopak změny materiální formy mohou probíhat bez vztahu k významové stránce (na př. bulharskou hláskoslovnou změnou *zǫbъ* > *zъb* se nemění význam tohoto slova).

Základní chybou de Saussurovy znakové teorie je, že pokládá znak za součet představy a akustického obrazu, nehodnotí tedy významovou stránku jako odraz skutečnosti. Znakem je však pouze materiální, zvuková stránka slova. Mezi znakem a významem existuje historický vztah: tvoření každého slova je vždy nějak motivováno. Také v historickém vývoji jazyka je jistá závislost na existujícím jazykovém materiálu, t. j. na existujících formálních jazykových prostředcích.

Přednáška Kirila M i r č e v a, *Развой на езика* je pokusem o aplikaci hledisek Stalinových článků na vývoj bulharštiny. Její úvodní část je věnována všeobecným otázkám o původu a vývoji jazyka. Po těchto úvodních výkladech obrací Mirčev pozornost na vlastní dějiny bulharštiny. Nejprve si klade otázku o příčině rozpadu bulharské deklinace. Celé tři čtvrtiny bulharského historického vývoje zabírá epocha feudalismu: poněvadž změna bulharštiny v jazyk analytického typu probíhá ve 12.—14. století, nemůže být spojena se žádnou změnou ekonomické základny; Bernštejnovo tvrzení, že se analytická stavba bulharštiny formovala již v 9. století, pokládá Mirčev za nepravděpodobné. Zvláštní vývoj bulharské deklinace má podle Mirčeva dvojí příčinu: jednak substrát, jednak vzájemné ovlivňování balkánských jazyků, které byly ve velmi úzkém styku. Vývoj jednotlivých složek bulharské (jako i každé jiné) gramatické stavby probíhá nerovnoměrně; na rozdíl od ostatních slovanských jazyků se rychleji mění deklinace, naproti tomu v konjugaci je zachován starší stav. Příčiny této nerovnoměrnosti vývoje gramatické stavby tkví ve zvláštních historických podmínkách, v kterých se národ vyvíjí. Vnitřní zákony jazyka tedy zavisí nejen na vývoji abstrakční činnosti lidského myšlení, nýbrž i na konkretním historickém vývoji národa. Toto tvrzení se ovšem nesmí chápat tak, jako kdyby jazyk byl totožný s materiální kulturou.

Za jeden z hlavních úkolů bulharské a vůbec slovanské jazykovědy pokládá Mirčev zjištění, do jaké míry jsou vnitřní zákony jazyka ovlivněny vnějším okolím, t. j. historickou situací. Že tu konkretní historická situace hraje jistou úlohu, vyplývá na př. z vývoje makedonštiny, která se formovala za silného politického, ekonomického a kulturního vlivu srbského na makedonskou oblast.

Středověkou bulharskou církevní slovanštinu hodnotí Mirčev jako třídní žargon

svého druhu, i když se církevní slovanština s tímto pojmem plně nekryje. Platí však o ní to, co napsal Stalin o vlivu třídního žargonu na celonárodní jazyk: i když církevní slovanština zanechala v bulharštině řadu stop, zvláště lexikálních archaismů, neměla pro vývoj bulharštiny rozhodující význam.

O církevní slovanštině bychom mohli skutečně těžko říci, že by to byl třídní žargon, už proto ne, že má svou charakteristickou gramatickou stavbu a základní slovní fond. V době, kdy se bulharština vývojově oddálila od církevní slovanštiny, představuje církevní slovanština jakési antikvované starší stadium jazyka, které se od staršího stadia mluveného jazyka liší jen natolik, nakolik se může lišit spisovný jazyk od jazyka mluveného. Podobný případ nacházíme dnes u spisovné řečtiny: spisovná řečtina, která se dnes značně liší od řečtiny lidové, byla kdysi jazykem celé řecké národnosti. Zde můžeme nejvýš konstatovat, že vládnoucí třída užívá tradičního spisovného jazyka, od kterého se již mluvený jazyk značně oddálil, nemůžeme jej však nazvat v žádném případě třídním žargonem. Mirčev sice užívá názvu „třídní žargon“ se značnou reservou, bylo by však správné, kdyby otázka úlohy církevní slovanštiny byla důkladněji objasněna.[9])

Velmi diskutované problematice vnitřních zákonů jazyka je věnována práce Ivana L e k o v a, *Вътрешните закони на езика*. V úvodu se Lekov vypořádává s dosavadními názory na vývoj jazyka. Konstatuje, že hlavně mladogramatikové byli nakloněni vidět ve velké části jazykových změn působení autonomních, vnitřně podmíněných jazykových zákonů, přitom zpravidla nepřihlíželi k vnějším příčinám těchto změn.

Lekov rozeznává v jazyce skutečnost (същност), zákon (закон), tendenci (тенденция) a jev (явление). „Skutečností“ rozumí takové charakteristické znaky, které určují jednak typ jazyka, jednak jeho charakter jako dorozumívacího prostředku a odrazu vnější skutečnosti: sem patří na př. vnitřní nebo vnější flexe a pod. Někdy ovšem nelze „skutečnost“ od zákona dobře oddělit. Zákony rozeznává Lekov positivní a negativní. K positivním patří ve slovanských jazycích na př. palatalisace velár, k negativním na př. nemožnost existence skupin tj, dj a pod. Mezi zákonem a tendencí je rozdíl pouze kvantitativní: tendence může přejít v zákon, „jevy“ pak se mohou vykládat jako nerozvité tendence.

Kausální základy vnitřních zákonů vidí Lekov jednak v artikulační basi, jednak v myšlení. Tyto příčiny často spolupůsobí a je těžko oddělit jednu od druhé. Vnitřní zákony ovšem mohou být narušeny působením vnějších příčin, analogií, vnějších dějin slova, spojených s jeho funkcí a pod. Na artikulační basi závisí zejména zákony hláskoslovné, avšak velká část hláskoslovných zákonů má také svůj původ ve vztahu hovořícího k mluvnímu aktu, t. j. jsou přímým následkem myšlení (t. zv. „psychologické“ změny: hláskoslovná analogie, anticipace, haplologie, kontaminace). Vnitřní zákony v oblasti prosodických kvalit mají zpravidla dosti složitý původ: zde hraje úlohu sémantika (u prosodického typu, jaký je na př. v bulharštině nebo v ruštině), obecné tendence různých jazyků (na př. ustálení přízvuku v západoevropské oblasti mělo vliv na ustálení přízvuku v západoslovanských jazycích), morfologické faktory a pod. V morfologických zákonech má důležitou úlohu analogie, která se zakládá na asociaci významové a formální stránky slova, dále diferenciace a absorpce. V těsném spojení s myšlením jsou také vnitřní zákony tvoření slov a syntaxe. Vnitřní zákony sémantiky mají zpravidla společenské příčiny. Pod silným vlivem cizího jazyka může dojít také k pronikání cizích vnitřních zákonů, na druhé straně však na př. lexikální výpůjčky z cizího jazyka bývají podřízeny

---

[9]) Bernštejn na př. ještě dnes pokládá i staroslověnštinu v nejstarším období za jazyk lidu cizí, o tom byla řeč již výše.

domácím vnitřním zákonům. V této oblasti hrají jistou úlohu také substráty, superstráty a dvojjazyčnost obyvatelstva.

Jazykové zákony jsou zpravidla v různých jazycích různé, není však vyloučena existence společných zákonů jednak pro všechny jazyky, jednak pro určité skupiny jazyků. Na materiálu slovanských jazyků na př. lze pozorovat, že existují zákony obecnějšího a méně obecného charakteru.

Příčiny jazykových změn jsou velmi složité a jejich vývoj lze předvídat jen přibližně pouze tehdy, když známe celý systém tendencí v daném jazyce a když na základě marxismu-leninismu můžeme odhadnout možnosti budoucího vývoje národa.

Lekov si posléze také klade otázku, v jakém vztahu jsou vnitřní zákony jazyka ke společenskoekonomickému vývoji národa. Tento vztah je umožněn podle Lekova natolik, nakolik je v tomto vztahu samo myšlení a nakolik vnitřní zákony zjevně závisí na vnějších příčinách.

Nejobsáhlejší prací sborníku je přednáška Vladimira Georgieva, která nese název *Сравнително-историческият метод и Маровият четирелементен анализ*. Georgiev vychází z thesí, které vytkl již ve svém referátě otištěném v sborníku Проблемите. Kromě toho se Georgiev do značné míry opírá také o článek Serebrennikovův, věnovaný téže otázce.[10]) Od Serebrennikova přejímá Georgiev charakteristiku historickosrovnávací metody. Historickosrovnávací metoda se zakládá na těchto faktech: *1.* na příbuznosti jazykových skupin, *2.* na původu příbuzných jazyků z jednoho společného jazyka (prajazyka), *3.* na faktu, že neexistuje organické spojení mezi komplexem zvuků ve slově a jeho významem, *4.* na zákonitosti v zvukových změnách, *5.* na nerovnoměrnosti ve vývoji různých jazyků a různých složek systému jednoho jazyka.

Nedostatky historickosrovnávací metody, kterým Serebrennikov věnuje ve svém článku velmi mnoho místa, charakterisuje Georgiev jen velice stručně. Jako nedostatek historickosrovnávací metody hodnotí Georgiev především skutečnost, že této metody lze použít s menším úspěchem u jazyků, které nemají morfologii (čínština), a pak také u jazyků, kde není známo starší stadium jejich vývoje (albánština). Toto jsou ovšem nedostatky objektivního rázu, které nelze odstranit. Vedle toho uvádí Georgiev také tak zv. subjektivní nedostatky, které vyplývají ze samé buržoasní vědy. Je to zejména zneužití historickosrovnávací metody k účelům nacionalistické a šovinistické propagace, na př. jednostranné výklady některých německých buržoasních vědců o germánských lexikálních výpůjčkách v slovanských jazycích.

Daleko větší pozornost věnuje Georgiev pečlivému rozboru Marrova učení o čtyřech elementech. Vyplývá to, jak již bylo řečeno, z toho, že Georgiev poněkud přecenil význam čtyřelementové analysy (naproti tomu Serebrennikov věnuje mnohem větší pozornost výkladu historickosrovnávací metody a o Marrově učení se zmiňuje jen ve stručnější charakteristice).

Marr ve svých počátečních pracích vyšel z historickosrovnávací metody a teprve v posledním desítiletí své vědecké činnosti ji opustil. Ve snaze osvobodit gruzínštinu z její isolovanosti hledal její příbuznost se semitskými jazyky. Tento Marrův pokus je příkladem špatného pochopení historickosrovnávací metody. Podobným chybným pokusem byla Marrova snaha dokázat, že arménština je neindoevropským, „jafetickým" jazykem. Marr obvinil indoeuropeistiku z rasismu, protože uznává arménštinu za jazyk indo-

---

[10]) *Сравнительно-исторический метод и критика так называемого четырехэлементного анализа Н. Я. Марра*, Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина (Москва 1952), 245—288. Česky vyšel tento sborník pod názvem Otázky jazykovědy s hlediska prací J. V. Stalina (Praha 1952). Serebrennikovova práce je tam na str. 233—274.

evropský. Ve skutečnosti arménština je indoevropským jazykem, i když má některé kavkazské prvky, protože její gramatická stavba a základní slovní fond jsou indoevropského původu. V tom, že se indoeuropeisté zabývali právě indoevropskými a nikoliv kavkazskými prvky v arménštině, není nic nesprávného: je to přece úkolem indoeuropeistiky.

Podle Georgievova výkladu k metodě elementové analysy přivedlo Marra jeho nesprávné etymologisování, při kterém vychází především z vnější zvukové podoby slov. Jeho učení o „linguistických elementech" se tvoří v letech 1922—1926. V té době Marr ještě neurčil počet těchto elementů: kolísal mezi třemi, pěti, sedmi a dvanácti. Později redukuje počet elementů na čtyři. Tyto elementy měly být původní názvy čtyř jafetických kmenů, které osidlovaly celou zeměkouli včetně Ameriky. Marr dává těmto kmenovým názvům zvláštní tajemnou moc a připisuje jim trvání stovky tisíc let. Georgiev dokazuje, že toto fantastické tvrzení nelze udržet už především proto, že nemohla existovat vlastní jména dříve než jména obecná.

V těsné souvislosti s Marrovým učením o čtyřech elementech je jeho sémantická teorie čili „paleontologická sémantika". Základní thesí této teorie je tvrzení, že od základního slova „nebe" se oddělila celá řada ostatních slov nejrůznějšího významu Po polemice s touto koncepcí se Georgiev obrací proti Marrovu popírání existence prajazyka. V této části přednášky se více méně opakují argumenty z referátu ve sborníku Проблемите.

Závěrem Georgiev podotýká, že Marrův nepřátelský postoj k srovnávacímu indoevropskému jazykozpytu a jeho metodám je motivován fakty, na které narazil Marr při svých snahách dokázat příbuznost gruzínštiny a arménštiny a podle kterých se arménština jeví jako indoevropský jazyk. Tento odpor proti indoeuropeistice u Marra rostl, až posléze sama sebe prohlásil za marxistu a indoevropský jazykozpyt za „buržoasní vědu".

Bylo již naznačeno, že Georgiev věnuje v této práci zbytečně mnoho místa výkladu nejfantastičtějších složek Marrova učení a upouští od hlubšího výkladu historicko-srovnávací metody. Také jeho výklady o prajazyce nepřinášejí ve srovnání s referátem v předešlém sborníku nic nového.

Zvláštní problematiku přináší referát Stefana M l a d e n o v a, nazvaný *Морфологическа и генеалогическа класификация на езиците с оглед към индоевропейските и уралоалтайски езици.* Mladenov ostře odmítá morfologickou klasifikaci, která podle něho nemá dnes vědeckého oprávnění. Zvláště neudržitelný je názor, že se jazyky vyvíjejí od typu isolačního přes aglutinační k flektivnímu. Mladenov proti tomu staví koncepci „světového prajazyka", vraceje se k tvrzením některých starších jazykozpytců, kteří se snažili dokázat příbuzenství indoevropských jazyků se semitskými (Renan, Raumer), ugrofinskými (Anderson), uralskými (Pedersen) a korejštinou (Güntert). Svou koncepci opírá Mladenov o teorii monogenese a anthropologické jednoty lidstva. Bylo by ovšem třeba, aby tato teorie byla podepřena pevněji než pouze citátem ze sovětského slovníku cizích slov od Lechina a Petrova. Také jazykové důkazy by bylo třeba hlouběji propracovat. Jinak je zajímavé, že Mladenov se pokouší obhajovat a marxisticky doložit teorii anthropologické a jazykové monogenese.

Práce Stefana R o m a n s k é h o *Кръстосването на езиците* se obírá otázkou balkánských jazyků. Zpravidla se zvláštnosti balkánských jazyků, jako je postpositivní člen, nedostatek infinitivu a analytické tvoření futura, vykládají ze starého thráckého substrátu. Romanski upozorňuje na to, že teorii thráckého substrátu nelze dost dobře věřit, protože v balkánských jazycích nejsou žádné thrácké lexikální výpůjčky. Kromě

toho není o thráčtině nic známo. Poslední svědectví o Thrácích je ze 6. století, ale „balkanismy" se projevují na př. v bulharštině až ve 14. a 15. století. Návrh na jiné řešení však Romanski nepodává.

Poslední práce sborníku z pera Cvetana Todorova, která nese název *Проблемът за етничните и лингвистични единства*, se opět vrací k problematice prajazyka. Autor je velmi poučen o současných sovětských archeologických a linguistických pracích o této otázce. Vyvrací postupně naivní a schematické teorie starších autorů, opíraje se o Serebrennikovův článek К вопросу о недостатках сравнительно исторического метода в языковнании (Известия АН СССР, ОЛиЯ 9, 1950, 177 н.). Serebrennikov počítá s možností, že na počátku dnešních indoevropských jazyků mohl být jeden jazyk, který by spojil svou gramatickou stavbu a základní slovní fond s jinými jazyky, které by zase mohly být produktem rozpadu většího jazykového celku. Slovní zásoba tohoto jazyka se mohla stýkat s jazyky jiných systémů. Je možné, že vedle indoevropských jazyků existovaly ještě také různé „indoeuropeidní" jazyky, které měly méně ostře patrné rysy indoevropského typu, protože představovaly ještě nějaký starší stav. Toto Serebrennikovovo řešení pokládá Todorov pouze za jednu z možností, jakými se mohl vývoj indoevropských jazyků řídit.

Problém prajazyka je spjat především s problémem nositelů tohoto jazyka. Protivníci prajazykové teorie dělají základní chybu, když tvrdí, že neexistovaly žádné prvotní etnické jednotky, „pranárody". Todorov odděluje od sebe otázku společenské organisace (tvoření kmenů atd.) a etnogenese, jako kdyby etnogenese se společenskou organisací nesouvisela. Odmítá názor starších linguistů (na př. Meilleta), že srovnávací jazykozpyt není povolán řešit otázku indoevropské etnogenese jako positivistický a jednostranný: k vyřešení této otázky doporučuje těsnou spolupráci jazykovědců s archeology a etnografy.

Postupně polemisuje s koncepcí sovětského ugrofinisty D. V. Bubricha, etnografa S. P. Tolstova a B. V. Gornunga. Bubrichovu „teorii kontaktu", která vykládá materiálové shody v jazycích různými druhy „kontaktů" mezi nositeli těchto jazyků (pro starší období má Bubrich na mysli zejména exogamii mezi jednotlivými rody), hodnotí Todorov jako částečně marristickou (tato teorie vznikla v letech 1946—1948).

S. P. Tolstov[11]) operuje se vzájemným vlivem rodových jazyků, se vzájemným pronikáním jednoho jazyka do druhého a stejně jako Bubrich připisuje sjednocující úlohu exogamii. Toto pojetí odsuzuje Todorov jako blízké Marrovu „míšení".

B. V. Gornung[12]) pokládá jádro indoevropské jazykové rodiny do stepí a lesostepí střední a východní Evropy, vycházeje přitom z Engelsovy these, že arijské (indoevropské) kmeny se oddělily od masy ostatních barbarských kmenů s primitivním zemědělstvím.[13]) Tyto příbuzné kmeny mohly být organisovány v kmenovém svazu; nepříbuzné kmeny si mohly osvojit jazyk panující většiny. Proti těmto Gornungovým dohadům uvádí Todorov celou řadu námitek, zvláště fakt, že archeologické nálezy ze střední a východní Evropy svědčí především o zemědělské kultuře a že v této době se nemohly také ještě vytvořit podmínky k tomu, aby vznikl „společný jazyk" kmenového svazu.

---

[11]) *Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии*, Сов. этнография (1950) № 4, 3—23.

[12]) *Семантические «законы» Н. Я. Марра и вопрос об отношении истории языка к истории материальной культуры*, Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании I (Москва 1951), 170—188.

[13]) Srov. *Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu*, Praha 1949, 143.

Todorov sám nechává tuto otázku nerozřešenou, na problémy spíše ukazuje, než by je řešil.

Oba sborníky ukazují v novém světle Stalinových článků nejaktuálnější problémy jazykovědy. Jejich problematika je široká, zasahuje celou řadu jazykovědných oborů. Nedostatkem je jistý chvat, kterým trpí téměř všechny práce. Je jisto, že problémy, které sborníky přinášejí, nejsou řešitelné bez předchozí důkladné materiálové přípravy. Nebylo však ani účelem těchto sborníků, aby takové práce podávaly. Měly spíše upozornit na problémy a na potřebu jejich marxistického osvětlení a řešení. Můžeme říci, že tento svůj úkol sborníky splnily čestně pro bulharskou jazykovědu.

Zoe Hauptová

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SLAVISTIKY ZA ROK 1952

Tento soubor je třetím pokračováním zpravodajství ze slavistiky, které uveřejňuje Slavia. [Zpravodajství za r. 1950 viz v Slavii 20 (1951) seš. 4, za r. 1951 v Slavii 21 (1952—1954) seš. 4, která z technických důvodů vyjde opožděně koncem t. r.] Redakce usiluje o stálé zlepšování tohoto kritického přehledu nejnovějších vybraných údajů s krátkými, podle potřeby i hodnotícími zprávami o domácí i zahraniční slavistické literatuře. Jsou proto vítány připomínky, jakož i zásilky knižních a periodických publikací, za jejichž pomoci by bylo lze zpravodajství dále rozšířit. — Tento soubor je zpracován a utříděn podle stejných zásad, jaké byly vysvětleny u souboru prvního. Práce, ke kterým se Slavia ještě vrátí, jsou zachycovány jen stručně, kdežto některé práce jiné jsou podle potřeby komentovány podrobněji. Práce zachycené podle zprávy jsou označovány hvězdičkou (*).

JAZYKOVĚDA

Jazykověda obecná a srovnávací

Generalia

Задачи советского языкознания в свете трудов И. В. Сталина и журнал «Вопросы языкознания». Вопросы языкознания 1 (1952) № 1, 3—40. — Časopis musí pomáhat uskutečňovat cíle vytčené Stalinem a řešit úkoly z jeho učení vyplývající. V přehledu těchto úkolů (kde se také hodnotí, co již bylo vykonáno) článek věnuje zvláštní pozornost boji s idealistickými teoriemi, problematice historicko-srovnávací jazykovědy a studia příbuzných jazyků, různým otázkám jazykové kultury, stilistiky celonárodního jazyka, normalisace spisovných jazyků a řešení teoretických úkolů diktovaných školskou praxí. — *IN*

Два года движения советского языкознания по новому пути. Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 3—18. — Bilanční a programová stať. — *IN*

Виноградов В. В., *Основные задачи советской науки о языке в свете работ И. В. Сталина по языкознанию.* Изв. АН БССР Минск (1952) № 2, 3—25. — *VB*

Виноградов В. В., *Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания.* Изв. АПН РСФСР, вып. 39, Москва 1952, 37—66. — *VB*

Бархударов С. Г., *Итоги и перспективы перестройки языковедческой работы в свете Сталинского учения о языке.* Докл. и сообщ. I. Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 5—28. — Článek kriticky hodnotí práci sovětské jazykovědy za období jednoho roku po uveřejnění Stalinových prací o jazyce, vytyčuje hlavní úkoly a program práce v jednotlivých odvětvích jazykovědy. — *VB*

Виноградов В. В., Бархударов С. Г.: *Итоги пересетройки языковедческой работы в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.* Вестник АН СССР 22

(1952) № 1, 16—31. — Informuje o dosavadních výsledcích reorganisace práce v odděleních Ústavu jazykovědy Akad. věd SSSR v jednotlivých republikách a ukazuje na problémy, které je nutno řešit v nejbližší době. — *VB*

Белодед И. К., Ильин В. С., *В Институте языкознания им. А. А. Потебни АН УССР*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 120—124. — Zpráva o činnosti ústavu. Informuje také o jeho vědeckých thematických plánech (z r. 1951 a na rok 1952) a uvádí seznam themat již otištěných prací; nejdůležitější z nich vyjmenovává (nejde jen o práce z oboru ukrajinistiky!). — *IN*

Борковский В., *Новый этап в развитии науки о языке*. Славяне (1952) № 6, 6—9. — Výklad významu Stalinových statí přístupný široké veřejnosti se zprávou o vyšlých i chystaných nových pracích sovětské jazykovědy. — *FVM*

Крашенинникова Е., *Гениальное произведение творческого марксизма*. Новое время (1952) № 25, 3—8. — Přehled činnosti sovětské jazykovědy k druhému výročí uveřejnění Stalinových statí o jazyce. — *VB*

Черкасова Е. Г., *Обсуждение статьи «За творческую разработку проблем языкознания», помещенной в Правде*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 156—159. — Referuje o zasedání vědecké rady Ústavu jazykovědy AN SSSR, jež se zabývala případem V. I. Abajeva, který dosud nevystoupil s kritikou svých marristických prací. — *IN*

Havránek Bohuslav, *Dva roky po Stalinově geniálním zásahu do vývoje jazykovědy*. Slovo a slovesnost 13 (1952) 109—117. — Kritický přehled rozvoje a práce československé jazykovědy za uplynulé dva roky s úvodem o jazykovědné práci v SSSR. — *FVM*

Mareš František Václav, *Sovětská jazykovědná diskuse a její důsledky v slovanské jazykovědě*. Slavia 21 (1952) 95—103. — *FVM*

Otevření Československé akademie věd a návštěva akademika V. V. Vinogradova. Slovo a slovesnost 13 (1952) 191—192. — *FVM*

Леков Иван, *Тематичното богатство на съветското марксистско езикознание*. Език и литература 7 (1952) 178—181. — *FVM*

Виноградов Виктор В., *Развитието на съветското езикознание в светлината на трудовете на Й. В. Сталин*. Български език 2 (1952) 3—6. — FVM

Кондрашов Н. А., *Языкознание за рубежом: Чехословакия*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 102—105. — *IN*

Михальчи Д. Е., *Языкознание за рубежом: Румыния*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 99—102. — Stručně informuje také o pracích, jež se zabývají otázkou slovanských vlivů na rumunštinu. Mezi hlavními úkoly rumunské linguistiky je též uvedeno sestavení rusko-rumunského a rumunsko-ruského slovníku, jakož i srovnávací mluvnice rumunského a ruského jazyka. — *IN*

Развитие зарубежного языкознания после выхода в свет труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 113—130. — Zprávy o přebudování jazykovědné práce v Číně (Ošanin), v Koreji (Mazur), v Bulharsku (Bernštejn) a v Maďarsku (Majtinskaja). — *IN*

Зеленов Т. М., *Издание и распространение труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» в зарубежных странах*. Вопросы истории (1952) № 8, 121—125. — Přehled přetisků a ohlasů. — *FVM*

Vědecké učebnice

Чикобава А. С., Введение в языкознание, ч. I. Москва 1952, Учпедгиз, 243 стр. — Podrobná učebnice, shrnující Čikobavovy názory v jednotném celkovém pojetí. Oddíly: 1. Введение. 2. Язык, его общественная сущность, развитие и происхожде-

ние. Отрасли языкознания и соответствующие основные понятия. 3. Фонетика. 4. Классификация языков. 5. Место языкознания в системе наук. — Viz též následující záznam. — *FVM*

Булаховский Л. А., *Введение в языкознание*, ч. II. Москва 1953, Учпедгиз, 177 стр. — 2. díl předchozího díla. Kapitoly: 1. Семансиология. 2. Лексикология. Заимствование слов. Очистка языка от элементов, представляющихся нежелательными. 3. Лексикография. 4. Этимология слов. — *FVM*

Петерсон М. Н., *Введение в языкознание*. Москва 1952, 274 стр. (стеклографическое издание). — *VB*

Historickosrovnávací metoda

Плотникова В. А., *Совещание по методологии этногенетических исследований в свете Сталинского учения о нации и языке*. Вопросы языкознания 1 (1952) № I, 155—166. — Zpráva o poradě čtyř ústavů AN SSSR (jazykovědného, etnografického, historického a Ústavu materiální kultury). Na 11 zasedáních bylo předneseno 25 referátů a zpráv, jež se zabývaly problematikou studia vzniku a vývoje národů a jazyků, a to nejen po stránce metodologické (na př. o původu ide. jazykové rodiny, o původu Slovanů, o etnogenesi Litevců, o procesu vytváření starorus. národnosti). Jazykovědný předpoklad existence prajazyka (язык-основа) byl bez námitek přijat převážnou většinou archeologů, antropologů a etnografů. Porada ukázala, že je třeba ještě více prohloubit spolupráci těchto specialistů. — *IN*

Горнунг Б. В., Левин В. Д., Сидоров В. Н.: *Проблема образования и развития языковых семей*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 1, 41—64. — Po informativním a hodnotícím přehledu dosavadních názorů na příbuznost jazyků (Schleicherova teorie jazykového stromu, Schmidtova vlnová teorie, Ascoliho t. substrátu, Bubrichova t. kontaktu, Tolstovova t. prvotní linguistické nepřetržitosti) článek přechází k vývodům, které „mohou býti přijaty za základ pro další řešení této otázky“. Existence rodiny příbuzných jazyků nutně předpokládá společný jazykový základ — reálný jazyk (язык-основа); ten byl jednotný pro celou společnost, jeho dialekty podléhaly společnému vývoji; teprve když osidlováním větších prostorů nebo vkliňováním cizojazyčných živlů docházelo k isolaci jednotlivých skupin obyvatelstva, ztrácela se možnost společného jazykového vývoje a z isolovaných dialektů nebo nářečních skupin vznikaly jednotlivé jazyky: staré nářeční rozdíly se uvnitř osamostatňovaných skupin stíraly, na jejich hranicích se prohlubovaly. Rozdíly mezi příbuznými jazyky jsou tedy dány jednak původními nářečními rozdíly v jazyce-základu, jednak novotvary z dob samostatného vývoje těchto jazyků. — Studie dále řeší některé speciální otázky jazykové příbuznosti, stupeň příbuznosti, vlivy jinojazyčného substrátu, poměr mezi jazykovými rodinami a j. — *IN*

Смирницкий А. И., *К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 3—19. — Pojednává o podstatě historickosrovnávací metody *(1)*, o principech jejího využití *(2)* a o otázkách hodnověrnosti jejích výsledků *(3)*. — *1*. Historickosrovnávací metodu v jazykovědě pojímá jako prostředek rekonstrukce písmem nedoložených jazykových faktů; zdůrazňuje nutnost rozlišovat příbuznost a shodnost jazyků («родство языков есть их генетическое тождество»). — *2*. Na genetickou totožnost (na společný základ) různojazyčných jazykových jednotek ukazuje jistá obdobnost jejich znění provázená úplnou nebo přibližnou shodou jejich významů; to ovšem platí především tam, kde není souvislost mezi formou a významem ničím podmíněna. Proto lze společný základ bezpečněji rekonstruovat u jednotlivých

morfémů než u útvarů vyšších, kde je již spojení hláskových skupin několika morfémů podmíněno racionálním spojením jim odpovídajících významů (принцип условности, мотивированности): na př. pro skr. *janitā́*, ř. γενετήϱ platí **genə-* a **-tē(r)*, nemusí však platit **genətēr* vcelku; celek zde může býti výsledkem pozdějšího paralelního tvoření v jednotlivých jazycích. Tento princip podmíněnosti je závažnou překážkou rekonstrukce zvláště v oblasti syntaxe. — Jako zákonité hláskové response mají své fonetické zdůvodnění, tak také sémantické vztahy mezi korespondujícími jednotkami musí míti své zdůvodnění s hlediska sémasiologie. — *3.* Čím méně hlásek má srovnávaná jednotka, tím větší je možnost náhodných shod; proto prohlubování morfologického rozboru (Kuryłowicz, Benveniste) je spojeno s nebezpečím menší pravděpodobnosti závěrů. Při rekonstrukci jazykového stavu nedoloženého písemnictvím snadno dochází k fantastickým hypothesám; zde je třeba více sebekázně a hlubší spolupráce s historiky materiální kultury. — *IN*

Горнунг Б. В., *О границах применения сравнительно-исторического метода в языкознании. (В применении к индоевропейским языкам.)* Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 20—38. — Historickosrovnávací metodě je nutno vykázat meze, do kterých patří: její význam nelze universalisovat (t. j. přeměňovat veškerou vědu o jazyce v „srovnávací jazykovědu"): historickosrovnávací metoda je podřízena celkové marxistické linguistické metodologii jako souhrn heuristických a kombinačních prostředků metodiky vědeckého bádání, t. j. pomáhat hledat potřebné fakty, osvětlující vývoj daného jazyka, a umožňuje stanovit principy systematisace nalezených faktů pro pochopení jejich historických souvislostí. Zjišťovat přímo konkretní charakter vnitřních zákonů vývoje konkretních jazyků není jejím úkolem. — Teprve na základě takového vymezení úkolů srovnávací metody je možno posuzovat její nedostatky. Uvedený informativní přehled o poměru dosavadní linguistiky k této metodě (a zvláště podrobný rozbor Vendryesových námitek proti ní) ukazuje, že kritika jejích nedostatků musí jít novou cestou. Autor sám, vycházeje ze známé kritiky Serebrennikovy, považuje za skutečné nedostatky historickosrovnávací metody především tyto: přenášení archetypů do jedné chronologické roviny, srovnávání hláskově si odpovídajících slov bez patřičného ohledu na rozdíl jejich významů, srovnávání slov s nevyjasněnou morfologickou strukturou, modernisaci rekonstruovaných jazyků-základů a přeceňování úlohy paralelního vývoje z tendencí kořenících již v jazyce-základu. Zároveň ukazuje, jak tyto nedostatky odstraňovat. — V závěru klade velmi aktuální požadavek: „Reálně zdokonalovat metodiku mohou nikoliv úvahy o metodice, nýbrž konkretní vědecké práce, které jí užívají ve smyslu úkolů vytyčených I. V. Stalinem." — *IN*

Бернштейн С. Б., *О некоторых вопросах сравнительно-исторического метода в языкознании.* Краткие сообщ. Инст. славяноведения (1952). — Soustřeďuje se hlavně na ty body, kde jsou možnosti historickosrovnávací metody omezeny. Na př. při studiu jazyků, jejichž příbuznost je jiná než genetická, je třeba užít metody historické. Ta je sice v těsném vztahu k metodě historickosrovnávací, ale totožná s ní není. Kromě toho všeobecně ukazuje, v čem je třeba historickosrovnávací jazykovědné studium zlepšit a zdokonalit a čeho se nutno varovat. — *FVM*

Десницкая А. В., *О влиянии «нового учения» о языке на исследование вопросов сравнительной грамматики индоевропейских языков.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 304—323. — Celková kritika marrismu. Omyly shrnuje do těchto bodů: 1. nesprávné vytčení a antihistorické řešení otázky původu příbuznosti indoevropských jazyků, 2. jednostranná kritika teorie prajazyka a nesprávný výklad vývoje jazyka míšením, 3. výklad vývoje hláskového systému předpokladem prvotní difusnosti zvukových kom-

plexů a mylný předpoklad předindoevropské povahy u jazyků germánských, 4. výklad složených ide. slov teorií t. zv. syntaktické stadiálnosti a 5. předpoklad, že ide. gramatická příbuznost se vyvinula až na základě „sjednocené“ slovní zásoby (to vyplývá z nesprávného pojetí vztahu mezi gramatikou a lexikem). — *FVM*

Skalička Vladimír, *Indoevropský srovnávací jazykozpyt v novém světle.* Slavia 21 (1952) 37—41. — Základní předpoklad, že příbuznost jazyků bývá výsledkem genetického vývoje, je správný. Třeba ovšem tuto podobnost hodnotit, na př. v tom smyslu, že je rozhodující příbuznost gramatické stavby a základního slovního fondu. Srovnávací jazykověda se však musí varovat řady chyb minulosti: její bádání nesmí být samoúčelné. Plně nevyhovuje ani metoda Wörter und Sachen. Metodicky třeba obrátit základní pozornost k zjišťování a studiu vnitřních zákonů jazyka. — *FVM*

Mátl Antonín, *Vývoj jazyka a příbuznost jazyků.* Český jazyk 2 (1952) 193—197. — Osvětluje daný problém s hlediska Stalinových statí o jazykovědě. (Rozšířená autorova stať z učebnice pro 2. tř. gym.) — *DK*

Viz též metodologická pojednání obecně jazykovědného dosahu v oddíle „srovnávací jazykověda slovanská“.

Jazyk a myšlení; jazyk a společnost

Калинин И. А., *Учение И. В. Сталина об общественной роли языка.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 2, 1—7. — Společenská funkce jazyka je základní a prvopočáteční funkcí. Jazyk je nástrojem dorozumívání ve společnosti a tím také nástrojem boje a rozvoje společnosti. Od společenské funkce je neoddělitelná druhá hlavní funkce jazyka — sloužit jako nástroj myšlení. — *VB*

Киселинчев Асен, *За връзката и взаимоотношението между мислене и език.* Български език 2 (1952) 183—202. — *FVM*

Novák Mirko, *Jazyk a t. zv. hudební mluva.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 177—179. »Nějaká „hudba vůbec“, jako nástroj dorozumění, hudba, která by byla hudbou a sloužila jako „hudební mluva“ stejně k vyjádření toho a pak zase jiného psychického a ideového obsahu, neexistuje.« — *FVM*

Шарадзенидзе Т. С., *Процессы дифференциации и интеграции языков в свете учения И. В. Сталина.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 1, 65—79. — Procesy jazykové diferenciace a integrace jsou výsledky analogických procesů, které proběhly ve společnosti. V rodové společnosti vládne diferenciace, proces integrace zde ještě není prozkoumán. V třídní společnosti převládá naopak integrace (míšením), kdežto diferenciace není intensivní; za kapitalismu je tento stav ještě více vyhraněn. Za socialismu integrace zprvu zcela mizí, teprve v druhém období jeho vítězství na celém světě dojde k integraci splýváním jazyků. Studium historie jazyků v souvislosti s historií jejich nositelů poskytuje tedy takovýto obraz vývoje jazyků: „ne od jednoho jazyka k mnoha a ne od mnoha jazyků k jednomu, nýbrž od poměrně nevelkého množství jazyků k mnohojazyčnosti a potom k jedinému mezinárodnímu jazyku“. — *IN*

Trávníček František, *Proč mluví lidé různými jazyky.* 1. vyd. Praha 1952, Osvěta, 18 str. — *DK*

Панов В. И., *Об отличиях национального языка от языка народности. Критический разбор взглядов проф. Г. Д. Санжеева.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 6, 120—125. — Podle G. D. Sanžejeva se jazyk národní liší od jazyka národnosti rozsahem společenských funkcí, nikoliv však svou strukturou. Panov s tím nesouhlasí: podle jeho mínění jsou zde i rozdíly v základním slovním fondu a v gramatické stavbě: jazyk

národní je ve své struktuře jednotnější než jazyk národnosti, jehož struktura má dvě vrstvy — celonárodní (*вода, рука; нет рук*) a nářečné oblastní (*крестьянин = смерд = сирота; с руками = с рукам*). Poněvadž koncentrace místních dialektů v jazyk národní je podmíněna změnami v ekonomické základně, Sanžejev soudí, že takový vývoj nemůže vyvolat strukturní změny jazyka. Konstatujeme-li opak, neznamená to přece ještě uznání, že struktura jazyka se mění v závislosti na „každé dané" změně ekonomické základny. — *IN*

**Историята на език в най-тясна връзка с историята на народа. Научна сесия в чест на 73-та годишница на Й. В. Сталин във връзка с неговия труд «Марксизмът и въпросите на езикознанието».* 2—4 дек. 1952 г. София 1952, БАН, 15 стр. — Denní program zasedání a these přednášek. — *FVM*

Горнунг Б. В., *К вопросу о типах и формах взаимодействия языков и диалектов.* Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 3—8. — Stručný a obecný výklad vzájemného vlivu jazyků a dialektů v jejich historickém vývoji. Nastávají čtyři základní typy tohoto působení: 1. jazyků odlišných svou strukturou, 2. jazyků příbuzných, které se však v procesu historického vývoje odlišily, 3. jazyků příbuzných, které si zachovaly ve značné míře společné znaky, 4. působení dialektů v rámci jednoho jazyka. — *VB*

Vnitřní zákony jazyka

Виноградов В. В., *Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 3—43. — Úvodem podrobně vykládá základní pojmy („zákon", „vývoj", „vnitřní zákony vývoje společenských jevů"). Při řešení otázky vnitřních zákonů jazykového vývoje mnoho nepomůže pojetí vývoje „skokem" (Kedrov, Sanžejev), neboť sám pojem „скачок" není dosud ujasněn. Je třeba vycházet z konkretně historického studia různých typů jazykových změn v jich vzájemné souvislosti; rozlišovat *zákony vývoje jazyka jako společenského jevu* (zákony souvislosti a vzájemného působení mezi jazykem a jinými společenskými jevy) a *vnitřní zákony vývoje jazyka jako specifického společenského jevu* (zákony vlastní jen jazyku, podmíněné podstatou jeho specifičnosti); zde autor dále liší *obecné vnitřní zákony jazykového vývoje,* jež určují obecné zákonitosti a tendence ve vývoji jednotlivých jazyků, a *vnitřní zákony vývoje konkretních jazyků,* jež působí v duchu specifické struktury a národní svéráznosti konkretního jazyka. Vnitřní zákony jazykového vývoje (jako zákony určující vzájemnou souvislost a podmíněnost kvalitativních změn různých sfér jazyka) mají být pojímány jako vnitřní zákony vývoje jazykové struktury vcelku, s jí vlastním složitým vzájemným vztahem mezi jednotlivými částmi. Zvegincevovo pojetí (vnitřní zákony jako souhrn zvláštností konkretního jazyka) autor nepovažuje za dialektické. Vlastní koncepci dokládá příkladem z historie ruského jazyka (13.—16. stol.). — *IN*

Чикобава А., *К вопросу о внутренних законах развития языка.* Знамя 22 (1952) № 5, 168—173. — Vnitřní zákony vývoje jazyka se týkají změn ve slovní zásobě, mluvnické stavbě a ve zvukové stavbě jazyka, vzniklých vývojem společnosti. Tyto změny však nelze vyvozovat bezprostředně ze změn hospodářské základny. Je třeba rozlišovat zákony konkretní (u jednotlivých jazyků) a obecné (týkající se všech jazyků). — *VB*

Ярцева В. Н., *О внутренних законах развития языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 194—205. — Ukazuje, že často nelze na dostupném historickém materiálu jednoho jazyka postihnout průběh a příčiny kvalitativních změn jazykového systému a zvláště změn samých vnitřních

zákonů jazyka. Proto je srovnávací studium příbuzných jazyků vědeckou nutností. Toto studium se však nesmí omezit na shodné rysy, poněvadž právě pozornost věnovaná změnám může v tomto směru přinášet cenné výsledky. — *FVM*

Дискуссия о внутренних законах развития языка. Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 264—275. — Podrobná zpráva o diskusi, uspořádané v únoru 1952 Jazykovědným ústavem Akademie věd SSSR. Hlavní referáty: В. В. Виноградов, *Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания;* Б. А. Серебренников, *К выяснению сущности внутренних законов развития языка;* В. Н. Ярцева, *Внутренние законы развития языка и система языка;* В. М. Жирмунский, *К вопросу о внутренних законах развития языка (на материале истории немецкого языка);* В. А. Звегинцев, *Функционирование и развитие языка;* М. М. Гухман, *Внутренние законы развития языка и родство языков;* vedle toho obsáhlá diskuse. — *FVM*

Левин В. Д., Орлов М. М.: *Дискуссия о внутренних законах развития языка в Ученом совете Института языкознании АН СССР.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 141—148. — Úkolem čtyřdenní konference (4.—7. II.) bylo objasnit pojem vnitřních zákonů vývoje jazyka a vytyčit hlavní problémy i konkretní cíle jazykového bádání v této oblasti. Konference, jež v tom smyslu přinesla své výsledky, ukázala také nejednotnost názorů v některých otázkách (vnitřní zákony vývoje jazyka v oblasti hláskosloví, vzájemný poměr zákonů jazykového vývoje a gramatických pravidel, rozlišování vnitřních, obecných a zvláštních zákonů vývoje jazyka). — *IN*

Земская Е. А., *Заседание Ученого совета Института, посвященное второй годовщине опубликования трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 122—128. — Na pořadu (18.—21. VI. 1952) bylo osm referátů. Autoři kolektivního referátu o vnitřních zákonech jazykového vývoje konstatovali, že vzhledem k abstraktní povaze dosavadního řešení této otázky nebylo zatím ještě možno přesně definovat podstatu vnitřních zákonů jazykového vývoje. — R. I. Avanesov ve svém referátě ukázal, jak velký význam pro studium historie jazyka v souvislosti s historií národa má jazykový zeměpis; v diskusním příspěvku pak V. M. Žirmunskij promluvil o zásadách kartografie (dialektologická mapa nemá podávat systém nářečí, nýbrž reálný jazykový materiál, odrážející dynamiku vývoje). — Referent T. S. Šadzenidze kritisoval zahraniční pojem „jazykového svazu“ (Sprachbund) jakožto výsledku integrace různých jazyků; B. A. Serebrennikov v diskusi tento termín hájil pro skupinu takových jazyků, jako jsou balkánské; Sanžejev a Guchmanová jej odmítli. — V diskusi k referátům o historickosrovnávací metodě Žirmunskij nesouhlasil s formulací referenta A. I. Smirnického, že hlavním úkolem této metody je rekonstrukce písmem nedoložených zaniklých jazykových faktů; dal za pravdu referentu B. V. Gornungovi („cílem historickosrovnávací metody je zjistit a objasnit konkretně historické souvislosti mezi jazyky“). Tento názor přijali i jiní. Serebrennikov nesouhlasil s Gornungem v tom, že by byla nedostatkem této metody snaha o modernisaci gramatické stavby a hláskové soustavy rekonstruovaných jazyků: vždyť není ani hlásek, ani tvarů, jež by byly vlastní jen starým jazykům, anebo jen novým; ve vývoji hlásek a tvarů je cykličnost. — Bohatou diskusi vyvolal také referát V. D. Levina *Otázky jazyka uměleckých děl.* — *IN*

Лéвин В., *Глубже изучать законы развития языка.* Лит. газета (1952) № 71, 2. — Kritika Marra. — *VO*

Tokarski Jan, *Dynamizm procesów językowych i metody jego badania.* Porad. jęz. (1952) zesz. 8, 1—16. — O vnitřních zákonitostech vývoje jazyka a především o po-

užití analytické metody ve fonetice. Tato metoda je podle autora dokonalou konkretisací postulátů dialektické metody marxistické. S příklady a tabulkami. — *MK*

Kritika metodologie

Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Сборник статей. Москва 1952, АН СССР, 502 стр. — *IN*

Мещаников И. И., *Члены предложения и части речи.* АН СССР, Москва—Ленинград 1945, 321 стр. — Rec.: Виноградов В. В., Вопросы языкознания 1 (1952) № 1, 142—149. — Úvodem stručně charakterisuje „nové učení“ o jazyce a ukazuje, jak se toto učení obráží v hlavních pracích akad. Meščaninova. Základní chyby marrismu odhaluje zejména podrobnější kritika jeho knihy Větné členy a druhy slov: citacemi a četnými příklady recensent dokazuje, že autor v této knize vychází z teorie stadiálnosti, uznává revoluční zvraty ve vývoji jazyka, svým učením o „pojmových kategoriích“ odtrhuje myšlení od jazyka; směšuje gramatiku a slovník, zneužívá sémantiky, přezírá historickosrovnávací studium příbuzných jazyků a úplně propadá antihistorismu. — *IN*

Орлова В. Г., *Обсуждение книги акад. И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» на расширенном заседании ученого совета Института языкознания Академии Наук СССР, проведенном в Ленинграде 19—20 ноября 1951 года.* Вовропсы языкознания 1 (1952) № 1, 170—177. — Kritika všech vyzněla jednohlasně v tom smyslu, že se kniha celým svým pojetím příčí Stalinovu učení o jazyce. Meščaninov ve svém vystoupení vytčené chyby přiznal. — *IN*

Гухман М. М., *Против идеализма и реакции в современном американском языкознании. (Л. Блумфилд и «дескриптивная» лингвистика.)* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 281—294. — Kritisuje metodu Bl-ovy školy, přidržující se mechanismu a fysikalismu. Chybným základem jejich pojetí jazyka a jeho funkce je toto schema: jedinec reaguje na určitý popud (A) řečí, jeho řeč (B) pak dává posluchači popud k určitým reakcím (C). V jazykové skutečnosti vidí tedy složku zvukovou (B) a popudy a reakce (A—C). To vede k pragmatické a positivistické představě o jazyku jako jevu, spočívajícím výlučně na biologické základně a k maximálnímu přecenění významové stránky jazyka. — *FVM*

Trávníček František, *Objektivismus a kosmopolitismus v naší jazykovědě.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952), č. A/1, 12—25. — Kritisuje strukturalismus, typologii, teorii obecné mluvnice a slovnikářství. — *FVM*

*Mikuš Radivoj Franciscus, *A propos de la syntagmatique du professeur A. Belić.* Ljubljana 1952, 197 pp. — Odsuzující kritika Belićova díla *О језичкој природи и језичком развитку.* — *FVM*

Sborníky a souhrnné články o speciálních otázkách

Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. Ред. В. В. Виноградов. Москва 1952, Моск. Гос. Университет, 410 стр. — Druhé vydání sborníku je proti prvnímu z r. 1950 (viz Slavia 20 [1952] 553) zdokonaleno přepracováním jednotlivých statí a rozšířeno o 3 nové: o významu prací I. V. Stalina pro rozvoj sovětské jazykovědy, o základním slovním fondu a jeho slovotvorné úloze v historii jazyka (Vinogradov) a o vnitřních zákonech jazykového vývoje (Zvegincev). — Rec.: Будагов Р. А. Ярцева В. Н.: Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 106—113. — Recense podrobně rozbírá jednu stať po druhé a konstatuje: všechny stati nového vydání jsou natolik vylepšeny a prohloubeny, že jde vlastně o nové dílo. Autorům se však nepodařilo usku

tečnit všechny požadavky recensentů prvního vydání: nadále zůstává na. př. nedostatek konkretnosti, nejednotnost názorů na vzájemný poměr logiky a gramatiky, gramatiky a slovníku. — *IN*

Вопросы теории и истории языка. Москва 1952. — Viz recensi zde na str. 287n. — *FVM*

Otázky jazykovědy s hlediska prací J. V. Stalina. Sborník přednášek na všesvazových poradách o jazykovědě, konaných v srpnu 1950 na Lomonosovově st. universitě v Moskvě. Red. Jaromír Bělič a Bohuslav Ilek; překl. D. Fialová a j. 1. vyd. Praha 1952, ČSI, 392 str. — Překlad 1. vyd. sborníku Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, Москва 1950; viz Slavia 20 (1951) 553 a ibid. 21 (1952) 95 n. — Jednotlivé studie: Vinogradov V. V. (význam sovětské jazykovědné diskuse), Čik'obava A. S. (jazyk jako společenský jev), Pospelov N. S. (gramatická stavba jazyka), Černych P. J. (základní slovní fond jazyka), Avanesov R. I. (jazyk a nářečí), Sanžejev G. D. (vznik a vývoj národních jazyků), Bulachovskij I. A. (historický vývoj jazyka), Serebrennikov B. A. (kritika t. zv. čtyřelementované analysy N. J. Marra), Kondrašov N. A. (původ jazyka), Vinogradov V. V. (úkoly vysokoškolských přednášek z jazykovědných disciplin). — Ref. (o českém překladu): KH (Hausenblas Karel), Český jazyk 2 (1952) 382—383. — *DK*

Робинсон А. Н., *Научная конференция аспирантов.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 132—134. — Referáty aspirantů přednesené na konferenci 10.—11. V. 1952 se týkaly nejrůznějších problémů jazykovědy (přejímání slov, otázky syntaktické a j.). Při hodnocení konference byla oceněna zvláště vědecká zralost referátů a vysoká kritičnost diskuse. — *IN*

**Сессия, посвященная трудам И. В. Сталина по вопросам языкознания.* Вестник АН Литовск. ССР, Вильнюс 1952, IX, 203 стр. — *IN*

Becker Henrik, *Hundert Thesen zur Sprachwissenschaft.* Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 1, 2 (1952/53) Heft 1, 74—106. — Ve sto thesích, seřazených do pěti kapitol (Zur Forschung, Zur Methode, Zur Sprache, Zur Dichtung, Zur Lehre), podává své příspěvky k rozvíjení marxistické jazykovědy. — *IN*

Zvuková stránka jazyka

Шаумян С. К., *Проблема фонемы.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 324—344. — Vlastní jazykovědné specifikon řeči může studovat jen fonologie; fonetika je jen vědou pomocnou. Pojem fonému neodporuje marxistickému pohledu na jazyk. Podle Šaumjana pokládají nemarxističtí vědic foném buq za pracovní hypothesu (A. Martinet), nebo za jev, který není s hláskou spjat žádným vztahem (L. Hjelmslev). Pojetí Trubeckého bylo eklektické. Teorie variantů a variací nestojí na pevné půdě, poněvadž se nedůsledně staví hned na hledisko funkční, hned na genetické. Ščerbovo (a Jonesovo) pojetí fonému jako hláskového typu je nedorozuměním. Tradiční historické hláskosloví nemůže podat výklad, vnitřní smysl hláskových změn v jazyce. protože nerozeznává podstatu od vnější tvářnosti věci; v tomto úkolu musí ustoupit fonologii. — Článek je otištěn jako úvod do diskuse o těchto otázkách s poznámkou, že redakce se neztotožňuje s jeho obsahem. — *FVM*

Diskuse k tomuto článku

Аванесов Р. И., *К вопросу о фонеме.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 463—468. — Autor vytýká Šaumjanovi, že odtrhl hláskosloví (фонетика) od fono-

logie, foném a hláskovou soustavu od morfému, slovo od celkové struktury jazyka. Odmítá tvrzení Šaumjanovo, že se v hláskovém systému mění to, co neporušuje existující vztahy, zatím co ty zůstávají neměnné. — *FVM*

Реформатский А. А., *К проблеме фонемы и фонологии.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 469—473. — Odmítá Šaumjanův pohled na Ščerbu jako vědce, který stojí mimo fonologii. Domnívá se, že mezi fonologií a fonetikou není protikladů: «Фонология — это более ... совершенная ступень фонетики». (Pozor ovšem na význam slova *фонетика.*) — *FVM*

Бернштейн Сергей, *Против идеализма в фонетике.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 541—559. — Uznává fonologii jako metodu k poznání funkčních vztahů hlásek a historických tendencí ve vývoji hláskového systému, ale rázně odmítá Šaumjanovo pojetí, jež se odtrhuje od jazykové skutečnosti a odvádí pozornost badatele k neplodnému filosofování. — *FVM*

*Ułaszyn Henryk, *Fonema i morfonema czyli o konsekwencjach dwojakiej podzielności tworów językowych.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódźkiego tow. nauk, 1949, nr. 2. — *MK*

Kuryłowicz J., *L'accentuation des langues indoeuropéennes* (Polska Akademia Umiejętności: Prace Komisji Językowej XXXVII). Kraków 1952, 527 str. — Rec.: Lejeune Michel, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 48 (1952) fasc. 2, 24—30. — *EH*

Георгиев Владимир, *Происхождение алфавита.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 6, 48—83. — Dokazuje, že abecedy foinická, řecká a etruská vznikly na sobě nezávisle ze slabičného písma minojského. Minojská písmena s fonetickou platností slabiky se vyvinula ze starších piktogramů (nikoliv bez vlivu obrázkového písma egyptského!). Piktogramu, jenž původně označoval celé slovo-pojem, počalo se užívati k označení jedné slabiky (ovšem slabiky počáteční, bylo-li slovo víceslabičné: tak na př. znak *A* označoval zprvu pojem „přístřeší, stan", vyjadřovaný minojským slovem *alēwā*, srovn. homér. ἀλέη; odtud název písmene ἄλφα). Z minojského písma slabičného si Foiničané vytvořili písmo souhláskové; se znaky přejali i jejich minojské názvy, ale některé si přizpůsobili v duchu své lidové etymologie. Jestliže v takových a pod. případech abeceda řecká a etruská zachovávají stav bližší abecedě minojské, svědčí to o jejich původu z písma minojského, nikoliv z foinického. Autor probírá písmeno za písmenem, konfrontuje jeho grafiku a názvy v jednotlivých abecedách. Podrobně zkoumá vývoj minojského písma od typu obrázkového k slabičnému a zjišťuje fonetickou platnost jeho znaků. Své výklady ilustruje nákresy a tabulkami. V závěru dokládá thesi o minojském původu foinického písma citáty z Diodora a Fotia, nastiňuje problematiku, kterou zbývá řešit, a stručně charakterisuje vývoj písma v závislosti na foneticko-gramatické struktuře konkretních jazyků. — *IN*

Gramatická stavba

Mańczak Witold, *Próba definicji morfemu, wyrazu i wypowiedzenia.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. 11 (1952) 69—74. — *MK*

Jensen Hans, *Die sprachliche Kategorie des Numerus.* Wissensch. Zeitschrift der Univ. Rostock 1 (1951/1952) Heft 3, 1—21. — Vysvětluje pojem čísla jako jazykové kategorie. Číslo se může vyskytovat jen u substantiv, osobních zájmen a u sloves. Proto také hlavní část článku — systematický přehled existujících druhů vyjadřování

kategorie čísla — je rozčleněna do tří kapitol: kategorie čísla u osob. zájmen, u substantiv a u sloves: u sloves se číslo vyjadřuje podle počtu subjektů nebo objektů nebo vzhledem ke kvantitě sloves. děje (násobnost). V průvodních teoretických výkladech jsou obsaženy také výklady některých ide. nominativních koncovek, zvl. u zájmen. — *IN*

Milewski Tadeusz, *Stanowisko składni w obrębie językoznawstwa.* Biul. Pol. tow. jęz., zesz. 11 (1952) 74—92. — „... przedmiotem badań składni gramatycznej jest system konotacji syntagmatycznych wyrazów, konotacji będących konwencjonalnymi i tradycyjnymi środkami budowy zdań i innych grup wyrazowych". — *MK*

Bauer Jaroslav, *Několik poznámek o pojmech slovní spojení, větná dvojice a syntagma.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 26—57. — Přehled pojetí a názorů v linguistice sovětské i české. Různá hlediska žádají různý pohled; do budoucna lze očekávat plodné výsledky zejména od *syntaktického* bádání o slovních spojeních. — *FVM*

*Zawadowski Leon, *Zagadnienie teorii zdań względnych.* Wrocław 1952, Prace Wrocł. tow. nauk., ser. A, nr. 31. — *MK*

*Biese Y. M., *Some Notes on the Origin of the Indo-European Nominative Singular.* Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B 63,5. — Rec.: Lane G. S., Language 27 (1951) 418—419. — *IN*

Джананова Мария, *Учението на Й. В. Сталин за граматическия строеж, неговото развитие и усъвършенстоване.* Български език 2 (1952) 7—19. — Populární výklad. — *FVM*

Slovní zásoba; etymologie; lexikografie

Lamprecht Arnošt, *K otázce základního slovního fondu v českém jazyce.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 58—81. — Úvodem ilustruje na příkladech z různých jazyků závažnost základního slovního fondu pro určení genetické příslušnosti jazyka. Zkoumá trvanlivost jeho jednotlivých složek; nejstálejší jsou t. zv. „služebná" slova, t. j. výrazy úzce spjaté s morfologií. Zvláštní pozornost věnuje poměru základního slovního fondu celonárodního jazyka a dialektů; v podstatě je shodný a z růzností lze vyvodit některá obecně platná zjištění o vývoji základního slovního fondu vůbec. — *FVM*

Tamás Lajos, *A szókincs kérdése a sztálini elmélet megvilágitásában.* Nyelvtudományi közlemények (1952) 3—13. — Výklad o slovní zásobě a základním slovním fondu ve světle Stalinových jazykovědných článků. Slovní zásobu tvoří jádro slovního fondu, které se skládá z kořenných slov, základní slovní fond, který tvoří slova odvozená, a ostatní slovní zásoba. Přechody mezi těmito skupinami jsou plynulé. Úkolem slovnikářské práce je zachytit stav jazyka v takové podobě, v jaké je v současné době všeobecně užíván (je tedy třeba vyloučit úzce odborné termíny, vulgární slova, ojedinělé básnické novotvary a pod.). — *ZH*

Mayrhofer M., *Indogermanische Wortforschung seit Kriegsende.* Arbeiten aus dem Institut für allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft, herausgegeben von W. Brandenstein, Graz. Studien zur indogermanischen Grundsprache. 4. Heft (1952) 39—55. — Podává stručný obsah a kritiku článků a publikací, týkajících se indoevropské slovní zásoby a vyšlých v letech 1945—1952. — *EH*

*Buck Carl Darling, *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-european Languages.* 1949, Chicago. — Rec.: Звегинцев В. А., Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 106—109. — Buck si vzal za úkol vystopovat vývoj nejobecnějších pojmů: k 1.500 klíčových slov-pojmů, roztříděných věcně do 22 kategorií, přiřadil pří-

slušný slovní materiál 30 ide. jazyků — synonyma, doklady sémantického vývoje některých z nich a etymologické response. Recensent podrobným rozborem dokazuje, že se autorovi jeho záměr nezdařil. Synthesa tří principů (sémantického, ideografického a etymologického) zde nebyla uskutečněna; avšak vysoká úroveň etymologické části práce činí z díla užitečný slovník etymologicko-srovnávací. — IN

Thieme Paul, *Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte.* Berlin 1952, Akademie-Verlag, 76 str. — Rozbírá některé řecké mythologické názvy, srovnává je s jinými slovy, hlavně z okruhu árského, a objasňuje zároveň některé stránky náboženského myšlení indoevropského. — EH

Mayrhofer M., *Das Gutturalproblem und das indogermanische Wort für „Hase“.* Arbeiten aus dem Institut für allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft, herausgegeben von W. Brandenstein, Graz. Studien zur indogermanischen Grundsprache, 1952, 4, 27—32. — Odmítá dosavadní spojení ind. názvu zajíce *śaśáḥ* s kymer. *ceinach*, sthn. *haso*, prus. *sasins*, které ukazují na ide. kořen **k'as-*, ‚šedý‘, a spojuje *śaśáḥ* s ind. *śáśati* ‚skákati‘. Od tohoto slovesa [**(s)kéketi*] se tvoří přidáním thematického vokálu jednak nomen agentis *śaśáḥ* ‚skákající‘ > ‚zajíc‘, jednak nomen actionis slov. *skokъ*. Rozdíl mezi palatálou v ind. a velárou ve slov. se dá vysvětlit jednak vlnovou teorií, jednak vlivem samohlásek podle Georgieva (v ind. je sloveso se samohláskou *e*, v slov. jen jméno s vokalismem *o*). — EH

Jensen Hans, *Die indo-europäischen Zahlwörter 10, 100, 1000.* Zeitschrift für Phonetik und allg. Sprachwiss. 6 (1952) № 1/2, 50—57. — Vychází ze známého předpokladu, že ide. **dekᵓm̥* „deset“ je kompositum **de-kᵓm̥* „dvě ruce“. Toto pojetí zdůvodňuje a zpřesňuje. Souvislost komponentu **de-* s ide. číslovkou „dvě“ (*du̯e / du̯o / du, du̯ei̯ / du̯oi̯ / du̯i*) vysvětluje existencí její starší kořenné formy **de-u̯o*. Souvislost komponentu **kᵓm̥ (kᵓem / kᵓom / kᵓm̥)* s pojmem „ruka“ dokládá gótským *handus* „Hand“ (< **kᵓom-tu-s*), jež vlastně znamenalo „Fänger, Greifer“, srovn. gót. *hinþan* „fangen, greifen (< **kᵓem-t-*); mezi četnými příklady sémasiologické rovnice „Hand“ = „Greifer“, Fänger“ uvádí též stsl. *grъstь* (~ ř. ἀγείρειν „sammeln“) a *ręka* (~ lit. *riñkti* „auflesen“). Odtud závěr: **de-kᵓm̥* znamenalo především „zwei Griffe, zwei Händevoll“, přičemž se ke každému prstu řadil jeden z počítaných předmětů. Dále: z **dekᵓm̥* „10“ je utvořeno *(d)kᵓm̥tóm* „100“ kolektivní příponou *-tóm* (srovn. sti. sufix *-ti*: *sapta-* „7“ a *saptati* „70“); šlo by zde tedy o význam „deset počítacích skupin“, t. j. „deset desítek“. Měla-li zde přípona *-tóm* význam augmentativní, pak „100“ mohlo znamenat „velká desítka“, právě tak jako „1000“ znamenalo „velká (silná) stovka“ (gót. *þūsundi* < **pūs-hundi, pūs* ~ sti. *tavas* „stark“) a „milion“ — „velký tisíc“. V závěru zdůvodněno zvláštní postavení číslovky „20“ v ide. jazycích. — IN

Ильинская И. С., *Совещание по вопросам лексикографии (с приложением резолюции лексикографического совещания при Институте языкознания АН СССР).* Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 114—120. — Zpráva o poradě první toho druhu v SSSR. Informuje o aktuálních úkolech sovětské lexikografie, lexigologie a příbuzných oborů (podle Vinogradova) a o konkretních otázkách, jež zde byly projednávány (úkoly a obsah slovníků různých typů, slovníky spisovatelů, účelnost hnízdování slov, zásady zachycování významu slova a rozhraničování jednotlivých významů, otázka výběru dokladového materiálu a j.). — Připojená resoluce především zdůrazňuje, že je nutno prohloubit teoretickou práci v tomto oboru, a uvádí řadu opatření, jež jsou nezbytná k splnění vytčených úkolů. — IN

Фельдман Н. И., *О специфике небольших двухязычных словарей.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 62—84. — Specifičnost takových nevelkých slovníků záleží

v tom, že je zde nutno omezit lexikální materiál i lexikografické (sémantické) výklady slov. Autor se zabývá pouze otázkou omezení lexikálního materiálu, a to ve dvou kapitolách: 1. o výběru slov, 2. o výběru frazeologie. Pojednává jen o slovnících určených pro Rusy (přihlíží většinou k rusko-jinojazyčným). — *IN*

Helcl Miloš, *Za novými cestami československé lexikografie.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 179—191. — Zpráva o bratislavské konferenci 5.—7. VI. 1952 s thesemi přednášek (referátů) a obsahem diskuse. — *FVM*

Významná konference naší jazykovědy. Lit. nov. 1 (1952) . 20. 9. — 5.—6. VI. 1952 v Bratislavě — svolal ČSI. Usnesení stanoví směrnice pro lexikografii na základě Stalinových prací a její úkoly. — *BB*

Jazyk uměleckých děl

Шведова Н. Ю., *К вопросу об общенародном и индивидуальном в языке писателя.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 104—125. — Úvodem pojednává o problematice a významu studia jazyka spisovatele. Jazyk spisovatele pojímá jako odraz celonárodního jazyka dané epochy, v němž jsou obecné jazykové prostředky vybrány a spojeny individuálně. Individuálním v jazyce spisovatele není tak tvoření neologismů, jako především tvůrčí výběr a svérázné ideové využití obecných jazykových prostředků. to autorka ilustruje rozborem jednotlivých stránek jazyka a slohu různých spisovatelů: podává srovnávací charakteristiku individuálního využití některých obecných výrazových prostředků celonárodního jazyka. — *IN*

Степанов Г. В., *О стиле художественной литературы.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 23—37. — Vymezuje vzájemný poměr pojmů „spisovný jazyk", „jazyk umělecké literatury" a „jazyk spisovatele". V uměleckém díle jde o konkretní užití celonárodního jazyka k estetickému a ideologickému účinu, jazyk uměleckého díla proto nese stopy individuality spisovatele („jazyk spisovatele"). Z pouhé jazykové stránky díla ovšem nelze vyvozovat závěry o spisovatelově ideologii; na příkladech ze španělské klasické literatury autor ukazuje, jak ale účinnou zbraní je jazyk spisovatele v ideologickém boji. Názornými příklady jsou zde ilustrovány specifické zvláštnosti jazyka umělecké literatury. — *IN*

O jazyce literárních děl. Překlady vybraných sovětských statí. Přel. Březina F., red. Bauer J., Jelínek M., Večerka R.; spoluprac. Nekrachovová M. a Novák B. 1. vyd. Praha 1952, ČSI, 398 str. — *DK*

Jefimov A. I., *O úlohách štúdia jazyka a štýlu umeleckých diel.* Sov. věda — jaz. 2 (1952) 172—184. — Aplikace Stalinových jazykovědných statí na vědecký výzkum jazyka a stylu literárních děl. — *LD*

Nové časopisy

Вопросы языкознания. Журнал Института языкознания АН СССР. Москва 1952, АН СССР. — Rec.: Галкина-Федорук Е. М., Рус. яз. в школе 13 (1952) № 5, 71—77. — *VB*

Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 1 (1952) č. 1—2, řady jazykovědné č. 1, 194 str. — Nový sborník, jenž od r. 1953 bude vycházet čtvrtletně. Přináší články, diskuse, recense a referáty. Články mají résumé v světových jazycích (rusky, francouzsky, německy, latinsky). Jednotlivá čísla budou vždy celá věnována jednomu oboru (na př. jazykovědě). — *FVM*

Srovnávací jazykověda slovanská

Generalia

Cf. Anketa o nástupu nového srovnávacího studia slov. jazyků, Slavia 21 (1952—1953) 1—49, 169—246.

Dokulil Miloš, Hausenblas Karel: *Konference českých slavistů v Brně.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 101—104. — Zpráva o konferenci s thesemi referátů a záznamem diskusních příspěvků ve zkratce. Viz také zpravodajství za r. 1951. — *FVM*

Historickosrovnávací metoda

Булаховский Л. А., *Сравнительно-исторический метод и изучение славянских языков в свете высказываний И. В. Сталина.* Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Сб. статей. Москва 1952, 237—260. — Naznačuje oblasti jazyka, kde by mělo být užito historickosrovnávací metody. Závažná jsou jeho upozornění na asociační kontaminace a možnosti užití historickosrovnávací metody při vyučování příbuzným jazykům. — *VB*

Кузнецов П. С., *Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 38—55. — K základním úkolům slovanského srovnávacího jazykozpytu patří: úplná rekonstrukce společného základu slovanských jazyků, přesné vymezení relativní chronologie obecně slovanských jazykových jevů, studium vývoje praslovanštiny („jazyka-základu") po jejím odloučení z ide. jazykového základu a historickosrovnávací studium vývoje jednotlivých jazyků slovanských v dobách historických; při tom je třeba sledovat, k jakému vývoji vedou v jednotlivých jazycích společné tendence, kořenící v prajazyku. Všechny tyto úkoly jsou podřízeny úkolu hlavnímu — zjišťování zákonů jazykového vývoje. Stať se podrobněji zabývá zvláště otázkou rekonstrukce slovan. a ide. jazykového základu, otázkou relativní chronologie a zákonů jazykového vývoje. Na příkladech kritisuje nedostatky dosavadní komparatistiky a naznačuje cesty, jimiž má jít nová srovnávací slovanská jazykověda. — *IN*

Havránek Bohuslav, *Srovnávací slovanská jazykověda ve světle Stalinových prací.* Slavia 21 (1952) 1—8. — Úvodní stať k anketě o nástupu nového srovnávacího studia slovanských jazyků. Stará komparatistika uvázla na mělčině, marrismus se snažil srovnávací studium likvidovat vůbec. Po Stalinových statích se stalo všem zřejmé, že jazyková příbuznost slovanských národů je nepopiratelným faktem. „Materiál sám nedává vědecké poznání", jde o nový jeho výklad. V teorii rodokmenového štěpení, v teorii vln a v směru Wörter und Sachen byly dobré prvky; jako celky však tyto metody už nevyhovují; je nutno to, co v nich bylo užitečné, kombinovat, ale ne eklekticky a mechanicky, nýbrž ve shodě s různými situacemi. Autor dále ukazuje na př. na rozdílnost genese jazyků románských a slovanských nebo na menší územní rozsah hláskových změn v češtině předhusitského období, kdy význam jazykového centra byl omezený. Nesmíme také pro studium zvukové stránky jazyka opomíjet bádání v oboru gramatické stavby a lexika. Pro poznání pravých skutečností a souvislostí nestačí studium historické, je třeba zároveň i srovnávací. Srovnávací dějiny slovanských jazyků nejsou totiž mechanickým součtem dějin jednotlivých jazyků. „Studium jednoho jazyka vede ke zjednodušenému obrazu i vývoje tohoto jazyka samého." Dalším nebezpečím se může stát prosté promítání dnešního dělení a poměru slovanských jazyků do minulosti; staré souvislosti často zanikaly v nových proudech a vztahy se nejednou přeskupovaly. Místo úvah o východisku a innovacích je lépe položit otázku poměru stálých a méně stálých jazykových prvků a oblastí. Otázku praslovanštiny budeme studovat za pomoci archeologických dat. Pozor na nebezpečí zjednodušeného chápání procesu: rozchod slovanských

kmenů nebyl současný a další formování jazyků se dálo často za velmi nestejných podmínek. Konečně je třeba věnovat nemalou pozornost tvoření národních jazyků, jejich vývoji a nevždy stejné úloze a funkci jazyků spisovných. — *FVM*

H o r á l e k Karel, *Srovnávací slovanská jazykověda na nových cestách*. Slavia 21 (1952) 9—14. — Hlavním úkolem slavistiky je zdokonalení historickosrovnávací metody. Autor se vyslovuje pro prohloubení studia vývoje jazyka v úzkém vztahu s dějinami společnosti. V slovanských jazycích pozorujeme jisté zákonitosti, jež dosud nemůžeme dobře zdůvodnit a jež ve světle jazykové ekonomie se mohou jednou projevit jako zdokonalování. Je to na př. vyváženost systému samohlásek a souhlásek, deklinace v poměru ke konjugaci, vývoj v důsledku asymetrie (na př. v hláskosloví) a pod. Nikdo dnes nepochybuje, že míšení jazyků zdaleka nemá tu platnost, jakou mu přisuzoval Marr; je však teprve nutno ukázat, jaké místo mu v dějinách jazyků skutečně náleží. Zvláštní případ tohoto procesu máme v kulturním sbližování jazyků, na př. cestou překladů. Důležitým úkolem je také organisace přípravných prací, jako dialektologických, lexikografických a pod., bez nichž není další zdárná vědecká práce dobře myslitelná. Nelze zapomínat však ani na otázky, jež leží mimo dosah samotné historickosrovnávací metody, jako na prohloubení studia srovnávacího vyučování slovanských jazyků a teorie překladu. — *FVM*

Л е к о в Иван, *Сравнително-историческият метод в славянското езикознание*. Slavia 21 (1952) 15—21. — Výhodou srovnávacího studia slovanských jazyků je, že může operovat se staroslověnštinou. Autor varuje před ztotožňováním úlohy staroslověnštiny, jazyka převážně překladového a s funkcí hlavně církevní, s pojmem moderního spisovného jazyka. Žádá revisi jeho vztahu k tehdejšímu skutečně mluvenému jazyku lidu. (Tu je záhodno postupně provést, ale pak bude třeba zbavit se definitivně představy a snad i názvu старобългарски език! — *FVM*) Srovnávat je nutno jednotlivé slovanské jazyky se staroslověnštinou, dále s některými archaickými dialekty a konečně i s neslovanskými jazyky (a co slovanské jazyky mezi sebou, jejich staré fáze? — *FVM*). Čeká nás ovšem také studium vzájemných ethnických vztahů, jež musí jazykovědná bádání provázet. Tím se možná zjistí dosud neznámé migrace a může to přispět na př. k vysvětlení, proč některé provedené změny byly později zrušeny. Při srovnávání pozor na nezávislý paralelní vývoj; i ten nám však může pomoci v odhalování vnitřních zákonů. — *FVM*

M i l e w s k i Tadeusz, *Metoda porównawcza w językoznawstwie słowiańskim*. Slavia 21 (1952) 22—31. — Podává velmi přehledný obraz jazykozpytných metod, jejich podstaty, předností a nevýhod. Pro bádání o vývoji jazyků je historickosrovnávací metoda nejvhodnější a nejužívanější — vedle metody filologické a metody relativní chronologie. Čím větším počtem metod můžeme nějaký jev ověřit, tím bezpečnější je výsledek. Nedostatky historickosrovnávací metody jsou tyto: 1. Nemůže při rekonstrukci říci, zda všechny předpokládané skutečnosti existovaly současně a zda tvořily systém. 2. Často nemůže odlišit výpůjčky od genetického vývoje a stanovit, zda společným východiskem byla jazyková rodina nebo svaz. 3. Někdy sotva můžeme rozeznat vývoj společný od paralelního. 4. Selhává při studiu jazyků s málo rozvitým systémem tvarů a vedlejších tvarů (dublet), jakož i tam, kde silněji zasáhl do vývoje vliv onomatopoje, expresivnosti a pod. Tyto nedostatky však nemusí být vadami v pravém slova smyslu. Jde jen o to, aby badatel si byl vědom, kam až může sahat akční radius historickosrovnávací metody a kde je třeba vzít na pomoc metody jiné. Zajímavé je závěrečné programové stanovisko: Úkolem srovnávací slovanské jazykovědy je studovat slovanské jazyky 9.—13. století jako dialekty jednoho jazyka obecně slovanského („ogólno sło-

wiańska dialektologia historyczna"); jejich shody v této době zpracovávat metodou funkčně srovnávací (metodou obecného jazykozpytu), ale rozdíly zkoumat metodou historickosrovnávací. — *FVM*

Otrębski Jan, *Niezbędne warunki pomyślnego stosowania metody porównawczej w językoznawstwie słowiańskim.* Slavia 21 (1952) 32—36. — Uznává možnost zdokonalení historickosrovnávací metody teoretickými úvahami, ale požaduje především doplnění a zdokonalení materiálu. Žádá především moderní, dokonalé slovníky, popisné gramatiky, dialektologické atlasy atp. — Pak se zabývá vymezením základního slovního fondu a dochází k této definici: „Chodzi tu o zasób wyrazów, właściwych mowie potocznej ogółu społeczeństwa." — *FVM*

Stieber Zdzisław, *Do dyskusji o metodzie porównawczej w językoznawstwie słowiańskim.* Slavia 21 (1952) 42—44. — K historickosrovnávací metodě je v určitých specifických případech vhodné, ba nutné, přibrat na pomoc typologii. Obě metody se navzájem nevylučují a mohou se účelně doplňovat. Nesmíme propadnout znovu mladogramatickému extrému. Ze Stalinových statí vyplývá také, že strukturalismus a fonologie mají v svých metodách mnoho dobrého, co je třeba převzít. — *FVM*

Trávníček František, *Slovanské jazyky ve světle Stalinových statí.* Slavia 21 (1952) 45—49. — Stalinovy stati odstranily škodlivý marrismus a potvrdily genetickou příbuznost slovanských jazyků. Myšlenku o užitečnosti srovnávacího studia slovanského autor ilustruje příkladem: Vývoj plurálové deklinace, zánik některých deklinačních typů (*u*-kmeny a pod.) a některých kategorií slovesné soustavy časů je společný většině slovanských jazyků. V tom autor spatřuje doklad společné tendence, která má funkční smysl — zvýšení výrazové přesnosti, významové zpřesnění. „Srovnání slovanských jazyků prokazuje tedy platné služby při určování linie, zákonitosti jazykového vývoje." — *FVM*

Леков Иван, *Езиковото родство на славянските нации.* Български език 2 (1952) 155—172. — Úvodem zhuštěný přehled starších dějin slovanské filologie, s některými nepřesnostmi: Kosmas (Pražský, kronikář) není 10. století, ale 11.—12., Dalimil není 13. věk, ale 14.). Ukazuje na význam Stalinových statí pro otázku příbuznosti slovanských jazyků. Ilustruje tento fakt doklady z hláskosloví, gramatické stavby i lexika, sice přístupně, ale vcelku nesoustavně, bez nároku na nové pojetí nebo nový materiál. Soudí, že praslovanština se kolem 4. století rozdělila v dialekty západní a východní a o málo později v severní a jižní. Pak přihlíží k vývojové diferenciaci jednotlivých skupin a jazyků; málo při tom přihlíží k společným vývojovým tendencím. — *FVM*

Jakobson Roman, *Studies in Comparative Slavic Metrics.* Oxford Slav. Papers 3 (1952) 21—66. — Pokouší se o rekonstrukci původního slovanského veršového systému. Studuje sbch. desaterac, podává jeho charakteristiku v metrických konstantách i tendencích a srovnává jeho paralely v ostatních slovanských jazycích. Dále probírá metrum pláčů (tužbalice, plači, pričitanija), starin, recitativů a krátkého epického verše. Závěrem se snaží stanovit zákony obecně slovanského verše recitativního, písňového a mluveného. V navázání na Meilletovy studie končí zasazením výsledků do indoevropských souvislostí. — *FVM*

Zvuková stránka jazyka

**Ułaszyn* Henryk, *Kontynuanty prasł.* tort *w językach lechickich.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódzkiego tow. nauk, 1949, nr. 2. — *MK*

Martinet André, *Langues à syllabes ouvertes: le cas du slave commun.* Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 6 (1952) 145—163. — Z pohledu

na vznik otevřených slabik v slovanštině, koordinovaného s pohledem na podobné tendence ve vývoji jazyka francouzského, vyplývá autorovi: 1. Vývoj k otevřeným slabikám ve slovanštině lze vhodně označit za tendenci jazyka, nikoli za zákon. 2. O této tendenci můžeme mluvit tehdy, jestliže se v jazyku v průběhu jedné etapy všechny postvokální prvky (nebo většina jich) oslabily až k zániku. To se projevilo ve dvou různých jazykových oblastech: v praslovanštině a středověké francouzštině. 3. Důsledky praslovanské tendence nezasáhly však všechny dialekty. Litevština nám může ukázat, jaké byly tvary před působením tendence. 4. Na stsl. můžeme zjistit eliminaci implosiv s pravděpodobným postupem od oklusiv k neslabičným samohláskám. 5. Hlavní a trvalý prvek fonologické individuality samohlásek je (kromě jejich stupně otevřenosti) vliv labiovelarisující, nepalatalisující nebo palatalisující, kterým působí na předcházející souhlásky, a ne stupeň hloubky čistě vokalické výslovnosti. Tyto charakteristické prvky se *a*) přenášejí na předcházející konsonant; *b*) na absolutním začátku slova se z nich vyvíjí prothetická hláska *w* nebo *j*; *c*) spolupůsobí při vývoji vokálů: po ústupu labiovelárních prvků *$\bar{o}$ na předcházející konsonant se ryze vokalické živly patrně mísily s výsledkem *$\bar{a}$; fonologická záměna labiovelarisace a non-palatalisace měla za následek záměnu dvou původních fonémů *$\bar{o}$ a *$\bar{a}$; oba nové fonémy *ě* a *a* se liší opět hlavně jen schopností a neschopností palatalisovat. 6. Detaily z vývoje vokálů a difthongů, skup. *-*kt*- a *-*tj*-, vznik koncovky 3. sg. a 7. pl. *o*-kmenů a palatalisace v rámci odstranění implose, které se projevovalo anticipací výslovnosti a bylo nástrojem tendence k otevřeným slabikám. — *DK*

S t a n g Chr. S., *Sur l'accentuation des verbes causatifs et itératifs en slave.* Norsk tidskrift for sprogvidenskap 16 (1952) 263—270. — Odmítá domněnku Vondrákovu, Dielsovu a v. Wijkovu, že slovanská deverbativa na *-iti* měla původně přízvuk pohyblivý, totiž v 1. os. na kořeni, v ostatních na koncovce. Na základě materiálu, hlavně staroruského, dokazuje, že takový přízvuk měla původně jen iterativa, kdežto kausativa měla stálý přízvuk na koncovce. I ostatní slovanské jazyky potvrzují tuto teorii. V ruštině, bulharštině a lechických jazycích kausativa později částečně přešla k přízvukovému typu pohyblivému. — Stranou stojí deverbativa (kausativa i iterativa) se stálým přízvukem na kořeni. Ta jsou ještě problémem. U většiny se dá však jejich přízvukování vysvětlit vlivem přízvuku sloves primárních. — *EH*

A p p e l Wilhelm, *Gestaltstudien. B. Analyse der Gestalt eines Sprachphänomens.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 95—102. — Čistě fonetickou a statistickou metodou rozbírá kymografický zápis české věty *Otec je doma,* vyslovené rozličným způsobem (věta oznamovací, otázka, údiv, nevole, radost; bez zvláštního přízvuku i s důrazem na různých větných členech). Studuje na tomto materiálu prosodické vlastnosti věty a snaží se zjistit jejich funkci. (Článek bude mít pokračování.) — *FVM*

Gramatická stavba

V a i l l a n t A., *Grammaire comparée des langues slaves.* Tome I. Viz Slavia 20 (1951) 557. — Rec.: S t a n g Chr. S., Norsk tidskrift for sprogvidenskap 16 (1952) 433—451. — Recensent za nejlepší pokládá části popisující současný i bývalý stav jednotlivých jazyků slovanských. Uznává též novost a smělost Vaillantových teorií, ale stinnou stránkou knihy, která chce být studijní příručkou, je to, že autor vedle svých, často jen dogmaticky prohlášených a neodůvodněných teorií nepodává názory dosud uznávané. Dále recensent podává kritiku mnoha jednotlivých autorových domněnek, zejména z oblasti baltských jazyků. Nesouhlasí též s tím, že autor promítá každý jev slovanský do doby baltoslovanské. — *EH*

*Nahtigal Rajko, *Slovenski jeziki.* 2. přepracované vydání. Ljubljana 1952. 335 str. — *FVM*

*Šerech Jury, *Probleme der Bildung des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen.* Lund 1952, 171 S. — *FVM*

Rösler Karl, *Beobachtungen und Gedanken über das analytische Futurum im Slavischen.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 103—149. — Zkoumá rozšíření perifrastického futura *bǫdǫ* + infinitiv v slovanských jazycích v perspektivě územní i časové. Tato konstrukce je od dávných dob běžná v jazycích západoslovanských, běžná, ale mladší je v jazycích větve východní; složitější poměry jsou v nářečích srbskocharvátských, v stsl. a v bulh. je neznámá. Připojuje úvahu o futuru v ostatních jazycích ide. Zvláště podrobně si všímá situace v němčině. Ze srovnání germánského a slovanského futura a z okolnosti, že v jazycích slovanských je patrný směr šíření od západu k východu, vyvozuje, že jde o vliv německý. Uvažuje-li však autor o konstrukci s infinitivem, nemůže dobře ponechat stranou sch. futurum s *(ho)ću* a také nemůže přeceňovat vliv jednotlivých slovanských jazyků na sousedy (na př. běloruštiny nebo ukraj. na velikoruštinu). Závěry jsou přece jen poněkud mechanické. — *FVM*

Etymologie, onomastika a toponomastika

Ачарян Р. А., *О составлении этимологического словаря славянских языков.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 91—98. — Autor etymologického slovníku arménského jazyka zde podává podrobný návod k vypracování velkého etymologického slovníku slovanských jazyků. Jeho základem má být ruský jazyk jako „nejbohatší a nejrozšířenější z jazyků slovanských". Ve snaze o dokonalost a úplnost autor pojímá takovýto slovník příliš široce: slovník má mimo jiné sledovat i hledisko ideografické (na př. u hesla *сын* má odkazovat k ide. *putra*), u každého slova uvádět i historii jeho etymologií (včetně mylných) a údaje o vlivech ruštiny na jazyky celého světa. — *IN*

Георгиев Владимир, *По въпроса за етимология на славянските думи и недостатъците на сравнително-историческия метод.* Български език 2 (1952) 247—248. — Na příkladu slova „břeh" ukazuje, jak různý, a někdy nesprávný, předpoklad ide. stavu může vést k různým, i chybným etymologickým závěrům. Předpokládáme-li tři řady velár, je slovanské *brěgъ* výpůjčkou z germánštiny nebo jiného kentumového jazyka nebo málo přesvědčivou variantou; stojíme-li však na stanovisku dvou řad velár, je takový předpoklad zbytečný. — *FVM*

Cronia Arturo, *Revision der slavischen Eigennamen im alten Evangeliar von Cividale.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 6—21. — Popis a dějiny Cividalského evangeliáře (jeho součástí je Dobrovského Evang. sv. Marka). Autora zajímají přípisky slovanských osobních jmen z 8.—10. století, o nichž naposled pojednal J. Stanislav v Slavii 18 (1947) 87—100. Cronia srovnal Bethmannovo vydání gloss, jež dosud bylo východiskem badatelům, s originálem a zjistil, že je nespolehlivé jak co do úplnosti, tak i s hlediska věrnosti. Rački a Stanislav prý i z Bethmanna čerpali ještě s řadou dalších omylů. Nové vydání památky je naléhavou nutností. (V bibliografii se neuvádí Stanislavův článek v Acta Academiae Velehradensis; viz Slavia 19 [1950] 528—532). — *FVM*

Aalto Pentii, *Zur Etymologie von „Ulan".* Neuphilologische Mitteilungen 53 (1952) 3—8. — Kulturně historickými údaji osvětluje etymologii něm. vojenských termínů východního původu: *husar* z maď. *húsz* „dvacet" nebo ze sch. *gusar* „lupič" *Hurrah* < rus. *ура* z tur. a kirgiz. *urān* (válečný pokřik, heslo). *Ulan* < pol. *hulan* z *ulan*, stavovského to nebo rodového názvu polských Tatarů, potomků Zlaté hordy;

ulan lze tedy vyvozovat z tur. *oγlan* „syn“, „jinoch“ nebo — spíše — z mongol. adj. *ulān* „červený“, jež jako název jízdní jednotky souviselo s barvou uniformy. — *IN*

Kniezsa István, *A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Dunátúlon.* A Magyar Tudományos Akadémia nyelv- és irodalomtudományi osztályának közleményei (1952) 2. kötet, 373—397. — Předneseno jako přednáška na zasedání Maďarské akademie věd. Polemika proti stanovisku J. Stanislava, že původními slovanskými obyvateli Podunají před vpádem Maďaru byli Slováci. Maďarské lexikální výpůjčky ze slovanských jazyků mají charakter převážně jihoslovanský. Co se týká místních jmen, stojí Stanislav na stanovisku Melichově, že prozrazují západoslovanský původ. Kniezsa Stanislavovy důvody obšírně vyvrací a dokazuje, že praobyvatelé Dunajské kotliny byli Jihoslované. Vedou ho k tomu tyto důvody: 1. zachované *l* epenthetické v místních jménech, 2. *l* na místě starých skupin *tl, dl,* 3. maďarské *ty (ť),* které obráží jihoslovanské *ć* nebo *č* za pův. *tj.* V diskusi k této přednášce vystoupili Hadrovics, Angyal, Gáldi a Moór. Z diskuse vyplynulo, že staré slovanské osídlení bylo patrně řídké a nemuselo ani být jednotné. — *ZH*

Kiparsky Valentin, *The Earliest Contacts of the Russians with the Finns and Balts.* Oxford Slav. Papers 3 (1952) 67—79. — Etymologická studie řady lexikálních výpůjček. Pokouší se o relativní a někdy i absolutní chronologii přejetí a částečně o zasazení do historických souvislostí. — *FVM*

*Kiparsky V., *L'histoire du morse.* Helsinki 1952, 54 pp. — Výraz „mrož“ je laponského původu a přes ruštinu pronikl i do západních jazyků, významově často pozměněný. — *FVM*

Beneš Pavel, *K významu a etymologii rumunského slovesa* a se oţărî. Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 166—168. — Sloveso je etymologicky i významově totožné s lanžhot. dial. *ocířat sa* (= „míti kyselý výraz tváře, ohrnovati rty“ a pod.). Autor dovozuje, že je slovanského původu. Je však nejistý (a poněkud mechanický) závěr, že souhlasný výskyt, omezený na češtinu, slovenštinu, srbocharvátštinu a bulharštinu ukazuje na původ církevněslovanský (?). — *FVM*

Varia

*Verdiani Carlo, *Il Problema dell' Origine degli Slavi.* Firenze 1951, La Nuova Editrice, 122 pp. — Rec.: Taillez Frédéric, *Les Slaves: Langues et races.* Orient. Christ. Period 18 (1952) 198—203. — *FVM*

Badalić Josip, *Incunabula quae in Populari re publica Croatia asservantur.* Zagrabiae 1952. — *Inkunabule u Narodnoj republici Hrvatskoj.* Zagreb 1952, JAZU, 248 str. — Obecný kulturně historický úvod, naleziště prvotisků, struktura sbírky a její význam, tiskařský původ inkunabulí. Následuje podrobný katalog s poznámkami. Bohatě fototypicky ilustrováno. Kromě tisků latinských jsou tu i inkunabule slovanské, a to latinkou, hlaholicí i cyrilicí. — *FVM*

Jazyk a písemnictví staroslověnské a církevněslovanské

Jazyk

Никифоров С. Д., *Старославянский язык. Учебное пособие для учительских и педагогических институтов.* Москва, 1952, Учпедгиз, 112 стр. — *VB*

Бончев Атанасий, *Църковнославянска граматика със сборник от образци за превод и Речник на църковнославянски език.* София 1952, Синод. изд., 235 стр. — Gramatika a slovník nové církevní slovanštiny. — *FVM*

Ritig Svetozar, *Slovo i riječ*. Slovo 1 (1952) 4—5. — Populární a vcelku frázovitý výklad slova „slovo“, jež je názvem nového časopisu. Při aplikaci na staroslověnský začátek evangelia sv. Jana je autor-kněz ku podivu exegeticky zcela neinformován. — *FVM*

Aitzetmüller Rudolf, *Abg.* kovъ, ἐπιβουλή, *Nachstellung*. Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 155—156. — Bernekerův výklad (od slovesa *kovati*) předpokládá změnu významu a naráží tak na obtíže. Proto doporučuje vést etymologii od kořene **qeu-* (*čują, čuti; čudo* atd.). — *FVM*

Grivec Fran, *SYNTHRONOS* ⰔⰟⰒⰓⰡⰔⰕⰑⰎⰠⰐⰟ *Sъprêstolьnъ*. Slovo 1 (1952) 6—18. — Nejstarší doklady tohoto slova máme v Euch. Sin. Článek zkoumá, jakému řeckému ekvivalentu výraz odpovídá. Studuje jeho výskyt v Domentianově Životě sv. Sávy a vyvozuje z toho závěry pro Sávův poměr k východní a západní církvi. Francouzské résumé. — *FVM*

Památky

Георгиев Емил, *Славянская письменность до Кирилла и Мефодия*. София 1952, БАН, 96 стр. — Rec.: Кондрашов Н. А., Вопросы языкознания 1 (1952) № 6, 144—150. — Georgiev vidí v nových objevech starých slovanských nápisů potvrzení toho, že již v době Konstantinově existovalo slovanské písmo (ruské písmo negótského původu). Dokazuje, že tímto písmem byla cyrilice, vzniklá přizpůsobením řeckého písma slovanskému jazyku již před vznikem hlaholice. Pro nedostatek faktického materiálu recensent považuje tuto hlavní autorovu thesi za nedokázanou; v závěru cituje F. V. Mareše, jenž ve svém rozboru gnězdovského nápisu [Slavia 20 (1951) 497—514] ukázal, že ani tak starobylá památka jako gnězd. nevede k revisi otázky o prioritě hlaholice. — *IN*

Słoński Stanisław, *Wybór tekstów starosłowiańskich (starobułgarskich)*. Wyd. 2. poprawione i uzupełnione. Warszawa 1952. — *MK*

Lettenbauer Wilhelm, *Eine lateinische Kanonessammlung in Mähren im 9. Jahrhundert*. Orient. Christ. Period. 18 (1952) 246—269. — Objevil a vydal slovanské glossy z 2. pol. IX. stol., vryté latinkou na pergamenový latinský sborník kanonického práva záp. církve. Kodex je byzantsko-ravenského původu a byl patrně poslán z Říma na Moravu. Je tam glossován 34. apoštolský kánon, který je také citován v bulle Industriae tuae. Glossy jsou převzaty z velkomoravského překladu Synagogy Jana Scholastika o 50 titulech. Autor je klade do r. 880. Tím by se potvrzovala pro tento rok existence slovanského překladu nomokanonu a glossy by byly nejstarším záznamem slovanského jazyka. — *FVM*

Hamm Josip, *Glose u Radonovoj bibliji*. Slovo 1 (1952) 19—33. — Soudí, že t. zv. Vídeňské glossy (Jagićovy) vznikly v centrálním jazykovém území charvátském, a po nových studiích Kniewaldových je uvádí v souvislost s prvním záhřebským biskupem Duhem, který byl českého původu. — *FVM*

Žic Nikola, *Glagoljsko pismo Nikole Mudruškoga*. Slovo 1 (1952) 33—35. — List modrušského biskupa Nikoly, hájící slovanskou liturgii, byl psán mezi r. 1477 a 1480. — *FVM*

Vajs Josip, *Najstariji hrvatskoglagoljski misal*. Zagreb 1948, IX + 173 str. — Rec.: Štefanić Vj., Slovo 1 (1952) 47—55. — *FVM*

*Štefanić Vjekoslav, *Jedna hrvatskoglagoljska inkunabula iz godine 1491*. Prilog izučavanju glagolaškog kalendara. Rad 285, 53—93. — Rec.: Hamm Josip, Slovo 1 (1952) 55—58. — *FVM*

*G r e g o v Ljudevit, *Kalendar prvog tiskanog glagoljskog misala. Izvadak iz loktorske disertacije „Prvi tiskani glagoljski misal“*. Zagreb 1952, vl. nakl., 59 str. — Rec.: H a m m Josip, Slovo 1 (1952) 55—58. — *FVM*

*V r a n a Josip, *Hrvatskoglagoljski blagdanar. Studija o pravopisu, jeziku i podrijetlu novljanskog rukopisa iz godine 1506*. Rad 285, 95—179. — Rec.: H a m m Josip. Slovo 1 (1952) 59—63. — *FVM*

M o š i n Vladimir, *Poljičke konstitucije iz 1620. i 1688. godine*. Radovi Staroslavenskog instituta 1 (1952) 175—206. — Edice biskupských konstitucí z protireformační doby, psaných bosenskou cyrilicí. Důležitý materiál k studiu vývoje bosenskoyrilského pravopisu. Připojen jmenný index a seznam důležitých slov a termínů. — *FVM*

Š t e f a n i ć Vjekoslav, *Glagoljski notarski protokol iz Draguća u Istri (1595—1639) s uvodom o Draguću i njegovim glagoljskim spomenicima*. Radovi Staroslavenskog instituto 1 (1952) 73—174. — Publikují se hlaholská grafita 15. a 16. stol. Dále informace o hlaholské matrice 16.—18. stol., o hlahol. breviáři z r. 1407, o dvou zlomcích misálu z 14. a 15. stol; ilustrováno ukázkami textu i přípisků. Následuje edice Matkovićova protokolu (115—157) s podrobným rejstříkem osobních a místních jmen a s výběrovým indexem významnějších appellativ. Připojen seznam příjmení z křestní a oddací matriky z let 1579—1650. — *FVM*

T u r d e a n u Émile, *Le métropolite Anastase Crimca et son œuvre littéraire et artistique (1608—1629)*. Revue des Études slaves 29 (1952) 54—70. — Studie o životě a díle zakladatele dragomirnenského kláštera. Anastasius tam osnoval školu, jež měla přivést k obrodě církevněslovanského písemnictví v Moldavsku; byl to poslední a mocný vzmach tohoto směru právě v době, kdy se začíná definitivní nástup rumunského jazyka. V článku je též výčet Anastasiových děl — *FVM*

G i a n n e l l i Ciro, *Un atto di Leone Voevoda di Ugrovalacchia per il monastero della S. Trinità di Bucaret (1631)*. Orient. Christ. Period. 18 (1952) 383—393. — Historický úvod, popis, edice (cyrilskými typy) a italský překlad moldavsko-církevněslovanské listiny. — *FVM*

Г е р а с и м о в Т., *Два славянских моливдовула XI и XIII веков*. Byzantinoslavica 13 (1952) 93—100. — Archeologická a paleografická studie o pečeti kyjevského Ratibora (1079—1113) a pečeti trnovského patriarchy Visariona z poč. 13. stol. Obě jsou olověné, opatřeny obrazovými reliefy a slovanskými nápisy: ⊙ (= ἅγιος) Климент, ѡт ратибора; нсарнѡн мл҃стиѫ б҃жиеѫ пт҃рнарх блгароѡм. — *FVM*

L o o s M., *Le prétendu témoignage d'un traîté de Jean Exarque intitulé „Šestodnev“ et relatif aux bogomiles*. Byzantinoslavica 13 (1952) 59—67. — Ani Šestodnev, ani Besěda Kosmy Presbytera nepotvrzují existenci bogomilského učení, že ďábel je starším synem Božím. Památek bulharského bogomilismu je málo, takže nepostačují k důkazu, že na př. tato herese se z Byzance nerozšířila k bogomilům bulharským; ale vidíme, že nelze všechny znaky této sekty v Byzanci mechanicky předpokládat i u její bulharské odnože. — *FVM*

S c h u l t z e B., *Untersuchungen über das Jesus-Gebet*. Orient. Christ. Period. 18 (1952) 319—343. — Přihlíží také k církevněslovanskému textu. — *FVM*

H e p p e l l M., *The "Vita Antonii", a Lost Source of the "Paterikon" of the Monastery of Caves*. Byzantinoslavica 13 (1952) 46—58. — Pečerský Paterik má základní význam, protože obsahuje prakticky veškerý pramenný materiál jediného kláštera, založeného v Kyjevské Rusi před mongolským vpádem. Jeden ze ztracených pramenů této památky, Vita Antonii, nebyl dosud pokládán za vážný historický spis. Autor je opačného názoru, už proto, že je lépe dosvědčen než druhá ztracená předloha — soukromá

klášterní kronika. Snaží se zjistit o spisku Vita Antonii vše, co je možné. Byl dobře znám v Pečerské lavře kolem r. 1099, vznikl však asi až po napsání Života Feodosijova. Část legendy je reprodukována ve vyprávění Simona a Polykarpa. Zdá se, že autor byl jedním z přímých žáků Polykarpových. Života Antonínova bylo snad použito při sestavování nejstarších letopisů, ač mezi jejími údaji a letopisy není vždy shoda. — *FVM*

Del Medico H. E., *Les Esseniens dans l'œuvre de Flavius Josèphe.* Byzantinoslavica 13 (1952) 1—45 (à suivre). — Mezi různými texty spisu Iossipon používá také staroruský překlad, kriticky vydaný kdysi Istrinem a pak Pascalem a Vaillantem (s francouzským překladem). Uvádí na pravou míru jak dosavadní tvrzení, přeceňující slovanskou versi, tak i názory, že slovanský překlad je bezvýznamný. Jeho hlavní cenu vidí v textových vynechávkách, které pomáhají posoudit povahu řecké předlohy. — *FVM*

Hamm Josip, *Datiranje glagoljskih tekstova.* Radovi Staroslavenskog instituta 1 (1952) 5—72. — Důležitý článek, ukazující, že časové údaje o vzniku památky podle přípisku třeba někdy vykládat opatrně. Tak pozměňuje datování Fraščićova žaltáře, II. breviáře Vrbnického a j. Mnoho pozornosti věnuje Baščanské ploče, jejíž dosavadní datování verifikuje. Připojeno několik snímků a přepisů latinkou. — *FVM*

*Cvitanović Vladislav, Filipi Amos-Rube, Vlasanović Petar, Strgačić Ante: *Popis glagoljskih kodeksa u zadarskoj biskupiji.* Starine 43 (1951—1952). — Ref.: Slovo 1 (1952) 68—69. — Hlavně matriky, zádušní knihy, agenda atp. od 16. do 19. století. — *FVM*

Glagolitika u fototekama Jugoslavenske akademije i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Slovo 1 (1952) 83—85. — Uveden jmenný seznam mikrofilmů a fotokopií. — *FVM*

Mošin Vladimir, *Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. II. dio, reprodukcije.* (Zagreb) 1952, JAZU, 148 str. — 173 fotografických reprodukcí z cyrilských rukopisů 12.—19. století. — *FVM*

Brlek Mijo, *Rukopisi Knjižnice Male braće u Dubrovniku.* Knj. I. Zagreb 1952, JAZU, 328 str. — Historie knihovny, její dnešní stav; popis rukopisů; konkordance rukopisů této knihovny s rukopisy knihovny Ćulićovy; jmenný rejstřík a řada snímků. — *FVM*

Trócsányi Zoltán, *Cirill — betűkkel írt magyar szövegek.* Magyar nyelvőr 76 (1952) 245—248. — Dosud zjištěné maďarské texty psané cyrilicí jsou tyto: 1. Moháčská památka — text maďarského Otčenáše, zapsaný patrně rumunským knězem, 2. text zpovědní formule z konce 18. stol., 3. maďarská mluvnice z r. 1855. Autor uvádí ještě některé jiné bezvýznamné případy užití cyrilského písma pro maďarský jazyk. — *ZH*

Cyrilometodějské otázky

Grivec Franc, *Quaestiones Cyrillo-Methodianae.* Orient. Christ. Period. 18 (1952) 113—134. — Kapitoly: I. De carceribus S. Methodii. II. Sapientia divina et honores praeaviti. III. *Unynije, lěnosť, podvig* — acedia, segnities, certamen. IV. Doctor — *Učitel'.* V. Lumen ad lumen — *Svět k světu.* VI. De authentia epistolae „Gloria in excelsis Deo" Hadriani II. VII. De monumento Il Frisingensi. — *FVM*

Grivec France, *Prepir o Metodovih ječah.* Zgodovinski časopis 6—7 (1952—1953) 159—170. — Metoděj byl jat patrně na Moravě, když Svatopluk odstranil Rostislava a příklonil se k Ludvíku Němci. Odvlečen byl patrně do pasovské diecése a vězněn v Niederaltaichu a Ellwangen. — *FVM*

Stephanou P., *Les débuts de la querelle photienne vus de Rome et de Byzance.* Orient. Christ. Period. 18 (1952) 270—280. — *FVM*

*Dölger Franz, *Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterland von Thessalonike.* Sitzungsberichte der Bayerischen Akad. d. Wissensch., Philos-hist. Klasse (1952) Heft 1, 28 S. — Rec.: Hofmann Georg, Orient. Christ. Period. 18 (1952) 446—447. — *FVM*

Varia

Raes A., *Le Dialogue après la Grande Entrée dans la Liturgie byzantine.* Orient. Christ. Period. 18 (1952) 38—51. — Srovnává liturgické paralely východní i západní, mezi jinými též lit. sv. Petra. — *FVM*

Nové časopisy

Slovo. Časopis Staroslavenskog instituta 1 (Zagreb 1952) 86 str. — Časopis nově založeného ústavu. Odp. red. Svetozar Ritig. První číslo připravil Josip Hamm. Časopis přináší speciálně paleoslovenistické články a cenné materiály, zejména z dalmatského pobřeží a z Istrie. V zpravodajském přehledu sleduje domácí i zahraniční slavistické časopisy. K referátu o Byzantinoslavica 8: Jak mohla redakce dopustit otištění nevědeckého a málo slušného tvrzení, že prof. Vajs „není ani linguista a není ani filolog“ (sic! str. 72)? Svědčí to o hrubé neznalosti jeho práce nebo o zaujatém postoji k českému vědci? — *FVM*

Radovi Staroslavenskog instituta. Knjiga 1. Zagreb 1952, 207 str. — Sborník obsáhlejších studií. První svazek připravil Vjekoslav Štefanić. — *FVM*

Jazyk bulharský

Stavba zvuková a mluvnická; tvoření slov

Стойков Стойко, *Палаталните съгласни в българския книжовен език.* Изв. на Инст. за бълг. език 1 (1952). — Stojkovův závěr k známé diskusi, jež částečně probíhala také na stránkách Slavie. — Ref.: Frinta Antonín, Slavia 22 (1953) 593 až 594. — *FVM*

Обсуждение вопросов грамматики болгарского литературного языка. Славяне (1952) № 7, 63. — Kratičká zpráva o diskusi v Institutu slavjanovedenija AN SSSR. Přednášeli: S. S. Bernštejn, Je. V. Češko a Ju. S. Maslova. Diskuse se účastnili slavisté z Moskvy, Leningradu, Oděsy a Lvova. — *FVM*

Леков Иван, *За една от оспорваните т. н. балкански черти в българския език.* Български език 2 (1952) 112—113. — *Да* + indikativ místo infinitivu není balkanismus, ale prý uskutečnění staré, snad již praslovanské tendence. — *FVM*

Чолакова Кр., *Характерни особености в употребата и изговора на частицата* а. Български език 2 (1952) 105—109. — FVM

Андрейчин Любомир, *Към въпроса за аналитичния характер на съвременния български език.* Български език 2 (1952) 20—35. — Zabývá se hlavně těmi morfologickými případy, které jsou v přímém vztahu k stavbě věty. Analytický charakter moderní bulharštiny je výsledkem zvláštních vnitřních zákonů vývoje jazyka a bylo by velmi chybné domnívat se, že se v tomto ohledu ostatní slovanské jazyky za bulharštinou jen opozdily. Tím méně je v těchto otázkách třeba hledat těžiště problému větší nebo menší dokonalosti jazyka. Podrobně probírá zbytky pádové deklinace v bulharštině, o nichž však nutno vědět, že jsou výjimkami a jako takové jsou podrobeny živému systému, který je odlišný. Na jejich podkladě není možno dovozovat synthetickou povahu jazyka. V obsáhlém rozboru bulharské gramatické soustavy popírá tvrzení Teodorova-

Balana, že v bulharštině existují pádové kategorie ve vědomí, „pádové vztahy". Bulhar, ovládající cizí jazyky se ovšem musí mít na pozoru před takovou interpretací, poněvadž přenesení faktů z druhých jazyků se tu nabízí samo sebou. — *FVM*

Мирчев Кирил, *За смесването на окончанията в минало свършено и минало несвършено време на глаголите в български език.* Български език 2 (1952) 36—45. — Proces směšování koncovek aoristu a imperfekta se začal už v staroslověnštině a v střední bulharštině dosáhl dnešního stavu. Příčinu vidí autor v staré podobnosti koncovek některých osob. Bulharština, která zachovala oba jednoduché časy, měla více času k tomu, aby důsledněji provedla sblížení, než jazyky, v nichž nesložené časy záhy vymizely; i v těch je však možno pozorovat začátky této tendence. Škoda, že Mirčev nesáhl k důkladnějšímu srovnání s těmi slovanskými jazyky, které aorist a imperfektum mají dodnes jako bulharština. Právě okolnost vidového rozhraničení a tím vlastně splynutí v jediné praeteritum v lužické srbštině by mohla ve srovnání s odlišnými poměry v bulharštině přinést plodné výsledky. — *FVM*

Теодоров-Балан Александър, *Видово превращение у наши глаголи.* Български език 2 (1952) 218—226. — Autor se opírá o jinou vidovou soustavu, než na jakou jsme zvyklí. Vidové proměny zasahují jen slovesa s videm „kvantitativním" (aspectus, Aktionsart — tedy způsob slovesného děje, podle naší terminologie). Vidovou proměnou nazývá zaměňování jedné „vidové" formy druhou, aniž se to podstatně dotýká významu. Příklad: *сладко и красно е* — 1. *да се мре за отечество,* 2. *да се умре за отечество,* 3. *да се умира за отечество.* Pozoruje, jak se to formálně obráží u sloves (s ohledem na jemné významové nuance). Polemisuje s Kostovem, který o těchto věcech pojednal v časopise Език и литература 2 (1947) кн. 3—4, 38—46. Nesouhlasí zejména s názorem, že tvorbou jedinců se nevyvíjí spisovný jazyk a že „klasikové" umělecké řeči nepotřebují jazykového usměrnění. — *FVM*

Спасова А., *Словообразователната функция на суфикс -ец в днешния книжовен български език.* Български език 2 (1952) 261—267. — *FVM*

Jazyková kultura a pravopis

Андрейчин Любомир, *За формата на предлога* от *в нашите диалекти и в книжовния език.* Български език 2 (1952) 111—112. — Dialekty mají předložku *od* Grafika s *-t* byla přejata v době bulharského obrození z církevní slovanštiny a z ruštiny. Nicméně pod vlivem pravopisu se výslovnost s neznělou souhláskou na konci stala ortoepickou. V úvodu je drobná nesprávnost: lužická srbština tu nemá *-d,* jak se tvrdí, ale jen *wot,* dluž. *wót, wóte.* — *FVM*

Костов Никола, *Особени случаи за неустановеност в правописа на българския книжовен език.* Български език 2 (1952) 227—235. — Pojednává o těchto kolísáních: *обращение / обръщение; боеве, змееве, чаеве / бойове, змейове, чайове; воин, таинство / басейн, емайл; мелеш, колеш* (od *меля, коля*) */ мелиш, колиш; идеализъм — идеализмът — идеализма; нося, крада, носят, крадат / носа, крадя, носат, крадят; просяк, люляк, паяк / просек, люлек, паек.* — *FVM*

Дуриданов Иван, *Някои особености в ударението на български селищни имена.* Български език 2 (1952) 236—242. — Pokus o normativní ustálení kolísajícího přízvuku místních jmen. — *FVM*

Андрейчин Любомир, *Изговор и транскрипция на руски имена в български език.* Български език 2 (1952) 248—252. — *FVM*

Стойков Стойко, *Съкратени думи в български език.* Език и литература 7 (1952) 227—230. — Otázka nových zkratek, hlavně iniciálových. — *FVM*

Илчев Стефан, *Грешки с давност*. Български език 2 (1952) 270—271. — Vytýká překladatelské chyby s poukazem, že vedoucím hlediskem musí být smysl. Mezi jiným kritisuje nesprávný překlad českého *Prodaná nevěsta* bulharským *Продадена невеста* a navrhuje překlad *Продадената годеница* (nebo *изгора*). — *FVM*

Dialektologie

Бернштейн С. Б., *Атлас болгарских говоров СССР*. Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 135—141. — Informace o historii přesídlení Bulharů na území Ruska, o metodě a technice mapování při sestavování třísvazkového Atlasu bulharských nářečí SSSR. — *VB*

Маневик' Тодор, цѣ- > ца- *во некои македонски говори*. Македонски jазик 3 (1952) 35—37. — *FVM*

Slovní zásoba

Стойков Стойко, *Основен речников фонд и речников състав на български език*. Български език 2 (1952) 46—62. — Vymezuje, které druhy slov patří základnímu slovnímu fondu a které skupiny slov jej rozšiřují na slovní zásobu. Na bulharském materiále ukazuje a vysvětluje pojem základního slovního fondu i slovní zásoby, jejich charakteristické vlastnosti a vzájemný poměr. — *FVM*

Георгиев Владимир, *Към изследването на речниковия състав на нашия език. 1. Думи, които започват с* а. Български език 2 (1952) 63—68. — Jen asi 4% slov, začínajících *a*-, jsou slovanského původu. 90% takových výrazů jsou slova mezinárodní, původu řeckého (34%), latinského (21%) a francouzského (17%). Do bulharštiny přešla nejčastěji přes ruštinu a stala se trvalou součástí slovní zásoby. Jen asi 4% jsou z turečtiny a většinou pozvolna odumírají. 8% tvoří odvozeniny od vlastních jmen. — *FVM*

Андрейчин Любомир, *Ролята на руски език в развитието на съвремения български книжовен език*. Български език 2 (1952) 173—182. — Studie, ukazující vliv ruštiny na spisovnou bulharštinu v oblasti lexika, frazeologie a (výjimečně) gramatiky. Takový vývoj umožnila blízkost obou jazyků i úzké kulturní vztahy obou národů. Problém je řešen i v světle historického pohledu. Zkráceně vyšlo v časopise Славяне (1953) № 9, 34—38: *Роль русского языка в развитии современного болгарского литературного языка*. — *FVM*

Etymologie, onomastika a toponomastika

*Дуриданов Иван, *Упътане за събиране на собствени имена*. София 1952, БАН, 15 стр. — *FVM*

Bernard Roger, *Trois mots d'origine allemande en bulgare*. Revue des Études slaves 29 (1952) 115—116. — *Драмбо́й* < (Maul-)trommel, *жуме́рки* < Schmarren (rakouský výraz) a *ли́тра* < (Wagen-)leiter. — *FVM*

Костов К., Бита̀нка, жа̀га, пла̀вец *и* шпо̀ра. Български език 2 (1952) 114. — Významy a literární doklady těchto několika slov, jež do západních bulharských nářečí pronikla ze srbocharvátštiny. — *FVM*

Леков Иван, *Ново осмисляне на думата* победа. Български език 2 (1952) 113—114. — Jde o význam „pracovní vítězství", „úspěch", který se ujímá v nových skutečnostech pod vlivem ruštiny. — *FVM*

Димитрова М., *Произход и значение на думата* мир. Български език 2 (1952) 109—111. — Užitečný přehled významů v současné bulharštině, etymologický výklad slabý. — *FVM*

Генадиева-Мутафчиева Зара, *Думата глава в българския речник.* Български език 2 (1952) 69—77. — Studuje historický vývoj i dnešní stav významového okruhu daného výrazu v bulharštině. Snaží se vystopovat cesty sémantických asociací. Toto základní slovo je derivačně i metonymicky dosud velmi produktivní. — *FVM*

Дуриданов Иван, *Местните названия от Ломско.* София 1952, БАН, 204 стр. — Území podél řeky Lomu (pravý přítok dolního Dunaje) je s hlediska toponymického důležité a zajímavé, protože bylo v průběhu věků osidlováno různými ethnickými celky. Také hojné nájezdy a vpády zachovaly v jeho toponymii stopy. Autorův materiál zahrnuje přes 2000 názvů a shromažďuje i jména pomístní, jména hor a jména vod. Autor podává hláskoslovný, slovotvorný a sémantický rozbor bulharských jmen; odděleně sleduje jména původu tureckého, rumunského a jiná nejasná. Závěrem shrnuje poznatky z dějin bulharského jazyka, z dějin osídlení a dějin kulturních, vyplývající ze studia tohoto toponymického materiálu. — *JS*

Jazyk uměleckých děl

Мутафчиев Радослав, *Поетическа синонимика.* Български език 2 (1952) 89—97. — Na příkladech ukazuje, jak může a má básník záměrně a uvědoměle využívat celé slovní zásoby jako účinného prostředku působivosti své tvorby. Tvořením nových významových odstínů i sémantickým přehodnocováním slov obohacuje zase on slovní zásabu celonárodního jazyka. — *FVM*

Varia

Ничева Кети Ал., *Българското езикознание след 9. IX. 1944 г.* Български език 2 (1952) 282—285. — *FVM*

Чешко Е. В., *Проблемы болгарского языкознания в свете Сталинского учения о языке.* Краткие сообщ. Инст. славяноведения 7 (1952) 14—21. — *FVM*

А. и К., Кабасанов Ст.: *Научна сесия при Филологическия факултет на Софийския университет.* Език и литература 7 (1952) 315—318. — Rozděleno na část literárněvědnou a jazykovědnou. — *FVM*

Андрейчин Л., *Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и болгарское языковедение.* Славяне (1952) № 2, 14—18. — Informace o rozvoji bulharské jazykovědy od uveřejnění Stalinových prací „O marxismu v jazykovědě". — *VB*

Nový časopis

Известия на Института за български език 1. София 1952. — Nový časopis, který je orgánem Bulharské akademie věd, oddělení pro jazykozpyt, ethnografii a literaturu. — *FVM*

Jazyk makedonský

Viret Persida, *Die gegenwärtige Arbeit an der Bildung der makedonischen Schriftsprache.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 245—251. — Pojednává o vytváření spisovné makedonštiny, zejména o nejožehavějších otázkách, jak se jeví na stránkách časopisu Makedonski jazik (zájmena vztažná, přízvuk). — *FVM*

Поленаковиќ Х., *Настојувања браќата Миладиновци да напишат македонска граматика.* Македонски јазик 3 (1952) 22—30. — *FVM*

*Мирчев Кирил, *За македонския литературен език.* София 1952, Наука и изкуство, 20 стр. — *FVM*

*Конески Блаже, *Акцентот на туѓите зборови.* Македонски јазик 2 (1952) 1 s. — *FVM*

Jazyk srbskocharvátský

C r o n i a Arturo, *Contributo alla grammatologìa serbocroata.* Ricerche slavistiche 1 (1952). — Hodnotí gramatiku Kašićovu, Della Belly a Appendiniho. — Ref.: Slovo 1 (1952) 79—80. — *FVM*

Chartulare sancti Petri. Digessit Viktor N o v a k, grammatica enarravit Petar S k o k. — *Supetarski kartular.* Uredio Viktor N o v a k, lingvistička analiza Petar S k o k. Zagrabia, Zagreb 1952, 313 str. — Vydání latinsky psaného archivu splitské kapituly z 11. století; četné hláskoslovné a lexikální slavismy a zejm. materiál onomastický a toponomastický; ten Skok linguisticky rozbírá; podrobné rejstříky. — *FVM*

B u d r o v i c h Attilio, *Il nome del grappino di mare in Dalmazia.* Richerche slavistiche 1 (1952). — Slova *drakmar, dakmar, takmar* a *tarkmar* vykládá jako složeninu **tracu* (od *trahere, trahare*) a *mar(e).* — Ref.: Slovo 1 (1952) 80—81. — *FVM*

D o b r o n i ć Lelja, *Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog kaptola prema izvorima XIII. i XIV. stoljeća.* Rad JAZU (1952) 171—256. — Důležité pro toponomastiku, která tu najde bohatý materiál. Orientaci usnadní podrobný rejstřík. — *FVM*

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, deo 12—13, sv. 53—55. Zagreb 1952, JAZU, 239 + 239 + 481 str. — Pokračování akademického slovníku, jehož vydávání bylo přerušeno M a r e t i ć o v o u smrtí r. 1938. Práce se řídí týmiž zásadami jako dříve s několika drobnými výjimkami: uvádějí se delší příklady; omezuje se upřílišněná diferenciace významů; uvádí se i dnešní upotřebení slov; přihlíží se více k synonymice; excerpují se nové publikace JAZU i staré, dosud nepoužité slovníky. Redakční kolektiv se zřejmě dosud neustálil; sv. 55 připravili S. B o s a n a c, D. G r d e n i ć, J. H a m m, S. M u s u l i n, M. S t o j k o v i ć a S. Ž i v k o v i ć; sv. 53—54 také V. Š t e f a n i ć, N. R o n č e v i ć, S. P a v i č i ć, M. D e a n o v i ć, T. A l a u p o v i ć a začátek sv. 53 připravil ještě T. M a r e t i ć. — Sv. 53—55 obsahují hesla *provrtotinica* až *raspuknuti.* — *FVM*

*M o š i n Vladimir, *Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema zagrebačkom rukopisu.* Starine 43 (1951—1952). — Ref.: Slovo 1 (1952) 68. — *FVM*

Jazyk český

Dějiny jazyka

B ě l i č Jaromír, *K otázce češtiny jako národního jazyka.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 71—86. — Historie pojmu „národní jazyk" od doby obrození a jeho různá náplň. Dějiny významu slova „národ" v češtině od nejstarších dob (podrobně). Kritika první novodobé definice národního jazyka, kterou podal F. T r á v n í č e k. B ě l i č dospívá posléze k této formulaci: „Národní jazyk je jednotný dorozumívací prostředek historicky vzniklého stabilního společenství, které se vyznačuje pospolitostí území, hospodáského života a psychického založení, s nimiž dohromady pospolitost jazyka danou společnost charakterisuje jako národ". — *FVM*

K y a s Vladimír, *První česká mluvnice a její místo ve vývoji spisovné češtiny.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 141—149. — Kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou zapůsobilo Optátovou a Filomatesovou *Gramatikou českou v dvojí stránce* na vývoj spisovné češtiny v době, kdy prožívala vážné období stabilisace. Otázka spisovné normy vystoupila značně do popředí v době vytváření nového překladu Písma a problémy, někdy i zápasy se soustředily hlavně na pravopis a morfologii, částečně i na zásobu slovní. Optátův pravopis je veden především snahou zpřístupnit pravopis širokým vrstvám;

proto se teoreticky řídí hlavně principem fonetickým, ne však důsledným. Také Filomatesovo tvarosloví je odvážně průbojné a přibírá do spisovného jazyka řadu lidových prvků. Mluvený jazyk je mu směrnicí, k níž stále přihlíží. Nicméně oba podléhali humanisticky autoritativnímu řešení otázek, a jejich řešení není vždy šťastné a mnohdy nenalezlo další ohlas. Jejich pokus o kodifikaci však byl záhy zastíněn autoritou skutečného zákonodárce češtiny 16. stol. — Jana Blahoslava. Ten na základě pravopisu Optátova mohl dát pravopisu poměrně dokonalou a hlavně důslednou podobu. Byl však mnohem konservativnější než oba jeho předchůdci, takže v nejednom případě jazyk sice povznesl v humanistickém slova smyslu, ale zatlačil do pozadí reformy svých průbojnějších předchůdců. — *FVM*

Fischer Rudolf, *Zur Geschichte der tschechischen Sprache.* Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 1, 2 (1952/1953) Heft 1, 107—109. — Stručný informativní přehled historie češtiny a jejího jazykového vývoje. — *IN*

Stavba zvuková a mluvnická; tvoření slov

Hála Bohuslav, *Stručný přehled fonetiky pro bohemisty* (skripta). 1. vyd. Praha 1952, Státní pedag. nakl., 55 str. — *DK*

Trávníček František, *Úvod do českého jazyka.* 1 vyd. Praha 1952, St. pedag. nakl., 105 str. — Souhrn základních poznatků, postavených na marxistické jazykovědné basi, o jazyku všeobecně: a) o stránce fonetické (mluvení), b) o jazyku jako nástroji myšlení a dorozumívání (soustavě výrazových prostředků), c) o jazykovém projevu — a o jazyku českém zvlášť (nářečí, vrstvy, problémy spisovného jazyka). — *DK*

Havránek Bohuslav, Jedlička Alois: *Stručná mluvnice česká pro střední školu* (pro 2.—4. tř.). 3. vyd. Praha 1952, Stát. pedag. nakl., 151 str. — *DK*

Vey Marc, *Les préverbes « vides » en tchèque moderne.* Revue des Études slaves 29 (1952) 82—107. — Uvedeným termínem rozumí předpony prostě vidové, na rozdíl od « préfixes pleines », jež ovlivňují podstatně význam. Dochází k závěru, že volba vidové předpony je v přímém vztahu k významu slovesa, na př.: píše se vždy *na* něco, proto prosté perfektivum je *napsati.* (Nejde tedy, jak se někdy soudí, jen o předpony významově chudé.) Z toho pak plyne, že slovesa významově příbuzná tvoří prostá perfektiva týmiž prefixy. Tato zjištění lze však z materiálu vyvodit jen aposteriorně a není možno předem odhadovat často latentní sémantické snahy bez řádného materiálového podkladu; přece však lze odhalit konstantní skupiny, jako slovesa hluku, pohybu, změny stavu a pod. — *FVM*

Kopečný František, *Základy české skladby.* Učební texty vysokých škol, Palackého universita, Olomouc. Praha 1952, 270 str. — Tato příručka není jen popisem české skladby, nýbrž i úvahou o povaze a významu syntaktických vztahů vůbec. — Rec.: Trávníček František, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 1 (1952) č. A/1, 18—20. — Vytýká příklon k teorii obecné mluvnice. — Vey Marc, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 48 (1952) 102—103. — *EH*

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro 1. tř. šk. stř. Ved. kolektivu: Havránek Bohuslav; ostatní autoři: Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek Jaroslav, Višňák Josef, Zima Jaroslav, Získal Alois. 3. vyd., Praha 1952, Stát. pedag. nakl., 235 str. — Souhrn základních poznatků mluvnických a pravopisných. — *DK*

Český jazyk. Učebnice českého jazyka pro 2 tř. stř. šk. Ved. kolektivu: Havránek Bohuslav, spolupracovníci: Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek

Jaroslav, Višňák Josef, Zima Jaroslav, Získal Alois. 4. vyd. Praha 1953, Stát. pedag. nakl., 171 str. — *DK*

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro 3. tř. šk. stř. Autoři: Červenka Jan, Formánková Věra, Havránek Bohuslav, Helcl Miloš, Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek Jaroslav, Zima Jaroslav. 2. vyd. Praha 1952, Stát. pedag. nakl., 186 str. — Slovní zásoba a styl; význam a tvoření slov. — *DK*

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro 4. tř. šk. stř. Ved. kolektivu: Havránek Bohuslav, spolupracovníci: Červenka Jan, Daneš František, Formánková Věra, Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek Jaroslav, Zima Jaroslav. 1. vyd. Praha 1951, Státní nakl. učebnic, 170 str. — *DK*

Český jazyk. Učebnice českého jazyka pro 4. tř. šk. stř. Ved. kolektivu: Havránek Bohuslav; ostatní autoři: Červenka Jan, Daneš František, Formánková Věra, Janáček Gustav, Jedlička Alois, Jelínek Jaroslav, Zima Jaroslav. 2. vyd. Praha 1952, Stát. pedag. nakl., 169 str. — *DK*

Učebnice jazyka českého pro 2 tř. gymnasií. Vedoucí kolektivu: Havránek Bohuslav, spolupracovníci: Bečka Josef V., Dokulil Miloš, Helcl Miloš, Kaňka Josef, Mátl Antonín. 1. vyd. Praha 1952, St. pedagog. nakl., 190 str. — Přehled vývoje jazyka (jaz. ide, slov., období stsl., vývoj češtiny). Nauka o slově; značná pozornost je věnována slohovému výcviku. — *DK*

Učebnice jazyka českého pro 3 tř. gymnasií a vyšších odborných škol. Vedoucí kolektivu: Havránek Bohuslav, spolupracovníci: Bečka J. V., Čech Eduard, Daneš František, Jedlička Alois, Mrázek Josef. 1. vyd. Praha 1952, Stát. pedagog. nakl., 120 str. — Vybrané kapitoly ze skladby, jež mají zdůraznit těsný vztah mezi myšlením a jazykem a cvičit přesnější (a složitější) způsob myšlení a vyjadřování. Také oddíl o jazykových prostředcích odborného projevu a slohová výchova, zaměřená i na ústní projevy (referát, diskuse), přepokládá již značně vysokou úroveň. — *DK*

Učebnice jazyka českého pro 4. tř. gymn. a vyšších odborných škol. Ved. kolektivu: Havránek Bohuslav, spolupracovníci: Bečka Josef V., Hausenblas Karel, Jedlička Alois. 1. vyd. Praha 1952, St. pedag. nakl., 80 str. — Shrnuje probranou látku v celek pod zorným úhlem Stalinových prací o jazykovědě. Ve slohové části se zabývá složitějšími druhy (úvahy, kritika a pod.) a praktickým výcvikem řečnickým. — *DK*

Daneš František, *Zápor.* Český jazyk 2 (1952) 171—173. — Stručný přehled negace v češtině; významová a stylistická hodnota jednotlivých druhů. (Rozšířená autorova stať z učebnice pro 3. tř. gym.) — *DK*

Helcl Miloš, *Slova cizího původu v českém jazyce.* Český jazyk 2 (1952) 265—267. — Přístupný výklad v duchu moderního pojetí jazykové kultury. (Rozšířená autorova stať z učebnice pro 2. tř. gym.) — *DK*

Havránek Bohuslav, *Vyučování mateřštině se stanoviska jazykovědy.* Český jazyk 2 (1952) 257—258. — Zdůrazňuje zvláště důležitost poznání mluvnické stavby jazyka. „Cílem je vést žáky k uvědomělému užívání rodného jazyka.“ V dnešní škole lze s výhodou využít srovnání s gramatickou stavbou ruštiny. — *DK*

Jazyková kultura a pravopis

Závazné zásady přepisu orientálních jmen a názvů. Praha 1952, Názvoslovná komise min. staveb. prům., 5 str. — Domorodé názvy africké na území s lat. písmem se v pravopise zčešťují. Transkribujeme: čínštinu (důsledně), jaz. tamilský a tibetský, korejštinu (výj. transliterujeme), jaz. drávidské (částečně transliterujeme).

Transliterace užíváme pro jaz. indoárijské, pro arabské jaz. Asie a Afriky (též přepis fonetický), a pro jaz. na těchto územích: Irán, Afghanistan (výj. fonet. přepis), Izrael, Japonsko (důsledně; označování délek), Kambodža (důsledně), Mongolsko, Thaj (důsledně); pro Tibet je individ. fonetická realisace. — Každý z případů je doplněn detailními poznámkami a příklady. — *DK*

Dokulil Miloš, *K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace. (Příspěvek k diskusi.)* Slovo a slovesnost 13 (1952) 135—139 (red. pozn. 140). — „V podstatě půjde o to, hledat ustavičně rovnováhu mezi těmito čtyřmi principy: 1. požadavkem funkční vytříbenosti, 2. vývojovou nutností sblížení s jazykem hovorovým a obecným, 3. požadavkem zákonitosti (pravidelnosti) a úspornosti. — *FVM*

Dialektologie

Kellner Adolf, *K opavskému jazykovému zeměpisu.* Slez. sbor. 50 (1952) 103—112. — O otázce zeměpisného rozsahu důležitějších znaků opavského nářečí: otázka úžení *é* v *í* > *i* a otázka t. zv. přičiskání. 2 mapky isogloss. — *MK*

Lamprecht Arnošt, *K poměru základního slovního fondu celonárodního jazyka a nářečí na Opavsku.* Slez. sbor. 50 (1952) 547—552. — Jádro shod s celonárodním jazykem tvoří slova obecně slovanská nebo aspoň západoslovanská. Kromě této vrstvy je i vrstva shod obecně českých, jimiž se oblast lašská začleňuje do jazykového společenství českého. Jsou některé staré shody s polštinou a souvislosti s ostatními nářečími severovýchodní Moravy a východních Čech. — *MK*

Králík Stanislav, *K otázce dnešních hranic přechodného nářečí kelečského.* Slez. sbor. 50 (1952) 113—121. — Na zeměpisném (a do jisté míry i generačním) rozšíření několika znaků kelečského nářečí ukazuje autor jeho přechodný ráz. — *MK*

Skulina Josef, *K nářeční diferenciaci východní poloviny hranického okresu.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 94—107. — Konstatuje, že přechodný ráz hranického nářečí je následkem někdejší feudální rozdrobenosti a zjišťuje zeměpisné rozšíření jednotlivých prvků. Genetický vývoj jevů přenechává dalšímu bádání. — *FVM*

Voráč Jaroslav, *Nově objevený příspěvek Boženy Němcové k poznání chodského nářečí.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 150—156. — Edice nově zjištěných poznámek Němcové o zvláštnostech domažlického nářečí. Připojen podrobný rozbor a ocenění. — *FVM*

Kellner Adolf, *Dialektologická bádání na brněnské filosofické fakultě.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 169—176. — Přehled práce, zejména po roce 1945. Brněnská dialektologie zdárně buduje především na základech, položených prof. Havránkem a Trávníčkem. — *FVM*

Křístek Václav, *Současný stav hornické mluvy na Ostravsku.* Slez. sbor. 50 (1952) 225—246. — Slovním fondem a mluvnickou stavbou spočívá ostravská hornická mluva na místních lašských dialektech a na nářečích slezsko-polských, zčásti také na jazyce spisovném. Od místních dialektů se liší speciální terminologií, některými vazbami a rčeními. Terminologie vzniká na Ostravsku pod tlakem staršího názvosloví dialektického a vykazuje závislost na terminologii německé. — *MK*

Etymologie, onomastika a toponomastika; lexikografie

Holub Josef, Kopečný František: *Etymologický slovník jazyka českého.* Praha 1952, St. nakl. uč., 575 str. — Zcela přepracované a rozšířené vydání Holubova *Stručného slovníku etymologického.* Přihlíží i k nejnovějším etymologickým vý-

kladům, vykládá i t. zv. kulturní slova. Citace z jiných jazyků proti dřívějšímu slovníku reviduje a rozšiřuje. Etymologie zastaralé většinou vypouští. Předesílá obecný úvod o postavení českého jazyka mezi jazyky ostatními a stručný přehled českého hláskosloví a tvoření slov s hlediska srovnávacího. Za základní abecedou je užitečný dodatek: etymologický přehled přípon a koncovek, důkladně zpracovaný. Praktická hodnota slovníku se velmi zvyšuje připojeným bohatým indexem slov, jež se vyskytují v dokladech kmenové části jako paralely; řazena jsou podle jazyků a pak abecedně s odkazem na heslo, při němž se citují. Na konci je bibliografie etymologické literatury. Slovník však není prost chyb a omylů, z nichž některé se tam vloudily cestou technického nedopatření a jsou většinou napraveny v několika doplňcích. — Rec.: Šmilauer Vladimír, Slovo a slovesnost 14 (1953) 124—131. — Naše řeč (195). — Vey Marc, Revue des Études slaves 29 (1952) 222. — *FVM* — B(ečka) J(osef) V., Český jazyk 2 (1952) 320—321. — *DK* — Vey M., Bulletin de la Socitété de Linguistique de Paris 48 (1952) 105—107. — *EH*

Machek Václav, *Česká a slovenská slovesa s příponovým* s. Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 82—93. — V češtině je řada sloves na *-sati;* u mnohých lze prokázat, že *-s-* je suffixální a naskýtá se otázka funkce takové přípony. Autor na příkladech dokazuje, že jde o značně živý (někde až doposud) prostředek tvoření slovanských intensiv. Zejména valašský a lašský dialekt skýtají hojnost materiálu. Některé doklady ukazují na plynulý přechod k slovesům na *-chati*, o nichž Machek hodlá příležitostně pojednat zvláště. — *FVM*

Fischer Rudolf, *Zur Frühgeschichte Böhmens. Wo lag die Canburg des Jahres 805?* Wissensch. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Univ. Jena. Gesselschafts- und Sprachwissensch. Reihe Nr. 1, 1 (1951/1952) Heft 2, 67—68. — Etymologie ukazuje, že slovanský hrad z dob Karla Velikého Canburg (v Čechách) nestál na levém břehu Labe na hoře dnes zv. Hahnberg (neplatí *Canburg* > *Hahnberg*), nýbrž spíše nedaleko odtud na břehu pravém, na místě středověkého hradu Kamýku (platí **kam-* [*Kam, Kámen, Kamýk* a p.] > *Canburg, Kamburg*). — *IN*

Příruční slovník jazyka českého. Red. B. Havránek, V. Šmilauer, A. Získal. Praha 1952, St. nakl. uč. — V roce 1952 vyšly sešity 233—245, t. j. VI. díl (7. svazek) (od hesla „tatrman“ do „ukradený“). — *FVM*

Trávníček František, Váša Václav: *Slovník jazyka českého.* 4. vyd., Praha 1952, Slovan. nakl., 1801 str. — Obraz slovní zásoby dnešní spisovné a částečně i hovorové češtiny. Podle výběru i slova staročeská a obrozenská, slova lidová, nářeční a slovenská a slova cizí s širším uplatněním. Výrazy nově tvořené (údržbář, nástěnka a pod.). Slovník nepřihlíží důsledně k normě Pravidel českého pravopisu. — Rec.: Horálek Karel, Sov. věda — jaz. 3 (1953) 81—86.

Prokop Miloslav, *Třídění a názvosloví skla.* 2. doplněné a upr. vyd. Praha 1952, Technicko-věd. vyd., 137 str. — Názvy různých druhů skel v jaz. čes., rus., něm., franc., angl., špaň. a ital. — *DK*

Handl Josef M., *Slovník odborných výrazů používaných v zahraničním obchodě.* 1. vyd. Praha 1952, Průmysl. vyd., 24 str. — Obsahuje přes 500 výrazů v abecedním pořádku s praktickými vysvětlivkami. — *DK*

Jazykové památky

Davidsson Carin, *Der alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen deutschen Psalterübersetzungen.* Uppsala 1952, Almqvist

et Wiksells Boktrykeri AB., 111 s. — Lexikálním a textově kritickým rozborem se snaží dokázat, že autor staročeského textu přihlížel k Notkerovu německému žaltářnímu textu. Poukazy jsou záslužné, ale důkazy málo přesvědčivé. — *FVM* — Rec.: Vey M., Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 48 (1952) 98—100. — *EH*

Kniezsa Štefan, *Stredoveké české listiny*. Budapest 1952, Akadémiai Kiadó, 205 str., 12 obr. — První část chystané edice slovanského listinného materiálu, chovaného na území Maďarska. Obsahuje 78 českých listin z let 1432—1526, jejichž originály jsou nyní uloženy v Maďarském zemském archivu (Magyar Országos Levéltár). Velká část těchto listin se vztahuje ke slovenskému území, je však mezi nimi i korespondence krále Matyáše a mandáty Jagellovců. Vydání je diplomatické, odchylky od přesné reprodukce jsou pouze v interpunkci a v psaní velkých písmen. Listiny jsou opatřeny historickým komentářem, který pořídili Belo Bottló a Erich Fügedi. Připojené jazykovědné poznámky, jejichž autorem je Štefan Kniezsa, zabývají se otázkou užívání spisovné češtiny na Slovensku a jazykovým a pravopisným rozborem listin. K edici je připojeno résumé a stručná charakteristika listin v maďarském jazyce a stručné résumé francouzské. — Rec.: Úrhegyi Emilia, Magyar Nyelv 48 (1952) 243—254. — *ZH*

Ryba Bohumil, Kyas Vladimír: *Označení českých biblických rukopisů a tisků* Věstník ČAVU 61 (1952) 37—45. — Propracovaný systém zkratek pro českou biblickou kritiku. Soustava má přednost zejména v tom, že zkratky na první pohled ukazují, zda jde o rkp nebo tisk, o kodex, obsahující celou bibli nebo jen části, a že v kritickém aparátu studií ušetří značně místa. — *FVM*

Apokryfy. Biblí české díl pátý z r. 1588 v původním znění kralickém. Novodobý přepis a doslov Josef Pavel Chráska. 1. vyd. Praha 1952, Rada Jedn. českobr., 272 str. — *DK*

Šebánek Jindřich, Dušková Sáša, *Kritický komentář k moravskému diplomatáři.* Zprac. látky z 3 sv. Bočkova moravského kodexu. 1 vyd. Praha 1952, St. pedag. nakl., 25 + 410 str. — *DK*

Jazyk uměleckých děl

Havránek Bohuslav, *Marxistická jazykověda a jazyk nové české literatury.* Slovo a slovesnost 13 (1952) 57—71. — „Jazyk literatury musí být odrazem výstavby nové společnosti", zároveň však „velmi důležitou stránkou jazyka literatury je jeho poměr k jazyku celonárodnímu a k jazykovému dědictví". Zvláštní pozornost věnuje otázce lidovosti jazyka v literatuře, archaismů, dialektismů, argotisování a obecné češtiny v literárních dílech. Autor demonstruje teoretické závěry na příkladech. Varuje před nivelisací jazyka a před neukázněnou libovůlí autorů. — *FVM*

Trávníček F., *Dialekt a hovorová čeština v uměleckém jazyce.* Lit. noviny 1 (1952) č. 11, 4. — O neústrojnosti užívání dialektu pro charakterisaci jednajících osob. — *BB*

Večerka Radoslav, *K problematice novinářského jazyka.* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 108—120. — Mezi charakteristickými rysy novinářského jazyka zdůrazňuje zvláště skutečnost, že stojí na pomezí jazyka spisovného a nespisovného. Na příkladech ukazuje kladné i záporné stránky tohoto faktu. Z takového postavení vyplývá závažné poslání: osvěžovat spisovný jazyk lidovými prvky a naopak, pozvedat jazyk širokých vrstev k přesnosti a výrazovému i syntaktickému bohatství jazyka spisovného. Proto je třeba, aby se novinářskému jazyku věnovalo stále více péče, při čemž si musí zachovat specifickou funkční samostatnost. — *FVM*

Jazyk slovenský

Dějiny jazyka

Кирай Петер, *К вопросу о словакизации (A. J Hassko: Żiwý Priklad, 1788 А. И. Хашко: Живой пример 1788.).* Acta linguistica Acad. scientiarum hung. 2 (1952) fasciculus 1—2, 188—201. — Jazykový rozbor knihy slovenského kněze A. J. Haška, *Żiwý Priklad Hrissnika Pokánj činjcýho* ..., která vyšla 1788 v Pešti. Rukopis této knihy je uložen v Universitní knihovně v Budapešti. Srovnání s rukopisem ukazuje, že při vydávání byly četné autorovy slovakismy potlačovány. Na rozboru nevydaných pěti stran na konci rukopisu se dokazuje, že autor měl v úmyslu co nejvíce přiblížit svůj jazyk slovenštině. Podle některých tvaroslovných rysů je vidět, že znal některé ze západoslovenských nářečí (svou knihu psal v Balašských Ďarmotách, kde se užívalo středoslovenského nářečí). — *ZH*

Jazyková kultura a pravopis

Jóna Eugen, *O novej úprave slovenského pravopisu.* Slovenská reč 17 (1951 až 1952) 265—278. — Celková informace o genesi nových pravidel slovenského pravopisu a o zásadách, jimiž se komise řídila. Zvláště se obírá těmito otázkami: psaní *-i/-y* v plurále *l*-ového participia; předložka *s, so/z, zo;* předpona *s/z, zo;* kvantita v domácích slovech a tvarech; kvantita v cizích slovech; dělení slov; velká písmena a interpunkce. — *FVM*

Horecký Ján, Peciar Štefan: *K jednotlivým bodom novej pravopisnej úpravy.* Slovenská reč 17 (1951—1952) 278—298, 18 (1952—1953) 35—37, 81—86. — (J. Horecký se zúčastnil jen v prostřední části tohoto článku na pokračování.) — Sporné a obtížné otázky se představují tak, že po uveřejnění návrhu prozatímního novinového vydání Pravidel se otiskuje podrobný komentář. Článek se dotkl těchto bodů: kvantita cizích slov, vokalisace předložek, dělení slov, psaní čárky za slovem; předpona *s-, z-, zo-, vz-,* dále předložka *z/zo, s/so,* psaní a výslovnost *ľ;* ženská substantiva na *-(i)anka,* ženská příjmení. — *FVM*

Horecký Ján, *O hlavných princípoch slovenského pravopisu.* Slovenská reč 18 (1952—1953) 77—81. — V slovenském pravopise silně převládá zásada fonetická (89,2 %); princip slabičný, morfologický, gramatický a etymologický se sice také uplatňují, ale jen zcela podružně v odůvodněných případech. — *FVM*

Blanár Vincent, *K novému vydaniu Pravidiel slovenského pravopisu.* Slovenská reč 18 (1952—1953) 11—17. — Poznámky k novinovému vydání Pravidel, v nichž chce autor upozornit na body, jež jsou nejnaléhavější (na př. *ä, ľ* a j.). Zároveň vysvětluje širší veřejnosti teoretický přístup k problémům a zdůvodňuje řešení některých případů. — *FVM*

Šalingová Mária, *O dvojtvaroch v slovenčine.* Slovenská reč 18 (1952—1953) 27—34. — Rozeznává dublety slovotvorné a tvaroslovné. Správně ukazuje, že je nelze posuzovat puristicky, jako by ze dvou možností vždy jen jediná byla správná; dovozuje naopak, že úkolem jazykové kultury je správné odpozorování, jak jich jazyk stylisticky a funkčně využívá k svému obohacení. — *FVM*

Horecký Ján, *Preklady z ruštiny s hľadiska terminologie.* Slovenská reč 17 (1951—1952) 202—205. — Překlady po této stránce dosud plně nevyhovují. Termín je třeba překládat termínem; „ruské termíny nemožno do slovenčiny mechanicky, doslovne prekladať, ale treba ich vlastne substituovať, nahradzovať príslušnými slovenskými ekvivalentami“ — *FVM*

Branko Pavol, *K problematike filmových podtitulkov.* Slovenská reč 17 (1951 až 1952) 214—233. — *FVM*

Onomastika a toponomastika

Blarár Vincent, *Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku.* Bratislava 1950, SAVU, 138 str. — Rec.: Ondruš Š., Jazykovedný sborník 6 (1952) 133—138. — Recensent vítá Blanárovu práci a zejména jeho teoretické úvahy o postavení vlastních jmen v jazykovém systému. Pochopení však ztěžuje jeho terminologická originálnost a v některých případech i nesprávné užití termínů. Souhlasí s autorovým zjištěním, že se u osobních jmen kryje gramatický rod s přirozeným, ovšem zcela jen v „úředním pojmenování" (v živém, „neúřením" pojmenování zjišťuje též názvy středního rodu pro dospělé osoby). K tomu by bylo ještě třeba připomenout, že se v živém pojmenování někdy využívá protikladu gramatického rodu a rodu přirozeného k vyjádření expresivnosti u hypokoristik. Kritické poznámky recensentovy by bylo možno i v jiných jednotlivostech rozmnožit, to však nesnižuje celkovou hodnotu Blanárovy záslužné a namnoze i průkopnické práce. — *JS*

Jazyk uměleckých děl

Habovštiak Anton, *Prvky ľudovej reči v Hečkovom románe Drevená dedina.* Slovenská reč 17 (1951—1952) 192—201. — *FVM*

Gregor Alois, *Překládat, nepřekládat?* Sborník prací fil. fak. brněn. univ. 1 (1952) č. A/1, 179—180. — Soudí, že ze slovenštiny do češtiny a naopak se překládat nemá. — *FVM*

Jazyk polský

Dějiny jazyka

Milewski Tadeusz, *Kilka uwag o powstaniu polskiego języka literackiego.* Porad. jęz. (1952) zesz. 7, 17—25. — Poznámky k čl. M. Rudnického, *W sprawie pochodzenia polskiego języka literackiego* (Porad. jęz. 1952, zesz. 5—6). Závěr: „Wszystkie normy dotyczące fonetyki i morfologii języka literackiego są pochodzenia małopolskiego. Przy powstawaniu słownictwa języka literackiego współdziałały także i inne dzielnice ...". — *MK*

Milewski Tadeusz, *Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego.* Pam. lit. 43 (1952) 312—334. — Diskusní článek. Po pokusu ustálit pojem „literární jazyk" („...za język literacki uważamy taki język pisany, który jest narzędziem całej kultury intelektualnej i emocyjnej społeczeństwa, w którym powstają dzieła prozaiczne i poetyckie ze wszystkich działów znanych w danej epoce, i który wskutek tego jest kultywowany przez całe społeczeństwo... język literacki jest pisanym językiem ogólnym, który obejmuje całość życia kulturalnego wieloklasowego i wskutek tego występuje na tle bez porównania bardziej różnorodnych sytuacji, niż tamte formacje językowe [języki różnych środowisk, pisane dialekty kulturalne]") konfrontuje teorii velkopolskou a malopolskou. Polská linguistika překonala koncepci velkopolskou a usiluje o novou synthesu. Názorové rozdíly nejsou velké. Shody bylo dosaženo v těchto bodech: „1. W obrębie języka pisanego musi się wyróżnić dialekty kulturalne o ciaśniejszej funkcji społecznej od pełnego języka literackiego. — 2. Rozstrzygające dla odtworzenia procesu kształtowania się polskich dialektów kulturalnych i języka literackiego są wyniki dialektologii historycznej. — 3. Polskie dialekty kulturalne miały początkowo funkcję społeczną pomoc-

niczych języków kościelnych. — 4. Polskie dialekty kulturalne powstały w ciągu XIII i XIV w., a pełny język literacki w w. XVI. Wiek XV był okresem przejściowym. — 5. Wszystkie zabytki polskie XIV i XV w. wykazują cechy dialektyczne. Wobec czego dla tego okresu nie podobna ustalić zespołu cech przeciwstawiających całość języka pisanego gwarom ludowym. — 6. W systemie fonetycznym i morfologicznym języka literackiego niewątpliwie znajdują się elementy pochodzenia małopolskiego, natomiast w słownictwie występują takie wyrazy wywodzące się z Wielkopolski w nie ustalonym zresztą dotąd procesie. — 7. Staropolski język literacki kształtował się pod wpływem języka czeskiego" (str. 334). — Sporná je ještě míra podílu Velkopolska. — *MK*

Rudnicki Mikołaj, *W sprawie pochodzenia polskiego języka literackiego. (Pokłosie dyskusji.)* Porad. jęz. (1952) zesz. 5, 1—12; zesz. 6, 1—8. — Rekapituluje a kriticky komentuje dosavadní these o problému. V souvislosti s tím též podrobně o otázce t. zv. mazuření a jiných dialektických znacích. Uzavírá: „... język polski literacki jest dziełem wielu wieków. Wyszedł z Kujaw i Wielkopolski, przebył szereg przełomów, jak wpływy gockie, rzymskie, chrześcijańskie, a przełom wieku XV na XVI wiąże się z prądem t. zw. renesansu, z wpływami włoskimi i z faktem, że w owym czasie Małopolska, a głównie Kraków, wywarły wielki wpływ na jego rozwój i charakter. Ale tego przełomu, aczkolwiek bardzo ważnego, nie można brać za powstanie polskiego języka literackiego, co najwyżej za jego »uksiążkowienie« w związku z wynalazkiem druku i praktyką drukarską". — *MK*

Stieber Zdzisław, *Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego.* Pam. lit. 43 (1952) 917—932. — M. j. otázka působení češtiny na vznik polského literárního jazyka. Autor omezuje platnost dosavadních soudů o rozsahu tohoto vlivu a vyslovuje názor, že ve sporných případech měla čeština funkci rozhodčího. — *MK*

Stavba zvuková a mluvnická; tvoření slov

Klemensiewicz Zenon, *Pilniejsze zadania gramatyki opisowej i historycznej języka polskiego.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. XI (1952) 144—155. — Referát ze sjezdu. — *MK*

Doroszewski Witold, *Podstawy gramatyki polskiej.* Cz. I. Warszawa 1952, Państw. Wyd. Naukowe, 320 str. — Obecně jazykovědný úvod (jednotky jazyka, slovo a realita, formy, funkčnost, klasifikace jazyků), hláskosloví a fonetika, flexe, derivace. — *FVM*

*Klemensiewicz Zenon, *Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego.* Kraków 1952, Bibl. Studium słow. Uniw. Jag. ser. C, nr. 7. — *MK*

*Klemensiewicz Zenon, *Podstawowe wiadomości z historycznej fonetyki i fleksji języka polskiego.* Kraków 1952, Uniw. Jag. — *MK*

Stieber Zdzisław, *Rozwój fonologiczny języka polskiego.* Warszawa, 1952, Państw. Wyd. Naukowe, 96 str. — Důkladné zpracování historické fonologie polského jazyka. Jako zvláštní kapitola se probírá kašubský vývoj. — *FVM*

Konieczna Halina, Zawadowski Witold: *Przekroje rentgenograficzne głosek polskich.* 1951, 162 str. — Ref.: Życie Słowiańskie 7 (1952) nr. 5, 46. — Dílo vzniklo spoluprací fonetika a roentgenologa. Je asi téhož typu jako Polland-Hála; v polské fonetice je to první publikace tohoto druhu. (Podle referátu.) — Rec.: Hála B., Slavia 22 (1953) 131—135. — *FVM*

Mańczak Witold, *O akcentuacji grup dwuwyrazowych.* Jez. Pol. 32 (1952) 15—24. — O proklitikách a enklitikách. Spojením dvou výrazů vzniká v polštině vždy dvouvýrazová skupina (pokud tím ovšem nevznikne jednolitý výraz nový), v níž je po

stránce akcentu jeden výraz podřízen druhému; nikdy nejsou oba výrazy skupiny přízvučně souřadné. Dvouvýrazová skupina není mechanickou sumou dvou výrazů; spojením vzniká *přízvuková struktura skupiny výrazů*, která se navrstvuje na přízvukové struktury obou výrazů. — *MK*

Mańczak Witold, *Enklityki i proklityki w języku polskim.* Język Polski 32 (1952) 66—76. — Pokládá přízvuk za kriterium samostatnosti výrazů. Podle tohoto hlediska pak neexistují atona, enklitika a proklitika a otázka se mění v problém srůstání slov v složené výrazy. — *FVM*

Mańczak Witold, *O akcentuacji grup ponaddwuwyrazowych.* Język Polski 32 (1952) 145—156. — Navazuje na dva předchozí články. Chce „co nejobecněji pojednat o přízvuku slovních skupin o více než dvou výrazech a hlavně upozornit na to, že tyto skupiny jsou s hlediska přízvukového vybudovány na zásadě dichotomie, t. j., že se polské skupiny vícevýrazové mají k dvouvýrazovým jako se mají německé vícečlenné složeniny k dvojčlenným, s tím rozdílem, že, zatím co v německých kompositech bývá nejsilnější důraz zpravidla na první složce, v polských skupinách je nejčastěji na poslední". — *FVM*

Cyran W., *Ślady iloczasu w głównych zabytkach języka polskiego XIV i XV wieku.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. 11 (1952) 1—21. — Otázka kvantity ve staropolštině na základě studia památek 14.—16. stol. Autor zjišťuje, že v polovině 15. stol. kvantita v polštině ještě existovala. Soudí, že polština ztrácela kvantitu od polovice 15. stol. do r. 1510—1520. — *MK*

Kuryłowicz Jerzy, *Uwagi o polskich grupach spółgłoskowych.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. 11 (1952) 54—69 — O nové metodě zkoumání souhláskových skupin. — *MK*

Chludzińska Jadwiga, *Zróżnicowanie fonetyczne, a zróżnicowanie leksykalne i słowotwórcze Warmii.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 23—30. — *MK*

Urbańczyk Stanisław, *Z zagadnień staropolskich.* Język Polski 32 (1952) 119—130. — 1. Zanik *a* pochylonego. Vytlačila je v 18. stol. výslovnost varšavských salonů. 2. Staropolskie *o* i *ó*. Ačkoli většina nářečí vyslovuje *uoko*, nepronikla tato výslovnost ani do písma, protože neměla fonologického významu; vlivem písma se pak ustálila i spisovná výslovnost. Podobně se pod vlivem grafiky ujala orthoepická výslovnost i nynější pravopis *on* místo *ón*. 3. Rzeczowniki na *-yja, -ija*. Zkrácení o jednu slabiku (*oracja*) je následek humanistických snah o výslovnost bližší klasické latině. 4. *Ańjoł, jenerał.* Studuje rozšíření výslovnosti slabik *ge / gi* jako *je / ji* v latinských výpůjčkách v polštině. Redukci této středověké výpůjčky na nynější stav přineslo až 19. stol. Článkem chce autor ukázat, jak užitečné je přihlížet k starým gramatikám; děje se tak dosud bohužel málo. — *FVM*

*Grappin Henri, *O liczbie mnogiej rzeczownika* szansa. Język Polski 32 (1952) 35 n. — *FVM*

Jodłowski St., *Skąd się wzięły* szanse, anse, fajanse...? Język Polski 32 (1952) 138—140. — Odporuje Grappinovu článku v témž JP, str. 35 n. Slovo *szansa* není jedinou výjimkou v tvrdém sklonění feminin s *-e* nom.-acc. pl. Výklad: Po ztvrdnutí *c* a *ʒ* staly se tyto konsonanty fonologicky rovnocennými paralelami k *s* a *z*. Když se v 17. a 18. stol. přejímala maskulina na *-ans*, převážilo morfologické zařazení mezi neživotná (typ *zające, piece, pieniądze*) nad historickou příslušností koncové souhlásky a tak rozhodlo o plurálové koncovce. Substantiva mužského rodu na *-ans* byla dosti hojná a živá a vytvořila se z nich téměř samostatná kategorie, která pak ovlivnila i deklinaci méně hojných stejně zakončených feminin. — *FVM*

Grappin Henri, *Le verbe «vouloir» dans l'expression du futur en polonais.* Revue des Études slaves 29 (1952) 7—15. — V hovorové polštině se užívá konstrukce *chciałem upaść* ve významu „málem bych byl upadl" („j'ai failli tomber"). Linde a Varšavský slovník to nezaznamenávají, Karłoviczův slovník dialektický má jen dva takové doklady. Tento novodobý usus je zbytkem staršího stavu, kdy se v polštině, podobně jako v jiných slovanských jazycích, užívalo verba *chcieć* jako modálně futurálního pomocného slovesa; podobně tomu bylo u *mieć*. — *FVM*

Klemensiewicz-Bajerowa Irena, *O podwajaniu polskich przyimków.* Język Polski 32 (1952) 156—163. — Zdvojování předložek *w* a *z* (*wew, zez*) je nářečním jevem zhruba západopolským. Je to projev potřeby zesílení málo výrazné předložky, podobně jako její vokalisace. Vokalisace *we, ze* je však obvyklá jen před následující stejnou souhláskou (*w* nebo *z*, resp. *s*) a v těchto případech se s ní vystačí. V ostatních spojeních, právě proto, že *we / ze* je neobvyklé, vypomůže si jazyk kontaminací formy vokalisované a nevokalisované; výsledkem je reduplikace. Třebaže u předložek je to zjev častý, nemáme ji u předpon. — *FVM*

Jazyková kultura a pravopis

Ostrowska Ewa, Nitsch Kazimierz: *Zakres używania* jak *i* niż. Język Polski 32 (1952) 215—223. — Historický pohled na otázku srovnávací částice při komparativu. — *FVM*

*Lewicka H., *Jeszcze o* pani doktor *we Francji.* Język Polski 32 (1952) 37 n. — *FVM*

N(itsch) K(azimierz), *Z historii tytulatury kobiet zamężnych.* Język Polski 32 (1952) 140—141. — Uvádí úryvek z románu J. Korzeniowského (1. vyd. 1848, 2. vyd. 1852) a ukazuje, že autor byl konservativcem jak v názorech na společenské oslovování žen, tak poměru *który : co.* Správně však chápal, že pohraniční dialektismus, zavádějící *mnie* a *ciebie* místo *mi* a *ci* nemá místa v spisovném jazyce. — *FVM*

Frančić Vilim, *O dziwacznym przybieraniu wyrazów czeskich w polską szatę graficzną.* Porad. jez. (1952) zesz. 3, 23—28; zesz. 4, 26—30. — Otázka transliterace z češtiny. — *MK*

Dialektologie

Stieber Zdzisław, *Zadania dialektologii polskiej.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. XI (1952) 155—161. — *MK*

Pomianowska Wanda, *Ewolucja języka w świetle faktów gwarowych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 6—14. — O významu dialektologie pro poznání procesů jazykového vývoje a jejich podmínek. — *MK*

Działówna J., Korzeniówna H., Ziegler E.: *Mapowanie faktów fonetycznych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 14—23. — „Właściwe metody mapowania powinny dać obraz tła, na którym obserwujemy rozchwianie procesów artykulacyjnych, doprowadzające do skrystalizowania się głosek jako uświadamianych składników wyrazów i wskazać na przebiegi różnicowania się fonetycznego pewnych obszarów gwarowych." — *MK*

Cienkowski Witold, *Kwestionariusz do badań słownictwa gwarowego.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 30—35. — Jaký má být dotazník pro výzkum nářečí. — *MK*

Zwoliński Przemysław, *Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie.* Pam. lit. 43 (1952) 374—407. — Resumuje: „Wszystkie wymienione cechy wskazują, że w ciągu wieku XVII centrum tworzącego

się i krzepnącego polskiego języka literackiego przeniosło się z Małopolski środkowej, ściślej mówiąc z Krakowa, gdzie powstał w XVI wieku z małopolskiego dialektu kulturalnego, zastosowanego do literatury, na Mazowsze, w związku ze wspomnianą już parokrotnie zmianą stolicy Polski. Tam polszczyzna kulturalna uległa nasyceniu elementami północnopolskimi czyniąc krok do stania się literackim językiem ogólnonarodowym, do którego wszystkie wielkie dialekty polskie wniosły swój mniejszy lub większy wkład, w oparciu jednak o podstawowy zrąb małopolski" (407). — *MK*

Urbańczyk Stanisław, *Gwary polskie na substracie staropruskim a geneza mazurzenia.* Księga pamiątkowa 75-lecia Tow. Naukowego w Toruniu (Toruń 1952), 217—228. — Někteří badatelé tvrdili, že polské mazuření se ponejprv objevilo v nářečích mazovských, vzniklých na staropruském substrátě, který mazuřil. Toto hledisko obšírně zdůvodňuje T. Milewski (Slavia Occid. 18, 1947, 74—81). Urbańczyk vyvrací závěry Milewského. Ukazuje, že smíšením polského a staropruského fonologického systému mazuření povstat nemohlo. Mohlo se smísit jen *š, ž, č* a *ś, ź, ć,* jako v nářečích lubavských. Tvrdí dále, že rané pomíšení obyvatelstva staropruského a polského mohlo nastat právě jen v lubavském kraji. Srov. též Slavia 20 (1950) 35—36. — *FVM*

Bandtkie Jerzy Samuel, *Wiadomości o języku polskim w Śląsku i o Ślązakach* Wrocław 1952, Wrocł. Tow. Nauk., 58 str. — Nové vydání prvního souborného informativního dílka o této otázce. Pořídili je Bolesław Olszewicz a Witold Taszycki — *FVM*

Bak Stanisław, *Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Część 1: Głosownia.* Poznań 1952, Pozn. tow. przyj. nauk, Prace komisji filol., t. 15, zesz. 1. — *MK*

Mayer Józef, *Nieznany śląski słownik gwarowy z 1821 roku.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 3, 89—106. — *MK*

*Stieber Zdzisław, *Czerwony jak Łęczyca. Z dziejów frazeologii regionalnej* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Z gwary warmińskiej i mazurskiej. Porad. jęz. (1952) zesz. 1, 20—24; zesz. 2, 28—29; zesz. 3, 33—35; zesz. 4, 33—35; zesz. 5, 36—37; zesz. 6, 36—37; zesz. 7, 36; zesz. 8, 32—33; zesz. 10, 37—38. — Texty. — *MK*

Wierzchowska Bożena, *Różnice w mowie pokoleń.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 13—24. — O fonetických jevech v mazovecké vesnici. — *MK*

*Sobierajski Zenon, *Gwary kujawskie.* Poznań 1952, Pozn. tow. przyj. nauk, Prace komisji filol., t. 14, zesz. 2. — *MK*

*Glapa Adam, *Strój szamotulski. Atlas polskich strojów ludowych.* Cz. II: *Wielkopolska,* zeszyt 1. Lublin 1951, Pol. Tow. Ludoznawcze w Lubl., 52 str. — Ref.: N(itsch) K(azimierz), Język Polski 32 (1952) 141. — Upozorňuje na bohatý lidový lexikální materiál, který je v práci dobře vysvětlen. — *FVM*

Gołąb Zbigniew, *Wyrazy pochodzenia południowo-słowiańskiego w polskich gwarach góralskich.* Język Polski 32 (1952) 202— 208. — Přijímá výsledky bádání Stiebera a Krandžalova o rumunských vlivech v Karpatech. Rumunská pastýřská terminologie tu však často zachovává rysy srbskocharvátské a bulharské, což má také svůj význam pro historii putování valašsko-balkánských pastýřů. Gołąba zajímá především otázka importu příbuzných, t. j. jihoslovanských prvků do polských nářečí, které pronikly touto zvláštní cestou, třebaže území jejich původu je odděleno neslovanským osídlením. Zabývá se výrazy: *bacza-baca, kos(z)år-kos(z)ara, kierdel, żętuca-zintyca-żenczyca, perć* a *młaka.* — *FVM*

*Ułaszyn Henryk, *Język złodziejski.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódzkiego tow. nauk. 1949, nr. 2. — Resumé referátu. — *MK*

Etymologie, onomastika a toponomastika

S ł a w s k i Franciszek, *Słownik etymologiczny języka polskiego. Zesz. 1 (A—Czar).* Kraków 1952. — *MK*

M o s z y ń s k i K., *Uwagi do 1. zeszytu „Słownika etymologicznego języka polskiego" Fr. Sławskiego.* Język Polski 32 (1952) 193—202. — Nový slovník charakterisuje jako „věc, na niž, kromě drobností, lze se spoléhat, napsanou velmi pečlivě, svědomitě a opatrně"; nových etymologií nepřináší mnoho, ale skýtá dobrou orientaci v těch, jež dosud byly vysloveny. Moszyński je lexikologicky orientovaný etnograf; proto v článku vybírá z prvního sešitu některá slova, jež mají svůj význam v lidové kultuře nebo v kultuře staroslovanské, a připojuje k nim vlastní poznámky, opravy a dodatky. (Týká se to výrazů *bies, bocian, Bóg, bróg, brzost, byk, chałupa, chata, chleb, chlew, chłop, chmiel* a *ciasto.*) — *FVM*

U r b a ń c z y k Stanisław, *O staropolskim przedrostku* na- // naj-. Język Polski 32 (1952) 28—30. — (Poznámky k názorům Jędrzejowské a Stiebera). V staré polštině bylo *naj-* jen v žaltáři, a to pod vlivem českým. Protože rozhodující polské dialekty tuto podobu neznaly, nemohla proniknout z češtiny do polské normy. Teprve v 17. století byl mazovský vliv natolik silný, že za pomoci výslovnosti šlechty ukrajinkého původu prosadil i do orthoepie *naj-*. — *FVM*

G r a p p i n Henri, *Vieux-polonais niewrządość.* Revue des Études slaves 29 (1952) 113—114. — Vykládá jako *nie-wz-rządość.* — *FVM*

U r b a ń c z y k Stanisław, *Dwa zagadkowe imiona. 1.* Mieszko. *2.* Dąbrówka. Slavia Antiqua 3 (1952) 52—72. — Odmítá názor, že jméno prvního historického polského knížete znělo *Mieszek* nebo *Mieszko*; vyvrací etymologické pokusy J. O t r ę b s k é h o (Slavia Occid. 18, 19 a Lingua Posnaniensis 2). Za nejpravděpodobnější pokládá výklad jména ze *Mścisław* (tak K u n i k). — Jméno Mieszkovy manželky bylo v nejstarších pramenech polských i českých zapisováno jako *Dubravka.* V 14. věku se objevuje zpolonisovaná varianta *Dąbrówka.* Tietmarova varianta *Dobrawa* pochází buď z přeslechnutí nebo je to úprava jména nejasného původu lidovou etymologií (od *dobra*). Autorovy these se opírají o důkladnou kritiku pramenů. — *FVM*

K u m a n i e c k i Kazimierz, *Drobiazgi polsko-łacińskie. Kallimach—Dantyszek—Mickiewicz.* Pam. lit. 43 (1952) 453—463. — *MK*

M i l e w s k i Tadeusz, *Nazwy miejscowe Ziem Odzyskanych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 24—37. — O způsobu práce komisí pro přejmenování místních jmen v získaných územích. — *MK*

T a s z y c k i Witold, *O mazowieckich patronimicznych nazwach miejscowych.* (Z powodu pewnej recensji.) Porad. jęz. (1952) zesz. 5, 21—23. — Diskuse s názory St. R o s p o n d a. — *MK*

U r b a ń c z y k Stanisław, *Sprzeczka o etymologię* Szczecina. Język Polski 32 (1952) 91—92. — Jemným grafickým a hláskoslovným rozborem starých dokladů dospívá k názoru, že Rospondova domněnka o etymologii ze *Szczytno* neobstojí. — *FVM*

Slovní zásoba

P u s z y n i n a Jadwiga, *Rzeczowniki zbiorowe jako postawa formacji jednostkowych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 4, 11—17. — *MK*

P i l i c h Jan, *Formy zdrobniałe przysłówków w gwarze.* Porad. jęz. (1952) zesz. 4, 31—32. — O citových odstínech forem příslovce *zaraz.* Připojena red. pozn. — *MK*

S k o r u p k a Stanisław, *Typy połączeń frazeologicznych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 5, 12—20; zesz. 6, 14—25. — Na základě rozboru četných příkladů vyvozuje, že mezi výrazy fráze je závislost formy na obsahu a naopak. Frazeologické dělení není dělením formálně-syntaktickým, nýbrž sémantickým. Jeho základem je význam frazeologické skupiny a jeho funkce v celku projevu. Při klasifikaci frazeologických jednotek se uplatňuje zřetel k jejich stavbě čili gramatické formě, nadřazeným kriteriem je však funkce této jednotky jako sémantického členu většího celku. — *MK*

S k o r u p k a Stanisław, *Frazeologia i semantyka.* Porad. jęz. (1952) zesz. 7, 9—16; zesz. 8, 17—25. — Úzkou souvislost mezi sémantikou a frazeologií vykládá autor na příkladech procesů významových změn, výběru výrazů a frází, krystalisace a lexikalisace. — *MK*

S k o r u p k a Stanisław, *Synonimiczne grupy wyrazowe. Przymiotniki.* Porad. jęz. (1952) zesz. 1, 15—18; zesz. 3, 28—33. — O adjektivech: *zadawniony, zastarzały, zakorzeniony, stary, przewlekły, chroniczny, uporczywy, długotrvały.* — *MK*

T r z c i a n k a Janusz, *Jeszcze na temat „budownictwo a język“.* Porad. jęz. (1952) zesz. 1, 13—15. — Konkretními příklady ilustruje thesi, že ve stavebnictví slábne tendence udržovat cizí výrazy a že se jeví snaha nahrazovat je termíny polskými. — *MK*

B r o c k i Zygmunt, *Fachowy język potoczny a fachowy język „oficjalny“.* Porad. jęz. (1952) zesz. 4, 17—26; zesz. 5, 30—36. — Týká se odborné terminologie technické. Polemika s čl. J. Trzcianky *Jeszcze na temat: budownictwo a język* (Porad. jęz. 1952, zesz. 1, 13—15). — *MK*

K a r a ś M., *Jeszcze o* ciuchach. Język Polski 32 (1952) 42n. — *FVM*

K a r a ś Mieczysław, *Roszarnia.* Język Polski 32 (1952) 163—169. — Rozbor jednoho z nejnovějších slov v polštině (*roszarnia* = „průmyslový podnik, zabývající se mechanickým oddělováním vlákna ze lnu a konopí“). Jeho etymologie naznačuje v podrobnostech některé zajímavé procesy v tvoření slov v současném jazyku. — *FVM*

N i t s c h Kazimierz, Nagi — *wyraz nieprzyzwoity.* Język Polski 32 (1952) 36n. — *FVM*

P i g o ń S., Rym *Mickiewicza.* Język Polski 32 (1952) 24n. — *FVM*

O s t r o w s k a Ewa, *Odziać i jego synonimy. 1. Kochanowskiego* odziane lasy *2. Od* odziać *do* zbroić. Język Polski 32 (1952) 1—15, 97—119. — Studuje sémantický vývoj skupiny *oblec — odziać, odzienie — ubrać, ubranie, ubiór — strój, stroić — zbroja, zbroić.* Dochází k závěru, že vývoj šel od neurčitého významu „vestire-ornare-armare“ k přesné specifikaci a významové dělbě. Domnívá se, že tento poznatek by mohl být obecně platným pravidlem. To bude možno dokázat dalším studiem podobných významových skupin. Pokládá za charakteristické pro polštinu, že toto významové rozrůznění a zpřesnění spadá asi do poloviny 16. věku. — *FVM*

R e c z e k Stefan, *Staropol.* jęciec — *nowopol.* — jeniec. *(Szczegół z walki staropolskiego języka literackiego o nową formę.)* Język Polski 32 (1952) 76—81. — Slovo *jeniec* je po prvé doloženo v PsPuł., ale jen jako podoba nepřímých pádů (*jeńca* atd.) k starému nom. *jęciec.* Vznik novější formy souvisí s velkopolským vývojem nosovek. Je to jedno z mnoha slov, jež jsou sice velkopolského původu, ale malopolské prostředí je přejalo a udrželo. Podle výskytu dané formy v PsPuł. usuzuje autor, že tento žaltář vznikl buď na území velkopolském nebo v severozápadních malopolských krajích, kam zasahoval velkopolský proces vývoje nosovek. Datovat vznik nové podoby slova je možno asi koncem XIV. století. — *FVM*

W i t k o w s k i M., *Po obojem ramieniu.* Język Polski 32 (1952) 44n. — *FVM*

Zaręba Alfred, *Z geografii i historii synonimów koloru.* Język Polski 32 (1952) 169—174. — Bohatě shrnuje materiál předmětu z dialektů, ze spisovného jazyka i z dějin polštiny. Výsledky: Původní polský výraz pro barvu měl kořen *kras-*. Malopolská nářečí zachovala aspoň *krasia(s)ty* ve významu „pestrý". Jediné domácí pojmenování pro „barvu" je dnes *maść,* ale to má speciální význam „barva srsti"; zdá se, že v lidovém jazyce není původní. Jinak zdomácněly přejaté názvy *kolor* a *barwa.* Svědčí to o silných cizích vlivech v oblasti barev. — *FVM*

Lexikografie

Skorupka Stanisław, *Stan i zadania leksykografii polskiej.* Porad. jęz. (1952) zesz. 9, 1—6; zesz. 10, 5—13. — Úvodem soupis lexikografických prací polských, dále kapitoly: *Stosunek słownika do gramatyki, Stosunek do frazeologii, Stosunek do słownictwa specjalnego, Stosunek do gwar i żargonów, Stosunek do archaizmów i neologizmów, Stosunek do wartości ekspresywnej wyrazów i wyrażeń.* — *MK*

Słownik języka polskiego. Red.: Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki. Tom I—VI, *A—Ś.* Warszawa 1952, Państw. Inst. Wyd., 957 + 1090 + 935 + 1036 + 827 + 794 str. — Anastatické vydání základního polského slovníku z let 1900—1915 (VI. sv.). Poslední tři svazky vyjdou v r. 1953. — *FVM*

Klemensiewicz Zenon, *W sprawie nowego słownika języka polskiego.* Język Polski 32 (1952) 49—66. — Lindeho slovník a slovník Varšavský dnes už nepostačí. Doplňkové materiály k Varšavskému slovníku shořely v r. 1944. Dnes je výhodnější pořídit slovník nový. R. 1950 vzniká 19-členný redakční komitét s prof. Doroszewským v čele. Ten připravil diskusní sešit *Słownika współczesnego języka polskiego.* Článek hodnotí diskusi, kterou vyvolal tento sešit na zkoušku a pak obšírně vykládá stanovisko redakce k nejrůznějším problémům rozsahu, obsahu i metodického a praktického zpracování budoucího slovníku. — *FVM*

Doroszewski Witold, *O pracy nad układem haseł w słowniku.* Porad. jęz. (1952) zesz. 10, 1—5. — Pět postulátů: 1. přehlednost, 2. stručnost, 3. krátkost příkladů, 4. základem uspořádání hesla jsou zřetele sémantické, nikoli syntakticko-frazeologické, 5. při uspořádání hesla se zdůrazňují dnes dominantní významy. — *MK*

Doroszewski Witold, *Dyskusja i nieporozumienia w dyskusji.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 3. — Týká se časopisecké diskuse o novém slovníku současné polštiny (srov. Slavia 21, 1952, č. 1, 155). — *MK*

Klemensiewicz Zenon, *W sprawie nowego słownika języka polskiego.* Jęz. pol. 32 (1952) 49—66. — O diskusi nad prvním (diskusním) sešitem nového slovníku polštiny. Rozbírá jednotlivá pojetí a zaujímá své stanovisko k zásadním hlediskům, na př.: slovník se má omezit na nejbližší vývojový úsek polštiny, jejž možno nazvat současným, nemá obsáhnout dialektismy (s výjimkou provincionalismů, vzniklých na nářečním základě a pronikajících do jazyka hovorového i jazyka literárních děl), má registrovat neologismy a neosémantismy, má provést výběr odborné terminologie, a j. Dále o pracovním postupu a technické stránce. — *MK*

O pracy nad nowym słownikiem języka polskiego. Porad. jęz. (1952) zesz. 1, 1—4. — Výňatky ze stejnojmenného článku W. Doroszewského (Nowa Kultura 1951, nr. 47). Viz Slavia 21 (1952) č. 1, 155: *Nový slovník současné polštiny.* — *MK*

Doroszewski Witold, *Normy i kryteria ocen w pracy słownikowej.* Porad. jęz. (1952) zesz. 3, 1—17. — *MK*

Skorupka Stanisław, *Organizacja i technika prac słownikowych.* Porad. jęz. (1952) zesz. 2, 1—10. — *MK*

T o k a r s k i Jan, *Podstawy naukowe nowego słownika języka polskiego.* Porad. jęz. (1952) zesz. 4, 1—11. — O povaze, rozsahu a zásadách nového slovníku současné polštiny. — *MK*

T o k a r s k i Jan, *Zagadnienia leksykografii w świetle poglądów J. Stalina na język.* Porad. jęz. (1952) zesz. 2, 10—20. — Dotýká se rovněž diskuse o novém slovníku současné polštiny. — *MK*

V y d r a Bohumil, *Polsko-český slovník.* 2. oprav. a dopl. vyd. (3. vyd. v Slov nakl. 2.). Praha 1952, Slov. nakl., 702 str. — Slovník zachycuje na 50.000 výrazů a přináší i termíny z názvosloví ekonomického, obchodního, vojenského, technického a sportovního. Čerpá z dosavadních slovníků, ale i ze školních příruček, tisku a hovorového jazyka. — 1. vyd. srov. Slavia 19 (1950) 526—527 (ref. A. S i e c z k o w s k é h o) a ibid 20 (1951) 571. — *DK*

Jazykové památky

* *Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. Przemyskie.* Podobizna rękopisu. Wydał i wstępem poprzedził Stefan V r t e l - W i e r c z y ń s k i. Warszawa 1952. — *MK*

* S t i e b e r Zdzisław, *O stylu „Kazań gnieźnieńskich“* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

* V r t e l - W i e r c z y ń s k i Stefan, *Polski i czeski Dialog Palinura z Charonem Biernat z Lublina i Mikuláš Konáč.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

* W i t c z a k Tadeusz, *Gdańska Tragedia o bogaczu i Łazarzu w rękopisie z r. 1643* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Z e m b a t ó w n a Maria, *Czy Psałterz puławski jest zabytkiem środkowo-małopolskim?* Język Polski 32 (1952) 223—229. — Konfrontací nemalopolských a malopolských jevů v PsPuł. a jemnou analysou této dvojitosti dospívá k závěru, že myšlenka prof. W. T a s z y c k é h o (Lingua Posnaniensis 3, 206) o původu památky ze středního Malopolska je neudržitelná. Žaltář vznikl asi na malopolském území jazykově značně sblíženém s Velkopolskem. Podle stavu nosovek a zobecnění *-'ow-* je snad nejspíše nasnadě Sieradsko. Srov. též následující záznam a podobnou myšlenku R e c z k o v u v článku *Staropolski* jęciec — *nowopolski* jeniec (týž JP 76n.). — *FVM*

R o s p o n d St., *Postscriptum do zagadnienia lokalizacji Psałterza puławskiego* Język Polski 32 (1952) 229—231. — Navazuje na článek Z e m b a t ó w n y (viz předchozí záznam) a na podkladě vlastního materiálu ukazuje, že velkopolská nářečí znala výslovnost ę. Souhlasí to také s přesným materiálem K u r a s z k i e w i c z o v ý m. PsPuł tedy n e n í památkou ze středního Malopolska. S lokalisací Zembatówny souhlasí. — *FVM*

H a m m Josip, *Altpolnisches aus kroatischen Archiven.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 171—180. — Uveřejňuje tři staropolské texty: překlad poselství chána Mengli Gireje, poselství krále Zikmunda I. polské šlechtě a instrukce pro posla velkoknížecí rady ke knížeti Michaelu Glińskému. Všechny pocházejí z počátku 16. století, druhá a třetí jsou z litevské velkoknížecí kanceláře. — *FVM*

R o m b o w s k i Aleksander, *Rękopis byczyński.* Pam lit. 43 (1952) 604—609. — Ref.: K u d ě l k a Milan, Slez. sbor. 51 (1953). — *MK*

Z a t h e y Jerzy, *Kilka uwag w związku z tekstem staropolskim wiersza o „Baranku bożym“.* Pam. lit. 43 (1952) 442—452. — *MK*

P o l l a k Roman, *Ze studiów nad staropolskim przekładem „Orlanda Szalonego“* Pam. lit. 43 (1952) 252—286. — Cesta poematu do Polska a rozbor překladu. — *MK*

W o r o n c z a k Jerzy, *Tropy i sekwencje w literaturze polskiej od połowy XVI wieku.* Pam. lit. 43 (1952) 335—374. — Obsahuje kapitoly: *Tropy i sekwencje w literaturze łacińskiej — Początki pieśni kościelnych w językach ludowych — Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do połowy XVI wieku.* — *MK*

Z badań nad literaturą staropolską. Program i postulaty. Wrocław 1952, Inst. badań lit. — Obsahuje stati: B u d z y k K., *O syntezę polskiego Renesansu* — G ó r s k i K., *Prace nad projektem zasad transkrypcji i transliteracji zabytków staropolskich* — V r t e l - W i e r c z y ń s k i S., *Zasady wydawania polskich tekstów średniowiecznych* — G ó r s k i K., *Zasady transkrypcji tekstów XVI i XVII w.* — S z e w c z y k ó w n a J., *Zasady transliteracji druków XVI i XVII w.* — K u r a s z k i e w i c z W., *Sposób opracowania indeksów wyrazowych* — S a w r y m o w i c z E., *W sprawie przepisów edytorskich dla tekstów staropolskich do użytku szkolnego* — H e r n a s Cz., *„Stare i nowe" prace o literaturze staropolskiej po wojnie (1945—1952)* — M a y e n o w a M. R., *Nowe prace z historii języka polskiego XVI i XVII w.* — *MK*

Jazyk uměleckých děl

R z e u s k a Maria, *O metodę analizy językoznawczej gwary dzieła literackiego. Z powodu dyskusji nad gwarą „Chłopów" Reymonta.* Pam. lit. 43 (1952) 933—960. — Z jazyka svých hrdinů eliminoval Reymont výstřední a křiklavé vlastnosti, přiblížil jej jazyku literárnímu a ponechal v něm systém łowického dialektu. Metodologický závěr: „Badanie językoznawcze gwary utworu literackiego musi wyglądać inaczej niż badanie gwary żywej mowy, inaczej pod kilku względami. Tam zwłaszcza, gdzie dialektyzacja jest częściowa, jeśli nawet wysokoprocentowa, każde zjawisko i każda gwarowa pozycja reprezentuje tylko siebie. Dopiero wzięte razem, zestawione i porównane, mogą powiedzieć czy i o ile są odzwierciedleniem jakichś procesów. Wzięte razem mówią o zasięgu gwary i o konsekwencji lub niekonsekwencji stosowania zjawisk językowych i także o tym, czy w utworze mamy do czynienia z systemem, czy też z niepowiązanymi dialektyzmami, i w jakim stopniu. Przy próbach lokalizacji, wiązania go z realnym terenem, należy pamiętać, że jak język, literacki, tak też gwara może podlegać odkształceniom, czy nawet przekształceniom, a przez to jeszcze nie musi tracić cech swej autentyczności" (960). — *MK*

N i t s c h Kazimierz, *Odpowiedź na artykuł Marii Rzeuskiej.* Pam. lit. 43 (1952) 961—969. — Odmítnutí vývodů článku *O metodę analizy językoznawczej gwary dzieła literackiego* (Pam. lit. 43, 1952, 933—960). — *MK*

Varia

D o r o s z e w s k i Witold, *Horyzonty współczesnego językoznawstwa.* Porad. jęz. (1952) zesz. 7, 1—9. — O otázce historie jazyka, o souvislosti jazykovědy s jinými disciplinami a o jejích nejvýznamnějších úkolech. — *MK*

L e h r - S p ł a w i ń s k i Tad., *Zadania i plany naukowe i organizacyjne językoznawstwa polskiego na lata najbliższe.* Biul. Pol. tow. jęz. zesz. XI (1952) 130—143. — Referát ze sjezdu. — *MK*

O b r ę b s k a - J a b ł o ń s k a A., *Prace językoznawcze S. Jaszuńskiego.* Język Polski 32 (1952) 129—138. — *FVM*

S ł a w s k i Franciszek, *Prace językoznawcze Wiktora Węglarza.* Język Polski 32 (1952) 175—182. — (Zavražděn okupanty 18. I. 1945). — *FVM*

Jazyk lužickosrbský a lužické otázky

Wjacsławk Jakub, *Serbska bibliografija.* 2. rozmn. a wuporjedź. nakład. Berlin 1952, Akad., XX + 500 str. — Oddíly: 1. generalia, 2. zeměpis a vlastivěda, 3. národopis, 4. národnostní otázka a kulturní politika, 5. jazyk a literatura, 6. umění, 7. dějiny a starožitnosti, 8. právo a politika, 9. hospodářství, 10. mytologie, náboženství, 11. vyučování, 12. životopisy, 13. varia. Připojeny podrobné rejstříky: autorský, osobní, jmenný a věcný. Zahrnuje mnoho i z oblasti Polabských Slovanů. — Rec.: Mětšk Frido, Rozhlad 2 (1952) 121—122. — *FVM*

Nowak-Njechorński Měrćin, *Zapad a wuchod, spad a schad.* Rozhlad 2 (1952) 123. — Preferuje srbské výrazy *połnoc, ranje, połdnjo* a *wječor* před „cizími" *sewjer, juh, zapad, wuchod, spad, schad.* Puristické. — *FVM*

Młynk Jurij, *Serbski institut lipsčanskeje uniwersity.* Rozhlad 2 (1952) 29—30. — Docentem lužickosrbského jazyka je Michał Nawka, národopisný seminář vede Pawoł Nedo, dějiny přednáší Frido Mětšk. — *FVM*

Nowe serbske słowniki nastawaju. Serbska šula 5 (1952) 159. — Zpráva o chystaných slovnících. Je plánován také etymologický slovník B. Dobruckého. — *FVM*

Brězan Jurij, *Mjez Čornobohom a Błótami.* Budyšin (Domowina) s. a., 147 str. — Přístupná, encyklopedicky podaná informace o Lužici. 71 stran krásně provedených fotografií. — *FVM*

Jazyk polabský a pomořský

Fischer Rudolf, *Ortsnamen an der Gera. Charakteristische Namen Thüringens.* Wissensch. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Univ. Jena. Gesellschafts- und Sprachwissensch. Reihe Nr. 3, 2 (1952/1953) 163—165. — Pojednává též o místních názvech slovanského původu (*Plaue* < *Plavy*) a o pův. slovanském osídlení této oblasti. Závěr: slovanský jazyk zde (Thüringer Wald) žil ještě v 13. st. — *IN*

Fischer Rudolf, *Ortsnamen in Thüringen. Zur „Deutschen Namenforschung" von Ernst Schwarz.* Wissensch. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Univ. Jena. Gesellschafts- und Sprachenwissensch. Reihe Nr. 2 (1952/1953) 165—167. — Zabývá se etymologií míst. názvu *Jena.* Vyvrací Brücknerův názor o slovanském původu (*Jena* < *Jan*), souhlasí s E. Schwarzem: *Jena* < střhn. *jân* „řada". Dále: toto *jân* přejímali Slované (v slovin. dodnes znamená „pruh pole, louky nebo vinice") a z něho také vytvořili místní název pro horu u Jeny — *Jansk,* t. j. dnešní *Jenzig* (srov. slovan. *Lipsk* > *Leipzig*). — *IN*

Viz též Wjacsławkovu *Bibliografii* v oddílu „jazyk lužickosrbský a lužické otázky".

Jazyk ruský

Dějiny jazyka

Левин В. Д., *Некоторые вопросы истории русского языка в связи с историей народа.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 3, 13—24. — Zvláštnosti vývoje ruského spisovného jazyka jsou určeny zvláštnostmi vývoje ruského národa. Spočívají v tom, že 1. již v období před rozvojem kapitalismu, v období formování ruské národnosti, se v souhlase s potřebami centralisované státní moci vytvářel normovaný jednací jazyk, opírající se o jazyk ruského lidu, 2. v období formování ruského národa (17. stol.) byly již vytvořeny dva základní styly spisovného jazyka ruského: knižní, opírající se o základ církevněslo-

vanský, a jednací, opírající se o základ ruský. Funkce jednacího jazyka se v dalším vývoji rozšířily na jiné oblasti užití spisovného jazyka. — *VB*

Ионенко И. М., *Об исторических условиях превращения курско-орловского диалекта в основу русского национального языка.* Вопр. ист. (1952) № 7, 89—100. — Vychází ze Stalinova názoru, že základem ruského národního jazyka se stal kursko-orlovský dialekt. Historicky probírá situaci v době vzniku jazyka ruské národnosti v 12.—15. stol., kdy se dostala do popředí akající nářečí jihovýchodní. Značně se přihlíží k Slovu o polku Igoreve. Jazyk ruského národa se pak vytvářel v stol. XVI.—XVIII., kdy historické příčiny podporovaly hlavně kursko-orlovské nářečí. — *FVM*

Черных П. Я., *Историческая-грамматика русского языка. Краткий очерк. Пособие для педагогических и учительских институтов.* Москва 1952, Учпедгиз, 312 стр. — Rec.: Булаховский Л. А., Вопросы яз. 2 (1952) № 1, 131—139. — Recensent vytýká vážné nedostatky metodického rázu, slabě uplatněné srovnávání s ostatními slovanskými jazyky, nesouměrné zpracování jednotlivých částí. Snaha o přístupnost výkladu často zaváděla autora k zjednodušování. V novém vydání recensent doporučuje odstranit nedostatky a nepřesnosti ve výkladu. — Ref.: Barnetová Vilma, Sovětská věda — jazykověda 3 (1953) 181—185. — Vytýká nerovnoměrné zpracování jednotlivých částí učebnice, nepřesnosti a neproblematické řešení otázek, dosud ještě diskusních. — *VB*

Ожегов С. И., *Основные черты развития русского языка в советскую эпоху.* Сб. Материалы всероссийского совещания учителей русского языка начальных семилетних и средних школ 29. I.—2. II. 1951. Москва 1952, 59—78. — *VB*

Борковский В. И., *Исторические справки по синтаксису русского языка.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 1, 13—23. — Ilustruje jednotlivé paragrafy školní učebnice ruského jazyka (red. L. V. Ščerba) historickými materiály ze skladby ruského jazyka. — *VB*

Stavba zvuková a mluvnická; tvoření slov

Mluvnice

Грамматика русского языка. Редколлегия: Виноградов В. В., Истрина Е. С., Бархударов С. Г. *Том I. Фонетика и морфология.* Москва 1952, АН СССР, 720 стр. — Rec.: Коротаева Э. И., Вопросы яз. 2 (1953) № 1, 109—120. — Mluvnici kladně hodnotí. Vytýká některé nedostatky: objasnění základních principů normy schází, poměr gramatiky a stylistiky není jasně rozlišen. Výklad a zpracování gramatických jevů trpí nejednotností co do rozsahu i hloubky. Nedostatečně důsledně je uplatňován požadavek normativnosti a stylistického zařazení jednotlivých jevů. Některé formulace jsou nepřesné a nejasné. Recensentka doporučuje připojit věcný rejstřík. — Сухотин В. П.. Советская книга (1952) № 11, 111—120. — Recensent se podrobně zaobírá stavbou mluvnice, metodou výkladu i spornými otázkami pojetí jednotlivých mluvnických jevů. Doporučuje, aby při novém vydání byla připojena kapitola, informující přehledně o dosavadních školních gramatikách a výkladu některých sporných kategorií. Hláskosloví potřebuje v novém vydání přepracování. Mluvnice opomíjí vztah hláskosloví k ostatním složkám jazyka. Kapitoly o tvoření slov recensent vítá, ale upozorňuje, že podávají spíše inventární přehled slovotvorných prostředků, a nikoli systém. Mluvnice vyžaduje jazykového sjednocení všech částí. — Ďurovič Ľubomír, Sov. věda — jaz. 3 (1953) 1, 66—75. — Vyzdvihuje jako klad, že v mluvnici se důsledně projevuje snaha o normalisaci. Vyslovuje však pochybnost, zda orientace na středoškolský standard je výhodná, poněvadž takto se mluvnice musela často přidržovat tradičního pojetí gramatických jevů.

Vytýká některé nedůslednosti a nepřesnosti ve výkladu. Za nejméně propracovanou považuje část o hláskosloví. — *VB*

Современный русский язык. Морфология (Курс лекций). Ред. В. В. Виноградов. Москва 1952, Моск. унив., 519 стр. — Součást připravovaného třísvazkového souboru: první svazek zahrne obecně teoretický úvod a nauku o slovní zásobě, třetí svazek obsáhne syntax. Na 40 stranách podává teorii morfologie a druhů slov, na dalších dvanácti pojednává o otázkách tvoření slov. Pak probírá jednotlivé slovní druhy, jejich gramatické kategorie, flexi a derivaci. Nepřehlíží ani neflektivní slova, pokud mají gramatický dosah pro morfologii. Závěrečná kapitola pojednává dosti obšírně o ruské ortografii a grafice (494—518). — *FVM*

Пулькина И. М., *Краткий справочник по русской грамматике.* Изд. 3-е. Москва 1951, Учпедгиз, 263 стр. — Rec.: Клюева В., Рус. яз. в школе 13 (1952) № 2, 82—85. — Recense kladně hodnotí bohatý ilustrační materiál hovorové spisovné ruštiny. Nedostatkem příručky je její orientace na neruskou veřejnost vůbec a dále časté příklady z básnického jazyka, přísloví a písní, jejichž norma je však do značné míry méně závazná než norma spisovné ruštiny prosaické. Některé kapitoly jsou přetíženy materiálem. — *VB*

Zvuková stránka jazyka

Шапиро А. Б., *Ударение в кратких прилагательных.* Докл. и сообщ. I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 90—104. — Autor se zabývá otázkou normy přízvuku v krátkých tvarech přídavných jmen, určuje hlavní typy přízvukování a všímá si odchylek od normy v mluvené řeči. Upozorňuje na nový jev — přechod přízvuku z kmene na koncovku u většiny krátkých tvarů příd. jmen v plurálu, který se zvláště rozšiřuje od druhé čtvrtiny 20. stol. Příčinu spatřuje ve vymizení zkrácených tvarů přídavných jmen, které svým přízvukem na kmeni mohly mít vliv na přízvuk krátkých tvarů přídavných jmen v plurálu. — *VB*

Stoffel E., *Dublety akcentuacyjne w języku rosyjskim i ich zróżnicowanie znaczeniowe.* (Streszczenie.) Biul. Pol. tow. jęz. zesz. 11 (1952) 93—107. — Otázky: tendence v přízvukovém systému ruštiny ve světle přízvukových dublet; míra využití přízvuku jako prostředku zdůrazňujícího významové rozdíly; druhy kolísání přízvuku a významového rozlišení dublet. — *MK*

Kiparsky V., *О колебаниах ударения в русском литературном языке.* I Annuaire de l'Institut Finlandais d'Études Soviétiques, Supplément du nº 1, Helsinki 1950. — Rec.: Unbegaun B. O., Revue des Études slaves 28 (1951) 181. — Hingley Ronald, Slavonic Review 30 (1951) 302—304. — Novák Bořivoj, Listy filol. 75 (1951) č. 15, 234—236. — *IN*

Лыткин В. И., *Отражение перехода древнерусских* е в о *в русских заимствованиях языка коми.* Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 72—83. — Přejatá slova z ruského jazyka do nářečí jazyka komi mohou ukazovat na proces přechodu *e* > *o* v ruském jazyce. Článek je převážně materiálový. — *VB*

Кузнецов П. С., *О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 61—75. — Střídání hlásek je hláskoslovným prostředkem v gramatickém (morfologickém) plánu jazyka. Teprve podrobné prozkoumání zásoby kombinatorních variant fonémů daného jazyka umožní rozhodnout, zda některý jev je skutečně střídáním morfologickým. Definice: „Střídáním rozumíme řadu různých forem téhož morfému, jež se od sebe částečně liší fonématickým složením a mají různý morfologický (tvaroslovný nebo slovotvorný) význam." Autor pak dosti obšírně

probírá střídání konsonantů i vokálů v ruštině a zjišťuje také, které jevy sem nepatří. Přihlíží hojně i k dialektům. Konstatuje historický vývoj střídání a případný zánik per analogiam. Jako prostředek gramatické stavby je střídání značně trvanlivým jevem. Pokud podléhá změnám, je to v ruštině částečně podmíněno skutečností, že je vždycky jen prostředkem průvodním. Důkladné prostudování střídání, hlavně na historickém a dialektologickém materiálu, je teprve úkolem jazykovědy. — *FVM*

Gramatická stavba

Havránek Bohuslav, Leška Oldřich, Zatovkaňuk Mikuláš: *Přehled ruského tvarosloví*. Pomocná kniha pro výběrové školy 3. stupně. 2. vyd. Praha 1952, St. pedag. nakl., 71 str. — Zhuštěně, ale přístupně a velmi přehledně podané základy ruské morfologie. — *DK*

Виноградов В. В., *Учение акад. А. А. Шахматова о грамматических формах слов и о частях речи в современном русском языке*. Докл. и сообщ. I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 28—52. — Kriticky hodnotí učení A. A. Šachmatova o druzích slov a jejich gramatických formách a principy, na nichž Šachmatov zakládá rozlišení druhů slov v současné ruštině. Šachmatovovo učení trpí především tím, že se v něm přeceňuje princip sémasiologický a syntaktický na úkor morfologického, což vedlo ke směšování morfologie a syntaxe a k oslabení významu morfologie jakožto součásti gramatiky. — *VB*

Якубинский Л. П., *Из истории имени прилагательного*. Докл. и сообщ. I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 52—61. — Článek se zabývá otázkou ztráty sklonění krátkých tvarů přídavných jmen a neschopnosti tvořit krátké tvary od vztahových (otnositelnyje) příd. jmen. V obou případech vidí autor příčinu v rozpadu kategorie určenosti a neurčenosti v ruštině, která se vyjadřovala protikladem plných a krátkých tvarů příd. jmen. — *VB*

Никифоров С. Д., *Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI в.* Москва 1952, АН СССР, 344 стр. — Rec.: Борковский В. И., Вопросы яз. 2 (1953) № 3, 139—143. — Recensent hodnotí práci velmi kladně, zejména autorovu snahu o určení normy ruského jazyka 2. poloviny 16. stol. v oblasti slovesa. Vytýká však, že autor neukázal historický vývoj slovesných tvarů, že nerozlišuje důsledně jevy celonárodního staroruského jazyka a dialektů a nepřesně je stylisticky hodnotí. — *VB*

Поспелов Н. С., *Категория времени в грамматическом строе русского глагола*. Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Сб. статей. Москва 1952, 286—306. — Tradiční pojetí času „s hlediska mluvčího" kritisuje autor jako idealistické a pokouší se o marxistické pojetí kategorie slovesného času a způsobu. Druhá část článku se zabývá časovými významy tvarů présentu sloves nedokonavých. — *VB*

Поспелов Н. С., *К вопросу о различных временных значениях русского прошедшего совершенного*. Докл. и сообщ I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 61—67. — Příspěvek k otázce významu tvarů minulého času dokonavých sloves v současné ruštině. Na základě rozboru dialogu autor ukazuje, že tyto tvary mohou mít, vedle vlastního významu perfekta (který je charakteristický pro slovesa nepřechodná, připisující děj neživotnému subjektu), mimo jiné i význam possessivní, t. j. bez zřetele na výsledek děje v přítomnosti, což je charakteristické pro slovesa přechodná, připisující děj životnému subjektu. — *VB*

Шахматов А. А., *Из трудов по современному русскому языку Учение*

о частях речи. Москва 1952, Учпедгиз, 272 стр. — Obsahuje vybrané kapitoly ze dvou hlavních děl A. A. Šachmatova (*Syntaksis russkogo jazyka, Očerk sovrem. rus. literaturnogo jazyka, Priloženija*). Je připojena úvodní stať V. V. Vinogradova, kriticky hodnotící učení A. A. Šachmatova o gramatických formách a druzích slov v ruském jazyce. — *VB*

Кузьмин Ф. Ф., *Практические занятия по синтаксису и пунктуации*. Учебное пособие для учительских институтов. Москва 1951, Учпедгиз, 215 стр. — Rec.: Янко-Триницкая Н., Рус. яз. в школе 13 (1952) № 3, 73—77. — Recensentka kladně hodnotí příručku pro bohatý ilustrační materiál z beletrie i poesie. Nedostatkem jsou některé nepřesné formulace, nepřesná klasifikace a výklad některých gramatických jevů. Požadavkům metodickým sborník plně vyhovuje. — *VB*

Борковский В. И., *Основные вопросы исторического синтаксиса русского языка*. Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Сб. статей. Москва 1952, 260—286. — Naznačuje cesty, kterými by se mělo ubírat zkoumání skladby staroruského jazyka. Hlouběji se zabývá otázkou uplatnění srovnávacího hlediska v historické skladbě. — *VB*

Бондаренко Ф. Н., *О некоторых вопросах синтаксиса*. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 2, 18—26. — Zabývá se některými spornými otázkami skladby. Problém několikanásobných větných členů při zevšeobecňujícím slově, otázka přístavku a t. zv. zpřesňujících slov ve větě není dosud ani ve školních učebnicích, ani v teoretických pracích jednoznačně vyřešena. Autor navrhuje svá řešení. — *VB*

Мигирин В., *Относительные придаточные предложения*. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 6, 7—13. — Ukazuje na jazykovém materiálu různé typy významových vztahů mezi t. zv. vztažnými větami vedlejšími a zastavuje se u otázky, jakými jazykovými prostředky se v současné ruštině tyto vztahy vyjadřují. Na základě analysy různých typů těchto vedlejších vět doporučuje nahradit pojmy „souřadnost" a „podřadnost" pojmem „typy významových vztahů mezi větami ve složitém syntaktickém celku". — *VB*

Белошапкова В. А., *К изучению типов сложного предложения*. Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 20—34. — Na materiálech současného jazyka analysuje základní typy časových souvětí, především se spojkou *как*, všímá si jejich významových odstínů ve vztahu ke struktuře souvětí. — *VB*

Ванслова М. Л., *О связи слов в предложении*. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 1, 23—31. — Problém větných vztahů je dosud velmi málo teoreticky propracován. Školní učebnice se omezují na tři tradiční typy vztahů (soglasovanie, upravljenije, primykanije). Článek upozorňuje na vztahy jiné, ale nepropracovává je. — *VB*

Михайлов М. М., *Придаточные предложения с союзом* пока. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 6, 13—21. — Na jazykovém materiálu současného jazyka analysuje významové a stylistické odstíny spojky *пока*. — *VB*

Петерсон М. Н., *Союзы в русском языке*. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 5, 28—35. — Podává velmi stručnou charakteristiku spojek po stránce tvarové a významové a jejich základní klasifikaci. Nové poznatky článek nepřináší. — *VB*

Виноградов В. В., *Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков)*. Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. Сб. статей. Москва 1952, 99—153. — Obsáhlá studie o tvoření slov v ruském jazyce. Podrobněji se zabývá otázkou postavení tvoření slov v systému jazyka a základními typy tvoření slov v současné ruštině. Určuje typ morfologický, morfologicko-syntaktický a syntakticko-morfologický, syntaktický, lexikálně-sémantický a lexikálně-morfologický. — *VB*

Sborníky a souhrnné články o speciálních otázkách

Учёные записки. Том 64. Кафедра русского языка. Вып. 3. Сб. статей. Ред. С. Д. Никифоров. Москва 1952, Моск. гос. пед. институт им. В. И. Ленина, 136 стр. — Sborník obsahuje tyto články: Прокопович Н. Н., *Из наблюдений над синтаксисом имени прилагательного в современном русском языке. Прилагательные в роли распространенного определения.* Головин Б. Н., *О приставочных формах выражения внутривидовых значений в современном русском глаголе.* Никифоров С. Д., *Категория залога глагола по памятникам второй половины XVI века.* Никифоров С. Д., *Инфинитив по памятникам второй половины XVI века.* — *VB*

Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. Том 1. Уч. зап. № 156. Серия филологических наук. Вып. 15. Сб. статей. Ред. Бархударов С. Г. Ленинград 1952, Ленинградский университет, 363 стр. — Rec.: Звегинцев В. А., Поспелов Н. С., Сов. книга (1952) № 10, 109—115. — Recensent vytýká náhodnost statí sborníku a jejich odtržení od aktuální problematiky sovětské jazykovědy. Vedle statí, opírajících se o materiály různých slovanských a západoevropských jazyků, obsahuje sborník i stati, opírající se o materiály ruského jazyka: Каратаева Э. И., *Из истории сложного предложения в русском языке.* Трофимов В. А., *К вопросу о выражении отрицания в современном русском литературном языке.* Моисеев А. И., *Словосочетания с зависимым инфинитивом в современном русском языке.* Бойко Н. А., *О роли вида в некоторых инфинитивных сочетаниях, содержащих отрицание.* — *VB*

Slovní zásoba

Соколова М. А., *Из истории слов основного словарного фонда.* Докл. и сообщ. II. Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 8—20. — Příspěvek ke zkoumání otázek základního slovního fondu ruského jazyka. Na základě zkoumání textů 16. stol. i některých literárních památek starších dochází autorka k závěru, že v této době slova *oko, perst* byla kořennými slovy. Teprve později přešla do pasivní slovní zásoby. — *VB*

Otrębski Jan, *Zasób wyrazowy języka rosyjskiego w świetle wypowiedzi Józefa Stalina.* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 2, 1—9. — Ze slovanských jazyků má ruština nejméně cizích výrazů; a pokud je má, slouží k obohacení a posílení jazyka. Ruštinu charakterisuje velká slovní zásoba. — *MK*

Ожегов С. И., *Из истории слов социалистического общества.* Докл. и сообщ. I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 67—76. — Na příkladu adjektiva *sovetskij* ukazuje, jak se vývoj společnosti odráží ve změnách v slovní zásobě jazyka (změny a rozšíření významu a užití slova). — *VB*

Богородицкий Б. Л., *О двух синонимичных мореходных терминах «матка» и «компас».* Докл. и сообщ. I Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 76—90. — Sleduje historii termínů *matka* a *kompas* v ruštině; nedochází však k žádným obecným závěrům, které by mohly mít platnost pro historii rozvoje ruské technické terminologie. — *VB*

Cocron Fritz, *Russisch брести / бродить als Synonym für итти / ходить im 17. Jahrhundert.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 150—154. — Slovesa *брести / бродить* se v 17. stol. užívalo pro vytknutí činnosti chůze (jen u živých bytostí), když sloveso *итти / ходить* se otřelo v širokém použití a stalo se málo výrazným. (Podobný případ jako franc. *marcher* a *aller*, ital. *camminare* a *andare?* — Pozn. anotujícího.) — *FVM*

Манский Н. М., *О производной и непроизводной основе.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 4, 10—19. — Řeší otázku odvozeného a neodvozeného základu slova s hlediska školské praxe a dává pokyny, jak určovat strukturu slova při morfologickém rozboru ve škole. — *VB*

Jazyková kultura; pravopis

Шапиро А. Б., *Русское правописание.* Москва 1951, АН СССР, 198 стр. — Rec.: Крючков С. Е., Сов. книга (1952) № 4, 106—110. — Recensent vysoce hodnotí knihu. Nesouhlasí s autorovým pojetím morfologického principu a upozorňuje na řadu otázek, které si vyžadují hlubšího propracování (na př. psaní záporky *не* s deverbativními adjektivy na *-им, -ем,* přechod participií k adjektivům a j.) — *VB*

Крючков С. Е., *Вопросы современной русской орфографии.* Москва 1952, Изд. «Знание», 31 стр. — Rec.: Horák Gejza, Slovenská reč 18 (1952—1953) 47—52. — *FVM*

Крючков С. Е., *Спорные написания в современной русской орфографии.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 1, 31—45. — Podává výčet hlavních případů, v nichž současný ruský pravopis kolísá. — *VB*

Dialektologie

Кузнецов П. С., *Русская диалектология. Учебник для учительских институтов.* Москва 1951, Учпедгиз, 143 стр. — Rec.: Мораховская О., Строганова Т.: Рус. яз. в школе 13 (1952) № 4, 76—80. — Učebnice je určena pro učitelské instituty. V zásadě své poslání plní. Vedle méně závažných nepřesností převážně metodického rázu má učebnice velké klady: přináší přehled hlavních syntaktických jevů jednotlivých dialektů. Pokouší se také o výklad některých sporných otázek o vzniku středoruských dialektů. — Rec.: Аванесов Р. И., Сов. книга (1952) № 6, 92—102. — Resensent kladně hodnotí knihu. Vytýká abstraktní výklad vztahu nářečí k jazyku národnosti a národnímu jazyku v jednotlivých etapách historického vývoje. Nesouhlasí s metodou výkladu struktury nářečí jen v jejich odlišnostech od spisovného jazyka a nikoli struktury nářečí o sobě. Kuzněcov opomíjí historickou perspektivu při uvádění paralel běloruského a ukrajinského jazyka a dopouští se na některých místech nepřesností ve výkladu nářečního materiálu. — *VB*

Аванесов Р. И., *Лингвистическая география и история русского языка.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 6, 25—47. — Úvodní část je věnována teoretickým otázkám jazykového zeměpisu (vznik a rozšíření jazykového jevu na daném území, vlastní smysl isoglosy, interpretace jazykových map a j.). Na konkretních příkladech autor ukazuje, jaký význam má jazykový zeměpis pro studium historie jazyka v souvislosti s historií národa: staví do nového světla jazykové jevy, závažné pro studium vnitřních zákonů jazykového vývoje. Tak na př. ruské dialektologické atlasy ukazují, že změna *é* > *ó* není obecně velikoruská; že akání se vyvinulo v 12.—13. st. v knížetství rjazaňském, novgorod-severském a černigovském; že vznik frikativního *g* lze klásti do doby před polovinou 12. století. — *IN*

Аванесов Р. И., *Вопросы лингвистической географии русских говоров центральных областей.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 161—178. — Informuje o první části ruského dial. atlasu těchto oblastí, který je připraven k tisku. Pořídil jej Jazykovědný ústav AN SSSR. Dílo má dva svazky. V prvním jsou úvodní stati, komentář a různé indexy. Úvodní stati jsou věnovány teoretickým otázkám jazykového zeměpisu, historii jaz. zeměpisu ruštiny a podávají plán, popis a charakteristiku sebraného mate-

riálu. V druhém svazku jsou mapy. Avanesov pak probírá otázku historie obyvatelstva těchto krajin, sám shrnuje hlavní pozorování a upozorňuje na to, že atlas přinese nejen dokonalý obraz dial. jevů dobře prozkoumaných, ale také mnoho materiálu k jazykovým jevům dosud málo známým. — *FVM*

А в а н е с о в Р. И., *О качестве задненебной фрикативной согласной перед гласными переднего ряда в русском языке.* Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 34—42. — Otázka o kvalitativní totožnosti zadopatrové třené znělé souhlásky (γ) a středopatrového *j* je sporná. V celé řadě jihovelikoruských dialektů, v nichž je palatalisující působení předopatrových samohlásek zvláště silné, se v postavení před těmito vokály vyslovuje středopatrové *j* místo zadopatrového třeného γ, a to zvláště v těch polohách, v nichž se nerealisuje protiklad γ — γ' (na př. *jíbnuť, majíla*). — *VB*

С и д о р о в В. Н., *Об одной разновидности умеренного яканья в среднерусских говорах.* Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 57—72. — Nové nářeční materiály potvrdily autorovu domněnku o možnosti existence třetího typu umírněného jakání středoruských nářečí. Nově objevený typ umírněného jakání, novorossijský, se vyvinul z jokajících severoruských nářečí s nepravidelnou výslovností nepřízvučného *'o* < ѣ před tvrdými konsonanty a nepřízvučným *'a*, jež odpovídá etymologickému *a* mezi měkkými souhláskami. Tento typ severoruského nářečí se dostal do vlivu jihoruských akajících nářečí. V souvislosti s objevem nového typu umírněného jakání autor zpřesňuje svou teorii vzniku umírněného jakání ve středoruských nářečích, vyslovenou již v předcházejících studiích. — *VB*

К о т к о в С. И., *Заметки по консонантизму курско-орловских говоров.* Докл. и сообщ. II Института языкознания АН СССР, Москва 1952, 42—57. — Doplňuje novými materiály dosavadní poznatky o územním rozšíření a vzniku ztráty závěru afrikáty *c* *(kaľso)*, *č (boš'ka)*, o palatalisaci zadopatrového *k* po měkkých souhláskách a *j* v kursko-orlovských nářečích. — *VB*

К у з ь м и н а И. Б., М о р а х о в с к а я О. Н.: *Диалектологическая конференция.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 128—132. — Konference (20.—24. V. 1952) shrnula výsledky dialektologické práce za poslední rok a naznačila perspektivy pro další práci. Úvodem promluvil akad. V i n o g r a d o v (zabýval se zvláště vzájemným poměrem mezi místními dialekty a jazykem celonárodním). O výsledcích práce na atlasech ruských dialektů pojednávaly referáty R. I. A v a n e s o v a a S. S. V y s o t s k é h o; A v a n e s o v na konkretních příkladech ukázal, jak materiál nářečního atlasu pomáhá řešit nejdůležitější otázky jazykovědy, zvl. otázky vývoje jazyka. Ostatní referáty a příspěvky se většinou týkaly výzkumu konkretních nářečí a nářečních celků. — *IN*

Etymologie, onomastika a toponomastika

А б а е в В. И., *О принципах этимологического словаря.* Вопросы языкознания I (1952) № 5, 56—69. — Obsah stati přesahuje rámec daný nadpisem: jsou zde projednány základní teoretické i praktické otázky týkající se etymologie vůbec. Po výkladu slova „etymologie" autor ukazuje, jaký význam má tato disciplina jakožto součást historické lexikologie pro studium historie národa a historie myšlení (ilustruje vývoj od konkretního k abstraktnímu!). Sama jazykověda vděčí za svůj vznik a rozvoj etymologické práci. Není zde tedy důvodu k skepticismu, obtíže lze překonat zachováváním hlavních zásad etymol. bádání; na prvé místo z nich autor klade znalost reálií. Také etymologický slovník nového typu nesmí být odtržen od reálií; má obsahovat takový materiál, aby prostřednic-

tvím historie slov osvětloval vývoj národa po různých stránkách. Pak bude vítanou příručkou každého vzdělaného člověka. — *IN*

Петерсон М. Н., *О составлении этимологического словаря русского языка.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 70—78. — Po stručném zhodnocení dosavadních etymologických slovníků ruského jazyka zabývá se vlastní problematikou etymologické práce. Etymologie se dosud omezovala na pouhou rekonstrukci prajazykových slov (těm se pak nesprávně připisovaly abstraktní významy!). Úkolem etymologie však je určit základní významy slov a stanovit vývoj jejich významů. K tomu nám dosud chybí vědecká teorie sémantiky. Autor na konkretních příkladech ukazuje cesty, jimiž se má postupovat: je třeba srovnávat význam prostého slova s významem příslušných odvozenin; postupovat od srovnání v mezích daného jazyka přes srovnání v dialektech k srovnávání v oblasti jazyků více a pak méně příbuzných; studovat celé skupiny slov, vztahujících se k téže sémantické sféře (Pokrovskij: „slova se stejným významem prošla stejným sémasiologickým vývojem“); při studiu etymologie přejatých slov neopomíjet historii kulturních vztahů mezi národy. — IN

Vasmer Max, *Russisches etymologisches Wörterbuch.* — Viz Slavia 21 (1954) seš. 4. — Rec.: Ungebaun B. O., Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 48 (1952) 93—97. — Kiparsky V., Neuphilologische Mitteilungen 53 (1952) 440—443. — Machek Václav, Slavia 23 (1954) 63—67. — *EH*

Räsänen Martti, *Dtsch. „Bier“ usw.* Neuphilologische Mitteilungen 53 (1952) 240—242. — *Bier* je nejspíše téhož tur. (čuvaš.) původu jako rus. *брага.* — *IN*

*Kalima Jalo, *Zum Suffixaustausch im Russischen.* Neuphilologische Mitteilungen 53 (1952) 115—118. — Rus. *лямка* z fin. *lämsä* „tažné lano“ předpokládá formu **лямца* (gen. sg. k **лямец*), tedy záměnu přípony *-ец* příponou *-ка.* Formu **лямец* autor dokládá dialekt. plurálem *лемцы* = *„лямки“* a paralelou jihokarel. *sumťša* (k rus. *сумка*) z rus. **сумц-* (nom. sg. **сумец*). — *IN*

Jensen Hans, *Das russische Zahlwort* sorok „vierzig“. Wissensch. Zeitschrift der Univ. Rostock 1 (1951/1952) Heft 3, 21—23. — Podporuje starší názor, že *sorok* bylo přejato z řečtiny (byzant. σαράκοντα > *σαρακο > *σαρκο > **sorkъ* > rus. *sorok*), a to obchodním stykem s Byzancí (prodávání sobolích koží po 40 kusech). Uvádí též jiné možnosti: nový názor na souvislost se stsl. *sraka,* rus. *soročka.* — *IN*

Toivonen Y. H., *Einige Lehnwörter.* Neuphilologische Mitteilungen 53 (1952) 322—330. — Uvádí také finské výpůjčky z ruštiny. — *IN*

Erdődi József, *Magyar szavak az orosz nyelvben.* Magyar Nyelvőr 76 (1952) 224—227. — Do ruštiny bylo převzato z maďarštiny několik názvů pro součásti vojenské výzbroje a výstroje. Toto přejetí bylo umožněno patrně polským prostřednictvím, protože polský král Štěpán Báthori přenesl v 16. stol. na polskou půdu některé formy maďarské vojenské organisace. Z Polska pak přešly tyto názvy na Rus. — *ZH*

Kálmán Béla, *Obi — ugor elemek az orosz nyelvben.* Nyelvtudományi közlemények (1952) 153—171. — Do nářečí ruských kolonistů na východním Urale a na Sibiři přešla některá ostjacká a vogulská slova. Jsou to především názvy týkající se rybolovu (názvy druhů ryb a rybolovného nářadí) a slova týkající se lovu na soby (vedle některých jiných výpůjček). Ruská kolonisace probíhala v 15.—16. století, dobu přejetí těchto slov se nepodařilo přesně zjistit. — Totéž: *Русские заимствования из обь-угорских языков.* Acta linguistica Acad. scientiarum hung. 1 (1952) fasc. 2—4, 249—272. — *ZH*

Trócsányi Zoltán, *Gerászimovits és a magyar természettudományi műnyelv.* Magyar Nyelvőr 76 (1952) 208—211. — Tvůrce maďarské přírodovědecké terminologie,

Molnár János, se ve své práci řídil příkladem ruského vědce Gerasimoviče, jak sám ve svém díle cituje. Zůstává nezjištěno, kdo je tento Gerasimovič a v jakém ohledu z jeho díla Molnár čerpal. — *ZH*

Lexikografie

Ожегов С. И., *Словарь русского языка.* Ред. С. П. Обнорский. Изд. 2-ое испр. и допол. Москва 1952, Изд. иностр. и нац. словарей, 848 стр. — Rec.: Гельгарт Р. Р., Вопросы яз. 2 (1953) № 3, 131—139. — Recensent vytýká hlavně nedůsledné dodržování zásad, které autor sám vytyčil pro sestavení stručných normativních výkladových slovníků, a dále to, že v mnohých otázkách normy se rozchází s akademickou gramatikou a akademickým slovníkem. Upozorňuje na nepřesnosti ve výkladu slov, v rozlišování frazeologismů a slovních spojení, v gramatické i stylistické charakteristice. Doporučuje připojit charakteristiku typů slovníků a doplnit některá hesla významy, které se často vyskytují v nejčtenějších dílech klasických autorů. Vcelku hodnotí slovník velmi kladně. — *VB*

Всеволод В., Завра М., Былинский К.: *О словаре современного русского языка. (Письмо редакции.)* Лит. газета (1952) № 52, 3. — O nedostatcích Slovníku současného ruského spisovného jazyka, vydávaného AN SSSR. Je přeplněn zastaralými slovy a dialektismy, uvádí varianty přízvuku, pravopisu, gramatických forem, dosud nepřípustné. — *MK*

Ожегов С. И., *О трех типах толковых словарей современного русского языка.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 85—103. — V rámci historického přehledu sovětské lexikografie hodnotí dosavadní slovníky rus. jazyka sovětské epochy. V podstatě tu jde o 3 typy: *velký* slovník representuje soudobý spisovný jazyk v široké historické perspektivě, *střední* podrobně zachycuje jeho stylistickou mnohotvárnost a *malý* (краткий), populární, sleduje především zvýšení jazykové kultury a normalisaci spisovného jazyka. V hlavní části svého článku se autor zabývá nejrůznějšími otázkami, jež souvisí s odlišnou strukturou těchto tří slovník. typů (otázka „soudobého jazyka", jazykové normy, otázka výběru slov, zvl. termínů, výklad významů, pořadí významů, stilistická klasifikace slov a j.). Ukazuje, že je nutno revidovat dosavadní lexikograf. plány s hlediska Stalinova pojetí soudobého ruského jazyka. — *IN*

Konopásek Miloš, *Rusko-český slovník z oboru pletařství, textilu a textilní chemie.* Spolupracoval kolektiv z Výzkum. ústavu pletařského. Prozatímní vyd. Brno 1952, Výzkum. ústav pletařský, 191 str. — Znamená velký přínos pro odbornou literaturu Uvádí asi 5000 technických termínů, nejčastější zkratky a značky strojů. — *DK*

Malý rusko-český vojenský slovník. Ministerstvo nár. obrany. 1. vyd Praha 1952, Naše vojsko, 379 str. — Materiál čerpán ze všeobecných vojenských řádů a předpisů; zachycuje v podstatě současnou českou vojenskou terminologii a zajišťuje správný překlad ruských vojenských termínů; je tedy normativní. Zahrnuje asi 3800 hesel, celkem na 8800 ruských výrazů, a to v různých spojeních pro větší sémantickou přesnost. České ekvivalenty podle potřeby doplněny vysvětlivkami. — *DK*

Pavličuk Mikuláš, *Rusko-český slovník léčivých rostlin.* 1. vyd. Praha 1952, Zdravot. nakl., 63 str. — Obsahuje názvy asi 400 léčivých rostlin (SSSR a dovážených) v pořadí ruské abecedy. Připojena i synonyma a názvy lidové jak u ruských, tak i u českých a latinských názvů. Pro orientaci přehled botanických čeledí latinsky a rusky. — *DK*

Malý česko-ruský vojenský slovník. Ministerstvo národní obrany. 1. vyd.

Praha 1952, Naše vojsko, 355 str. — Zpracovává asi 3500 hesel (celkem na 10.000 českých výrazů); viz Malý rusko-český vojenský slovník. — *DK*

Jazykové památky

Обнорский С. П., Бархударов С. Г.: *Хрестоматия по истории русского языка.* Пособие для студентов педаг. инст. и унив. Часть I. 2-ое изд. Москва 1952, Учпедгиз, 416 стр. — Výbor ze staroruských památek (nápisů, listin i literárních textů) ze stol. XI. až XIV. s nejdůležitějším komentářem, slovníkem a přehledem strus. tvarosloví. — Proti prvnímu vyd. malé změny: přidány nově ukázky ze Zadonščiny, Slova o zakoně i blagodati, Kyjev. metr. Ilariona, z Povesti o razorenii Rjazani Batyjem a z Choždenija za tri morja Afan. Nikitina — kromě výměny dvou textů, drobných oprav a zkrácení komentáře. Slovo o pluku Igorově otištěno celé. — *BHk*

Кузьмин Ф. Ф., *Новгородская берестяная грамота № 9.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 137—140. — Podrobuje kritickému rozboru obsah památky z 11. st. (*Письмо Гостяты*). Proti názoru prof. Arcichovského dokazuje, že autorem dopisu byla žena; vychází přitom z celkového smyslu textu a z pravděpodobnější interpretace nejasného místa. Činí pak závěry o sociální příslušnosti autorky dopisu a o právním postavení ženy v staré Rusi. — *IN*

Борковский В. И., *Драгоценные памятники древнерусской письменности.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 131—136. — Novgorodské vykopávky prof. Arcichovského dokazují, že v staré Rusi bylo písemnictví značně rozšířeno a že nesloužilo jen církevním a oficiálním účelům: byly nalezeny zápisy na březové kůře — záznamy a dopisy soukromého rázu. Nejstarší z nich (*Письмо Гостяты*) podle Borkovského pochází z první poloviny 11. st., neboť má starobylé rysy grafické, hláskoslovné (důsledně zachovává ь a ъ v slabém postavení), morfologické i syntaktické. Článek obsahuje jazykový rozbor památky po těchto stránkách. — *IN*

Čyževškyj Dmytro, *Studien zur russischen Hagiographie.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 22—49. — Stará ruská literatura má více dynamiky, než se obvykle vidí. Tak na př. tendenčním dílem, nikoli prostou legendou, je vyprávění o čtyřech mniších a sv. Isaakijovi; známe je z Nestorova letopisu (zařazeno po zprávě o skonu sv. Feodosija), odkud proniklo do Pečerského Pateriku. Jeho cílem je varovat před přehnanou askesí. Snad měl pravdu Nikoľskij, když tvrdil, že kyjevské křesťanství bylo po této stránce mírnější a jasnější než pozdější asketická praxe v Rusku. Rozbor přináší též podrobnou obsahovou osnovu a shledává paralely k jednotlivým významovým složkám tohoto celku. — *FVM*

Čyževška Tanja, *Zu Vladimir Monomach und Kekaumenos.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 157—160. — Hledá locos communes, jež z řeckých děl přešly do *Poučení.* — *FVM*

Пашуто В. Т., *А. А. Шахматов — буржуазный источниковед.* Вопр. ист. (1952) № 2, 47—73. — Odmítá názor, jako by bylo možno periodisovat nauku o pramenech na dobu před Šachmatovem a na Šachmatovovu školu a její pokračovatele; doporučuje dělat rozdíl mezi touto školou a vědci sovětskými, kteří pracují s úplně novou metodologií. Tím chce korigovat dosud tradované přeceňování metodologické stránky Šachmatovova díla. To ovšem neznamená, jak hned poté Pašuto zdůrazňuje, že by toto dílo mělo být nihilisticky zavrhováno; naopak, nutno je pokládat za veliký vědecký přínos. Dále předkládá Pašuto velmi zevrubný a fundovaný rozbor Šachmatovovy práce v oblasti studia pramenů a památek, konkretně v oblasti jeho prací o ruských letopisech. Uzavírá takto: 1. Šachmatov proslovil myšlenku o svodové povaze letopisů. Přestože při svých metodách nemohl

vysvětlit historii letopisných svodů (chyběl mu zejména výzkum třídní povahy tendence a věrohodnosti letopisů), úspěšně prováděl formální srovnávací textologické studium chronologicky stejnorodých textů. Díky tomu se chronologicky prohloubily představy o vývoji letopisů. Šachmatov dobře využil opakujících se zpráv, přechodných formulí, chronologických chyb, záměny letopisných stylů, písařského duktu, přípisků, přehledů jmen, zvláštností jazyka, vnitřních protikladů atd. 2. Díky těmto postupům napsal Šachmatov velké množství prací, provádějících komparativně textologický a chronologický výzkum značného množství letopisných textů. Poněvadž komparativně textologický materiál je faktickým základem zkoumání pramenů, může těchto prací být s prospěchem kriticky používáno. 3. Šachmatov nastolil otázku rekonstrukce nejstarších a ztracených textů letopisných na základě textů dochovaných. Mimo to Šachmatov uvedl do oběhu velký počet nových letopisných textů velkého významu (Radzivillovský, Simeonovský, Troický, Rostovský, Jermolinský atd.). K výkladu Pašutovu dodávám: takové zhodnocení díla Šachmatovova v oblasti letopisů je velmi důležité jak pro slovanskou historiografii, tak pro slovanskou filologii. Filologie by ovšem potřebovala ještě důkladné zhodnocení se svého hlediska, a to nejen v úzkém rámci textové kritiky, ale také v rámci ostatní jazykovědy a rovněž vědy literární. Ruské bádání o letopisech zejména v 2. polovině 19. století zasáhlo přece velmi významně do všech těchto disciplin a Šachmatov sám se přirozeně nedíval na letopisy jen očima pomocných věd historických, t. j. jako na historické prameny, ale zkoumal v nich také památky jazykové a literární. — *SW*

Jazyk uměleckých děl; stylistika

Гвоздев А. Н., *Очерки по стилистике русского языка.* Москва 1952, Изд. Акад. пед. наук РСФСР, стр. 335. — Rec.: Виноградов В. В., Вопросы языкознания 1 (1952) № 6, 136—144. — Očerki, jež mají být příručkou pro učitele a studenty pedagogických institutů, recensent hodnotí jako knihu užitečnou, bohatou zajímavými postřehy a cennou nashromážděným materiálem. Podrobným rozborem však také odhaluje závažné nedostatky, jež výmluvně svědčí o tom, jaký zmatek ještě vládne v chápání úkolů stylistiky, jejího obsahu a místa v řadě ostatních jazykovědných disciplin. — Spisu bude věnována zvláštní recense. — *IN*

Ефимов А. И., *О некоторых особенностях языка художественных произведений.* Советская литература. Сб. статей Москва 1952, Гослитиздат, 276—312. — *VB*

Тарасенков А. Н., *За богатство и чистоту русского литературного языка.* Советская литература. Сб. статей. Москва 1952, Гослитиздат, 236—275. — *VB*

Левин В., *Заметки о языке художественной литературы.* Октябрь 29 (1952) № 10, 164—177. — Zevrubná studie o specifiku literárního jazyka. Dosavadní praxe ukazuje na dvě krajnosti: odtrhávání literárního jazyka od normy obecně spisovného jazyka (t. j. vytváření zvláštního jazyka básnického) a ztotožňování literárního jazyka s obecně spisovným jazykem (t. j. popírání specifikace literárního jazyka). Estetická funkce jazyka spočívá na jeho funkci komunikativní. Není samoúčelná, ale vyplývá z podřízenosti literárního jazyka ideově uměleckému záměru spisovatele. Autor se dále zabývá případy využití jazyka jako prostředku charakterisačního a typisačního. — *VB*

Ефимов А. И., *Об изучении языка художественных произведений.* Москва 1952, Учпедгиз, 142 стр. — Vytyčuje úkoly v bádání o jazyce a stylu uměleckých děl. Převážně se zabývá otázkou vztahu literárního jazyka k jazyku celonárodnímu a žargonům a úlohou spisovatele v obohacování celonárodního jazyka. — *VB*

Скоробогатов К., *Драгоценное русское слово.* Советское искусство 22 (1952) № 40, 2. — Proti „střednímu“, „všeliterárnímu“ jazyku dramatických děl. — *JTJ*

Гладков Федор, *О языке на сцене и экране.* Советское искусство 22 (1952) № 40, 2. — Divadlo má být propagátorem ruské řeči a jejím vzorným interpretem. Slovo jako obraz. — *JTJ*

Фролов В., *Заметки о языке советской комедии.* Новый мир 28 (1952) № 8, 228—242. — Jazyk komedie je nejsilnější prostředek vytváření živých charakterů. V některých sovětských komediích se autoři dosud nezbavili vlivu formalismu, který se projevuje ve vytváření zvláštního „žargonu komedie", t. j. ve snaze zahlušit ve slovech zdravou myšlenku a přidat slovům nenormální, vyšinutý ráz. Slova se v takových komediích stávají prázdnou hrou zvuků. — *VB*

Пустовойт П., *Словесные сорняки.* Звезда 29 (1952) № 6, 163—167. — Kritika nadměrného užití vulgarismů a dialektismů v některých nových sovětských románech. — *VB*

Григорьева А. Д., *Словарь языка Пушкина.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 150—159. — Zpráva o slovníku, jenž má ve třech svazcích obsahovat všechna slova (s výkladem významu a příklady) doložená v úplném akademickém vydání Puškinova díla. Na četných příkladech zde autorka ukazuje přednosti tohoto slovníku a naznačuje možnosti využití jeho materiálu při studiu vývoje ruského spisovného a uměleckého jazyka. — *IN*

Чумандрина М., *О языке двух исторических пьес.* Звезда 29 (1952) № 6, 167—171. — Rozbor jazyka historických her I. Bachtereva a A. Razumovského *Suvorov* a hry A. Štejna *Flag admirala.* Dobový kolorit autoři vytvářejí nejen zaváděním lexikálních a syntaktických archaismů, ale i zachycením stylistické atmosféry ruského jazyka konce 18. stol. — *VB*

Varia

Русский язык в школе. Журнал министерства просвещения. (1950) № 4, 5, (1951) № 1—6. — Rec.: Сухотин В. П., Советская книга (1952) № 1, 98—104. — Časopis před uveřejněním statí J. V. Stalina živě propagoval mezi sovětským učitelstvem chybné učení N. J. Marra. V práci redakce, celkem úspěšné, se projevují dosud nedostatky; odtržení obecně linguistické části od metodické, náhodnost článků, nedostatek článků hodnotících linguistické dědictví. Rubrika „ruský jazyk v neruské škole" nepřihlíží ke specifiku jednotlivých jazyků. — *VB*

Постановление Ученого Совета Института языкознания АН СССР. Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 148—149. — Hodnotí diskusi o vnitřních zákonech vývoje jazyka, jež se konala z rozhodnutí presidia AV SSSR ve dnech 4.—7. II. 1952. Uvádí přehled problematiky této diskuse a formuluje these hlavních závěrů. — *IN*

Иванчикова Е. А., *Защита диссертаций в Институте языкознания АН СССР в 1951 году.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 1, 185—192. — Zpráva informuje o doktorských a kandidátských disertacích z r. 1951 (u doktorských uvádí také posudky oponentů). K slavistice mají vztah tyto: doktorské Копорский С. А., *Из истории развития лексики русской художественной литературы 60—70-х годов XIX века;* Каратаева Э. П., *Союзное подчинение в литературном языке второй половины XVII столетия;* kandidátské Немченко Е. В., *Из истории кратких причастий действительного залога в чешском языке;* Кузьмина И. Б., *Употребление глагольных форм в предложениях со значением побуждения в русском языке XI—XVII веков.* — *IN*

Баскаков Н. А., *Развитие языков и письменности народов СССР. На материале тюркских языков.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 19—44. — Pojednává

také o tom, jaký význam má pro rozvoj těchto jazyků blízký vztah k ruštině («второй родной язык») a přechod k ruské grafice. Přejímají se i ruské slovotvorné přípony — adjektivní koncovky nom. sg. m., ovšem v neutrální platnosti co do rodu a čísla: altaj. *социальный наукалар* „sociální nauky“, *коммунистический партия;* kazach. *Верховнай Совет.* — *IN*

Jazyk ukrajinský

Чередниченко І. Т., *Нариси з української фразеологиїі.* Київ 1952, Рад. школа, 141 стр. — Frazeologie předložek původních i nepůvodních i slov, jež v jazyce vystupují ve funkce blízké předložce. Čerpá materiál především ze spisovné ukrajinštiny ale přihlíží i k dialektům, k obratům z populárně-vědecké mluvy a jazyku novin. Ukrajinskou frazeologii srovnává též s paralelami velkoruskými. — *FVM*

Жилко Ф. Т., *Діалектологічний атлас української мови (проспект).* Київ 1952, Вид. АН УРСР, 39 стр. — Poučení o přípravných pracích o metodě a uspořádání chystaného dialektologického atlasu. — *FVM*

Jazyk běloruský

Оссовецкий И. А., *Вопросы современной белорусской орфографии.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 151—155. — Obsah jednání konference (pořádané Institutem jazykovědy AN BSSR v Minsku), jež byla věnována otázkám soudobého běloruského pravopisu. Většina diskutujících mluvila o tom, že je nutno odstranit jednotlivé nedostatky běloruského pravopisu, že však není třeba celkové reformy. Nejspornější jsou otázky přepisu akání a jakání. — *IN*

Jazyky baltské

Горнунг Б. В., Серебренников Б. А.: *Конференция языковедов прибалтийских советских республик.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 4, 124—128. — Zpráva informuje také o referátu prof. Endzelina, který dokazoval, že ze všech baltských jazyků je slovanským nejbližší lotyština. Jeho vývody o starobylých kulturně historických vztazích mezi lotyštinou a ruštinou (i běloruštinou) doplnil prof. Ariste: archeologie dokazuje, že tyto vztahy byly nejužší na jihu, t j. s Kriviči, nikoliv s novgorodskými Slověny. — *IN*

Niedermann M., Senn A., Salys A.: *Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, Litauisch-Deutsch,* Lieferg. 15—18, S. 385—640 = Indogermanische Bibliothek V 3. Heidelberg 1943—1951, Carl Winter, Universitätsverlag. — Rec.: Fraenkel Ernst, Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 6 (1952) № 3/4, 260—265. — Úvodem informuje o autorech a jejich společném díle; zvláště hodnotí péči o stránku přízvukovou a intonační. Dále se zabývá jednotlivými hesly nového svazku, jenž obsahuje z největší části slovesná komposita s předponou *pa-:* v této oblasti recense přináší cenné údaje pro studium etymologie a přejímání slov také s hlediska slavistiky. — *IN*

Stang Chr. S., *Litauisch* tàpti. Norsk tidskrift for sprogvidenskap 16 (1952) 259—262. — Kořen lit. *tàpti* = lot. *tapt* ‚státi se, dostati se někam‘ se v ablautové podobě *tep-* nachází v lit. *tèpti,* lot. *tept* ‚mazati‘. (Odpovídá mu slov. *tepę teti.* Ke změně významu v. čes. mazati = bíti.) Intransitivní perfektum od tohoto kořene (se stupněm -o-) by mělo význam ‚uváznouti na něčem‘ > ‚zůstati‘. Sloveso *tàpti* by bylo sekun-

dárně tvořeno z tohoto perfekta. Změnu významu ‚zůstati‘ > ‚státi se‘ lze nalézti i jinde (střdn. *blîven*, pol. *zostać*). Autoru zbývá vysvětliti význam ‚dostati se někam‘ u lot. *tapt*. Významovou paralelu vidí v lot. *k t* ‚(bezděky) se dostati, státi se‘, které odpovídá lit. *kliūti* ‚zůstat viset‘. Lot. *tapt* dalo vzniknouti kausativu *tapinât* ‚půjčiti‘. Zde jde o změnu významu ‚zůstaviti, zanechati‘ > ‚půjčiti‘. Ve shodě se svou etymologií pozměňuje autor i Zubatého výklad o příbuznosti *tàpti* se slov. *tonǫti, topiti*. Praesens **to(p)nǫ* mohl být vytvořen k perfektu *top-*, znamenajícímu ‚zůstal‘ > ‚utonul‘. Podobné posunutí významu je také v germánštině. — *EH*

Překladatelství

B a r t Ilja, *Palčivý problém.* Nový život (1952) 1755—1757. — O překládání sovětské poesie a organisačních otázkách s tím souvisících. — *VO*

B r a g i n s k i j I., *Veliká škola.* Sov. věda - jaz. (1952) č. 4, 308—310. — Poukazuje na Leninův příkladný postup při překládání. — *LD*

Ф е д о р о в А. В., *Основные вопросы теории перевода.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 3—22. — Uvádí nezbytné podmínky správného překladu i hlavní nedostatky překladatelské praxe a řeší řadu teoretických problémů. Způsob překladu (na př. co do míry přesnosti) závisí na žánru originálu. Proto autor podává charakteristiku jazykového materiálu hlavních překladových žánrů; přitom shledává jistou obdobnost v překládání literatury umělecké a politické (rozbor Leninova překladu z Marxe). Podrobně je tu probrána otázka adekvátnosti překladu («полноценность перевода» — zde zdůrazňuje funkční vztah prvku k celku) a otázka stranickosti v překladatelské práci. — *IN*

Г р и ф ц о в Б. А., *Заметки по технике перевода.* Вопросы языкознания 1 (1952) № 5, 79—91. — Na ukázkách z ruských překladů francouzské literatury demonstruje typické nedostatky a potíže překladatelů, zvláště začátečníků: překlad nesmí setřít specifický ráz originálu (Píseň o Rolandovi nelze překládat slohem bylin!); je třeba bojovat proti překladatelské hantýrce (kalkům) a zdolávat nebezpečí spojená s mnohoznačností slov, s idiomatismy a s existencí přejatých slov z jazyka originálu (nebezpečné významové rozdíly typu *le binocle* — *бинокль!*). Dobrý překladatel vystihuje nejen pravý význam slov originálu, ale i jejich sociální zabarvení, vyhýbá se polovičatosti a přibližnosti, věty staví jasné a výrazné (zachovává ovšem záměrné, expresivní odchylky proti normě), vyvaruje se kakofonie a komicky působících rýmů, asonancí a pod. — *IN*

J e s e n s k á Zora, *Niekoľko poznámok k diskusii o preklade Tichého Donu.* Slovenská reč 17 (1951—1952) 301—307. — *FVM*

M o r a v e c Jar., *K sovětské diskusi o překladu.* Sov. věda — jaz. (1952) č. 4, 293—304. — Pojednání o překladatelské práci v SSSR od 30. let. — *LD*

N a d o l s k i Bronisław, *Dokoła prac przekładowych w XVI wieku.* Pam. lit. 43 (1952) 475—487. — 16. stol. je bohaté na překlady. Autor sestavuje chronologicky charakteristické výroky o obtížích překladatelské práce. — *MK*

Překladatelská práce v SSSR. Praha—Moskva 6 (1952) 118—120. — Referát o přednášce Jaroslava M o r a v c e, uspořádané jazykovědným a překladatelským oddělením Československo-sovětského institutu 2. IV. 1952. Přednášející zdůrazňuje péči, která se věnuje překladatelství v SSSR. — *HP*

S u r k o v A., *K výsledkům všesvazové konference překladatelů.* Sov. věda — jaz. (1952) č. 4, 305—309. — Překlad kritického článku o nedostatcích sovětských překladů. — *LD*

Топер П., *О некоторых принципах художественного перевода.* Новый мир (1952) № 1, 232—247. — O principech uměleckého překladu. Hlavní úkol: vycházet ze specifika jazyka, z něhož překládáme. Překlad má tvůrčí charakter, vyžaduje talent. — *LD*

Uhlár Vlado, *Laz — lazy — chutor.* Slovenská reč 17 (1951—1952) 298—301. — K překladatelské problematice rusko-slovenské. — *FVM*

За идейность и высокое мастерство художественного перевода. Звезда (1952) № 2, 170—175. — Zpráva z porady o otázkách překladu z jazyků národů SSSR v Leningradě. — *LD*

LITERÁRNÍ VĚDA

Metodologie a teorie

Generalia

Александров А., *Товарищ Сталин о роли надстройки в развитии общества.* Лит. газета (1952) № 34. — Podrobný výklad Stalinova učení o nadstavbě. Díla pokrokových autorů neodumírají se základnou. — *VO*

Анастасьев А., *Путанные рассуждения о языке.* Лит. газета (1952) № 7, 3. — Kritika stati L. Borového *Rečevaja charakteristika geroja,* otištěné v časopise Teatr (1951) № 11. Nedostatky: za prostředek jazykové charakteristiky pokládá jen profesionalismy; ostře odděluje jazyk města a venkova. — *VO*

*Andrzejewski Jerzy, *Partia i twórczość pisarza.* Warszawa 1952. — *MK*

Борев Н., *Вопросы эстетики в «Вопросах философии».* Лит. газета (1952) № 102, — Kritika článků o estetice v časopise *Voprosy filosofii* a přehled uveřejněných statí o otázkách estetiky. — *VO* — Stati o estetických a uměleckoteoretických otázkách uveřejněné ve Vopr. filos. v letech 1951, 1952 a dále jsou důležitou součástí, příp. pokračováním diskusí o problematice umění; o nich srov. Slavia 21 (1952) 109—146. — *SW*

Braun Andrzej, *Pamflet na rówieśników czyli o tchórzostwie.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 9. — Vytýká kritice, redaktorům, spisovatelům a básníkům nedostatek nadšení. — *MK* — Polemiku viz zde: Łastik Salomon, Nowa kultura 3 (1952) nr. 14. — *SW*

Fadejev A., *Jít přímo do života — milovat život.* Lit. noviny 1 (1952) č. 1, 4; č. 2, 4—5. — Překlad projevu k českým spisovatelům 29. X. 1951 v Praze. O otázkách studia současné thematiky, o svobodě spisovatele. — *BB*

Fadějev Alexandr, *Úkoly současné literatury. Odpověď na otázky českých spisovatelů.* Přel. Kamila Jiroudková. Praha 1952, Čs. spis., 35 str. — Fadejev vidí před sovětskými i československými autory dva hlavní úkoly: jít přímo do života a zvyšovat celkovou ideovost a uměleckou kvalitu děl. Krátce se zmiňuje o práci s mladými talenty a o potřebě učit se u klasiků. — Spisek je výtahem ze stenografického záznamu rozhovoru, který se konal v Praze 29. X. 1951. — *HP*

Fadějev A., *Za literaturu nového komunistického světa.* Lit. noviny 1 (1952) č. 37, 3. — Diskusní příspěvek na XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. — *BB*

Головенченко Ф. М., *В. И. Ленин и вопросы литературного наследства.* Лит. в школе (1952) № 1, 3—13. — Leninovo hodnocení literárního dědictví národního i cizího podle vztahu k proletářské revoluci. Zhodnocení jednotlivých ruských klasiků. — *VO*

*Гуторов И. В., *Эстетические основы советской литературы.* Минск 1950, АН БССР, 516 стр. — Rec.: Кузнецов М. М., Сов. книга (1952) № 1, 85—88. — VC

Иванов В., *Выше идейно-художественный уровень произведений советской литературы!* Знамя (1952) № 12, 158—167. — Na okraj poznámek o literatuře, které pronesl G. M. Malenkov ve svém projevu na XIX. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. — *LD*

j v., *Živí hrdinové sovětské literatury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 41, 5. — O setkání se spisovatelem Fadejevem v Praze. — *BB*

Jastrun Mieczysław, *Współczesność i tradycja.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 51/52. — O poměru poesie k přítomnosti a k tradici. — *MK*

Еголин А., *Заметки о некоторых вопросах литературоведения.* Знамя (1952) № 1, 142—153. — O literárních problémech ve světle Stalinových prací o marxismu v jazykovědě. — *LD*

Kopenec Jiří, *Spis J. V. Stalina „Marxismus a otázky jazykovědy“.* Nový život (1952) 749—775. — *VO*

Łastik Salomon, *O wielostronnie niesłusznym pamflecie Andrzeja Brauna uwag kilka.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 14. — Ostrá replika na čl. *Pamflet na rówieśników czyli o tchórzostwie* (Nowa kultura 3, 1952, nr. 9). Vytýká nedostatek historického aspektu, snahu zúžit thematický i formální okruh poesie, falšování Majakovského a nedostatek sebekritiky. — *MK*

Лазарев Л., *Об одной ошибке в интересной статье.* Лит. газета (1952) № 7. — Kritika stati M. Isakovského *Zametki ob odnoj stať je* (Novyj mir [1951] № 10), kde autor ostře odděluje literaturu vládnoucích tříd — feudálů a buržoasie od slovesnosti lidových mas. Nevidí vzájemné vlivy. Literaturu vládnoucích tříd pokládá za zásadně reakční. — *MK*

Леонидов М., *Инженеры людских душ.* Лит. газета (1952) № 130. — Stalinské požadavky sovětské literatury. Úkolem spisovatelů je vytvářet nové vysoké morální hodnoty. Smysl činnosti literárního pracovníka je ve službě národu. Pravdivost, kritika a sebekritika. — *LD* — Překlad: *Inženýři lidských duší.* Nový život (1952) 1603—1609. — *VO*

Левин В., *Заметки о языке художественной литературы.* Октябрь (1952) № 10, 164—176. — Význam Stalinových statí o jazykovědě pro zkoumání jazyka literárních děl. — *VO*

Ломидзе Д. И., *За правдивое отражение жизненных конфликтов в литературе.* Вопр. филос. (1952) № 5, 149—160. — *VO*

Malenkov G. M., *O otázkách literatury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 36, 3. — Výňatky ze zprávy ÚV VKS(b) na XIX. sjezdu strany. — *BB*

*Markiewicz Henryk, *O marksistowskiej teorii literatury. Szkice.* Wrocław 1952, Inst. badań lit., Studia historicznoliterackie, t. 14. — *MK*

Markiewicz Henryk, *O tematykę współczesną.* Życie lit. 2 (1952) nr. 14. — Referát ze schůze polských spisovatelů. Nedostatky polské současné literatury jsou způsobeny nedostatečnou znalostí života a nedostatečnou ideologickou vyspělostí autorů. — *MK*

Масеев И. А., *О социальной природе искусства и художественных взглядов общества.* Вопр. филос. (1952) № 2, 217—230. — Překlad: *O sociální podstatě umění a uměleckých názorů společnosti.* Sov. věda — filos. 2 (1952) 516—528. — O třídnosti nadstavby a charakteristice socialistické nadstavby. Rozdíl mezi pojmy *umění* a *umělecké názory* společnosti, výklad pojmů *kultura* a *nadstavba.* — *BB*

Мейлах Б., *Специфика литературы и проблема типического.* Лит. газета (1952) № 149. — Pojednává o poměru k literatuře v kapitalistické a socialistické společnosti, o specifiku krásné literatury, které spočívá podle názoru autorova v zachycení typického. — *VO*

О месте и роли искусства в общественной жизни. Вопр. филос. (1952) № 6, 155—170. — Redakční článek. — *LO*

Parolek R., *Profesor Mjasnikov o některých otázkách sovětské estetiky.* Lit. noviny 1 (1952) č. 44, 10. — O Mjasnikovově přednášce, v níž byla rozvinuta otázka nadsazení, lidovosti a odrazu společnosti v literárních dílech. — *BB*

Pešat Zdeněk, *Sovětská věda o základně a nadstavbě a literatura.* Sl. věda 5 (1952) 12—21. — Autor si položil otázku, zda se umění uplatňuje vždy jako nadstavba. Při řešení vychází z Leninovy these o boji dvou kultur v každé národní kultuře za kapitalismu a ze Stalinovy these o boji pokrokových a reakčních idejí ve společnosti. Přijímá názory některých sovětských diskutujících, že umění je nerozlučně spjato s nadstavbou prostřednictvím estetických názorů. Pravdivé poznání skutečnosti v umění je záležitostí třídní. Nepoznává umělec, ale člen třídy. — *HP*

Pilař J., *Plně zobrazit život nových lidí.* Lit. noviny 1 (1952) č. 45, 4. — Příspěvek k diskusi; vylíčení obtíží, s nimiž se setkávají spisovatelé na cestě za současnou thematikou. — *BB*

Prorok Leszek, *O metodzie biograficznej.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 7. — O metodické stránce životopisného románu J. Broszkiewicze *Kształt miłości,* okrajově o některých otázkách teoretických. — *MK*

Prorok Leszek, *Zespół literacki a warsztat pisarza.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 3. — O významu a dosahu působení literárních skupin. — *MK*

Rybák Josef, *O uměleckém mistrovství.* Nový život (1952) 743—748. — O nutnosti prohlubovat znalost života, upevňovat svazek s lidem a zdokonalovat umění jazyka. — *VO*

Рюриков Б., *«В жизни так не бывает».* Лит. газета (1952) № 110. — Odmítá názor, že do literární tvorby nemají být uváděni negativní hrdinové. Má-li socialistická literatura bojovat s přežitky, musí pravdivě líčit skutečnost a nikoliv ji idealisovat. Vyslovuje se proti lakování, přikrašlování skutečnosti. — Tato stať se stala signálem k revisi některých nesprávných názorů na úkoly literatury. — Překlad: *V životě to tak nebývá.* Lit. noviny 1 (1952) č. 34, 9. — *VO, SW*

Stejskal Václav, *Stalinovy články o jazykovědě a naše literární věda a kritika* Nový život (1952) 269—282. — *LO*

Surkov J., *Otázky jazykovědy a sovětská literatura.* Sov. věda — jaz. (1952) č. 1, 45—70. — O formalistických a naturalistických výstřelcích v jazyce literárních děl. Surkov vyslovuje požadavek, aby díla socialistického realismu byla psána čistým, bohatým a plně srozumitelným jazykem. — *LD*

Trofimov P., *Jednota ethických a estetických principů v sovětském umění.* Praha 1951, ... str. — Přel. z časop. Bolševik (1950) № 18. — Ref.: Závodský Artur, Sl. věda 5 (1952) 159—160. — *HP*

Выше идейный уровень литературы. Лит. газета (1952) № 145. — Vytčena nesprávnost teorie bezkonfliktnosti, odtržení spisovatelů a literárních kritiků od masy a problémů života, nutnost ovládnout marx-leninismus. Také o dětské literatuře a literární kritice. — *LD*

Vytvářet díla hodná sovětského lidu. Lit. noviny 1 (1952) č. 43, 6. — Úvodník (překlad) z Pravdy (1952) № 317. — *BB*

Z dyskusji na plenum ZLP (Związku Literatów Polskich). Nowa kultura 3 (1952), nr. 27. — Výňatky referátů, m. j.: M. Kierczyńska, *Przynależność klasowa i postawa ideowa* (o schematičnosti, způsobené ztotožněním třídního původu a ideologické orientace). — A. Ważyk, *Uwagi o kryteriach poezji* (o politické lyrice, podložené ideologickou znalostí). — K. Wyka, *O literaturę wielkich konfliktów* (nedostatek ideologických konfliktů v literatuře). — J. Przymanowski, *Temat który czeka na pisarzy* (vojenská thematika). — J. Herbich, *O postaciach robotniczych w literaturze* (o nový typ dělníka). — *MK*

Za literaturu životní pravdy. Lit. noviny 1 (1952) č. 30, 5. — Překlad článku z časop. Lit. gazeta ze 14. VIII. 1952. — *BB*

Заседания, посвященные второй годовщине опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». (В институте мировой литературы им. А. М. Горького.) Вестник АН СССР (1952) № 8, 20—23. — Přehled vývoje ruské literární vědy od vydání Stalinovy práce o jazykovědě. — *K*

Kritika

Гайсарьян С., *Равнодушие к мастерству.* Лит. газета (1952) № 55. — Ruská literární kritika se stává někdy jednostrannou: posuzuje literární dílo jen s hlediska thematu, konfliktu a jejich typičnosti a nevšímá si uměleckého zpracování. — *VO*

Heller Ágnes, *Tanuljunk az orosz forradalmi demokrata kritikusoktól!* Irodalmi Ujság 3 (1952) 20, szám. 5. — Charakteristika hlavních rysů tvorby ruských revolučních demokratů. které ještě dnes mohou sloužit za východisko při budování novodobé literární kritiky. — —*ZH*

Hertz Paweł, *Rozmyślania o krytyce.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 2. — O nedostatcích a úkolech literární kritiky, která nerozlučně souvisí s literární uměleckou produkcí. — *MK*

Hilčr J., *K literární diskusi. Za osobní skromnost a poctivost v práci.* Lit. noviny 1 (1952) č. 10, 4. — O přátelské kritice, nepomáhající v růstu spisovatelům. — *BB*

Karczewska W., *Boj za polskou socialistickou kritiku.* Lit. noviny 1 (1952) č. 5, 8. — O poradách Svazu polských spisovatelů 17.—18. I. 1952 ve Varšavě, kde se jednalo o nové literární kritice. Proti formalismu, eklekticismu, neodůvodněnému optimismu a o přípravě nových kádrů kritiků. — *BB*

Kostelecký M., *Blíže k životu.* Lit. noviny 1 (1952) č. 41, 10. — O nutnosti osobního prožitku při psaní o současných thematech. Pokračování diskuse článku Jiřího Marka o stavbách socialismu. — *BB* — Stať Markovu a další viz zde. — *SW*

Marek Jiří, *Stavby socialismu — velké thema a velký dluh naší literatury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 38, 4. — O potížích, s nimiž se setkávají autoři při hledání současné thematiky na závodech. — *BB*

Matuszewski Ryszard, *O współdziałanie pisarza i krytyka.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 2. — Kritickou praxi nemají vykonávat jen nečetní specialisté, nýbrž mladé kádry kritiků a především sami spisovatelé. — *MK*

Михалевич Павел, *На журнальных задворках.* Лит. газета (1952) № 14. — Oddíl literární kritiky v časopise *Znamja* nevyhovuje požadavkům dnešní literární kritiky. V recensích děl se nerozlišuje náhodné od podstatného, recense se stává stručným obsahem, literární kritika obchází mlčky problémy umělecké formy, tvůrčí metody, mistrovství. — *VO*

Mrkvička O., *Za novou kritiku, za nové umění.* Lit. noviny 1 (1952) č. 6, 1. — Úvodník o kritice. — *BB*

O divadelních recensích. Sov. div. 2 (1952) 74—76. — Překlad článku *O teatral'nych recenzijach,* Pravda (1952) č. 6. — Ostrá kritika současného stavu divadelní kritiky, která dosud nesplňuje vytčené požadavky hlavně vlivem nedostatečně vyškolených recensentů. — *JTJ*

О качестве театральных рецензий. (Из писем читателей.) Сов. искусство 22 (1952) № 26. — O nevyhovujících, neodborných divadelních kritikách. — *JTJ*

Slabý Z. K., *Kriticky o kritice.* Lit. noviny 1 (1952) č. 46—47. — O nedostatku nové literární kritiky: nedocenění role kritika, bojácnost před kritikou. Požadavky: upřímnost kritikova, včasnost kritiky, pomoc autorovi. — *BB*

Svatuška L., *Spisovatelé na pomoc stavbám socialismu.* Lit. noviny 1 (1952) č. 40, 5. — Ohlas diskusního článku J. Marka z Lit. novin (1952) č. 38 o současné tvorbě. — *BB*

Шагинян М., *О критике и самокритике в литературной работе.* Лит. газета (1952) № 6. — *VO*

Шевченко А., *Театральная критика и журнал «Театр».* Лит. газета (1952) № 51. — O nedostatcích časopisu *Teatr* v oblasti divadelní kritiky. — *VO*

Власов В., *Заметки о театральном критике.* Сов. искусство 22 (1952) № 47. — Nedostatky současné divadelní kritiky. Hledání cesty k důstojnému splnění jejího pravého poslání. — *JTJ*

За высокий уровень театральной критики. Сов. искусство 22 (1952) № 28. — *JTJ*

Задачи театральной критики. Лит. газета (1952) № 39. — Nedostatky sovětské divadelní kritiky: malá kritičnost k neplnohodnotným divadelním hrám, nečinný optimismus, malá spolupráce s vedením divadla, malá péče o růst nových divadelně-kritických kádrů. — *MK*

Epochy, směry, styly

Burov A. I., *Marxisticko-leninská estetika proti naturalismu v umění.* Praha 1951, Rovnost. — Přel. z čas. Voprosy filosofii (1950) № 1. — Ref.: Závodský Artur, Sl. věda 5 (1952) 157—159. — *HP*

Бурсов В. И., *О положительном герое в литературе критического реализма.* Лит. в школе (1952) № 4, 21—29. — *VO*

Новиченко Л., *За теоретическую глубину и творческую смелость.* Лит. газета (1952) № 128. — O otázkách socialistického realismu a ukrajinské kritice. — *VO*

Parolek Radegast, *Profesor Alexandr Sergějevič Mjasnikov v Praze.* Praha—Moskva 2 (1952) č. 10, 79—83. — Rozbírá základní otázky socialistického realismu, především problém typičnosti uměleckého obrazu, jak o nich přednášel Mjasnikov za svého pobytu v Praze v měsíci československo-sovětského přátelství r. 1952. — *HP*

Рюриков Б., *О некоторых вопросах социалистического реализма.* Новый мир (1952) № 4, 222—260. — Stať o problému literatury jako nadstavby; o novátorství sovětské literatury. — *LD*

Софронов Анатолий, *За коммунистическую идейность, за высокое художественное мастерство!* Театр (1952) № 8, 3—7. — Za splnění všech požadavků socialistického realismu. — *JTJ*

Тимареев Л., *О социалистическом реализме.* Октябрь (1952) № 4, 153—168. — *LD*

Wyka Kazimierz, *O realizmie romantycznym.* Pam. lit. 43 (1952) 779—813. — Otázka vývoje realistických tendencí v polské literatuře v letech 1820—1840 (se srovnávacím zřetelem k literaturám západoevropským). Typičnost vyrůstá z hodnocení a po-

chopení historického procesu, je spojkou mezi uměním a objektivním historickým procesem. Realistické bohatství detailu spojuje rovněž umění s tímto procesem, k němuž vede cesta prismatem národních kultur a historických zvláštností. V romantickém realismu existuje typičnost situací; záleží na tom, nakolik je romantický tvůrce schopen realisticky motivovat zjištěný konflikt, míní-li vytvořit psychologicky realistického hrdinu. Typické konflikty se v romantickém realismu neprojevují obyčejně ve své skutečné podobě, nýbrž v podobě konfliktu náhradního (historie, erotika, symbolika). Na příkladu *Konrada Wallenroda* ukazuje, že se v romantickém realismu setkáváme s nedostatkem situační typičnosti (niedowład typowości sytuacyjnej). Podobně je patrný nedostatek typičnosti charakterologické. Tato omezení romantického realismu týkají se způsobů umělecké konkretisace a nenarušují základní souvislost realismu s objektivním historickým procesem. „Niedowład typowości charakterologicznej i sytuacyjnej stanowi niewątpliwie klasowe oraz ideologiczne zacieśnienie cech tego realizmu". Nedostatek charakterologické typičnosti je v romantickém realismu vyrovnáván vysokou representativností romantických hrdinů. Mezi representativností a typičností je rozdíl; v romantismu bývá často representativnost zaměňována s typičností. Representativnost je nižším stupněm typičnosti. Romantičtí tvůrcové nehledají vzory svých ideologických tužeb ve skutečnosti, tvoří je sami. Odtud menší míra situační a charakterologické pravděpodobnosti než u realistů, podmíněná rovněž nedostatečnou znalostí sociální a politické problematiky. „... w sytuacji tych krajów, w których do podstawowych problemów procesu historycznego należy przede wszystkim siła walki narodowo wyzwoleńczej i nacisk ideologiczny chłopstwa pańszczyźnianego, w sytuacji takich krajów specificzne warunki ich rozwoju spowodowały, że sprawy najważniejsze dla ich procesu historycznego umieszczone są w ideologicznym ładunku wielkich romantycznych kreacji reprezentatywnych" (str. 801). Tak je tomu především v Polsku, kde pokrokovost romantismu je nepochybnější než na Západě. Funkce romantického realismu byla pokroková jak vzhledem k základním otázkám historického procesu polského národa, tak v mezích rozvoje umělecké metody realismu. Boj o realismus v období romantismu probíhá především po linii velkých polských romantiků. V době 1820—1840 probíhá v mezích realismu romantického, jímž velcí romantikové osobitě a důsledně překonávají předpoklady romantického stylu a poetiky. — *MK*

Slovesné druhy

Адаров В., *Заметки об очерке.* Лит. газета (1952) № 67. — Význam dokumentárních črt (očerk), uveřejňovaných v novinách. Cíl črty: pravdivě a včas zachytit skutečnost současného života. — *VO*

Афанасьев Ростислав, *О серьезном и смешном. (Вопросы драматургии.)* Сов. искусство 22 (1952) № 31. — Překlad *O vážném a směšném.* Sov. div. 2 (1952) 397 n. Proti pouhé vnější směšnosti v komedii. Kladný charakter v komedii musí být i současně charakterem veseloherním. — *JTJ*

Аникин В., *Большое искусство сказки.* Лит. газета (1952) № 12. — Zdůrazňuje potřebu pohádek, jejichž úkolem je vychovávat. — *LD*

Бахтерев И., Разумовский А.: *Сильные характеры, острый сюжет. О советской приключенческой пьесе.* Сов. искусство 22 (1952) № 71. — Za vyšší úroveň sovětských dobrodružných divadelních her. Jejich výchovný cíl pro mládež. — *JTJ*

Cimbal S., *Společenství herce a dramatika.* Sov. div. 2 (1952) č. 1, 26—42. — Překlad článku *Akter vmeste s dramaturgom,* Teatr (1951) č. 10. — Herec s dramatikem při společné práci ke splnění společného cíle. Konkretní příklady. — *JTJ*

Csató Edward, *O współczesnym dramacie historycznym.* Teatr Warsz. 7 (1952) nr. 22, 4—6. — V Polsku se vytváří nové pojetí a nový styl historického dramatu, souvisící s přítomností. Konkretně o některých hrách. — *MK*

Эльсберг Я., *Классики русской сатиры и советская литература.* Коммунист (1952) № 22, 69—82. — O nutnosti rozvíjet satiru v sovětské literatuře. — *VO*

Фролов В., *Конфликт — основа драматического произведения.* Знамя (1952) № 6, 178—183. — Rozbor škodlivé teorie bezkonfliktnosti. — *LD*

Frolov V., *Poznámky o komedii.* Sov. div. 2 (1952) 196—200. — Z článku V. Frolov, *Zametki o komedii,* Pravda (1952) č. 26. — O kladném hrdinovi sovětských veseloher. — *JTJ*

Фролов В., *Заметки о языке советской комедии.* Новый мир (1952) № 8, 228—242. — O jazyce současných sovětských komedií. Úkoly: navázat na klasiky 19. stol., umět vyjádřit jazykovými protředky charakter. — *LD*

Gawroński Alfred, *Poezja bezwładu czy poezja programowa.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 23. — O problému politické aktivity poesie. Žádá poesii programovou a odmítá „veršované programy“. — *MK*

Гедеванишвили Э., *Весело о серьезном.* Сов. искусство 22 (1952) № 63. — O problémech hudební komedie. — *JTJ*

Гончаров А., *Оружие смеха.* Лит. газета (1952) № 71. — V sovětské komedii jsou jednotlivé komické žánry nerovnoměrně zastoupeny; hodně satiry, málo lyrických komedií. Lyrické komedie jsou povrchně motivovány, konflikty nepodloženy. — *VO*

Cholodov E., *Postavy hledají autora.* Sov. div. 2 (1952) 585—598. — Překlad z časop. Teatr (1952) č. 5. — O pravdivosti dramatických konfliktů a charakterů. — *JTJ*

Яншин Мих., *За верность жизни!* (Обсуждение вопросов драматургии.) Сов. искусство 22 (1952) № 24. — Překlad: *Za věrnost životu!* Sov. div. 2 (1952) 380 n. — Úvahy o nových úkolech dramaturgie v duchu socialistického realismu. — *JTJ*

Ермилов В., *Некоторые вопросы теории советской драматургии.* Лит. газета (1952) № 130; № 131; № 132. — Otázka typičnosti, kladného hrdiny v Gogoľových i sovětských komediích. — *M*

Kamieńska Anna, *W sprawie pieśni masowej.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 51/52. — O textech písní. — *MK*

Караганов А., *О воплощении конфликта.* Сов. искусство 22 (1952) № 32. — *JTJ*

Karaganov A., *O charakteru v dramatu.* Sov. div. 2 (1952) č. 1, 42—56. — Překlad z časop. Teatr (1951) č. 10. — O pravdivý projev charakteru na podkladě studia ideových i morálních vlastností člověka, všech jeho životních podmínek a okolností. — *JTJ*

Казьмин Н., *Преодолеть отставание ленинградских драматургов.* Лит. газета (1952) № 52. — Navazuje na stať *Preodoleť otstavanije dramaturgii* v Pravdě a ukazuje nedostatky jmenovitě v dramatice leningradských spisovatelů: málo dramat se současnou thematikou, konflikty jsou vymyšlené, netypické, postavy vykresleny jednostranně. Povrchní hodnocení kritiky. — *LD*

Кедрина З., *Законы жанра.* Лит. газета (1952) № 87. — Teorie literatury není v SSSR ještě zcela propracována; spisovatelé se nemají proto při komposici díla oč opřít. Různost literárních žánrů není škodlivá, svědčí o bohatství literatury. — *VO*

Kratochvíl M. V., *Práce na dramatických postavách.* Lit. noviny 1 (1952) č. 28, 6. — Požadavky: udržení základního charakteru dramatické postavy, zachování vývojových změn a pestrosti živého člověka. — *BB*

K r e c z m a r Jerzy, *Uwagi o inscenizacji przeróbek powieściowych.* Teatr 7 (1952) nr. 6, 12—13. — Adaptace nemají být hodnoceny jen podle vztahu k originálu. Inscenace není surogát originálu. — *MK*

К у з н е ц о в Анатолий, *Балетное либретто — произведение драматургии.* Сов. искусство 22 (1952) № 94. — Nové řešení baletního libreta současného divadla. — *JTJ*

L e m Stanisław, *O współczesnych zadaniach i metodzie pisarstwa fantastyczno-naukowego.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 39. — O literatuře s thematikou fantastické budoucnosti. — *MK*

L i c h n i a k Zygmunt, *Diagram rozwoju czyli o tzw. powieści produkcyjnej.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 14. — Několik otázek nad současnou literární produkcí s thematikou hospodářských změn Polska. — *MK*

L o b a n o v A., *Všestranně zobrazovat život.* Sov. div. 2 (1952) 386. — Překlad ze Sov. isk. 22 (1952) № 27, 2. — O životně pravdivých dramatických thematech. — *JTJ*

*Ł o p a t y ń s k a Lidia, *Skala czasowa dramatu.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódzkiego tow. nauk. 1949, nr. 2. — *MK*

Л у к а ш е в и ч В., *О словаре пословиц.* Лит. газета (1952) № 61. — Zdůraznění potřeby nového vhodného slovníku přísloví a pořekadel. — *M*

M a r v i č S., *Konflikt a síla usvědčení.* Sov. div. 2 (1952) 390 n. — Překlad ze Sov. isk. 22 (1952) № 28, 2. — Skutečně pravdivý konflikt lze vytvořit na základě hlubokého poznání života a důkladného hereckého studia jednotlivých lidských typů. — *JTJ*

М и х а л к о в Сергей, *Школа драматурга.* Сов. искусство 22 (1952) № 32. — Rady dramaturgům a dramatickým spisovatelům. — *JTJ*

На собрании московских драматургов. Лит. газета (1952) № 55. — Zpráva ze schůze moskevských dramatiků, věnované posouzení redakční stati Pravdy *Preodolet' otstavanije dramaturgii.* Na schůzi byly znovu kritisovány nedostatky současné sovětské dramatiky: mělká znalost života, vymyšlené konflikty, primitivní a vulgární jazyk, malá spolupráce dramatiků s divadlem. — *M*

Н а з а р е н к о В., *Об одном распространенном заблуждении.* Звезда (1952) № 8, 161—173. — Vytýká sovětským básníkům malou péči o techniku verše. Jako příklad vzorné veršové techniky uvádí tvorbu Majakovského. — *LD*

Н а з а р е н к о В., *Одно стихотворение.* Лит. газета (1952) № 107. — Kritika Timofejevovy definice lyrické básně. Žánr lyrických básní je v literatuře nyní poněkud opomíjen. Lyrická báseň není popis okamžitého soukromého prožitku. V dobré lyrické básni musí být dramatismus a abstrahující síla. Rozbor básně Surkovovy *V'jetsja v tesnom pečurke ogon'.* — VO

Областной театр и местные драматурги. Лит. газета (1952) № 60. — Nedostatky her místních dramatiků a nedostatky v práci oblastních divadel. — *MK*

О л е н и н Б., *Образ коммуниста.* Лит. газета (1952) № 119. — Obraz komunisty — politického pracovníka v současné dramatické tvorbě není uspokojivý. Nezapomínat na negativní typy. — *VO*

О с н о с Ю., *Теория драмы и учение Станиславского.* Сов. искусство 22 (1952) № 42. — Překlad: *Teorie dramatu a učení Stanislavského.* Sov. div. 2 (1952) 414—422. — *JTJ*

Основа оперы — музыкальная драматургия. Сов. искусство 22 (1952) № 42, 1. — Za zvýšení úrovně hudební dramaturgie. — *JTJ*

О ш а н и н Л., *О «непререкаемых особенностях» жанра.* Лит. газета (1952) № 78. — Kritika G r i b a č e v o v a názoru na osobité zvláštnosti žánrů. Recense poukazuje

na různorodost a mnohotvárnost poematu. Rozbírá Tvardovského, Gribačeva, Chelemského. — *VO*

Pomianowski Jerzy, *Sprawy rodzinne dramaturgii*. Nowa kultura 3 (1952) nr. 45. — Nedostatečnost repertoáru, otázky divadelní kritiky, spolupráce divadla s autorem a j. — *MK*

Погодин Николай, *Расцвет личности*. Лит. газета (1952) № 134. — Úkolem sovětské dramatiky je zobrazovat typické, t. j. člověka bojujícího za komunismus. — *MK*

Полицеймако В., *Против обеднения жанра*. Сов. искусство 22 (1952) № 63, 2. — Problémy sovětské komedie. — *JTJ*

Попов И., *О творческой смелости*. Театр (1952) № 4, 17—29. — Mladí dramatičtí autoři a jejich postup práce. — Překlad: *O tvůrčí odvaze*. Sov. div. 2 (1952) 475—486. — *JTJ*

Преодолеть отставание драматургии. Сов. искусство 22 (1952) № 30. — *JTJ*

Romašov B., *Mladá dramatika. O zobrazování hlavních hrdinů*. Sov. div. 2 (1952) č. 1, 7—26. — Překlad z časop. Teatr (1951) č. 10. — Rozbor několika her mladých dramatiků. Nedostatky zejména ve vykreslení hrdinů současného života. — *JTJ*

Сценарий — большая литература. Лит. газета (1952) № 71. — Dosavadní scenáře sovětských filmů nebyly hodnotné. Scenář musí být po umělecké i ideové stránce právě tak hodnotný jako ostatní žánry literatury. — *VO*

Симонов К., *План. Тема. Писатель*. Лит. газета (1952) 105. — Autor vysvětluje nedostatek dobrých filmových scenářů. Příčiny: schematické plánování, nepřihlíží se k tomu, zda thema spisovateli vyhovuje, spisovatelé podceňují tento žánr. — *VO*

Софронов А., *За правду жизни*. Лит. газета (1952) № 64. — Je nedostatek vhodných soudobých dramat, hlavně komedií. Nedostatky nových her: nevýrazné charaktery, úmyslné i neúmyslné zastírání záporných jevů života. Příčinou je nesprávné pochopení názoru, že v socialismu není ostrých životních konfliktů. Nedostatek zájmu a péče kritiky. — *VO*

Solodovnikov A., *Dílo cti, dílo slávy*. Sov. div. 2 (1952) 151—165. — Překlad z článku *Delo česti, delo slavy*, Teatr (1951) č. 11. — O dosud malém uplatnění významných hrdinů dělnické třídy v dramatické tvorbě. — *JTJ*

Сурков А., *В долгу перед народом*. Лит. газета (1952) № 43. — Dramatická činnost se opožďuje za životem i za ostatními žánry literatury. Záporně působí teorie bezkonfliktnosti. Nepřítel musí být zobrazen pravdivě, v celé své síle, nesmí se podceňovat. Je potřebí dobré satiry. — *VO*

Сурков А., *Старое, но грозное оружие*. Новый мир (1952) № 7, 253—262. — O ruské bajce od Krylova po současnou sovětskou bajku. O její funkci, tradici a významu. Literární kritici jsou povinni pomáhat rozvoji bajky jejím kritickým a teoretickým rozborem. — *LD*

*Szpachta Marian, *Satyra*. Warszawa 1952, Świat starożytny, Bibl. popularna Meandra 7. — *MK*

Вирта Николай, *Поговорим откровенно... Ответ Анатолию Сурову*. Сов. искусство 22 (1952) № 26. — Odpověď na článek A. Surova k problematice současné dramatiky, k zobrazení záporných typů a jejich kritiky. — *JTJ*

Wasilewski Andrzej. *O dobry reportaż literacki*. Życie lit. 2 (1952) nr. 13. — Poukazuje na nedostatky literární reportáže, kterou klade mezi uměleckou prózu a publicistiku. — *MK*

За боевую теорию драмы! Лит. газета (1952) № 103. — Hlavní úkol literárních

a divadelních kritiků: vytvořit vědeckou teorii sovětského dramatu. O nedostatcích sovětské dramatické tvorby. — *VO*

За большую, жизненно правдивую советскую драматургию. Совещание работников искусства в Ленинградском обкоме ВКП(б). Сов. искусство 22 (1952) № 34. — Kritika současného stavu leningradské dramaturgie. — *JTJ*

За высокое искусство рассказа. Лит. газета (1952) № 59. — Je třeba věnovat více pozornosti povídkám, hlavně těm, které vycházejí v nejčtenějších časopisech. Musí podávat obrazy skutečného života, nového člověka, reálné konflikty, nikoliv jen laciné efekty. — *VO*

Жданов В., *О положительном герое в русской классической драматургии.* Театр (1952) № 11, 98—111. — Gogoľ, Fonvizin, Ostrovskij, Čechov, Gor'kij — příklady pro novou dramatickou tvorbu. — *JTJ*

Ústní slovesnost

Чичеров В. И., *Вопросы изучения творчества народов СССР.* Вестник АН СССР (1952) № 12, 32—44. — Dosavadní výsledky studia tvorby národů SSSR a úkoly sovětské folkloristiky. — *K*

Глубже изучать народный эпос. Лит. газета (1952) № 79. — Nutno věnovat více pozornosti lidové ústní tvorbě, přesně zhodnotit národní epos, odlišit jej od feudálně nacionalistických, reakčních eposů, nájezdnických písní a pod. — *MK*

Об итогах научной конференции, посвященной эпосу «Манас», и о мерах помощи Институту языка, литературы и истории Киргизского филиала АН СССР Вестник АН СССР (1952) № 10, 69. — Zpráva z konference, pořádané oddělením literatury a jazyka AN SSSR a presidiem Kirgizské odbočky AN SSSR ve městě Frunze, věnované studiu kirgizského lidového eposu *Manas.* — Některé úvahy této konference mají význam pro metodologii folkloristiky. — *K, SW*

Literatura pro děti

Алексин А., *Заметки о детском театре.* Лит. газета (1952) № 46. — Sovětské literatuře pro děti chybějí hry o velkých revolucionářích, o vědcích a umělcích. — *VO*

Барто, *Смешное и серьезное.* Лит. газ. (1952) № 42, 3. — V dílech pro děti nutno vytvořit myšlenky úplně jasné a konkretní, počítat s věkem dětí. Smích je velmi účinný výchovný prostředek. Autor vytýká S. Michalkovovi, že přestal psát veselé verše a píše didakticky. — *VO*

Дубровина Л. В., *Детская литература в свете задач коммунистического воспитания.* Лит. в школе (1952) № 3, 10—28. — O tradici a vývoji sovětské dětské literatury. Úkoly dětské literatury, stanovené komunistickou stranou: vychovávat v dětech smysl pro sovětskou skutečnost na základě řešení dětských problémů, věnovat pozornost jazyku a dokonalosti formy. — *VO*

Дубровина Л., *Советская школа и детская литература.* Лит. газета (1952) № 48. — Nedostatky sovětské dětské literatury: málo historických themat, málo konkretní pohádky, nízká úroveň kritiky dětské literatury, přílišné moralisování, schematické vyobrazení školy. Dobrý příklad dětské literatury ze školního prostředí: Maršak, *Čto takoje god.* — *VO*

Грибачев Николай, *О стихах для детей.* Октябрь (1952) № 7, 173—177. — *LD*

Каиров И., *О детской литературе.* Лит. в школе (1952) № 3, 3—9. — O vývoji a úspěších sovětské dětské literatury a o jejích velkých úkolech. — *VO*

Катаев В., *О драматургии для детей*. Новый мир (1952) № 6, 209—223. — Stať o úspěších a nedostatcích sovětské dramatiky pro děti. Jediným kriteriem musí být vysoká jakost díla, ideovost i umělecké mistrovství. — *LD*

Михалков С., *Книги для маленьких*. Лит. газета (1952) № 48. — Pro děti předškolního věku musí být literatura nejhodnotnější. Nutno nebát se ostrých politických themat a zlepšovat umělecké mistrovství (sebekritika Michalkovova). — *VO*

Ostromęcka Stefania, *Piękno w utworach literackich dla dzieci*. Dziś i jutro 8 (1952) nr. 22. — O jazyce dětské literatury. — *MK*

Прилежаева М., *Открытое письмо критикам*. Лит. газета (1952) № 45. — Vytýká současným kritikům, že se nezajímají o dětskou literaturu. Jako příklad správného vztahu k dětské literatuře uvádí Belinského a Dobroljubova. — *VO*

Řezáčová Ema, *Výhledy a úkoly dramatické tvorby pro mládež*. Lit. noviny 1 (1952) č. 17, 5. — Referát na schůzi dramatiků. — *BB*

Сурков А., *За большую литературу для детей и юношества*. Лит. газета (1952) № 46. — Sovětská dětská literatura dosáhla v posledních letech velkých úspěchů, má však ještě četné nedostatky, jako špatný, frázovitý jazyk, málo veršů. Také divadelní hry pro děti jsou slabé. — *VO*

Tenčík Fr., *Učme se ze sovětských konferencí o literatuře pro děti*. Nový život (1952) 1083—1090. — O nutnosti vytvářet v dětské literatuře dokonalé umělecké obrazy a vystříhat se poučování a moralisování, „holých sentencí". Tyto nedostatky české dětské literatury jsou ukázány na rozboru několika dětských knih. — *VO*

Umělecké dílo slovesné

Белахова М., *В жизни и книгах*. Лит. газета (1952) № 30. — Vytýká sovětským spisovatelům nedostatečně pravdivé a poutavé zobrazení rodinného života hrdinů a hlavně nedostatečné využití obrazů dětí. Jako příklad správného řešení tohoto problému uvádí *Žatvu* G. Nikolajevové. — *VO*

Бессонов Б., Ников А.: *Повторяющиеся конфликты, однотипные образы*. Театр (1952) № 12, 43—54. — Problémy obsahu her o studentech. — *JTJ* (Problematika konfliktu hodně zaměstnávala kritiky a vědce zejména sovětské. Viz o ní zde, dále pod záhlavím „slovesné druhy" [pokud se týká dramatu jako literárního druhu] a v jednotlivých případech i pod záhlavím „metodologie a teorie — generalia". — *SW*)

Flaszen Ludwik, *Nowy Zoil czyli o schematyzmie*. Życie lit. 2 (1952) nr. 1. — Diskusní článek o schematičnosti, vznikající z nesprávného pojetí požadavku typičnosti. — *MK* (O schematismu viz také jiné záznamy v tomto oddíle, zejm. také stať Lukácsovu. — *SW*)

Громов П., *Идея, конфликт, характер*. Звезда (1952) № 8, 146—160. — O vztahu ideje, konfliktu a charakteru v sovětské dramatické tvorbě. — *LD*

Heller Ágnes, *A tipusalkotás kérdéséhez*. Irodalmi Ujság 3 (1952) 24, szám 9. — Ústřední otázkou literatury je otázka typisace. Typ v literárním díle je taková postava, ve které se spojují a ostře vystupují nejpodstatnější rysy její vrstvy nebo třídy. K dokonalé typisaci je třeba dokonalé znalosti života. Typ může být v literárním díle zařazen pouze do typického prostředí. Co se týká poměru kladných a záporných typů, je třeba je hledat jen tam, kde skutečně jsou, t. j. určité prostředí může vytvořit pouze určitý druh typů. K negativnímu typu musí mít autor nekompromisní postoj, t. j. musí úplně odhalovat jeho chyby a ukazovat na jejich prameny. — *ZH*

Холодов Е., *Действующие лица в поисках автора*. Театр (1952), № 5, 79—91. — O pravdivosti dramatických konfliktů a charakterů. — *JTJ*

*Исаковский М., *О поэтическом мастерстве.* — Rec.: Тарасенков А., Лит. газета (1952) № 68. — *MK* — (viz také násl. záznam. — *SW*)

Isakovskij M., *Tři dopisy začínajícím básníkům.* Lit. noviny 1 (1952) č. 30, 6. — Překlad úryvků ze studie *O básnickém mistrovství,* Moskva 1952, Sov. pisateľ. — *BB*

Lukács György, *A sematizmus elleni harc mai állása és új problémái.* Csillag 5 (1952) 138—158. — Charakteristickým znakem schematismu v literatuře je, že se omezuje u postav pouze na několik rysů. Je omylem tvrdit, že ve schematickém díle převažuje ideologická náplň. Právě její nedostatek činí dílo schematickým. Je třeba, aby literární dílo nezobrazovalo již hotové výsledky procesu vývoje člověka, nýbrž aby zobrazovalo vývoj sám v celé jeho složitosti. Opravdovým problémem je otázka individualisace a typisace. Tyto dvě složky jsou od sebe neoddělitelné. Právě tak je neoddělitelná komposice od ideového obsahu a ideový obsah od života. Bohatá literatura může vzniknout pouze z bohatého života. — *ZH*

Kierczyńska Melania, *O schematyzmie.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 3. — Polemický článek o schematičnosti a ilustrativnosti v literárním díle a o potřebě hlubšího studia otázky typisace. — *MK*

Kreczmar Jerzy, *Sprawa monologu.* Teatr Warsz. 7 (1952) nr. 4, 18. — Otázka úlohy mimiky při monologu. — *MK*

Markiewicz Henryk, *O genezie i funkcji społecznej dzieł literackich.* Polonistyka 5 (1952) nr. 2, 3—23. — O třídnosti ideologie a uměleckých prostředků literárního díla. Teoretické úvahy s příklady. — *MK*

Markiewicz Henryk, *O typowości w dziele literackim.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 23. — Diskuse s thesemi článku A. Sandauera *O typowości i schematyzmie* (srov. Nowa kultura 3, 1952, nr. 20). — *MK*

Mostowicz Arnold, *Lukacs o schematyzmie.* Życie lit. 2 (1952) nr. 12. — Referát o článku *Obecný etap walki ze schematyzmem i nowe jej problemy* a o diskusi s autorem. — *MK*

Насущные задачи советской литературы. Коммунист (1952) № 21, 14—23. — O problému typičnosti, zobrazení kladného hrdiny se vším rozmanitým jeho duševním bohatstvím, ukázání vedoucí úlohy strany a zachycení boje protikladů v životě země. — *VO*

O dwóch rodzajach konfliktów. Teatr 7 (1952) nr. 14, 13. — Popření názoru J. Kotta, že neexistují konflikty neantagonistické. — *MK*

Разумный В. А., *О сущности реалистического художественного образа.* Вопр. филос. (1952) № 6, 99—113. — Názory buržoasních literárních vědců na umělecký obraz. Marx-leninská estetika o uměleckém obraze jako o zobecněném obraze skutečnosti. — *VO*

Sandauer Artur, *O jedności treści i formy i o t. zw. poziomie słów parę.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 2. — Fragment studie *O jedności treści i formy.* — *MK*

Sandauer Artur, *O typowości i schematyzmie.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 20. — Fragment ze studie *O jedności treści i formy.* Klade požadavek pro každé umělecké dílo, aby neuvázlo ani v individuálnosti, ani ve všeobecnosti. „Poważną część beletrystyki naszej cechuje w chwili obecnej dedukcyjny sposób myślenia, realistyczna, ale mało pomysłowa intryga i nierealistyczny, konwencjonalny rysunek charakterów". — *MK*

Соломонов Мих., *История характера.* Театр (1952) № 8, 57—66. — Charakter a konflikt. Typičnost a konkretnost charakteru. — *JTJ*

Сухаревич В., *Сила сюжетного замысла.* Лит. газета (1952) № 22. — O vlivu správného výběru námětu na umělecké ztvárnění díla. — *LD*

Сурков А., *Некоторые вопросы развития советской литературы.* Большевик

(1952) № 9, 24—37. — O společenské úloze ruské literatury. Problém konfliktu a „teorie bezkonfliktnosti“. — *VO*

Тимофеев Л., *О положительном герое советской литературы.* Новый мир (1952) № 1, 217—231. — Polemika s článkem A. Gurviče, *Sila položiteľnogo geroja* (Novyj mir [1951] № 9). I v 19. stol. se vyskytovali v literatuře kladní hrdinové. Sovětská literatura přejímá pokrokové tradice literatury 19. století. — *LD*

* Trzynadlowski Jan, *Komizm.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Varia

Górski Konrad, *Muzyka w opisie literackim.* Życie i myśl 3 (1952) 91—109. — O způsobech, jak se v literatuře umělecky vyjadřuje charakter hudební skladby a dojmy, které skladba vyvolává. „... zasugerowanie słowem wrażeń muzycznych jest możliwe i osiąga nieraz bardzo wysoki stopień artystycznego efektu. Ale wobec dystansu, jaki zachodzi między siłą ekspresywną słowa i muzyki, opis wrażeń muzycznych musi być zwięzły. Opisy długie, starające się o wyczerpanie wszystkich szczegółów, dotyczących samego dzieła muzycznego i jego recepcji przez słuchaczy, nużą i powodują załamanie uwagi czytelnika, ponieważ wymagają zbyt wiele wysiłku od wyobraźni“. — *MK*

Лущие произведения драмы и оперы — на экран. (Обзор писем, поступивших в редакцию.) Сов. искусство 22 (1952) № 3. — Hlasy čtenářů pro zfilmování koncertů a divadelních představení. — *JTJ* — Filmové zachycování celých divadelních představení se v poslední době značně rozšířilo v SSSR; o jeho problematice viz zde také další záznamy. — *SW*

Марецкая Вера, *Слово о нашем требовательном друге.* Театр (1952) № 10, 75—82. — Spolupráce herce a diváka. — *JTJ*

Марьянов М., *Спектакль на экране.* Сов. искусство 22 (1952) № 72. — O možnostech a nových úkolech uvedení divadelních kusů ve filmu. — *JTJ*

Novák M., *Význam I. P. Pavlova pro estetiku.* Sov. věda - filos. 2 (1952) 387 až 396. — O aplikaci marxistického učení o slovu a jazyku na estetiku. Polemika se strukturalismem v jazykovědě a estetice. — *BB*

Печали мастеров смеха. Лит. газета (1952) 111. — Literární, divadelní a hudební kritika nevěnují pozornost estrádním pořadům. — *VO*

Салтыкова М. Н., *Урок на тему Изображение народа в повести Пушкина „Дубровский“.* Лит. в школе (1952) № 3, 49—52. — *VO*

Literárněvědné bádání obecně srovnávací

Анrран П., *Отголоски восстания декабристов во Франции.* Вопр. ист. (1952) № 12, 98—116. — Přináší rozsáhlý materiál o ohlasu děkabristického hnutí ve Francii období restaurace; tento ohlas již podle slov Stendhalových z r. 1826 byl ohromný. Redakce uvádí, že autorem článku je pokrokový francouzský historik Paul Angrand. — *SW*

Dąbrowski Stanisław, *Wiktor Hugo na scenach polskich.* Pam. teatr. (1952) zesz. 4, 204—219. — *MK*

Kuczyński Jürgen, *O tradycjach przyjaźni niemiecko-polskiej w literaturze niemieckiej.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 9. — Krátký informativní přehled. — *MK*

* Pollak Roman, *Nad palimpsestem tekstu „Gofreda“.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — Týká se polského překladu Tassova *Osvobozeného Jerusalema* z 18. st. — *MK*

Расцвет литератур народов СССР. Лит. в школе (1952) № 5, 3—14. — Vývoj literatur sovětských socialistických národů a jejich charakteristické rysy. — *VO*

Literárněvědné bádání mezislovanské

* Baumgarten Leon, *Dekabryści a Polska.* Warszawa 1952, Książka i Wiedza, 246 str. — Rec.: Kieniewicz Stefan, Przegląd hist. 43 (1952) 370—374. — *MK*

Булгаков А., *Советская книга в Чехословакии.* Славяне Москва (1952) № 9, 51—53. — O distribuci a rozšíření sovětských knih, zejm. ruské beletrie v Československu. — *SW*

Dolanský J., *Příklad sovětské literatury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 45, 3. — *BB*

Филипович Г., *Советская нкига в странах народной демократии.* Лит. газета (1952) № 108. — Všeobecná informační stať o oblibě sovětské knihy v zemích lidových demokracií. — *VO*

Геновска Веселина, *Културните връзки между България и Чехословакия.* Славяни София 8 (1952) кн. 6, 13—15. — K pátému výročí podepsání kulturní dohody uvádí konkretní doklady kulturní výměny; zejména vypočítává spisovatele, kteří byli vzájemně přeloženi. — *SW*

German Franciszek, *Gogol i Mickiewicz.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 13. — O vzájemném vztahu; paralela biografií a děl. Fragment z knihy *Gogol w Polsce.* — *MK*

Hławiczka Karol, *Stopień samorodności i originalności śląskiej pieśni ludowej. Uwagi na marginesie IV wydania „Morawskich Pieśni Ludowych" Fr. Sušila.* Zwrot 4 (1952) nr. 4, 8—10. — Autor je sám udiven, že v Sušilově sbírce našel málo výpůjček z melodií slezských. Vidí v tomto faktu neobyčejně pádný důkaz originality slezské lidové písně, a to tím spíše, že doba vzniku Sušilovy sbírky byla „okresem obrony czeskiego stanu posiadania przed silnym wpływem języka polskiego". — *MK*

Kosík K., Grebeníčková R., *Některé poznámky o vztahu českého demokratického myšlení k revolučnímu Rusku v 19. století.* — Sov. věda - filos. 2 (1952) 56—62. — O Gercenově a Černyševského názoru na českou společnost, zvl. na buržoasii. Vztah Fričův, Sabinův, Staškův a Nerudův k činnosti ruských revolučních demokratů a odraz jejich myšlenek u nás. — *BB*

Krejczi Karol, *Literatura polska w ludowo-demokratycznej Czechosłowacji.* Życie słow. 7 (1952) nr. 12, 23—26. — Podává obraz ohlasu polské literatury v poválečném Československu. Připomíná především stav dřívější a také přípravnou práci již za okupace. Ve zkratce představuje pak překladatelskou činnost poválečnou, zaměřenou na výběr děl klasických i současných a uvádí důležitější překladatele. — *SW*

Kudělka Milan, *Z obrozenské korespondence těšínské.* Slez. sbor. 50 (1952) 566 až 588. — Edice české a polské korespondence těšínských obrozenců s Čechy. — *MK*

Kulisiewicz Aleksander, *Polska w dzisiejszej poezji słowackiej.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 38. — *MK*

Kurzelowski Jan, *Rewolucyjny podmuch wiosny ludów na Śląsku Cieszyńskim.* Zwrot 4 (1952) nr. 10, 4—7. — *MK*

Леков Ив., *Видни дейци в историята на руското славянознание.* Славяни София 8 (1952) кн. 7, 25—26. — Popularisační přehled, uvádějící jména hlavních vědeckých osobností a některá jejich díla. — *SW*

Лау Иежи, *Българската книга в Полша.* Славяни София 8 (1952) кн. 9, 25—27. — Podává přehledné údaje o náhlém růstu zájmu o bulharskou knihu v Polsku v posledních letech a o překladech z bulharské literatury. — *SW*

Magnuszewski Józef, *Dopis Františka Palackého Josefu Chociszewskému.*

Slez. sbor. 50 (1952) 261—263. — Přetisk listu z časopisu *Lech* 1878 (originál zničen). Týká se překladu *Dějin národu českého* do polštiny. — *MK*

Mágr A. St., *O českém železářství v polském poematu z r. 1612.* Slez. sbor. 50 (1952) 129—135. — O pramenech Roździeńského básně *Officina ferraria*, pokud se týká Čech. — *MK*

Młynarski Zygmunt, *Towarzystwo patriotyczne a dekabryści.* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 5, 4—16. — O polsko-ruské spolupráci proti carismu. — *MK*

Młynarski Zygmunt, *U źródeł przyjaźni polsko-rosyjskiej. (Polacy w powstaniu Pugaczowa.)* Wiedza i życie 19 (1952), 1081—1095. — Fragment větší práce. — *MK*

**Народные песни (сборник чешских, моравских, словацких и польских песен).* Киев 1952. — Rec.: Рыльский М., Славяне (1952) № 12, 57. — *LD*

Palouš Karel, *Co nám dává sovětské divadlo.* Divadlo 3 (1952) č. 11—12, 961 až 963. — Vzpomínky zájezdu delegace československých divadelních pracovníků do SSSR v listopadu 1951. — *JTJ*

Пашуто Т., *О возникновении литовского государства.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 29—49. — Zabývá se otázkami, významnými m. j. pro zkoumání vztahů polsko-východoslovanských. — *SW*

Popelová J., *Význam ruské materialistické filosofie pro nás.* Sov. věda - filos. 2 (1952) 472—481. — O filosofii ruských revolučních demokratů a o jejich boji proti idealismu. — *BB*

Popp Ota, *Vítězství sovětského umění v našich divadlech.* Praha-Moskva 7 (1952) 107—110. — Přehled sovětských a ruských her na pražských scénách. — *HP*

Произведения болгарских писателей на украинском языке. Славяне Москва (1952) № 10, 62. — Upozorňuje na předválečné překlady z Ludmila Stojanova: novely *Mechmet Sinap* a *Cholera;* později vyšly ukrajinsky jeho básně *Ruskému národu* a *Stalinovi*, dále povídka *Pistole a housle.* R. 1934 a r. 1949 byl vydán sborník veršů Christa Boteva. Vyšel také Vazovův román *Pod igoto* a jiné knihy. Tvorba bulharských spisovatelů se probírá na vysokých školách USSR a těší se zájmu širokých čtenářských kruhů. — *SW*

Ringesová Marta, *Nové zprávy o cestě bratrských exulantů do Polska v roce 1548.* Sl. věda 5 (1952) 220—221. — Referát o článku J. Slizinského *Z materiałów do dziejów pierwszej emigracji Braci Czeskich do Polski* (Pamiętnik Literacki 34 [1952] č. 1—2). — *HP*

Slizinski Jerzy, *Z pogranicza zagadnień czeskich a polskich.* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 173—188. — Čtyři kapitoly s edicí českého a polského materiálu: 1. *List Jana Nerudy do Zenona Przesmyckiego* (Nerudův dopis a charakteristika jeho polonofilství), 2. *O Piotrze Bezruczu* (literárně historický profil, otisk Bezručových příležitostných veršů — zčásti z jeho korespondence s autorem, a otázka přijetí Bezručova díla v Polsku), 3. *Sienkiewicziana czeskie* (překlady do češtiny, převoz ostatků územím ČSR, korespondence s Čechy; autor hodnotí Sienkiewiczův vztah k Čechům jako pomoc v národně osvobozovacím boji), 4. *Wiersze Franciszka Nechvátala o tematyce polskiej* (stručná biografie, bibliografie prací, překlady Nechvátalových básní do polštiny, verše s polskou thematikou a jejich přijetí v Polsku). — *MK*

Slizinski Jerzy, *Z materiałów do dziejów pierwszej emigracji Braci Czeskich do Polski.* Pam. lit. 43 (1952) 635—639. — O rukopise *Krátké vypsání o vyhnání Bratří z Čech za krále Ferdinanda prvního, leta 1548 a co se s nimi v Polštině a v Prusích dálo*, nalezeném v universitní knihovně ve Varšavě. — *MK*

Советские студенты изучают литературу братских народов славянских стран.

Славяне Москва (1952) № 6, 62. — Časopis zaznamenává, že na sovětských vysokých školách se věnuje velká pozornost studiu slovanských literatur na filologických fakultách a pedagogických institutech. Ze starší slovesnosti studuje se zejména Komenský, Rej, Kochanowski, Gundulić, dubrovnická literatura a ovšem ústní slovesnost. Dále se klade důraz jak na literaturu 19. století, tak zvláště na literaturu současnou. — *SW*

Sztuki radzieckie i rosyjskie na scenach polskich. W roku 1952. Teatr 7 (1952) nr. 22, 26. — Soupis. — *MK*

Sztuki radzieckie i rosyjskie na polskich scenach. Od roku 1945 do roku 1951 włącznie. Teatr 7 (1952) nr. 19, 26. — Soupis. — *MK*

Szydłowski Roman, *Sztuki rosyjskie i radzieckie na polskich scenach.* Teatr 7 (1952) nr. 19, 5. — Bilance ruského a sovětského repertoáru na polských scénách. — *MK*

Szyjkowski Marian, *Jan Kollár — Adam Mickiewicz. (W stulecie śmierci Kollára.)* Zwrot 4 (1952) nr. 1, 2—4. Všeobecně o Kollárovi a jeho poměru k Mickiewiczovi. — *MK*

Štefánek Josef, *Ruská a sovětská literatura — velká učitelka české literatury.* Nový život (1952) 145—146. — *VO*

Василев Кънчо, *Влиянието на Русия върху развитието на българския народ.* Славяни София 8 (1952) кн. 5, 10—12. — Soudí, že ruská kultura měla velkou úlohu ve vývoji jiných slovanských národů a jejich slovanského uvědomění. Stručně vzpomíná bulharsko-ruských vztahů v době nejstarší. U kolébky nového rozmachu bulharské vzdělanosti vidí především ve 30. letech 19. století ukrajinského vědce Jurije Ivanoviče Venelina s jeho dílem *Drevnyje i nynešnyje bolgare v političeskom, narodopisnom, religioznom i istoričeskom otnošenii k russijanam.* V 50. letech se objevují v Bulharsku první ruští odchovanci; první revoluční myslitel bulharský, G. S. Rakovski, vkládal podle Vasileva ve své první koncepci všechny naděje v Rusko a bystře rozpoznával politické cíle západoevropských mocností na tehdejším Balkáně (na př. ve věci poměru Řeků k slovanským národům turecké říše). Poté uvádí Vasilev hlavní věci o Karavelovově, Botevově a Vazovově vztahu k Rusku. Připomíná, že o založení bulharské Národní knihovny se nejvíce přičinili Rusové. Závěrem naznačuje Vasilev význam ruského myšlení a kultury ve vývoji Blagoevově a Dimitrovově; uvádí také pozoruhodný výrok, kterým se Dimitrov hlásí k Černyševskému. — *SW*

Vrtel—Wierczyński Stefan, *Polski i czeski dialog Palinura z Charonem. Biernat z Lublina i Mikuláš Konáč.* Pam. lit. 43 (1952) 617—622. — Srovnání českého a polského překladu, jejich poměr k originálu a poměr vzájemný. Polský překlad je volnější a samostatnější, lexikální bohemismy, shody frazeologické i obšírnější textové ukazují na to, že Biernat, který znal českou literaturu a snažil se ji přisvojit literatuře polské, překládal pomocí českého překladu Konáčova. — *MK*

Literatura ruská

Generalia

Смирнов И. С., *Государственная деятельность В. И. Ленина в области культурного строительства в 1917—1920 годах.* Вопр. ист. (1952) № 7, 20—50. — Seskupuje cenné doklady o neobyčejně aktivním poměru Leninově k různým kulturním otázkám v dané době. Středem pozornosti autorovy je Leninův postoj k Bogdanovovi a k *proletkultu.* Tím se stať stává důležitou pomůckou porevoluční literatury ruské i otázek teorie literatury. — *SW*

И. Р., *В Институте истории Академии наук СССР.* Вопр. ист. (1952) № 10,

133—139. — Zpráva o poradách věnovaných základním problémům dějin kapitalismu v Rusku. Porady se konaly 5.—7. VII. 1952 v Moskvě a vycházely z chystaného VIII. sv. *Dějin SSSR (1856—1894)*. Zpráva vytýká, že oddíly, týkající se zahraniční politiky, byly probrány v rozpravě nedostatečně, že však podle slov pracovníků Ústavu slavistiky AN SSSR Nikitina a Borodavkina předností materiálu je zachycení slovanských vztahů Ruska v daném období. — *SW*

Ústní slovesnost

Эвентов И., *Песни мира*. Звезда (1952) № 1, 153—161. — O ruské a sovětské písni umělé i lidové a o jejích zvláštnostech: hluboká ideovost, formální propracovanost. — *LD*

Оссовецкий И. А., *Об изучении языка русского фольклора*. Вопросы языкознания 1 (1952) № 3, 93—112. — Jazykověda se dosud zajímala o jazyk lidové slovesnosti ponejvíce jen pro jeho dialektologický materiál. Nestudovala jej jako jazyk ústní poesie, jako uměleckou, obrazně emocionální formu celonárodního jazyka — dialektu. Stať proto kritisuje dosavadní způsoby studia lidové slovesnosti, vymezuje pojem „jazyk lidové slovesnosti“, srovnává tento jazyk s uměleckým jazykem literárním (do popředí zde vystupuje kolektivní složka jazykového tvoření, individuální výběr prostředků je podřízen tradici; odtud archaičnost). Výklad o podstatě specifičnosti jazyka ruské lidové slovesnosti je ilustrován příklady a rozborem hlavních zvláštností, jimiž se tento jazyk liší od hovorového po stránce lexikální, syntaktické, morfologické, zvláště co do užívání vidů a předpon (раз-). Bibliograficky informativní stať je uzavřena výkladem o sovětské lidové slovesnosti. — *IN*

Пушкарев Л. Н., *Из наблюдений над творчеством фронтовиков. (Репертуары и вопросы бытования.)* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 527—540. — Konstatuje, že ústní lidová píseň frontových vojáků Velké vlastenecké války je dosud zpracována jen neúplně; většina záznamů není pořízena v typickém prostředí, kde se písně vytvářely a tradovaly. Sám přináší soubor pozorování konaných po dlouhou dobu v průběhu vojenské služby přímo u jednoho válečného oddílu. Klade si v podstatě otázku, kde, kdy, v jaké formě a jak žil ten či onen ústní písňový výtvor. Stať je příkladem aktivního studia nové ústní slovesnosti v mimořádných podmínkách. — *SW*

Vrabcová Eva, *Stalinská ústava v lidové poesii národů SSSR*. Český lid 7 (1952) 270—274. — Bibliografická studie o lidových písních, složených na thema „Stalinská ústava“. Dělí je do pěti základních skupin: 1. všenárodní diskuse o návrhu ústavy, 2. ohlas přijetí Stalinské ústavy, její opěvování, 3. hodnocení jednotlivých článků ústavy (zvláště bohatě reagují písně a častušky na ty články, které utvrzují práva a povinnosti občanů SSSR), 4. opěvování soudruha Stalina — tvůrce ústavy, 5. mezinárodní význam ústavy. — *HP*

Literatura starší

Рыбаков Б. А., *Проблема образования древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина*. Вопр. ист. (1952) № 9, 40—62. — Na podkladě zevrubného rozboru soudí toto: staroruská národnost vznikla z ruského kmenového svazu, který obsáhl antské kmeny *Rusů* a *Severjanů* (později snad také *Poljanů* a *Uličů*) a který byl velmi odolný a aktivní. Z těchto příbuzných kmenů začala v t. zv. *Ruské zemi* (mezi Kyjevem a Kurskem) vznikat staroruská národnost, oddělující se od ostatních slovanských kmenů, v 6. a 7. století. Zároveň se k tomuto společenství připojovaly stále další kmeny. Proces sjednocování kmenů a kmenových svazů okolo Rusi v 7. a 8. století není zatím jasný, je

však znám výsledek — vznik jednotné kultury, jazyka a státního území v 9. a 10. století. Hlavní dialekty ruského a ukrajinského jazyka, uváděné Stalinem (kursko-orlovský a poltavsko-kyjevský), se územně kryjí se starou Rusí 6. a 7. století, s ruským kmenovým svazem. Tento pozoruhodný fakt bude nutno ještě dále objasňovat, jak zdůrazňuje Rybakov. Nyní bude možno úspěšněji řešit řadu nejasných otázek, na př. otázku t. zv. tří center Rusi; lze rovněž odpovědět na otázku, proč byli kladeni proti sobě „*Rusové*“ a „*Slované*“ (první pojem označoval kmeny zúčastněné na určité federaci spjaté se stepním jihovýchodem, druhý znamenal ostatní sousední slovanské kmeny). Rybakov uzavírá, že ke vzniku staroruské národnosti bylo třeba asi šesti století, její přeměna v ruský, ukrajinský a běloruský národ trvala téměř dalších tisíc let. — *SW*

Literatura 18. st.

Благой Д. Д., *История русской литературы 18 века.* Москва 1951, Учпедгиз, 688 стр. — Рец.: Белецкий А. И., Сов. книга (1952) № 3, 90—94. — *VO* — Rec.: Wollman Slavomír, Slavia 23 (1954) 296—314. — *SW*

Снытко Т. Г., *Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века.* Вопр. ист. (1952) № 9, 111-122. — Týká se tajných organisací na sklonku století. — *SW*

Literatura 19. st. a počátku 20. st. — generalia

Дементьева А. Г., *Очерки по истории русской журналистики 1840—1850 гг.* Москва-Ленинград 1951, Гослитиздат, 501 стр. — Рец.: Портянкин И., Большевик (1952) № 3, 74—80. — *VO*

Михайлов С. И., *О роли русской революционно-демократической идеологии в формировании передовой общественной мысли народов России в 19 веке.* Вопр. филос. (1952) № 5, 180—189. — O vlivu ruských revolučních demokratů na revolučnost utištěných národů Ruska. — *LO*

Literatura 19. st. — děkabristé

Аксёнов К., *Северное общество декабристов. К 125-летию восстания 14 декабря 1825 года.* Ленинград 1951, Лен. газетно-журн. и книжн. издат., 318 стр. — Rec.: Киняпина Н. С., Вопр. ист. (1952) № 5, 119—122. — (O spise bude ještě pojednáno podrobněji.) — *SW*

Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. Сост. В. Орлов. Москва-Ленинград 1951, Госполитиздат, 688 стр. — Рец.: Порох И. В. Сов. книга (1952) № 8, 97—101. — *VO*

Poroch I. V., „*Vybrané sociálně politické a filosofické spisy děkabristů.*“ Sov. věda - filos. 2 (1952) č. 5, 529—535. — Překlad stejnojmenné recense třísvazkového výboru v čas. Sovetskaja kniga (1952) č. 5, 76—83. — *BB*

Literatura sovětská

Бочаров А., *Песни и песенники.* Лит. газета (1952) № 96. — Nakladatelství Sovetskij Pisateľ věnuje málo pozornosti vydávání zpěvníků. Kritika zpěvníku *Pesni russkich poetov.* Nedostatky: nakladatelství často svévolně mění autorský text a provádí nekritický výběr. — *M*

Фетисов М. И., *Проблемы изучения русской советской литературы. Обсуждение макета первого тома «Очерка истории русской советской литературы».* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 344—358. — *Očerk russkoj sovetskoj literatury,* I (1917—

1941 gg.), red. A. M. Jegolin, S. M. Petrov, L. I. Timofejev, Moskva 1952, AN SSSR, 907 str., je návrhové vydání v 500 exemplářů, vytištěné k posouzení. Běží o velkou kolektivní práci, první pokus o podrobné dějiny ruské literatury sovětské. Na spise pracovali v Gor'kého Ústavě světové literatury tito vědci: V. S. Aleksandrov, A. O. Boguslavskij, M. P. Vengrov, K. L. Zelinskij, Je. I. Koval'čik, Ju. B. Lukin, Je. P. Ljubareva, Je. N. Michajlova, A. S. Mjasnikov, S. M. Petrov, L. M. Poljak, I. V. Sergijevskij, N. L. Stepanov, Je. B. Tager, S. M. Štut. Celý spis je rozvržen na dva svazky, úhrnem 120 tiskových archů, a pracuje se na něm od r. 1947. Fetisovova stať podává autentický přehled zasedání, na němž (po předběžných poradách v Moskvě a Leningradě) byl hotový návrh prvního svazku posouzen; zasedání uspořádal Gor'kého Ústav svět. lit. 27.—29. V. 1952. Navržený svazek byl zamítnut jako neuspokojivý s hlediska metodologického, teoretického i v četných jednotlivostech. Obecnou ideově teoretickou úrovní spis neodpovídá současnému stavu literární vědy, neprovádí plně marxisticko-leninské principy platné pro daný předmět, které Fetisov vymezuje zásadně takto: „prozkoumání literatury jako nadstavbového jevu nad socialistickou základnou; stanovení jejích základních ideově uměleckých novátorských rysů...; objevení zvláštností vytváření a vývoje metody socialistického realismu v různých etapách dějin socialistické společnosti; konkretně historické prostudování literárního procesu sovětské epochy ve všem jeho svérázu; bolševická stranickost; jasné vymezení úlohy strany, jejích vůdců V. I. Lenina i I. V. Stalina v bouřlivém vývoji umění socialistického realismu; stanovení jeho živého vztahu k tradicím ruské klasické literatury; studium zákonů socialistické estetiky v jejich konkretním vyjádření v tvůrčí praxi sovětských spisovatelů; studium vzájemného působení ruské sovětské literatury a literatur bratrských národů SSSR; odhalení světového významu sovětské mnohonacionální literatury“ (345). Tato formulace úkolů ovšem daleko překračuje rámec předmětu dějin ruské sovětské literatury a může se podle mého názoru v nich uplatnit jen v určitém rozsahu. — Podle přehledu Fetisovova v diskusi V. A. Kovalev vytkl, že spis nevyvozuje důsledky ze Stalinovy práce *Marxismus a otázky jazykovědy*, a úkoly spisu vyložil takto: „1. ... používat principu zkoumání literatury jako odrazu života...; 2. ...ukázat ohromnou aktivní úlohu literatury jako součásti socialistické nadstavby...; 3. ...ukázat specifikum literatury, její umělecké zvláštnosti, uměleckou formu, jazyk a styl; 4. ...ukázat, jak v literatuře sovětské epochy vzrůstají prvky nové kvality, jak sovětská literatura rozvíjí tradice pokrokové ruské literatury 19. stol. a obohacuje je...; 5. ...vést po všech liniích boj s vulgarisací marxismu v oblasti literatury, v oblasti literární vědy, zvláště boj s pokusy ignorovat mnohotvárnost uměleckých forem vyjádření nového obsahu, boj proti dogmatům všeho druhu, kterými se někdy snaží zaměnit základní princip literatury socialistického realismu — princip věrnosti životní pravdě“ (346—347). Ja. S. El'sberg, upozorňuje na představu, že spisovatelé jsou inženýry lidských duší, položil otázku, „jaká je ta duše — ten nacionální charakter, s nímž má co dělat každá literatura, jak se měnil, rostl a jak se to odráželo v literatuře“ (349). Volá také po lepší odpovědi na otázku, jak literatura působila na život. — Ostré a spravedlivé kritice podle Fetisova podrobena struktura spisu, nepromyšlenost a chaotičnost komposice. L. A. Plotkin přitom naznačil několik možných způsobů rozdělení látky: historicko-přehledné rozdělení bez monografických kapitol (to pokládá za nesprávné), totéž s monografickými kapitolami o jednotlivých periodách (pokládá za nejlepší), žánrové rozdělení (podle něho sporné, ale přece jen rozdělení), problémové, thematické rozdělení; použít všech těchto principů v jedné práci není už princip, ale eklektismus, praví Plotkin. Poté se rozpředla živá

debata o otázce monografických kapitol, při čemž názory zůstaly rozděleny. Byla zdůrazněna nutnost informačního a bibliografického aparátu a četných doplňků. — Výklady spisu mají podle shodného mínění diskutujících převážně kompilační, nepůvodní ráz, opírají se o různorodé výroky drobnějších monografických prací, většinou nekriticky přejímané. Bylo poukázáno také na křiklavé nedostatky faktografické, na fantastické dohady místo prověřených fakt, jak praví Fetisov. Konečně vytčena nejednotnost pojetí a zřejmá isolovanost pracovní skupiny a zhodnoceny také kladné stránky, zejména snesení bohatého materiálu. — Je, myslím, překvapující, že teprve po několikaleté kolektivní práci v akademickém ústavě byla objevena spornost i samého rozdělení látky a metodologického pojetí. O neuspokojivém stylu práce svědčí také to, že tak rozsáhlá pracovní skupina nejprve neprovedla bezvadný výzkum heuristický. Diskuse ukázala, že práce nebyla dobře řízena, protože někteří členové pracovní skupiny (i redaktoři) teprve v uvedené diskusi vyslovili svůj naprostý nesouhlas v řadě základních bodů. — Úhrnem pokládám celý případ za neobyčejně poučný nejen pro věcné a klidné odhalení nedostatků, ale také pro to, jakou pozornost nutno věnovat pracím na větších dílech vědeckých. Diskuse byla zřejmě velmi plodná, přinesla řadu cenných metodologických formulací i jednotlivých postřehů. — *SW*

Фетисов М. И., *За научную разработку истории русской советской литературы.* Вестник АН СССР (1952) № 8, 95—98. — O nedostatcích navržené stylisace spisu *Očerk istorii russkoj sovetskoj literatury.* — *K*

Galis Adam, *Literatura radziecka spadkobierczynią tradycji rewolucyjno-demokratycznych wielkiej literatury rosyjskiej.* Życie słow. 7 (1952) nr. 2, 16—20. — Polemisuje s názorem, jako by sovětská literatura nevycházela z předrevoluční tradice. Dovolává se stati Blagého o nacionálním specifiku literatury (Boľševik 1951, № 18) a případně uvádí Stalinovy výroky z *Marxismu a národnostní otázky*, zejména pokud běží o charakter národa. — *SW*

Калашников Э., *Величественные страницы истории.* Театр (1952) № 10, 35—55. — Thema o Leninovi a Stalinovi v sovětské dramatice. — *JTJ*

Константинов Ю., *Во имя народа, в интересах государства.* Звезда (1952) № 10, 170—179. — O nových sovětských dílech, věnovaných dělnické třídě a technické inteligenci. — *LD*

Козлов И., *О воинском подвиге.* Лит. газета (1952) № 56. — Stať o knihách z období Velké vlastenecké války: Berezko, *Mirnyj gorod;* Aleksejev, *Soldaty;* Medojedov, *Siľnym duchom;* Filatov, *Vtoraja rota;* Davurin, *Vtoroj ešelon;* Voinov, *Rasskazy o generale Vatutine;* Kalinin, *Krasnoje znamja;* Erenburg, *Burja* a j. — *VO*

Петров С. М., *Советский исторический роман в послевоенные годы.* Литература в школе (1952) № 6, 12—23. — V přehledu sovětského historického románu uvádí: *Iskry* M. Sokolova, *Perejaslavskaja Rada* N. Rubaka, *Severnaja Avrora* N. Nikitina, *Stepan Razin* S. Zlobina, *Strogovy* G. Markova, *Dalekij kraj* N. Zadornova, *Rossii vernyje syny* L. Nikulina. — *VO*

Рюриков Б., *Наследие классиков и советская литература.* Большевик (1952) № 12, 36—48. — *VO*

Surkov A., *Některé otázky sovětské literatury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 18, 4, č. 19, 4. — Překlad stati z časopisu Bolševik (1952) № 9 — *BB*

Tamás Aladár, *A XIX pártkongresszus és az irodalom.* Csillag 5 (1952) 1155—1161. — O pomoci strany a XIX. sjezdu KSSS literatuře socialistického realismu vůbec a sovětské literatuře zvláště. — *ZH*

За дальнейший подъем советской литературы. Большевик (1952) № 15, 1—10. — O společenské úloze sovětské literatury. — *VO*

Varia

Jakubowski Wiktor, *W radzieckim muzeum literatury. (Z wrażeń z podróży do ZSRR.)* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 2, 21—24. — *MK*

Belinskij

Bělinskij V. G., Sov. věda — filosofie 2 (1952) 279—298. — Překlad hesla z *Velké sovětské encyklopedie.* Části: *Světový názor* (Jovčuk M. T.); *Estetika a literární kritika* (Smirnova Z. V., Lavreckij A.); *Historické názory* (Illerickij V. J.); *Pedagogické názory* (Medynskij J. N.). — *BB*

Николаев В., *Великий сын французского народа.* Новый мир (1952) № 2, 239—253. — K 180. výročí narození V. Huga. Rozbor názorů Belinského na V. Huga. Pokrokové tradice Hugovy tvorby využívá dnes pokroková literatura celého světa. — *LD*

Nowacki Tadeusz, *Wissarion Bielinski jako myśliciel i pedagog.* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 1, 4—15. — *MK*

*Trzynadlowski Jan, *W. Bielińskiego koncepcja realizmu.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Bobrov

Н. Н. Бобров. Лит. газета (1952) № 32, 4. — Nekrolog o Nikolaji Bobrovovi. Svaz sovětských spisovatelů oceňuje obětavou práci talentovaného autora knihy *Čkalov.* — *LD*

Černyševskij

Filipec J., *Kapitoly o díle N. G. Černyševského. Některé otázky filosofických a sociálně politických názorů N. G. Černyševského a kritika Masarykova poměru k ruské revoluční demokracii.* Praha 1951. — Rec.: Белявская И., Славяне Москва (1952) № 7, 59—61. — Recensent hodnotí bojovně politický ráz spisu. — *SW* — Rec.: Slejška D., Sov. věda — filos. 2 (1952) č. 1, 88—92. — *BB*

*Ефремов А. Ф., *Язык Н. Г. Чернышевского.* Уч. зап. Саратовского гос. педаг. института, вып. XIV, Саратов 1951, стр. 380. — Rec.: Сорокин Ю. С., Вопросы языкознания 1 (1952) № 2, 126—137. — Recensent velmi nepříznivě hodnotí knihu pro její závažné nedostatky. Jejich zdroj vidí v tom, že ač byla napsána r. 1945, autor ji nyní vydává bez důkladnějšího přepracování. Práci chybí teoretická jasnost v řadě základních otázek (na př. v otázce poměru celonárodního jazyka k jazyku spisovatele); k jejím stinným stránkám patří též nejasnost výrazu, nedostatek historismu, ba i nedostatek materiálu (zvláště v rozboru frazeologie a slovníku Černyševského). — IN — Филин Ф. П., Сов. книга (1952) № 3, 97—102. — Teoretická úroveň knihy je velmi slabá. Při stylistickém rozboru se autor dosud plně nezbavil „třídního pohledu" na styl, často se dopouští směšování ideového obsahu, jazyka a stylu. Vcelku je kniha chybně orientována na vyhledávání „specifika" jazyka Černyševského. Rozbor gramatické stavby a slovníku je hodnotnější. — *VB*

Николаев П., *Н. Г. Чернышевский.* Октябрь (1952) № 5, 142—151. — Stať o názorech Černyševského na umělecké mistrovství spisovatele. — *LD*

Dobroljubov

Corbet Charles, *La critique de Dobroljubov: principes esthétiques et réalités sentimentales.* Revue des Études slaves 29 (1952) 34—53. — Úvodem odkazuje na svou stať *Černyševskij esthéticien et critique,* ibidem 24 (1948) 107—128, a dává o ní toto problematické doporučení: « Nous avons notamment montré comment cette esthétique, qui commence par se placer sous les auspices d'une réalité en apparence strictement scientifique, s'en évade presque aussitôt pour lui substituer un „sens vivant" de la réalité, qui n'est pas autre chose au fond que l'ensemble des options politiques et morales de l'ingénieux dialecticien » (34). V této souvislosti neudivuje východisko nové stati: « Nous allons maintenant souligner la réalité du même „salto mortale" dans la pensée de Dobroljubov » (ibidem). Věda tedy byla pro Černyševského podle Corbeta « rien de plus qu'un système de références destiné à fournir des confirmations scientifiques à ses préférences morales et politiques » (35). Totéž platí prý i pro Dobroljubova. « C'est de la même manière qu'un théologien se réfère d'aventure à la science pour donner une apparence de justification scientifique à des croyances toutes mystiques » (ibidem). Vnucuje se otázka, nevyznává-li toto pojetí vědy spíše sám Corbet, který bez váhání nechává stranou veškeré dosavadní výtěžky ruského i zahraničního bádání o daném předmětě a zejména si nedává práci ani s tím, aby these Dobroljubova a jeho druhů uvedl ve vztah k sociálně politickým podmínkám doby, aby hledal společenské podněty k jejich dílu a působení tohoto díla na společnost. Zdá se, jako by mu běželo hlavně o to, aby souborem svých polemisujících postřehů (ve vztahu k samému Dobroljubovovi často bystrých) vrhl určité světlo na celou myslitelskou řadu od Belinského až po Lenina, řadu, kterou takto mimochodem uznává; na tento záměr ukazuje věta navazující na předchozí citát: « Comme pour tous les grands publicistes et agitateurs politiques de son pays, de Belinskij à Lenin inclusivement, la science a été pour Černyševskij une servante complaisante qui ne marchande ni ses services ni ses faveurs » (ibidem). — *SW*

Рейсер С. А., *К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 52—60. — Nové cenné materiály, dokazující, že Dobroljubov pěstoval poměrně rozsáhlé styky s kruhy vytvořivšími pak koncem 50. a počátkem 60. let tajné revoluční sdružení, jehož organisovaného zformování se Dobroljubov již nedožil. — *SW*

Жданов В., *Н. А. Добролюбов.* 1951, Молодая Гвардия, 608 стр. — Рец.: Попов И. П., Сов. книга (1952) № 4, 93—96. — *VO*

Fadejev

Fadejev Aleksandr, *Mladá garda.* — Rec.: *Nové vydání Fadějevova románu Mladá garda.* Praha—Moskva 2 (1952) 123—125. — Výňatek z referátu Pravdy (z 23. XII. 1951) o doplněném a přepracovaném vydání Mladé gardy. Autor odstranil ty nedostatky, které mu vytkla stranická kritika: prohloubil postavy bolševiků, představitelů starší generace, dále uvedl v soulad slova a myšlenky mladých hrdinů s jejich věkem. — *HP*

Барская К., Шпеерсон М.: *Взыскательный художник.* Звезда (1952) № 6, 159—162. — O práci A. Fadejeva na jazyku nové redakce *Mladé gardy.* — *LD*

Голос читателей Краснодона. Лит. газета (1952) № 10. — O zájmu krasnodonských pracujících o nově přepracovanou Fadejevovu *Mladou gardu.* Čtenáři oceňují zvláště správné zobrazení vedoucí úlohy komunistické strany v protifašistickém hnutí mládeže. — *VO*

Jelínek A., *50 let Alexandra Faděјeva.* Rus. jaz. 2 (1952) 100—101. — *LD*

Кузнецов М., *Новое издание «Молодой гвардии».* Новый мир (1952) № 2, 227—239. — O novém přepracovaném vydání Fadejevovy *Mladé gardy.* Hlavní klad: autor více vyzdvihl vedoucí a organisující sílu VKS(b) ve Velké vlastenecké válce. — *LD*

Lányi Sarlota, *Az „Ifjú Gárda" és „Aratás" átdolgozott kiadásairól.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 17, szám 4. — Rozbor přepracovaného vydání Fadejevovy *Mladé gardy* a *Žatvy* G. Nikolajevové, které ve své nynější podobě jasně ukazují na význam konstruktivní kritiky pro práci spisovatele. — *ZH*

Марчевски Марко, *Александър Фадеев. (По случай 50 години от рождението му.)* Славяни София 8 (1952) кн. 1, 30—31. — *SW*

Margolin G., *Jak vedla strana illegální komsomolskou organisaci Mladá garda.* Praha—Moskva 2 (1952) č. 9, 76—84. — *HP*

Обсуждение «Молодой гвардии» А. Фадеева. (В Союзе сов. писателей.) Лит. газета (1952) № 5. — *VO*

Озеров В., *Во славу советского человека.* Знамя (1952) № 1, 156—168. — O Fadejevově významu pro sovětskou literaturu. — *LD*

Трифонова Т., *Новая редакция «Молодой гвардии».* Звезда (1952) № 3, 174—176. — *LD*

Владыкин Г., *«Молодая гвардиа».* Большевик (1952) № 1, 72—80. — Zhodnocení nově přepracované Mladé gardy A. Fadejeva. — *VO*

Зелинский К., *Второе рождение романа «Молодая гвардия».* Октябрь (1952) № 1, 175—185. — O přepracovaném románu A. Fadejeva. — *LD*

Fedin

Тихонов Николай, *О Константине Федине.* Лит. газета (1952) № 14. — K 60. výročí narozenin spisovatele. — *VO*

Garin-Michajlovskij

Воробьева И., *Завидую людям будущего.* Лит. газета (1952) № 22. — K 100. výročí narozenin spisovatele N. G. Garina-Michajlovského. Poukazuje na jeho neprogresivní snahy hájit politickou „neutrálnost", zdůrazňuje však realistické zachycení carské společnosti v dílech *Detstvo Temy, Gimnazisty, Studenty, Inženery.* — *VO*

Gercen

Dunikowski Bolesław, *O naszą i waszą wolność. (Stosunek Gercena do Polski.)* Wiedza i życie 19 (1952) 1096—1111. — *MK*

Grebeníčková R., *Český článek o A. I. Gercenovi.* Praha—Moskva (1952) č. 5, 94—101. — Článek o vlivu ruského realismu v Čechách, zvláště o vlivu Gercenově. Od r. 1859 styky českých radikálů s Gercenem udávají přímo politickou linii skupiny kolem Friče a Sabiny. — *VO*

Grebeníčková Růžena, *Poznámky o vlivu A. I. Gercena v letech 60-tých u nás.* Sov. věda — lit. (1952) 107—109. — *LD*

Иллерицкий В. Е., *Исторические взгляды А. И. Герцена.* Вопр. ист. (1952) № 10, 33—63. — Na základě snesení známého i nového materiálu soudí: historické názory tvořily velmi důležitou součást světového názoru Gercenova. Gercen znamená velký pokrok ve vývoji ruského revolučního myšlení historického. V tradicích

Radiščeva a děkabristů vytvářel teoretické principy chápání historického procesu a samostatně propracovával velké problémy obecné i ruské historie. Ač nedokázal stejně důsledně jako Belinskij, Černyševskij a Dobroljubov analysovat jednotlivé jevy, ztotožňoval se s nimi zásadně v chápání dějin a spolu s nimi zdůrazňoval úlohu lidových mas i jejich tvůrčí činnost. — Materiál a závěry Illerického stati nemění, nýbrž potvrzují nynější sovětské pojetí osobnosti Gercenovy. — *SW*

Козьмин Б. П., *Выступление Герцена против «Современника» в 1859 году*. Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 366—384. — Pojednává o Gercenově článku *Very dangerous!!!* v Kolokolu 44 z 1. VI. 1859, který způsobil v Rusku sensaci a měl příznivý ohlas u liberálů a konservativců. Dosud se mělo za to, že Gercen se ozval buď výhradně, nebo převážně proti některým článkům Dobroljubovovým. Koz'min soudí, že všichni účastníci takových nebo jiných dohadů o dané věci se mýlí, neboť podle něho Gercen měl na mysli celý soubor otázek z činnosti revolučně demokratického Sovremenniku, o kterých měl tehdy odlišný názor. Podle Koz'mina běží zejména o tyto věci: Černyševského odmítavý komentář k slavnostnímu uvítání Poeriovy skupiny neapolských liberálů v Londýně (Černyševskij napsal, že tito lidé si sami zavinili své desetileté věznění, když se v r. 1848 uvolili vytvořiti konstituční vládu a nepočítali s královou odvetou); problém zbytečných lidí (o nich mluvili revoluční demokraté kol Černyševského, kdežto Gercen tehdy ještě jim oponoval, protože skládal naděje ve střední vrstvy šlechty) a j. Mýlil se podle Koz'mina Gercen. — *SW*

Ruští revoluční demokraté a A. I. Gercen. Parolek Radegast, *Revolučně demokratické tradice klasické ruské literatury 19. století*. — Dementjev A. G., *Spisovatel A. I. Gercen* (z knihy Gercen, Povesti i rasskazy). Praha 1952, Svět sovětů, 29 str. — V prvé stati je podána charakteristika tří období ruské pokrokové literatury 19. stol. podle Leninovy periodisace ruských dějin. Společným rysem básníků a spisovatelů všech tří období byla ideovost jejich prací. Byli hlasateli umění pro lid, jeho vysoké ideovosti a společenského významu. — Druhá stať podává rozbor literárního díla Gercenova a hodnotí jeho význam pro ruské revoluční hnutí. Gercen pozvedl vysoko demokratické a realistické tradice v literatuře a tím se stal přímým předchůdcem Černyševského, Saltykova-Ščedrina a jiných revolučních demokratů. — *HP*

Smirnova Z., *Velký ruský revolucionář a myslitel*. Lit. noviny 1 (1952) č. 9, 5. — K 140. výročí narození A. Gercena. — *BB*

Svoboda L., *Před 140 lety se narodil A. I. Gercen*. Sov. věda - filos. 2 (1952) 125—126. — *BB*

Gogol'

100-летие со дня смерти Н. В. Гоголя. Объединенная сессия Отделения литературы и языка и Отделения истории и философии АН СССР. Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 204—213. — *Сессия Ученого совета Института истории искусств*. Там же 213—214. — První z obou zasedání zahájil V. V. Vinogradov. Přednášeli A. M. Jegolin o poměru mezi Gogol'em a osvobozeneckým hnutím, M. P. Alekseјev o světovém významu Gogol'ově, V. V. Vinogradov na thema Gogol'ův jazyk a jeho význam ve vývoji ruského literárního jazyka, M. B. Chrapčenko o Gogol'ově realismu, A. I. Bilec'kyj na thema Gogol' a ukrajinská literatura, S. N. Durylin na thema Gogol' a divadlo (viz tam), N. K. Piksanov o stavu o úkolech bádání o životě a díle Gogol'ově (v jeho přednášce je cenný přehled monografické problematiky, který zpráva dosti podrobně reprodukuje). Na druhém z obou zasedání přednášeli S. N. Durylin na thema Z dějin dramatiky N. V. Gogol'a, A. A. Sidorov na thema

Gogoľ v ruské grafice, Ju. A. Dmitrijev o jeho významu jako „velikého reformátora divadla“, I. V. Tumanina na thema Gogoľ a ruská klasická hudba. — *SW*

Акимов Й., *Журнальные статьи о Гоголе.* Лит. газета (1952) № 27. — Přehled jubilejních statí o Gogoľovi v různých časopisech. — *LD*

Андроников Ираклий, *Одна страница.* Лит. газета (1952) № 28. — O Gogoľově spisovatelském umění. — *VO*

Аникст А., *Гоголь о реализме в драме.* Театр (1952) № 3, 41—52. — Gogoľ jako bojovník za realistické umění (národnost, životnost umění). — *JTJ*

Белкин А. А., *Идеи Белинского и Гоголя.* Вестник моск. унив. (1952) № 2, 21—35. — *LD*

Боголепов П. К., *Язык поэмы Н. В. Гоболя «Мёртвые души».* Москва 1952, Учпедгиз, 142 стр. — S hlediska školské potřeby se zabývá rozborem lexikálních a syntaktických zvláštností Gogoľova jazyka. Podrobněji si všímá i otázky vztahu jazyka a uměleckého obrazu. — *VB*

Богословский Н., *Гоголь — поборник реализма и народности.* Новый мир (1952) № 3, 233—244. — Rozbor názorů Belinského na Gogoľa. Gogoľův realismus pramení z hlubokého studia skutečnosti. Gogoľova lidovost se projevuje v námětech a především v jazyce. — *LD*

Богословский Н., *Великий пример вдохновленного творчества.* Лит. газета (1952) № 26. — Gogoľ vysoce ocenil vliv lidové umělecké tvorby na spisovatele. Realismus jeho tvorby spočívá v plastickém zachycení životní pravdy a v typičnosti charakterů. — *LD*

Бурсов Б., *Белинский о реализме Гоголя.* Звезда (1952) № 3, 122—131. — *LD*

Чукалов С., *Н. В. Гогол и руският език.* Български език 2 (1952) 98—100. — Příklady ilustruje fakt, že také Gogoľovo mistrovství jazyka je jednou z příčin nesmrtelnosti jeho díla. — *FVM*

Чуковский К., *Гоголь и Некрасов.* Знамя (1952) № 2, 157—174. — Stať o vzájemném vztahu Gogoľa a Nekrasova; o Gogoľově působení na skupinu raznočinců. — *LD*

Доланский Юлиус, *Гоголь и чехословацкая культура.* Славяне Москва (1952) № 3, 41—44. — Podává řadu údajů a dokladů o Gogoľově působení na český kulturní vývoj, zejména o počátcích tohoto působení, k němuž docházelo velmi záhy (řada zpráv o Gogoľovi pronikla do českého prostředí ještě za jeho života). — *SW*

Dolanský J., *Jak se v Čechách seznamovali s Gogolem.* Rus. jaz. 2 (1951—52) 196—202. — *LD*

Дубовиков А. Н., *Наследие Гоголя в наши дни.* Лит. в школе (1952) № 1, 14—23. — *VO*

Дурылин С. Н., *Гоголь и театр.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 144—164. — Ukazuje nejprve na rodinnou tradici: příbuzný Vasilij Tans'skyj byl autorem intermedií ukrajinského vertepu, otec V. A. Hohoľ-Jablons'kyj byl lidovým dramatikem. Značný význam připisuje spisovatelovým divadelním zážitkům v útlém mládí. Považuje ho za jednoho z mála tehdejších milovníků dramatiky Puškinovy a správně konstatuje, že realistickou reformou komedie pokračoval v Puškinově reformě tragedie. Uvádí pozoruhodné úsudky Gogoľovy o tehdejším ruském a evropském divadle. Výroky Gogoľovými osvětluje jeho snahu ukazovat soudobou „pravdu“ a její „špatnost“. Zvláštní oddíl věnuje *Revisorovi* a následující pokračování kritického směru, zahájeného tímto dílem. Ve zbytku stati jsou cenné doklady širokého společenského a literárního působení Revisora. Stať byla přednesena na jubilejním zasedání akademie. — *SW*

Дурылин С. Н., *Н. В. Гоголь об искусстве.* Вопр. филос. (1952) № 3, 65—79 — Pokrokovost Gogoľových názorů na umění. — *VO*

Эльсберг Я., *Великие традиции Гоголя и Щедрина.* Лит. газета (1952) № 76. — Hlavní význam Gogoľovy a Ščedrinovy tvorby je v satiře, kterou postrádá současná sovětská literatura. Úkoly sovětské satiry: odhalovat kapitalismus a jeho přežitky v Sovětském svazu, ukazovat nápravu, cestu do budoucnosti (optimismus). — *LD*

Федоров И. В., *Юбилейная литература о Н. В. Гоголе.* Литература в школе (1952) № 6, 60—62. — Stručný bibliografický přehled nové literatury o N. V. Gogoľovi. — *VO*

Фетисов М. И., *Мировое величие Гоголя.* Вестник АН СССР (1952) № 3, 22—33. — Shrnutí referátů o významu N. V. Gogoľa, pronesených na vědeckých zasedáních AN SSSR u příležitosti 100. výročí smrti. — *K*

Филиппов Вл., *«Ревизор» на экране.* Сов. искусство 22 (1952) № 96. — Referát o zfilmovaném představení *Revisora.* — *JTJ*

Franěk Jiří, *O Gogolovi.* Praha 1952, Osvěta, 23 str. — *HP*

Галкина-Федорук Е. М., *О языке ранних произведений Н. В. Гоголя.* Вестник Московского университета. Серия общественных наук. Вып. 2 (1952) № 4, 35—53. — *VB*

German Franciszek, *Stosunek Mikolaja Gogola do polskich zbiorów pieśni ludowych.* Polska sztuka ludowa 6 (1952) 255—256. — Fragment chystané práce *Gogoľ v Polsku.* O Gogoľově zájmu o sborníky písní Zoriana Dołegi Chodakowského a Wacława z Oleska. — *MK*

Гладков Федор, *Бессмертие Гоголя.* Лит. газета (1952) № 28. — Gogoľův život byl bojem dvou protikladů: progresivní cesty vpřed a zpátečnictví, vychovávaného samoděržavím. — *LD*

Gogoľova výstava. Praha—Moskva 4 (1952) 117—118. — Informační zpráva o Gogoľově výstavě, pořádané v Praze k 100. výročí jeho smrti. — *HP*

Голубков В. В., *Художественное мастерство Н. В. Гоголя.* Лит. в школе (1952) № 1, 24—38. — Rozbor Gogoľovy charakteristiky postav, jazyka a komposice se zřetelem ke třem složkám (základní obsah, složené episody a lyrické odbočky) v jeho základních dílech: *Revisor* a *Mrtvé duše.* — *VO*

Gomolicki Leon, *Mikołaj Gogol (w setną rocznicę śmierci).* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 4, 2—10. — *MK*

Гринкова Н. П., *Из наблюдений над языком комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».* Русс. яз. в школе 13 (1952) № 2, 7—17. — O Gogoľově výběru jazykových prostředků k typisaci a individualisaci postav *Revisora,* zvláště pak k vyjádření sociálního prostředí. — *VO*

Hájek Jiří, *Gogol a české divadlo. (Několik poznámek na okraj Gogolova jubilea.)* Divadlo 3 (1952), č. 3, 193—200. — Inscenace *Revisora* na českých jevištích. — *JTJ*

Храпченко М., *Драматургия Гоголя.* Октябрь (1952) № 1, 141—175. — O Gogoľově dramatické tvorbě. Hlavní cíl Gogoľových komedií: vytvořit komedii hluboce realistickou, sociálně motivovanou. Metoda: kritický realismus. Odsuzoval odtrženost divadla 30. let od života. Připojen rozbor některých dramat. — *LD* — Překlad: *Dramatická tvorba N. V. Gogola.* Sov. div. 2 (1952) 121—150. — *JTJ*

Храпченко М. Б., *Мертвые души Н. В. Гоголя.* Москва 1952, АН СССР, 208 стр. — Rec.: Бельчиков Н. Ф., Сов. книга (1952) № 9, 105—108. -- *VO*

Храпченко М. Б., *Образ Чичикова*. Лит. в школе (1952) № 1, 39—47. — O Gogoľově charakteristice Čičikova a způsobu odhalování jeho vlastností. — *VO*

Храпченко М., *Тарас Бульба*. Октябрь (1952) № 3, 107—123. — Rozbor, který si všímá lidovosti a stylistické propracovanosti. — *LD*

Ильинский Игорь, *Драматург — режиссер*. Октябрь (1952) № 3, 141—145. — Národní umělec herec Iľjinskij o herecké a režisérské činnosti Gogoľově. Zdůrazňuje, že Gogoľ dbal vždy na shodu formy a obsahu. — *LD*

Jakubowski Wiktor, *Droga twórcza Mikołaja Gogola*. Życie lit. 2 (1952) nr. 6. — *MK*

Ефимов А. И., *Значение Н. В. Гоголя в истории русского литературного языка*. Рус. яз. в школе 13 (1952) № 1, 1—13. — Gogoľ významně obohatil ruský spisovný jazyk prvky jazyka lidového. Zejména oživil repertoir vyjadřovacích prostředků satiry a humoristické prózy. Bohatě využívá žargonů jako prostředku charakterisačního. — *VB* — Překlad: *Význam N. V. Gogola v dějinách spisovné ruštiny*. Sov. věda — jaz. (1952) č. 3, 152—171. — *LD*

Ермилов В., *Великий русский писатель Н. В. Гоголь*. Лит. газета (1952) № 29. — Projev na zasedání, věnovaném 100. výročí smrti N. V. Gogoľa. — *LD*

Ермилов В., *Тарас Бульба и Петербургские повести Н. В. Гоголя*. Знамя (1952) № 3, 150—175. — Literárněkritický rozbor prosaické tvorby N. V. Gogoľa. — *LD*

Кадлец И., *Гоголь в Чехословакии*. Лит. газета (1952) № 28. — Několik základních údajů. — *MK*

Kadlec J., *Gogoľ v Mariánských Lázních*. Praha—Moskva (1952) č. 4, 101—104. — O Gogoľově pobytu v Mariánských Lázních, který měl vliv na český kulturní život. — *VO*

Каракостов Стефан, *Н. В. Гогол — великият изобличител*. Славяни София 8 (1952) кн 2, 1—4. — *SW*

Kardos László, *Gogol*. Irodalmi Ujság 3 (1952) 5, szám 3. — Přehled Gogoľovy tvorby. — *ZH*

Комиссаржевский В., *Свежими и нынешними очами*... Лит. газета (1952) № 27. — Pojednává o Gogoľovi dramatikovi a režisérovi. — *LD*

Kompanowski Walenty, *Mikołaj Gogol*. Jęz. ros. 5 (1952) nr. 4, 10—15. — *MK*

Kopalko Zbigniew, *Mikołaj Gogol w setną rocznicę śmierci*. Życie słow. 7 (1952) nr. 3, 13—17. — *SW*

Kopecký J., *Gogoľ na našem jevišti*. Lit. noviny 1 (1952) č. 4, 6. — Přehled inscenací Gogoľových her na pražské scéně a o překladech dramat 1848—1948 a nyní. — *BB*

Кружков В., *Великий русский писатель Н. В. Гоголь*. Большевик (1952) № 4, 24—38. — *VO*

Лавров И. И., *Значението на Н. В. Гогол за развитието на руски литературен език*. Език и литература 7 (1952) 263—269. — *FVM*

Lukács György, *Gogol*. Csillag 5 (1952) 396—411. — Rozbor Gogoľova díla na pozadí literárního vývoje v tehdejším Rusku a ohodnocení Gogoľa jako zakladatele ruského kritického realismu. — *ZH*

Марямов А., *„Ревизор" на экране*. Лит. газета (1952) № 147. — Vynikající dílo N. V. Gogoľa Revisor ve filmu. Režiser dovedl zachytit a zachovat gogoľovskou duši a jazyk. — *VO*

Markiewicz Henryk, *Mikołaj Gogol. W setną rocznicę śmierci*. Polonistyka 5 (1952) nr. 3, 8—17. — Informativní stať. — *MK*

Martínek Karel, *Gogolův „Revisor" na ruském jevišti.* Divadlo 3 (1952) č. 3, 206—220. — Shrnutí zachovaného kritického materiálu pro studium Gogoľova „Revisora". — *JTJ*

Maśliński Józef, *O komediach Gogola.* Życie lit. 2 (1952) nr. 5. — *MK*

Мейлах Б., *Мировое значение Гоголя.* Лит. газета (1952) № 12. — Význam Gogoľova díla pro světovou literaturu. — *LD* — Překlad: *Световното значение на Гогол.* Славяни София 8 (1952) кн. 3, 14—18. — *SW*

* Modzelewska Natalia, *Mikołaj Gogol. 1809—1852.* Warszawa 1952. — *MK*

Мышковская Л., *Работа Гоголя над образом и словом.* Октябрь 29 (1952) № 2, 156—173. — Zabývá se otázkou využití jazyka jako prostředku individualisace a typisace v hlavních dílech N. Gogoľa. — *VB*

Н. В. Гогол. (Биографични бележки.) Славяни София 8 (1952) кн. 2, 11—12. — *SW*

Научные мысли, посвященные Гоголю. Лит. газета (1952) № 27. — Referáty na vzpomínkovém zasedání Akademie věd SSSR. Gogoľ jako pokračovatel Puškina. Světový názor a estetické názory ruských revolučních demokratů a Gogoľa do 40. let. Gogoľ — zakladatel kritického realismu. Gogoľův smích. — *VO*

Onufrijev N., *Gogolův realismus.* Praha-Moskva 3 (1952) 61—70. — *HP*

Орлов М., *Проблемы русского языка и стиля в произведении Гоголя.* Полымя Менск (1952) № 3, 145—151. — *VB*

Пенев Пенчо, *Гогол на българска сцена.* Славяни София 8 (1952) кн. 3, 18—20. — Uvádí, že působení Gogoľovo na bulharskou literaturu a zvláště dramatickou tvorbu začíná již za obrození; Karavelov kritisoval Vojnikova ve srovnání právě s Gogoľem, Drumev mu doporučoval Gogoľův příklad zároveň s příkladem Shakespearovým. Silný vliv Gogoľův spatřuje Penev na Vazovových Službogoncích. Poté pojednává o tom, jak se bulharské obecenstvo seznamovalo s Gogoľovou tvorbou. *Revisor* byl inscenován nejprve r. 1889 Vasilem Nalburovem, nato již v Sofii r. 1891 Ivanem Popovem ve Slovanské besedě. — *SW*

Podhorska-Okołów Stefania, *Gogol — twórca „Rewizora".* Teatr Warsz. 7 (1952) nr. 3, 8—9. — O genesi, premiéře a ideologii díla. — *MK*

Покусаев Е. И., *Академическое издание сочинений Н. В. Гоголя.* Сов. книга (1952) № 2, 93—99. — O vydavatelské práci na připravovaném akademickém vydání. (N. V. Gogoľ, *Polnoje sobranije sočinenij,* AN SSSR.) — *VO*

Pollak Seweryn, *Gogol w krytyce polskiej.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 14. — O recepci Gogolovy tvorby v Polsku s četnými bibliografickými údaji překladů. — *MK*

Pomianowski Jerzy, *O Gogolu.* Wiedza i życie 19 (1952) 303—309. — Fragment informativního charakteru z větší práce pro Pamiętnik teatralny. — *MK*

Поспелов Г. Н., *О некоторых особенностях реализма в творчестве Н. В. Гоголя.* Вестник моск. унив. (1952) № 2, 3—20. — K 100. výročí smrti N. V. Gogoľa. — *LD*

Райхин Д. И., *Отражение идейного смысла поэмы Н. В. Гоголя „Мертвые души" в ее языке. (О некоторых особенностях языка „Мертвых душ".)* Лит. в школе (1952) № 2, 18—26. — O lidovosti Gogoľova jazyka a hlavně o jeho charakteristice postav jazykovými prostředky. — *VO*

Ромашов В., *Великий художник русского театра.* Театр (1952) № 3, 3—17. — K stému výročí úmrtí N. V. Gogoľa. — *JTJ*

Сергиевский И., *Не искажать исторической правды!* Лит. газета (1952) № 100. — Literární historikové se nestavějí odpovědně k historické pravdě; lze to pozo-

rovat na monografiích o Gogoľovi, kde se literární historie snaží uhladit hluboké protiklady v ideových názorech Gogoľových. — *LD*

Слонимский А. Л., *Смех Гоголя*. Октябрь (1952) № 3, 125—141. — Rozbor Gogoľových satirických děl. Všímá si prostředků, kterých Gogoľ používá ve své satiře: situace, řeč, vnější charakteristika. — *LD*

Стоянов Людмил, *Гоголь вместе с нами борется за мир*. Славяне Москва (1952) № 3, 38—40. — Soustřeďuje se na ohlas Gogoľův v generaci Botevově a Karavelovově. Uvádí, že na význam tohoto ruského spisovatele pro bulharskou literaturu jako první ukázal ve dvou článcích kritik Nešo Bončev (v orgánu literární společnosti *Periodičesko spisanie* r. 1873). — *SW*

Тарасенков А., *Гоголь и современность*. Новый мир (1952) № 3, 224—232. — *LD*

Taufer Jiří, *Veliký mistr umělecké pravdy*. Nový život (1952) 421—440. — K 100. výročí smrti N. V. Gogoľa. — *VO*

Тихонов Н., *Великий русский художник слова*. Лит. газета (1952) № 28. — K 100. výročí úmrtí Gogoľa. — *LD*

Василев Стефан, *Влияние на Н. В. Гогол у нас*. Славяни София 8 (1952) кн. 2, 5—7. — Konstatuje Gogoľův ohlas jak u inteligence, tak i přímo u některých spisovatelů kritického realismu, na př. u Karavelova, Vazova, Elina Pelina (u něho hlavně v povídkách); upozorňuje, že Vazov popíral, jako by byl Gogoľ ovlivnil jeho velká díla románová. Z her neustále působí na bulharskou společnost *Revisor* a také *Ženitba;* oba kusy se nepřetržitě hrají od 90. let, kdy byly na bulharskou scénu uvedeny po prvé. Gogoľ patří k nejpřekládanějším ruským spisovatelům v Bulharsku; Vasilev vypočítává, že vzniklo osm překladů *Revisora*, šest *Ženitby*, devět *Tarasa Buľby*, čtyři *Mrtvých duší*. *Taras Buľba* byl po prvé přeložen r. 1872, *Revisor* r. 1882. — *SW*

Виноградов В. В., *О языке Гоголя — сатирика*. Лит. газета (1952) № 28. — O slovních hříčkách charakteristických pro lidová ruská přísloví, kterých Gogoľ užil k dosažení satirického účinu svých děl. — *VO* — Překlad: *Jazyk Gogola — satirika*. Sovětská věda-literatura 1 (1952) č. 2, 192—194. — *LD*

Vrba František, *Jubilejní Gogolův rok na našich scénách*. Divadlo 3 (1952), č. 3, 200—206. — České scénické pojetí *Revisora* a *Ženitby*. — *JTJ*

* Wyszomirski Jerzy, *Mikołaj Gogol*. Warszawa 1952. — *MK*

Z Gogolovy korespondence. Sovětské divadlo 2 (1952) 181—195. — Překlad z knihy N. V. Gogoľ, *Izbrannyje staťji i pis'ma*, Sobranije sočinenij v šesti tomach, Moskva 1950. Přeložil, úvod a poznámky napsal Ivan Hollman. — *JTJ*

Заславский Д., *Уничтожающий смех*. Лит. газета (1952) № 28. — O Gogoľově *Revisoru*. — *VO*

Жданов В., *Великий русский писатель-реалист*. Знамя (1952) № 2, 140—156. — O názorech Belinského na Gogoľa. — *LD*

Жданов В., *Революционные демократы в борьбе за Гоголя*. Новый мир (1952) № 3, 245—253. — Rozbor názorů Belinského a Černyševského na Gogoľovu tvorbu. — *LD*

Gončarov

Kopaničák J., *Gončarov — kritik feudalismu*. Rus jaz. 2 (1951—1952) 296 až 298. — *LD*

Gorbačevskij

Пушкарёв Л. Н., *Неизвестные заметки декабриста И. И. Горбачевского.* Вопр. ист. (1952) № 12, 127—129. — Upozorňuje na svou stať *Rukopisnyj fond I. G. Pryžova, sčitavšijsja uterjannym,* Sov. etnogr. (1950) no. 1, 183—187. Pryžov, publicista a historik „lidového bytu", účastník nečajevského kroužku, našel v 70. letech na nucených pracích v Petrovském závodě zbytky veliké knihovny děkabristů, kteří zde také ve vyhnanství pracovali. M. j. opsal rukopisné poznámky Gorbačevského na okraji spisu Gercenova *14 dekabrja i imperator Nikolaj.* Puškarev ukazuje, jak tyto významné poznámky vrhají nové světlo na *Společnost sjednocených Slovanů.* Vedle řady výroků k jednotlivým otázkám zde Gorbačevskij znovu potvrzuje, že myšlenkou Společnosti bylo osvobození všech Slovanů. Závěrem poznamenává Puškarev, že spojení jmen Gorbačevskij-Gercen-Pryžov není náhodné, ale že připomíná Leninovo zjištění tří generací a tří tříd v ruském revolučním vývoji. — *SW*

Gorbatov

Nagy Péter, *A bányа hőseinek nagy regénye.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 4, szám 4. — Rozbor románu Borise Gorbatova *Doněčtí havíři.* — *ZH*

Gor'kij

Raeff Marc, *Georges Samarin et la commune paysanne après 1861.* Revue des Études slaves 29 (1952) 71—81. — Vycházeje z představy, že ruští slavjanofilové byli v podstatě předchůdci buržoasních liberálů na přelomu 19. a 20. století, uvažuje o rozdílech mezi oběma slavjanofilskými generacemi. Má za to, že generace starší kladla hlavní důraz na otázky morální a náboženské, které se pro mladší generaci staly otázkami až druhého řádu; správně naznačuje praktické hospodářsko-politické pohnutky i cíle této generace, jejíž individualismus vidí především v hospodářském principu laissez faire. Jurij Samarin je mu jedním z předáků a do jisté míry i duchovním vůdcem druhé slavjanofilské generace. Po řadě poznámek o činnosti tohoto publicisty a člena komise pro přípravu reformy uzavírá Raeff soudem, že Samarin a jeho druhové svou činností působili k přechodu od starého zemědělství se zbytky obščiny k novému typu liberálně buržoasnímu; jen v tomto smyslu uznává úlohu druhé generace slavjanofilů za významnou. Raeff se opírá o rozsáhlou literaturu, převážně starší. — *SW*

Бучма Амвросий, *Образы, обогащаюущие актера.* Театр (1952) № 6, 32—35. — Herecké studium postav z her Maxima Gor'kého. — *JTJ*

Рюриков Б., *Человек и царство смрада.* Литературная газета (1952), № 25, 2. — Kritika inscenace dramatu *Jegor Bulyčëv* Maxima Gorkého na scéně Vachtangovova divadla. — *VO*

Панков В., *Советская действительность в изображении М. Горького.* Знамя (1952) № 11, 159—175. — O poměru Gor'kého k revoluci a k sovětskému režimu, zejm. v dílech *Dostigajev i drugije, Žizn' Klima Samgina, Po Sojuzu Sovetov.* — *LD*

Волков А., *М. Горький и литературное движение конца 19-го и начала 20-го века.* Москва 1951, Сов. пис., 532 стр. — Рец.: Овчаренко А. И., Сов. книга (1952) № 5, 94—98. — *VO*

Бурсов Б., *„Мать" М. Горького и вопросы социалистического реализма.* — Москва-Ленинград, 1951, Гослитиздат, 168 стр. — Рец.: Мясников А. С., Сов. книга, (1952) № 2, 99—103. — *VO*

Косторский С., *Певец социалистического труда.* Звезда (1952) № 6, 136 až 148. — O tvorbě A. M. Gor'kého. — *LD*

Р у м я н ц е в Ю., *А. М. Горький и прогрессивные писатели Индии.* Знамя (1952) № 3, 176—179. — Článek o vlivu sovětské literatury v Indii. Pro pokrokové indické spisovatele je vzorem M. Gor'kij, jeho humanismus a revolučnost. — *LD*

Б я л и к Б., *Великая школа мастерства.* Октябрь (1952) № 9, 150—173. — O dramatické činnosti M. G o r'k é h o. Na Gor'kého dramatech se ukazuje vzorné využití žánru jak po stránce struktury, tak po stránce jazykové. — *LD*

К р е н д е л ь Н. Р., *Литература о Горьком.* Лит. в школе (1952) № 5, 68—70. — Přehled sovětské literatury o Gor'kém, vydané v letech 1949—1952. — *VO*

B a č e r i k o v I. P., *Maxim Gorkij v boji proti reakci.* Přel. Milada H a u p t o v á, red. spolupráce Bořivoj K ř e m e n á k. Praha 1952, Čs.-sov. inst., 59 str. — Ukazuje G o r' k é h o jako velkého bojovníka za lepší budoucnost všeho lidstva a za trvalý mír mezi národy. Sleduje Gor'kého na jeho cestě po Francii, USA, Italii, Německu a jiných zemích. — *HP*

К а г а н о в с к а я Р. М., *Лингво-стилистические особенности стихотворения А. М. Горького „Песня о соколе".* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 5, 16—25. — Na základě lexikálního a stylistického rozboru první a druhé redakce Gor'kého *Písně o sokolu* ukazuje autorka, jak M. Gor'kij mistrně užíval jazyka jako prostředku pro vyjádření ideje díla. — *VB*

К а р а г а н о в А., *Высокое искусство драмы. (О некоторых особенностях драматургии Горького.)* Театр (1952) № 6, 3—20. — *Měšťáci, Stařík, Jegor Bulyčov, Letní hosté* — uvedeny jako hry s vybranou charakteristikou postav. — *JTJ*

К р ы ж и н с к и й Г., *О драматургии Гоголя.* Театр (1952) № 12, 114—118. — Poznámky ke kapitole o Gogoľovu *Revisoru* v knize V. J e r m i l o v a *N. V. Gogol.* — *JTJ*

M j a s n i k o v A., *A. M. Gorkij a sovětská literatura.* Nový život 11 (1952) 606 až 617. — O poměru Gor'kého k pochybeným tendencím (rappovci, proletkultovci) a k progresivním zdrojům ruské literatury. Vliv Gor'kého na sovětské spisovatele. — *VO*

Н е у м а н В., *Речь персонажей в пьесах Горького.* Театр (1952) № 8, 79—90. — Řeč dramatického díla M. G o r'k é h o jako nositelka charakteristiky postav a ideje hry. — *JTJ*

T a u f e r Jiří, *Mistr sovětské kultury, Maxim Gorkij.* Praha 1952, Čs. spis., 33 str. — Slavnostní projev na večeru, uspořádaném v Brně při příležitosti 15. výročí smrti M. G o r' k é h o. — *HP*

* S i e k i e r s k a Jadwiga, *Maksym Gorki.* Warszawa 1952. — *MK*

Koľcov

K o ľ c o v Aleksej Vasiľjevič, *Písně.* Přel. František H r u b í n. Předml. Julius D o l a n s k ý. Praha 1952, Svoboda, 147 str. — V básních Koľcovových, jak ukazuje Dolanský, se rozehrálo všechno bohatství tisíciletých tradic lidové slovesnosti. Jeho písněmi proklouzly i nejtvrdší žaloby, nenávist a hněv; písněmi voroněžského samouka promluvil v ruské literatuře lid, ne už nevolnická „duše", ale živý ruský člověk z vesnice. — *HP*

A l d a Jan, *Nad knihou písní A. V. Kolcova.* Nový život (1952) 794—795. — O Koľcovovi jako básníku ruského nevolnického lidu. — *VO*

Kurilenkov

Куриленков В. В. Лит. газета (1952) № 58. — Nekrolog žurnalisty, literárního vědce († 11. V. 1952). Nejdůležitější data o jeho životě a práci. — *VO*

Kuz'mičev

Ромашов В., *Открытое письмо драматургу Анатолию Кузьмичеву.* Театр (1952) № 5, 70—78. — Kritika hry Anatolije Petroviče Kuz'mičeva *Plukovník Ivanov.* — *JTJ*

Lomonosov

Соловьев И. И., Ушакова Н. Н.: *Русские ученые 18 и 19 столетий о М. В. Ломоносове.* Вопр. филос. (1952) № 4, 152—169. — Význam M. V. Lomonosova ve vývoji ruské přírodovědy 18. a 19. stol. — *LD*

Majakovskij

Majakovskij Vladimír, *Pro hlas.* (Výbor z veršů.) Překl., předml. a pozn. Jiří Taufer. Praha 1952, Svoboda, 200 str. — Pořadatel a překladatel zahrnul do tohoto výboru známá kratší poemata Majakovského, jednotlivé zpěvy delších básní *(Vojna a svět, Člověk, Revoluce, V. I. Lenin, Správná věc)*, satirické a agitační verše (na příkl. *Bajka o desertérovi).* — *NP*

Февральский А., *Победа драматургии Маяковского. („Баня" Вл. Маяковского в радиоспектакле.)* Театр (1952) № 4, 71—74. — Kladné hodnocení hry a jejího rozhlasového zpracování. — *JTJ*

Яковлевская А. В., *Политический лозунг в стихотворном языке В. В. Маяковского.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 5, 25—28. — Politické heslo u Majakovského má důležitou úlohu. Na několika příkladech autorka ukazuje, jak Majakovskij využíval ve svých verších nejen hotových hesel, nýbrž formuloval v úderná hesla i provolání vedoucích pracovníků strany. Podle politické situace vytvářel někdy hesla sám. — *VB*

Kuczka Péter, *A szovjet korszak legkiválóbb költője.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 3. szám 5. — Výklad díla Majakovského se zvláštním zřetelem k jeho realismu a smyslu formální stránky jeho díla. — *ZH*

Маев С., *Маяковский и советская детская литература.* Звезда (1952) № 5, 144—155. — *LD*

* Молдавский Д., *Маяковский и поэзия народов СССР.* — Rec.: Реформатская Н., Новый мир (1952) № 5, 249—253. — *LD*

Новиков В., *В. В. Маяковский. Критико-биографический очерк.* 1952, Сов. писатель, 256 стр. — Рец.: Перцов В. О., Сов. книга (1952) № 10, 102—104. — *VO*

Тимофеева В., *О языке Маяковского.* Звезда 29 (1952) № 6, 148—159. — Pod vlivem marrovců se v jazyce Majakovského hledal odraz zdánlivé „jazykové revoluce". Proto dosavadní stav bádání o jazyce Majakovského je neuspokojivý. Při rozboru je nutno přihlížet ke spojení Majakovského s tradicí klasického ruského verše a ke spojení s jazykem lidu. Článek je pokusem o rozbor poetického slovníku Majakovského před revolucí i po ní. — *VB*

Перцов В., *О стихе Маяковского.* Лит. газета (1952) № 45. — Rozbor Majakovského stati *Kak delať stichi.* — *VO*

Певзнер А., *В. В. Маяковский.* Лит. в школе (1952) № 6, 63—65. — Stručný bibliografický přehled literatury o V. V. Majakovském. — *VO*

Mamin-Sibirjak

Боголюбов Е., *Выдающийся реалист и демократ.* Новый мир (1952) № 10, 225—246. — Rozbor života a tvorby k 100. výročí narození D. N. Mamina-Sibirjaka. Stálým stykem s lidem získal Sibirjak realistický pohled na skutečnost. — *LD*

Гладков Федор, *Д. Н. Мамин-Сибиряк.* Лит. газета (1952) № 137. — Studie o životě a díle spisovatele. — *LD*

Konvalinka Miloň, *Dílo Mamina-Sibirjaka.* Praha-Moskva 2 (1952) č. 9, 103 až 113. — K 100. výročí narození; s krátkým přehledem českých překladů. — *HP*

Сержантов В., *К столетию со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка.* Лит. газета (1952) № 104. — K 100. výročí narození. Zdůrazněn význam spisovatelova líčení kapitalismu v Rusku. — *LD*

Удинцев Б. Д., *Д. Н. Мамин-Сибиряк. (К 100-летию со дня рождения.)* Лит. в школе (1952) № 6, 67—70. — Život, opisný nástin a charakteristika díla. — *VO*

Удинцев Б., *Талантливый певец Урала.* Октябрь (1952) № 11, 172—179. — Stať o tvůrčí dráze Mamina-Sibirjaka. Autor vyzvedá jeho líčení Uralu a ruské inteligence. — *LD*

Nekrasov

**Некрасовский сборник.* Москва-Ленинград 1951, АН СССР, Инст. русс. лит., 276 стр. — Рец.: Медведева Л. П., Сов. книга (1952) № 7, 94—97. — *VO*

Odojevskij

150 лет со дня рождения А. М. Одоевского. Лит. газета (1952) № 147. — *LD*

Путинцев В. А., *Поэт — декабрист А. И. Одоевский. (К 150-летию со дня рождения.)* Лит. в школе (1952) № 6, 66—67. — *VO*

Ogarev

Огарев Н. П., *Избранные социально-политические и философские произведения.* I. 1952, Госполитиздат, 836 стр. — Рец.: Щипанов И., Большевик (1952) № 12, 66—73. — *VO*

Путинцев В. А., *Выдающийся русский революционный поэт Н. П. Огарев. (К 75-летию со дня смерти.)* Лит. в школе (1952) № 3, 73—74. — Stručně o životě, díle a básnických ideách revolučního demokrata, básníka a publicisty. — *VO*

Ostrovskij

Головашенко Е., *Сила утверждения. Островский на сцене ленинградских театров.* Сов. искусство 22 (1952) № 27. — Význam her Ostrovského s hlediska dnešní doby (jako příklad uvedeny *Bouře* a *Horoucí srdce*). — *JTJ*

Z listów Mikołaja Ostrowskiego. Życie lit. 2 (1952) nr. 24. — Překlad výňatků z korespondence z let 1926—1936. — *MK*

Panajev

Иоффе Ф. М., *Н. Г. Чернышевский об И. И. Панаеве.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 359—365. — Zabývá se I. I. Panajevem, odchovancem Belinského a vedle Nekrasova spoluredaktorem *Sovremennika;* nazývá ho pokrokovým spisovatelem, který byl chápavým pomocníkem revolučních buditelů, ale sám nebyl revolučním demokratem. Vlastní Ioffovy poznámky o zásadních důvodech, pro které Panajev stál na straně Černyševského a jeho druhů, nutí k určité pochybnosti o Ioffově poněkud tvrdém soudu, že to nebyl revoluční demokrat, že tedy sám k průbojné raznočinecké skupině nepatřil; ovšem, snad má Ioffe ve své práci *I. I. Panajev — belletrist 40-ch godov,* Lit. nasledstvo no. 53—54, t. III., 1949, k tomuto mínění lepší důvody. — Ve své stati podává zejm. zprávu o tom, že nekrolog o Panajevovi napsal skutečně Černyševskij, který je označen jako autor na unikátním výtisku samostatného vydání, objeveném Ioffem (jinak

nekrolog vyšel anonymně v Sovremenniku). Stať obsahuje reedici objeveného textu. — *SW*

Polevoj

Masková M., *Boris Polevoj u nás.* Praha-Moskva (1952) č. 10, 77—79. — *VO*

Popovskij

Белявский М. Т., *Николай Поповский.* Вопр. филос. (1952) № 2, 156—167. — Význam N. Popovského — bojovníka za materialistické zásady vědy i kultury, žáka Lomonosovova. — *LD*

Prišvin

Ложенко А., *Путь в „страну света“.* Октябрь (1952) № 6, 188—190. — O uměleckém vývoji spisovatele M. Prišvina, který našel správnou formu vyjádření vztahu člověka a přírody. — *LD*

Puškin

А. С. Пушкин. 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств. Москва-Ленинград, 1951, АН СССР, 380 стр. — Рец.: Фатов Н. Н., Сов. книга (1952) № 7, 97—99. — *VO*

Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год. Москва-Ленинград, 1952, АН СССР, 568 стр. — Рец.: Супоницкая П. А., Сов. книга (1952) № 8, 113—114. — *VO*

Четвертая Всесоюзная пушкинская конференция. Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 564—571. — Zpráva o konferenci, uspořádané Ústavem ruské literatury (Puškinovým domem) v Leningradě 4.—6. VI. 1952 za účasti vědců z mnoha měst. Po zahájení N. P. Bel'čikovem přednášel M. P. Aleksejev na thema *Puškin a ruská věda jeho doby.* Blízký vztah ruské literatury k vědě pokládá za zákonitou zvláštnost ruského buditelství a pro svazek vědy a umění správně vede vývojovou čáru od Lomonosova přes Radiščeva dále k Belinskému, Černyševskému a Dobroljubovovi. B. S. Mejlach proslovil přednášku *Puškinovo estetické novátorství.* Hybnou páku vývoje umění v době Puškinově vidí v mohutném vzestupu ruského národního vědomí po válce r. 1812. Zabývá se vztahem Puškinových estetických názorů k pokrokovým ideám doby. Odmítá právem lacinou možnost rekonstruovat básníkovy estetické názory z pouhých jeho výroků o umění a má za nutné vyvodit je z důkladného prozkoumání jeho uměleckého díla. Považuje Puškina za prvního spisovatele světové literatury 19. století, který nastolil realistické postupy a vytvořil realistická díla. Závěrem kritisuje představu, jako by estetické vědomí Puškinovo vycházelo z německé idealistické estetiky (Schellingovy především). K. P. Lachostskij přednášel velmi zajímavě na thema *O studiu Puškinovy lyriky v 8. třídě střední školy.* Neuspokojuje ho učebnice (Pospelov—Šabliovskij—Zerčaninov) ani učební program. Příčina sníženého zájmu žáků o poesii tkví podle něho v nesprávné metodě vyučování literatuře na střední škole. Je třeba učit lásce k veršům, dovést využít emocionálnosti lyriky jako příkladu vysoké myšlenky, vysokých citů, ukázat její hluboký vztah k hudbě, vložit do vědomí žáků váhu slova a obrazu lyrického díla. Při výkladu přikládá velký význam užití t. zv. podtextů. Shledává dvě možnosti výkladu lyriky v 8. třídě: 1. podle převažujících motivů, 2. chronologicky spolu se životopisem básníka (sám je pro tuto možnost); podle mého mínění není ani jedna z těchto cest s hlediska metodiky vyučování správná sama o sobě: poetické výtvory by se měly utřiďovat podle příbuznosti svých specifických rysů a zároveň spojovat jak s životem, tak s prostředím básníkovým. F. Ja. Prijma přednášel na thema *Puškin a Oleninův kroužek.* Ukázal

na dokladech, že Olenin byl původně dost blízký pokrokovému smýšlení Puškinovu, že však po krvavém děkabru se mu postupně vzdálil, a že také t. zv. neúspěšné námluvy Puškinovy o jeho dceru r. 1828 nutno přičíst na vrub politické roztržky, která mezi oběma muži tehdy nastala. Totéž thema osvětlila pak T. G. Cjavlovskaja materiálem z deníku A. A. Oleninové. — Otázky práva v tvorbě Puškinově probral N. N. Kalačevskij; potvrdil Puškinovy demokratické představy o právu a zákonnosti. — B. V. Tomaševskij v přednášce *Puškin a ruské divadlo jeho doby* podal zejména obraz tehdejšího divadelního života, jak referát stručně naznačuje. — G. F. Bogač v referátu *Moldavské tradice v Puškinových zápisech* pojednal na základě nepřímých zpráv o dvou ztracených jeho novelách, nazvaných *Duka, moldavská pověst XVII století* a *Dafna a Dabiža, moldavská pověst z r. 1663.* — T. G. Cjavlovskaja v referátu *Zapomenuté vzpomínky o Puškinovi* zabývala se posmrtnou vzpomínkou z pařížského časopisu *Temps.* — O historických názorech Puškinových promluvil Je. V. Tarle. Uvedl, že Puškin žil v „kojeneckém" období ruské historické vědy; ze svých předků vyzvedl ty, kteří bojovali proti carům, Napoleona ostře soudil jako lyceista, později uznával jeho služby pokroku; byl zřejmě talentovaným historikem. — Na thema *Mozart a Salieri* hovořil I. F. Belza; ukázal, že Puškin ztvárnil historicky správně příběh otrávení Mozarta. — *SW*

Добровольский Л. М., Лавров В. М.: *Библиография пушкинской библиографии. 1846—1950.* Москва—Ленинград 1951, АН СССР, 68 стр. — Рец.: Богалевская К. П. Сов. книга (1952) № 1, 116—117. — *VO*

Добровольский Л. М., Мордовченко Н. И.: *Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1918—1936.* Москва—Ленинград 1952, АН СССР, 284 стр. — Рец.: Могилянский А. П., Советская книга (1952) № 8, 111—113. — *VO*

Ходакова Е. П., Пчелкина В. В.: *Обсуждение первого тома словаря языка Пушкина.* Русс. яз. в школе (1952) № 3, 85—86. — Zpráva ze zasedání sekce ruského jazyka vědecké rady Ústavu jazykovědy Akademie věd SSSR, kde byl kladně zhodnocen 1. svazek Slovníku Puškinova jazyka. — *VO* — Viz také „jazyk ruský — jazyk uměleckých děl". — *SW*

Еремин А., *Пушкин в Нижегородском крае.* Горький 1951, Обл. издат., 276 стр. — Рец.: Краснов Г. В., Сов. книга (1952) № 9, 108—111. — *VO*

Puškin o divadle. 1. Náčrtky předmluvy k „Borisi Godunovu". 2. O národním dramatu a dramatu „Marfa Posadnica". Sov. div. 2 (1952) 64—73. — Překlad stati *Nabroski predislovija k „Borisu Godunovu" — „O narodnoj drame i drame „Marfa Posadnica"* z vyd. Puškin, *Sočinenija.* — Puškinovy úvody a náčrtky k výše uvedeným dramatům. — *JTJ*

Radiščev

Радищев А. Н., *Избранные сочинения.* Москва 1952, Гослитиздат, 712 стр. — Рец.: Козьмин М. Б., Сов. книга (1952) № 11, 106—110. — *VO*

Абрамович И. М., *Наблюдения над языком А. Н. Радищева.* Русс. яз. в школе 13 (1952) № 4, 1—10. — Vedle knižního stylu se v Radiščevově díle hojně uplatňuje živý ruský jazyk lidový, mnohdy s dialektickými prvky. Od současné spisovné ruštiny se Radiščevův jazyk liší hlavně v lexiku, méně ve skladbě. Církevněslovanských prvků Radiščev užívá hlavně v úvahách, v lyrických vsuvkách a jako prostředku satiry. — *VB*

Благой Д., *Великий русский писатель-революционер. (К 150-летию со дня*

смерти А. Н. Радищева.) Славяне Москва (1952) № 9, 54—58. — Předkládá souhrn názorů, které vyslovil již zejména v knize *Istorija russkoj literatury XVIII veka.* — *SW*

Баранская Н. В., *«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и устное народное творчество 18 века.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 411—420. — *VO*

Gomolicki Leon, *Aleksander Radiszczew. W 150 rocznicę śmierci.* Życie lit. 2 (1952) nr. 21. — *MK*

Еленский С. Ф., *Реализм Радищева.* Лит. в школе (1952) № 4, 11—20. — O názorech buržoasních literárních vědců na Radiščeva jako na představitele sentimentalismu a bojovníka za buržoasně demokratické svobody. Sovětská literární věda v něm vidí mluvčího nevolnických mas a bojovníka proti carismu. — *VO*

Кружков В., *А. Н. Радищев — великий патриот и революционер.* Большевик (1952) № 18, 70—80. — *VO*

Макогоненко Г. П., *А. Н. Радищев и русская общественная мысль 18 века.* Вестник АН СССР (1952) № 9, 63—79. — *K*

Макогоненко Г., *Великий подвиг.* Лит. газета (1952) № 115. — Jubilejní stať k 150. výročí smrti A. N. Radiščeva. — *MK*

Piasecki Jan, *„Buntownik gorszy od Pugaczowa".* Życie słow. 7 (1952) nr. 10, 17—20. — Článek, nadepsaný výrokem carevniným, je věnován stopadesátému výročí smrti Radiščevovy. Autor upozorňuje na nový hodnotný polský překlad *Putování z Petrohradu do Moskvy* (přel. Seweryn Pollak). — *SW*

Пиксанов Н., *Великий мыслитель и гражданин.* Звезда (1952) № 9, 155—163. — O životě a díle A. N. Radiščeva. — *LD*

Произведения А. Н. Радищева в Польше, Болгарии и Чехословакии. Славяне Москва (1952) № 11, 63. — Poznámka o překladech a monografiích na výstavě Všesvazové stát. knihovny cizí literatury. — *SW*

Svoboda J., *150 let od smrti A. N. Radiščeva.* Lit. noviny 1 (1952) č. 33, 4. — Vzpomínka na velkého spisovatele a jeho boj za pokrok. — *BB*

*Шмаков А., *Радищев в Сибири.* — Рец.: Архипов В., Лит. газета (1952) № 115. — *M*

Вайншенкер П. Л., *О недавно обнаруженном первопечатном экземпляре «Путешествия из Петербурга в Москву».* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) № 5, 421—427. — Historie originálu knihy Radiščevovy. — *VO*

Василев Кънчо, *А. Н. Радишчев — велик руски революционер.* Славяне София 8 (1952) кн. 9, 17—20. — Po všeobecném výkladu o osobnosti Radiščevově praví. že jeho odkaz zapůsobil na bulharské osvobozenecké hnutí přes ruské revoluční demokraty; konkretní doklady nepřináší. — *SW*

Saltykov-Ščedrin

Diener Péter, *Az Igazság harca a Disznó ellen.* Irodalomtörténet (1952) 556—565. — Rozbor dvou děl Saltykova-Ščedrina, a to *Dějin jednoho města* a *Ze zahraničí.* V úvodu obecná charakteristika Saltykova-Ščedrina jako revolučního demokrata. — *ZH*

Горчакина М. С., *М. Е. Салтыков-Щедрин. Пособие для учителей средней школы.* Москва 1952, Учпедгиз, 200 стр. — Рец.: Бушмин А. С., Сов. книга (1952) № 8, 91—97. — *VO*

Lukácsy Sándor, *Jegyzetek Szaltikov-Scsedrinről.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 2. szám 6. — Šest poznámek k dílům Saltykova-Ščedrina, která vyšla v Maďarsku od osvobození *(Dějiny jednoho města, Golovlevské panstvo, Ze zahraničí, Pohádky).* — *ZH*

Макашин С., *Салтыков-Щедрин. Биография.* Москва 1951, Гослитиздат, 588 стр. — Рец.: Покусаев Е. И., Сов. книга (1952) № 1, 94—98. — *VO*

Serapion

Гудзий Н. К., *Где и когда протекала литературная деятельность Серапиона Владимирского?* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 450—456. — Řadí spisy Serapionovy do literatury Vladimirsko-Suzdalské Rusi. — *VO*

Simonov

Залесский В., *Тема борьбы за мир в советской драматургии.* Новый мир (1952) № 11, 216—229. — Thematika boje za mír v sovětské dramatice, zejména v Simonovově hře *Russkij vopros.* — *LD*

Spiridonov

Пиксанов Н., *Василий Спиридонович Спиридонов.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 562—563. — Nekrolog o V. S. Spiridonovovi (1878—1952), profesoru ruské literatury, doktoru filologických věd a členu vědecké rady Ústavu ruské literatury. Spiridonov se zabýval zejména dějinami ruské kritiky a žurnalistiky, literaturou 19. století (hlavně Belinským a Tolstým). — *SW*

Spirov

Спиров М. П. Лит. газета (1952) № 155. — Nekrolog sovětského básníka Michaila Pavloviče Spirova. — *VO*

Surov

Träger J., *Nová setkání.* Lit. noviny 1 (1952) č. 6, 5. — O Surovově hře *Zelená ulice* v inscenaci Nár. divadla v Praze. — *BB*

Šolochov

Немчинова О. И., *Некоторые особенности языка романа М. А. Шолохова «Поднятая целина».* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 6, 21—27. — Zabývá se rozborem Šolochovova slovníku v románu *Podnjataja celina.* Šolochov vedle lexika hovorového jazyka, lexika knižního a církevněslovanského užívá i dialektismů a archaismů, a to především jako prostředku charakterisačního. Autor se soustřeďuje na stručný rozbor jazyka jednotlivých postav románu. — *VB*

Żurawski Jerzy, *Realizm socjalistyczny w twórczości M. Szołochowa.* Jęz. ros. 5 (1952) nr. 3, 11—19. — *MK*

Tolstoj A. N.

Щербина В., *А. Н. Толстой — критико-биографический очерк.* Москва 1951, Госполитиздат, 168 стр. — Рец.: Петров С. М., Сов. книга (1952) № 1, 85—88. — *VO*

Tolstoj L. N.

Gomolicki Leon, *Lew Tołstoj — dramaturg.* Teatr 7 (1952) nr. 19, 16—17. — *MK*

*Karst Roman, *Lew Tołstoj.* Warszawa 1952. — *MK*

Karst Roman, *Powrót arcydzieła.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 37. — Nad překladem Tolstého *Anny Kareninové.* — *MK*

Шифман А. И., *Лев Толстой о колониальном разбое.* Изв. АН СССР ОЛиЯ 11 (1952) 509—526. — Vyjímá z Tolstého díla a posuzuje jeho názory na koloniální politiku. Tyto názory svědčí o vášnivé nevoli spisovatelově proti útlaku. — *SW*

Trenëv

Götz F., *Jeden z vrcholů.* Lit. noviny 1 (1952) č. 45, 5. — O provedení a významu inscenace Trenevovy hry *Ljubov Jarovaja.* — *BB*

Uspenskij

Пруцков Н. И., *Глеб Успенский — обличитель капитализма и буржуазной демократии.* Лит. в школе (1952) № 2, 27—35. — Charakteristické rysy tvorby G. Uspenského: realismu, sepětí se současným děním ve společnosti, láska k pracujícímu lidu, odhalování dravé podstaty kapitalismu. — *VO*

Višnevskij

Писатель — боец. Лит. газета (1952) № 27. — O Vsevolodu Višnevském. — *VO*

Вершигора П., *Всеволод Вишневский.* Новый мир (1952) № 8, 224—258. — Rozbor života a díla sovětského dramatika. — *LD*

Žukovskij

Благой Д., *В. А. Жуковский.* Лит. газета (1952) № 50. — Hodnotí dílo Žukovského, který přenesl do poesie lidovou pohádkovou fantastiku, vytvořil vysoce umělecké překlady a užil hudebního verše. Jeho poesie však nemá prvků politického protestu. — *LD*

Фохт И. Р., *В. А. Жуковский. (К 100-летию со дня смерти.)* Лит. в школе (1952) № 2, 10—17. — O charakteristických rysech poesie Žukovského. Je to láska k člověku a odmítání současných společenských poměrů, jež ho však vedly k pesimismu, sentimentalitě, pocit bezmocnosti ho dovedl do sféry osobních zážitků, idealistického snění a pasivity. — *VO*

Literatura běloruská

Generalia

Александровская Л., *Театр, рожденный Октябрем.* Театр (1952) № 10, 63—67. — Z běloruského divadla. — *JTJ*

Каравутенко И., *Полнее и ярче отображать жизнь! (Пленум правления ССП Белоруссии.)* Лит. газета (1952) № 39. — Zpráva o zasedání předsednictva Svazu sovětských spisovatelů Běloruské republiky. V referátech poukázáno na nedostatek nových dramatických děl, na příliš úzkou thematickou oblast, na nutnost zvýšit ideovou úroveň děl. Konstatováno zlepšení v propracovávání uměleckého jazyka u prozaiků. — *LD*

Kolas

Кулетов А., *Народный поэт.* Лит. газета (1952) № 138. — Studie k sedmdesátinám Jakuba Kolasa. — *VO*

Фигловская Л. И., *Якуб Колас. (К 70-летию со дня рождения.)* Лит. в школе (1952) № 5, 15—24. — Charakteristika a význam jeho díla. — *VO*

Линьков Михась, *Творчество, отданное народу.* (К семидесятилетию народного поэта Белоруссии Якуба Коласа.) Славяне Москва (1952) № 11, 44—47. — *SW*

Kupala

Бровка Петрусь, *Народный поэт Белоруссии. (К 70-летию со дня рождения Янки Купалы.)* Славяне Москва (1952) № 7, 51—55. — *SW*

Кузнецов Вл., *Народный поэт Белоруссии.* Лит. газета (1952) № 81. — Článek k 70. výročí narození běloruského básníka Janky Kupaly. Kladné rysy jeho tvorby: lidovost, demokratismus, národní svéráznost, nenávist k imperialismu. — *VO*

Jaworski K. A., *Janka Kupała. (W 10-lecie śmierci poety).* Życie słow. 7 (1952) nr. 8, 23—26. — Uvádí, že běloruský národní básník Kupala, vl. Ivan Lučevič, měl úzké vztahy k Polsku, znal a cenil polskou literaturu. V útlém mládí byl ve styku s liberálním polským zemanem Czechowiczem, účastníkem listopadového povstání; v jeho knihovně poznal díla předních spisovatelů polských i ruských. Nejvíce ho zaujali spisovatelé zobrazující těžký úděl lidu: Nekrasov, Koľcov, Syrokomla a Konopnicka. Jaworski lituje, že tento básník je v Polsku málo znám; má za to, že přišel čas změnit tento stav. — *SW*

Залесская Л., *Основные мотивы лирики Янки Купали.* Лит. в школе (1952) № 4, 69—71. — O thematice lidového odboje proti útisku, narůstání revoluce, přátelství národů, budování komunismu pod vedením Stalinovým v Kupalově díle. — *VO*

Literatura ukrajinská

Generalia

Бугайко Г. Ф., Бугайко Ф. Ф.: *Украинская литература послевоенных лет.* Лит. в школе (1952) № 5, 58—63. — Stručný přehled a charakteristika poválečné ukrajinské literatury. — *VO*

Kisielew J., *Teatralne życie Ukrainy.* Życie słow. 7 (1952) nr. 6—7, 34—35. — Stručně informuje o ukrajinském divadle a o jeho repertoáru. Dnes je na Ukrajině devadesát stálých divadel. — *SW*

Михайлова Л., *По страницам «Советской Украины».* Новый мир (1952) № 11, 230—235. — Posudek o literárně uměleckém a společensko-politickém měsíčníku *Советская Украина.* Časopis mladý, jeho úroveň stoupá. — *LD*

Шумский Э., *Мой учитель.* Театр (1952) № 10, 68—74. — K 35. výročí sovětského ukrajinského divadla. — *JTJ*

*Шутой В., *Народна війна на Україні проти шведских загарбників у 1708—1709 рр.* Київ 1951, Держ. вид. пол. літ., 237 стор. — Rec.: Бескровный Л. Г., Вопр. ист. (1952) № 5, 117—119. — Spis bude nutnou pomůckou pro studium vzniku ukrajinského národa i jeho literatury. Recense oceňuje spis v zásadě příznivě. — *SW*

Burjakovs'kyj

Fürnbergová L., *Julius Fučík v berlínském divadle.* Lit. noviny 1 (1952) č. 3, 6. — O inscenaci Burjakovs'kého hry o Juliu Fučíkovi v Deutsches Theater v Berlíně. — *BB*

Спектакль о бессмертии непобедимых. Беседа с лауреатом Сталинской премии народным артистом УССР А. И. Аркадьевым — исполнителем роли Юлиуса Фучика в Одесском драматическом театре Советской Армии. Славяне Москва (1952) № 5, 55. — Rozhovor u příležitosti oděské inscenace Burjakovs'kého hry o Fučíkovi. — *SW*

Halan

Елкин А., *Ярослав Галан.* Звезда (1952) № 7, 163—172. — O díle významného ukrajinského spisovatele (50. narozeniny). — *LD*

Hrabovs'kyj

Памяти поэта — революционера. Лит. газета (1952) № 149. — K 50. výročí smrti ukrajinského básníka-revolucionáře P. A. Hrabovs'kého. — *VO*

Sobko

Горбунова Е., *Заранее обдуманное намерение.* Театр (1952) № 12, 85—93. — Recense nové hry Vadyma Sobka *Štěstí Trofima Korčaka.* — *JTJ*

Ševčenko

Музей Т. Шевченко в Канаде. Славяне Москва (1952) № 7, 62—63. — Zpráva o tom, že nedaleko Toronta se otvírá museum o životě a díle Tarasa Ševčenka. Museum leží v parku, nedaleko básníkova pomníku, který byl nedávno odhalen za účasti 45.000 lidí. Zpráva je dokladem životnosti slovanského živlu v Kanadě. — *SW*

*Weir John, *Bard of Ukraine. An Introduction of Life and Works of Taras Shevchenko.* Toronto s. a., Nac. Jub. Committee of the Association of United Ukrainian Canadians, s. p. — Rec.: Самарин Р. *(Правдивая книга о великом Кобзаре),* Славяне Москва (1952) № 12, 54—55. — Nová monografie objektivně vystihuje význam Ševčenkův v boji proti samoděržaví a za práva Ukrajinců. — *SW*

Literatura polská v SSSR

Matuszewski Ryszard, *Trylogia Wasilewskiej.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 20. — O románech *Płomień na bagnach, Gwiazdy w jeziorze, Rzeki płoną.* — *MK*

Wasilewski Zbigniew, *O powieściach Wandy Wasilewskiej.* Życie lit. 2 (1952) nr. 3, 7, 10. — *MK*

Wasilewski Zbigniew, *Pieśń nad wodami. O powieściach Wandy Wasilewskiej.* Życie lit. 2 (1952) nr. 3, 7 a 10. — Rozbor a hodnocení románů W. Wasilewské. — *MK*

Literatura polská

Generalia

Biegański Piotr, *O powstaniu Teatru Wielkiego w Warszawie.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 161—173. — *MK* — Záznamy o polském dramatě a divadle viz zde i v násl. oddílech; zájem polské vědy o dějiny národního dramatu a divadla stoupá, jak patrno i ze zachycených prací. — *SW*

*Borowy Wacław, *Studia i rozprawy.* Tom 1. Przygotowali do druku Tadeusz Mikulski, Samuel Sandler i Jerzy Ziomek. Wrocław 1952. — Posmrtné vydání prací významného polského literárního historika. — *MK*

**Хрестоматия по польской литературе XIX—XX веков.* I. Москва 1952, Гиз. лит. на иностр. яз., 520 стр. На польском языке. — *SW*

Witkiewicz Jan Koszczyc, *Projekt odbudowy Teatru Wielkiego w Warszawie.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 174—179. — *MK*

Wojeński Teofil, *Marksistowskie literaturoznawstwo w Polsce.* Wiedza i życie 19 (1952) 272—276. — V podstatě stručné zhodnocení práce Stefana Żółkiewského a sborníku *Pozytywizm I, II.* Autor vytýká, že ve sborníku nebyla dostatečně zdůrazněna společensky progresivní úloha positivistické ideologie. — *MK*

Szwankowski Eugeniusz, *Teatr warszawski XVIII i XIX wieku na tle przemian gospodarczo-społecznych.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 77—123. — M. j. kapitoly: *Teatr saski — Przemiany Warszawy wieku Oświecenia — Wzrost ludnościowej bazy teatralnej — Ugruntowanie się teatru polskiego — Wojenne lata Księstwa Warszawskiego — Teatr Warszawy paskiewiczowskiej — Życie teatralne okresu późno-kapitalistycznego i imperializmu — Powodzenie opery i operetki — Teatr letni — Teatry ogródkowe — Przebudowa dawnych gmachów teatralnych — Nowe teatry — Teatry ludowe — Teatry prywatne.* — *MK*

S z y f m a n Arnold, *Scena i widownia Teatru Wielkiego w Warszawie*. Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 180—188. — *MK*

Ústní slovesnost

S a d o w n i k W., *Pieśni ludowe z obszaru wideł Wisły i Sanu (powiaty: kolbuszewski, łańcucki, niski, rzeszowski, tarnobrzeski i pobrzeże)*. Polska sztuka ludowa 6 (1952) 227—251. — Analysa písňových textů. Písně ukazují funkci folkloru na venkově a jeho souvislost s prací obyvatelstva. Autor si všímá rovněž znaků stylistických a teritoriálních rozdílů. — *MK*

Literatura starší — generalia

B u d z y k Kazimierz, *Kultura polska w epoce renesansu*. Polonistyka 5 (1952) nr. 4, 4—24. — Kritika dosavadních názorů, charakteristika vůdčích postav a děl, pokus o synthesu. — *MK*

B u d z y k Kazimierz, *O syntezę polskiego Renesansu. Artykuł dyskusyjny*. Pam. lit. 43 (1952) 1—51. — Historie vidí v renesanci zdroj příčin úpadku polského státu. Pro kulturního historika je renesance naopak nejpokrokovějším obdobím staropolské kultury. Rozdílnost názorů vyplývá z toho, že materiál historikův je neúplný, omezuje se na projevy vládnoucí třídy, kdežto literární historik má po ruce materiál, svědčící jak o růstu třídního uvědomění utiskovaných, tak o vzniku národních prvků kultury. Polská renesance má dvě progresivní vývojové linie: linie ideologická vede od Jana z L u d z i s k a k literatuře sowizdrzałské 1. pol. 17. stol., linie umělecká, literární a jazyková vede od literárních památek 2. pol. 15. stol. a od Biernata z L u b l i n a přes K o c h a n o w s k é h o a S z y m o n o w i c e k realistické literatuře polských spisovatelů plebejských z 1. pol. 17. stol. Literární projevy charakterisuje rozvoj realismu. Pro kladné hodnocení polské renesance mluví rovněž literatura měšťanská. Hodnocení se má opírat o vzájemně se doplňující materiál historický, literárně historický a uměleckohistorický. — *MK*

B u d z y k Kazimierz, *O teatrze staropolskim*. Pam. teatr. (1952) zesz. 4, 54—72. — *MK*

C i r l i ć Bronisław, *Próba nowego spojrzenia na „Pamiętniki Janczara"*. Pam. lit. 43 (1952) 140—170. — Po rekapitulaci dosavadního bádání otázka autora a jazyka originálu a pokus o lokalisaci díla na základě analysy historického kontextu. Dílo bylo napsáno v Uhrách Srbem a srbsky. O poměrech v Čechách a v Polsku není autor Pamiętniků informován. Z Uher přešlo dílo do Čech, odtud do Polska a z Polska opět do Čech. V Srbsku se objevuje až koncem 19. stol. Autorem překladu z češtiny byl Čech. — *MK*

K a w e c k a - G r y c z o w a Alodia, *Fragmenta*. Pam. lit. 43 (1952) 970—991. — Stati: *Z biblioteki Biernata — Hieronimus Mazza — Stacje*. — *MK*

G a n s i n i e c Ryszard, *„Tragedia Petri Comitis"*. Pam. lit. 43 (1952) 52—139. — O anonymní památce *Chronica Petri comitis Poloniae* (asi z r. 1510). Jednotlivé kapitoly: *Kronika hrabiego Piotra — Carmen Mauri a Tragedia Petri Comitis — Rekonstrukcja Tragedii Piotra — Wiersz Tragedii Piotra — Czas powstania Tragedii Piotra — Literacki charakter Tragedii Piotra*. — Připojen text originálu a překlad. — *MK*

K o n a r s k i Kazimierz, *Teatr warszawski w dobie saskiej*. Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 15—36. — O podmínkách divadelnictví. Divadlo nemá ještě význam sociální, šíří však pochopení svého významu a vychovává mecenáše. Připojeny přílohy. — *MK*

Krzyżanowski Julian, *Dramaturgia Polski renesansowej.* Pam. teatr. (1952) zesz. 4, 7—52. — Historický přehled. — *MK*

*Kuchowicz Zbigniew, *Echa konfliktów szlachecko-magnackich w literaturze drugiej połowy XVII w.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Lewański Julian, *Do dziejów teatru wieku szesnastego.* Pam. lit. 43 (1952) 502—528. — Na příkladech demonstruje postuláty historické teatrologie. Zjišťuje, že náboženské drama 16. stol. ani kvantitativně, ani thematicky nepřevládalo nad thematem světským. Náboženské drama zůstávalo v rukách světských, přes duchovní příslušnost autorů. V redakci textů není patrna snaha o prohloubení dogmatické thematiky, cizí jsou rovněž konflikty konfesijní. Představení rozšiřují zvukové scény, kratochvilné přídavky a stávají se stále lidovější. Tento stav je patrný zvláště v 2. pol. 17. stol. — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

*Nadolski Bronisław, *Dokoła prac przekładowych w XVI wieku.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Nowak-Dłużewski Juliusz, *Ze staropolskiej poezji politycznej.* Pam. lit. 43 (1952) 548—561. — Stati: *Z poezji rokoszu Zebrzydowskiego — Epigramaty Stanisława Konarskiego.* Připojeny edice textů. — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Nuckowski Tadeusz, *Widowiska wielkanocne w dawnej Polsce.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 16. — Všeobecně o významnějších polských velikonočních hrách. — *MK*

*Vrtel-Wierczyński Stefan, *Średniowieczna poezja polska świecka.* Wyd. 3. rozszerzone i zmienione. Wrocław 1952, Bibl. narod. ser. 1, nr. 60. — *MK*

Literatura starší — literatura mieszczańska

Backvis Claude, *Histoire véridique de la piteuse aventure du duc Jean de Finlande et de la princesse Catherine.* Revue des Études slaves 29 (1952) 16—33. — Má na mysli anonymní text *Historya prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia Finlandzkiego Jana i królowy Katarzyny,* vytištěný r. 1570, reed. Alexander Kraushar 1892. Na tento výtvor upozornil Julian Krzyżanowski, *Romans pseudohystoryczny w Polsce wieku XVI,* Kraków 1926, 155—162. Autor nepovažuje za účelné hledat předlohy či podněty v humanistické a renesanční literatuře italské jako spíše v písemnictví domácím a — podle toho, co jmenuje — také zdomácnělém. Spojení mezi bratrem švédského krále Erika, Janem, brzy odpraveným, a jagelovskou princeznou, dcerou Zykmunda-Augusta, spojení, z něhož vyšel příští Zykmund III., ukazuje již samo na výrazně politický ráz památky. Autor ukazuje dále na řadu otázek velmocenské politiky, které se zde promítají: diplomatický a vojenský zápas s Ruskem Ivana Hrozného, protireformační úsilí jesuitské a náboženská problematika Švédska atd. Autor také dílko připisuje aktivitě církevní a uzavírá: «un sérieux et savant et sévère dignitaire de l'Église qui, avec des précautions infinies, lance un opuscule distrayant et aparrement naïf pour servir une politique secrète, à objectifs lointains et, peut-on dire, de proportions mondiales. Le spectacle est piquant, si piquant qu'il est bien digne du XVIe siècle» (33). — *SW*

Badecki Karol, *Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVI—XVII wieku. (Część druga.)* Pam. lit. 43 (1952) 992—1023. — Analysa a ustálení (v přetisku) textu dvou fragmentů: *„Senatulus to jest sjem niewieści" z r. 1543 we fragmencie Biblioteki Publicznej w Warszawie — Adama Władysławiusza »Frąc« we fragmencie Biblioteki Publicznej w Warszawie.* — *MK*

B a r y c z Henryk, *Miscellanea z dziejów piśmiennictwa polskiego XVI—XVII wieku.* Pam. lit. 43 (1952) 536—547. — Kapitoly: *Kłopoty Jakuba Wujka z powodu Mikołaja Reja — Kilka kart z historii sporów autorskich z drukarzami (1615—1619) — Autobiografia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego.* — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

B u d z y k Kazimierz, *Czas powstania nie dochowanego pierwodruku „Komedii rybałtowskiej nowej“.* Pam. lit. 43 (1952) 1024—1028. — *MK*

B u d z y k Kazimierz, *Chronologia drugiej serii kleszych wypraw na wojnę.* Pam. lit. 43 (1952) 1029—1035. — *MK*

B u d z y k Kazimierz, *Komedia sowizdrzałska.* Pam. lit. 43 (1952) 814—866. — Problematika z historické poetiky; otázka scéničnosti sowizdrzałské komedie s hlediska poměru hlavního textu k textu vedlejšímu, s hlediska souhlasu fabule s možnostmi její realisace na scéně, s hlediska důslednosti při představování místa a času v souvislosti s danou situací. Dále otázka recepce a přetváření tradic na sowizdrzałské scéně. — *MK*

E u s t a c h i e w i c z Lesław, *„Boleslaus furens“. Nieznany dramat łaciński z XVI wieku.* Pam. lit. 43 (1952) 529—535. — Rukopis dramatu z knihovny v Kórniku je v polské literatuře nejstarším dramatem o Boleslavu Smělém a jeho boji se sv. Stanislavem (konec 16. stol.). — *MK*

K o t a r s k a Anna, *Pieśni o Lisowczykach.* Pam. lit. 43 (1952) 1036—1039. — *MK*

*K r z y ż a n o w s k i Julian, *Korpus literatury „mieszczańskiej“ wieku XVII.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

W i t c z a k Tadeusz, *Gdańska „Tragedia o bogaczu i Łazarzu“. W rękopisie z r. 1643.* Pam. lit. 43 (1952) 574—595. — Zjišťuje, že tragedie má především hodnotu kulturně historickou, jež převažuje nad hodnotou uměleckou. — *MK*

W i t k o w s k i Michał, *Losy druków sowizdrzałskich.* Pam. lit. 43 (1952) 596—598. — *MK*

Literatura 18. století

*B o b i ń s k a Celina, *Szkice o ideologach polskiego Oświecenia. Kołłątaj i Staszic.* Wrocław 1952, Inst. badań lit. — *MK*

K o t t Jan, *Warszawa w nieznanych wierszach polskiego Oświecenia.* Twórczość 8 (1952) nr. 12, 121—134. — *MK*

K r ó l Barbara, *Teatr w starej pomarańczarni w Łazienkach.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 124—135. — *MK*

M a r k o w s k i Mieczysław, *Bogusławski — twórca Teatru Narodowego.* Życie słow. 7 (1952) nr. 1, 20—23. — V hutné zkratce připomíná plodnou činnost „otce polského divadla“. B o g u s ł a w s k é h o hry a inscenace vyvolávaly odpor zpátečníků, vychovávaly další divadelní generace a plnily jeho představu, že divadlo je škola mravů a tribuna národních idejí. — *SW*

P i g o ń Stanisław, *Z dziejów dawnego teatru szkolnego.* Pam. lit. 43 (1952) 287 až 311. — O školském divadle piaristů v 18. stol. a o zásluhách a překladech Piotra K r a s u s k é h o. — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

P i s z c z k o w s k i Mieczysław, *Kwestia chłopska i chłopi w teatrze polskiego Oświecenia.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 37—62. — Osvícenské divadlo uvádí na scénu „selskou otázku“, nikoliv již jen episodicky, jako v intermediích, avšak ještě nikoliv jako tragedii. — *MK*

S t a r z y ń s k i Juliusz, *O rewolucyjnym pojmowaniu epoki Odrodzenia.* Pam. teatr. (1952) zesz. 4, 3—6. — Úvodní článek sešitu, věnovaného renesanci. — *MK*

Suchodolski Bogdan, *Filozofia polska w dobie rozkladu feudalizmu.* Myśl filoz. (1952) nr. 1, 147—182. — O filosofii osvícenské až do listopadového povstání. — *MK*

Wierzbicka Karyna, *Z dziejów aktorstwa w czasach stanisławowskich.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 136—140. — *MK*

*Wierzbicka Karyna, *Źródła do historii teatru warszawskiego od roku 1762 do 1833. Część I. Czasy Stanisławowskie.* Wrocław 1951, Wyd. Zakł. nar. im. Ossolińskich, VIII + 201 str. — Ref.: Natanson Wojciech, *Książka o teatrze Oświecenia,* Teatr 7 (1952) nr. 8, 19. — *MK*

Woydyłło Marian, *Żywe tradycje narodu. (Na marginesie wystawy „Wiek Oświecenia w Polsce".)* Życie słow. 7 (1952) nr. 4, 29—32. — Podává zprávu o výstavě v Národním museu ve Varšavě. Výstava přinesla zejména výrazné doklady z vývoje literárního. Ukázala nejprve poměry hospodářské, poté v 26 sálech ilustrovala rozvoj školství, vědy, publicistiky, literatury, divadla a hudby. Výstava zdůraznila vliv vlasteneckých publicistů na utváření veřejného mínění v zemi. Přinesla cenné dokumenty k Staszicovi, Kołłatajovi, Jezierskému, Bogusławskému, Niemcewiczovi atd. Představila také působení pokrokového myšlení polského na jiné země, na Maďarsko, Rusko, Ukrajinu. — *SW*

Literatura 19. st. a počátku 20. st.

Beylin Karolina, *Teatr Narodowy w raportach Mackrotta z lat 1819—1821.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 141—160. — *MK*

Grzybowska Krystyna, *Teatr krakowski przed półwiekim.* Życie lit. 2 (1952) nr. 13. — *MK* — Srov. zde stať Trzcińského. — *SW*

Historia polskiej postępowej myśli społecznej i filozoficznej XIX w. (do r. 1864). Myśl filoz. (1952) nr. 1, 91—146. — Návrh kapitoly z *Dějin filosofie,* připravovaných Ústavem pro filosofii AN SSSR. M. j. stati *Literatura romantyczna w walce o postęp — Polska myśl spoleczno-polityczna w okresie powstania styczniowego.* — *MK*

Jakubowski Jan Zygmunt, *Z zagadnień literatury polskiej epoki imperializmu.* Przegl. nauk hist. i społ. 1 (1950) 161—177. Łódź 1951. — Obsahuje stati: *Stan badań nad literaturą epoki imperializmu — Odwrót literatury mieszczańskiej od realizmu — Naturalizm.* Stav bádání nedovoluje sice prozatím uspokojivou synthesu období, je však třeba synthesy pracovní. Autor zdůrazňuje požadavek interpretovat literární programy tohoto období s hlediska jejich ekonomicko-sociální podmíněnosti. Termín *literatura epochy imperialismu a proletářské revoluce* (od konce století do první světové války) vystihuje hlavní konflikt období, konflikt buržoasie a proletariátu, který se odrazil ve dvou literárních proudech: v literatuře měšťanské, souvisící s ideologií ohrožené třídy, a literatuře protiburžoasní, spjaté s ideologií revolučního proletariátu. Literární směry měšťanské se odklánějí — až na několik výjimek, na př. Żeromski — od realismu. Tendence naturalistické nutno chápat jako umělecký výraz změn měšťanské ideologie v době počínajícího imperialismu. „Naturalizm ... nie jest jakąś nieokreśloną przesadą w literaturze, nie reprezentuje wyolbrzymionej wiary w naukę, nie jest dalszym ciągiem realizmu, lecz stanowi początek antyrealistycznych tendencji literatury epoki imperializmu, otwiera drzwi symbolizmowi, psychologizmowi i ekspresjonizmowi." — *MK*

*Kowalska Aniela, *Zapomniana satyra polityczna i społeczna czasów Królestwa Kongresowego. Momus i Potpourri Alojzego Żółkowskiego z lat 1820—1821.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Magnuszewski Józef, *Dwa poznańskie czasopisma słowianofilskie: „Lech" i „Przegląd Słowiański".* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 189—210. — Historie dvou

poznaňských časopisů, vydávaných a redigovaných J. Chociszewským; autor rozbírá jejich ideologii a určuje míru české orientace a spolupráce v celkovém slovanském zaměření. — *MK*

Sivert Tadeusz, *Problematyka społeczna w dramacie mieszczańskim pozytywizmu warszawskiego.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 220—253. — Kapitoly: *„Wyższe sfery" na cenzurowanym — Febris aurea — Sprawa niemiecka — Apoteoza mieszczaństwa — W rajską dziedzinę ułudy.* — *MK*

Trzciński Teofil, *Na marginesie dziejów teatru w Krakowie.* Wiedza i życie 19 (1952) 511—517. — Episody z historie divadla; též o repertoáru, o ředitelích Stan. Koźmianovi a Tad. Pawlikowském. — *MK*

Trzciński Teofil, *Teatr krakowski przed półwiekiem.* Życie lit. 2 (1952) nr. 17. — Doplňku a korektury stati K. Grzybowské (viz zde). — *MK*

Wojeński Teofil, *Postępowe tradycje publicystyki polskiej na przełomie XIX i XX wieku.* Wiedza i życie 19 (1952) 622—627. — Stručně o názorech L. Krzywického, W. Nałkowského, Stan. Krusińského a Bron. Białobłockého. — *MK*

Literatura nová

Древковский Г., *Заметки о польской литературе.* Лит. газета (1952) № 3. — Přehled nové polské literatury. — *VO*

Kamieńska Anna, *Ludowe w dziesiejszej poezji.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 37. — *MK*

Markowski Mieczysław, *Obraz zwycięskich przemian sceny amatorskiej.* Życie słow. 7 (1952) nr. 6—7, 30—33. — Informace o růstu polského ochotnického divadla, které se těší podpoře úřadů a zájmu veřejnosti. — *SW*

Nadzin Stanisław, *Pamiętajmy o tradycjach polskiego teatru.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 10. — Otázka navazování na pokrokové tradice polského divadla, dosud jen deklarativně traktovaná. — *MK*

Pański Jerzy, *Najpilniejsze zadania naszych scen.* Skrót referatu wygłoszonego na Zjeździe teatralnym w dniu 24 lutego 1952. Teatr 7 (1952) nr. 4, 4—7. — Obsahuje m. j. kapitoly: *Schematyzm — Odwrót od problematyki aktualnej — Repertuar polskiej klasyki — O prawdziwy obraz świata w realizacji scenicznej.* — *MK*

Sebők Éva, *Jegyzetek a mai lengyel irodalomról.* Csillag 5 (1952) 103—107. — Přehled nejnovější polské literatury. — *ZH*

Соколовски В., *Културна революция в Полша.* Славяни София 8 (1952) кн. 7, 17—20. — Upozorňuje na některé nové skutečnosti polského kulturního vývoje. Zejména uvádí zajímavá čísla o rozšíření literárních děl nových i klasických jako doklad o zlidovění kultury v Polsku. — *SW*

Sokorski Włodzimierz, *Osiągnięcia i trudności współczesnej dramaturgii.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 26. — Polská dramatika je obohacena vznikem her se současnou politickou thematikou. V boji o tento nový druh se však přes úspěchy nepodařilo rozřešit otázku strany a jejích příslušníků, v jejichž postavách se projevuje ideová bezradnost. Některé práce trpí přílišnou schematičností konfliktu. — *MK*

Varia

Butryńczuk Bogdan, *Repertuar — treść teatru.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 10. — O repertoárové politice. — *MK*

Grycz Józef, *Klejnoty i ciekawostki Biblioteki Narodowej w Warszawie.* Wiedza

i życie 19 (1952) 217—221. — Informuje o nejvýznamnějších rukopisných památkách. — *MK*

Schiller Leon, *Pro domo nostra.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 330—358. — O některých základních otázkách polské teatrologie, především o repertoáru (poměr k polské romantické dramatice, k cizí literatuře klasické a soudobé a poměr k vlastní, nejnovější produkci), o novátorství. — *MK*

* Wąsowicz-Dunin Krzysztof, *Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji.* Wrocław 1952, Inst. badań lit., Studia historycznoliterackie t. 15. — *MK*

Asnyk

Mikulski Tadeusz, *„Sukienkę miała w paseczki“.* Teatr 7 (1952) nr. 17, 12—13 — Historie vzniku básně Adama Asnyka. — *MK*

Piasecki J., *Adam Asnyk — poeta myśli.* Życie słow. 7 (1952) nr. 8, 15—19. — Hodnotí polského básníka, zesnulého před pětapadesáti lety, jako pokrokového představitele polské měšťanské demokracie, který ovšem spolu s ní podléhal váhání rozkládající se třídy. Jeho zásluhu vidí ve schopnosti překračovat třídní hranice, v jeho porozumění pro boj slovanských národů za nezávislost a za společnou konečnou akci proti germánskému náporu. Zdůrazňuje, že Asnyk nejednou vyslovoval vřelé sympatie pro osvobozenecký boj jižních a západních Slovanů, že měl živé styky na př. s Vrchlickým a Kvapilem. Připomíná takové Asnykovy práce jako *W albumie dla Zagrzebian* nebo *J. Kollarowi.* — *SW*

Berent

Kolbuszewski Stanisław, *O „Fachowcu“ Berenta.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 48. — Svým prvním románem uzavřel Berent jednu etapu kritického realismu polské literatury a zároveň signalisoval počátek období novoromantismu. — *MK*

Berwiński

Janion Maria, *Ryszard Berwiński — poeta rewolucji.* Życie lit. 2 (1952) nr. 15. — O Berwińském jako polském revolučním demokratovi. — *MK*

Bogusławski

Mańkowski Mieczysław, *Bogusławski — twórca teatru narodowego.* Życie słow. 7 (1952) nr. 1, 20—23. — O pokrokovosti her W. Bogusławského. — *MK*

Borkowski

* Walicka Krystyna, *Józef Dunin Borkowski i jego poetycka twórczość. (Wobec nowego wydania A. Ważyka.)* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — O díle zapomenutého romantika, oživeném novým vydáním. — *MK*

Dąbrowska

Bahr Janina, *O epice Marii Dąbrowskiej.* Życie lit. 2 (1952) nr. 25. — *MK*

Korzeniewska Ewa, *Z zagadnień realizmu „Nocy i dni“ Dąbrowskiej.* Pam. lit. 43 (1952) 894—916. — *MK*

Dembowski

* Siekierski Stanisław, Rymkiewicz Alina: *Edward Dembowski jako teoretyk, historyk i krytyk literacki.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Długosz

B a r y c z Henryk, *Dwie syntezy dziejów narodowych przed sądem potomności. Losy „Historii" Jana Długosza i Marcina Kromera w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.* Pam. lit. 43 (1952) 194—251. — Historie poměru polské společnosti v 16. a 1. pol. 17. stol. k dílu J. D ł u g o s z e *Historii polskiej ksiąg dwanaście* a M. K r o m e r a *Polska czyli o pochodzeniu i dziejach Polaków ksiąg trzydzieści.* Motiv Długoszovy práce byl naukový i výchovný. Ideologická orientace díla se opírá o názory Zb. Oleśnického, usilujícího o oligarchickou monarchii a o podřízení státních a společenských zájmů duchovní hierarchii. Tento program byl však již anachronismem; odtud neúspěch Długoszovy synthesy, k němuž přispívala i nedostatečná forma díla. Po půl století vzniká o dílo opět zájem, je společensky omezený a trvá do 60. let 16. stol., kdy je nahrazen zájmem o renesanční koncepci Kromerovu. Historie Kromerova byla do jisté míry naplněním společenské objednávky a měla polooficiální počátek. Koncepce odmítala separatismus jak provinční, tak stavovský a podpírala stání zájmy. Zájem o dílo byl provázen výtkou protišlechtického postoje autorova, když však dílo přestalo být šlechtickým zájmům nebezpečné, ovládá čtenářský trh. O kritikách jednotlivých vydání. O recepci díla pro účely školské. Po třiceti letech (od konce 16. stol.) ztrácí dílo na popularitě; cítí se potřeba jiného pojetí a je stále patrnější kompilativní charakter práce. Koncem 16. stol. objevuje se znovu historie Długoszova, zastiňuje Kromera a stává se majetkem širších kruhů. Po r. 1650 ztrácí i ona životnost a stává se pouze historickým pramenem. — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Dygasiński

J a k u b o w s k i Jan Zygmunt, *Adolf Dygasiński. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci.* Polonistyka 5 (1952) nr. 3, 18—29. — Stav bádání, biografie, charakteristika jednotlivých děl. Realistická tvorba Dygasińského je z velké části živá a není doceněna. — *MK*

Gałczyński

Dyskusja o poezji K. I. Gałczyńskiego. Nowa kultura 3 (1952) nr. 3. — Fragmenty diskuse. — *MK*

Gerson

R y s z k i e w i c z Andrzej, *Zainteresowania teatralne Wojciecha Gersona.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 274—285. — *MK*

Chodźko

* F r y d r y c h s Anna, *Nieznany wiersz Ignacego Chodźki.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Jasiński

* K e l e r a Józef, *Poezja Jakuba Jasińskiego. Zarys monograficzny.* Wrocław 1952, Inst. badań lit., Studia historycznoliterackie t. 11. — *MK*

Jezierski

* J e z i e r s k i Franciszek Salezy, *Wybór pism.* Oprac. Zdzisław S k w a r c z y ń s k i. Wstęp. Jerzy Z i o m e k. Warszawa 1952. — Obsahuje nejvýznamnější publicistické práce Jezierského z období čtyřletého sněmu. — *MK*

Jeż

K o ź n i e w s k i Kazimierz, *Teodor Tomasz Jeż.* Wiedza i życie 19 (1952) 32—41. — Ježovo dílo má hodnotu dokumentární a uměleckou. Nejvíce z Poláků se zajímal o život lidu na Balkáně a v Uhrách. — *MK*

Jurkowski

S a j k o w s k i Alojzy, *Uwagi nad Janem Jurkowskim.* Pam. lit. 43 (1952) 562 až 567. — *MK*

* S a j k o w s k i Alojzy, *Uwagi nad Janem Jurkowskim.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Kitowicz

P o l l a k Roman, *Kitowicziana.* Pam. lit. 43 (1952) 610—616. — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — Týká se spisovatele memoárů v 18. století. — *MK*

Z a j ą c z k o w s k i Andrzej, *O pochodzeniu Kitowicza.* Pam. lit. 43 (1952) 1040 až 1045. — *MK*

Kniaźnin

P i s z c z k o w s k i Mieczysław, *Wodewile Kniaźnina.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 63—76. — Kniaźninovy vesnické vaudevilly tvoří významnou a zajímavou etapu mezi pokrokovými a reformátorskými, avšak umělecky primitivními vaudevilly Bohomolcovými a mezi demokratickou a umělecky znamenitou tvorbou Bogusławského. Kniaźninovy hry prolamují svět salonů a uvádějí na scénu lidovou thematiku. — *MK*

Kochanowski Jan

D o b r o w o l s k i Stanisław R., *Rzecz Czarnoleska.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 25. — O poesii Jana K o c h a n o w s k é h o. — *MK*

L a m Andrzej, *Na szczytach polskiej poezji renesansowej.* Życie lit. 2 (1952) nr. 14. — O poesii Jana K o c h a n o w s k é h o. — *MK*

* S z c z a k o w s k i Zygmunt, *Z dziejów fraszki przed J. Kochanowskim. (Próba ukazania twórczości Piotra Rojzjusza na tle epoki.)* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

W r ó b e l Anna, *Kochanowski a literatura niemiecka.* Pam. lit. 43 (1952) 488—501. — Résumé doktorské práce. Překlady a recepce díla ve Slezsku a v Prusku. Připojena *Bibliografia przekładów Kochanowskiego na język niemiecki i literatury krytycznej* (1642—1937). — Separát: Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Z i o m e k Jerzy, *„Treny" Jana Kochanowskiego.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 3, 51—63. — „Treny jako historia ludzkiego cierpienia zrodziły się z humanistycznej pasji poznania człowieka, jego życia wewnętrznego. W tym dążeniu jest to utwór jak najbardziej świecki. W środkach wyrazu konkretyzujących przeżycia bohatera — jak najbardziej ludowy. Część filozoficzna Trenów, z natury rzeczy najbardziej wystawiona na niebezpieczeństwo agresywnej myśli katolickiej, pozostała dokumentem uporczywego poszukiwania świeckiego uzasadnienia sensu życia, dokumentem obrony świeckiej myśli przed natrętnie podsuwaną łatwizną religijnej pociechy". — *MK*

Kochanowski Piotr

P o l l a k Roman, *Nad palimpsestem tekstu „Gofreda".* Pam. lit. 43 (1952) 568 až 573. — O podmínkách vzniku překladu Gofreda Piotra K o c h a n o w s k é h o. — *MK*

Kołłątaj

* O p a ł e k Kazimierz, *Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo.* Warszawa 1952. — *MK*

Konarski

A. Z., *O właściwą miarę dla Konarskiego. Na marginesie książki J. Nowak—Dłużewskiego.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 5. — Autor přiznává dílu Konarského velký význam, upozorňuje na některé nedostatky, odmítá však označení geniality. — *MK*

Konopnicka

* Czapczyński Tadeusz, *„Świt" pod redakcją Marii Konopnickiej. Materiały do twórczości.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Křemenák B., *Nad živým odkazem Marie Konopnické.* Lit. noviny 1 (1952) č. 24, 4. — K 110. výročí narození. — *BB*

Piasecki Jan, *Poetka ludu i pracy.* Życie słow. 7 (1952) nr. 6—7, 23—26. — Vzpomínka na Marii Konopnickou. — *SW*

Korczyński

Pollak Roman, *Notatki na marginesie utworów A. Korczyńskiego.* Pam. lit. 43 (1952) 599—603. — S edicí frašek. — *MK*

Kraszewski

* Hahn Wiktor, *Przyczynki do bibliografii J. I. Kraszewskiego. Przekłady duńskie i szwedzkie.* Warszawa 1952, Biul. Inst. bibliogr. t. 3, nr. 6. — *MK*

Miedziński Florian, *Zemsta prymasa na J. J. Kraszewskim.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 50. — O poměru Kraszewského k politice Vatikánu. — *MK*

Świerzewski Stefan, *Nieznane listy Stanisława Moniuszki do Józefa Kraszewskiego.* Nowa kultura 3 (1952) nr. 24. — *MK*

Krasicki

Ender Janina, *Krasicki o edukacji niewieściej.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 31. — *MK*

Gawałkiewicz Jan, *Badania nad Krasickim, 1945—1951.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 224—238. — Poválečná literatura o Krasickém. — *MK*

Gawałkiewicz Jan, *Krasicki w czasopiśmie „Co tydzień".* Pam. lit. 43 (1952) 867—893. — Redaktorství Krasického svědčí o úpadku jeho talentu a zpátečnictví poslední fáze jeho ideologického vývoje. Připojen obsah časopisu. — *MK*

Goliński Zbigniew, *Krasicki w pamiętnikach Lehndorfa.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 37—49. — *MK*

Górski Karol, *Ignacy Krasicki jako biskup warmiński.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 21—36. — *MK*

Gostyński Tadeusz, *Krasicki w Rumunii.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 219 až 220. — O překladech. — *MK*

Horodyski Bogdan, *Teka dubiecka. Nieco o listach Ignacego Krasickiego.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 197—205. — O rodinné korespondenci. — *MK*

Kaleta Roman, *„Poselstwo do Rzymu".* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 50—74. — Autorem básně Poselstwo do Rzymu není Krasicki, jak se soudilo. Jde o jeden z anonymních výtvorů antitargovické poesie. — *MK*

Klimowicz Mieczysław, *Krasicki wobec reformy Akademii Krakowskiej.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 153—160. — Edice dopisu Krasického, zesměšňujícího boj scholastické krakovské akademie proti reformě. — *MK*

Kubikowski Zbigniew, *Godebski o Krasickim.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 194—196. — *MK*

Łanowski Jerzy, *X. A. G. na cenzurowanym. („List" Grodka do Krasickiego i marginalia.)* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 182—193. — *MK*

M i k u l s k i Tadeusz, *Adresaci „Listów" Krasickiego.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 161—177. — Týká se adresátů dvou letákových dopisů z r. 1780. Edice. — *MK*

* M i k u l s k i Tadeusz, *Gość w Heilsbergu.* Wrocław 1952. Odb. Zeszyty wrocł. nr. 1. — Ign. Krasicki. — *MK*

M i k u l s k i Tadeusz, *Jerzy Gustaw Fülleborn. Zapomniany tłumacz Krasickiego.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 206—218. — *MK*

P o l l a k Roman, *Antecedencje „Monachomachii".* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 143—152. — Edice tří básní s protiklerikální tendencí. — *MK*

R e y c h m a n Jan, *Rzekome przekłady Krasickiego na arabski i ich autor.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 221—223. — *MK*

S o b o l Roman, *Ignacy Krasicki w walce o język narodowy.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 75—108. — *MK*

Lelewel

* H l e b - K o s z a ń s k a Helena, K o t w i c z ó w n a Maria: *Bibliografia utworów Joachima Lelewela.* Wrocław 1952. Inst. badań lit., Prace bibliograficzne 1. — *MK*

Lenartowicz

K o l b u s z e w s k i Stanisław, *Nieznany poemat Teofila Lenartowicza.* Pam. lit. 43 (1952) 1121—1136. — Edice textu básně *Wspomnienie.* — *MK*

Libelt

M o r a w s k i Stefan, *Aktor — „talent reprodukujący".* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 189—199. — Srovnání názorů na herce K. Libelta a Diderota. — *MK*

Liebert

* L i c h n i a k Zygmunt, *Poeta konsekwencji. Rzecz o Jerzym Liebercie.* Warszawa 1952. — Výklad o polském lyrikovi z období mezi světovými válkami. — *MK, SW*

Łoziński

* T a b o r s k i Roman, *Dwie pierwsze powieści Walerego Łozińskiego.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Maliszewski

M a ś l i ń s k i Józef, *Poemat sceniczny o Janie Kochanowskim.* Teatr Warsz. 7 (1952) nr. 18, 10—11. — O hře A. M a l i s z e w s k é h o *Droga do Czarnolasu* a o jejím provedení ve Varšavě. — *MK*

Miarka

S z e w c z y k Wilhelm, *O Miarce.* Śląsk lit. 1 (1952) nr. 1—2, 74—84. — O činnosti slezského buditele Karola M i a r k i. — *MK*

Mickiewicz

* М и ц к е в и ч Адам, *Собрание сочинений в пяти томах.* Перевод с польского. III. Москва 1952, Гихл, 316 стр. — *SW*

B a l a j k a Bohuš, *Mickiewicz w Rosji.* Zwrot 4 (1952) nr. 12, 2—3. — Beletristicko-biografický fragment z chystané práce o Mickiewiczovi. — *MK*

B a r t o š Otakar, *Mickiewicz v SSSR.* Sov. věda-lit. 1 (1952) č. 1, 109—110. — Poznámka o šíření Mickiewiczova díla v překladech do jazyků SSSR. — *LD*

B i e ń k o w s k i Zbigniew, *Nad brulionem Sonetów Krymskich.* Twórczość 8 (1952) nr. 1, 93—100. — Koncepty *Krymských sonetů* jsou důkazem M i c k i e w i c z o v a úsilí o reálnost obrazů. Autor soudí, že změny v textu mají ideologický a noetický základ. — *MK*

Mańczakowa Barbara, *Mickiewicz w literaturze bułgarskiej.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 17. — O pronikání Mickiewiczova díla do Bulharska, o historii překladů a především o významu Mickiewiczova díla pro tvorbu P. Slavejkova *(Krvavá píseň).* — *MK*

* Osmańczyk Edmund Jan, *Siedem gawęd. O dwóch światach, dwóch epokach, dwóch Mickiewiczach i jednej miłości.* Warszawa 1952, PIW. — O přijetí Mickiewicze v polské společnosti. — *MK*

Pigoń Stanisław, *Rym Mickiewicza.* Jęz. pol. 32 (1952) 24—28. — O významech slova *rým* u Mickiewicze. — *MK*

* Podhorski-Okołów Leonard, *Realia mickiewiczowskie.* Warszawa 1952. — *MK*

Skulski Ryszard, *Studia szkolne Adama Mickiewicza. (Część I.)* — Życie i myśl 3 (1952) 287—316. — *MK*

Żółkiewski Stefan, *Konrad Wallenrod.* Polonistyka 5 (1952) nr. 2, 23—35. — Rozbor díla. Autor zjišťuje souvislost s děkabristy, analysuje hrdinovu ideologii a soudí, že *Wallenrod* znamená přiblížení k realismu. Nová forma Wallenroda (powieść poetycka; oproti *Grażyně,* která má ještě rysy tradičního klasického poematu hrdinského) je výrazem tendencí demokratisujících poesií. Přiblížení k poetice prózy umožňuje realistické prostředky. — *MK*

Żółkiewski Stefan, *O sonetach Mickiewicza.* Twórczość 8 (1952) nr. 8, 122—135. — Fragment větší práce. V *Krymských sonetech* je problém poměru člověka a světa, Mickiewicz jej však ještě nevyřešil jasně a pokrokově; k tomu dochází až v *Konrádu Wallenrodovi.* — *MK*

Żółkiewski Stefan, *Uwagi polemisty o „Panu Tadeuszu“.* Polonistyka 5 (1952) nr. 5, 4—16. — Fragment z knihy „Spór o Mickiewicza“. O ideologii a realismu díla. — *MK*

Modrzewski

Kurdybacha Łukasz, *Dzieło Frycza Modrzewskiego.* Życie lit. 2 (1952) nr. 16. — Charakteristika života a díla. — *MK*

Mężyński Kazimierz, *A. Frycza Modrzewskiego „De republica emendanda“ a cenzura kościelna.* Pam. lit. 43 (1952) 171—193. — O postoji katolické a kalvínské censury v Krakově a v Basileji. V souvislosti s tím též o Fryczových stycích s volnomyšlenkářem Oporynem, vědcem a tiskařem v Basileji. — *MK*

Peretiatkowicz Antoni, *Doktryna pokojowa Andrzeja Frycza Modrzewskiego.* Życie i myśl 3 (1952) 55—63. — Rozbor názorů Modrzewského na válku a vedení války, obsažených ve III. knize díla *De emendanda republica.* Jeho „mírová doktrina“ byla pokroková a vyhovovala politice střední šlechty, k níž Modrzewski patřil. — *MK*

*Voisé Waldemar, *O ideologii społeczno-ustrojowej Andrzeja Frycza Modrzewskiego.* Poznań 1952. Odb. Czasop. prawno-hist., t. 4. — *MK*

Morstin

Morstin Ludwig Hieronim, *Jak pisałem sztukę o Mikołaju Reju.* Teatr Warsz. 7 (1952) nr. 6, 8—9. — O pojetí hry Polacy nie gęsi. — *MK*

Naruszewicz

Konopczyński Władysław, *Pociecha w historii. Nieznany list Adama Naruszewicza.* Pam. lit. 43 (1952) 1046—1048. — Edice dopisu žmudžskému starostovi J. M. Chodkiewiczovi. — *MK*

Newerly

N o f e r Alina, *O „Pamiątce z Celulozy“ i innych powieściach Igora Newerlego.* Polonistyka 5 (1952) nr. 5, 47—51. — *MK*

N e w e r l y Igor, *Pamiątka z Celulozy.* — Rec.: K o t t Jan, *Wielka powieść Igora Newerly.* Życie lit. 2 (1952) nr. 16. — Rozbor a kladné hodnocení. — *MK*

Niemcewicz

W i t k o w s k i Michał, *J. U. Niemcewicz i Aniela Węgorzewska. 6 nieznanych listów poety z lat 1818—1820.* Pam. lit. 43 (1952) 1049—1059. — *MK*

Norwid

B o r o w y Wacław, *Spory o Norwida.* Życie i myśl 3 (1952) 246—253. — O N o r w i d o v ě poměru k soudobé společnosti a o jeho poesii. Přednáška. — *MK*

G ó r s k i Jan, *Norwid. (Szkic.)* Życie i myśl 3 (1952) 254—286. — Obsahuje kapitoly: *Ecce Homo — Klasa — Burżua — Mity — Technika.* S hlediska třídní příslušnosti spojuje se v základních rysech Norwidova díla šlechtictví s měšťanskou kulturou Západu. Norwidův poměr k buržoasii byl však zároveň záporný pro její ziskuchtivost a profesionalismus. Ze soudobých polských básníků Norwid nejlépe tušil rozklad měšťanské kultury. Z rozporu s přítomností vyrůstají Norwidovy mythy: „Pozbawiony oparcia o własne społeczeństwo, ulokowany poza polem działania grawitacji ku wyraźnie określonemu środowisku, organicznie niezdolny do stopienia się z obcą zbiorowością, Norwid wypełniał powstałą stąd lukę — tworzeniem mitów. ... mit norwidowski aprobował odległą przeszłość i daleką przyszłość. Teraźniejszość odtrącał.“ Odtud vyplývá i Norwidova technika: „Skłonność do zastrzeżeń, powątpiewań, nakładania tłumików, zawzięta antyfabularność przyniosły w konsekwencji taktykę niedopowiedzeń, taktykę pauz, uciętych wątków i aforystycznego zagęszczenia.“ — *MK*

Orzeszkowa

*J a n k o w s k i Edmund, *Próby wierszopisarskie Orzeszkowej.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

K u s a Marian, *Związki Orzeszkowej z teatrem.* Teatr 7 (1952) nr. 16, 10. — Na základě dosud nevydané korespondence. — *MK*

Ossoliński

*O s s o l i ń s k i Jerzy, *Pamiętnik. 1595—1621.* Oprac. Jan K o l a s a i Jarema M a c i s z e w s k i, red. Wład. C z a p l i ń s k i. Wrocław 1952. — *MK*

„Pamiętniki Janczara“

*C i r l i ć Bronisław, *Próba nowego spojrzenia na „Pamiętniki Janczara“.* Wrocław 1952. Odb. Pam. lit. zesz. 1/2. — *MK*

Pasek

*P a s e k Jan Chrysostom, *Pamiętniki.* Wybór. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Feliks P r z y ł u b s k i. Warszawa 1952. — *MK*

Prus

*П р у с Б., *Фараон.* Исторический роман. Перевод с польского. Москва 1951, Гихл, 528 стр. — *SW*

M a r k i e w i c z Henryk, *O realizmie „Faraona“.* Twórczość 8 (1952) nr. 4, 134—147. — Realismus a velikost Prusova *Faraona* nezáleží ve věrném představení historických fakt nebo psychologie historických postav, nýbrž ve vědomém úsilí o proni-

kavý obraz základních zákonitostí společenského vývoje. Autor soudí, že Prus korigoval obraz egyptské společnosti s hlediska třídních konfliktů své doby. Příklonem k historickému thematu nabyl Prus opět velikosti svého realistického umění, ohroženého jeho třídní příslušností jako ideologa měšťanstva. — *MK*

Piasecki Jan, *Czytając Prusa.* Życie słow. 7 (1952) nr. 6—7, 26—29. — K čtyřicátému výročí smrti. — *SW*

Praca nad adaptacją „Lalki". Teatr 7 (1952) nr. 12, 8—12. — Úryvky referátů a diskusních příspěvků: Korcelli Kazimierz, *W sprawie scenicznego opracowania „Lalki"* — Mauersberger Adam, *„Lalka" Prusa i „Lalka" według Leśnodorskiego* — Słonimski Antoni, *W obronie wątku romansowego* — Kruczkowski Leon, *Dwie metody scenicznych adaptacji powieści* — Leśnodorski Zygmunt, *Sceniczna adaptacja „Lalki" Prusa.* — *MK*

*Skwarczyński Zdzisław, *Listy B. Prusa do A. Wodzińskiego.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Rej

Krzyżanowski Julian, *Z problemów rejowskich.* Pam. lit. 43 (1952) 464—474. — Na příkladu *Kupce* představuje otázku Rejova poměru k literární kultuře středověku. Kupec, oživený polemicko-reformační ideologií, je jako umělecké dílo dramatem středověkého charakteru. — *MK*

Rudnicki

Piasecki Jan, *Pisarz optymizmu ludowego.* Życie słow. 7 (1952) nr. 3, 9—12. — Současného polského spisovatele Lucjana Rudnického zasazuje do hlavních historických souvislostí. Připomíná jeho účast v politickém boji, jeho první knihu *Odrodzenie,* která byla reakcí na pesimismus Žeromského. Opírá se o Rudnického vzpomínkovou práci *Stare i nowe.* — *SW*

Puruszki Béla, *Lucján Rudnicki és a lengyel irodalom.* Cillag 5 (1952) 113 až 117. — Rozbor Rudnického románu *Staré a nové* na pozadí vývoje polského dělnického hnutí. Je věnována také pozornost maďarskému překladu. — *ZH*

Rulikowski

Dąbrowski Stanisław, *Praca historyczno-teatralna Mieczysława Rulikowskiego.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 421—423. — *MK*

Straus Stefan, *Bibliografia prac Mieczysława Rulikowskiego.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 424—431. — *MK*

Sienkiewicz

*Сенкевич Г., *Рассказы и очерки.* Перевод с польского. Москва 1952, Гихл, 159 стр. — *SW*

Baculewski Jan, *Henryk Sienkiewicz.* Polonistyka 5 (1952) nr. 1, 1—21. — Dílo Sienkiewiczovo nese stopy dobových rozporů. „Twórczość Sienkiewicza jest... obrazem dramatycznej ewolucji człowieka, który w młodości widział cierpienia mas ludowych, obnażał wyzysk, demaskował ucisk ze strony klas panujących i pragnął wyzwolenia narodu z niewoli zaborców, lecz ulegając wraz z całą klasą procesowi uwstecznienia zatracił postawę ideową postępowca, demokraty. Zacieśniający się związek ideowy z własną klasą zahamował rozwój realistycznej twórczości Sienkiewicza, podważył jej krytycyzm, osłabił pierwiastki patriotyczne i narodowe". — Dále životopisný nárys a ideologický rozbor Sinkiewiczových děl. Sienkiewicz je jedním z vynikajících tvůrců kritického realismu. — *MK*

Birkenmajer Józef, *Henryk Sienkiewicz. Szkic biograficzno-krytyczny.* Życie i myśl 3 (1952) 110—130. — Usiluje osvětlit okolnosti, které podmínily velký význam Sienkiewiczova díla, především pak vývojovou linii jeho psychiky, umění a názorů. Připojena kratší bibliografie předmětu. — *MK*

Budzyk Kazimierz, *Przed Sesją Sienkiewiczowską.* Twórczość 8 (1952) nr. 6, 145—150. — O sporných přehodnocujících názorech na Sienkiewiczovo dílo. — *MK*

Flukowski Stefan, *Sienkiewicz — krytyk teatralny.* Teatr 7 (1952) nr. 6, 19. — O Sienkiewiczových recensích, především o recensi Schillerovy hry *Úklady a láska.* — *MK*

Grodzicki August, *Sienkiewicz o teatrze.* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 254—273. — *MK*

Kijas Juliusz, *Źródła historyczne „Pana Wołodyjowskiego“.* Pam. lit. 43 (1952) 1137—1156. — Konfrontace historické skutečnosti a uměleckého zpracování. V Panu Wołodyjowském je větší převaha románových prvků nad historickými než v *Ohněm a mečem* a v *Potopě.* — *MK*

Kobylański Józef, Górski Jan: *Dwa nieznane listy Henryka Sienkiewicza.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 18. — Dopisy z r. 1899 a 1909, téměř soukromé. — *MK*

Sandler Samuel, *„Potop“. O drodze ideowo-twórczej Sienkiewicza ku „Trylogii“.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 3, 3—50. — Z celé trilogie má *Potopa* největší ideově uměleckou sílu, je věrna historické pravdě. — *MK*

Sandler Samuel, *Wokół trylogii.* Wrocław 1952, 112 str. — Ref.: Budzyk Kazimierz, *Sprawa trylogii. S. Sandler, „Wokół trylogii“.* Polonistyka 5 (1952) nr. 4, 40—42. — O trilogii H. Sienkiewicze. — *MK*

Słowacki

*Словацкий Ю., *Избранное.* Перевод с польского. Москва 1952, 815 стр. — *SW*

*Floryan Wład., *Nieznany fragment pierwszej redakcji „Genezis z Ducha“ J. Słowackiego.* Wrocław 1952. Spraw. Wrocł. tow. nauk, 1949. Dodatek 3. — *MK*

Maciejowski Jarosław, *Komentarz do wiersza „Vivat Poznańczanie“ Juliusza Słowackiego.* Pam. lit. 43 (1952) 1089—1120. — *MK*

Mally Janina, *O języku listów Słowackiego.* Porad. jęz. (1952) zesz. 1, 4—10; zesz. 3, 17—23; zesz. 5, 23—30. — Jazykový rozbor dopisů J Słowackého a srovnání výsledků s rozborem jazyka dopisů Chopinových. Autorka usiluje o příspěvek k zjištění vlastností polštiny druhé čtvrti 19. stol. — *MK*

Pigoń Stanisław, *Juliusz Słowacki, Rozmowa z matką Makryną.* Pam. lit. 43 (1952) 1059—1088. — Edice textu. — *MK*

Skulski Ryszard, *Juliusz Słowacki jako uczeń.* Życie i myśl 3 (1952) 131—154. — O pobytu Słowackého na gymnasiu ve Vilně v l. 1819—1825. — *MK*

Stalmach

Kudělka Milan, *Pavel Stalmach a Slovensko.* Slez. sbor. 50 (1952) 25—54. — O kulturních vztazích těšínského Slezska k Slovensku od r. 1848 do 1891 (zvlášť otázka vzniku prvního polského časopisu) a o významu Bratislavy pro formování politických a kulturních poměrů této oblasti. Uvádí se v pochybnost názor o vlivu Štúrovy odluky na vznik t. zv. polských separatistických tendencí ve Slezsku. Není tu rovněž genetické souvislosti s česko-polským antagonismem na Těšínsku, který je pozdějšího data a jiné povahy. — *MK*

Szujski

*L i b i s z o w s k a Zofia, *Tendencje społeczne i polityczne dramatów Józefa Szujskiego.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Śniadecki

Ż u l i ń s k i Roman, *Jan Śniadecki, najwybitniejszy encyklopedysta Polski.* Wiedza i życie 19 (1952) 310—317. — Informativní stať o významu Ś n i a d e c k é h o pro polskou vědu (přírodní vědy a filosofie). Śniadecki je polským předchůdcem materialistické teorie poznání. — *MK*

Święcicki

K o z ł o w s k i Józef, *O twórcy rewolucyjnej „Warszawianki".* Nowa kultura 3 (1952) nr. 18. — Biografická data o W. Ś w i ę c i c k é m. Obsahuje stať *Warszawianka w przekładzie rosyjskim.* — *MK*

Tarn

Т а р н А., *Обычное дело.* Моск. драм. театр им. А. С. Пушкина. Режиссер Б. А. Бабочкин. — Ref.: Славяне Москва (1952) № 10, 63. — O inscenaci polské hry ze života Ameriky. — *SW*

Т а р н Адам, *Обыкновенное дело.* Киев. гос. акад. укр. драм. театр. — Ref.: Славяне Москва (1952) № 4, 62. — O ukrajinské inscenaci polského dramatu. — *SW*

„Tragedia żebracza"

M a g n u s z e w s k i Józef, *Uwagi nad „Tragedią żebraczą".* Pam. lit. 43 (1952) 623—634. — O českých verších díla. Korektura soudu, že překladatel tragedie byl z řad Českých bratří; moralisátorské tendence a konfesijní invektivy ukazují spíš na překladatele z tábora protireformace. Český překlad akcentuje a zesiluje moralisátorské tendence. Autor pochybuje o polském původu některých partií české verse. — *MK*

Trembecki

K o t t Jan, *Dwa listy Trembeckiego.* Zeszyty wrocł. 6 (1952) nr. 1, 19—20. — Korespondence, týkající se básně St. T r e m b e c k é h o *Gość w Heilsbergu.* — *MK*

K o t t Jan, *O języku i stylu Trembeckiego.* Twórczość 8 (1952) nr. 11, 137—151. — Trembecki byl básníkem osvícenství a nejlepším pěvcem vítězství lidského rozumu nad přírodními silami. — *MK*

Węgierski

C z a r n o c k i Konrad, *Wierszopis-wędrowiec Kajetan Węgierski.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 2 — *MK*

Witkiewicz

*J a k u b o w s k i Jan Zygmunt, *Stanisław Witkiewicz jako pisarz.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódzkiego tow. nauk. 1949 nr. 2. — Resumé referátu. — *MK*

Wyspiański

Ł e m p i c k a Aniela, *O „Weselu" Wyspiańskiego.* Życie lit. 2 (1952) nr. 12. — Interpretace dramatu a polemika s dosavadními výklady. — *MK*

Zapolska

R a s z e w s k i Zbigniew, *Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej".* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 286—317. — *MK*

Szczepański J. A., *„Dziobem i pazurami". O Gabrieli Zapolskiej — w 30 rocznicę śmierci pisarki.* Wiedza i życie 19 (1952) 208—216. — Bio-bibliografický náčrt. Stručné kladné hodnocení pokrokové společenské ideologie díla. — *MK*

Żeromski

*Boleski Andrzej, *Początki literackie Stefana Żeromskiego.* Łódź 1952. Odb. Spraw. z czynności i posiedzeń Łódzkiego tow. nauk., 1949, nr. 2. — *MK*

Dobrowolski Marian, *Osiągnięcia niezamierzone.* Wiedza i życie 19 (1952) 855—861. — Na okraj sborníku *Stefan Żeromski* (Inst. badań lit., Warszawa 1952). Poznámky, jež mají usnadnit studium sborníku. — *MK*

Markiewicz Henryk, *Zapomniane artykuły Żeromskiego.* Pam. lit. 43 (1952) 1157—1165. — Edice článků *Echa krakowskie* a *Korespondencje „Głosu" spod Stopnicy.* — *MK*

Odnowa Andrzej, *Dramaturgia Żeromskiego po wojnie.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 2. — O inscenacích her *Uciekła mi przepióreczka, Sułkowski* a *Grzech.* — *MK*

Wnuk Włodzimierz, *„Złe spojrzenie" Żeromskiego.* Dziś i jutro 8 (1952) nr. 36. — Výklad novely biografickými daty. — *MK*

Żeromski o poezji Konopnickiej. Życie lit. 2 (1952) nr. 18. — Mladistvé soudy Żeromského, uchované v jeho *Dziennikach.* — *MK*

Żmichowska

*Romankówna Mieczysława, *Inedita Narcyzy Żmichowskiej w Bibliotece Jagiellońskiej.* Wrocław 1952. Nadb. Prace polonistyczne ser. 10. — *MK*

Literatura česká a slovenská

Generalia

Vlček Jaroslav, *Kapitoly z dějin české literatury.* Uspořádal Vladimír Dostál. Příprava a doslov Václav Stejskal. Praha 1952, Čs. spis., 471 str. — Vlčkovy kapitoly jsou obsáhlým výborem drobných i větších studií o českých spisovatelích 19. stol.: o M. Z. Polákovi, P. J. Šafaříkovi, F. L. Čelakovském, K. Sabinovi, J. P. Koubkovi, B. Němcové, V. B. Třebízském, J. V. Fričovi, G. Pflegrovi Moravském, V. Hálkovi a o J. Nerudovi. Autor doslova oceňuje Vlčka jako klasika české literární historie. — *HP*

*Harkins William E., Šimončič Klement: *Czech and Slovak Literature. With a bibliography on Lusatian literature by Clarence A. Manning.* New York 1950, King's Krown Press, VII + 50 pp. — Ref.: Spector Ivar, The American Slavic Review 11 (1952) № 1, 82—83. — *FVM*

Ústní slovesnost

Nehýbl Jaroslav, *Dvě poznámky ondrášovské. (Antonína Travěnce Písničky o Ondrášovi, zbojníku; Několik poznámek k divadelní hře Václava Bozděcha „Ondráš a Juráš".)* Radostná země 2 (1952) 46—48. — O ondrášovských tradicích v písních lidového básníka; o socialistických momentech ideové stránky Bozděchovy hry, vzniklé v Příboře v letech 1907—1910. — *MK*

Šajtar Drahomír, *Referát pro folkloristiku v SSÚ.* Sl. věda 5 (1952) 167—169. — V roce 1952 byl zřízen ve Slezském studijním ústavě v Opavě samostatný referát pro folkloristiku. Nebyl ustaven z důvodů vnějších, formálních; příčinou založení byla naléhavost a výsledky dosavadních výzkumů, ať už jde o sběry lidové písně na Hlučínsku,

Těšínsku a j. nebo o prozaický folklor zejména na Těšínsku, Hlučínsku, Bílovecku, především však v oblasti ostravsko-karvinského uhelného kombinátu. — *HP*

Šmíd L., *Vojenská lidová píseň — revoluční dokument našeho lidu.* Sl. věda 5 (1952) 169—171. — *HP*

Literatura starší

Bezděková Zdeňka, *Stará literatura česká.* Praha 1952, fak. pedagog., 154 str. (Skripta.) — *HP*

Literatura 19. st. a počátku 20 st.

Strejček Ferdinand, *Pražská revoluční báseň z roku 1792.* Sl. věda 5 (1952) 60—68. — Referuje o neznámé Meinertově básni *An die Böhmen*, burcující Čechy z hanebné otupělosti k novému životu poukazem na slavnou jejich minulost a na jejich dávná práva a význam v dějinách vzdělaného lidstva. — *HP*

Štraus Jiří, *Dvě málo známá periodika.* Sl. věda 5 (1952) 90—92. — Pojednává o časopisech *Poučné a zábavné listy pro polní hospodáře a řemeslníky v Čechách* z let 1838 až 1847 a *Moravsko-slezský časopis pro lid o polním, lesním a domácím hospodářství* z let 1842—1846. — *HP*

Literatura nová

Dvoracek Jaroslav, *A csehszlovák művészet ideológiai kérdéséinek tisztázása.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 17 szám. 6. — Zpráva o diskusi o problémech umění a literatury, která probíhala v Československu na stránkách Rudého práva, Literárních novin a Nového života v souvislosti s odhalením záškodnické činnosti Slánského v kultuře. — *ZH*

Pekárek V., *Do boje za rozvoj naší kultury.* Lit. noviny 1 (1952) č. 8, 3. — O posledních aktualitách v české literatuře. — *BB*

Říha B., *Současné látky v dílech spisovatelů.* Lit. noviny 1 (1952) č. 43, 5. — *BB*

Stejskal V., *O práci Svazu čs. spisovatelů.* Lit. noviny 1 (1952) č. 43, 8. — Výňatek z referátu na schůzi sekce kritiků SČS o nedostatcích v práci Svazu. — *BB*

Stejskal V., *Úspěchy nové české prózy v roce 1951.* Lit. noviny 1 (1952) č. 9, 4. — Referát o novinkách české literatury v uvedeném roce. — *BB*

Szabolcsi Miklós, *Négy regény a cseh munkásosztály harcairól.* Irodalmi Ujság 3 (1952) 1. szám 4. — Referát o čtyřech českých románech, které právě vyšly v maďarském překladu. Je to *Siréna* Marie Majerové, *Hra s ohněm* Marie Pujmanové, *Vesnice pod zemí* Jiřího Marka a *Cesta otevřená* Aleny Bernáškové. — *ZH*

Vavřík Z., *Knihy pro děti.* Lit. noviny 1 (1952) č. 45, 6. — O posledních pracích pro mládež. — *BB*

Za vyšší ideovost slovenské literatury. Lit. noviny 1 (1952) č. 6, 4. — O zasedáních Svazu spisovatelů v březnu a květnu 1952, kde se řešily aktuální otázky slovenské literatury. — *BB*

Varia

Karbusický Vladimír, *Několik poznámek k edici písně o komuně.* Český lid 7 (1952) 41—42. — Ukazuje, jak v nápěvu *Zdvihni se vzhůru, utýraný lide* zní intonace francouzských revolučních písní a typické pochodové rytmy, jak se vytvořily ve francouzské hudební kultuře, v níž žila tradice Velké revoluce, a z toho zároveň odvozuje vznik písně: ve Vídni, kam se uchylili někteří z uprchlých komunardů, poznali čeští soudruzi některé z francouzských revolučních písní a v jejich duchu si přetvořili pře-

vzatý nápěv. Nepokládá za správný Tichého názor na autorství písně. Píseň připisuje Leopoldu Kochmanovi (ne Peckovi, jak se Tichý domnívá). — *HP*

**Рассказы о новой Чехословакии.* Перевод с чешского. Москва 1952, Воениздат, 142 стр. — Obsah: Ян Дрда, *Фаустпатрон, Ангели пана Громека, Высший принцип, Через несколько лет;* Т. Сватоплук, *Ботострой без шефа* (главы из книги); Доминик Татарка, *Так решила молодежь;* Вл. Минач, *Первый трактор;* М. Пуйманова, *Девушка из бригады;* Вашек Каня, *Паровая турбина;* Иржи Марек, *Февраль;* Иржи Валья, *Подземная родина.* — *SW*

Bernášková

*Бернашкова Алена, *Путь открыт. Роман.* Перевод с чешского. Москва 1951, Изд. иностр. лит., 278 стр. — *SW*

Bezruč

Ficek Viktor, *Změny v textu Slezských písní.* Slez. sbor. 50 (1952) 389—442. — Podrobná vyčerpávající práce, probírající odchylky všeho druhu. — *MK*

Grobelný Andělín, *Jméno Bezruč v historických pramenech.* Slez. sbor. 50 (1952) 372—375. — O výskytu jména *Bezruč* a *Magdon.* — *MK*

Králík Oldřich, *Komposice Slezských písní.* Slez. sbor. 50 (1952) 376—388. — Vychází ze svého dřívějšího zjištění chronologie Bezručova díla; zbývají však ještě dílčí otázky. Nový pokus o utřídění a prokomponování nejbezručovštějších básní Slezských písní. — *MK*

Martínek Vojtěch, *Živý Bezruč.* Slez. sbor. 50 (1952) 296—302. — Všeobecná úvaha. — *MK*

Nezval V., *Petr Bezruč.* Lit. noviny 1 (1952) č. 34, 3. — K básníkovým 85. narozeninám. — *BB*

Svoboda Jaroslav, *Bezruč a umělecká kultura jeho doby.* Slez. sbor. 50 (1952) 303—340. — Převážně o stavu výtvarného umění v době vzniku *Slezských písní,* z malé části pokus o zjištění několika t. zv. výtvarných prvků v jeho poesii. — *MK*

Šajtar Drahomír, *Bezručova poesie posledních let.* Slez. sbor. 50 (1952) 451—460. — *Stužkonoska modrá, Rozmluva s osudem, Druhý břeh.* O intimní lyrice Bezručově. — *MK*

Šajtar Drahomír, *Dobový kontext Bezručova visionářského realismu. Poznámky k thematu.* Slez. sbor. 50 (1952) 341—371. — Bezruč překonává společenský a ideový chaos své doby a uskutečňuje Šaldovu vysněnou synthesu realismu se symbolismem v t. zv. visionářském realismu. — *MK*

Šindelář D., *Nad Bezručovou Stužkonoskou modrou.* (Několik poznámek k uměleckému mistrovství.) Lit. noviny 1 (1952) č. 41, 6. — O společenském významu Bezručovy poesie a o její pravdivosti, podmíněné znalostí života. — *BB*

Závodský Artur, *Ke genesi některých Bezručových básní.* Slez. sbor. 50 (1952) 443—450. — O básních *Nápis na hrob bojovníkův, 1864—1904, Sviadnov I, Dombrová.* — *MK*

Závodský Artur, *Petr Bezruč a dnešek.* Slez. sbor. 50 (1952) 289—295. — O významu Bezručova díla pro přítomnost po stránce ideové a umělecké. — *MK*

Závodský Artur, *Realismus Bezručovy poesie. Náčrt studie.* Slez. sbor. 50 (1952) 461—488. — „Jádro Bezručova díla bylo vytvořeno realistickou uměleckou metodou a i tam, kde se Bezručova poesie dostává způsobem podání látky do vztahu k metodě symbolistní, v podstatě je překonává". — *MK*

Biebl

Za Konstantinem Bieblem. Vzpomínky a projevy jeho přátel. Praha 1952, Čs. spis., 93 str. — Sborník k úmrtí básníka Konstantina Biebla přináší vzpomínky a črty V. Kopeckého, J. Taufera, K. Nového, V. Závady, Z. K. Slabého, J. Rybáka, F. Kautmana, K. Konráda a básně V. Nezvala, M. Pujmanové, J. Bednáře, J. Aldy, V. Reisela, K. Šiktance, J. Hilčra, J. Rysky a J. Taufra. — *HP*

Čapek K.

*Чапек К., *Английские письма.* Рассказы. Москва 1952, Гиз. лит. на иностр. яз., 252 стр. На чешском языке. — *SW*

*Чапек Карел, *Избранные произведения.* На украинском языке. Ужгород 1951, Книжно-журнальное изд., 563 стр. — *SW*

Čech

Čech Svatopluk, *Písně otroka a jiné básně.* Vyd. a pozn. Antonín Procházka. Doslov *Politické básně Svatopluka Čecha* Karel Krejčí. Praha 1952, Orbis, 199 str. — *HP*

Strejček Ferdinand, *Z Čechových listů, které zůstaly v zásuvce.* Sl. věda 5 (1952) 198—207. — Uveřejňuje neznámé dopisy Sv. Čecha J. V. Sládkovi, S. Hellerovi, Jul. Grégrovi, K. Kučerovi, J. Sv. Macharovi, J. Vrchlickému, Jar. Čelakovskému a J. Wünschovi. — *HP*

Čelakovský

Dolanský Julius, *Fr. Lad. Čelakovský. 1852—1952.* Praha 1952, Osvěta, 46 str. — Autor v této nevelické studii, určené pro masové čtenáře, především vyzdvihuje Čelakovského pokrokovost a demokratismus, ukazuje, že „byl jedním z prvních, kdo u nás otevřeně kritisoval monarchistický absolutismus". Na rozdíl od nesprávných pojetí vysoko cení *Slovanské národní písně,* jejich revolučnost a bojovnost, cení Čelakovského satiru jako důležitou zbraň v bojích za národní a hospodářské obrození naší společnosti. — Rec.: Кишкин Л., Славяне (1953) № 6, 59—60. — Recensent hodnotí knihu kladně. — *HP*

Dolanský J., *Nadšený přítel ruského lidu.* Lit. noviny 1 (1952) č. 26, 3. — O ruských motivech v tvorbě Čelakovského. — *BB*

Никольский С., *Фр. Л. Челаковский. (К 100-летию со дня смерти.)* Славяне Москва (1952) № 8, 52—54. — *SW*

Polák Karel, *Rais o Čelakovském.* Sl. věda 5 (1952) 162—164. — Referuje o řeči K. V. Raise, u příležitosti stého výročí narozenin F. L. Čelakovského ve Strakonicích. — *HP*

Pražák Albert, *Odbojnost Fr. Lad. Čelakovského.* Sl. věda 5 (1952) 97—101. — Ukazuje, jak se v Čelakovského dílech projevuje jeho revoluční duch. — *HP*

Závodský A., *František Ladislav Čelakovský.* Lit. noviny 1 (1952) č. 26, 3. — *BB*

Знеполски Стефан, *Франтишек Челаковски.* Славяне София 8 (1952) кн. 8, 20—23. — *SW*

Fándli

Grabowski Tad. Stanisław, *Z dziejów fizjokratyzmu i oświecenia w Słowacji na przełomie XVIII wieku. Juraj Fándli (1750—1811).* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 51—95. — Studie o životě a díle Fándliho a rozbor ideologie jeho díla, především jeho

části lidovýchovné. Fándli je z nejpokrokovějších jevů konce 18. stol.; soustřeďuje se především na ekonomické a sociální otázky doby. — *MK*

Grund

Pražák Albert, *Univ. prof. Dr Antonín Grund.* Sl věda 5 (1952) 212—215. — Nekrolog o A. Grundovi († 1952), profesoru dějin české literatury na Masarykově universitě v Brně a prvním jednateli Ústavu pro českou literaturu. — *HP*

Jelínek

Ostrawicka-Skotnicowa M. O., *Eduard Jelínek. (W 55-tą rocznicę śmierci jednego z pierwszych słowianofili czeskich.)* Zwrot 4 (1952) nr. 5, 4—5. — Jubilejní všeobecná stať. — *MK*

Jenský kodex

Drobná Zoroslava, *Český život 15. století v zrcadle jenského kodexu.* Český lid 7 (1952) 5—9. — Ukazuje, jak se v obrazech *Jenského kodexu* projevuje český život. Všímá si obzvláště postavy Žižkovy a Husovy a satirických vyobrazení katolických mnichů a kněží. — *HP*

z Jenštejna Jan

Snížková Jitka, *Jan z Jenštejna.* Sl. věda 5 (1952) 83—89. — Kritický rozbor — především po stránce hudební — umělecké činnosti Jana z Jenštejna. — *HP*

Fučík J.

*Фучик Юлиус, *Слово перед казнью.* Казань 1951, Гиз Татар. АССР. — Tatarský překlad z češtiny. — *SW*

Nikolajevová Nina, *Život a boj Julia Fučíka.* Praha—Moskva 7 (1952) 29—57. — Výňatek z diplomové práce, uveřejněné v časopise Novyj Mir (1948). Soustřeďuje se především na Fučíka — kritika, podrobně rozbírá a četnými ukázkami dokumentuje Fučíkovu knihu *V zemi, kde zítra již znamená včera,* dále jeho *Tři studie* (především *Karla Sabinu*) a konečně jeho *Reportáž psanou na oprátce.* — *HP*

Hora

Hora Josef, *Pracující den a jiné básně.* Vyd. a pozn. A. M. Píša. Dosl. František Buriánek. Praha 1952, Orbis, 216 str. — Tuto sbírku hodnotí Buriánek jako vrchol Horovy básnické tvorby: Hora zde nejsilněji formuloval víru v pokrokovou sílu lidské práce, která přebuduje společnost a přemění člověka. — *HP*

Jilemnický

*Илемницкий П., *Хроника.* Москва 1952, Гиз лит. на иностр. яз., 272 стр. На словацком языке. — *SW*

Běhounek J., *Z málo známého života Petra Jilemnického.* Lit. noviny 1 (1952) č. 6, 4. — Životopisné vzpomínky na poslední roky života P. Jilemnického. — *BB*

Jirásek

Jirásek Alois, *Staré pověsti české.* Doslov Zdeněk Nejedlý. Praha 1952, Mladá fronta, 327 str. — Nejedlý hodnotí toto Jiráskovo dílo jako vstupní „bránu, jíž vcházíme v Jiráskovy vlastní pak už české dějiny. Bránu pak tím vzácnější, že ji zbudoval, vytvořil a svou fantasií vyzdobil sám náš lid, jehož pojetí Jirásek tu také přesně zachovává, a jen mu ještě pomáhá svým mistrovstvím vypravovatelským". — *HP*

*Ирасек Алоиз, *Философская история.* Перевод с чешского. Москва 1951, Гихл, 127 стр. — *SW*

Jílek Václav, *Několik neznámých próz Aloise Jiráska*. Sl. věda 5 (1952) 115—127. Bibliografickoheuristická studie rozbírá zapomenutou a zapadlou Jiráskovu prózu z časopisu Obrazy života r. 1872, 1874 *(Hermína, Norberte víš)* a z Pokroku r. 1874, 1875, 1876, 1878, 1879 (*Z výletu do Prus, Z osmnáctého století, Mikuláš, Panichiada za Palackého a řeč prvokněze p. Lebeděva v ruském chrámu, Na Haltravě, Andělíček, V ohni, Z třetí strany).* — *HP*

Kunc Jaroslav, *Soupis díla Aloise Jiráska a literatury o něm*. Praha 1952, Národní knihovna, 80 str. — Soupis literatury uveřejněné knižně a v neperiodických publikacích reviduje a rozmnožuje Pátovu Bibliografii Jiráskova díla z r. 1921 a je uzavřen dnem 31. XII. 1951. — *HP*

Marwoy, *Alojzy Jirasek*. Wiedza i życie 19 (1952) 168—170. — Informativní stať s poznámkou o výstavě a akademii ve Varšavě k 100. výročí narozenin. — *MK*

O Aloisu Jiráskovi. Praha 1952, Mladá fronta, 45 str. — Souhrn statí o Jiráskovi: Telegram K. Gottwalda k 100. výročí narozenin A. Jiráska; projev K. Gottwalda o Jiráskově odkazu 10. XI. 1948; Josef Macek, O Jiráskově knize „Proti všem"; Zdeněk Nejedlý, Alois Jirásek; diskusní příspěvky členů Svazu mládeže na konferenci o díle *Proti všem* se závěrečným slovem Zdeňka Nejedlého a bibliografie Jiráskových prací, sestavená Jaroslavem Freyem. Sborník je určen ke studiu Jiráskova díla v kroužcích Čs. svazu mládeže. — *HP*

John (vl. Markalous)

Götz F., *K 70. narozeninám Jaromíra Johna*. Lit. noviny 1 (1952) č 11, 5. — O dvou liniích vývoje Johnovy prózy. — *BB*

Kollár Jan

Frinta Antonín, *Potomstvo a pozůstalost Jana Kollára*. Sl. věda 5 (1952) 89. — Stručná zpráva o Kollárově pravnučce Fridě Schneidrové. — *HP* — Viz také následující záznam. — *SW*

Frinta Antonín, *Doplňky ke zprávám o potomstvu a o letošních zahraničních oslavách J. Kollára*. Sl. věda 5 (1952) 215—216. — *HP*

Королюк В., *Славный поборник дружбы нарсдов*. Славяне Москва (1952) № 1, 50—51. — K stému výročí smrti Jana Kollára. — *SW*

Čapek J. B., *Kollár a jeho humanistický předchůdce*. Sl. věda 5 (1952) 101—114. — Rozbírá literární činnost Jakuba Jacobaea, humanistického básníka 16. st., zvláště ve vztahu ke Kollárovi. — *HP*

Nejedlý Zdeněk, Fadějev Alexandr: *Jan Kollár. Tři projevy*. Praha 1952, Čs. spis., 35 str. — Projev Zdeňka Nejedlého a Alexandra Fadejeva v Moskvě a další projev Zdeňka Nejedlého v Praze; první dva projevy zde v novém vydání. — *HP*

Piwowarczyk Andrzej, *Jan Kollar — piewca wolności i braterstwa Słowian*. Życie słow. 7 (1952) nr. 4, 24—26. — *SW*

Polák Josef, *Bojovný a obranný charakter Kollárova díla*. Sl. věda 5 (1952) 9—12. — Zvláštní pozornost věnuje Kollárovým kázáním a upozorňuje na jejich sociální tendenci na obranu pracujícího lidu. — *HP*

Pražák Albert, *Sto let po Kollárově smrti*. Sl. věda 5 (1952) 1—8. — Úvaha o Kollárově koncepci slovanské vzájemnosti a jejích pokračovatelích a stoupencích. Autor rozbírá především Kollárovu *Slávy dceru*, kde básník projevil přání, „aby báseň objímala Slovanstvo a aby Rusové jako nejmocnější a samostatný národ spojili všecko Slovanstvo navzájem". Ve studii *O literárnéj vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými* heslo slovanské solidarity vyjádřil ještě účinněji. — *HP*

Komenský

Brambora Josef, *Nové úkoly bádání o Komenském.* Sl. věda 5 (1952) 179—189. — Ve studii naznačil některá hlediska pro další bádání. Upozorňuje na paradoxní jev u Komenského, který byl neustále v rozporu s tím, co hlásal a zač bojoval (neustálá dialektika mezi snem a skutečností). Nadhazuje otázku, zda Komenský byl více filosof či mystik, materialistický sensualista, nebo idealista, a konečně klade důraz na problém třídění jeho díla. — *HP*

Polišenský Josef, *Velikost J. A. Komenského a společnost jeho doby.* Sl. věda 5 (1952) 147—156. — Rozbírá hospodářskopolitickou situaci evropských států, ve kterých Komenský v emigraci žil a její vliv na formování názorů Komenského. — *HP*

Kramerius

Kepka Rudolf, *Kdy se narodil M. V. Kramerius? Příspěvek k životopisu probuzeneckého spisovatele.* Sl. věda 5 (1952) 171—174. — Na rozdíl od dřívějších literárních historiků datuje Krameriovo narození na 12. února 1753. — *HP*

Muk Jan, *Vyšetřování syna Krameriova pro šíření lidové četby ve Vídni r. 1849.* Sl. věda 5 (1952) 219—220. — *HP*

Mácha

Bejblík Alois a Jánský Karel: *Dva myšlenkové problémy K. H. Máchy.* I. *Mnich;* II. *K otázce vzniku druhého zpěvu Máje.* Sl. věda 5 (1952) 33—40. — Bejblík v první studii se snaží vykonstruovat děj *Mnicha,* nedošel však k žádnému konkretnímu závěru. Jánský v druhé studii řeší vliv Göschlovy filosofie na II. zpěv *Máje.* — *HP*

Hertl Jan, *Mácha a Márinka z Želetínky.* Sl. věda 5 (1952) 189—198. — Přináší nové a dosud neznámé podrobnosti o Máchově milé — Márince. — *HP*

Jánský Karel a Králík Oldřich: *Text Pouti krkonošské a problémy textové kritiky u Máchy.* Sl. věda 5 (1952) 41—60. — Kritická revise dosavadních textů *Krkonošské pouti.* — *HP*

Majerová

Majerová Marie, *Siréna.* — Ref.: Kuzněcová R. R., Praha—Moskva 1 (1952) 124—133. — Sovětská kritika román vysoko cení, především vyzdvihuje „spojení praktické revoluční zkušenosti s růstem třídního uvědomění pracujících", vytýká však nedocenění role pokrokové revoluční strany pracujících v boji proletariátu proti buržoasii. — *HP*

Hájek Jiří, *Marie Majerová — básnířka českého lidu.* Praha 1952, Osvěta, 21 str. — Přednáška proslovená u příležitosti šedesátých narozenin přední české spisovatelky hodnotí především její romány *Nejkrásnější svět, Siréna, Havířská balada,* jejichž postavy ztělesňují nejkrásnější charakterové rysy českého lidu v tvrdém zápase za osvobození pracujících, rysy, které již přerůstají v základní prvky nové, socialistické morálky. — *HP*

Marwoy, *W 70 rocznicę urodzin Marii Majerowej.* Życie słow. 7 (1952) nr. 5, 23—26. — *SW*

Němcová

Němcová Božena, *Slovenské pohádky a pověsti.* Vyd. František Váhala, odb. jaz. spolupráce Bohuslav Havránek a Jozef Štolc. Praha 1952, Čs. spis., 247 str. — *HP*

*Немцова Божена, *Пастух и рыцарь.* Сказки. Перевод с чешского. Москва-Ленинград 1951, Детгиз. — *SW*

Neruda

Arbes Jakub, *O Janu Nerudovi.* Praha 1952, Melantrich. — Ref.: Křemenák Bořivoj, Sl. věda 5 (1952) 156—157. — *HP*

Ficek Viktor, *Ještě dva listy Jana Nerudy Františku Slámovi.* Slez. sbor. 50 (1952) 148—149. — Edice. — *MK*

Solovjevová A. P., *Realismus „Malostranských povídek“ Jana Nerudy.* Praha-Moskva 2 (1952) 83—94. — Zdůrazňuje působení ruského realismu, především Gogoľa, na Nerudovu tvorbu. — *HP*

Spisy Jana Nerudy v ukrajinštině. Praha-Moskva 2 (1952) č. 8, 109. — Státní nakladatelství umělecké literatury Ukrajiny vydalo sborník překladů z děl Jana Nerudy. Obsahuje básně z *Knihy veršů*, z oddílu *Z mělnické skály*, písně, balady, romance a epigramy. Z prozaických děl byly přeloženy *Malostranské povídky*, *Trhani*, pražské kresby *Různí lidé* a řada publicistických článků. Rovněž jsou sem zahrnuty literárně kritické práce Nerudovy, jeho názor na veselohru N. V. Gogoľa *Revisor* a na drama A. N. Ostrovského *Bouře.* Předmluvu napsal Maksym Rylsʼkyj. — *HP*

Neumann St. K.

Вечер памяти Станислава Неймана. Славяне Москва (1952) № 8, 62. — Poznámka o večeru, který uspořádala Všesvazová knihovna cizí literatury v Moskvě k pátému výročí smrti českého básníka. — *SW*

Olbracht

*Ольбрахт Иван, *Николай Шугай, разбойник.* Перевод с чешского. Москва 1952, Гихл, 167 стр. — *SW*

Woydyłło Marian, *Ivan Olbracht.* Życie słow. 7 (1952) nr. 6—7, 35—37. — K sedmdesátým narozeninám. Uvádí, že na př. Olbrachtova *Anna Proletářka* vyšla polsky v nákladě 185.000 exemplářů. — *SW*

Ostravický

Šajtar Drahomír, *Č. Ostravický Svatopluku Čechovi a Adolfu Kubisovi.* Slez. sbor. 50 (1952) 144—148. — Edice korespondence. — *MK*

Palacký

Votrubová Dagmar, *Husitská literatura v Palackého dějinách.* Sl. věda 5 (1952) 22—33. — Přehled názorů Františka Palackého na husitskou literaturu bez kritického hodnocení. — *HP*

Poláček

Lacina V., *Úsměvy Karla Poláčka.* Lit. noviny 1 (1952) č. 7, 5. — Příležitostný článek k 60. výročí narození. — *BB*

Pujmanová

*Пуйманова М., *Люди на перепутье.* Рига 1951, Латгосиздат, 320 стр. — Lotyšský překlad. — *SW*

Račinský

Poch Josef, *Neznámý český tisk z roku 1639.* Sl. věda 5 (1952) 216—219. — Pojednává o téměř neznámém spisovateli Danielu Erazimovi Račinském a o jeho básni *Slzy věčnosti obětované.* — *HP*

Stašek

Novák J. B., *Antonín Kotík a Antal Stašek na krakovském gymnasiu.* Sl. věda 5 (1952) 137—147. — *HP*

Šeršník

Skutil Josef, *Dopis Albína Heinricha o Šeršníkově památníku.* Slez. sbor. 50 (1952) 588—589. — Drobný materiálový příspěvek o českém osvícenci L. J. Šeršníkovi. — *MK*

Šmilovský

Šmilovský Alois Vojtěch, *Za ranních červánků.* Výbor povídek. Dosl. Josef Polák. Praha 1952, Vyšehrad, 236 str. — *HP*

Šrámek

Nezval V., *Na rozloučenou s básníkem Fráňou Šrámkem.* Lit. noviny 1 (1952) č. 24, 3. — Osobní vzpomínky. — *BB*

Thám

Baťha František, *Václav Tham, zakladatel českého divadla v době obrození.* Sl. věda 5 (1952) 127—137. — Rozbírá na základě nového archivního materiálu literární činnost Václava Thama: jeho báseň *Život venkovský* jako kritiku feudálního společenského řádu, dále dramata *Břetislav a Jitka, Šťastný den, Kutnohorští havíři* (sociální zápas kutnohorských havířů s feudální společností r. 1496), *Albrecht z Valdštejna.* Autor studie zároveň přehodnocuje význam Thamův v české literatuře doby obrozenecké. Cení Thama jako bojovníka proti tehdejší reakci, vykořisťující šlechtě a jesuitskému řádu, jenž měl v rukou ideologickou nadvládu nad českým národem. — *HP*

Toman

Polan B., *Nedožité jubileum K. Tomana.* Lit. noviny 1 (1952) č. 3, 4. — Příležitostná studie k 75. výročí narození. — *BB*

Smetana M., *Básník domova a vzdoru.* Lit. noviny 1 (1952) č. 3, 4. — Několik životopisných poznámek o K. Tomanovi a osobní vzpomínky. — *BB*

Tovačovský

Křemenák Bořivoj, *O dopisech Ctibora Tovačovského z Cimburka.* Sl. věda 5 (1952) 166—167. — Upozorňuje na velký význam dopisů Tovačovského olomouckému biskupu Tasovi z Boskovic. — *HP*

Tyl

Тыл Иозеф Каэтан, *Волынщик из Стракониц.* Центр. детский театр Москва. Режиссер В. С. Колесаев. — Ref.: Славяне Москва (1952) № 8, 62. — O inscenaci *Strakonického dudáka,* která vyvolala velkou odezvu obecenstva. Referát uvádí, že divadelnímu kolektivu se za pomoci českých studujících z moskevských vysokých škol podařilo dobře ztvárnit základní ideu hry — cit věrnosti vlasti a všemocnou sílu lásky. — *SW*

Štok J., *Strakonický dudák v Moskvě.* Praha-Moskva 2 (1952) č. 8, 124—125. — Výňatek z recense, kterou uveřejnilo Sovetskoje iskusstvo 3. IX. 1952. — *HP*

Živý odkaz J. K. Tyla. Praha 1952, Čs. spisovatel, 104 str. — Rec.: Vaníček J., Lit. noviny 1 (1952) č. 22, 5. — *BB*

Vančura

Nový K., *Vladislav Vančura.* Lit. noviny 1 (1952) č. 17, 3. — Vzpomínka na spisovatele. — *BB*

Zápotocký

Zapotocky Antonin, *Burzliwy rok.* Warszawa 1951, Czytelnik, 368 str. — Ref.: W. K., Życie słow. 7 (1952) nr. 12, 47—48. — *SW*

Zapotocki Antonin, *Przyjdą nowi bojownicy.* Warszawa 1951, Czytelnik, 182 str. — Ref.: l d, Życie słow. 7 (1952) nr. 8, 49. — *SW*

Zeyer

Szyjkowski Marian, *Juliusz Zeyer. (Polskie wspomnienie w 50 rocznicę śmierci.)* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 40—50. — Literárně historický profil Zeyerův, jeho poměr k polské literatuře a polonica v Zeyerově knihovně. Vztah Mladého Polska k Zeyerovu dílu (přetisk *Ballady o Juliuszu Zeyerze* W. Liedra), styky se Z. Przesmyckým. Zeyerovo hodnocení Słowackého. Zdrojem Zeyerova „kultu Słowackého“ jsou Zeyerovi přátelé z okruhu Mladého Polska. — *MK*

Žebrácký

Čapek J. B., *Objev významné práce českého humanisty.* Sl. věda 5 (1952) 219. — Referát o neznámé skladbě Klementa Žebráckého *Threnus Bohemiae ...* — *HP*

Literatura srbská a charvátská

Prijatelj Kruno, *Ljetopis nepoznatog Splićanina od g. 1756. do 1811.* Starine 44 (1952) 63—93. — Komentovaná edice kroniky, zachycující v italském jazyce vývoj Splitu v 2. pol. 18. a na poč. 19. století. Rukopis je nadepsán *Memoria delle cose successe in Spalato e in Dalmazia, in piu vilaggi, in Bossina e Franzia e in piu stati ecc. 1756* a je uložen v archivu Archeologického musea ve Splitu. — *SW*

Zjačić Mirko, *Spisi šibenskog notara Slavogosta. Quaternus imbreviaturarum Slavogosti notarii sibenicensis. (Od 24. III. do 10. VI. 1386.) — (A 24. III. usque ad 10. VI. 1386.)* Starine 44 (1952) 201—296. — Edice I. svazku z notářských spisů (celkem 325 svazků) uložených ve Státním archivu v Zadru. Notář Slavogost byl dosud citován jako „ignotus“. K vydání jsou připojeny důkladné rejstříky. M. j. konstatuje editor v úvodu tyto důležité skutečnosti: téměř všechna jména v rukopise jsou charvátská. U jednotlivých jmen cizích je uveden vždy původ osoby (zahraniční). Místní jména jsou rovněž charvátská až na řídké výjimky, ukazující na původ románský či keltský. Rukopis obsahuje nejstarší zmínku o staré tvrzi Lab. Rejstříků použije s užitkem jazykověda, zvl. onomastika. — *SW*

Literatura makedonská

* Конески Блаже, *Антологија на македонската лирика.* Београд 1951, 215 стр. — *FVM*

* Конески Блаже, *Македонска Литература во 19. век.* Скопје 1950. — Život a dílo Joachima Krčoského a Kirila Pejčinovik'a. — *FVM*

Literatura bulharská

Generalia

24 maja — dzień oświaty i kultury w Bułgarii. Życie słow. 7 (1952) nr. 5, 26—28. — Tento pamětní den podle uvedeného referátu byl zaveden z iniciativy Botevovy a Karavelovovy a sloužil k povzbuzování národního vědomí za protitureckého odboje.

Jádrem pamětního dne je tradiční vzpomínka na dílo a význam Cyrila a Metoděje; tento ráz sloužil zpátečnickému režimu meziválečnému k odsouvání pamětního dne od problémů současnosti. Nyní je 24. máj příležitostí k manifestačním přehlídkám bulharského kulturního života. Zpráva uvádí několik údajů o novém rozvoji kultury v Bulharsku. — *SW*

* *Болгарские народные сказки.* Перевод с болгарского. Москва 1951, Гихл, 268 стр. — *SW*

* *Болгарские поэты.* Стихотворения и поэмы. Москва 1952. Гихл. 311 стр. — *SW*

Dimitrov Jiří, *O literatuře, umění a vědě.* Praha 1951, Rovnost. — Rec.: Závodský Artur, Sl. věda 5 (1952) 69—71. — *HP*

Дымшиц А., *Георгий Димитров об искусстве и литературе.* Знамя (1952) № 1, 170—174. — O významu G. Dimitrova pro umění a literaturu bulharskou i světovou. — *LD*

Константинов Георги, *Кирило-методиевското дело.* Славяни София 8 (1952) кн. 5, 8—9. — Ukazuje, jak Christo Botev pojal myšlenku oslav dne Cyrila a Metoděje, v němž chtěl vidět „svátek naší revoluce a naší svobody" (tento den je od osvobození Bulharska od Turků dnem manifestací bulharské kultury a osvěty). Konstantinov hledá kořeny této tradice v souvislosti s vývojem myšlenky slovanské součinnosti. — *SW*

Милев Борис, *Нови успехи на българската драма.* Славяни София 8 (1952) кн. 10, 22—25. — Podává stručný výklad o nejnovější tvorbě, zejména o kusech, které byly předvedeny na přehlídce dramatické tvorby r. 1952. — *SW*

**Рассказы о новой Болгарии.* Перевод с болгарского. Москва 1952, Воениздат, 112 стр. — Obsah: Стоян Даскалов, *Доброволец, Отец;* Крум Григоров, *На подъеме;* Виктор Барух, *Новая смена;* Иван Мартинов, *Шахтерская честь;* Георгий Караславов, *Подписи за мир.* — *SW*

Belev

*Белев Генчо, *Случаи из жизни Минко Минина.* Перевод с болгарского. Москва 1951, Гихл, 239 стр. — *SW*

Botev

*Ботев Христо, *Публицистика. Статьи, очерки, письма.* Перевод с болгарского. Москва 1952, Гихл, 504 стр. — *SW*

Cirlić Bronisław, *Christo Botev a Polacy.* Twórczość 8 (1952) nr. 6, 137—144. — *MK*

Slavejkov

Иванова Дора, *Езикът на Пенчо Славейков.* Български език 2 (1952) 203—217. — Význam tohoto básníka pro spisovnou bulharštinu dosud nebyl doceněn. Jeho jazyk a styl ještě dnes má co dát bulharskému jazyku. — *FVM*

Македонска Цветана, *П. Р. Славейков за развитието на книжовния език.* Български език 2 (1952) 101—105. — Nejen teoretické úvahy, ale i praxe tohoto básníka přispěla podstatně k zdokonalení a správnému vývojovému zaměření bulharského spisovného jazyka. — *FVM*

Stojanov

*Стоянов Людмил, *Вібрані твори.* Київ 1952, Держ. вид. худ. літ. — Rec.: Державин К., Славяне (1952) № 12, 56—57. — *SW*

Vapcarov

Александров Васил, *Вапцаров е с нас.* Славяни София 8 (1952) кн. 7, 1—4. — Jubilejní vzpomínka. — *SW*

Brosz Antoni, *Wapcarow — poeta bułgarskiego proletariatu.* Życie lit. 2 (1952) nr. 14. — *MK*

Ничев Боян, *Лексическият състав на поетическото творчество на Н. Й. Вапцаров.* Български език 2 (1952) 78—88. — Závěry: Lexikální sklad Vapcarovovy tvorby souhlasí s její realistickou náplní. Kategorie slov rozličného původu tvoří logický celek. Vážné a významné místo v tomto celku patří slovům lidovým. Básník dokonale vládne slovem jako účinným výrazovým prostředkem; slova nejsou pro něho mrtvým inventářem. I jazykově je Vapcarovova tvorba na vysokém stupni uměleckého mistrovství. — *FVM*

Pantelejew Dymitr, *Nikoła Ionka Wapcarow. (W 10 rocznicę śmierci.)* Życie słow. 7 (1952) nr. 8, 28—30. — *SW*

Тодоров Ангел, *Поезия на живота. (По случяй десетгодишнината от смъртта на Н. Й. Вапцаров.)* Славяни София 8 (1952) кн. 6, 7—9. — *SW*

Вечер памяти Николы Вапцарова. Славяне Москва (1952) № 11, 63. — Poznámka o večeru v moskevském Domě vědců na paměť desetiletí od smrti bulharského básníka. Hlavní řečník Aleksej Surkov ocenil Vapcarova jako vynikajícího bojovníka proti fašismu. Ukázky z díla byly předneseny bulharsky a rusky. Večera se zúčastnila básníkova žena. — *SW*

Urban Z., *N. J. Vapcarov.* Lit. noviny 1 (1952) č. 24, 7. — K 10. výročí úmrtí. — *BB*

Зенкевич М., *Никола Вапцаров — поэт-борец.* Славяне Москва (1952) № 7, 56—58. — *SW*

Vasilev

Василев Орлин, *Тревога (Земной рай).* Драм. театр Борисовглебск. — Ref.: Славяне Москва (1952) № 12, 58—59. — O inscenaci bulharského dramatu. — *SW*

Василев Орлин, *Тревога. (Земной рай.)* Московский театр драмы. Ref.: Славяне Москва (1952) № 4, 63. — O moskevské inscenaci bulharské hry. — *SW*

Vežinov

*Вежинов Павел, *Вторая рота.* Повесть. Перевод с болгарского. Москва 1951, Гихл, 103 стр. — *SW*

Zidarov

Zidarow Kamen, *Łaska królewska.* Przeł. H. Kalita, B. Cirlić. Państw. Teatr „Wybrzeże". Reżyseria W. Biegański, oprac. sceniczne M. Kołodziej. — Rec.: Cirlić Bronisław *(Pierwsza sztuka bułgarska na scenie polskiej)*, Życie słow. 7 (1952) nr. 9, 23—26. — Zidarovova *Carská milost* je první bulharskou hrou, která se dostává — díky utužení vzájemných kulturních styků — na polské jeviště. Recensent hodnotí tento fakt a oceňuje pokrokový význam tohoto díla, namířeného proti koburgovskému režimu. — Upozorňuji, že tento kus byl také shodou okolností první bulharskou hrou, která byla uvedena na větší jeviště československé (Národní divadlo v Praze). — *SW*

ARCHEOLOGIE

Generalia

Antoniewicz J., Gozdowski M.: *Wyniki badań powierzchniowych w dorzeczu górnego Orzyca.* Sprawozd. P. M. A. 4 (1951—1952) z. 3—4, 47—78, 30 ryc., 2 tab. — Zjištěno asi 20 lokalit různého období. Četné nálezy slovanské. — *AP*

*Hensel W., *Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna.* Poznań 1952, 380 str. 329 obr. — Dílo vyšlo zprvu jako universitní skripta a bylo později přepracováno knižně. Právem již upozornila česká kritika [Jan Filip, Arch. rozhl. 4 (1952) 75—76; 4 (1953) 111], že jde o prvý soustavný pokus tohoto druhu od doby Niederlovy. Toto druhé vydání je zaměřeno pro širší obec čtenářskou. Práce vychází z ekonomické základny a postupně probírá zemědělství, chov domácích zvířat, včelařství, lovectví a sběr, řemesla, osídlení a způsob staveb, hygienu, oděv a jeho ozdoby, dopravu, obchod a zbroj. Je provázena obsáhlým přehledem literatury a rejstříkem. Autor byl postaven před obtížný úkol zvládnout veliké množství výsledků nových výzkumů a vyrovnat se s bohatstvím nové literatury, zvláště sovětské. Úkolu se zhostil pohotově a úspěšně. Použil nejen všech základních poznatků, plynoucích z analysy hmotných památek, ale věnoval náležitou pozornost i pramenům literárním i výtvarným. V podstatě možno říci, že není opominuto nic, co slouží k rekonstrukci obrazu materiální kultury slovanské od 5. do poloviny 13. stol. Českému materiálu je tu věnována pozornost úměrná jeho významu. Kniha je vskutku vítanou příručkou metodicky velmi dobře sestavenou. — *RT*

*Jasienica P., *Świt słowiańskiego jutra.* Poznań 1952, 382 str. — Svěží reportážní zpracování výsledků polské archeologie, zvláště pokud se týkají začátků polské státnosti. — *AP*

Kierownictwo badań nad początkami Państwa Polskiego, 1949—1950. Studia Wczesnośredniowieczne 1 (1952) 205—208. — Přehled práce v těchto letech. — *MB*

Preidel Helmut, *Awaren und Slawen.* Südostforschungen 11 (1952) 33—45, 3 Abb. — Výzkum velatického pohřebiště přesvědčuje autora o slovanskosti keramiky pražského typu. Slížanský kostrový hrob považuje za germánský a datuje ho do 6. stol. V otázce etnogenese zůstává věren svému staršímu názoru. Na základě antropologického materiálu z českých zemí soudí na kontinuitu spodní třídy obyvatelstva u nás již od neolitu. Chudobu hrobů 5. a 6. stol. ve vých. Německu, v Čechách a na Moravě vykládá jako kulturní a hospodářské zdecimování obyvatelstva. Tyto poměry se prý mění příchodem Avarů do karpatské kotliny. Do území avarské říše pojímá autor vedle uherské nížiny i rakouské Podunají, Čechy, Moravu, jižní Slezsko a část středního Německa. Avarské panství nebylo prý pro Slovany porobou a kulturním poklesem, ale předpokladem rychlejšího kulturního růstu. Avarům vděčí prý Slované i za změnu pohřebního ritu. O tom prý svědčí hluboké jámy a hroby s výklenky. — Rec.: Filip J., Archeol. rozhl. 5 (1953) 268. — *AP*

Саламон А., *Успехи венгерских археологических исследований в 1951 году.* Acta arch. Acad. Hung. 2 (1952) 321—329. — Stručné zprávy o maďarských výzkumech, na př. v Zalaváru, někdejším sídle Pribinově a Kocelově. — *JE*

Treťjakov P. N., *Nové poznatky o dávných civilisacích na území SSSR.* Sov. věda — hist. 2 (1952) 52—66. — Předneseno na filosof. fakultě v Praze, 12. IX. 1951 Vedle hlavních problémů starověkých civilisací se zabývá i problémy slovanské civilisace a kultury staré Rusi. — *AP*

Успехи советской археологии. Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 308—313. — *AP*

Váňa Zdeněk, *Pravěk ústeckého kraje.* Ústí n. L. 1952, kraj. nár. výbor, 48 str.,

14 obr. — Popularisační spisek, zahrnující celý pravěk až po Slovany, určený široké veřejnosti. — *AP*

Зламковская Т. Д., *Первая научная сессия Болгарского археологического института.* Вестник древней истории (1952) № 4, 103—108. — Nejdůležitější referáty: Mijatev Ch. (organisace a úkoly bulharské archeologie), Dimitrov D. P. (otázka příchodu Slovanů na Balkánský poloostrov; nálezy ukazují vysokou hospodářskou a společenskou vyspělost Slovanů ve druhé pol. 1 tis. n. l.; jen tak možno vysvětlit rychlou asimilaci Protobulharů Slovany), Gerasimov T. (musejnictví). — *MB*

Metodologie

Kosven M. O., *Matriarchát.* Dějiny problému. Z rus. přel. Lubomír Kotačka. Red.: O. Nahodil. Praha 1952, Melantrich, 372 str. — *AP*

Machek Václav, *O možnosti revidovat některé názory o stavu staroslovanské kultury marxisticko-leninskou ideovostí a stranickostí proti objektivismu a kosmopolitismu ve vědě.* Sborník dokumentů I. ideologické konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně 27. února—1. března 1952. Praha 1952, Naše vojsko, str. 187—189. — Důležitý příspěvek k boji o nový názor na slovanský dávnověk. Germáni převzali slovo *pluh* a s ním i věc samu od Slovanů. Prajazykoví Indoevropané znali nejen dřevěné rádlo, ale měli na něm již i železný lemeš. Na slově *jizba* nelze založit výklad, že Slované převzali franský dům. Jde o problémy, které nelze řešit bez podrobné znalosti jiných věd, v daném případě archeologie a národopisu. Dosavadní archeologické nálezy nasvědčují tomu, že prajazykoví Indoevropané mohli znát nějaký lemeš, nikoli však železný. V boji o nový názor na slovanský dávnověk připadá významná úloha L. Niederlovi. — *JE*

Nasz Adolf, *Etnograficzne aspekty badań archeologicznych w Polsce.* Archeologia 3 (1949—1952) 28—44 (+ 18 ryc., 2 tab.). — Zdůrazňuje pomoc archeologie při řešení a datování etnografických problémů hmotné kultury (dům, pec, vůz a j.). — *AP*

Tret'jakov P. N., *K některým otázkám archeologické a historické práce v SSSR.* Sov. věda — hist. 2 (1952) 339—358. — Organisace vědecké práce v SSSR, hlavní úkoly sovětské archeologie, úkoly dalšího studia staré Rusi, spojené s vyjasněním slovanské etnogenese v době bronzové a v neolitu, výzkumné práce na velikých stavbách a některé úkoly sovětské historiografie. Předneseno v odd. historie ČSI 8. IX. 1951. — *AP*

Tret'jakov P. N., *Význam prací J. V. Stalina o marxismu v jazykovědě pro historickou vědu.* Sov. věda — hist. 2 (1952) 31—42. — *AP*

Tret'jakov P. N., *Základní momenty dějin SSSR.* Sov. věda — hist. 2 (1952) 43—52. — Stručný přehled problémů dějin SSSR včetně slovanského období. Předneseno v aule Slovenské university v Bratislavě 15. XI. 1951. — *AP*

Etnogenese

Бернштам А. Н., *Очерк истории гунов. I. История восточных гунов. II. История западных гунов.* Ленинград 1951, 256 стр. — Rec.: Кызласов Л. Р., Мерперт Н. Я.: Вестник древ. ист. (1952) № 1, 101—109. — *MB*

Брюсов А. Я., *Совещание по методологии этногенетических исследований.* Вестник древней ист. (1952) № 1, 196—206. — Na poradě byla zdůrazněna nutnost spolupráce různých vědeckých disciplin při zkoumání etnogenese (archeologie, jazykověda, historie, etnografie) a v referátech objasněny úkoly těchto jednotlivých disciplin. Velká pozornost věnována etnogenesi Slovanů. P. N. Tret'jakov se ve svém referátu pokusil sledovat slovanská plemena od historických slovanských kmenů a archeologických památek jim náležejících přes praslovanské kultury v 1. tisíciletí před n. l. (kultura

lužická, dněstersko-středodněperská a hornodněperská) až k pastýřsko-zemědělským kmenům v jižnější části Ruska v 2. tisíciletí před n. l. — *MB*

Coblenz W., *Grabfunde der Mittelbronzezeit Sachsens.* Dresden 1952, Landesmuseum für Vorgeschichte, 176 S., 72 Taf. — Národní příslušnost lužické kultury není dosud vyřešena. — *JE*

Eisner Jan, *Prof. Petr Nikolajevič Treťjakov a studium slovanského dávnověku.* Sov. věda — hist. 2 (1952) 67—70, 1 obr. — Velký význam Treťjakovův v studiu slovanské etnogenese. Slovanská věda se vrací k Niederlově představě o oblasti, kde se Slovansko rodilo. — *AP*

Фабриціус І. В., *До питания про топографізацію племен Скіфії.* Археология 5 (1951) 50—79. — Rec.: Тереножкин А. И., Вестник древней ист. (1952) № 2, 147—153. — *MB*

Федоров Г. Б., *Работа славяноднестровской экспедиции.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 83—92. — Zjištěna souvislost osídlení Moldavie od doby pohřebních polí až do 12. stol. Sídliště z doby pohřebních polí jsou považována za raně slovanská. Z 1. stol. před n. l. vykazují keramiku lipickou, v prvních stoletích n. l. variant keramiky černjachovské z 2.—6. stol. n. l. Jsou tam však i sídliště s keramikou přechodného rázu od keramiky pohřebních polí až ke keramice staroruské. Ornamenty, materiál a technika těchto přechodních nádob jsou typické pro keramiku staroruskou, ale jejich tvar zachovává formu nádob polí pohřbeních. Lze proto předpokládat, že v Moldavii na pravém břehu Dněstru přešla slovanská kultura pohřebních polí během 6.—9. stol. postupně v kulturu staroruskou. Na jihu ve stepní Moldavii trvalo slovanské osídlení jen do 9. stol., nejpozději do začátku 10. stol. V lesostepi mezi Dněstrem a Bugem trvalo do počátku 12. stol. Objeveno tam celkem 6 hradišť z této doby. Nejvíce nálezů poskytlo hradiště u vsi Jekimancy. Slovanské památky v Moldavii jsou archeologickým odkazem Tiverců, kteří chovali koně vysokého vzrůstu proti koním nízkého vzrůstu z oblasti stepní. Provozovali orbu těžkým pluhem. O stycích s ostatní Rusí svědčí na př. karneolové korály a přesleny z ovručské břidlice. — *JE*

Федоров Г. Б., *Сессия Института истории материальной культуры АН СССР посвященная археологии Прибалтики.* Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952) 3—13. — K studiu slovanské etnogenese a svérázu východoslovanských kmenů. — *JE*

Filip Jan, *Indoevropská otázka a lid se šňůrovou keramikou.* Arch. rozhl. 4 (1952) 38—59. — Významný rozbor nových prací o kultuře se šňůrovou keramikou. Její lid podrží podle autora určitou důležitost v indoevropské problematice i do budoucna. — *JE*

Фосс М. Е., *Древнейшая история севера европейской части СССР.* Материалы и исследования по археологии СССР № 29. Москва 1952, АН СССР, ... стр. — Důležité pro studium slovanské etnogenese. — *AP*

Gasparini Evel, *La cultura lusaziana e i Protoslavi.* Ricerche slav. 1 (1952) 67—92. — Kultura lužická nebyla slovanská; autor tak soudí z toho, že Slované nespalovali vždy své mrtvé, že nechovali ve větší míře koně a neznali tudíž jízdu jako speciální vojenský útvar, že neznali téměř meč a že jejich náboženské představy byly příznačné pro stepní oblast. Připouští ovšem jisté vlivy kultury lužické, kterou Slované nepochybně byli zasaženi, ale ty jsou podle něho neporovnatelně menší než vlivy, kterými lid lužické kultury ovlivnil Kelty a Germány. Kultura slovanská se pak autoru jeví jako kultura dosti záhadná s nepochybnými přežitky matriarchálními a neolitickými. — *AP* — Ref.: Slovo 1 (1952) 81—82. — „Vzal si těžký a nevděčný úkol odvodit slovanskou kulturu od lužické a uvést ji v souvislost s různými kulturami africkými, austrasijskými a austroneskými.“ (Podle referátu.) — *FVM*

Hołubowicz H., Hołubowicz Wł.: *Z badań na Ślęży w r. 1949.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 119—148, 36 tab. — Zjištěny dvě fáze opevnění, lužická a raně středověká. — *MB*

Jasnosz S., *Badania powierzchniowe nad Rypienicą i Pissą.* Sprawozdania P. M. A. 4 (1951—1952) z. 3—4, 79—88, 14 ryc., 1 mapa. — Zjištěno 11 lokalit většinou z římského a slovanského období. — *AP*

Калинин Н. Ф., *Экспедиция по западным районам татарской АССР.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 52—66. — O goroděcké kultuře. — *JE*

Kostrzewski J., *Stosunki między ziemiami polskimi a terytorium Czechosłowacji w pradziejach.* Przegl. zach. 8 (1952) z. 9/10, 96—112, 13 ryc. — Podává stručný, ale vyčerpávající přehled styků obou území během celého pravěku. — V 3. a 4. stol. přichází na území Slovenska do poříčí horní Tisy lid kultury przeworské, pohřbívající žárově. Němečtí badatelé v něm vidí Vandaly. Autor však pokládá tyto hroby za stopy pronikání Slovanů ze Zakarpatí na jih. — *AP*

Ляпушкин И. И., *Раннеславянские поселения Днепровского лесостепного Левобережья.* Сов. археол. 16 (1952) 7—41, 19 рис., 1 карта. — Stať založená na četných autorových výzkumech a na rozsáhlé literatuře je věnována rozboru borševsko-romenské kultury a podává dějiny jejího poznávání. Skutečnost, že charakteristické prvky této kultury (hrubá keramika hotovená nálepem, svérázně zdobená, množství kostěných věcí, polozemnice) nacházíme na různých místech staré Rusi, dává autorovi naději, že se jednou podaří dokázat, že kulturní jednota východoslovanská, jak ji známe z 10.—13. stol., má svůj počátek už před vznikem Kyjevského státu. Na jednotnost původní keramiky východoslovanské ukazuje i Ja. V. Stankevič a J. Eisner (Děvínská Nová Ves). Romensko-borševská kultura v levobřežní dněperské lesostepi je podle autora v podstatě jen nepatrnou a velmi pozdní částí velikého masivu raně slovanských sídel v ruském pohraničí lesostepi a lesa. Je objevována většinou na malých hradištích a sídlištích za jejich valy. Ze skythských opevnění použili Slované jen těch, která odpovídala jejich vlastním opevněním. Slovanský lid si stavěl polozemnice téměř o půdorysu čtvercovém (3 × 4 nebo 4 × 5). Pece byly hlinobitné, pravděpodobně zprvu krychlové, později polokruhovité. V zásobních jamách se uschovávalo obilí i maso. Tři čtvrtiny kostí náleží domácím zvířatům. Podrobný popis keramiky zdobené prostými motivy buď otisky zoubků hřebínkovitého nástroje nebo otisky tyčinky ovinuté provázkem. Některé nádoby jsou snad částečně opracovány na kruhu. Jiné jsou přechodem k velkoknížecí keramice 10.—13. stol. a mají méně výraznou profilaci. Jsou vyrobeny na primitivním kruhu a je na nich vedle starých výzdobných motivů už vlnice i páska. Na Monastyrišči u Romen byly památky z několika pravěkých období. M. Makarenko vyobrazuje *(Орнаментація керамічених виробів в культурі городищ роменського типу,* Niederlův sborník 4 [1925] 323—338, 2 tab.) keramiku z doby bronzové i střepy s liniovým a vlnitým ornamentem z doby velkoknížecí. Tamní polozemnice nepocházejí všechny z rané doby slovanské právě tak jako přeslen z růžové břidlice, který patří do doby velkoknížecí. — *JE*

Латышев В. В., *Известия древних писателей о Скифии и Кавказе.* Дополнения. Вестник древней ист. (1952) № 2, 265—323. Часть первая: Греческие писатели 265—302. Часть вторая: латинские писатели 302—323. — Překlad těch výňatků z řeckých a římských zpráv, které se týkají Skythů. — *MB*

Młynarska Marta, *O pochodzeniu Słowian.* Życie Słowiańskie 7 (1952) nr. 12, 18—22. — Přístupně psaný přehled současného stavu sovětského bádání o etnogenesi Slovanů, opírající se hlavně o výsledky Treťjakovovy. — *FVM*

Моора Х. А., *Некоторые вопросы археологического исследования Прибалтики.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 24—39. — Cenný přehled pravěku a rané doby dějinné. Materiální kultura Pobaltí má po celou dobu svého vývoje mnoho společných rysů. Asi od poloviny 1. tisíciletí před n. l. lze v archeologickém materiálu pozorovati postupnou genesi těch etnických skupin, z nichž se potom vytvořily baltské a finské národy. V prvních stoletích n. l. se zesilují spoje Pobaltí s Podněpřím. Svědčí o tom emailované šperky. Styky se Slovany se začínají v 5. stol. Památky z jihozápadního Lotyšska, ze sousedních pobřežních oblastí Litvy i z dolního Němenu v 1. až 4. stol. představují zvláštní skupinu. Mohyly s kolektivními pohřby jsou vystřídány individuálními pohřby v jámách. V hospodářství těchto plemen se ujímá sekání sena a nastává přechod k stájovému chovu dobytka. Svědčí o tom krátké kosy v mužských hrobech. — *JE*

Сміленко А. Т., *Про деякі датуючі речі в культурі полів поховань.* Археологія 6 (1952) 51—72, 3 таб., 2 обр. — О некоторых датирующих вещах в культуре полей погребений. Археологія 6 (1952) 72—73. — Rozbor amfor i jiných keramických a skleněných importů svědčí o rozsáhlých spojích a majetkové diferenciaci lidu pohřebních polí. Nálezy zároveň datují naleziště. — *JE*

Смирнов Г. Д., *Раскопки скифского кургана близ городища Калос Лимен.* Вестник древней ист. (1952) 4, 187—192. — Ze skupiny kurhanů prozkoumán jeden, ve kterém byly nalezeny 2 pohřby, bohatý dětský a chudší ženský. — *MB*

Смишко М. Ю., *Раннеславянская культура Поднестровья в свете новых археологических данных.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 67—82. — Lipická kultura horního Poděstří sahá až do dněsterských nížin. Je raným obdobím slovanských pohřebních polí. Začíná v posledním století před n. l. a trvá do konce 3. stol. n. l. Přibližně uprostřed 3. stol. přestávají římské importy na horní Dněstr a styky tamního lidu s podunajskými Dáky slábnou. Ztrácí se tak zvláštní ráz, kterým se lipická kultura kdysi lišila od jiných raně slovanských kultur. Postupně mizí typické lipické nádoby (miska na vysoké nožce a džbánek s dvěma uchy). Pohřební pole trvají v Podněstří až do 6. stol. a jsou tam i nálezy ze 7. a z 8. stol. Čím dále je patrnější kontinuita osídlení Podněstří již od 1. stol. př. n. l. do doby Kyjevské Rusi, kdy tam sídlil kmen Tiverců. — Studium vývoje lipických zásobnic s okružím bude třeba založit na široké základně, protože obdoby k nim jsou i na Slovensku. Obdoby k hrubé keramice lipické lze stopovat až do Bulharska. — *JE*

Тереножкин А. И., *Поселения и городища в бассейне реки Тясмина.* Крат. сообщ. ИИМК 43 (1952) 80—98. — Ve středním Podněpří jsou z bronzové doby neopevněná sídliště. Z doby předskythské jsou tam jednak jako starší, památky typu bělogrudovského, a jako mladší, památky typu černoleského. V době černoleské se tam žilo v četných, ale malých rodových opevněních, která jen zřídka dosahují velikosti 2 ha. Pohřbívalo se žehem do popelnic. Svérázné jsou lité náramky. Počátek doby skythské lze s B. N. Grakovem klást do druhé polovice 7. stol. V době skythské byla v zemědělské lesostepi budována ohromná opevnění, jako hradiště Matroninské, Pastěrské, Chotovské a především Bělské a Němirovské. Opevnění jsou patrně prací celého plemene, neboť v této době snaha po zachování samostatnosti se při malých hradech stala nemožnou. Skythský vklad do kultur místního lidu byl veliký (kostrová mohyla, výzbroj, výstroj válečného koně a nakonec zvěrný styl). Ačkoli se u nás o slovanskosti skythských kultur uvažuje již od dob Niederlových, uvádí autor, že česká a polská věda kladla omylem rovnítko mezi kulturou a etnosem a zavrhovala slavinitu zemědělských plemen ve středním Podněpří ve skythské době. O kontinuitě a slavinitě pohřebních polí prostřednictvím typu korčevatovského od místní skupiny doby skythské nelze pochybovat. Údaje o době

černoleské a bělogrudovské dovolují vést dějiny Slovanů z Podněpří až do doby předskythské. — *JE*

Т р е т ь я к о в П., *О происхождении славян.* Славяне (1952) 7, 26—32. —Výsledky bádání sovětských archeologů ukazují, že zprávy počátečního letopisu o východoslovanských kmenech je třeba vztahovati nikoli k 8. a k 9. stol. n. l., nýbrž k době značně dřívější, neboť archeologický materiál z 8. a 10. stol. n. l. svědčí již o jejich postupném odumírání a rozpadu. V 10. a 11. stol. dochází pak vlivem nových sociálně ekonomických podmínek v tomto prostředí k značným změnám v kulturním vývoji. Hmotná kultura východoslovanských kmenů svědčí o staré tradici, a to jak na severu, kde se její prvky zřetelně jeví v hospodářství, v stavbě domu, charakteru osad, ozdob atd., tak na jihu, který souvisel tak či onak s římskou periferií. Z toho vyplývá, že jednotlivé kmeny měly od pradávna své místní předky a že se kmeny severnější nedostaly do svých sídel rozsídlením z jihu. Bezesporný nálezový materiál z 6., 7. a 8. stol. svědčí o genetické souvislosti kmenů ve středním Podněpří a na Dněstru s lidem pohřebních polí (z doby okolo počátku n. l. a v jeho prvních stoletích), který představuje převážně raně slovanské obyvatelstvo s kulturou blízkou soudobé kultuře przeworské, lišící se však od ní některými specifickými rysy a vyšší vyspělostí zvláště v řemeslné výrobě. Ze srovnání kultury lidu pohřebních polí s kulturou předchozího osídlení vyplývá velmi pravděpodobný, byť ne ještě definitivní závěr, že jsou potomky řady místních kmenů skythské doby. Byly to zejména některé kmeny severozápadní Skythie, snad Herodotovi Neurové, a dále některé kmeny, zahrnuté pod názvem Skythové-Oráči a Skythové-Zemědělci. Naprosto nesprávný je však názor některých dřívějších badatelů, že předky raně slovanských kmenů pohřebních polí byli Skythové vůbec. Své místní předky měly i kmeny slovanské severnějších oblastí. V archeologickém materiálu se zřetelně odlišují od předků ugrofinských kmenů v Povolží, na severu a v Pobaltí a od baltských kmenů jižního Pobaltí. — Raně středověké Slovanstvo mělo tedy tři skupiny místních předků: 1. na západě kmeny lužické kultury, 2. skupinu kmenů na Dněstru a středním Dněpru, 3. skupinu kmenů na horním Dněpru. Podle názoru autorova byla předky těchto skupin část kmenů se šňůrovou keramikou, která povstala v lůně skupiny středoevropských lovecko-pastýřských a primitivně zemědělských kmenů, usídlených v oblasti Visly, Odry a částečně v Pobaltí a rozsídlila se na východ od Dněpru. — *BZ*

З а х а р у к Ю. М., *Нові знахідки кераміки середньодніпровської культури.* Археологія 6 (1952) 126—129. — *AP*

З л а т о в с к а я Т., *Конференция ИИМК АН СССР по вопросам скифо-сарматской археологии.* Вестник древней ист. (1952) № 3, 173—185. — Revise marrovských názorů; velká pozornost věnována slovanské etnogenesi. Závěr: Ve skythském období se ve východní Evropě rýsují čtyři oblasti. 1. Lesostep, Moldavsko a Ukrajina — pravděpodobně praslovanské kultury. 2. Step, dolní Bug, dolní Dněpr a Přiazoví — vlastní skythská oblast (otrokářský stát). 3. Kultura sindo-moeských kmenů v Přikubání a východním Přiazoví. 4. Sarmatská kultura, vznikající již v 7.—8. stol. Shodné rysy těchto kultur lze objasnit historickými svazky, ve kterých hlavní roli hrály vlastní skythské stepní kmeny, obohacující ostatní kmeny kulturními i obchodními svazky. („Skythské kulturní elementy“: zbraně, koňská výstroj, zvěrný styl.) — *MB*

З б р у е в а А. В., *История населения Прикамья в ананинскую эпоху.* Материалы и исследования по аархеологии Урала и Приуралья. Том 5. Материалы и исследования по археологии СССР, № 30. Москва 1952, АН СССР. — Důležité pro studium etnogenese východního Slovanstva. — *AP*

Mezislovanské vztahy

Королюк В. Д., *К вопросу об отношениях Руси и Польши в X веке.* Крат. сообщ. Инст. слав. (1952) № 9, 43—50. — Příspěvek k otázce, byla-li t. zv. Červená Rus r. 981 v držení polských knížat. Srovnáním pramenů (Ibrahim Ibn Jakúb, Dagome Iudex, Cosmas), které tuto možnost vylučují, i vnitřním rozborem zprávy ruského letopisu k r. 981 dochází k názoru, že slovanské kmeny na tomto území sídlící byly v této době ještě nezávislé jak na Polsku, tak i na Rusi. Zpráva ruského letopisu o výpravě Vladimírově proti Červené Rusi k r. 981 je zkomolena dle situace z prvé poloviny 11. stol. — *JM*

Expanse

Colectivul de cercetări arheologice al Academiei R(epublicii) P(opulare) R(omâne): Şantierul „Aşezări slave în regiunile Mureş şi Cluj". Studii şi cercetări de istorie veche 3 (1952) 311—348, s obr. — V Căpuşul Mare (okr. Kluž) prozkoumáno 15 slovanských kostrových hrobů orientovaných západ—východ. Ve dvou hrobech zbytky kmenů, snad rakví. Kosti přeházeny patrně při vyloupení, avšak některá zjištění svědčí pro domněnku, že tělo bylo před pohřbem úmyslně rozděleno jako součást ritu. Inventář hrobů poměrně chudý (oboustranné hřebeny, železné nožíky, přezky, dýky, listovité a trojbřité šipky). Nalezena jediná jednoduchá nádoba s baňatostí v polovině výšky, vyrobená na hrnčířském kruhu. Nález římské spony v jednom z hrobů není závažný pro chronologické zařazení, neboť římské spony se objevují v Transylvanii i na jiných pohřebištích z druhé poloviny I. tisíciletí. Pohřebiště lze datovat podle listovité šipky s tulejkou do 8. stol. — V Gilău (okr. Kluž) v jámách z doby pořímské nalezeny střepy hrubých nádob, připomínající keramiku, jíž J. Eisner (*Dev. Nová Ves*, 248 n.) nazývá potiskou. — V Moldoveneşti (okr. Turda) zjišťovací výzkum na slovanském sídlišti, k němuž náleží pohřebiště datované mincemi z 11.—12. stol. Do 11. stol. je kladeno též slovanské sídliště v Lechinţa de Mureş (okr. Luduş), kde byla prozkoumána dvě obydlí. — Významné pro poznání Slovanů v Sedmihradsku je zahájení výzkumu na rozlehlém hradišti v Moreşti (okr. Targu Mureş) ze 7. až sklonku 11. stol. Jeho opevnění bylo vybudováno v několika stavebních fázích. Obydlí částečně zapuštěna do země. Keramiku moreštského hradiště lze dle dosavadních zjištění zařadit do tří skupin: 1. Nádoby zhotovené pouze v ruce, které se až dosud vyskytly jen řídce. 2. Keramika popelovité barvy, jež je vyrobena na hrnčířském kruhu a je mnohem početnější než prvá; je zčásti shodná s keramikou z nedalekého pohřebiště v Bandu z poč. 7. stol. Některé střepy z hradiště pocházejí však z nádob již více vyvinutých. Do 8. stol. náleží patrně zlomky ze dvou konvic s trubkovitými nálevkami, jaké bývají na avarských pohřebištích v Pannonii. 3. Načervenalé nádoby se značkami ve dnech, ozdobené vlnovkou a rýhami. Lze je klásti do 9. až začátku 12. stol. Je otázkou, v jakém vztahu bylo moreštské hradiště ve svém počátečním vývoji k avarskému panství v Pannonii a později k říši moravské a bulharské. Maďaři do té oblasti pronikali jen zvolna, jak svědčí dějepisné zprávy, topická jména a archeologické nálezy. Slované postupem doby splývali s rumunských obyvatelstvem a v 11. stol. bylo moreštské knížetství připojeno k uherskému státu. — *JK*

Веймарн Е. В., Стржелецкий С. Ф.: *К вопросу о славянах в Крыму.* Вопр. ист. (1952) № 4, 94—99. — Slovanské památky se objevují v mohylnících horního Krymu v době sarmatského osídlení, počínaje 3. stol. n. l. Nálezy z 6—7. stol. a z následujících století jsou svědectvím slovanské expanse od Dněpru k Černému moři, ústí Donu a Kubáně. Vývoj je zaražen tatarským vpádem v 13. stol. Ve vykopávkách v Korsuni odkryto mnoho slovanských památek z 11.—13. stol. (typická keramika, zbroj, šperk). — *AP*

L e w i c k i T., *Osadnictwo słowiańskie i niewolnicy słowiańscy w krajach muzułmańskich według średniowiecznych pisarzy arabskich.* Przegl. hist. 43 (1952) 472—491. — Slované se objevují na území arabského státu již v 7. stol., a to jednak jako otroci, jednak jako svobodní rolníci. Velmi často se jich užívalo jako tlumočníků při uzavírání obchodů se slovanskými kupci. Mezi otroky zaujímali téměř vždy výjimečné místo a někdy i státní úřady. — *AP*

Hospodářský vývoj

Zemědělství, chov dobytka

D ą b c z e w s k i Z., *Szczątky rybie z grodu gdańskiego z XIII. w.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 93—95. — *MB*

H e n s e l W., *Gospodarka rolna i ogrodowa Słowian w okresie wczesnośredniowiecznym.* Sprawozd. P. M. A. (1952) zesz. 3—4, 15—46, 14 ryc. — Přehled dnešního stavu bádání o některých otázkách slovanského zemědělství (zemědělské nástroje, péstované druhy obilí, vařivé plodiny i ovoce, způsoby zpracování a ukládání obilí a pod.) na základě historických a archeologických pramenů. — *RT*

H e n s e l W., *Wczesnośredniowieczny krój z Nieborowa w pow. Pyrzyckim.* Z otchłani wieków 21 (1952) 100—102, 1 ryc. — V jámě o rozměrech 3 × 4 m nalezeny 3 nádoby a železné krojidlo pluhu z konce 10. a zač. 11. stol. — *AP*

I w i ń s k i J., *Częściowa mineralizacja tkaniny wykopaliskowej z grodu gdańskiego z XIII. w.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 83—84, 2 tab. — Nalezené tkaniny byly z ovčí vlny. — *MB*

J a w o r s k i Z., *Szczątki zwierząt ssących i ptaków z grodu gdańskiego z XIII. w* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 85—92. — Z domácích zvířat byly nejhojněji nalezeny pozůstatky vepře, o něco méně hovězího dobytka (Bos brachyceros europaeus a Bos taurus primigenius). Pozůstatky koně, ovce a zvláště kozy byly vzácnější. Kromě toho byl chován pes, kur domácí a husa. Pozůstatky lovné zvěře byly vzácnější (z nich nejhojnější pozůstatky divokého vepře, losa, srny, jelena a j.) — *MB*

J i r s í k J., *Kur domácí v době hradištní.* Arch. rozhl. 4 (1952) 64—65. — Zpráva o odborném zpracování nálezů zvířecích kostí nalezených na slovanském hradišti u Zábrušan. — *AP*

K r y s i a k K., *Charakterystyka materiału zwierzęcego ze stanowiska wczesnośredniowiecznego w Jeziorku, pow. Giżycko.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 227—234. — Rozbor nálezů zvířecích kostí na hradišti pruského kmene Galindů v Jeziorku. První místo zaujímá hovězí dobytek, pak ovce, kůň, vepř, též lovná zvěř. — *ZV*

M ą d a l s k i J., *Tymczasowe sprawozdanie z prac nad szczątkami roślinnymi z wykopalisk w Gdańsku.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 97—98. — *MB*

R a t a j J., *Slovanská obilnice v Chrudimi.* Arch. rozhl. 4 (1952) 453—454, 2 obr. — V obilnici byla starobylá zásobnice nejspíše ze starší fáze střední doby hradištní. Stěny nebyly vydřeveny ani vymazány hlínou. — *AP*

С и м о н о в и ч Н. О., *Млинове спорудження перших століть н. е. на південному* Бузі. Археологія 6 (1952) 97—107, 2 таб. 3 обр. — Мельничное сооружение первых веков н. і. на южном Буге. Археологія 6 (1952) 107—108. — Na sídlišti mezi osadami Sinicevkou a Sabatinovkou byl mlýn z 3.—4. stol. n. l. Byla to okrouhlá ploška z kamení a ze střepů. Mezery mezi nimi byly vymazány hlínou. Uprostřed plošky byla dolní část žulového žernovu. Většina střepů patřících nálezu je z nádob na úschovu zásob, ze zásobnic a amfor. Jde o místní variantu černjakovské kultury. Ani v Římě a v jeho provin-

ciích Gallii a Germanii nebylo takových konstrukcí. Je to svérázný ruční mlýn slovanského lidu pohřebních polí. Obdoba je v Řezakách v Lužici (L. N i e d e r l e, *Rukověť slovanské archeologie*, obr. 114). Nález je novým dokladem kulturní jednotnosti dávného Slovanstva. — *JE*

В и т т В. О., *Лошади Пазырыкских курганов*. Сов. археология 16 (1952) 163 až 205, 23 рис. — Důležité pro historii koně u jezdeckých národů. — *JE*

Z a b ł o c k i J., *Szczątki roślinne ze stanowiska wczesnośredniowiecznego w Jeziorku, pow. Giżycko, wydobyte w roku 1950*. Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950 až 1952) 211—226. — Rozbor nálezů rostlinných zbytků z hradiště pruského kmene Galindů v Jeziorku. Cenný je zde zejména nález pšenice druhu Triticum spelta. Rozbor uhlíků ukazuje na lesní komplex typu Querceto-Carpinetum. — *ZV*

Řemesla, umění

A n t o n i e w i c z J., *Wyniki prac wykopaliskowych na grodzisku i podgrodziu w Jeziorku, pow. Giżycko, w 1950 r.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 235—256. — Výzkum sídlištního komplexu (hradiště a přilehlé osady) na území pruského kmene Galindů. Nálezy rostlinných a zvířecích zbytků umožňují představu o hospodářské struktuře obyvatelstva. V osadě se patrně nacházela dílna na zpracování kostí Podle keramiky datuje objekt do 11.—13. století. — *ZV*

Б е р е з о в е ц ь Д. Т., *Харивський скарб*. Археологія 6 (1952) 109—118. — *Харивский клад*. Археологія 6 (1952) 118—119, 4 таб. — První podnět ke klenotnictví historického východního Slovanstva dalo římské klenotnictví. Jeho vlivem se ujala nad středním Dněprem ve 4. a 5. stol. výroba na př. emailovaných a prolamovaných spon. Na vývoji se zúčastnil i vliv bosporských dílen. Projevuje se především v 6. až 7. stol. ve středním Podněpří výrobou paprskovitých spon a jejich odrůd. Byzantský vliv jako třetí prvek vývoje východoslovanského klenotnictví se projevuje v 7. stol. především na Volyni. Účastní se i vývoje klenotnictví na slovanském západě, především na Moravě. K byzantským památkám se hlásí u nás poklad ze Zemianského Vrbovku s typickými náušnice s jednou perlou. Nový bohatý a typický poklad tohoto druhu byl nalezen u vsi Charivki v Putivľském rajoně v Sumské oblasti. Jsou v něm zlaté a stříbrné náušnice s jednou perlou, stříbrné lunicovité náušnice s hvězdicí, stříbrné hřivny na hrdlo, masivní stříbrné náramky se zesílenými konci a jiné věci. Jsou v něm však i tři stříbrné anthropomorfní spony, které jsou považovány za slovanský šperk. Autor ukazuje na podobné nálezy z Pastyrského hradiště, které jsou však v podstatě bronzové a jsou lité V popisovaném pokladě není však ani jediné lité věci a technika jeho šperků (granulace, imitace filigránu) upomíná na klenotnictví Kyjevské Rusi. Šperky nesou stopy, které svědčí o tom, že byly nošeny. V pokladě bylo 110 mušlí Cypraea moneta. Nádoba, do níž byl poklad uložen, má obdoby na pohřebišti a sídlišti volyncevském ze 7.—8. stol. Do téže doby náleží též poklad. — *JE*

Č e r n o h o r s k ý K., *Keramika a feudalismus*. Český lid 39 (1952) 223—230, 9 obr. — Podnětná studie o výrobě slovanské hradištní keramiky. Byla dlouho hotovena nálejem na ručním kruhu. Dosáhla při tom značné dokonalosti a stala se prací řemeslnou. Nožní kruh se v její výrobě ujal velmi pozdě. Pod vlivem prací B. A. R y b a k o v a se slovanská archeologie nyní pilně věnuje technice řemeslné práce. — *JE*

Г е о р г и е в а С., *Разкопки на обекта «Горно градище» при с. Кадкой*. Изв. на Археологическия инст. 18 (1952) 259—284, 53 обр. — Výkop dosvědčil neolitické, latenské a pozdně antické osídlení výšiny. Římská pevnost z 3.—6. sto.. byla v 6. stol vyvrácena Slovany, kteří se usadili asi 1 km jihozápadně od pevnosti. Práce je důležitá pro studium vývoje slovanské keramiky. — *AP*

Gozdowski M., *Rzeźba głowy ludzkiej z Dąbrówki, pow. Radomsko.* Sprawozdania P. M. A. 4 (1951—1952) z. 3—4, 149—154, 3 ryc. — Vylovena z řeky Varty (materiál olše). Nelze ji datovat, protože nebylo průvodních nálezů. Analogické nálezy v Polsku a v Meklenbursku a místní názvy v nejbližším okolí (*Światowicki las*) dávají tušiti její staroslovanský ráz. — *AP*

Гуревич Ф. Д., *Древние памятники юговосточной Прибалтики и задачи их изучения.* Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952) 13—23. — V památkovém inventáři královecké (kaliningradské) oblasti z konce I. a poč. II. tisíciletí je slovanská keramika s ornamentem liniovým, vlnitým i vzorky kolkovaným, které autor považuje za znak západoslovanské keramiky. — Jediná památka, kterou lze považovat za normanskou, je mohylový žárový hřbitov Viskiantem u vsi Mochovoje u Zelenogradska. V jeho inventáři je mnoho skandinavských věcí. — Ruského původu je trubicovitý zámek, třmen, který upomíná na vzory z oblasti kultury saltovské. Východního původu je křesadlo nomádského tvaru. Sekera má jednak tvar nordický, jednak pobaltský, jaký známe na př. z Kyjeva nebo z Rajek u Berdičeva. — *JE*

Hołubowicz W., *Jak badamy wczesnośredniowieczną ceramikę zachodnich Słowian.* Z otchłani wieków 21 (1952) 37—41. — S prohlubováním třídních rozdílů u západních Slovanů se domácí výroba keramiky, kterou zprvu hotovily ženy nálepem, změnila v práci mužů, kteří se neobírají zemědělstvím, a jsou tedy řemeslníky. Doplněk k pojednání K. Černohorského. — *JE*

Horedt K., *Ceramica slavă din Transilvania.* Studii şi cercetări de istorie veche 2 (1951) 2, 189—232. — První soupis slovanské keramiky ze 7. až 12. stol., uložené v sedmihradských museích. Její popis, typologické roztřídění a chronologické zařazení. Slovanské osídlení zejména v údolí řeky Maruše. — *JK*

Ka., *Záchranný výskum v Malej Udiči na Slovensku.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 30 až 32, 3 obr. — Při záchranném výkopu na soutoku Marikovského potoka a Váhu se přišlo mezi jiným i na osamocené zlomky nádob ze starší a střední doby hradištní. — *AP*

Kietlińska A., Hildt T.: *Materiały z Cieszyna. Drewniana „siekierka" wczesnośredniowieczna z Góry Zamkowej w Cieszynie.* Sprawozdania P. M. A. 4 (1951 až 1952) z. 3—4, 124—126, 2 ryc. — Dřevěná sekerka je napodobeninou železných sekerek užívaných na Pomoří, v Mazovsku, v Litvě i ve Slezsku. Mohla sloužit jako dětská hračka, právě tak jako kultovní náčiní nebo jako součást nějakého nástroje. — *AP*

Musianowicz Krystyna, *Mazowieckie naczynia z cylindryczną szyjką na tle słowiańskiego materiału porównawczego.* Wiadom. archeol. 18 (1951—1952) 345—370, 21 ryc. — Nádoby s válcovitým hrdlem jsou charakteristické především pro severozápadní slovanské území. Na slovanském jihu a západě jich nenalézáme. Na východě se objevují vzácně a autorka je pokládá za stopy pronikání západních elementů na východ. — V Čechách je našel Zd. Váňa na zabrušanském hradišti, a pokládá je za projev severoslovanských vlivů. — Arch. rozhl. 4 (1952) str. 294 a d. — Autorka dělí hrnce s válcovitým hrdlem na několik skupin. Jednu z těchto skupin, nádoby sudovitých tvarů, nacházíme na Mazovsku zvláště často na hřbitovech s hroby obloženými kameny. V podobných nálezech na pohřebištích mimo mazovské území vidí autorka mazovskou expansi do nejbližšího sousedství. Dalším typickým tvarem pro mazovská pohřebiště jsou malé nádobky s válcovitým hrdlem (7—10 cm). Jinde nejsou známy. Lze je pokládat za speciální mazovskou pohřební keramiku. Nádoby s válcovitým hrdlem jsou obvykle robeny na kruhu a velmi vzácně je nacházíme robené v ruce. Zdá se, že se po prvé objevují s výskytem hrnčířského kruhu v druhé pol. 9. stol. Nejhořejší mez jejich výskytu je konec 12. a 13. stol. V 11. stol. v nich nacházíme stříbrné poklady. Rovněž lze pozorovat značný rozdíl

mezi výrobky městských a venkovských řemeslníků. Protože na území těchto nádob nenacházíme nádoby lahvovité, soudí autorka, že nádoby s válcovitým hrdlem sloužily především k uchovávání tekutin. — *AP*

Nadolski A., *Z problematyki badań nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem polskim.* Z otchłani wieków 21 (1952) 149—153. — *AP*

Рабинович М. Г., *Раскопки в Москве в 1950 году.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 116—124. — Doklady o výrobě železa z 11. stol. Vedle obyčejných lup, známých z ruských měst, byla tam struska, která byla slévárna do hliněných hrnců. Do 12. stol. náleží dílna ševce, který byl současně i koželuhem. Z konce 11. stol. je plomba z některého města v západním Německu. Doklady o rybolovu. Drenážni stavby z 15. stol. mají stejnou konstrukci jako novgorodské trouby odvodního systému z 12. stol. — *JE*

Самойловский I. М., *Новий скарб часів Київської Русі.* Археологія 6 (1952) 120—125, 5 обр. — Poklad typických památek kyjevského klenotnictví z 12. stol. Ve stříbrné číši bylo 6 peněžních stříbrných hřiven typu kyjevského a novgorodského, dva stříbrné koliéry pozlacené, jeden elektronový koliér a dva zlaté honosné kolty. — *JE*

Смирнов А. П., *Археологические исследования 1950 года в зоне строительства Куйбышевский ГЭС.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 17—29. — Několik břidlicových přeslenů z hradiště Velikije Bolgary svědčí spolu se slovanskou keramikou o těsném spojení s Rusí. Hojné obilné jámy. — *JE*

Szafrańska Z., *Ornamenty na przęślikach wczesnośredniowiecznych z ziem polskich.* Slavia antiqua 3 (1951—1952) 179—194, 14 ryc. — Výzdoba přeslenů odpovídá touze po pěkném předmětu a slouží jako poznávací znamení při přástkách. — *AP*

Szafrański W., *Domniemane „kowadełka" wczesnośredniowieczne.* Slavia antiqua 3 (1951—1952) 202—207, 7 ryc. V Biskupimi byly v r. 1949 nalezeny ve vrstvě z 10.—11. stol. 3 záhadné železné předměty. Na základě národopisných analogií je autor pokládá za kovadélka používaná k vyklepávání tehdy již používané polokosy při práci na poli. — *AP*

Тарасенко В. Р., *Раскопки минского Замчища в 1950 году.* Крат. собщ. ИИМК 44 (1952) 125—132, 4 рис. — Mimo jiné se přišlo na typické východoslovanské skleněné náramky a na přesleny z červené břidlice ovručské. Zlatý náramek uvitý ze tří drátů s konci v podobě hadích hlav byl zhotoven někde na Bílé Rusi. Měděné nebo bronzové páskovité náramky s hadími hlavami jsou hojné na Bílé Rusi, na Litvě a v Lotyšsku. Jsou spojovány s hadím kultem. — *JE*

Тревер К. В., *К вопросу о так называемых сасанидских памятниках.* Сов. археология 16 (1952) 282—286. — S. P. Tolstov dokázal, že slovem *sasanovský* jsou označovány předměty nejen perského původu, ale i předměty vzniklé na Kavkaze a ve střední Asii nejen v době, kdy vládli Sásánovci, ale i před nimi a po nich. Autor navrhuje, aby tak byly nazývány pouze věci íránského původu z doby vlády oné dynastie. Jiné věci nechť jsou zvány kavkazskými nebo středoasijskými, podle svého původu. Termínem *sasanovský typ* lze označit stylistické zvláštnosti a dobu těchto uměleckých památek. Tyto památky jsou značně rozšířeny ve slovanských zemích. U nás sem patří stříbrný kotouč se sokolníkem ze Starého Města — Uherského Hradiště. — *JE*

Шмиделсельм М. Х., *Каменные мотивы в северовосточной Эстонии.* Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952) 76—85. — Emailované šperky estonské svědčí o spojení s Podněpřím. — *JE*

Вилсоне М. Р., *Археологические раскопки в городе Риге.* Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952) 123—134. — Ve vrstvě z 11.—12. stol. keramika slovanského typu, ruské skle-

něné náramky, stříbrné slitky, hřivny a dva dřevěné meče, které byly dětskými hračkami. Dřevěné meče se našly i v jiných ruských městech. — *JE*

Żak J., *Rogowe części uprzęży końskiej*. Slavia antiqua 3 (1952) 195—201, 9 ryc. — Předměty, vyrobené z rohoviny, v podobě písmene *T*, s hojnou výzdobou, považuje autor na rozdíl od druhých badatelů za součásti koňského postroje. Tato forma je nejspíše východního původu. Do Evropy ji přinesli Avaři. Od nich ji pak přejali Slované. Tyto předměty jsou četné zejména v Maďarsku v 7.—9. stol., na Kyjevské Rusi v 9.—10. stol., v Čechách v 10.—11. stol. — *AP*

Obchod, mince

Брайчевський М. Ю., *Час обігу римскої монети в антскому суспільстві*. Археологія 6 (1952) 74—79. — *Время обращения римской монеты в антском обществе*. Археологія 6 (1952) 80. — Největší přítok římských mincí na Ukrajinu byl v 2. stol. n. l., v době, kdy Římané vládli v Dacii. Z doby před vládou Neronovou jsou tam římské mince vzácné. Z doby po Septimiovi Severinovi je jich tam rovněž málo s výjimkou dněsterského Pravobřeží. Podle autora byly římské mince z 1. a 2. stol. oběživem u Antů ještě ve 4. a 5. stol. a snad i později. — *JE*

Цсалланы Д., *Византийские монеты в аварских находках*. Acta Archeol. Acad. Hung. 2 (1952) 235—244. — Byzantské mince se vyskytují v karpatské kotlině od doby Justiniána I. (527—565) až do doby Konstantina Pogonata (668—685). Později se jejich příliv zaráží a s ním i byzantský dovoz. Současně končí v byzantských kronikách i zprávy o Avarech. Svaz Asparuchových Bulharů se Slovany ve východní části Balkánu přerval r. 678 spojení Avarů s Cařihradem. O tuto, v slovanských dějinách významnou událost, opírá autor zčásti své třídění avarské doby. Ranou dobu avarskou (568—679) dělí na dvě části. Ze starší z nich jsou památky, které mají obdoby ve středním Povolží a v jihovýchodní Evropě. Z evropského jihovýchodu vzpomíná stříbrných litých i lisovaných kování s hladkým povrchem a s obrysy, které upomínají na lidskou tvář. V mladším období měla avarská oblast přímé styky s Byzancí. K Avarům se tak dostávalo mnoho byzantských pásových ozdob. Byl to bazarový tovar, který byl k Avarům dovážen až v 7. stol. a lze jej ztotožnit s třetí skupinou známého Hamplova třídění uherských památek z doby od pádu Pannonie až včetně do maďarské okupace karpatské kotliny. Autor naznačuje, že lze tehdy zčásti rozlišit archeologický odkaz hunských Kutrigurů a Avarů podle pohřebních zvyklostí i některých památek. Jeho druhá avarská perioda (679—720), v níž se jeví počátky nového stylu kování s motivem gryfa a úponky, spolu s jeho třetí periodou (720—896), charakterisovanou novým stylem v plném rozkvětu, odpovídá prý Hamplově druhé skupině. Autor však nepřihlíží k tomu, že počet památek z jeho třetí periody převažuje nad počtem památek z jeho obou starších period, ani k tomu, že v nálezech s kováním zdobeným úponkou a gryfem jsou doklady o jejich úzké souvislosti s kulturou v bývalé římské Pannonii. Zvyk zdobit pás a koňské řemení těmito kováními se končí někdy na počátku 9. stol. a nikoli na jeho konci. — *JE*

Герасимов Т., *Колективни находки на монети през последните години*. Изв. на Археологическия инст. 18 (1952) 400—404. — Seznam hromadných nálezů mincí z různých období, naleezných na bulharském území v letech 1949—1951. — *AP*

Kiersnowska T., *Skarb z XI wieku odkryty w Dzierzążni na północnym Mazowszu*. Sprawozd. P. M. A. 4 (1951—1952) z. 3—4, 155—168, 6 ryc. — Nalezen na časně středověkém hřbitově v nádobě přikryté železnou mísou. Obsahoval celkem 295 kusů různých mincí (arabské, české, anglické a německé), stříbrný nákrčník a samotné stříbro. Byl to pravděpodobně rodinný poklad shromažďovaný asi po čtyři generace. — *AP*

L e w i c k i Tadeusz, *Z dziejów pieniądza arabskiego w Europie wschodniej.* Archeologia 3 (1949—1952) 224—229, 5 ryc. — Řeší problém lámání kuffických mincí — dirhemů, které jsou podstatnou částí stříbrných pokladů 9. až 11. stol. Podle svědectví arabských pramenů mince byly lámány proto, aby byly získány drobné za účelem menších nákupů. Úlomky svědčí o šestinovém a čtvrtinovém systému. Některé úlomky jsou tak nepatrné, že mohou být považovány za dovažky. Zvyk lámat mince byl doloženě rozšířen v Evropě i v Asii. — Ref.: T u r e k R., Numismatické listy 7 (1952) 103. — *AP*

L e w i c k i T., *Ze studiów nad źrodłami arabskimi.* Slavia antiqua 3 (1951—1952) 136—176. — Z díla arabského cestovatele Abū Hāmid al-Andalusiho (11. stol.) se zachovaly pouze zlomky, které ve 13. stol. uvádí ve svém díle al Qazvini. Některé z těchto zlomků si všímají společenského i hospodářského života Slovanů. Zprávy jsou autentické a byly pravděpodobně shromážděny při pisatelově cestě k východním Slovanům. Pozdější arabští autoři tento pramen neuvádějí. — Nálezy arabských mincí z 8.—10. stol. na slovanském území jsou nejpravděpodobněji v souvislosti s vývozem jantaru do zemí arabského světa. Tomuto účelu sloužily dvě cesty. Jednak z Baltu Finským zálivem, Něvou, Ladožským a Bílým jezerem, Šeksnou, Volhou přes Bulhary až do Choresmu. V druhém případě po Dněpru do Černého moře až do Bagdadu. — *AP*

N o v o t n ý B., *Nejstarší plavidla na českých vodách.* Národop. věstník československ. 32 (1952) 253—293. 14 obr. — Archeologicko-národopisná studie o monoxylech na podkladě českých nálezů a světové literatury, doplněná soupisem nálezů z Čech. V Čechách se našly monoxyly prozatím pouze v korytu Labe, Orlice, a na bývalém Komořanském jezeře. Nelze je datovat. — *AP*

R a d o m ě r s k ý P., *Peníze Kosmova věku (1050—1125).* Numism. časop. 21 (1952) 7—138, 3 tab. — Práce je důležitá pro studium hospodářských a kulturních poměrů doby. Přináší i některé závažné poznatky pro studium dějin domácí umělecké tvorby. — Ref.: C a c h, Numism. listy 7 (1952) 73—74. — Rec.: S k a l s k ý G., Čas. Nár. musea, odd. věd. společ. 121 (1952) 71—78. — Ref.: F i l i p J., Arch. rozhl. 4 (1952) 337. — *AP*

Р ы б а к о в Б. А., *Русские земли по карте Идриси 1154 года.* Крат. сообщ. ИИМК 43 (1952) 3—44, 16 рис. — Podrobný rozbor geografie I d r i s i h o (1099—1166) o kupeckých východoevropských drahách ve 12. stol. — Saltov vznikl v 8. stol. a byl v 8.—9. stol. střediskem t. zv. saltovské kultury. Z té doby je tam veliké družinné pohřebiště. V hlubokých podzemních komorách je tam pochováno mnoho vojínů i knížat se zbraněmi a bohatými postroji válečných koní i žen v bohatém rouchu. — *JE*

Vývoj společnosti

Kmenové zřízení

Ф е о д о р о в Г. Б., *Тиверцы. Вестник древней ист.* (1952) № 2, 250—259. — Průzkumem na pravém břehu Dněpru bylo umožněno prozkoumat a oddělit materiální kulturu staroruského kmene Tiverců a lokalisovat jej. Materiální kultura Tiverců (hlavně keramika) vyrůstala na základě kultury polí pohřebních. Na mnohých sídlištích byly nalezeny přechodní typy keramiky polí pohřebních a staroruské keramiky 8. a 9. stol., jejíž přechodný charakter byl zachycen i stratigraficky. Tiverce charakterisuje v 9. a 10. stol. hlavně keramika, připomínající českou keramiku 9. a 10. stol., a náušnice. Jedna stříbrná náušnice z hradiště Jekimaucy připomíná náušnice blučínského typu. Mnohé řemeslné výrobky mají všeruský charakter. Četné nálezy dokazují úzké svazky s centrem Kyjevské Rusi. Hospodářský a společenský život Tiverců v 9.—11. stol., možná i ve 12.

stol., je charakterisován rozvojem řemesel a existencí tříd (předfeudální nebo raně feudální období). — *MB*

Kiersnowski R., *Plemiona Pomorza zachodniego w świetle najstarszych źródeł pisanych.* Slavia antiqua 3 (1951—1952) 73—128. — K. Tymieniecki (*Społeczeństwo Słowian Lechickich,* Lwów 1928) pokládá kmen Severjanů a Drawianů za Zeruany a Thafnezy Geografa Bavorského. Autor tohoto článku má za pravděpodobnou pouze identifikaci Severjanů se Zeruany, ale nesouhlasí s interpretací Thafnesů jako Drawianů. I filologický výklad by byl násilný. Problém zůstává zatím nevyřešen. Na základě historických a linguistických pramenů možno předpokládat, že kmen západních Severjanů by byl základem pozdější veletské unie. Tento předpoklad vyžaduje však ještě ověření s hlediska hmotné kultury. — *AP*

Poulík J., *Průvodce po slovanských výzkumech u Dolních Věstonic.* Brno 1952, St. archeol. ústav, 16 str., 13 obr. — Nálezy ukazují na styk s Byzancí, Černým mořem a se slovinským územím jižně od Dunaje a dosvědčují tak na tomto území slovanskou kmenovou oblast s ústředím ve velké osadě na soutoku Svratky a Dyje. Pohřebiště je z 9.—11. stol., hradisko Vysoká zahrada z 11.—12. stol. — *AP*

Turek Rudolf, *Kmenová území v Čechách.* Časop. Nár. musea, odd. věd společ 121 (1952) 3—46, 2 obr. — Pokus o stanovení hranic kmenových území českých upomíná na podobné práce B. A. Rybakova tím, že se opírá o důkladnou znalost archeologického i historického materiálu. Samostatnost úsudku se projevuje především v rozboru zpráv anonymního geografa bavorského. Po K. Guthovi a E. Šimkovi probírá slovanská hradiště v Čechách podle jejich stáří, polohy, tvaru a dějinného významu. Uvažuje o významu různosti v pohřebních zvycích a o keramické výrobě vzhledem k úkolu, který řeší. Zná podrobně keramický materiál. Na slovanská hradiště pohlíží především pod zorným úhlem vlastního názoru a v některých případech i vlastních výkopů. Rovněž ve výzkumu českých mohyl mu náleží přední místo. Závěry předkládá jako námět k diskusi, mohou však být programem k další práci. Výzkumů na hradištích je stále dosud málo a jejich stáří se dosud určuje jen podle střepových sběrů a v datování hradištní keramiky se i zkušení odborníci od sebe liší. Vznik našich hradišť je dosud sporný. Zprvu byla asi zřizována prostá opevnění, jež lze těžko objevit. Zdá se, že vývoj české opevňovací techniky byl vždy samostatný. Zvláště pro starší dobu lze těžko připustit cizí vlivy. Kolem r. 800 je opevňovací technika v našich zemích značně vyspělá. Hromadný nález z Prachova je moravsko-oderského rázu a lze jej datovat nejspíše až k době kolem r. 800. — *JE*

Váňa Zdeněk, *K otázce kmenových území v severozápadních Čechách.* Arch. rozhl. 4 (1952) 436—442. — Stať cenná po metodické stránce. Při určování kmenových oblastí podle archeologického materiálu nutno se vystříhat předčasných závěrů. Studie přináší i mnoho podnětů ke studiu slovanské keramiky v Čechách. Návrh na třídění západoslovanské keramiky bude třeba ještě propracovat. K dosavadním dvěma oblastem, severní a jižní, přistupuje prostřední pásmo, kde vedle některých místních rozdílů, jako jsou t. zv. saské mísy, se severní a jižní typ keramiky mísí. — *JE*

Vznik feudalismu

Черепнин Л. В., *К вопросу о периодизации истории СССР периода феодализма.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 114—132. — Při periodisaci je třeba vyjít ze zkoumání změn ve vývoji výrobních sil a výrobních vztahů a z projevu těchto změn ve vývoji těchto třídních protikladů a třídního boje v nadstavbě. Nevyhnutelnou podmínkou správné

periodisace je vidět dějiny ruského národa v těsném svazku s dějinami ostatních národů sovětské země a s dějinami světovými. — *AP*

Дорошенко В. В., *Латышские племена в первом тысячелетии нашей эры.* Вопр. ист. (1952) № 9, 122—130. — Proces rozpadu rodového zřízení probíhal u baltských kmenů v I. tisíciletí n. l. V 7. a 8. stol. procházely tyto kmeny etapou vojenské demokracie. V 9. a 10. stol. jsou feudální vztahy již vedoucí. Vpád Německých rytířů do země proces zpomaluje. — *AP*

Довженок Б. І., *Про дофеодальний період в історії Русі.* Археологія 6 (1952) 9—31. *О дофеодальном периоде в истории Руси.* Археологія 6 (1952) 31—32. — Feudální vztahy se formovaly v předfeudálním období. V 9. až 10. stol. byla Rus státem feudálním. Archeologickým dokladem toho jsou feudální hrady a hroby družiníků. Lid pohřebních polí sídlící v lesostepi znal orbu již v první polovici I. tisíciletí n. l. a v 2. pol. I. tisíciletí měl oradlo plužního typu. V lesním pásmu ustoupilo žárové hospodářství orbě v 2. pol. I. tisíciletí. Současně s rozvojem zemědělství u Antů nastává i rozvoj řemesel a obchodu. Lze poznat náznaky třídní diferenciace. Po zániku antského svazu se společenský a politický život omezuje na kmeny, které nejsou téže etnické příslušnosti. Souvisí spolu pouze teritoriálně a politicky a zachovávají stará jména a etnografické rysy. Předfeudální období se končí sjednocením kmenů a vznikem kyjevského státu. — *JE*

Греков Б. Д., *Генезис феодализма в России в свете учения И. В. Сталина о базисе и надстройке.* Вопросы истории (1952) № 5, 31—43. — Problém základny a nadstavby je velmi důležitý pro chápání vzniku a růstu feudálních vztahů. Přibližně do 5. stol. prožívalo Slovanstvo stadium rozvitého rodového řádu se znatelnými již prvky rozpadu. V 6.—7. stol. byla státní formou východních Slovanů vojenská demokracie. V 9. stol. lze již jasně hovořit v Kyjevském státě o existenci feudálního způsobu výroby. — Český překlad: Časop. Mat. mor. 71 (1952) 199—216. — *AP*

Labuda G., *Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona.* Poznań 1949, 357 str. — Rec.: Koroljuk V., Sov. věda — hist. 2 (1952) 502—507. — Recensent pečlivě rozbírá celé Labudovo dílo. Za nejdůležitější kapitolu pokládá stať o sociálně politické genesi Sámova státu. Labuda v této stati zdůrazňuje význam vnějšího nebezpečí a vliv příznivé mezinárodní situace na utvoření Sámova státu a vidí v tom jedinou rozhodující příčinu prvního státu u západních Slovanů. Snaží se zachytit i vnitřní příčiny, ale nevidí vůbec třídní boj. Za klad práce pokládá též rozbor vnějších politických podmínek, za kterých probíhal proces vzniku Sámova státu. Nedostatkem práce je fakt, že autor zůstává ve svém metodologickém postupu přece ještě na úrovni buržoasní vědy. — *AP*

Łowmiański H., *Stan badań nad podłożem gospodarczym i społecznym genezy państwa ruskiego.* Przegl. hist. 43 (1952) 35—59. — Úvodem podává historický přehled názorů na vznik ruského státu. Sovětští vědci pochopili otázku vzniku ruského státu jako sociální a ekonomický proces a tak úplně popřeli normanské i jiné teorie o vzniku ruského státu. — *AP*

Małowist M., *Problematyka gospodarcza badań wczesnośredniowiecznych.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 13—24. — Úvodní referát k diskusi o počátcích polského státu, vypracovaný na základě pramenů historických i archeologických. Velká pozornost věnována obchodu. V 11. a 12. stol. konstatuje raný feudalismus, charakterisovaný velkým pozemkovým vlastnictvím, které bylo založeno na práci buď závislých nebo nevolných lidí, a počátky měst. — *MB*

Пашуто В. Т., *О возникновении литовского государства.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 1, 29—49. — Nově hodnotí průběh feudalisace v Litvě. Na základě studia histo-

rických a archeologických pramenů dochází k závěru, že třídní vztahy se objevují v Litvě v 9. stol. již ve značné míře. Pro období 11. a 12. stol. jsou charakteristická jednotlivá malá polopatriarchální, polofeudální knížetství. V 13. stol. probíhá proces sjednocování malých knížetství ve stát raně feudální. — *AP*

Tymieniecki Kazimierz, *Droga Gotów na południe.* Archeologia 3 (1949—1952) 112—122. — Pokládá Bastarny spíše za Kelty než za Germány. Germáni se počali stěhovat k jihu až kolem změny letopočtu. První byli Gótové. Dík římskému sousedství měli již ve 4. stol. u Černého moře nejvyspělejší státní zřízení v celém germánském světě. K této době se přimyká i tradice gótských bojů se Slovany. Gótové neměli na Slovany vlastní vliv. Byli pouze prostředníky mezi Slovany a kulturou římskou a středomořskou. — *AP*

Sídliště, hrad, dům

Ангелов Н., *Новооткрити селища по брега на Дунава между Русе и Тутракан.* Изв. на Археологическия инст. 18 (1952) 370—378, 10 обр. — Při výkopu kanálu u vesnice Staroe Selo objeveno sídliště. Prozkoumány obytné stavby, zemljanky pravidelného čtyřúhelníkového půdorysu s ohništi a pecemi. Nalezeny části různého nářadí, zlomky tenkostěnné keramiky s glazurou a zlomky slovanské keramiky. — *AP*

Antoniewicz J., *Grodzisko i osada z okresu halsztackiego i wczesnohistorycznego w Jeziorku w Polsce.* Arch. rozhl. 4 (1952) 131—134, 146, 3 obr. — Ve spodní vrstvě hradiska byly nálezy lužické. Horní vrstva patřila 10.—11. stol. a podle historických zpráv zde sídlil kmen Galindů. Této době patří nálezy pšeničných i jiných zrn a zvířecích kostí. — *AP*

Antoniewicz W., Wartolowska Z.: *Badania grodziska w Wiślicy (pow. Pińczów) w r. 1950.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 45—62. — Výzkum hradiště ve Wiślici z r. 1950, který navázal na výzkum z r. 1949. Byly tu rozlišeny dvě fáze opevnění: starší, dřevěno-hlinité s roštovou konstrukcí, které se datuje podle keramiky do 10. století a které vymezovalo menší plochu hradiště, a mladší s kamennou zdí, na jejíž vnější straně před příkopem byla rovněž dřevěná konstrukce, která podle autorů zajišťovala stabilnost zdi a chránila její spodní část před jarními povodněmi. Toto mladší opevnění datují autoři rovněž podle keramiky do 11.—12. století. Na vnitřním areálu hradiště objeveny dvě vrstvy s polozemnicemi 4 × 4 m s kamennými krby (obdoba na Líšni u Brna!). Zánik hradiště kladou autoři k r. 1135. Nálezový materiál nepublikují. Je otázkou, zda jsou obě fáze správně datovány. — *ZV*

Артамонов М. И., *Белая Вежа.* Сов. Археология 16 (1952) 42—76, 25 карт. Bílou Věží byla zvána Chazarská pevnost Sarkel u Cimljanské stanice nad Donem, založená kolem r. 834. Po vyvrácení Svjatoslavem tam přišlo ruské obyvatelstvo. Četné polovecké nájezdy způsobily, že se r. 1117 obyvatelstvo přestěhovalo zpět na Rus. Přibližně v té době se končí i knížectví tmutorokanské. Slovanské obyvatelstvo Bílé Věže bylo nejspíše původem z oblasti na levém břehu Dněpru a žilo s kočovníky v přátelském poměru. Autor popisuje slovanské polozemnice, pece, obilné jámy a doklady řemeslné činnosti, zejména kolářské. Zrní slovanských zemědělců je bez příměsi plevele a svědčí o vysoké zemědělské technice. O rybolovu svědčí nálezy kosterných zbytků jesetera a sumce. Na rozdíl od Chazarů Rusové nechovali velblouda. Nálezy svědčí o stycích s ostatní Rusí i s Byzancí. Z dovážené břidlice vyráběli přesleny a kadluby. Řemeslná práce a obchodní činnost souvisí se značnou jejich gramotností. O zámožnosti svědčí šperky v hrobech. Původní jejich keramikou je keramika borševsko-romenská. Řemeslná keramika, podobná keramice ostatní Rusi, se tam ujímá později. Výroba nádob nálepem,

zdobených svéráznými vzorky, kterými snad zdobili i věci ze dřeva a z kosti, trvá však dále. Obdoba těchto ozdob není jinde ve slovanském světě. Jejich vznik vysvětluje autor nejspíše odloučeností Bílé Věže od ostatní slovanské oblasti. — *JE*

Colectivul de cercetări arheologice al Academiei R(epublicii) P(opulare) R(omâne): *Şantierul Garvăn (Dinogetia).* Studii şi cercetări de istorie veche 3 (1952) 349—421, s obr. — V r. 1951 pokračoval na území osady Garvăn u Galace kolektiv archeologů rumunské akademie ve výzkumu sídlišť, rozkládajících se na zříceninách římsko-byzantské pevnosti Dinogetia ze 4.—6. stol. Shledány 4 úrovně osídlení z 10.—12. stol. s keramikou slovanského rázu. Jejich obyvatelé žili v obydlích částečně zapuštěných do země. Zabývali se rybářstvím, zemědělstvím a domácí výrobou. Obilí ukládali do jam, vyhloubených uvnitř příbytků i mimo ně. Byzantské importy, zvláště keramika se smaltem. Tento druh nádob patrně napodobován v Dobrudži. Šperky východního původu. Nález olověné pečeti dokládá zde byzantskou vládu v prvé polovině 11. stol. Není dosud vyřešeno, zda zkoumané osídlení lze pokládat za vesnici, či za obchodní středisko, jedno z oněch „měst" při dolním Dunaji, o nichž se zmiňuje ruský kronikář Nestor a byzantské písemné prameny. — *JK*

Dziewoński K., *Geografia Trzebnicy i ujazdu trzebnickiego w okresie wczesnośredniowiecznym (problemy badawcze).* Studia wczesnośredniwieczne 1 (1952) 25—34, 6 tab. — Zabývá se též způsobem a formou osídlení a budování časně středověkých osad. — *MB*

Flis J., *Zarys geograficzny okolic Wiślicy.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 39—44. — Geologicko-geografický rozbor situace slovanského hradiště u Wiślice. Autor poukazuje na strategický význam místa, které ovládalo průchod údolím Nidy a na okolnost, že se tu vyskytuje materiál, potřebný k výrobě keramiky. Okolí Wiślice tvořilo krajovou jednotku, spojenou průchody se sousedními kraji. — *ZV*

Gumpert C., *Frankens älteste Burgen.* Sonderdruck — Die Fränkische Alb (1952) Heft 2/3, 7 S., 4 Abb. — Zpráva o malých pozdních opevněních z 9. a 10. stol. ve Francích má význam pro dějiny Slovanů v Bavořích i pro studium našich pozdních opevnění z prvního tisíciletí n. l. — *JE*

Hensel W., Hołowińska Z.: *Grodzisko wczesnośredniowieczne w Bonikowie, pow. Kościan, Polska.* Arch. rozhl. 4 (1952) 508—509, 4 ryc. — Prozkoumaná část hradiště náleží 7., po případě 8. stol. Hradisko má široký význam jednak pro studium starobylé slovanské keramiky, jednak svým stářím. Hrady feudálního typu bude prý nutno zařadit do starší doby, než se dosud soudilo. Není pochyby, že také u nás byla už v 7. stol. budována opevnění, zprvu snad prostá. Hrady budované kolem r. 800 vykazují vyspělou fortifikační techniku, která předpokládá dlouhý vývoj. — *JE*

*Hensel W., *Studia nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej* I. *Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej.* Poznań 1948, 224 str. — II.—III. *Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej* II. Poznań 1950, 240 str., III. Poznań 1952, 236 str. — Prvý, vstupní svazek práce je věnován především otázkám slovanského hradu. V úvodní stati probírá autor dosavadní definice pojmu *grod* a ve vlastní definici zahrnuje všechna obranná zařízení (s výjimkou hraničních valů a pod.), bez ohledu na jejich funkci, od pravěku do poloviny 13. stol. Následuje přehled problematiky evropských hradisek, počínaje mladší dobou kamennou až po hrady franské, saské a slovanské. Slovanská hradiska probírá autor podle jejich teritoriálního rozložení. Hlavním těžištěm je materiál z hradisek polských, ač ostatnímu slovanskému materiálu, zvláště českému, je věnována dostatečná pozornost. Autor se zabývá zvláště obrannou technikou a povahou osídlení. Závěrečnou stať věnuje otázce

jejich původu. Začátky hradisek jako původních soustav slovanských klade do 4. až 5. stol. Za nejstarší typ valů považuje konstrukci skříňovou, k níž potom přistupuje roštová konstrukce domácího původu. U hradisek českých a saských připouští silný vliv franský. Staví se proti hypothese o saských vlivech na budování hradisek Polabských Slovanů, ač jinak saské vlivy připouští. Skandinavské vlivy a eventuální byzantské vlivy na některé typy hradisek odmítá. Práce je výborným přehledem materiálu (některé místopisné názvy jsou zkomoleny) a pozoruhodným pokusem o jeho soustavné hodnocení. Závěry autorovy lze přijímat souhlasně. — Druhé dva svazky jsou ediční materiálovou prací. Materiál je utříděn abecedně podle lokalit (dosud dospěl k heslu *Jutrosin*), u naleziště jsou pak uvedeny historické prameny, charakteristika místního názvu (za spolupráce s K. Kolańczykem), bližší označení polohy, stručná kronika výzkumu, charakteristika naleziště, popis inventáře, chronologické zařazení, poznámka o uložení materiálu včetně inventárních čísel museí a literatura. — Kde je třeba něco vyložit blíže, je připojena ještě krátká úvaha. Obrazový materiál je většinou kreslený. Edice je velmi detailní a pečlivá. Po svém dokončení bude skutečným korpusem hradištní kultury ve Velkopolsku, prvým svého druhu. — *RT*

Jakimowicz R., *Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Kruszwicy w latach 1948—1949.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 99—118, 8 tab. — Na hradišti Góra Zamkowa byly kromě novověkých nálezů objeveny pozůstatky středověkého opevnění a některé památky starší, z 9. či dokonce 8. stol. — *MB*

Jażdżewski K., Chmielewski W.: *Gdańsk wszesnośredniowieczny w świetle badań wykopaliskowych w latach 1948—1949.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 35—82, 68 tab. — Dosud odkryto 11 vrstev, raně středověké pozůstatky se počínají objevovat již od 6. vrstvy, ale teprve 8. vrstva je z této doby. Výzkum dává dobrý materiál pro zkoumání raně středověkých obytných staveb v jejich vývoji (4 fáze) a středověké keramiky. Hospodářský život na hradišti: řemeslná výroba, rybolov (hospodářsko-příbuzenská rybářská společenstva, knížecí monopol), chov dobytka. Dosti hojné pozůstatky lovné zvěře pocházejí patrně z lovu knížete a jeho nejbližšího okolí. — *MB*

Kabát J., *Brány na přemyslovském hradišti na Libušíně.* Arch rozhl. 4 (1952) 289—294, 2 obr. — Do obvodové hradby vloženy dvě brány složité fortifikační práce. Jsou důmyslně řešeny a nemají průkazných analogií. Svědčí o vysoké úrovni stavební techniky našich předků pravděpodobně z první poloviny 10. stol. — *AP*

Kamińska J., *Wyniki badań archeologicznych w Gdańsku w r. 1951.* Z otchłani wieków 21 (1952) 89—98, 6 ryc. — Výzkum řemeslnicko-rybářské osady z 12. a 13. stol. Keramika s válcovitým hrdlem i esovitého profilu. Některé střepy svědčí o obchodních stycích s Porýním a s Kyjevskou Rusí. Nalezeny i tvary lahvovité. Výrobky i nářadí obuvnické, tkalcovské, řezbářské z kosti i dřeva. Jantar. — *AP*

Kiełczewska-Zaleska M., *Położenie geograficzne grodziska w Jeziorku, pow. Giżycko.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 201—210. — Rozbor zeměpisné situace pruského hradiště v Jeziorku v souvislosti s obranou a komunikací.. — *ZV*

Kietlińska A., *Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na Górze Zamkovej w Cieszynie w roku 1950.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 29—38. — Výzkum na hradišti v Polském Těšíně, který odkryl nad opevněním a vrstvou z doby púchovské kulturu opevnění a několik vrstev z doby slovanské. Ve dvou vrstvách srubové stavby a pod nimi, rovněž ve dvou vrstvách, konstrukce kůlové. Nálezy: keramika, v ruce lepená i točená (též tuhovaná), zlatá záušnice, předměty železné, dřevěné, kostěné,

kamenné atd. Odkryté stavby nepovažuje za obydlí, nýbrž za hospodářské budovy (chybí ohniště). Důležité je tu stratigrafické zachycení nálezů. — *ZV*

Kostrzewski B., *Nowe odkrycia w Gieczu.* Z otchłani wieków 21 (1952) 183—186, 2 ryc. — Odkryt základ kaple (rotundy) i paláce z 10. nebo začátku 11. stol. Na území pozdější osady zjištěny základy kostela patrně z konce 11. nebo začátku 12. stol. Čtyřboký základ filaru objeven v blízkosti západní stěny kostela. Je mladší než starší kostel a byl patrně později připojen k románskému kostelu. — *AP*

Koczka W., *Charakter osady odkrytej w Opolu.* Z otchłani wieków 21 (1952) 55—59, 2 ryc. — Osada na Ostówku byla prý původně opevněna valy. — *AP*

Крепостные сооружения древней Руси. Материалы и исследования по археологии древнерусских городов, том 2. Ред. Н. Н. Воронин. Материалы и исследования по археологии СССР 31. Москва 1952, АН СССР, 379 стр. — Sborník obsahuje práce A. L. Mongajta, P. A. Rappoporta, V. V. Kostočkina, I. V. Trofimova, I. A. Kirjanova a T. N. Sergejevové-Kozinové, věnované ruským středověkým pevnostem a vývoji opevňovací techniky. Jednotlivé práce viz pod jmény autorů. — *MB*

Косточкин В. В., *Крепость Ивангород.* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 224—317, 59 рис. — Zkoumá vývoj opevnění této pevnosti, ležící proti městu Narvě. Počátky spadají do konce 15. stol. — *MB*

Монгайт А. Л., *Оборонительные сооружения Новгорода Великого.* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 7—132, 60 рис., 3 прилож. — Zkoumá vývoj opevnění Novgorodu na základě historických zpráv, archeologických výzkumů a pozůstatků opevnění. Zabývá se především pozdějšími obdobími (15.—18 stol.). Výsledky mají velký význam především pro zkoumání středověkého válečnictví. Topografie Novgorodu doplňuje historické zprávy o novgorodské společnosti (tendence k silnému opevnění celého města a ne jen knížecího dětince, rozmístění ulic a j.). Některé analogie k opevňovací technice nachází na hradištích českých a polských (komorový systém). Nejstarší archeologické památky z Novgorodu pocházejí z 10. stol., původní starší hrad 8.—9. stol. byl patrně umístěn na dosud neznámém místě. V přílohách jsou uveřejněny historické zprávy o Novgorodu ze 17. stol. (příloha 2 a 3) a zpráva o archeologických výzkumech valu v letech 1947—1948 (příloha 1). Důležitý je nález dvou srubových domů, lázně s kamennou pecí z 12.—13. stol. a velikého srubu ze stol. 11.—12. (devátá výkopová vrstva). — *MB*

Раппопорт П. А., *Из истории военно-инженерного искусства древней Руси (Старая Ладога, Порхов, Изборск, Остров).* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 133—201, 41 рис., 11 прилож. — Zkoumá architektonické pozůstatky významných pevností novgorodské a pskovské země, práce je věnována hlavně pozdějším obdobím. V jedenácti přílohách jsou publikovány historické zprávy ze 17. stol. o opevnění Staré Ladogy, Porchova, Izborska a Pskova. — *MB*

Раппопорт П. А., *Волынские башни.* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 202—223, 13 рис. — Volyňské bašty jsou významným dokladem opevňovací techniky konce 13. a poč. 14. stol., která se po pádu Volyně ve 14. stol. dále rozvíjela v litevském státě. — *MB*

Сергеева-Козина Т. Н., *Можайский Кремль 1624—1626 гг. (Опыт реконструкции.)* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 347—375, 19 рис. — *MB*

Трофимов И. В., Кирьянов И. А.: *Материалы к исследованию Нижегородского кремля.* Матер. и исслед. по арх. СССР 31 (1952) 318—346, 18 рис., 1 прилож. — Hlavní pozornost je věnována období od 14. do 18. stol. V příloze jsou uveřejněny historické prameny o Nižním Novgorodu (dnešní Gor'kij) ze 17. stol. — *MB*

Kudrnáč J., *Výzkum slovanského hradiště u Klučova.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 395—399, 4 obr. — Půdními vrty a plošnými odkryvy sledován příkop a zbytek dřevěného opevnění a tak zjišťován rozsah vnitřní části hradiště (1 ha 58 a 70m²). Nově zjištěny další jámy po kůlech podpírající přední stěnu opevnění, jáma se zlomky keramiky a hovězími kostmi, železná radlice, ocílka, pilka. Dějepisné zprávy i výsledky archeologického výzkumu dosvědčují významnou úlohu hradiště pro starší a střední dobu hradištní. Vzniklo před r. 800. — *AP*

Лисицына Н. К., *Археологические исследования в РСФСР в 1950 году.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 137—149. — Cenné objevy v Beloozeru (na př. lázeň). V Staré Ladoze odkryty zbytky příbytků ze 7.—8. stol. i z dob mladších. Přišlo se tam na druhý velký dům, dlouhý 17 m. — *JE*

Mikołajczyk G., *Tymczasowe wyniki badań na górze Lecha w Gnieźnie.* Arch. rozhl. 4 (1952) 298—302, 6 obr. — Výzkum předního polabského hradu přináší údaje důležité pro slovanské dějiny v 8.—11. stol. Na př. pro stavbu domu, lov, rybolov, chov domácích zvířat, pro práci rolnickou, sadařskou i pro četná řemesla. Pěkné doklady o zpracování rohu a kostí. Typicky polskou technikou stavby hradeb je tak zv. konstrukce překladová, která je buď jednosměrná (břevna jsou kladena napříč hradby a jsou na vnější straně opřena o lyžinu) nebo dvojsměrná (jsou kladena střídavě podélně a napříč). — *JE*

Монгайт А. Л., *Топография Старой Рязани.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 104—105, 7 рис. — Četné údaje pro studium slovanského domu, hospodářských staveb (obilní jámy), řemeslné práce i pro studium slovanské společnosti. Poklad ukrytý v hlinobitné peci jistě v r. 1237, který je katastrofálním rokem pro Starou Rjazaň, je velmi důležitý zvláště s hlediska výzdoby šperků (hojná granulace). Má vztah k našim nálezům sekaného stříbra a šperkům (na př. nalezeným na Libici). Toulec okovaný stříbrnými destičkami. Zbytky goroduí. Stará Rjazaň žila i po mongolské pohromě, ale méně intensivně. Spaský sobor byl prý vybudován blízko pohanské svatyně, ne-li přímo na jejím místě. Byl tam nalezen bronzový idol, připevněný na dřevěném sloupu, u jehož základny byly zbytky oběti. — *JE*

Musianowicz K., *Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Bródnie Starym, pow. warszawski w roku 1950.* Materiały wczesnośredniwieczne 2 (1950—1952) 61—70. — Výzkum ve Starém Brodně, provedený v r. 1950 ve dvou etapách. V první bylo prozkoumáno hradiště, zjištěny základy valu, vymezující kruhový areál, a odkryta konstrukce brány. V druhé etapě bylo prozkoumáno sídliště, ležící severně od hradiště. Byla zde odkryta srubová hospodářská stavba a řada jam (některé i se zbytky pecí), patrně rovněž hospodářského účelu. Podle keramiky datuje autorka hradiště i sídliště do 10. a počátku 11. stol. Vedle toho byla na sídlišti nalezena i keramika z 9. stol. Podle autorky se obyvatelstvo osady zabývalo vedle zemědělství i řemeslem a dodávalo své výrobky na hradiště. O existenci vládce na hradišti svědčí podle ní nálezy loveckých trofejí, zlomek majolikové destičky a zlomky kachlu, dovezeného z Ruska. — *ZV*

Nadolski A., *Prace wykopaliskowe na grodzisku w Tumie k Łęczycy w latach 1948—1949.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 171—189, 20 tab. — Hradisko mělo tři fáze opevnění. Situace v nejmladší fázi z 12.—13. stol. odpovídá historickým zprávám a vcelku se neliší od ostatních hradišť z této doby. Počátky druhé fáze jsou datovány keramikou pražského typu mezi 5.—8. stol. a její konec keramikou z 9.—10. stol. připomínající blučínský typ. Osídlení z této doby je porušeno nejmladší fází hradiště. Nejstarší opevnění bylo velmi prosté. Přesně je datovat není možné. Podle nálezové situace se zdá, že zaniklo nedlouho před vybudováním druhé fáze. Ve sběru byly nalezeny úlomky

t. zv. keramiky „sivé", pocházející ze 4.—5. stol. n. l. Nadolski považuje za nejpravděpodobnější datovat první fázi opevnění do této doby. Nálezová situace nedovoluje spojovat toto opevnění s pozůstatky lužické kultury (halštat). Obě nejstarší fáze opevnění jsou rekonstruovány (tab. 139—142). — *MB*

Novotný B., *Výzkum na Týnském dvoře v Praze.* Arch. rozhl. 4 (1952) 413—417 1 obr. — Pozornosti zasluhují zbytky kožené gotické obuvi, zlomky dřevěných lžiček, několik fragmentů konopných lan značné síly a j. V sondě č. 2 objeveny zbytky dřevěného srubu s překříženou nárožní vazbou s částí silného prkna, pravděpodobně podlahy. V její úrovni nalezen železný nůž, esovité záušnice a denár Vladislava I., datující srub do 11.—12. stol., současně se střepy v úrovni podlahy. — *AP*

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Gieczu w r. 1949. Red. Bogdan Kostrzewski. Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 149—170, 12 tab. — Počáteční fáze výzkumu, plánovaného na více let, měla především orientační úkol. — *MB*

Prošek Fr., *Zbytky slovanského srubu na Starém Lokti u Jenišova-Tašovic.* Arch. rozhl. 4 (1952) 452—453, 2 obr. — Zbytky srubu asi z 10. stol. — *AP*

Станчев Ст., *Разкопки на обекта N в Кадкойското градище.* Изв. на Археологическия инст. 18 (1952) 285—301, 10 обр. — Objekt *N* nacházející se u jižní strany hliněného valu obsahoval zbytky kamenné stěny, jejíž horní část byla z pletiva vymazaného hlínou. Mimo jiné nalezeny hojné střepy slovanské keramiky shodné s nález v Plisce a v Pereslavi. Výzdobou a technikou výroby budí však dojem archaičtější. Patří pravděpodobně do 5. stol. n. l. Nalezeny zde rovněž střepy keramiky s glazurou i střepy keramiky tenkostěnné, temně sivé, vyrobené z dobře připravené hlíny s leštěným ornamentem. Tato keramika má přímé vztahy ke keramice kultury saltovsko-majacké a je připisována Bulharům. Některé z nalezených střepů mají vztah i ke keramice pozdně římské a raně byzantské. Val hradiště měl dřevěnou a kamennou konstrukci. Byl vystavěn na vrstvě s jasnými nálezy římskými, tedy až po zničení římské pevnosti. Nalezeny stopy obydlí nejasného půdorysu a různé nálezy, svědčící o řemeslné výrobě, pastevectví a zemědělství. Autor datuje trvání tohoto hradiště do 5.—10. stol. — *AP*

Šolle M., *Výzkum na kouřimské akropoli v r. 1951.* Arch. rozhl. 4 (1952) 282—289, 9 obr. — Důmyslná stavba kouřimských hradeb a bran z konce 9. a začátku 10. stol. svědčí o vyspělém opevňovacím umění. Autor srovnává střední hradbu s přemyslovskou opevňovací technikou, která je vrcholem české fortifikace. Stručná zmínka o příbytcích; byly u nás dosud na rozdíl od polské a sovětské archeologie málo zkoumány. Halová stavba ze silných fošen a tenkých prutů, dlouhá 90 m a široká 4—6 m je dosud jedinečná ve slovanském světě. — *JE*

Turek Rudolf, *Výzkum libického hradiště v r. 1951.* Arch. rozhl. 4 (1952) 490—496, 8 obr. — Výzkum libického hradiště má význam obecně slovanský jako sídlo rodu Slavníkovců. Vzniklo na rozhraní 8. a 9. stol. a bylo hustě osídelno až asi do r. 950, kdy se stalo výhradně knížecím sídlem s kameným palácem, chrámem a se zásobárnami. Kolem kostela byl hřbitov, na němž se pochovávalo i po pádu Slavníkovců r. 995, kdy se život odtud odstěhoval do předhradí. Hroby poskytly cenné doklady o pohřebních zvycích mladší doby hradištní (vampyrismus). Autor se dokonce domnívá, že četné hroby byly vyloupeny, což je zjev ve slovanském světě neobvyklý. Vítaný je rozbor zvířecích kostí a uhlíků nalezených na hradišti. — *JE*

Váňa Zdeněk, *Další výzkum na slovanském hradišti u Zábrušan.* Arch. rozhl. 4 (1952) 294—297, 6 obr. — Starší kmenové opevnění hradiště z 8. až 9. stol. je prosté. Mladší hrad stál asi od poloviny 10. do poloviny 11. stol. Byl opevněn přemyslovskou opevňovací technikou a byl spolu s Chlumcem a Bílinou ochranou Nakléřovského prů-

smyku. Náušnice s esovitou kličkou a s hrozníčkem je v 10. a snad už v pokročilém 9. stol. šperkem hotoveným v Čechách. Má však původ v moravské předloze z 9. stol. Širší význam nálezů ze Zábrušan je v tom, že jsou tam vedle naší obvyklé hradištní keramiky i nádoby typické pro vzdálené severní oblasti západního Slovanstva. — *JE*

Wartołowska Z., *Inwentaryzacja grodzisk.* Studia wczesnośredniowieczne 1 (1952) 193—198. — *MB*

Żurowski K., *Ostrów Lednicki w świetle ostatnich badań archeologicznych.* Arch rozhl. 4 (1952) 424, 433—436, 6 obr. — Začátek slovanského osídlení ostrova patří 7., po případě i 6. stol. Starší val hradu byl vybudován patrně na počátku 10. stol. Má stejnou konstrukci jako val, který je poněkud mladší. Je to konstrukce překladová, typická pro tento kraj. Stopy po pálení vápna z přelomu 10. a 11. stol., užitého na stavbu budovy zámku a kostela. Pšenice, ječmen, hrách uloženy v pytlích. Přístavní můstek. — *JE*

Żurowski K., *Z ostatnich odkryć na ostrowie Lednickim.* Z otchłani wieków 21 (1952) 106—109, 3 ryc. — První slovanské osídlení ostrova patří již 6., po případě začátku 7. stol. Zděný hrad a kostel z přelomu 10. a 11. stol. je dosud nejstarší zděnou stavbou v Polsku. Jáma na pálení vápna. Při východní zdi byly stopy po dřevěné stavbě, patrně skladišti. Zámek zničen pravděpodobně v 1. pol. 11. stol. Autor spojuje jeho zkázu s tažením Břetislava I. do Polska v r. 1038. — *AP*

Pohřebiště

Auer Ek., *Das Kammergräberfeld von Haithabu.* Offa 10 (1952) 61—115. — Komorové hroby z doby od poloviny 9. stol. do první poloviny 10. stol. — *JE*

Авдусин Д. А., *Гнездовская экспедиция.* Крат. сообщ. ИИМК 44 (1952) 93—103, 4 рис. — Zpráva o celkové situaci známého velikého mohylníka a o novém výzkumu na něm. Četné zbraně svědčí o družinném charakteru společnosti tam pohřbené. Vedle bohatých pohřbů jsou tam i mohyly téměř bez milodarů. V mohylách prozkoumaných v r. 1950 bylo tělo spáleno buď na místě násypu, nebo vedle něho, i případně někde jinde. Někdy byly zbytky uloženy v popelnici. Některé mohyly byly kenotafy. V jedné mohyle byla spolu s mrtvým spálena i lodice. Je to třetí případ v Gnězdově. Přišlo se i na věci normanského původu (meč), ale nebyl tam zjištěn ani jediný hrob Vikinga. Všechny nově prozkoumané mohyly jsou z 10. stol. Mohyl, které by mohly být datovány do 9. nebo do 11. stol., je i ve výzkumech z předešlých let velmi málo. Rozbor získaných památek, zbraní, šperků i jiných předmětů (na př. podkovovitých spon, korálů, hracích kostek, hřebenů, břidlicových přeslenů). Jedno kování představuje *plakalščika* (plačícího člověka), který si rve vlasy. Byzantské mince jsou tam vzácné. Z šípů je jen jeden okřídlený, ostatní mají řap k připevnění na násadu. Je okrouhlého tvaru, což je podle autora tvar na Rusi převládající a pro Gnězdovo typický. Trojhranné a čtyřhranné šípy mohly proniknout mezi kroužky brnění. Jedna sekera má nordický tvar. Dvě valašky s vyvinutým týlem jsou jižního typu, hojného v Saltově. — *JE*

Eisner Jan, *Devínska Nová Ves.* Bratislava 1952, SAVU, 414 stran, 7 a 14 tab. — Práce je publikací dlouholetého autorova výzkumu na rozsáhlém pohřebišti rané doby hradištní s bohatými hroby keszthelyského typu. Je uvedena stručnou statí orientačního rázu, po níž následuje vyčerpávající detailní nálezová zpráva s popisem materiálu. Historická stať uvádí čtenáře do prostředí doby. V mistrovském shrnutí je tu podáno vše, co lze na základě historického a archeologického svědectví říci o avarské otázce, o poměru avarsko-slovanském a Samově říši. Je tu kriticky přihlédnuto k názorům dosavadních badatelů, zhodnoceny positivní stránky dosavadního poznání a vytvořen obraz

vzájemného pronikání živlů slovanských a avarských, při němž si Slované zachovali značnou míru samostatnosti. Pak provádí autor pronikavou analysu keszthelyských památek na slovanské půdě a ihned přistupuje k vlastní analyse pohřebiště. Následuje stať o pohřebním ritu, o keramice, šperkcích a okrasách a dalších řemeslných výrobcích, především ze železa, parohu a kosti. Další stať zahajuje serii závěrečných kapitol, jež s obšírným kritickým aparátem a úctyhodnou metodickou připraveností řeší všechny otázky připínající se k pohřebišti. Kniha znamená mnohem více než publikaci naleziště. Vyrůstá na velkolepou základní soustavnou práci z oboru slovanských starožitností. Věcná kritičnost autorova dala knize takové hodnoty, že s jejími závěry lze téměř bez výhrady souhlasit. — *RT*

Eisner Jan, *Příspěvek ke studiu slovanského vampyrismu.* Národopisný věstník českoslov. 32 (1952) 246—252. — Upozorňuje na některé neobvyklé způsoby pohřbů v Děvínské Nové Vsi, na př. na dodatečný pohřeb, pohřeb v sedě, pohřby hlav, pohřby s porušenou kostrou. K posledním dvěma případům cituje názory německých prehistoriků, ale sám si myslí, že porušení těla v hrobě souvisí se slovanským vampyrismem. — *AP*

Gąssowskij J., *Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 71—176. — Výzkum pohřebiště v Koňských, jednoho ze tří středisek Opočinské země v 11. stol. Na pohřebišti byly tři skupiny hrobů, představující podle autora současné třídní rozvrstvení na skupinu feudálních vládců, skupinu členů jejich vojenské družiny a početnou skupinu chudších hrobů porobeného lidu. Nálezový inventář: keramika (hlavně formy s válcovitým hrdlem), železné zbraně a nástroje, stříbrné a bronzové šperky, vědérka, mince atd. Též hroby s kamenným obložením. Rozdílná orientace hrobů podle pohlaví. Podle autora patří toto pohřebiště k Mazovsku (podle pohřebního ritu) a pomáhá zachytit jeho jižní hranici s Malopolskem. — *ZV*

Jażdżewski K., *Sprawozdanie z badań archeologicznych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Lutomiersku w pow. łaskim (wój. łódzkie) w r. 1950.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 257—264. — Výzkum 21 dalších hrobů jednoho z nejbohatších polských pohřebišť, většinou kostrových (vedle několika žárových), některé i s kamenným obložením. Rozdílná orientace hrobů podle pohlaví. Vedle předmětů polského původu též doklady styků se Skandinavií, Ruskem a baltskou oblastí. Datováno do 1. poloviny 11. století, částečně i do 2. poloviny. Projevuje se tu proces pokračující feudalisace společnosti z doby Boleslava Chrabrého. Vedle domácího obyvatelstva tu snad byli pohřbeni i Rusové. Poloha na křižovatce důležitých obchodních cest vysvětluje konjunkturu zdejšího obyvatelstva. — *ZV*

Král J., *Slovanské pohřebiště u Pavlova.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 37—38. — Pohřby orientovány hlavou k západu, poměrně chudě vybavené (nožík, stříbrná náušnice, malá nádobka točená na kruhu a sekerka). Pohřebiště datováno přibližně do 9.—10. stol. — *AP*

Kudrnáč J., *Slovanské mohyly při horním toku Mže.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 487—490, 2 obr. — Zpráva o výzkumu jedné z žárových mohyl. Mohyla měla kamenné jádro a obsahovala pouze jeden pohřeb. Dějepisné zprávy dosvědčují, že slovanské osídlení na západ od našich pomezních hor si zachovalo dlouho svůj ráz. Archeologicky je však dosud málo známo i s naší strany pomezních lesů. Výzkum žárových mohyl na Stříbrsku je proto velmi důležitý pro studium slovanské expanse do Bavor. — *JE*

Кухаренко Ю. В., *Новопокровський могильник і поселення.* Археологія 6 (1952) 33—50, 2 таб. 6 обр. — *Новопокровский могильник и поселение.* Археологія 6 (1952) 50. — Archeologická situace pohřebiště není dosud docela jasná. V plochých

žárových hrobech je vedle leštěné šedé a černé keramiky pohřebních polí i keramika saltovomajacká. Na pohřebišti byly na dvou místech uloženy zbraně a součástky koňského postroje. Obdobou k tomu je patrně i nález dvou třmenů a oštěpu objevený v blízkosti současného pohřebiště v Děvínské Nové Vsi. Výzkum pohřebiště je důležitý pro 7. až 8. stol. Na současném sídlišti v Novopokrovsku prozkoumán příbytek s hliněnými stěnami na dřevěné kostře s hlinobitnou pecí uprostřed. Podle autora jde o rané slovanské památky s vlivy kultury saltovomajacké. — *JE*

Куликаускиене Р., *Погребальные памятники Литвы конца I. — начала II. тысячелетий нашей эры*. Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952 108—122. — O pohřbech koní na Litvě. Kostrové kurgany z počátku 2. tisíciletí jsou hojné v pohraničním pásmu Litvy a Bílé Rusi. Jsou slovanské. — *JE*

Pastor J., *Jazdecké hroby v Čiernej nad Tisou*. Arch. rozhl. 4 (1952) 485—487. — Obvyklá staromaďarská jezdecká výzbroj, která je převzata ze sarmatské kultury saltovomajacké. Džbánkovitá nádoba je snad novým dokladem styků dávných Maďarů s kulturou východoslovanskou. Meč může být kyjevského původu. Jinak byly meče k Maďarům dováženy z nordické oblasti, patrně po Visle a její pobočce Bugu k průsmykům v Poloninských Karpatech. Některé meče mohly být však ukořistěny při výpravách na západ. Nálezy staromaďarských hrobů pod Poloninskými Karpaty jsou dokladem toho, že horní Potisí hrálo velkou úlohu v počátcích Maďarů v Uhrách. — *JE*

Poulík J., *Průvodce po výzkumech na Žuráni u Brna*. Brno 1952, St. archeol. ústav, 16 str., 13 obr. — Datuje žuráňské hroby do 5. stol. n. l. Nemají obdoby v evropské archeologii a jsou v nich pravděpodobně pohřbeni příslušníci vládnoucí vrstvy, ovládající domácí slovanský lid. — *AP*

Rauhut Lechosław, *Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe z przełomu XI—XII. w. w Nieporęcie, pow. Warszawa*. Wiadom. archeol. 18 (1951—1952) z. 3—4, 323—344, 5 tabl., 2 ryc. — Zhodnocení starších výzkumů kostrového pohřebiště (asi 30 hrobů), datovaného zlomky mincí do 11.—12. stol. Hroby nejsou pokryty kameny, jak bylo zvykem pro tuto dobu na Mazovsku. Předměty hrobové výbavy naznačují vztahy k haličskému území, ale nedávají oprávnění k tvrzení, že nebožtíci jsou na tomto území ethnicky cizím elementem. Zbytky tkanin na zrezivělých obručích vědérek dovolují předpokládat, že zemřelí byly pravděpodobně přikryti plátnem. I u nás byly nalezeny v hrobech zbytky tkanin, svědčící o podobném zvyku. (L. Jísl, Slovanské mohyly ve Štěbořicích u Opavy. Arch. rozhl. 5 (1953) str. 32 a d. a I. Borkovský, Hrob bojovníka z doby knížecí na pražském hradě, Památky arch. 9 (1946) str. 122—231 a I. Borkovský, Hrobka v nejstarším kostele na pražském hradě, Arch. rozhl. 3 (1951) str. 3 a d.). Autor pokládá pohřbené za bojovníky. Jako jeden z důvodů pro tuto myšlenku uvádí nález kostry muže s nožem zaraženým v hrudi (není-li to spíše projev vampyrismu?), nálezy železných zbraní, nožů, vědérek a srpů. V ženských hrobech se našly přesleny, prsteny, esovité záušnice, stříbrné korálky a náušnice zdobené hrubou granulací. Pozornosti zasluhuje bronzová ozdoba v podobě ptáka s otvory u křídel. Podobné ozdoby jsou časté u čudských plemen na Kamě. — *AP*

Škerlj B., *Orientacija grobov v nekaterih srednjeveških nekropolah Slovenije*. Arheološki vestnik 3 (1952) 108—134, 15 tab. — Zkoumá současně třemi metodami odchylky v orientaci slovanských pohřbů u 566 hrobů z pěti různých pohřebišť. Za předpokladu, že hrob je obrácen přesně proti východu slunce v den pohřbu, lze určit roční dobu i měsíc pohřbu. Na pohřebišti ze 7. stol. je směr západ—východ dodržován přesně. V pozdějších stoletích, patrně vlivem násilné kristianisace, se někde pohřbívalo i v noci, a proto nebyl směr západ—východ přesně dodržován. — *AP*

T (o č í) k Anton, *Zisťovacie výskumy v St. Tekove na Slovensku.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 35—37. — Zjištěna souvislá vrstva kamení se stopami malty s výraznou mladohradištní keramikou. Odkryto pohřebiště z 11.—18. stol. (belobrdské prsteny, esovité záušnice, mince). Zachyceny negativní odlitky základů kostela vyplněné zbytky malty. — *AP*

S m u t e k K., *Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Grodźcu k. Będzina.* Z otchłani wieków 21 (1952) 59—61, 6 ryc. — Řadové pohřebiště z časně piastovského období (950—111). Nádoba s válcovitým hrdlem, stříbrné záušnice. — *AP*

T u r e k Rudolf, *Slovanské mohyly u Veselí nad Lužnicí.* Archeol. rozhl. 4 (1952) 399—400, 409—413, 3 obr. — Pohřebiště čítá 65 mohyl v 10 řadách, okrouhlé i podlouhlé o délce až 20 m. Prozkoumány 4 mohyly. Byly postupně nasypávány a obsahovaly zřejmě několik pohřbů. Uložení popelu, kůstek a rozmístění kamenů nebylo pravidelné. V úrovni půdy mohyl byly prokopány kanálky a jámy k zlepšení tahu při žáru. Výzkum je důležitý s hlediska ritu a techniky spalování. Po prvé přináší poznatky o podélných hromadných mohylách v Čechách, hojně se vyskytujících u východních Slovanů. Rozbor východoslovanských mohyl tohoto druhu podává Тараканова С. А., Псковские курганы с трупосожжением. Крат. сообщ. ИИМК 36 (1951) 141—154, 7 карт. — *AP*

Svatyně, náboženství

M e r i g g i Bruno, *Il concetto del Dio nelle religio dei popoli slavi.* Ricerche slavistiche 1 (1952) 148—176. — Slované neměli vyšších bohů, pokud se nedostali ve styk s oblastmi kulturně vyspělejšími (kyjevský stát). *Perunъ, Volosъ, Chъrsъ, Mokošь, Svarogъ, Dažьbogъ* kyjevských Slovanů jsou výsledkem kulturní interference. Perun jako bůh hromu a blesku má podle autora svoje kořeny v nordických představách normanské kultury, Volosъ je božstvo původu byzantsko-křesťanského. I pro ostatní božstva je cizí původ pro autora jistý, ale lze jej těžko nějak pevně stanovit. Pokud jde o božstva, jako byl Svarog, Radgost, Svantevit-Jarevit-Rujevit (Triglav?) a pod., Meriggi je rovněž ochoten jim přiznat křesťanský původ. — *VP*

С т а н ч е в Ст., *Църквата до с. Виница.* Изв. на археологическия инст. 18 (1952) 305—328, 26 обр. — Kostel u vesnice Vinici, jižně od Pereslavě je datován do 10. stol. a má mnoho shod ve stavbě i ve výzdobě s kostelem v Pereslavi. Nalezeno zde poměrně velmi málo střepů tenkostěnné, dobře vypálené keramiky, v některých případech se zelenou glazurou. — *AP*

Т а р а с е н к о П. Ф., *Городища Литвы.* Крат. сообщ. ИИМК 42 (1952) 86—91. — Na Litvě je velké množství hradišť (pilkalnisů). Některá měla výhradně rituální význam. Obdoby k tomu jsou na Bílé Rusi, kde v době bronzové mrtví byli spalováni na hradišti Ljubenském u Gomelu a v prvních stoletích n. l. na hradišti Bončarovském u Minska. K obřadovým pilkalnisům litevským se řadí i nevelikė, na březích jezer a řek uměle nasypané chlumy, vysoké 6—8 m. Náleží konci 1. a počátku 2. tisíciletí. Některé pilkalnisy podobného typu nazývá lid *Chlumy Perkunasa.* — *JE*

В е л к о в Ив., *Славянско светилище до Глава Нанега.* Изв. на Археологическия инст. 18 (1952) 378—384, 4 обр. — V jeskyni, která dříve sloužila jako thrácká svatyně, zjištěna v ohništi slovanská keramika. Jedna z nádob je hrubé ruční výroby s tlustými stěnami s liniovým ornamentem. Je typickým příkladem Eisnerovy hrubé keramiky potiské. Tento druh keramiky má význam pro studium slovanských počátků v Bulharsku. Byly nalezeny i nádoby s kolky na dnech. Jeskyně sloužila i pohanským Slovanům nejpravděpodobněji jako svatyně. — *RH*

Antropologický rozbor slovanských kostrových nálezů

Dąbski J., *Szczątki kostne ludzkie z cmentarzyska w Końskich z XI wieku.* Materiały wczesnośredniowieczne 2 (1950—1952) 177—200. — Antropologický rozbor nálezů z pohřebiště v Koňských z 11. stol. Zjišťuje podobnost s obyvatelstvem z okolí Radoma a Płońska, jakož i s neolitickým obyvatelstvem z Brestu Kujavského a s východními Slovany. Mongoloidní příměs ukazuje na kontakt s východními a severovýchodními plemeny. Chybí zde vysloveně brachycefální element. — *ZV*

Седов В. В., *Антропологические типы населения северо-западных земель Великого Новгорода.* Краткие сообщ. Инст. этногр. 15 (1952) 72—79, 3 рис. — Archeologický a antropologický rozbor pohřebišť z 9.—14. stol. potvrdil, že vedle Slovénů tam žily i kmeny čudské. — *AP*

GENERALIA

Věci obecně slavistické

Козырина К. И., Ратнер И. Д., Госиный И. Я., Кан Е. М., Орлик И. И., Каменецкая К. Р.: *Труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и историческая наука в европейских странах народной демократии.* Вопросы истории (1952) № 8, 125—138. — Referuje o přednáškách, diskusích, článcích a ohlasech Stalinových statí mezi historiky uvedených zemí. — *FVM*

История культуры древней Руси. Домонгольский период. 2. Общественный строй и духовная культура. Москва—Ленинград 1951, Институт истории материальной культуры АН ССР, 545 стр., 273 рис. — Ref.: Федоров Г., Славяне (1952) № 6, 56—60, 5 рис. — Rec.: Musianowicz Kr., Sprawozdania P. M. A. 4 (1951 — 1952) z. 3—4, 211—215. — Rec.: Mongait A., Sov. věda — hist. (1952) 376—384. — Překlad z časop. Вопр. ист. (1951) № 11, 137—142. — *AP*

Plezia M., *Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian.* Część 1. Poznań—Kraków 1952, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 202 str., 3 mapy. — Pečlivě vybral veškeré texty Herodotem počínaje až do konce 8. stol., týkající se nejstarších svědectví o Slovanech. Přeložil je do polštiny a opatřil historicko-geografickým komentářem. Na přiložených mapách je zachycen slovanský svět v 6. a 7. stol., nejstarší spoje antického světa se Slovany a evropská Sarmatie podle Ptolemaia. Dílo je cenné pro všechny obory slavistiky. — *AP*

Семенов В. Ф., *История средних веков.* Учебник для учительских институтов. Изд. 2-е испр. и дополн. 1951, Учпедгиз, 424 стр. — Rec.: Максимович Г. А., Вопр. ист. (1952) № 9, 141—144; Колесницкий Н. Ф., тамже 144—146. — Kniha je učebnicí evropských dějin; jednotlivé části pojednávají také o dějinách národů slovanských. Za hlavní chybu rozsáhlé učebnice považují oba recensenti to, že Semenov s nedostatečnou kritičností přejímá názory buržoasní historiografie. Tak na př. zveličuje Viclefův vliv na Husa. — *SW*

Новая история. I. *1640—1789.* Ред. В. В. Бирюкович, Б. Ф. Поршнев, С. Д. Сказкин. Москва 1951, АН СССР, Инст. истории, Госполитиздат, 471 стр. + карты. — Rec.: Попов Б. С., Руденко Г. Т., Рыжкова В. П.: Вопр. ист. (1952) № 8, 95—102. — Recensenti cení v této práci z všeobecných dějin to, že autoři dokázali správně vyložit rozhodující úlohu lidových mas a vysvětlit rozdíl mezi buržoasní a socialistickou revolucí. Recensenti naproti tomu vytýkají nedostatky v periodisaci, opominutí nutnosti teoretické předmluvy, odtrženost oddílů o vývoji myšlení od vlastního

výkladu událostí, nedostatečné vystižení specifických rysů tureckého feudalismu při výkladu o jižních Slovanech pod tureckou nadvládou a j. — *SW*

Веймарн Е. В., Стржелецкий С. Ф.: *К вопросу о славянах в Крыму.* Вопр. ист. (1952) № 4, 94—99. — Srov. stať B. Grekova, Slavjani Sofija 8 (1952) kn. 10, 25—27, s nímž autoři shodně považují Krym za součást území staroruské národnosti, odvolávajíce se m. j. zejména na hmotné nálezy. Podle nich měl Krym postavení nejrozvitějšího rajonu na severním břehu Černého Moře a ztratil tento význam v době, kdy vznikaly první státní útvary slovanské. — *SW*

Державин Н., *К вопросу о происхождении болгарского народа. (Письмо в редакцию.)* Вопр. ист. (1952) № 7, 153—155. — Mezitím zesnulý vynikající znalec Bulharska, akademik Deržavin vykládá, jak jeho vlastní kritika neudržitelných teorií o původu Bulharů ho přivedla k teoriím Marrovým. Uznává, že těchto názorů užil nekriticky. Poté praví, že Slované pronikali na Balkán od počátku 1. tisíciletí a v 7. století již zcela osídlili tento poloostrov. Dřívější neslovanské obyvatelstvo i potom vniknuvší bulharská horda byly pohlceny slovanským obyvatelstvem. — Tím se tedy Deržavin vrátil opět k názorům, které jsou obecně uznávány většinou slavistů. — *SW*

Левандовский А. В., *Об этническом составе империи Каролингов.* Вопр. ист. (1952) № 7, 109—129. — Ukazuje nesprávnost a zaujatost pokusů vykládat říši Karlovců jako organickou předchůdkyni státu buď německého, nebo francouzského. Věnuje zvláštní pozornost také t. zv. karlovské tradici nebo legendám, jak někdy říká. Vychází ze Stalinova upozrnění na říše bez ekonomických a jiných jednotících rysů. Dotýká se ovšem také problematiky francko-slovanské. — *SW*

*Бернштам А. Н., *Очерк истории гуннов.* Ред. М. М. Дьяконов. Іенинград 1951, Гос. Унив., Истор. фак., 254 стр. — Rec.: Рафиков А. Х., Вопр. ист. (1952) № 126—131. — Recensent polemisuje zejména s tvrzením, jako by Hunové byli sehráli pokrokovou úlohu tím, že mobilisovali barbarskou periferii k rozbití otrokářského řádu. Recensent považuje dále za neudržitelné srovnávání hunských nájezdníků s Germány a Slovany, kteří otrokářským řádem neprošli a skutečně „vdechli novou životní sílu umírající Evropě“. — *SW*

Slavistika; její dějiny, zprávy osobní a organisační

Slavistika československá

Hejnosz Wojciech, *Teodor Saturník (1888—1949).* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 337—342. — Nekrolog. — *MK*

Kj., *Matyáš Murko.* Lit. noviny 1 (1952) č. 3, 9. — Nekrolog. — *BB*

Heczko-Balajkowa Anna, *Marian Szyjkowski nie żyje...* Zwrot 4 (1952) nr. 10, 11—13. — Nekrolog. — *MK*

Krejčí Karel, *Nad uzavřeným vědeckým dílem Mariana Szyjkowského.* Sl. věda 5 (1952) 210—212. — Ve formě posmrtné vzpomínky hodnotí význam díla M. Szyjkowského. — *HP*

Labuda Gerard, *Václav Chaloupecký (1882—1951).* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 328—334. — Nekrolog. — *MK*

Lehr-Spławiński Tadeusz, *Maciej Murko (1861—1952).* Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 334—337. — Nekrolog. — *MK*

Prof. Bohumil Mathesius. Praha—Moskva 6 (1952) 117—118. — Nekrolog B. Mathesia (1888—1952), profesora dějin literatur SSSR na Karlově universitě v Praze a známého překladatele. — *HP*

Sieczkowski Andrzej, *Bogumił Vydra (1889—1952)*. Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 342—343. — Nekrolog. — *MK*

Wierczyński Stefan, *Marian Szyjkowski (15. XII. 1883—21. IX. 1952)*. Przegl. zach. 8 (1952) nr. 9/10, 323—328. — Nekrolog. — *MK*

Slavistika sovětská

70-летие академика Б. Д. Грекова. Славяне Москва (1952) № 4, 61—62. — K jubileu akad. Grekova (mezitím zesnulého) viz zde také další záznamy. — *SW*

Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сбонрик статей. Москва 1952, АН СССР, Инст. истории, 374 стр. — Rec.: Козаченко А. И., Вопр. ист. (1952) № 9, 138—141. — Obsah: В. И. Шунков, *Борис Дмитриевич Греков (творческий путь); Список научных работ акад Б. Д. Грекова;* В. В. Струве, *Дата похода Дариа I на скифов Причерноморья;* Н. В. Пигулевская, *Имя «русь» в сирийском источнике VI. в. н. э.;* Е. Э. Липшиц, *Из истории славянских общин в Македонии в VI—IX вв. (некоторые наблюдения по аграрной истории Византии);* Д. С. Лихачев, *Эпическое время;* П. Н. Третьяков, *Древлянские грады;* Б. А. Рыбаков, *Русь и хазары (К исторической географии Хазарии);* Л. В. Черепнин, *Русская Правда (в краткой редакции) и летопись как источники по истории классовой борьбы;* М. Н. Тихомиров, *Условное феодальное держание на Руси XII века;* И. И. Смирнов, *К вопросу об изгоях;* И. У. Будовниц, *Поддержка объединительных усилий Москвы населением русских городов;* А. А. Зимин, *Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича;* Б. Б. Кафенгауз, *О псковских крестьянах XV—XVI вв.;* Б. А. Романов, *О полном холопе и сельском попе в Судебнике Ивана Грозного;* А. И. Копанев, *Куростровская волость во второй половине XVI в. (Из истории подвинского крестьянства);* В. И. Шунков, *Меры сыпучих тел в Сибири XVII в.;* К. Н. Сербина, *К вопросу о бобылях (Бобыли Тихвинского посада);* А. А. Новосельский, *К вопросу о значении «урочных лет» в первой половине XVII в.;* Н. А. Бакланов, *Постройка нового гостиного двора в Москве в 1660—1665 гг.;* А. М. Панкратова, *Наймиты на Руси в XVII в.;* А. Г. Маньков, *Сельские мещане второй половины XVII в.;* Н. В. Устюгов, *К вопросу о раскладке повинностей по дворовому числу в конце XVII в.;* С. Н. Валк, *Суд о крестьянах в палате об Уложении 1700 г.;* К. В. Сивков, *Наказы управителям XVIII в. как источник для истории сельского хозяйства в России;* Е. Н. Кушева, *Одна из форм кабальной зависимости в России XVIII в.;* П. К. Алефиренко, *Русская общественная мысль первой половины XVIII в. о значении сельского хозяйства;* С. И. Волков, *Из истории управления дворцовыми крестьянами;* А. П. Глаголева, *К истории приписных крестьян в XVIII в.;* Е. И. Заозерская, *Способы обеспечения рабочей силой частных мануфактур во второй четверти XVIII в.;* Н. И. Павленко, *Состав рабочих на казённых заводах Урала по переписи 1744—1745 гг.;* Е. П. Подъяпольская, *Ревизские сказки как исторический источник;* А. И. Баранович, *Фольварки Вишневецкого ключа во второй половине XVIII в.;* Е. И. Индова, *Положение крепостных крестьян в карельском владении Воронцовых в первой четверти XIX в.;* М. В. Нечкина, *К вопросу о политической программе Союза Благоденствия;* В. К. Яцунский, *Помещичьи сахарные заводы в России в первой половине XIX в.;* Н. М. Дружинин, *Киселёвский опыт ликвидации общины;* Д. В. Королюк, *Летописное известие о крестьянском восстании в Польше в 1037—1038 гг.;* В. Б. Пашуто, *Несколько наблюдений над Прусской Правдой;* Д. Л. Похилевич, *«Крестьяне-огородники» в великом княжестве Литов-*

ском в XVI—XVII вв. — Řada statí tohoto sborníku významně zasahuje do širší slovanské problematiky, a to nejen v oblasti věd historických, ale také filologických. — *SW*

Булаховский Л. А., *Лингвистическое наследство А. А. Потебни.* Рус. яз. в школе 13 (1952) № 2, 72—82. — Vědecký životopis A. A. Potebni se stručným kritickým zhodnocením. — *VB*

Д. Р., *Юбилей академика Б. Д. Грекова.* Вопр. ист. (1952) № 6, 165—167. — Zpráva o zasedání oddělení historie a filosofie AN SSSR k sedmdesátým narozeninám Grekovovým. Hlavním řečníkem byl N. M. Družinin. — *SW*

Дружинин Н. М., *Творческий путь академика Б. Д. Грекова.* Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 230—238. — Oceňuje u příležitosti sedmdesátých narozenin badatelových především jeho zásluhy o rozsáhlé objasňování vývoje Kyjevské Rusi. Zvláště zdůrazňuje to, že Grekov zejména analysou *Ruské Pravdy* přešel ke *zkoumání „obecně slovanských procesů společenského vývoje“.* — *SW*

Н. Л. Рубинштейн. Вопр. ист. (1952) № 9, 156—157. — Nekrolog o prof. Akademie společenských věd při ÚV VKS(b) a historiku mezinárodních vztahů, N. L. Rubinštejnovi (1902—1952). — *SW*

С. В. Юшков. Вопр. ист. (1952) № 9, 158—159. — Nekrolog prof. moskevské university a staršího věd. spolupracovníka Všesvazového ústavu právních věd, Serafima Vladimiroviče Juškova (1888—1952). Juškov se zabýval především problematikou staré Rusi, kterou vždy chápal v širším rámci slovanském. Razil řadu smělých hypothes, které často vyvolávaly spory. Nekrolog cení m. j. především jeho výzkumy Ruské Pravdy. (Před válkou přispěl prof. Juškov také do Slavie.) — *SW*

Семидесятилетие академика Б. Д. Грекова. Изв. АН СССР СИФ 9 (1952) 314—315. — Zpráva o oslavách výročí významného slavisty a rusisty v oboru politických a právních dějin a historických slovanských vztahů, které zkoumá srovnávacím způsobem zejména v oblasti historie státu a práva. Na slavnosti v akademii měl hlavní proslov N. M. Družinin (viz tam). — *SW*

Список научных работ академика Б. Д. Грекова. (Книги, статьи из журналов и сборников, редакция публикаций и книг, рецензии.) Вопр. ист. (1952) № 4, 114—122. — *SW*

Slavistika ostatních zemí

Fran Ramovš. Slovo 1 (1952) 45—46. — Kratičký nekrolog. (F. Ramovš zemřel v Lublani 15. IX. 1952.) — *FVM*

Matl Josef, *Vatroslav Jagić an Dr. W. Christiani. (Unveröffentlichte Briefe.)* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952). — 20 dopisů z doby kolem r. 1910. — *FVM*

Mazon André, *André Lirondelle (1879—1952).* Revue des Études slaves 29 (1952) 108—112. — Nekrolog o zakladateli rusistiky ve Francii. Zemřel 12. III. 1952. — *FVM*

Młynarski Zygmunt, *Instytut Polsko-Radziecki.* Życie słow 7 (1952) nr. 3, 30—32. — Zpráva o založení (1951) a začátcích Polsko-sovětského ústavu. Vědecké úkoly ústavu zahrnují studium ruského jazyka, sovětské literatury (ruské, ukrajinské a běloruské), kultury národů SSSR, dějin SSSR a slavistiky. Vedle velké knihovny připravuje ústav polsko-sovětské museum. — Viz také násl. záznam. — *SW*

Польско-советский институт в Варшаве. Интервью с директором института проф. З. Млынарским. Славяне Москва (1952) № 4, 34—35. — *SW*

Nécrologie. Revue des Études slaves 29 (1952) 288—296. — Přináší nekrolog Reinholda Trautmanna (zemř. 4. X. 1951) od André Mazona a André Vail-

lanta; nekrolog Jalo Lahja Kalimy, profesora slavistiky v Helsinkách (zemř. 30. VI. 1952) od V. Kiparského; nekrolog Dmytra Dorošenka (zemř. 19. III. 1951) od Élie Borschakové a několik dalších posmrtných zpráv. — *FVM*

Ricerche slavistiche. Pubblicazione dell' Istituto di filologìa slava dell' Università di Roma, dell' Istituto per l'Europa Orientale di Roma e del Seminario di slavistica dell' Istituto universitario di Napoli. A cura di Giovanni Maver. Comitato di redazione: Enrico Domiani, Ettore Lo Gatto, Leone Pacini. Casa editrice Gherardo Casini. Roma 1 (1952). — Nový slavistický časopis jazykovědný i literárněvědný. — Ref.: Slovo 1 (1952) 78—83. — *FVM*

Sadnik-Aitzetmüller Linda, *Bernd von Arnim.* Wiener slav. Jahrbuch 2 (1952) 1—5. — Nekrolog profesora slovanské filologie v Štyrském Hradci. Zemřel 5. II. 1946. Připojen chronologicky seřazený seznam spisů. — *FVM*

Simmons J. S. G., *Slavonic Studies at Oxford: I. The Proposed Slavonic Chair at the Taylor Institution in 1844.* Oxford Slav. Papers 3 (1952) 125—152. — *FVM*

Bibliografie

Baumgart J., *Bibliografia historii polskiej za rok 1948.* Kraków 1952, 90 str. — *AP*

Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova u časopisima Narodne republike Hrvatske za godinu 1949. Zagreb 1952, JAZU, 281 str. — Neannotovaná bibliografie s indexem autorů a překladatelů a s věcným rejstříkem. — *FVM*

*Budzyk Kazimierz, *Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce.* Wrocław 1952. — *MK*

*Estreicher Karol (wnuk), *Załuscy. Bibliografia odnosząca się do Załuskich z wieku XVII i XVIII.* Kraków 1952. Odb. Bibliografia (polska) Karola i Stan. Estreicherów, t. 34, zesz. 1. — *MK*

Grycz Józef, *Bibliografia radziecka przykładem nowej bibliografii.* Wiedza i życie 19 (1952) 1060—1064. — Otázka kritické bibliografie. — *MK*

Jonášová St., *Bibliografie české historie za léta 1937—1941.* Praha 1951, Historický klub, XXX + 930 str. — Rec.: Špét Jiří, Sl. věda 5 (1952) 207—210. — *HP*

Lipiński Jacek, *Teatr i dramat w Pracach Polonistycznych (1946—1951).* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 379—385. — Bibliografie článků s kritickými poznámkami. — *MK*

Маевский К., *Польская археологическая литература за последние годы.* Вестник древней истории (1952) № 4, 92—103. — Přehled literatury. — *MB*

Secomska Henryka, *Teatr i dramat w Pamiętniku Literackim (1946—1951).* Pam. teatr. (1952) zesz. 2/3, 366—378. — Bibliografie článků s kritickými poznámkami. — *MK*

Тематика диссертаций по вопросам истории СССР и всеобщей истории, утвержденных ВАК в 1951 году. Вопр. ист. (1952) № 12, 158—172. — Soupis názvů. — *SW*

Тематика диссертаций по вопросам истории, защищенных в СССР в 1945—1950 годах. Вопр. ист. (1952) № 6, 143—165; № 7, 138—147; № 8, 139—149. — Soupis názvů. — *SW*

Wójcicki Tad. Wojciech, *Jak Estreicherowie pracowali nad „Bibliografią polską“.* Życie lit. 2 (1952) nr. 18. — *MK*

Záznamy o bibliografiích, soupisech, přehledech atd., týkajících se jednotlivých otázek probíraných v dalších oddílech, viz tam.

Varia

Артюшенков М., *10-й конгресс Славянского союза Уругвая. (Письмо из Монтевидео.)* Славяне Москва (1952) № 12, 51—53. — Zpráva o aktivitě slovanských krajanských organisací v Jižní Americe. — *SW*

*Kann Robert A., *The Multinacional Empire: Nacionalism and Nacional Reform in the Habsburg Monarchy, 1848—1918.* I. *Empire and Nacionalities.* II. *Empire Reform.* New York 1950, Columbia Univ., XXI + 444; XIV + 423 pp. — Rec.: Parry Albert, Amer. Slavic Rev. 11 (1952) 77—79. — Recensent komentuje spis převážně se svého soudobě politického hlediska, takže posudek nedává dostačující obraz zkoumané problematiky. — *SW*

Объединенная сессия, посвященная истории Прибалтики периода феодализма. Изв. АН СССР СИФ (1952) 87—99. — Zevrubná zpráva o zasedání, které se zabývalo otázkami důležitými také v rámci slavistiky. — *SW*

Пешина Я., *Миколаш Алеш и славянската идея.* Славяни София 8 (1952) кн. II, 13—16. — Ukazuje, jak Alšovo slovanství vyrůstalo z tradic obrozenských; Aleš mnoho četl Šafaříka, Kollára, Palackého. Působil zde také přímý styk s Jiráskem a s jeho dílem. Článek tedy nadhazuje případ ideové souvztažnosti literárně výtvarné. Zároveň je příkladem výzkumu slovanství na výtvarném materiálu. — *SW*

Przegląd czasopism. Życie słow. 7 (1952) nr. 1, 42—47; nr. 2, 46—48; nr. 3, 46—48; nr. 4, 44—48; nr. 5, 48—52; nr. 6—7, 67—71; nr. 8, 50—52; nr. 9, 47—48; nr. 10, 45—48; nr. 11, 47—51; nr. 12, 48—52. Spolupracovníci pod různými šiframi podávají zde částečný přehled běžných čísel časopisů Slovanských výborů a jednotlivě i dalších, na př. Kwart. Inst. pol.-radz., Sprawy międzynar. a j. — *SW*

Robak Zygmunt, *X kongres Związku Słowian Urugwaju.* Życie słow. 7 (1952) nr. 10, 36—38. — Uvádí řadu zajímavých údajů, i číselných, o rozsahu slovanského živlu v latinské Americe a o činnosti jeho organisací. — *SW*

С. Т., *В Институте истории Академии наук СССР.* Вопр. ист. (1952) № 11, 149—156. — Zpráva o zasedání vědecké rady Historického ústavu AN SSSR 26. až 28. X. 1952, které bylo věnováno Stalinově práci *Ekonomické problémy socialismu v SSSR.* Hlavní přednášku měl zástupce ředitele ústavu, prof. A. L. Sidorov (viz Vopr. ist. 1952, no. 10). V diskusi se jednalo m. j. o pojetí kolektivního díla o všeobecných dějinách. — *SW*

Seznam zpracovaných periodic:

Acta archeologica Academiae scientiarum hungaricae — Acta linguistica Academiae scientiarum huncaricae — American Slavic and East European Review — Annales Academiae Scientiarum Fennicae — Annuaire de l'Institut Finlandais d'Études soviétiques — Arheološki vestnik (Ljubljana) — Archeologické rozhledy — Archeologia (Warszawa) — Archeologija (Kyjiv) — Bălgarski ezik — Bălgarski knigopis — Biuletyn Institutu Bibliograficznego — Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego — Bulletin de la Société de Linguistique de Paris — Byzantinoslavica — Csillag — Česká kniha — Český jazyk — Český lid — Časopis Matice moravské — Časopis Národního musea, oddělení věd společenských — Divadlo — Doklady i soobščenija Instituta jazykoznanija AN SSSR — Dziś i Jutro — Ezik i literatura — Indogermanisches Jahrbuch — Irodalmi Ujság — Irodalomtörtenet — Izvestija AN BSSR (Minsk) — Izvestija AN SSSR OLiJa — Izvestija AN SSSR SIF — Izvestija APN RSFSR — Izvestija na Archeologičeskija institut — Jazykovedný sborník SAVU — Język Ro-

syjski — Kommunist (= Boľševik) — Kratkie soobščenija Instituta etnografii AN SSSR — Kratkije soobščenija Instituta istorii materiaľnoj kuľtury AN SSSR — Kratkije soobščenija Instituta slavjanovedenija AN SSSR — Language — Lingua Posnaniensis — Listy filologické — Literární noviny — Literaturnaja gazeta — Magyar nyelv — Magyar nyelvőr — Makedonski jazik — Materialy i issledovanija po archeologii SSSR — Materiały Wczesnośredniowieczne — Myśl Filozoficzna — Národopisný věstník československý — Naše řeč — Neuphilologische Mitteilungen (Helsinki) — Nowa Kultura — Novoje vremja — Novyj mir — Nový život — Numismatický časopis — Numismatické listy — Nyeltudományi Közlemények — Oktjabr' — Orientalia Christiana Periodica — Oxford Slavonic Papers — Pamiętnik Literacki — Pamiętnik Teatralny — Polonistyka — Polska Sztuka Ludowa — Polymja (Mensk) — Poradnik Językowy — Prace Polonistyczne — Praha-Moskva — Przegląd Historyczny — Przegląd Nauk Historycznych i Spolecznych — Przegląd Zachodni — Przewodnik Bibliograficzny — Radostná země — Radovi Staroslavenskog instituta (Zagreb) — Revue des Études slaves — Ricerche slavistiche — Rozhlad (Budyšin) — Russkij jazyk v škole — Sborník prací filosofické fakulty brněnské university — Serbska šula — Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse — Slavia — Slavia Antiqua — Slavia Occidentalis — Slavjane (Moskva) — Slavjani (Sofija) — Slavonic and East European Review — Slezský sborník — Slovenská reč — Slovesná věda — Slovo a slovesnost — Slovo, Časopis Staroslovenskog instituta (Zagreb) — Sovetskaja archeologija — Sovětská věda-filosofie — Sovětská věda-historie — Sovětská věda-jazykověda — Sovětská věda-literatura — Sovětské divadlo — Sovetskaja archeologija — Sovetskaja kniga — Sovetskaja Ukraina — Sovetskoje iskusstvo — Sprawozdania Polskiego Muzeum Archeologicznego — Sprawozdania z czynności i posiedzeń Łódźkiego Towarzystwa Nauk — Studia Wczesnośredniowieczne — Studii şi cercetări de istorie veche — Südostforschungen — Teatr (Moskva) — Teatr (Warszawa) — Twórczość — Učenyje zapiski Instituta slavjanovedenija AN SSSR — Vestnik AN Lit. SSR (Viľnjus) — Vestnik AN SSSR — Vestnik drevnej istorii — Vestnik Moskovskogo Universiteta, serija obščestvennych nauk — Voprosy filosofii — Voprosy istorii — Voprosy jazykoznanija — Wiadomości Archeologiczne — Wiedza i Życie — Wiener slavistisches Jahrbuch — Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universität Jena, Gesellschafts- u. Sprachwissenschaftliche Reihe — Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft — Zeszyty Wrocławskie — Zgodovinski časopis — Znamja — Z Otchłani Wieków — Zvezda — Zwrot — Życie i Myśl — Życie Literackie — Życie Słowiańskie. — Mimo to byla zpracována částečně ještě některá další periodica.

Pod vedením redakční rady Slavie redigovali: *František V. Mareš* (jazykověda), *Anna Pitterová* (archeologie) a *Slavomír Wollman* (literární věda a věci společné). — Zpracovali: Vladimír a Vilma Barnetovi (*VB*), Bohuslav Beneš (*BB*), Magdalena Beranová (*MB*), Ludmila Dušková (*LD*), Jan Eisner (*JE*), Eva Havlová (*EH*), Bohuslav Havránek (*BHk*), Růžena Havránková (*RH*), Zoe Hauptová (*ZH*), Miloš Kadlčák (*M*), Dagmar Kolářová (*DK*), Dana Kotrlá (*K*), Milan Kudělka (*MK*), Jaroslav Kudrnáč (*JK*), František V. Mareš (*FVM*), Jaromír Mikulka (*JM*), Igor Němec (*IN*), Libuše Orálková (*LO*), Vlasta Outratová (*VO*), Anna Pitterová (*AP*), Václav Polák (*VP*), Helena Procházková (*HP*), Jan Svoboda (*JS*), Jiřina Telcová-Jurenková (*JTJ*), Rudolf Turek (*RT*), Zdeněk Váňa (*ZV*), Slavomír Wollman (*SW*), Bohumila Zástěrová (*BZ*).

Kazimierz Nitsch, **Wybór pism polonistycznych.** Tom I. Red. Ewa Ostrowska i Andrzej Siudut. Wrocław 1954, Ossol., XXXIX + 284 str.*)

Kazimierz Nitsch, profesor polonistiky na Jagellonské universitě v Krakově, dožil se letos osmdesáti let. U příležitosti tohoto jubilea vydalo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego tento soubor jeho prací, otištěných dříve v různých časopisech a sbornících. Úvodní podrobná bibliografie Nitschova vědeckého díla od r. 1895 do 1953 je z pera Wandy Żurowské-Górecké.

Stati jsou uspořádány podle thematických okruhů. První skupina pojednává o jazyce spisovatelů (3—29). V článku *Z zagadnień języka Mickiewicza* (JP 1934) použil Nitsch Mickiewiczova centennia ke kritickému zhodnocení dosavadního jazykovědného průzkumu jeho díla. Sám se vyslovil k problémům nejzávažnějším: k otázce regionalismů a archaismů. V dalších dvou kratších článcích ukazuje na některé hláskoslovné a gramatické alboruthenismy a na některé zvláštní výrazy u Mickiewicze *(rodzeństwo* a *szpinka)*. Také dvě vybrané úvahy o jazyce Sienkiewiczově vycházejí z Nitschova zájmu o regionalismy v jazyce uměleckého díla.

Druhou námětovou skupinu tvoří práce o polské versifikaci (33—107). Rozprava *Z historii polskich rymów* (Prace Tow. Nauk. Warsz. 1912) podává linguistický rozbor vývoje polského rýmu v retrospektivním pohledu od současnosti až do XVI. století. Občas užívá k srovnání i pohledů na paralelní jevy české. Autor tu sice těží především poznatky linguistické, ale nevyhýbá se ani výhledům literárně vědným a estetickým. Jako dějiny výtvarných umění věnují pozornost také látce a jejímu vlivu na dílo v různých krajích a dobách, tak podobně je třeba postupovat i v literatuře, třebaže tu vzájemný vztah látky a formy nebude týž. (Na začátku studie je též užitečný přehled literatury předmětu.) Pojednání *O nowych rymach* žádá od současných básníků prohloubení odborné znalosti podstaty jazyka. Reakce L. Podhorského-Okołowa na tento článek vyvolala polemickou odpověď *O rymach głębokich i niezupełnych*, kterou zde najdeme na následujících stránkách. — Zajímavým postřehem funkční metrické techniky je *Metryczna niespodzianka v „Marii" Malczewskiego* (Twórczość 1947; článek vyplynul z Nitschových úvah v koncentračním táboře Sachsenhausenu-Oranienburgu). Uzavřený básnický obraz je stmelen a od ostatních isosylabických veršů básně oddělen odchylnou, specifickou vnitřní stavbou, spočívající v jiném rozčlenění metra v stopy.

V čele třetího oddílu „pedagogika a pravopis" (111—135) stojí stať z JP 1938 *O językowym dziale studiów polonistycznych.* Odmítá nezdravou snahu literárních historiků omezovat vysokoškolské jazykové studium na nejmenší míru. Svůj postoj zdůvodňuje Nitsch teoreticky i na základě praktických zkušeností. — Úvaha *O korektorach językowych słów kilka* (JP 1934) žádá od těchto „redakčních techniků" solidní jazykové vzdělání, „takt" v chápání autora, přehled po cizích jazycích i širší věcné vědomosti. — Poznámka *Jeszcze o francuskim przecinku* (Czas 1922) se týká otázky „logické" a „mechanické" interpunkce. — Článek *Reforma ortografii (przedstawiona na typu* Maria) (Przegląd Współczesny 1936) přístupně vysvětluje a obhajuje poslední větší polskou pravopisnou úpravu.

Čtvrtý oddíl — popisná mluvnice — soustřeďuje drobnější práce o zvukové stránce jazyka (149—189). Jsou to studie hláskoslovné a fonetické (palatální *t'*, *d'*, *s'*, *z'*, *c'*, závěrové a úžinové *ń*, $\chi = \underset{\circ}{u}$, *ch/h*), fonologické (*i:y; h* a *l* v pol. hlásk. systému), akcentologické a z větné prosodie (přízvuk složených tvarů slovesných, otázka polského přízvuku iniciálního, místo enklitik ve větě.

*) Redakce dostala tuto knihu těsně před uzávěrkou, ale pro její jubilejní časovost pokládá za vhodné věnovat jí pozornost ihned; proto je zpráva zařazena na konec sešitu.

Šestý thematický okruh představují dějiny jazyka a historická mluvnice (194 až 281). Úvodní stať, přetištěná z 1. ročníku JP (1913) pojednává *O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego.* Autor studuje problém především v oblasti hláskoslovných jevů, protože v té době pokládal za předčasné činit obecné závěry z materiálu ostatních plánů jazyka. Zde vyslovil svůj názor o vzniku spisovné polštiny: hláskoslovný a tvaroslovný velkopolský základ přenesený do novějšího centra krakovského budoval slovní zásobu především z prostředků malopolských. Později, v době rozmachu polského státu na Východě, přijímal i prvky mazovské a polsko-ukrajinské. Otázkám ukrajinských a běloruských vlivů na spisovnou polštinu v XVI. a XVII. stol. je věnována zvláštní kapitola. Dále sleduje, jak se nářečí uplatňovala ve výslovnosti spisovného jazyka a jaký zase byl vliv „dialektu kulturalnego" na nářečí. — V pojednání *Przyczynki do charakterystyki polskich czechizmów* (Miletičův sborník 1933) snaží se Nitsch ukázat, že „wpływy czeskie miały w polszczyźnie charakter czysto literacki. Bardzo ważne przy pierwszych próbach pisania, musiały upaść z chwilą, gdy literatura i język literacki na własnych stanęły nogach; pozostałe resztki czeskie powoli, powoli, ale wciąż giną." (225) K tomu v stručnosti podotýkáme: Dělat takové závěry na základě dvou příkladů (typ *słodkość* a kontrahované formy *mego* atd.), proti nimž mluví systematická a trvalá přejetí v některých oblastech slovní zásoby (srov. B. H a v r á n e k, *Expanse spisovné češtiny od 14. do 16. století,* Co daly naše země Evropě a lidstvu, Praha 1940, 53—59 — tam i další literatura), je asi stejně odvážné, jako bychom tvrdili, že polský vliv na obrozenskou češtinu pomalu, ale jistě mizí, když se v živé češtině trvale neujala *všechna* tehdy přejatá slova. Drobná věcná poznámka k str. 219: doklady na *słodkość* bychom nenašli, jak se praví, „w różnych tekstach Zdrowaś Marii" (= Ave), nýbrž v textech „Zdrowaś Królowa" (= Salve Regina). — V dalších článcích nacházíme Nitschovy příspěvky k historickému hláskosloví *(zemlę : zemlě; chy, hy/chi, hi,* zánik „pochýleného" *é),* tvoření slov *(inъ — inny),* k dějinám flexe (genitiv pron. pers.; deklinace na **-ije;* acc. sg. fem., deklinace maskulin na *-o;* imper. typu *piecz, pomóż;* nářeční tvary 1. os. pl. praes.; typ *depczę; -ywuje // -ywa, -uje*) i k dějinám syntaxe (instr. míry času, praeteritum *mam sprzedane,* futurum exactum).

Žádoucí jmenný rejstřík a index slov bude patrně připojen k dalšímu svazku.

Vítáme tuto publikaci nejen proto, že zpřístupňuje stati namnoze už méně snadno dostupné, ale také proto, že je řadí do thematických celků. Tak lépe vyniká jejich cena i význam jubilantovy práce.

F. V. Mareš

SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. — Vydává Slovanský ústav Československé akademie věd v Nakladatelství ČSAV. — Tiskne Knihtisk, n. p., závod 01 v Praze. — Redakční rada: Julius Dolanský (za Slovanský ústav) — Bohuslav Havránek (pro jazykovědu) — Karel Krejčí, vedoucí redakce — Frank Wollman (pro literární vědu a obory příbuzné) — Slavomír Wollman, sekretář redakce. — Redakce: Slovanský ústav, Valentinská 1, Praha I, tel. 656-86 (617-00). Administrace: Nakladatelství Čs. akademie věd, Vodičkova 40, Praha II, — Novinové výplatné povoleno dohlédacím poštovním úřadem Praha 022 pod č. j. 313/53-Ře-53. Ročník XXIII rok 1954, sešit 2-3. Rukopis tiskárně 1. III. 1954, imprimatur 31. VIII. 1954, vydáno 30. IX. 1954
Cena tohoto sešitu Kčs 40,—, cena ročníku Kčs 80,—. — D-07794.

СЛАВИЯ. Журнал по славянской филологии. — Издает Славянский институт Чехословацкой Академии Наук в Издательстве ЧСАН. — Типография: Книгтиск, н. п., завод 01 в Праге. — Редакционная коллегия: Юлиус Долански (от Славянского института) — Богуслав Гавранек (по языкознании) — Карел Крейчи, заведующий редакции — Франк Вольман (по литературоведении и сомежным наукам) — Славомир Вольман, секретарь редакции. — Редакция: Славянский институт, Валентинска 1, Прага I. тел. 656-86 617-00). — Администрация: Издательство Чс. Академии Наук, Водичкова 40, Прага II. — Том XXIII, 1954, выпуск 2-3. Сдано в набор 1. III. 1954, подписано к печати 31. VIII. 1954, издано 30. IX. 1954.
Цена этого выпуска Кчс 40,—, цена тома Кчс 80,—.

SLAVIA. Revue de philologie slave. — Publiée par l'Institut Slave de l'Academie tchécoslovaque à son Édition. — Imprimée par Knihtisk, n. p., usine 01 à Prague. — Conseil de rédaction: Julius Dolanský (pour l'Institut Slave) — Bohuslav Havránek (linguistique) — Karel Krejčí, chargé de rédaction — Frank Wollman (science littéraire et domaines contigus) — Slavomír Wollman, secrétaire de rédaction. — Rédaction: L'Institut Slave, Valentinská 1, Prague I, tél. 656-86 (617-00). — Administration: Édition de l'Académie tchécoslovaque, Vodičkova 40, Prague II. — Tome XXIII, année 1954, fascicule 2-3. Manuscrit remis à l'imprimerie 1. III. 1954, imprimatur 31. VIII. 1954, publié 30. IX. 1954.
Prix de ce fascicule Kčs 40,— abonnement annuel Kčs 80,—.

СОДЕРЖАНИЕ

(ОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЯТЬ ИОСИФА ДОБРОВСКОГО:

ТАТЬИ:

РИТИКИ И РЕФЕРАТЫ:

ЮБЩЕНИЯ:

БОЗРЕНИЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ ЗА 1952 ГОД: 349—505

TABLE DES MATIÈRES

CONFÉRENCE EN MÉMOIRE DE JOSEPH DOBROVSKÝ:

ARTICLES:

CRITIQUES ET COMPTES-RENDUS:

CHRONIQUE:

RENSEIGNEMENTS DE SLAVISTIQUE DE L'ANNÉE 1952: . . . . . 349—505